

10.5
Ф561

103
Ф561

История отечественной философии XX век. 1960-80-е годы

Философия НЕ КОНЧАЕТСЯ...

ИЗ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
XX век. 1960 – 80-е годы

Философия НЕ КОНЧАЕТСЯ...

ИЗ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ.
XX век. 1960 – 80-е годы

Москва
РОССПЭН
1998

ББК 87.3(2)6
Ф 56

Издание
осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ)
проект № 97-03-16140

Философия не кончается... Из истории отечественной философии. XX век: В 2-х кн. / Под ред. В.А.Лекторского. Кн. II. 60—80-е гг. — М.: «Российская политическая энциклопедия», 1998. — 768 с.

В книге показано развитие философской мысли в СССР за четыре десятилетия (начиная с 50-х годов и кончая 80-ми). Представлены такие важнейшие эпизоды истории философской мысли в Советском Союзе в это время как, например, возникновение журнала «Вопросы философии», создание Философской энциклопедии в 60—70-е годы, события на философском факультете МГУ в 50—60-е годы и т.д. В книгу вошли в основном статьи, опубликованные в последние годы в журнале «Вопросы философии». Некоторые статьи написаны специально для данного издания. Публикуемые материалы разделяются на две части: в первой обсуждаются общие вопросы, характеризующие ситуацию, в которой жили и работали философы в эти годы; вторая посвящена анализу творчества отдельных мыслителей.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

ББК 87.3(2)6

ISBN 5-86004-154-3

- © «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1998.
- © В.А.Лекторский, редакция, составление, примечания, 1998.
- © Авторский коллектив, 1998.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Среди людей, изучавших философию в институте по официально санкционированным учебникам, в которых рассказывалось о том, как все сложнейшие проблемы и загадки человеческого бытия, над разгадыванием которых великие умы бились в течение столетий, легко и просто разрешаются с позиций марксизма-ленинизма, бытует мнение, что советские философы в лучшем случае неумные люди, а в худшем — проходимцы и апологеты власти. Если это верно, то ни о какой философии, существовавшей в Советском Союзе, не может быть и речи. В соответствии с этим мнением если и нужно разрабатывать философию в нашей стране, то делать это следует как бы с нуля, с самого начала. И опираться можно лишь на ту философскую традицию, которая была прервана в 1922 году, когда последних выдающихся русских философов выслали за границу на «философском пароходе». Так сегодня рассуждают иные авторы.

На самом же деле картина философской жизни в нашей стране гораздо интересней и сложнее.

Начиная с 60-х годов, со времен хрущевской «оттепели», появилась целая генерация философов (тогда это были еще молодые люди), которые всерьез отнеслись к идее научного и гуманистического толкования ряда мыслей К.Маркса. Опора на научное знание казалась им в тех условиях единственно возможным и единственно надежным способом изменения той социальной действительности, которая их не удовлетворяла. Философия была понята ими как теория познания, точнее, как теория научного познания. Разная интерпретация теории познания, так же как разное истолкование философско-методологических идей К.Маркса, сразу же определили возникновение разных научных школ, вступивших в творческое соревнование друг с другом. Их

лидерами на первых порах были Э.В.Ильенков и А.А.Зиновьев.

Затем из этих школ выделились люди, в свою очередь основавшие новые школы: Г.П.Щедровицкий, Г.С.Батищев, М.К.Петров... Из школы А.А.Зиновьева вырос М.К.Мамардашвили, только школу он не основал, а был всегда как бы сам по себе, хотя влияние его было большим и продолжает расти сейчас, много лет спустя после его смерти. Во многом из школы Г.П.Щедровицкого выделилось, а потом уже стало самостоятельно развиваться так называемое системное движение (Э.Г.Юдин, И.В.Блауберг и др.).

В это время переживают творческий подъем некоторые философы предыдущего поколения. Ряд интересных работ по философскому анализу истории науки издает Б.М.Кедров. Расцветает деятельность В.Ф.Асмуса в области истории философии. А.Ф.Лосев выпускает за это время больше работ, чем за все предшествующее время (хотя развивает в них в основном идеи, сформулированные им еще в 20-е годы). Новый этап начинается в деятельности С.Л.Рубинштейна, который во многом пересматривает свои старые философские позиции и создает оригинальную философско-антропологическую концепцию.

Именно в эти годы происходит как бы новое открытие идей философов 20-х — 30-х годов: А.А.Богданова, М.М.Бахтина, Л.С.Выготского, В.И.Вернадского, Я.Э.Голосовкера. Их книги переиздаются, их идеи обсуждаются. Издаются и такие работы этих мыслителей, которые не печатались при их жизни. Можно даже сказать, что именно в 60-е, 70-е годы эти идеи начинают по-настоящему жить собственной жизнью (участвовать в формировании новых концепций, находить сторонников и оппонентов и т.д.), чего нельзя сказать о том времени, когда они были впервые сформулированы.

В философии, развиваемой в Советском Союзе, появляется то, чего в ней не было на протяжении нескольких предшествующих десятилетий. Возникают стабильно существующие и развивающиеся философские школы, исходящие из разных концептуальных позиций, спорящие друг с другом (при этом не только в Москве, но и в других городах страны, в частности, в Киеве, в чем была огромная заслуга П.В.Копнина, лидера киевской школы). Участники этих школ имеют возможность публиковаться

(хотя не без серьезных трудностей, о которых будет сказано ниже). Появились яркие философские индивидуальности.

Следует обратить особое внимание на то, что в процессе взаимных дискуссий обсуждается и разрабатывается ряд фундаментальных проблем теории познания и философии науки, в том числе таких, которые привлекут внимание наших западных коллег несколько позже. Так, можно, например, отметить, что уже в 60-е годы ряд наших исследователей выдвигают идею исторического подхода в изучении научного знания (Б.М.Кедров, А.А.Зиновьев, Г.П.Щедровицкий), что станет модным в западной философии науки на десятилетие позже. Можно указать на то, что некоторые подходы к структурному анализу гуманитарного знания сформулированы у нас в эти же годы, до того как структурализм стал новой мировой модой. В это же время был развит ряд интересных философско-методологических идей в связи с изучением методологии «Капитала» К.Маркса. Я имею в виду прежде всего работы Э.В.Ильенкова и А.А.Зиновьева, но также и некоторые другие, в частности, осуществленный М.К.Мамардашвили анализ так называемых превращенных форм деятельности, который он впоследствии распространил на многие науки о человеке (в частности, на психоанализ).

С.Л.Рубинштейн развивает концепцию онтологии человеческого сознания, Г.С.Батищев — теорию «глубинного общения», Н.Н.Трубников формулирует ряд идей о времени человеческого бытия, М.К.Петров выстраивает оригинальную концепцию культуры и науки как ее части, Э.Г.Юдин обсуждает проблему взаимоотношения принципа деятельности и системного подхода...

Конечно, все эти дискуссии не имели выхода на широкую публику. Для тех, кто судил о нашей философии только по учебникам, всего этого как бы и не существовало. Вместе с тем наши философы сумели наладить неплохое профессиональное общение и взаимодействие с рядом представителей наук о человеке: психологами, социологами, историками науки, некоторыми лингвистами. В эти годы устанавливаются уважительные отношения философов с виднейшими нашими естествоиспытателями: П.Л.Капицей, И.И.Шмальгаузенем, В.А.Энгельгардтом и др. Исключительную роль в этом играл журнал

«Вопросы философии», который, особенно в 60-е и 70-е годы, когда главным редактором журнала был И.Т.Фролов, а его заместителем М.К.Мамардашвили, стал как бы своеобразным центром притяжения для многих наших интеллектуалов, при этом не только философов. В этом журнале обсуждались такие вопросы (касавшиеся как взаимоотношений философии и естествознания, так и проблем культуры, образования, истории), которые были связаны с главными мировоззренческими исканиями того времени.

Большим событием не только в философской, но и в культурной жизни страны в целом было издание в 60-е и 70-е годы пятитомной «Философской энциклопедии». Это была по тем временам необычная попытка дать более или менее объективное изложение не только марксистского решения тех или иных философских проблем, но и их немарксистской интерпретации. «Энциклопедия» ввела огромный массив историко-философского знания, в ней впервые за многие годы было рассказано о русских религиозных философах, идеи которых в то время нельзя было обсуждать на академическом уровне. Осуществить такого рода издание даже в это время (более либеральное по сравнению с тем, которое ему предшествовало) было исключительно трудно. И все-таки это удалось сделать.

Я вспоминаю 60-е и 70-е годы как время большого энтузиазма и веры многих философов (при всем резком неприятии ими официального марксизма-ленинизма) в то, что в марксизме есть такие идеи, которые можно и нужно всерьез принимать и разрабатывать, конечно, учитывая и многое другое, в том числе некоторые идеи немарксистской философии. Пожалуй, только во второй половине 70-х годов, в 80-е годы некоторые из наших известных философов стали выходить за пределы марксизма. Я могу сказать это определенно, по крайней мере, о Г.С.Батищеве (который был до этого одним из самых оригинальных интерпретаторов гуманистических идей молодого Маркса), о М.К.Мамардашвили (который, как я уже говорил, свою концепцию «превращенных форм» создал в связи с изучением «Капитала»)¹. В каких-то

¹ Важно заметить, что выход Г.С.Батищева и М.К.Мамардашвили за пределы марксизма не превратил их в антимарксистов.

пунктах за пределы марксизма, безусловно, выходит философская антропология позднего С.Л.Рубинштейна. Думаю, что это же можно сказать и об антропологии Н.Н.Трубникова.

Впрочем, нужно заметить, что идеологической критике, притом нередко очень жестокой, подвергались все философы, о которых идет речь в этой книге, независимо от того, считали ли они сами себя марксистами. Ибо их интерпретация марксизма, официальными властями считалась еретической, «ревизионистской». Идеологические бюрократы не без основания усматривали в их работах скрытую критику власти и порядков. В это время, как-никак после официальной критики «культы личности», правда, уже не расстреливали, но нередко исключали из партии (как это было с Г.П.Щедровицким, М.К.Петровым), снимали с работы (Б.М.Кедров), создавали трудности с публикациями (это касается практически всех философов, о которых идет речь в данной книге), даже сажали (Э.Г.Юдин).

В последнее время в некоторых изданиях была высказана точка зрения о том, что советские философы в последние 30 лет занимались в основном тем, что всячески приспособлялись к существовавшему режиму и отдавали в печать только то, что этот режим мог одобрить. Но дело не только в характере того, что эти философы публиковали, продолжают рассуждать те, кто придерживается этой точки зрения. Самое страшное, считают эти авторы, в том, что советские философы не писали ничего «в стол», для себя, не рассчитывая на публикации. Иными словами, никаких других идей, кроме тех, которые могли быть официально одобрены, у них вроде бы и не было.

Подобным образом могут рассуждать только те люди, которые не имеют ни малейшего представления о том, что в действительности происходило в это время. Почти у всех философов, о которых говорится в этой книге, осталось огромное рукописное наследие. Речь идет о тех текстах, которые они не могли опубликовать при жизни. Что-то из неопубликованного читалось близкими, друзьями, учениками, обсуждалось на семинарах, передавалось из рук в руки. Значительная часть так и осталась неизвестной даже друзьям. Так, например, крупнейшая философская работа С.Л.Рубинштейна «Человек и мир»

была опубликована только после смерти автора, да и то не полностью. (Полное ее издание относится только к концу 1997 г.) Большая часть того, что написал М.К.Петров, не была опубликована при жизни автора (эти публикации начинаются только сейчас). Важнейшую работу Г.С.Батищева «Диалектика творчества» не решились напечатать, и она была депонирована в ИНИОН. Многие свои работы Генрих Степанович даже и не предлагал для опубликования, зная, что они будут отвергнуты. Институт философии АН СССР не рекомендовал к публикации одну из самых интересных работ Э.В.Ильенкова «Проблема идеального» как идеологически вредную (работа была напечатана только после смерти автора). Я уже не говорю о том, что в течение многих лет М.К.Мамардашвили, в сущности, было запрещено печататься. Его творческое наследие состоит из огромного числа магнитофонных записей лекций, выступлений, бесед с близкими ему людьми (к настоящему времени опубликована лишь меньшая часть этих записей). В течение длительного времени не могли печататься (хотя продолжали писать) многие другие философы, в том числе те, кто живы сегодня и продолжают активно работать.

Вместе с тем, чтобы у читателя создалась правильная картина того, что происходило в этот период в философии в Советском Союзе, я должен специально обратить внимание на то, что развитие философских идей шло в это время достаточно узко и односторонне. Если в области теории познания, философии и методологии науки, логики, в некоторых разделах философской антропологии, а также в ряде областей истории философии можно говорить о новых идеях, о новых именах, то подобного нельзя сказать о социальной философии. Эта область философии, особенно тесно связанная с политикой, всегда подвергалась жесткому идеологическому контролю, поэтому творчество тут было практически невозможно. Некоторые области философского знания, привлекающие сегодня повышенное внимание, такие, например, как политическая философия, вообще не могли существовать в это время. Русская религиозная философия, являющаяся неотъемлемой частью нашей культуры, практически была под запретом. Работы русских философов-идеалистов не переиздавались. О них нельзя было пи-

сать серьезные исследования. Развитие нашей философской мысли шло практически в изоляции от развития современной мировой философии. Конечно, изоляция не была абсолютной: переводилось немало работ современных западных авторов, особенно по проблемам логики и методологии науки, наши философы регулярно участвовали в конгрессах по философии науки, однако постоянного рабочего взаимодействия с западными коллегами, особенно теми, кто разрабатывал фундаментальные вопросы метафизики, философской антропологии, социальной и политической философии, не было. Если бы не эта изоляция, то можно предполагать, что характер нашей философии был бы существенно иным, творческое взаимодействие наших интересных философов и философов Запада могло бы создать новую ситуацию в международном философском сообществе в целом.

Данная книга — это одна из первых попыток дать более или менее объективный анализ того, что на самом деле происходило в нашей философии в 60-е—80-е годы нашего столетия. Попытка эта существенно ограничена по ряду причин. Во-первых, потому, что не публикуются статьи о ныне живущих и работающих философах, хотя роль некоторых из них в ряде случаев была исключительной (это относится, например, к А.А.Зиновьеву, имя которого я уже неоднократно упоминал в этом предисловии). Во-вторых, потому, что о некоторых философах, деятельность которых была значительной, просто не удалось написать специальных текстов, отдельные сюжеты истории нашей философской мысли в эти годы не изучены достаточно основательно. Поэтому данная книга не обстоятельная монография, а очерки, подготовительный материал для будущей истории. Все же, как представляется, такая книга имеет смысл. Ведь нужно как-то начинать осмысливать наше недавнее прошлое. Кажется, что мы уже созрели для этого. Это нужно и для того, чтобы освободиться от старых и новых мифов, и для того, чтобы отдать дань памяти тем замечательным людям, которые жили, страдали и творили в трудное время.

В книгу вошли в основном статьи, опубликованные в последние годы в журнале «Вопросы философии». Некоторые статьи написаны специально для данного издания.

Публикуемые материалы делятся на две части. В первой обсуждаются общие вопросы, характеризующие ситуацию, в которой жили и работали философы в эти годы. Вторая часть посвящена анализу творчества отдельных мыслителей.

В.А.Лекторский

ЧАСТЬ I

Философия в Москве в 50-е и 60-е годы

Эта статья, еще не появившись, обрела некоторую историю. В марте 1992 г. мне удалось встретиться в Лондоне с моим старым университетским другом Александром Моисеевичем Пятигорским, который вот уже много лет работает в Школе ориенталистики Лондонского университета. Возникла мысль записать на магнитофон нашу беседу о философском образовании, которое мы получили в стенах Московского университета в конце 40-х — начале 50-х годов. (А.М.Пятигорский учился на факультете в 1947—1952 гг., а я — в 1951—1956 гг.) Однако из-за недостатка времени удалось записать только очень интересный, на мой взгляд, рассказ А.М.Пятигорского на эту тему. Этим материалом заинтересовался журнал «Свободная мысль», и в процессе его подготовки к печати меня попросили сделать дополнение к рассказу А.М.Пятигорского. Я начал работать, редакция меня, естественно, подгоняла, и в конечном итоге получилось так, что один из первых вариантов первой части моего дополнения попал в набор. Когда же я, наконец, посчитал, что я закончил свою работу, было поздно — интервью с А.М.Пятигорским и мое дополнение были подписаны в печать, и этот материал был опубликован в № 2 журнала «Свободная мысль» за 1993 г. (Александр *Пятигорский*, Вадим *Садовский*. Как мы изучали философию. Московский университет, 50-е годы).

Убежден, что читатель оценил — на самом деле не интервью, а блестящее эссе Александра Моисеевича Пятигорского. Вместе с тем — и это хорошо понятно каждому автору — мое далеко не законченное дополнение меня никак удовлетворить не могло. Было найдено такое решение: редакция «Свободной мысли» не возражает, а журнал «Вопросы философии» любезно предлагает опубликовать мою статью в полном объеме.

В своем интервью, опубликованном в журнале «Свободная мысль», А.М.Пятигорский очень ярко обрисовал жизнь философского факультета МГУ в конце 40-х — начале 50-х гг. Этот рассказ не может оставить равнодушным никого, кто в то время или немного позже переступил порог старого здания университета на Моховой, где и располагался тогда факультет. С основными утверждениями Александра Пятигорского я согласен. Он совершенно прав, давая весьма высокую оценку уровню предложенного нам в то время философского образования — факультет действительно заложил в нас основы философского профессионализма. Прав он и в том, что на факультете мы смогли пройти и «второй» университет — школу реального философского и гражданского, человеческого общения, и в этом отношении поколение студентов-философов, учившихся в 50-е гг., впрочем, и последующие поколения, испытали на себе мощное влияние ярких, талантливых, хотя и очень молодых в то время философов: Эвальда Васильевича Ильенкова, Валентина Ивановича Коровикова, Александра Александровича Зиновьева, Бориса Андреевича Грушина, Георгия Петровича Щедровицкого, Мераба Константиновича Мамардашвили и некоторых других.

И вместе с тем совершенно справедливо сказал Мераб Мамардашвили в одном своем интервью, опубликованном уже после его кончины: «...в нашем случае вы имеете дело с абсолютно ограбленными и голенькими людьми. Мы были людьми, лишенными информации, источников, лишенными связей и преимущественности культуры, тока мирового, лишенными возможности пользоваться преимуществами кооперации, межличностной кооперации, когда ты пользуешься тем, что делают другие, когда дополнительный эффект совместности, кооперированности дан концентрированно, в доступном тебе месте и мгновенно может быть распространен на любые множества людей, открытых для мысли. Этого всего нет, понимаете?»¹ — буквально вопиет Мераб, обращаясь к интервьюеру.

Итак, философский факультет МГУ — одно из наиболее догматизированных учебных заведений, так сказать, позднего и до чрезвычайности разветвленного, все-

¹ Мамардашвили М.К. Начало всегда исторично, т.е. случайно // Вопросы методологии. 1991. № 1. С. 48.

сокрушающего сталинизма, и вместе с тем этот факультет дает достаточно высокий уровень профессионального философского образования. Закончившие факультет молодые философы получают хорошую профессиональную подготовку, и одновременно они — «абсолютно ограбленные и голенькие люди», лишенные доступа к современной философской информации. Как это совместить и как это объяснить? Ведь и то, и другое, и третье совершенно правильно.

Для того чтобы ответить на эти вопросы, я сформулирую некоторые, мне кажется, достаточно очевидные положения, без учета которых, однако, трудно понять, что же происходило в советской философии в конце 40-х — начале 50-х годов. Первое: за тридцать лет от 1917 года и до конца 40-х годов *философская традиция в России была практически разрушена*. Действительно, философия, которая была допущена — именно допущена — в марксизме в конце 40-х — начале 50-х годов, и мировая философская мысль начала и середины XX в. имели мало общего между собой. Этапы этого процесса хорошо известны: начало было положено высылкой из России ведущих русских философов в 20-х годах, а закончилось все это философским цитатником в «Кратком курсе истории ВКП(б)» и физическим уничтожением многих и многих творческих философов.

И несмотря на все это — я формулирую мое второе утверждение, — *философская мысль в стране все же сохранилась*. Если бросить взгляд на философское сообщество в СССР первых двух послевоенных десятилетий (с 1945 г. и до начала 60-х гг.), то в нем легко просматриваются три действующих в это время поколения: небольшая группа сохранившихся — буквально чудом — философов старшего поколения (их деятельность начиналась еще в 20-е и 30-е гг.), ифлийцы (так себя называли слушатели Московского института истории, философии и литературы, существовавшего в 1931—1941 гг.) — поколение людей, родившихся в 20-е годы, прошедших войну и завершивших свое философское образование или перед самой войной, или вскоре после ее окончания уже на философском факультете МГУ, и, наконец, поколение философов конца 40-х—50-х гг. (думаю, что всех, кто учился в это время на факультете, завершал его или только начинал учебу, можно объединить в одну группу: их профессиональные философские судьбы очень близ-

ки). Именно к этому поколению отношусь я, а также мои сокурсники, товарищи и коллеги. Скажу сразу же, что вот студенты-философы 60-х и более поздних годов — это уже другие, скажем, четвертое, пятое и т.д. поколения.

Наконец, мое последнее утверждение: философское образование — это, конечно, далеко не только сумма знаний, полученных на лекциях и семинарах за пять, а с учетом аспирантуры — за восемь лет пребывания в университете. Говоря это, я имею в виду не абсолютно тривиальное утверждение о том, что учиться можно и должно всю жизнь. Нет, речь идет о профессиональном образовании, минимально необходимом, для того чтобы начать самостоятельную жизнь в философии. И мое третье утверждение состоит в том, что в условиях разрыва *русской философской традиции* поколению философов конца 40-х—50-х годов потребовался значительно больший срок, больше усилий и труда, чем это требуется обычно для того, чтобы получить минимально необходимую для философа сумму знаний, приобрести навыки философствования и более или менее встать на свои ноги.

Теперь я постараюсь ответить на сформулированные ранее вопросы. И начать я должен с идеологической атмосферы на факультете в то время. Без этого ничего понять нельзя. Сказать, что эта атмосфера была ужасной, — почти ничего не сказать.

Вторая половина 40-х — начало 50-х гг. — это пик коммунистического идеологического мракобесия. Дискуссии, ничем не отличающиеся от судебных процессов, шли одна за другой (по философии, по биологической науке, по журналам «Звезда» и «Ленинград», по физике, кампании борьбы с космополитизмом и т.п. и т.д.). На факультете, впрочем, как и во всей стране, господствовал не знающий никаких пределов дух сталинского догматизма и террора, с удивительной легкостью превращающий белое в черное, а черное — в белое, а людям, тем, кто еще был способен высказать хотя бы самое робкое сомнение относительно таких манипуляций, грозила неминуемая кара, нередко равносильная праву на жизнь. Вот такая абсолютно ирреальная жизнь была уделом всех на факультете — и студентов и преподавателей. Я не смогу найти ярких и точных слов, для того чтобы описать эту атмосферу. Да, впрочем, этого делать и не

надо, в последние годы многие авторы это сделали блестяще, и лучше всех, я считаю, А.И.Солженицын в «Добавлении 1978» к исходной части своих очерков литературной жизни «Бодался теленок с дубом». В этом «Добавлении» А.И.Солженицын описывает две встречи в ЦК КПСС с творческой интеллигенцией в декабре 1962 г. и в марте 1963 г.¹ Разница во времени в целое десятилетие не должна вводить в заблуждение. (Впрочем, и в 70-е годы в этом отношении мало что изменилось. Стоило бывшему выпускнику философского факультета Юрию Александровичу Леваде в конце 60-х годов сделать попытку найти реальное место и действительную проблематику социологии в системе философских знаний, и он был отлучен от философии и социологии — да без малого лет на десять.) Идеологические шабаши на самых верхах всегда проводились с небывалым размахом и цинизмом, и «даже глотка того воздуха... из тех залов», которым дает возможность подышать «опоздавшим» А.И.Солженицын, вполне достаточно, чтобы зримо вообразить себе идеологическую атмосферу и в 40-х и 50-х годах. (Ранее я объединил студентов философского факультета конца 40-х и 50-х гг. в одно поколение. Думаю, что это правильно, если иметь в виду их профессиональную философскую судьбу — а именно это меня больше всего интересует в данном случае. Однако нельзя сбрасывать со счетов очень существенного различия в идеологической атмосфере, которая была на факультете, да и во всей стране, в 40-е и 50-е годы. Вторая половина 40-х гг. и самое начало 50-х (до смерти Сталина) — это, пожалуй, чуть ли не высшая ступень идеологического мракобесия во всей российской истории, и это не могло не сказаться на всех сторонах философской жизни, включая преподавание философии. После же смерти Сталина ситуация стала меняться, очень медленно, часто зигзагами и долголетним попятным курсом, но все же меняться, хотя серьезные ощутимые результаты наступили только через 30—40 лет.)

Что же касается нас, студентов философского факультета 50-х годов, то память сохранила такие перлы нашей идеологической обработки.

¹ Солженицын А.И. Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни // Новый мир. 1991. № 11. С. 41—56; цитата взята со с. 42.

Семинар по истории партии — где-то в конце 1952 или в начале 1953 г. Преподаватель — хорошо известный в МГУ человек, абсолютно твердокаменный сталинист. Задает вопрос группе: «Как стоит наша партия?» Первый студент что-то отвечает — не то (остается стоять, и дисциплину надо безусловно прививать). Вторым, третьим, четвертым... все не то. Вот уже большая часть группы стоит, пока, наконец, кому-то не приходит в голову: «Как утес». Забывшим или вообще никогда не слышавшим этого поясняю: это из речи И.В.Сталина над гробом В.И.Ленина.

Лекция по истории русской философии. Лектор — один из «корифеев» советской философии того времени. Студенты его спрашивают: «На прошлой лекции Вы сказали, что М.В.Ломоносов был атеистом. Мы прочитали к семинару некоторые его работы, там непрерывно упоминается Бог. Как это совместить?» Ответ: «Подумайте сами, если не М.В.Ломоносов, то кто же из русских мыслителей XVIII в. мог быть атеистом?»

Приведу еще один пример (из запомнившихся рассказов А.А.Зиновьева). Его сокурсник, способный студент с хорошей памятью, конспектов никогда не писал, все нужное запоминал и к тому же хорошо осознал пользу дедуктивного метода. На экзамене ему попадается такой вопрос: «Работа (конечно, «Сочинение») И.В.Сталина "Три особенности Красной армии"». Ему все ясно, уверенно отвечает, но забывает о том, что особенностей-то у Сталина три, и, когда он спокойно начинает раскрывать суть седьмой особенности упомянутой армии, преподаватель не выдерживает и кричит ему: «Вон!» Прекрасная иллюстрация естественной студенческой приспособляемости к господствующей тогда на факультете идеологической атмосфере.

Хорошо понятно, как звучали для нас в такой ситуации голоса очень небольшого числа лекторов первого из ранее названных мною поколений, т.е. поколения философов 20—30-х годов. В этой связи я должен прежде всего назвать Валентина Фердинандовича Асмуса, Александра Сергеевича Ахманова, Ореста Владимировича Трахтенберга, Михаила Александровича Дынника, Павла Сергеевича Попова, Сергея Леонидовича Рубинштейна, Александра Романовича Лурию, Алексея Николаевича Леонтьева, Софью Александровну Яновскую и, возможно, некоторых других. (Хочу предупредить чита-

теля о том, что мои заметки ни в коей мере не претендуют на полное и тем более объективное описание событий советской философской жизни того времени. Это рассказ о моих субъективных и, конечно, в чем-то ошибочных восприятиях, и поэтому, называя те или иные имена, я, несомненно, кого-то упустил — не знал, забыл, неправильно оценивал и т.п., может быть, даже и очень важные фигуры.

Необходимо сделать еще одну оговорку. Мой рассказ о философии и философском образовании в 50—60-е годы субъективен еще в одном отношении. На все описываемые события я смотрю с точки зрения моих философских предпочтений, т.е. в контексте всегда меня интересовавших проблем гносеологии, логики, философии науки. Рассказ об этих событиях и проблемах, проведенный из других философских ниш, будет, конечно, в чем-то отличаться от моего.) Конечно, это были разные люди — и профессионально, и с той точки зрения (очень важной всегда и тем более в то время), насколько они сохранили гражданское мужество и научную честность. К сожалению, на память приходят эпизоды, когда некоторые из названных мною философов и психологов старшего поколения вели себя далеко не самым лучшим образом — они так же, как и все остальные, были жертвами того режима, при котором жили (в этой связи я хочу рассказать об одном событии из моей жизни. В конце 50-х или в самом начале 60-х годов философская редакция Издательства иностранной литературы попросила Алексея Федоровича Лосева дать рецензию на мой пробный перевод одной из книг Р.Карнапа. После того, как А.Ф.Лосев высказал свои соображения по поводу моего перевода, зашел разговор о том, что происходит в московской философской жизни. Алексей Федорович только начинал свое второе, блестящее вхождение в русскую философию. В разговоре речь шла о многих разных сюжетах, и я очень хорошо помню, как он, в частности, сказал: «Я очень давно знаю Валентина Фердинандовича Асмуса, еще с того времени, когда он был в Киеве. В.Ф.Асмус — очень талантлив, но он во многом растерял свой талант». Если это справедливо по отношению к одному из лучших профессоров Московского университета 40—50-х гг. (а я думаю, что это так: никто из тех, кто в те годы остался работать в философии, не мог избежать убийственного воздействия сталинистской догма-

тики и страха перед террором), то что можно сказать об остальных), но мы далеко не всегда можем быть судьями их поступков. (Однако знать об этих поступках мы, конечно, должны. И скажу, что очень горько было узнать о той преступной роли, которую, по свидетельствам некоторых последних публикаций (опровержений этих свидетельств я не видел), сыграл в судьбе Алексея Федоровича Лосева профессор кафедры логики того времени П.С.Попов. Но ведь известно также, что П.С.Попов сохранил чуть ли не единственный рукописный экземпляр «Мастера и Маргариты» М.Булгакова. Поистине злодейство и мужество в одном лице.) Очень важно, однако, то, что большая часть из них вела себя, как правило, достойно, а в профессиональном плане они смогли передать — действительно в чудовищных условиях (эти условия были таковы, что практически все, что было опубликовано в СССР по философии в 30-е — 50-е годы, было не только и не столько марксистско-ленинским идеологическим комментарием к философским проблемам, а просто находилось вне науки. Не смогли этого избежать и многие из названных мною лучших представителей старшего философского поколения того времени. Важно, однако, было не то, что они писали, а *что они говорили, позволяли себе говорить даже в студенческой аудитории*) — свои знания и свое понимание реальной философии сначала поколению философов-ифлийцев, затем нам, а в некоторых случаях и последующим поколениям. Выражаясь несколько высокопарно (но, думаю, верно), можно сказать, что *они сохранили последние нити угасающей философской традиции в России.*

Тогда, в конце 40-х — начале 50-х годов, мы знали только упомянутых мною профессоров старой школы, допущенных до работы на философском факультете, правда, как правило, где-то на его периферии — спецкурсы, семинары и т.п. и очень редко — большие лекционные аудитории (впрочем, нас это совершенно не смущало, и их голоса находили благодарных слушателей). Теперь мы уже знаем, и об этом ни в коем случае нельзя не сказать, что вместе с ними заслуга сохранения в стране традиции философского мышления не в меньшей, а нередко даже в большей степени принадлежала и тем философам старшего поколения, которых в то время не допускали до факультета или выгнали с факультета и которые были вынуждены работать часто в учреждении

ях, далеких от философии (а многие из них провели годы и годы в сталинских лагерях), но тем не менее находили учеников, работали, писали. И в первую очередь здесь следует назвать Алексея Федоровича Лосева, Михаила Михайловича Бахтина, Константина Спиридоновича Бакрадзе... Не допускались до факультета тогда и яркие философы, которые жили и работали в Москве, но имели ярлык неблагонадежности, как, например, Бонифатий Михайлович Кедров. Мы должны благодарить судьбу за то, что позже, часто через много лет после окончания факультета, нам удалось познакомиться с ними как личностями и мыслителями.

Значительно большую часть наших преподавателей (в то время именно преподавателей, а не профессоров) составляли философы того поколения, которое я назвал ифлийцами. Я не претендую на точность, вполне возможно, что среди имен, которые я сейчас назову, кое-кто никакого отношения к ИФЛИ вообще никогда не имел, однако и истинные ифлийцы, с которыми нам посчастливилось общаться, и преподаватели-философы того же самого поколения, не прошедшие школу ИФЛИ, но воспринявшие дух ифлийцев, были очень близки по своей судьбе (как и мы, философы 50-х годов, по своей). Стремление приобщиться к философии, прерванное войной, фронт, в других случаях — далеко не легкий тыл, возможность закончить философское образование в первые послевоенные годы, удушающая атмосфера догматизма и уничтожение истинной философии и попытки — для лучших из них — вырваться из этого ада — такова их общая судьба. И вот именно философы этого поколения, тогда, конечно же, молодые люди, оказались нашими, так сказать, каждодневными преподавателями — они вели семинары, читали лекции, руководили курсовыми и дипломными работами. Конечно, если даже старшее поколение философии не могло избежать тлетворного воздействия на него сталинизма (что было абсолютно невозможно), то его разлагающее влияние тем более сказывалось на тех, кого я условно назвал ифлийцами; но я не собираюсь вспоминать о слабых духом, полностью поддавшихся такому влиянию, и тем более о мерзавцах (были и такие), доносителях (на студентов проще и практически безнаказанно, а сколько судеб было сломано — каждый курс, особенно в 40-х, да и 50-х гг., может легко вспомнить (даже в середине 50-х годов достаточно

было доноса одного из очень «активных» тогда преподавателей, и только что поступивший на факультет Петр Гелазония, уже сумевший проявить свои несомненные способности, был вынужден распрощаться с факультетом *навсегда*) и прохиндеях (это слово тогда широко и очень точно использовалось). Я говорю только о лучших из ифлийцев, которые помогали нам познавать философию и нередко демонстрировали примеры гражданского мужества.

Назову наших преподавателей-ифлийцев, которые оказали наибольшее влияние на нас. На младших курсах нам удалось общаться с В.П.Калацким, М.Я.Ковальзоном, В.Ж.Келле. Владимир Петрович Калацкий — совершенно невозмутимый и почему-то всегда очень грустный — вел у нас семинары по историческому материализму. В этой дисциплине, как известно, идеология полностью подавляла даже имеющееся в ней мизерное научное содержание, но он умудрился, кроме всего прочего, ввести нас в философский мир молодого Маркса (тогда и понятия такого вообще не было). Реактивный, громкий, всегда готовый к шутке и импровизации, Матвей Яковлевич Ковальзон заставлял нас — неслыханное дело для тех времен — думать, а не повторять заученное наизусть (М.Я.Ковальзон был преподавателем от Бога, и он оставил о себе светлую и очень теплую память. Он трагически погиб в начале 1992 г., и у его гроба собрались бывшие его студенты, буквально начиная с конца 40-х гг.). Несколько меньше мы знали Владислава Жановича Келле, но это не значит, что мы не смогли его оценить и почувствовать исходящие от него благотворные импульсы. На нашем курсе, если я не ошибаюсь, не работал Даниил Исаакович Кошелевский, но он был очень заметной фигурой на факультете того времени, и нам также посчастливилось — так или иначе — общаться с ним.

Формальную аристотелевскую логику мы постигали с помощью Евгения Казимировича Войшвилло и Анатолия Александровича Ветрова. И в этом случае нам повезло — эти преподаватели не только привили нам вкус к логическим рассуждениям, но и смогли убедительно показать принципиальную философскую значимость формальной (в отличие от диалектической) логики. Конечно, все это делалось тогда, скажем так, очень «мягко». Запоминающиеся лекции по истории философии (справедливости ради следует сказать, что, живя в усло-

виях чудовищного философско-информационного голода, мы, тем не менее, имели такое уникальное учебное пособие по истории философии, как «серая лошадь» — «История философии» в трех томах (1940—1943). Даже по сегодняшним меркам этот трехтомник не безнадежно устарел. В наше же студенческое время он считался хорошим философским сочинением, к тому же окруженным ореолом таинственности. Сначала Сталинская премия, затем — в 1944 г. — специальное постановление ЦК партии по третьему тому, посвященному немецкой классической философии XIX в., лишение авторов Сталинской премии и т.п. В этой связи хочу обратить внимание читателей на одну интересную деталь: в упомянутом постановлении ЦК ВКП(б) клеймит немецкую классическую идеалистическую философию как «аристократическую реакцию на французский материализм и Французскую революцию», и в то же самое время — в 1943—1944 гг. — Карл Поппер, исходя из принципиально противоположных философских и социальных позиций, в своей блестящей книге «Открытое общество и его враги» (впервые опубликована в 1945 г.) пишет: «Я утверждаю, что гегелевская диалектика в основном была создана с целью исказить идеи 1789 г.» (Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2-х томах. М., 1992. Т. 2. С. 53). Поистине бывают в жизни ситуации (в данном случае — смертельная схватка с фашизмом), когда крайности сходятся), в частности по истории развития философских воззрений К.Маркса и Ф.Энгельса, читал Теодор Ильич Ойзерман. В лекциях Юрия Константиновича Мельвиля, Игоря Сергеевича Нарского и Василия Васильевича Соколова через прочную завесу неизбежного тогда идеологического тумана мы смогли получить и первые представления о реальных проблемах западной (буржуазной, конечно же) философии XX в. На старших курсах мы смогли оценить не только глубину философских знаний Эвальда Васильевича Ильенкова, Валентина Ивановича Коровикова, Галины Сергеевны Арефьевой и Валентины Ивановны Бурлак, но и их смелую гражданскую и человеческую позицию (об этом позже я скажу более подробно). В самом конце нашего пребывания на факультете в университете вновь появился Михаил Федотович Овсянников (я говорю «вновь», так как он, насколько я знаю, работал на факультете в 40-е гг., был изгнан, работал, по-моему, в Московском областном педагогическом ин-

ституте и теперь — наступала хрущевская оттепель — смог возвратиться в университет). Знаток философии Гегеля и хороший специалист по эстетике, он сразу завоевал наши симпатии. И, наконец, психология — нам, философам, этот курс читал Петр Яковлевич Гальперин, университетский профессор в истинном смысле этого слова (хотя тогда, если не ошибаюсь, только доцент), чрезвычайно убежденно рассказывающий нам о своем любимом детище — о разработанной им психологической концепции деятельности.

Для того чтобы завершить представление лучшей части профессуры того времени, следует, конечно, к только что названным нашим преподавателям-ифлийцам добавить и работавших в то время на факультете профессоров старшего поколения (это я сделал ранее) и сказать хотя бы буквально несколько слов о нередко очень ярких преподавателях смежных с философией дисциплин. В этой связи я не могу не упомянуть Николая Николаевича Пикуса и Сергея Львовича Утченко — глубоких знатоков истории античного мира, Евгению Владимировну Гутному, с блеском читавшую лекции по истории средних веков, а также очень молодого в то время Тасио Мансилья, преподавателя политэкономии капитализма. О последнем скажу еще несколько слов. Испанская война забросила его в СССР в середине тридцатых годов, фактически ребенком он перенес все тяготы военного времени — буквально выжил чудом, в конце сороковых годов смог закончить Московский университет, советская действительность не уничтожила в нем истинного испанца — смелого, решительного, честного, не терпящего никакой несправедливости. Вот таким он и был с нами — образцом научности — в своем очень противоречивом предмете — и примером человечности (судьба столкнула меня с Тасио Мансилья много лет спустя. В первой половине 80-х гг. мы несколько лет жили с ним на соседних дачах. За прошедшие годы он многое повидал и пережил: Куба, Испания, СССР; очень тяжело воспринимаемые им противоречия между КПСС и Испанской компартией; МГУ и Ленинская школа; новые веяния в экономической науке и т.п. и т.д., но до самой своей смерти (Т.Мансилья скоропостижно скончался несколько лет тому назад) он оставался самим собой — исключительно трудолюбивым человеком, экономистом-теоретиком, глубоко страдающим от многих сторон со-

ветской действительности и постоянно открывающим для себя новые аспекты марксова анализа экономической системы капитализма).

Я не могу завершить рассказ о наших факультетских преподавателях, не сказав хотя бы несколько слов об их нравственном, гражданском поведении. На факультете тех времен, как и во всей стране, страх, предательство и доносительство были чуть ли не нормой. И вместе с тем многие из преподавателей вели себя в высшей степени достойно, сохраняя высокую человечность и нередко оберегая нас от опасностей. Приведу только один пример. На всю жизнь я запомнил обсуждение моего реферата по философии на первом курсе (весна 1952 г.) с руководителем семинарских занятий по диалектическому материализму Бограчевым (кажется, его звали Евгений Михайлович, но, каюсь, могу и ошибиться; он был больным человеком — сердце — и очень скоро умер). В качестве темы реферата я выбрал критику В.И. Лениным иероглифизма Г.В. Плеханова. Прочитал соответствующие работы Г.В. Плеханова (его сочинения, как ни странно, все же были в факультетской библиотеке) и пришел к выводу, что Плеханов в основном прав, настаивая на знаковом (иероглифическом) характере фиксации человеческого знания, что и написал в реферате. Мой преподаватель был по-человечески всем этим расстроен и, оставив меня одного, буквально умолял не делать глупостей, смысл которых в то время я даже не понимал. Конечно, так было далеко не всегда, но человеческая порядочность, а в то время ее нелегко было проявлять, несомненно, всегда сохранялась на факультете.

Теперь расскажу о трех очень важных событиях, которые произошли на факультете в середине 50-х годов и оказали очень большое влияние и на наше философское воспитание, и на жизнь философского факультета, и — не думаю, что это преувеличение, — на развитие советской философии в целом. Я имею в виду защиту Э.В. Ильенковым кандидатской диссертации, посвященной проблеме абстрактного и конкретного в марксовом «Капитале» (позднее основное содержание своей кандидатской диссертации Э.В. Ильенков опубликовал в книге «Диалектика абстрактного и конкретного в "Капитале" К.Маркса» (М., 1960). Эта книга разительно отличалась от подавляющего большинства философских изданий того времени (как правило, просто идеологической маку-

латуры) и совершенно заслуженно получила очень большую и благодарную читательскую аудиторию, безусловно, не только философскую), обсуждение на факультете так называемых «тезисов гносеологизма» и защиту А.А.Зиновьевым кандидатской диссертации на тему «Метод восхождения от абстрактного к конкретному в "Капитале" К.Маркса». Эти события теснейшим образом связаны между собой.

Я, естественно, не стремлюсь, да и не могу претендовать по ряду причин на более или менее полное описание этих событий. Во-первых, мой взгляд на них — это взгляд студента того времени, которому лишь посчастливилось к ним прикоснуться, но который, конечно, не мог играть в них сколько-нибудь значительной роли, и, во-вторых, меня в данном случае интересуют не столько эти события сами по себе (но об этом я обязательно кое-что скажу), сколько их поистине огромное значение в философском образовании студентов 50-х годов.

Сначала все же следует сказать о том, что эти события означали теоретически. У Э.В.Ильенкова главный побудительный импульс, с моей, скорее сегодняшней, точки зрения, состоял во внесении хотя бы простейших элементов научности в существовавшую тогда интерпретацию марксистской философии и в проведении последовательной линии философского антиэмпиризма, стимулированного, конечно же, Гегелем, глубоким знатоком которого Ильенков был. Диалектика абстрактного и конкретного в понимании Ильенкова свое главное острие обращала против локковского эмпиризма, бездумно (без учета всего последующего развития философии) перенесенного в ортодоксальную философию марксизма того времени. (В этой связи крайне симптоматичен следующий эпизод, имевший место много лет спустя после описываемых мною событий. Во время защиты Э.В.Ильенковым докторской диссертации в середине или в конце 60-х годов (защита происходила в Институте философии и имела большой успех — зал был забит до такой степени, что диссертант и председатель Ученого совета П.В.Копнин с большим трудом в него вошли) официальный оппонент Арсений Владимирович Гулыга (тоже, кстати сказать, ифлиец) сделал лишь одно критическое замечание: «У диссертанта есть некоторые нелады с русским языком. Нарушая правила этого языка, диссертант во всех случаях пишет слово "логика" с прописной бук-

вы — "Логика", а слова "Рассел, Витгенштейн, Карнап" — со строчных букв и к тому же во множественном числе — "расселы, витгенштейны, карнапы"». Таков был Ильенков, таков был его философский стиль. Не было бы этого стиля — не было бы, думаю, и Ильенкова.) Думаю, что это стремление придать философии марксизма теоретический, научный характер (благодаря чему она могла бы превзойти всех своих конкурентов — чем черт не шутит — вспомним реальный глубочайший информационный философский вакуум, в котором жило тогда советское философское сообщество) действительно было тем стержнем, за который ухватились многие, кто увидел в этом призыве возможность реально творчески работать в философии.

Отсюда, кстати сказать, как логическое следствие возникли и «тезисы гносеологизма». Насколько я знаю, авторство этих тезисов принадлежало Э.В.Ильенкову и В.И.Коровикову (во всяком случае, когда эти тезисы были отвергнуты официальными факультетскими «корифеями», именно они — Ильенков и Коровиков — были подвергнуты главным гонениям). Основные мысли этих тезисов были до удивления просты и привлекательны (их принятие несомненно означало возможность реального творчества в философии). Следует отказаться от безудержного онтологизма, который губит философию, лишая гносеологию автономности и, по сути дела, ликвидируя ее. Это тем более необходимо, что ведь и классики марксизма, в частности Энгельс, совершенно недвусмысленно настаивали именно на этом (типичный и очень сильный аргумент для того времени). Чтобы это осознать, достаточно прочитать известное утверждение Ф.Энгельса, высказанное в конце его работы «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии», по сути дела, его заключительный вывод: «За философией, изгнанной из природы и из истории, остается, таким образом, еще только царство чистой мысли, поскольку оно еще остается: учение о законах самого процесса мышления, логика и диалектика» (*Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 316.* Это утверждение Ф.Энгельса действительно было камнем преткновения для ортодоксальной философии марксизма — отказаться от него нельзя (классики безошибочны), но как интерпретировать?). Ergo, гносеология есть суть философии, и марк-

сизму ради его же блага следует исходить из этого тезиса.

Факультет — а это было, если не ошибаюсь, в конце 1954 — начале 1955 г. — буквально взбурлил. Возбужденные аспиранты и студенты, почувствовавшие реальный творческий философский дух, преподаватели, да нередко маститые, — все стремились познакомиться с этими тезисами, обсуждали их, комментировали, в большинстве соглашались с ними (независимо от того, насколько ясен и понятен был их смысл, — в данном случае я говорю о еще мало философски искушенных студентах). Состоялось одно или два публичных обсуждения этих тезисов, в целом благоприятных для их авторов. На одном из них — это я помню хорошо — А.А.Зиновьев буквально потряс аудиторию своей корректировкой одиннадцатого тезиса Маркса о Фейербахе: «Если раньше философы только объясняли мир, то теперь они не делают и этого». (Другой, не менее яркий зиновьевский афоризм, имеющий, кстати сказать, самое непосредственное отношение к содержанию тезисов гносеологизма, был им придуман, как мне кажется, позже: «Материя есть объективная реальность, данная нам Богом в ощущениях».) Эйфория, однако, была недолгой. Хотя Сталина в то время уже не было, да и бериевские застенки вроде бы стали исчезать, но расправа с философскими «ревизионистами» на факультете была проведена по всем классическим сталинистским канонам. Пара заседаний партбюро (я видел однажды состояние В.И.Коровикова после этой процедуры — стойкий человек, но можно было представить, что пришлось ему там выслушать), никаких, конечно, публичных обсуждений, ну а затем санкции — В.И.Коровикова изгнали из факультета и, что больше чем преступление, *изгнали из философии навсегда* (он стал прекрасным журналистом-международником), Э.В.Ильенкова лишили права преподавания на факультете (он уже работал в Институте философии — это несколько уменьшило его травмы на факультете, но, безусловно, соответствующие акции были предприняты и в Институте философии), наиболее замеченных в злонамеренных побуждениях аспирантов и студентов примерно наказали, досталось и преподавателям, проявившим «идейную незрелость». Но остановить процесс философского возрождения в стране уже было невозможно.

Следующим серьезным потрясением, которое пережил в те годы философский факультет, была защита А.А.Зиновьевым кандидатской диссертации. В этой связи я хочу сказать следующее: А.А.Зиновьев, обладающий фантастической способностью воображения, смог вычленил (термин «вычленение» (кстати, совсем забытый сегодня) тогда был чуть ли не символом приверженности к новым веяниям в философии. Мы все что-то пытались вычленять у Маркса, Энгельса, Евклида, Декарта... Неудивительно, что официозы факультета воспринимали этот термин (ведь только слово — не больше) с глухой ненавистью) такое множество различных методологических приемов, якобы использованных К.Марксом при работе над «Капиталом», что в зиновьевской интерпретации методологически-теоретическая структура главного сочинения К.Маркса приобрела черты непревзойденного совершенства. Действительная научная направленность работы А.А.Зиновьева привлекла к ней всех, кто хоть в какой-то степени не утеряти способности или стремился к философскому творчеству. Это предопределило большой успех диссертации А.А.Зиновьева, несмотря на то, что от К.Маркса собственно в этой интерпретации осталось не очень много.

Можно, пожалуй, высказать и более общее утверждение. Если воспользоваться современной терминологией, то можно сказать, что диссертации Э.В.Ильенкова и А.А.Зиновьева, а также следующие за ними диссертации Б.А.Грушина о проблеме исторического и логического, М.К.Мамардашвили, посвященная анализу форм и содержания мышления, и выдвинутая в это время Г.П.Щедровицким концепция генетически-содержательной логики (в противовес логике диалектической, с которой никто не знал, что делать) — все это *звенья одной научно-исследовательской программы*. Эту программу, конечно, никто никогда не формулировал в явном виде, за исключением того, что в то время действовало совершенно непреложное условие: все, что можно было реально делать в философии, должно было делаться под сенью идей К.Маркса, Ф.Энгельса и В.И.Ленина (последний классик — я имею в виду только недавно усопшего Иосифа Виссарионовича — был уже не обязателен). Именно из этой установки исходили научные руководители этих диссертаций (в ряде случаев совершенно философски темные люди), соглашаясь с предлагаемыми

темами диссертаций, но то, что сделали диссертанты, им не снилось даже в страшном сне. Поэтому, например, научный руководитель диссертации А.А.Зиновьева, бесценный партийный секретарь факультета, буквально призвал все «идейно стойкие» силы факультета, для того чтобы приструнить зарвавшегося аспиранта, результатом чего оказался триумф А.А.Зиновьева и всех, кто его поддерживал. Во всяком случае истории с «тезисами гносеологизма» на этот раз не получилось, А.А.Зиновьев успешно защитил диссертацию и вскоре перешел на работу в Институт философии (в дальнейшем он и Э.В.Ильенков оказались центрами притяжения в этот институт всех, кто мог серьезно работать в философии, что в 60-е кардинально изменило философскую ситуацию в стране). (Я хорошо помню, что еще в то время у меня и многих моих товарищей сложилось убеждение, что по крайней мере в Московском университете философский факультет первым вступил на путь обновления. Позднее я не встречал опровержения этого мнения. В начале 50-х гг. все гуманитарные факультеты университета, кроме философского, как казалось, пребывали в догматической спячке. И неудивительно, что описываемые события на философском факультете привлекали многих нефилософов.)

Я возвращаюсь к мысли об особой исследовательской программе, реализованной Э.В.Ильенковым, А.А.Зиновьевым и другими названными философами. Конечно, принадлежность этой программы к марксову наследию для них не была уж столь важной (хотя сказать, что это обстоятельство совсем не учитывалось, было бы неправильно). Главное, что ими двигало, это *стремление творчески обогащать философию*, и, реализуя эту задачу, они создали совершенно новый пласт философского знания — теоретический продукт высокого уровня, который мог иметь отношение к наследию К.Маркса, а мог и не иметь и обладать гораздо большей философской общностью. О А.А.Зиновьеве, во многом отделившем метод восхождения от К.Маркса, было уже сказано. Б.А.Грушин, конечно же исходя из известных высказываний К.Маркса о соотношении логического и исторического, реальному исследованию подверг чуть ли не все известные тогда методы исторического анализа и действительно построил основы, скажем сейчас точнее, пусть не логики, но методологии исторического исследова-

дования¹. М.К.Мамардашвили, предметом исследований которого были проблемы формы и содержания мышления, анализа и синтеза, также, конечно, в исходном пункте опирался на Гегеля и Маркса, но он уже в те годы был глубоким знатоком современной западной философии, и созданный им продукт был достоянием именно современного философского знания, а отнюдь не только новой интерпретацией марксовых идей². Аналогичным образом и Г.П.Щедровицкий (он, кстати сказать, не имел никаких шансов — из-за своей еще студенческой позиции — попасть в аспирантуру, и в середине 50-х гг. ему вообще — такие были нравы — запретили появляться на факультете, дабы не сбивал с толку студентов) в развиваемой им в те годы генетически-содержательной логике обращался к К.Марксу разве что ритуально³.

Таким образом, оценивая содержательную, философски-теоретическую сторону интеллектуального взрыва на философском факультете в первой половине 50-х годов, я думаю, что мы с полным правом можем сказать, что усилиями названных молодых в то время философов был действительно совершен важнейший прорыв в советской, именно в советской, что, конечно, отнюдь не равнозначно мировой (этот момент надо особо подчеркнуть: развитие послевоенной советской философии шло в глубочайшей изоляции от хода развития мировой философии. Поэтому оценку полученных в это время советскими философами результатов следует проводить и с точки зрения внутреннего развития советской философии, и с точки зрения развития мировой философии. Последнюю задачу еще предстоит решить) философии, была реализована некая научно-исследовательская программа, приведшая в конечном счете к реформированию догматического марксизма. Показательно в этом отношении то, что все идеи, выдвигаемые этими философами, первоначально воспринимались официальной философией, как правило, в штыки — с большим или меньшим осуждени-

¹ См.: *Грушин Б.А.* Очерки логики исторического исследования. М., 1961.

² См.: *Мамардашвили М.К.* Процессы анализа и синтеза // Вопросы философии. 1958. № 2; *его же.* Формы и содержание мышления. М., 1968.

³ См.: *Щедровицкий Г.П.* «Языковое мышление» и методы его анализа // Вопросы языкознания. 1957. № 1.

ем, — но прошло буквально 5–10 лет, и эти идеи оказались неотъемлемой частью стандартных курсов философии, философских программ, учебников, энциклопедий, философских словарей. (Весьма показательно, что, несмотря на большой успех диссертации А.А.Зиновьева, ему долгое время не удавалось опубликовать на русском языке основное содержание своей работы. Пожалуй, чуть ли не первая публикация на этот счет — это написанная им часть статьи «Восхождение от абстрактного к конкретному» для «Философской энциклопедии» (Зиновьев А.А. О логической природе восхождения от абстрактного к конкретному. В ст.: Восхождение от абстрактного к конкретному // Философская энциклопедия. Т. I. М., 1960. С. 296–298).)

Думаю, читателю легко представить себе, насколько сильно было воздействие на философское студенчество 50-х годов описываемых мною событий и особенно их главных действующих лиц. Мы действительно окунулись в подлинное университетское сотоварищество с его стремлением к знаниям, творчеству, деятельности. Очень важно было то, что герои этих событий — это почти мы, у нас разница по летам, ну, три–пять, максимум десять лет, это — наши старшие братья, умные, талантливые, смелые и решительные. Вместе с ними наша философская жизнь будет праздником, нам сейчас надо только одолеть этих ортодоксов, и философское будущее — наше, можно будет реально работать и, даст Бог, что-то создавать новое и значительное. Конечно, с точки зрения нашего философского образования, этот дарованный нам судьбой опыт бесценен. Если бы мы не получили его, мы бы вышли из университета во многом ущербными и обездоленными.

Такова была эта *очень важная, не единственная, конечно, но действительно очень важная составляющая нашего профессионального философского и человеческого образования*. Убежден, что она была существенной не только для нас, кто учился в середине 50-х, но и для более ранних и более поздних курсов. И поэтому Э.В.Ильенкова, А.А.Зиновьева, Б.А.Грушина, М.К.Мамардашвили, Г.П.Щедровицкого, к ним я обязательно хочу добавить В.В.Давыдова, мы с полным правом можем и должны считать нашими реальными учителями. Кончилось ли на этом наше философское образование?

Думаю, что нет. И по этому поводу я должен еще кое-что сказать.

После защиты диссертаций А.А.Зиновьевым и Б.А.Грушиным (М.К.Мамардашвили защищал свою диссертацию позже, года через два — он был моложе и учился в аспирантуре позднее) факультет померк. Как я уже говорил, Э.В.Ильенков и А.А.Зиновьев перешли на работу в Институт философии, Б.А.Грушин был вынужден пойти работать в «Комсомольскую правду» (где он начинал свою блестящую социологическую карьеру). На факультете, как казалось, вновь воцарилась мрачная атмосфера, но импульс был дан, и теперь уже ничто не могло его остановить.

Именно в это время главной действующей творческой силой на факультете оказалась аспирантура. С аспирантурой на философском факультете происходили весьма любопытные истории. В конце 40-х — начале 50-х годов выпускников факультета не очень жаловало партийно-государственное начальство в качестве преподавателей философии в вузах (зелены и не прошли достойной школы). Поэтому выпускников факультета направляли в школы (в школах работали А.А.Зиновьев, Г.П.Щедровицкий, А.М.Пятигорский, В.П.Зинченко и многие, многие другие; Борис Шрагин на Урале в то время преподавал в школе, где учился Эрих Соловьев), в техникумы, на предприятия, в библиотеки, а также в колхозы и совхозы. Но вместе с тем человек двадцать, как минимум, факультетское начальство оставляло в аспирантуре — особенно в начале 50-х гг. (кроме уже неоднократно упомянутых аспирантов первой половины 50-х годов — Э.В.Ильенкова, А.А.Зиновьева, Б.А.Грушина и др. — следует обязательно назвать также А.И.Умова, И.Б.Новика, Б.В.Бирюкова, В.И.Алексеева (трагически погиб в начале 50-х) и некоторых других. Каждый из них искал пути к реальной философии, в середине это уже пошло на убыль. И в конечном счете получилось так, что в 1953—1958 годах на факультете образовалась, не боюсь этого сказать, мощнейшая когорта аспирантов. Большинство из них прошло, так скажем, школу Ильенкова-Зиновьева, и — что очень важно — они были готовы, в большей или меньшей степени, продолжать эту линию.

Читателю, знакомому с современным российским философским сообществом, достаточно только назвать имена аспирантов того времени: Б.А.Грушин, А.Л.Суббо-

тин, М.К.Мамардашвили, Л.Н.Митрохин, В.В.Давыдов, Ю.Ф.Карякин, И.Т.Фролов, Е.Г.Плимак, Н.Б.Биккенин, А.Е.Бовин, Н.И.Лапин, И.К.Пантин, Б.М.Пышков, В.А.Смирнов, В.П.Зинченко, И.В.Блауберг, Б.С.Раббот, Н.С.Юлина, Л.С.Горшкова, А.Ф.Зотов, А.С.Богомоллов, А.Н.Чанышев и многие другие. И на факультете, прежде всего в результате их активности, происходили весьма значительные события.

Самым главным из них в те годы — самая середина 50-х гг. — было, несомненно, решительное восстание аспирантов и некоторых молодых преподавателей против произведенного партийно-философской элитой в конце 40-х — начале 50-х гг. изнасилования истории русской философии. То, чем в то время являлась русская философия, об этом сегодня даже страшно вспоминать. Но она была именно таковой, отрезанной от подавляющего большинства своих действительно творческих направлений, и в таком виде настойчиво вдалбливалась в умы не только студентов-философов, но и всей интеллигенции. В 40-е и 50-е гг. история русской философии в контексте пресловутой борьбы против космополитизма («Россия — родина слонов» — так можно передать основной смысл этого позорища) представляла собой не столько некую историко-научную дисциплину, сколько навязанную партийным начальством арену ожесточенной идеологической борьбы. В ней принимало активное участие подавляющее большинство философов, специалистов других общественных дисциплин. Буквально единицам (Э.В.Смирновой, З.А.Каменскому и, пожалуй, все) удалось как-то сохранить свое профессиональное лицо.

И вот против этого монстра решительно выступили аспиранты Ю.Ф.Карякин, Е.Г.Плимак, И.К.Пантин и молодые преподаватели кафедры истории русской философии (я уже упоминал их) Г.С.Арефьева и В.И.Бурлак. Факультет вновь забурлил, многочисленные обсуждения, активная поддержка сторонников, мобилизация ортодоксов. На этот раз события философского факультета смогли попасть в прессу (тогда это было совершенно необычно) — маленькую статью главных бунтовщиков опубликовала «Советская Россия» (это была совсем другая газета, чем сегодня). Конечный итог этих событий был не очень значительным — официальные столпы истории русской философии во главе с И.Я.Щипановым сохранили и свои посты, и свое понимание (скорее —

непонимание) русской философии, но можно твердо сказать, что переживаемый в настоящее время ренессанс русской философии в известной степени был подготовлен этими баталиями середины 50-х годов.

В это же время на факультете происходили и другие важные события. В памяти осталась, например, дискуссия по предмету философии, в которой вновь активную роль играли аспиранты тех лет. Ни в коей мере не претендуя на полноту описания жизни философского факультета конца 50-х годов, думаю, однако, что с полным правом можно сказать, что, опираясь на достигнутое ранее, творческие силы факультета того времени смогли сделать пусть маленькие, но все же явные шаги к возрождению истинного философского знания.

И теперь я могу сформулировать мое последнее — думаю, достаточно важное — утверждение о философском образовании в 50-е годы. Как уже было сказано не раз, мы все — и преподаватели, и аспиранты, и студенты — жили в то время в условиях чудовищного информационно-теоретического голода. Это касалось не только западной немарксистской литературы, но и информации о современных марксистских философских исследованиях (достаточно вспомнить, что в то время, хотя произведения «молодого Маркса» и были уже опубликованы, внимание к ним было минимальным). Единственный путь к реальному возрождению философии состоял в ликвидации этого информационного вакуума. И этот процесс начался в 50-е годы усилиями всех творчески мыслящих тогда философов. (Этому процессу помогли и некоторые, так сказать, внешние обстоятельства послесталинского периода — несколько легче стало знакомиться с современной западной философской литературой. Издательство Иностранной литературы именно в это время приступило к выпуску русских переводов ряда классических философских сочинений XX в. (Б. Рассел, Л. Витгенштейн, Р. Карнап, Ф. Франк и др.), хотя специфические и многие другие ограничения к доступу информации существовали еще очень долгое время.) Скажу иначе: *поколение философов 40—50-х годов (как, впрочем, во многом и поколение философов-ифлийцев) смогло завершить свое философское образование, буквально вытащив себя за волосы из пучины марксистского догматизма и вытащив — за счет самообразования — в те или иные области современного философского знания.*

Кому удалось это сделать, действительно пришли в философию и остались в ней, кому не удалось или кто даже не помышлял об этом, из философии ушли.

Процесс вхождения в современное философское знание и тем самым завершения своего образования был очень сложным. Он реализовывался самыми различными путями, но разговор об этом — это другая, не менее интересная, но другая история. Я не могу здесь ее затрагивать. Скажу только одно: этот процесс мог быть успешным только в том случае, если человек приобщался действительно к *универсальному философскому знанию* (конечно, к той или иной его области), а не к какому-то его отдельному направлению, течению или школе (например, только к марксистской философии). Я специально это говорю, потому что целый ряд талантливых молодых философов не смог вырваться из пут марксизма, и в результате они сильно обеднили свое творчество. Но очень много выпускников философского факультета 40-х и 50-х годов преодолели это препятствие, и их философская жизнь и творчество оказались, по моему мнению, гораздо более продуктивными.

Завершились 50-е годы. Поколение аспирантов того времени, а также студентов 50-х годов закончило свою учебу, и многие из них смогли — хрущевская «оттепель», несмотря на ее ущербность, действовала — попасть на реальную философскую работу. И в результате получилось так, что в конце 50-х — начале 60-х годов центры действительной российской (тогда — советской) философской жизни переместились в Институт философии АН СССР, в журнал «Вопросы философии», в журнал «Коммунист» (как это ни парадоксально), в Институт психологии Академии педагогических наук РСФСР и в некоторые другие учреждения — прежде всего в некоторые высшие учебные заведения (но не на философский факультет, который в то время переживал период упадка — сказалось, по-видимому, мощное напряжение предшествующих лет). (В это время, как мне представляется, на факультете было лишь два центра реальной философской жизни — кафедра истории зарубежной философии (Т.И.Ойзерман, М.Ф.Овсянников, Ю.К.Мельвиль, И.С.Нарский, В.В.Соколов, А.С.Богомоллов, А.Н.Чанышев, позже — В.Н.Кузнецов, П.П.Гайденок, Б.С.Грязнов, А.Ф.Зотов и др.) и кафедра логики (Е.Е.Войшвилло, А.А.Зиновьев, А.А.Старченко,

В.А.Смирнов, Е.Д.Смирнова, В.А.Бочаров, В.С.Меськов и др.), очень активно внедряющая современные формально-логические концепции в философское образование. Лишь в 70-е годы усилиями декана факультета того времени М.Ф.Овсянникова, кафедр истории зарубежной философии и логики, а также университетских философских кафедр, возглавляемых С.Т.Мелюхиным, В.И.Купцовым, А.М.Коршуновым и Г.М.Андреевой, философское сообщество МГУ постепенно вновь стало играть достаточно важную роль в философской жизни в стране.)

В конце 50-х — начале 60-х годов произошла существенная реорганизация философской жизни в стране. Далеко не всей, конечно, — в вузах и школах, особенно в провинции, философия преподавалась по испытанным догматическим канонам. *Исследовательская* же работа в философии смогла именно в эти годы встать на реальную почву.

Эти преобразования прежде всего коснулись Института философии Академии наук СССР. Численность научных сотрудников Института философии росла буквально на глазах, в Институте создавались новые научные подразделения (например, сектор логики и другие). В итоге оказалось, что в эти годы в Институте стали работать (иногда сначала учиться, а потом работать) и Э.В.Ильенков, и А.А.Зиновьев (об этом я уже говорил), а также П.В.Копнин, Д.П.Горский, А.Л.Субботин, Н.Ф.Овчинников, А.С.Арсеньев, В.А.Лекторский, Ю.А.Левада, С.А.Эфиров, Ю.Н.Давыдов, Г.В.Осипов, В.В.Мшвениерадзе, А.В.Брушлинский, К.А.Славская, Н.Ф.Наумова, Ю.В.Сачков, И.А.Акчурин, О.Г.Дробницкий, Н.С.Юлина, Л.Н.Митрохин, Э.Я.Баталов, Б.В.Богданов, З.С.Швырев, Н.В.Мотрошилова, Л.С.Горшкова, Л.Б.Баженов, В.В.Казютинский, М.Т.Степанянц, А.В.Сагадеев, Т.А.Кузьмина, Ю.Б.Молчанов, Ю.Н.Семенов, В.А.Смирнов, Н.Т.Абрамова, Г.С.Батищев, И.Ф.Балакина, В.И.Кремянский, Е.П.Никитин, В.М.Межуев, Р.С.Карпинская и многие другие философы и психологи. В то же время открылось, так сказать, второе дыхание у философов более старших поколений — я имею в виду прежде всего Б.М.Кедрова, С.Л.Рубинштейна, И.В.Кузнецова, М.Э.Омельяновского, М.М.Розенталя, П.В.Таванца, Т.И.Ойзермана и некоторых других. Лично я благодарю судьбу за то, что в 1958—1962 гг. я получил возможность работать в этом Институте.

В эти годы кардинально изменился и журнал «Вопросы философии». Формальное, не очень значительное изменение состояло в том, что с 1958 года он стал ежемесячным; существенное, очень значительное изменение коснулось людей, которые стали делать журнал, и — самое главное — его содержания. «Вопросы философии», как известно, были созданы в 1947 году, и этот журнал в основном был детищем Б.М.Кедрова. На посту главного редактора журнала Б.М.Кедров пробыл недолго, но заложенные им основы этого журнала и привлеченные к его изданию люди сделали все возможное для того, чтобы журнал достойно преодолел свои многочисленные трудности и невзгоды. Я особенно хочу упомянуть в этой связи Геннадия Сардионовича Гургенидзе, который отдал журналу добрых 30 лет своей жизни и все это время с большим достоинством олицетворял научную совесть журнала. В конце 40-х — начале 50-х годов свой вклад в работу журнала внесли Г.А.Арбатов, А.В.Гулыга, только что пришедшие из сталинских лагерей С.С.Пичугин и Е.П.Ситковский. Позднее, в конце 50-х — начале 60-х годов, благодаря усилиям прежде всего ответственных секретарей журнала в то время — сначала М.И.Сидорова, а затем — И.Т.Фролова — в журнале получили возможность работать А.Г.Арзаканьян, А.Л.Субботин, М.К.Мамардашвили, Э.А.Араб-оглы, И.Б.Новик, Н.Б.Биккенин, Н.И.Лапин, И.В.Блауберг, Э.Ю.Соловьев, Г.Н.Волков, А.П.Огурцов, Ю.Б.Молчанов, Е.Т.Фаддеев, Л.И.Греков, А.Я.Шаров, Б.Г.Юдин и другие. В начале 60-х годов решительно стала меняться и философско-идеологическая направленность редколлегии журнала, в которой главную роль стали играть Б.М.Кедров, Ю.А.Замошкин, А.Ф.Шишкин, В.Ж.Келле, В.А.Карпушин, А.Н.Леонтьев и некоторые другие. В 1962—1967 годах мне посчастливилось быть в составе этого прекрасного коллектива.

В 1968 г. главным редактором журнала «Вопросы философии» стал И.Т.Фролов, который включил в редколлегию журнала буквально весь цвет российской философской мысли того времени — М.К.Мамардашвили (зам. главного редактора), Б.М.Кедрова, А.А.Зиновьева, Б.А.Грушина, Ю.А.Замошкина, В.Ж.Келле, В.А.Лекторского и др.

Новые философские веяния коснулись и журнала «Коммунист», хотя он и был теоретическим органом ЦК

КПСС со всеми вытекающими отсюда последствиями. В этом большая заслуга работавших в нем в то время философов А.Е.Бовина, А.П.Бутенко, Г.Л.Смирнова, Н.Б.Биккенина, А.Р.Познера, несколько позднее — Л.К.Науменко, Г.Н.Волкова и других.

И, наконец, именно в эти годы — в конце 50-х — начале 60-х годов — свои пути к философскому возрождению в стране нашли и некоторые высшие учебные заведения, прежде всего Институт международных отношений (А.Ф.Шишкин, Ю.А.Замошкин и др. — из этого института вышли многие будущие видные советские социологи: Д.М.Гвишиани, Г.В.Осипов, Ю.Н.Семенов, В.С.Семенов и др.), Институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова (В.А.Карпушин, А.И.Ракитов и др.), 2-й Московский медицинский институт (Ф.Т.Михайлов, М.Б.Туровский, А.М.Блок, Л.С.Черняк и др.), Московский государственный педагогический институт им. В.И.Ленина (В.С.Готт и др.).

В то же время — или несколько позже — произошло важное событие, которое во всяком случае тогда не получило должной оценки — потребность в философско-психологических исследованиях остро почувствовали некоторые отрасли индустрии, связанные прежде всего с космонавтикой и оборонной промышленностью. Возникли соответствующие сильные в творческом отношении исследовательские группы (Ф.Д.Горбов, Д.Ю.Панов, В.П.Зинченко, В.А.Лефевр, В.М.Мунипов, О.И.Генисаретский, Г.Е.Журавлев, Д.А.Поспелов, Г.Л.Смолян и др.).

Важную роль в философском ренессансе 60-х годов сыграли Институт психологии Академии педагогических наук РСФСР и только что созданный психологический факультет МГУ. И психологи старшего поколения (А.Н.Леонтьев, А.Р.Лурия, Б.М.Теплов, П.А.Шеварев, П.Я.Гальперин, Д.Б.Эльконин и др.), и молодые психологи (В.М.Мунипов, В.В.Давыдов, В.П.Зинченко, В.П.Пушкин, О.К.Тихомиров, А.В.Брушлинский, Я.А.Пономарев и др.) — все они были глубоко заинтересованы в реальном развитии философии и максимально способствовали этому. Институт психологии предоставил возможность работать (на общественных началах — на большее и не претендовали) возглавляемому Г.П.Щедровицким «Московскому логическому (позднее — методологическому) кружку» — философские учреждения и

слышать об этом не хотели. Через этот кружок прошло много будущих видных философов, психологов, социологов (Н.Г.Алексеев, В.С.Швырев, И.С.Ладенко, В.А.Лефевр, В.М.Розин, О.Г.Генисаретский, Э.Г.Юдин, Б.В.Сазонов и многие, многие другие; лет десять я также был активным членом этого кружка, а затем, как и многие другие его члены, отошел от его работы, хотя и сохранил очень теплые человеческие и хорошие профессиональные отношения и с Г.П.Щедровицким, и со многими членами этого кружка).

В конце 50-х — начале 60-х годов постепенно стала формироваться сильная философско-логическая группа во Всесоюзном институте научной и технической информации Академии наук СССР (В.К.Финн, Д.А.Лахути, Н.И.Стяжкин, Ю.А.Шрейдер и др.). В середине 60-х годов мощная философская и социологическая группа сложилась в Институте международного рабочего движения (М.К.Мамардашвили, Ю.А.Замошкин, Ю.Ф.Карякин, Н.В.Новиков, Э.Ю.Соловьев, А.П.Огурцов и другие).

В 1962 г. директором Института истории естествознания и техники Академии наук СССР стал Б.М.Кедров и был им в течение двенадцати лет. Именно в это время институт стал играть большую роль в философской жизни в стране. К участию в его работе были привлечены В.С.Библер, А.С.Арсеньев, Н.И.Родный, Б.С.Грязнов, А.Ф.Зотов, Б.С.Дынин, М.Г.Ярошевский, И.С.Алексеев, позднее — П.П.Гайденко, А.П.Огурцов, В.Л.Рабинович, А.В.Ахутин и другие. В 1968 г. благодаря нелегким усилиям Б.М.Кедрова и его заместителя С.Р.Микулинского в институте был создан сектор (начала — группа) системного исследования науки, который возглавил И.В.Блауберг и в котором работали Э.Г.Юдин, я, позднее — Э.М.Мирский, А.И.Яблонский, Г.А.Смирнов, А.А.Игнатъев и др. Поясню, что означают нелегкие усилия, которые потребовались Б.М.Кедрову для создания этого сектора. Э.Г.Юдин — это не подвергалось никаким сомнениям — должен был стать постоянным членом этого сектора, но он был осужден в 1957 г. по 58-й статье на 10 лет, в лагере он провел 3 года, после освобождения работал на заводе, затем, имея кандидатский диплом, благодаря усилиям многих людей — особенно отмечу уже упоминавшегося Г.С.Гургенидзе и тогда работавшего в ЦК КПСС В.П.Кузьмина — был

принят на работу в «Философскую энциклопедию», но при этом не был реабилитирован. Взять на работу в Академию наук человека с таким прошлым было тогда очень тяжело (Э.Г.Юдин скоропостижно скончался в начале 1976 г., и только много лет спустя в результате непрекращающихся настойчивых усилий его матери он был полностью реабилитирован). В 1978 г. этот сектор практически в полном составе перешел на работу в Институт системных исследований АН СССР.

Во второй половине 60-х годов после долгих мучений наконец-то удалось создать специальное научно-исследовательское учреждение в Академии наук СССР по социологии — Институт конкретных социальных исследований (А.М.Румянцев, Г.В.Осипов, Ф.М.Бурлацкий, Ю.А.Левада, Н.В.Наумова, Б.А.Грушин, Н.И.Лапин, И.В.Блауберг и др.). Этому институту — как мы сегодня хорошо знаем — предстояла нелегкая борьба за существование, даже несмотря на то, что уже своим исходным названием (оно несколько раз менялось) он ни в коей мере не претендовал на сферу исторического материализма. Горькая история развития советской социологии — это тема специального исследования. Я же хочу отметить только одно: названные мною социологи, как и многие другие, несмотря ни на что, сами *сделали себя специалистами в этой области* и, как мы можем судить сегодня, *социологами высокого класса*.

Наконец, следует обязательно отметить, что именно в конце 50-х годов началась работа над изданием пятитомной «Философской энциклопедии» (А.Г.Спиркин, Н.М.Ланда, Ю.Н.Давыдов, М.Б.Туровский, З.А.Каменский, Б.Г.Григорьян, В.П.Шестаков, А.И.Володин, Э.Г.Юдин, Ю.А.Гастев, Б.В.Бирюков, М.М.Новоселов, Ю.Н.Попов и многие другие) — первой систематической попытки научного представления системы философских знаний, далеко не всегда, между прочим (особенно в двух последних томах, вышедших в конце 60-х гг.), в рамках ортодоксального марксизма. Эти процессы философского обновления происходили, конечно, не только в Москве. Серьезные исследования по социологии, семиотике, философии науки и логике были выполнены в эти годы в Ленинграде И.С.Коном, Л.О.Резниковым, В.А.Штоффом, О.Ф.Серебрянниковым и др. В Томске и Новосибирске образовалась сильная группа активно работающих философов, в основном выпускников Москов-

ского и Ленинградского университетов, — В.А.Смирнов, Э.Г.Юдин, Е.Д.Смирнова, А.К.Сухотин, М.А.Розов, В.Н.Сагатовский, И.С.Ладенко, Е.Д.Клементьев и др. Кардинально была изменена философская ситуация в Киеве, Одессе и вообще на Украине благодаря активной деятельности П.В.Копнина, А.И.Умова, М.В.Поповича, С.Б.Крымского и многих других философов. Получили большую известность исследования грузинских философов Э.М.Какабадзе, Н.З.Чавчавадзе, А.Ф.Бегиашвили и др. Интересные разработки проблем философии моделирования были осуществлены в Эстонии (Л.О.Вальт и др.). Сильная в творческом отношении группа специалистов по гносеологии, истории философии, истории науки и науковедению сформировалась в Ростове-на-Дону (М.К.Петров, А.В.Потемкин, Э.М.Мирский, В.Н.Дубровин, Ю.Р.Тищенко и др.). Несколько позже — в 70-е годы — большой интерес был вызван работами по философии науки минских философов (В.С.Степин и др.).

Я привел этот перечень философских организаций 60-х годов и активно работающих в них философов (я должен повторить оговорку, сделанную в начале этой статьи. В достаточно большом перечне имен философов, который я привел, я, конечно же, кого-то забыл назвать, не вспомнил. Всем им приношу глубокие извинения), имея в виду главным образом две цели. Во-первых, я хотел подчеркнуть, что именно в рамках этого сообщества мы все — и ифлийцы, и философы 50-х годов — смогли завершить свое философское образование, приступив в это время к реальной научно-философской деятельности. Результатом этой деятельности, и это во-вторых, было то, что в конечном итоге именно в эти годы благодаря усилиям названных философских учреждений и работающих в них философов и произошло *действительное возрождение российской философской традиции*. Однако рассказ об этом, а это обязательно надо подробно рассказать, — это тема другой статьи.

«Вопросы философии», 1993

О «Философской энциклопедии»

Прошло 25 лет с тех пор, как в 1970 году вышел пятый, завершающий том «Философской энциклопедии». Это обстоятельство дает нам повод обратиться к этому по-своему уникальному изданию. Никогда еще ни до него, ни после философская наука не получала в нашей стране столь полного и углубленного выражения, никогда еще она не обновлялась в такой степени. Сроки выпуска этого издания, 1960—1970, с математической точностью совпадают с эпохой в истории отечественной культуры, которую принято у нас называть эпохой «шестидесятников». Изучение эпохи «шестидесятников» представляет большой и во многих отношениях особый интерес, поскольку эта эпоха резко отличается по своей продуктивности от предшествующих лет истории советской философии. И когда мы приступим к серьезным исследованиям этой истории, изучение коллективного разума отечественных философов, нашедшего свое выражение в «Философской энциклопедии», займет свое почетное место.

Настоящая статья не претендует на исследовательский характер. Жанр ее — мемуары. Как человек, участвовавший в создании «Философской энциклопедии» от самого начала почти до самого конца, я хотел бы сообщить некоторые факты истории этого издания, которые, как я надеюсь, будут небезынтересны и современному читателю, и будущим историкам отечественной философии.

1

Вскоре после смерти И. В. Сталина я постепенно стал выходить из состояния остракизма, которому был подвергнут в 1949 г. за публикацию полемической статьи против М. Т. Иовчука, И. Я. Щипанова и других историкографов отечественной философии, а следовательно, и

против самой этой историографии (Вопросы философии. 1947. № 2). Был реабилитирован мой отец, арестованный в 1937 г. и погибший на Лубянке в 1938-м.

В 1955 г. я начал преподавать курс диалектического и исторического материализма в аспирантуре одного из технических научных институтов. В 1957 г. получил предложение принять участие в работе по изданию «Философской энциклопедии», главным редактором которой был назначен Ф.В.Константинов. Он был в это время заведующим агитпропом ЦК КПСС, но пикантность ситуации состояла в том, что именно он был секретарем парткома Института философии АН СССР в то время, когда меня увольняли из этого Института за «космополитизм». И то, что Ф.В.Константинов хотел меня привлечь к работе в энциклопедии, давало основание полагать, что я получаю официальную реабилитацию.

В контексте тогдашних общеполитических и идеологических перемен задача создания «Философской энциклопедии» была весьма масштабной, чтобы не сказать титанической: на волне антисталинизма, обусловленного решениями XX съезда КПСС, и следовавшего за ним идеологического обновления осознавалась задача очищения философского знания от сталинистского догматизма. Это стремление, в свою очередь, побуждало к тому, чтобы попытаться решить и более фундаментальную задачу — развить философскую науку, используя, обобщая и систематизируя и то положительное, что было накоплено в стране за 40 лет работы сотен ученых.

Правда, тогда эта задача ставилась, так сказать, не во весь рост, критика культа личности только начиналась. Да и сам руководитель издания Ф.В.Константинов, наряду с двумя главными представителями Сталина в философии — М.Б.Митиным и П.Ф.Юдиным, — все еще занимавшими руководящие посты в советской идеологической структуре, был в 30–50-е годы одним из проводников культа личности Сталина в философии. Было совершенно очевидно, что перед теми, кто будет создавать «Философскую энциклопедию», наряду с собственно научными задачами возникнут и сложные задачи политико-идеологического свойства.

Принимали меня на работу директор издательства «Советская Энциклопедия» И.А.Ревин (бывший директор издательства «Правда») и фактический его идеологический руководитель, заместитель председателя Науч-

ного совета Л.С.Шаумян (председателем был академик Б.А.Введенский).

Когда я пришел в формирующуюся редакцию философии этого издательства, там работал А.Г.Сpirкин, которого я знал в 40-х годах как аспиранта Института философии (к этому времени он уже защитил кандидатскую диссертацию), работавшего под руководством С.Л.Рубинштейна, известного советского психолога и заместителя директора Института. В состав редакции входили также М.М.Мороз, вскоре умерший от туберкулеза, М.Б.Туровский. Через некоторое время заведующей редакцией была назначена Л.Ф.Денисова, которая, не сработавшись с Ф.В.Константиновым, перешла в так называемую «научно-контрольную редакцию», сотрудники которой читали подготовленные и уже завизированные к дальнейшему прохождению статьи. На ее место был назначен А.Г.Сpirкин, защитивший в 1960 г. докторскую диссертацию (изданную книгой — «Происхождение сознания» — в 1960 г.).

Первой заботой нашей редакции была выработка структуры «Философской энциклопедии» и составление ее словника. Некоторые из первых решений были совершенно утопическими. Так, было предположено издать энциклопедию в трех томах по 30—40 листов с 3500 статьями и завершить все издание к 1960 году. Насколько это намерение было необоснованным, видно из того, что вышла она в пяти томах со все увеличивающимся объемом (I том — около 90 л., V — 139,5 л.) и завершилась изданием десятью годами позже предположенного — в 1970 году.

Составление словника было чрезвычайно трудным, кропотливым и ответственным делом. С самого начала мы должны были определить круг проблем, которые найдут свое рассмотрение в издании. Задача состояла в том, чтобы обогатить сам набор понятий, проблем, имен. Обогащать, поскольку в сталинские времена философия была чрезвычайно обеднена, вульгаризирована. Встали и такие принципиальные вопросы, как введение тем и проблем, традиционно не только не включавшихся в философию, но и вообще объявленных областями «буржуазной идеологии». Таковы были символическая (математическая) логика, кибернетика, теория систем, значительная часть терминологии идеалистической философии, многие ее деятели и школы, особенно второй половины

XIX—XX вв., как отечественные, так и зарубежные. Многие из этих проблем, как, например, собственная проблематика математической логики или кибернетики, действительно не могут считаться непосредственно философскими. Но так как эта проблематика подвергалась гонению и не находила достаточно широкого и детализированного выхода в печать, то в редакции было решено все-таки ввести эти проблемы в словник и отстаивать это решение перед консервативным главным редактором и редколлегией. Ф.В.Константинов и некоторые члены редколлегии (о которой — ниже) всячески возражали против такого расширительного освещения философии в энциклопедии и преследовали упреками и даже насмешками тех участников издания, которые самоотверженно отстаивали необходимость таких включений. Особенно доставалось Б.В.Бирюкову, фактическому организатору и редактору отдела математической логики, который со второго тома издания был внештатным научным редактором по этой тематике.

Может быть, несколько лучше по форме, но едва ли не трудней по существу обстояло дело с историей философии. Здесь предстояло весьма значительно расширить словник по персоналиям, школам и направлениям, по терминологии. Трудность состояла в том, что в те годы в нашей стране очень плохо знали и историю западного идеализма, начиная с середины XIX в., и современную западную философию. Особо трудную задачу представляла история философии на Востоке, в Византии и Испании, в те времена очень плохо изученная у нас.

Но если трудности этих отделов состояли главным образом в том, что их содержание было в то время в нашей науке чрезвычайно обеднено, не разработано, а то и попросту неизвестно, то другого рода трудность возникла перед традиционными отделами советской философской науки 30-х — начала 50-х годов — диалектическим и историческим материализмом. Здесь, казалось бы, было сделано гораздо больше — был накоплен обширный материал, изданы монографии и множество статей в журналах и сборниках. Однако именно эти области в наибольшей мере были подвержены догматизму, вульгаризации, здесь особенно была сужена проблематика, игнорировались многие важнейшие вопросы. Совсем не развиты были социология, история религии, не обсуждалась с философской точки зрения ее догматика, хотя

спорным было включение этих областей в «Философскую энциклопедию», как и включение в сферу внимания многих так называемых философских проблем естествознания, кибернетики, математической логики. И несмотря на все эти трудности, мы должны были уже в словнике — этой программе будущих работ — по меньшей мере зафиксировать свои намерения. Разумеется, мы понимали, что словник можно будет изменять, сокращать и дополнять, но эти будущие возможности, во-первых, не очень-то помогали нам в сиюминутном непосредственном планировании издания, а во-вторых, как нам указывали опытные сотрудники издательства и как это знал А.Г.Спиркин (он уже несколько лет был сотрудником издательства «Советская Энциклопедия», участвовал в работе над 2-м изданием БСЭ), свобода манипуляции словником не была абсолютной: уже в первом томе осуществлялась система ссылок, и, если ссылка на будущую статью проходила, ее уже сложно было не напечатать.

Трудность едва ли не большая, чем составление словника, была в другом: мы должны были отдавать себе отчет в том, что придется находить авторов для всех статей, и притом не просто авторов, а людей знающих, ответственных, специалистов.

Способ составления словника напрашивался сам собой. Там, где мы не могли составлять основу сами, мы просили об этом специалистов, а затем рассылали проекты разделов по специализированным учреждениям (институтам, кафедрам, отраслевым и республиканским академиям наук) и просто отдельным специалистам.

2

Хотелось бы сказать несколько слов о редколлегии «Философской энциклопедии». Хотя она и включала профессиональных ученых-философов, таких как В.Ф.Асмус, Б.Э.Быховский, Б.М.Кедров, но в основном была составлена из «именитых» советско-партийных функционеров, занимавших руководящие посты в партийной и научной иерархии. Главный редактор Ф.В.Константинов, кроме уже названного поста, в разное время был ректором АОН при ЦК КПСС, директором Института философии АН СССР, главным редактором теоретического органа ЦК КПСС «Коммунист» и

журнала «Вопросы философии», одно время — кандидатом в члены ЦК; П.Н.Федосеев, старый партноменклатурщик, был работником ЦК, заместителем начальника управления агитации и пропаганды Г.Ф.Александрова, директором ИМЛ при ЦК КПСС и Института философии, многолетнем вице-президентом АН СССР по обществоведческому циклу, членом ЦК; М.Т.Иовчук тоже работал в ведомстве Г.Ф.Александрова, был секретарем ЦК Белорусской компартии по идеологии, ректором АОН и кандидатом в члены ЦК; Г.П.Францев, начав свою деятельность как ученый и преподаватель, затем вошел в элиту, а в годы издания «Философской энциклопедии» был ректором АОН и зам. директора ИМЛ; Х.Н.Момджян являлся членом редколлегии журнала «Коммунист», а затем зав. кафедрой философии АОН; А.Д.Макаров был зам. директора ИМЭЛ, а позже — зав. кафедрой философии ВПШ при ЦК КПСС; партработником — одно время секретарь обкома КПСС, в дальнейшем выпускник АОН — был А.Ф.Окулов, занимавший также последовательно должности зам. директора Института философии АН СССР и директора Института научного атеизма при АОН.

Со 2-го тома в состав редколлегии был введен и А.Г.Сpirкин, который после Л.Ф.Денисовой был заведующим нашей редакцией, передав в 1962 г. эту должность мне.

Как коллективный орган редколлегия почти не работала. Собирались очень редко и всегда в неполном составе. Но некоторые ее члены работали, и даже напряженно. Достигали мы этого рассылкой отдельных статей и их партий членам редколлегии по принадлежности (они должны были визировать статьи). Не помню, чтобы за каждым официально были закреплены какие-нибудь отделы, но фактически это было так, и главным образом по инициативе редакторов отделов. Так, я, ведя в энциклопедии отдел классической западноевропейской философии, считал обязательным любую статью завизировать у членов редколлегии — В.Ф.Асмуса (главным образом по античности и Средневековью) и Б.Э.Быховского (история философии Нового времени). Думаю, что относительно высокий уровень статей этого раздела обеспечивался не только тем, что в качестве авторов избирались высококвалифицированные специалисты, сосредоточенные именно на данной тематике и — желательно —

опубликовавшие по ней специальные работы, но и вниманием этих членов редколлегии. Труднее обстояло дело с ответственными теоретическими статьями и со статьями, предполагавшими идеологическую направленность, каковыми, в особенности, считались статьи по истории западной философии постклассического периода вплоть до современности, по истории русского идеализма, религии и атеизму и, конечно, центральные статьи по диалектическому и историческому материализму. В особенности трудно было провести статьи через главного редактора. Сам он особых претензий на чтение статей не предъявлял, но считалось, что центральные, ответственные статьи он должен был читать. И здесь надо отдать должное А.Г.Сpirкину, который в качестве заместителя главного редактора должен был решать, что именно давать главному. Часто он брал ответственность на себя и просто не показывал ему статьи, особенно те, которые, по его мнению, могли вызвать возражения Ф.В.Константинова.

Но иногда коса находила на камень. Так, например, случилось со статьей о Карле Марксе. Не знаю, каким ходом мысли дошел Ф.В.Константинов до требования перепечатать в «Философской энциклопедии» для этой цели известную статью Ленина из энциклопедии «Гранат» (т. 28. СПб., 1913). Мы доказывали Главному, что, при всех достоинствах этой статьи, с тех дореволюционных пор марксведение продвинулось вперед чрезвычайно далеко, поскольку были введены в научный оборот многочисленные материалы, изучены многие вопросы марксведения, учтены новые данные по смежным проблемам, — ничто не убеждало Федора Васильевича. Так и пришлось нам тиражировать напечатанную во многих сотнях тысяч (даже миллионах) экземпляров статью В.И.Ленина и деликатно оговорить эту несуразность небольшим примечанием к этой публикации (см.: ФЭ. Т. 3. М., 1964. С. 313).

Раз я уже затронул вопрос об отношениях редакции с начальством, хотел бы упомянуть о двух эпизодах, возникших на еще более высоком уровне, — о статье Л.С.Шаумяна (которому готовили материал и другие сотрудники издательства), называвшейся «Культ личности» (ФЭ. Т. 3), и о «деле» В.Ф.Асмуса как члена редколлегии в связи с его речью на могиле Б.Пастернака.

Статья Л.Шаумяна, хотя и названа была так, но посвящена была главным образом культу Сталина (этой статье была предпослана статья «Культ», а общие проблемы культа личности рассматривались во вводной части статьи «Культ личности»). Статья Л.Шаумяна писалась тогда, когда тема находилась еще «на подъеме» своего обсуждения в печати. Мы, т.е. редакция, критиковали эту статью «слева», насколько помню сейчас, за то, что она не вскрывала причин, корней этого явления, что неизбежно вынудило бы автора подвергнуть критике сами социально-политические реалии эпохи сталинизма. Л.С., искушенный политик и старый член партии, не пошел по этому пути, оставив статью, так сказать, на феноменологическом уровне. Но и то, что он сделал, оказалось слишком радикальным, и вскоре он был подвергнут критике «справа». В его радикализме был один личностный момент. Л.С.Шаумян был сыном известного революционера Степана Шаумяна, у которого со Сталиным были плохие отношения, связанные также с какими-то несогласиями С.Шаумяна, работавшего, как и Сталин, в области теории национального вопроса. Но так или иначе, полурадикализм Л.С.Шаумяна оказался слишком сильным в глазах цеховского начальства, как только вскоре после выхода тома (том был подписан в печать в сентябре, а Н.С.Хрущев отстранен от своих должностей в октябре 1964 г.) идеологические установки хрущевских времен стали пересматриваться в направлении некоего усмирения критики культа Сталина и вообще сталинизма. В этой связи над Л.С.Шаумяном, членом нашей редколлегии, а также и над нашим изданием нависли угрозы, Л.С. стали вызывать в ЦК, появились критические замечания в печати. Но все окончилось благополучно (хотя, кажется, он получил замечание или даже взыскание, — за точность не ручаюсь, т.к. не был осведомлен) и для нас, и для нашего издания.

Что касается «дела» В.Ф.Асмуса, то после того, как он произнес свою известную речь на могиле великого поэта, с которым они были друзьями, на него начались гонения. Что-то произошло в МГУ, где Валентин Фердинандович профессорствовал, а Ф.В.Константинов, идя «вперед регресса», поставил в ЦК вопрос о выведении В.Ф.Асмуса из редколлегии энциклопедии. И тут же могу рассказать со слов самого Федора Васильевича, который поведал это нам в редакции, что дело окончилось

весьма неожиданно. Вопреки ожиданиям, М.А.Суслов, которому Ф.В. докладывал об этой своей инициативе, отверг ее, сказав при этом, что вообще не нужно такого рода действия совершать относительно ученых...

Этот эпизод подтверждает сложившуюся за Ф.В. Константиновым славу начальника, который был груб и непреклонен с подчиненными и исполнителен и подобострастен с начальством. Он хотел изгнать В.Ф.Асмуса, но сразу же смирился перед, в общем-то, и для него неожиданным — иначе он не пошел бы с этим предложением к «серому кардиналу» — мнением начальства.

В связи с тем, что редколлегия фактически не была рабочим органом, наряду с ней был учрежден институт научных консультантов «Философской энциклопедии». Он составлялся из виднейших, а также и молодых ученых различных специальностей, представленных в энциклопедии. Научные консультанты должны были работать не только с готовыми статьями, но и консультировать редакторов по самым различным вопросам, вплоть до рекомендации авторов для статьи по данной отрасли философского и околофилософского знания. Но и здесь, как и в редколлегии, одни консультанты действительно активно работали, другие — представлялись, но должны были своим вхождением в этот институт (их имена печатались на обороте титула томов) поднять авторитет издания.

Основную же работу по созданию энциклопедии вели редакторы по разделам и, конечно же, авторы.

Что касается первой из этих категорий создателей энциклопедии, то здесь мы делали ставку на молодежь. Я был самым старым сотрудником редакции (к моменту, когда я пришел в издательство, мне было 42 года, немного старше меня была, правда, Л.Ф.Денисова). Основную же работу — по заказыванию статей, работе с авторами, редактированию — проводили совсем молодые специалисты, только что закончившие вузы или аспирантуру. В разные годы это были: Ю.Н.Давыдов, Б.Т.Григорьян, Н.М.Ланда, А.И.Володин, В.П.Шестаков, Ю.Н.Попов, М.М.Новоселов, М.Ф.Солодухина, Р.А.Гальцева, С.Л.Воробьев, Э.Г.Юдин. Думается, в значительной мере это обстоятельство послужило тому, что энциклопедия смогла решить задачу обновления и расширения материала, который она предлагала читателям.

Сейчас трудно себе представить, как удалось столь небольшому коллективу организовать работу так, чтобы пять томов этого сложнейшего издания вышли бы в свет в течение 10 лет (при 2,5-годовалом «пусковом периоде»). Скажу для сравнения, что, например, коллективная работа «История философии в СССР», тоже пяти-томная, правда, в 6 книгах, печаталась 20 лет (1968-1988). Шеститомная «История философии» была напечатана за 8 лет (1957 — 1965), но выходу томов предшествовал огромный «пусковой период» в 10 лет (работа началась сразу после окончания философской дискуссии 1947 г., по поручению ЦК партии по итогам этой дискуссии), и выходу томов предшествовало появление огромного по листажу двухтомного макета издания, так что работа над этими пятью томами велась 18 лет; к тому же в работе по собиранию и редактированию материала был задействован чуть ли не весь штат Института философии в несколько сот человек, в то время как соответствующую работу по «Философской энциклопедии» вели 5—7 человек.

Наладить регулярность, своевременность получения статей от авторов было чрезвычайно трудно. Ведь все они не были никак организационно связаны с Издательством. Единственным документом связи был заказ, но, кроме связи моральной, он ни к чему не обязывал, и так как все авторы были людьми, занятыми на своей основной работе, где они находились в штате, то выполнение обязательств по энциклопедии было для них делом второстепенным. Как же было в этих условиях добиться более или менее регулярного выхода томов — а они все-таки выходили регулярно: второй после первого через два года, третий после второго — также через два, четвертый после третьего и пятый после четвертого — через три года (как я уже сказал, эти два последних тома были значительно больше по объему, чем предыдущие три)? Для обеспечения этой ритмичности приходилось прибегать к специальным приемам, в некоторой мере — к хитрости. Мы заказывали статьи сравнительно большими списками, имея возможность давать большие сроки, стремясь получить статьи тогда, когда они, в сущности, еще не поступали в работу. Это давало возможность удлинять сроки, представляя дело так, что автор нас сильно подводит, а также и перезаказывать статьи, если становилось очевидным, что автор статьи не пред-

ставит. Вот несколько документов по этому поводу из моего личного архива. Те, кто пользуются «Философской энциклопедией», может быть, обратили внимание на то, что при статьях о виднейших философах даны специальные библиографические справки о каждом относительно крупном их произведении. Это очень ценный материал, и его нам представляли редко авторы самих статей, а чаще специалист-библиограф Л.С.Азарх (я потерял его из виду после окончания работы над энциклопедией и не знаю, где и кто он теперь). Вот письмо к нему, написанное уже тогда, когда завершалась работа над последним томом: «Многоуважаемый Лев Сергеевич!.. Вы, вероятно, забыли, — и я до сих пор не вспоминал — о том, что для V (последнего) тома "Философской энциклопедии" Вам были заказаны еще в *незапамятные времена* библиографические справки к статьям (далее перечисляются 11 таких статей). Все статьи... не только мной получены, но и подготовлены к сдаче. Теперь задержка только за Вашими разделчиками. Очень прошу Вас со свойственной Вам оперативностью подготовить и представить эти статьи...» В ответ Л.С. обещал представить все статьи в течение двух месяцев и, испытывая, видимо, стыд за свою предшествующую нерадивость, представил все статьи в допустимые сроки. Иначе обернулось дело с авторами двух весьма ответственных статей. Вот еще одно письмо, которое в комментариях не нуждается. Оно адресовано Э.Ю.Соловьеву, тогда еще совсем начинающему ученому, так что даже удивительно, как мы, даже при нашем стремлении привлекать молодых авторов, поручили ее еще ничем себя не зарекомендовавшему автору. «Многоуважаемый Эрих Юрьевич! Более года тому назад, по договоренности относительно размера и срока представления, Вам была заказана статья "Фейербах" для V тома "Философской энциклопедии". Вы согласились представить ее к 1 февраля 1965 года (письмо датировано 5-м ноября того же года). Несмотря на многочисленные письма и устные напоминания, Вы до сих пор не представили этой статьи. Более того, в наших устных беседах Вы отказались назвать хотя бы ориентировочный срок ее представления. Ввиду этого, опасаясь срыва сроков подготовки этой важнейшей статьи V тома, мы, к большому сожалению, вынуждены аннулировать наш заказ и просить написать эту статью другого автора». Статья была написана Б.Э.Бы-

ховским. Длительная (почти годичная) переписка с известным ленинградским ученым, Г.М.Фридлиндером, относительно ответственной статьи «Просвещение», требовавшей не просто авторского изложения, но поистине исследования, закончилась его телеграммой: «Ввиду крайней перегрузки вынужден отказаться от статьи Просвещение тысяча извинений Фридлиндер». Само же дело завершилось, можно сказать, трагически: вместо статьи мне пришлось составить отписку.

А сколько трудностей приходилось преодолевать редакторам, когда они вынуждены были сокращать статьи (в Энциклопедии размер ее должен соблюдаться строго), спорить с авторами, испытывать и преодолевать в целях продолжения дальнейших контактов с ними обиды и т.д. и т.п.

Подчас редактору приходилось овладевать малоизвестным ему материалом, чтобы в какой-то мере дотянуться до уровня автора, что, естественно, удавалось далеко не всегда. Словом, труд редакторов был весьма тяжел во многих отношениях, но, думаю, все они испытывают теперь удовлетворение...

Не в меньшей, если не в большей мере успеху издания способствовали, конечно, авторы его многочисленных статей. К подбору авторов уже нельзя было подходить так, как к подбору редакторов, и делать ставку только на молодых. Надо было использовать потенциал старшего поколения советских философов, а он был немалым. И можно без преувеличения сказать, что трудно найти такого крупного ученого старшего поколения или молодого, который затем вошел в число главнейших «шестидесятников», делавших науку философию в 60—80-х годах, которые не приняли бы участие в создании труда (о них я скажу несколько слов ниже). Именно это сочетание обеспечило высокий для 60-х годов уровень издания.

3

Специально хотел бы сказать несколько слов об А.Ф.Лосеве и членах редколлегии — о Б.Э.Быховском, В.Ф.Асмусе и М.Т.Иовчуке.

Когда мы только начинали с А.Г.Спиркиным, а затем и Л.Ф.Денисовой организовывать работу редакции, мы

решили считать главной своей опорой в разработке отдела истории античной философии Алексея Федоровича Лосева. Его положение в это время несколько стабилизировалось, хотя и не на попроще философии, а филологии. Он состоял профессором классической филологии тогдашнего Московского государственного педагогического института им. В.И.Ленина и уже печатался после запрета 30-х—40-х годов, но не в философских изданиях. И поскольку его главная тематика для нашего издания была древнегреческая и римская философия, то связь с ним должен был осуществлять я. И с тех пор, вплоть до окончания моей работы в энциклопедии в 1968 г., а отчасти и позже, т.е. более 10 лет, я был тесно связан с Алексеем Федоровичем, и наши отношения в известной степени даже выходили за рамки деловых.

Как напоминал мне Алексей Федорович, мы мельком встречались с ним еще на философском факультете Московского университета в 1943 г., когда мы оба (я — очень короткое время) сотрудничали там. Но тогда наша связь не установилась. Теперь же я послал ему наметки словника, который просил расширить и, кроме того, сообщить, какие статьи по этому словнику он хотел бы написать, особенно по первым двум томам. Тут и завязались наши связи, в которых нам активно помогала Аза Алибековна Тахо-Годи, верный помощник Алексея Федоровича.

А.Ф. написал для «Философской энциклопедии» статей больше, чем кто-либо другой, по моим, вероятно, неточным (преуменьшенным) подсчетам, — 104. Думаю, что специальной и интересной темой для историков, изучающих литературное наследство А.Ф.Лосева, была бы тема «А.Ф.Лосев как автор энциклопедических статей». Я был редактором всех этих статей (и тут за мной грех, о котором я сейчас расскажу) и имею право утверждать, что он был поистине виртуозом этого жанра, особенно жанра коротких энциклопедических статей, к числу которых относилось едва ли не большинство написанных им. Особенно это видно по статьям первых двух томов, которые были особенно укороченными потому, что планировались для гораздо менее габаритного издания, чем оно оказалось в последних трех томах. Но и эти статьи поражали информационной нагруженностью, обобщенностью характеристик, к тому же включенных в контекст истории античной философии и античности вообще. По-

ражал также и аппарат, которым снабжались статьи. А.Ф. ссылался на редчайшие первоисточники (т.е. источники на языке оригинала). Столь же специализированной была «литература о» — библиография. Не будет преувеличением сказать, что советский читатель впервые получал такие сведения, к тому же зачастую о мыслителях, попросту ему ранее неизвестных. Статьи были написаны своеобразным «лосевским» стилем.

Расскажу о двух эпизодах, связанных с моей редактурой статей А.Ф.Лосева. Во-первых, о моем «грехе». Статьи А.Ф., как правило, превышали по объему заданные размеры, а их в энциклопедии нужно соблюдать очень точно, особенно если речь не об одной статье, размер которой еще можно увеличить, а о больших циклах, как это и было в данном случае, поскольку в каждом томе А.Ф. писал их до двух десятков. И вот для первого тома А.Ф. представил статью о Гераклите Эфесском. Она значительно превосходила запланированный объем, и я вынужден был ее сокращать. Но грех мой состоял не в этом, а в том, что я существенным образом внедрялся в ее содержание, подгоняя его под тот канонический стандарт, который сам я усвоил по лекциям и книгам, в том числе и специальной книге М.А.Дынника и комментариям Маркса на книгу Лассалья о Гераклите. А.Ф. смирился с моей акцией потому, думаю, что дело касалось статьи I тома, и он не хотел обострять отношений в самом начале нашей совместной работы. И он достиг цели в том смысле, что, осознав со временем (но уже поздно, том вышел), что я наделал, я больше никогда не позволял себе совершать такие акции, хотя сокращать статьи все же приходилось, и А.Ф. вынужден был санкционировать это. Рассказываю для того, чтобы не столько зафиксировать сам факт, сколько высказать предложение, связанное со вторым эпизодом.

Когда я увидел, что статьи А.Ф. неизбежно придется сокращать, я, к моменту, когда в работе находился III том, предложил А.Ф. издать отдельной брошюрой его статьи для IV и V томов, так сказать, в «натуральную величину» по размеру и без всякого редактирования. В эти тома входили сложнейшие, совершенно у нас не исследованные и трудно проводимые через всякого рода идеологически-цензурные заслоны, ввиду их религиозно-идеалистической направленности, темы: платонизм, неоплатонизм, стоицизм и такие обзоры, как «Перипатети-

ки», «Римская философия», «Элидо-эритрейская школа». Чтобы провести этот замысел через начальство, я, ссылаясь на сложность и неизученность материала и его значение для углубления наших представлений об античной философии, выдвинул аргумент (изложив его в написанном мной коротеньком предисловии к брошюре, на которой был гриф «Рукопись для общественного обсуждения»), что статьи эти нужно подвергнуть широкому обсуждению, и даже сказал, что этого требует содержание статей. Аргумент был совершенно «липовый», т.к. к мало-мальски серьезному и плодотворному обсуждению во всей стране были способны, может быть, лишь несколько человек (например, В.Ф.Асмус), которые к тому же вряд ли приняли бы в нем участие. Подлинный мой замысел состоял в том, чтобы получить нетронутые тексты А.Ф. и опубликовать их именно в таком виде, в полном объеме и, разумеется, не только для энциклопедии, но для нашей историко-философской науки. Важно было и то, чтобы таким образом, хотя и в малообъемном (6 авт. л.), малотиражном (250 экз.) и не поступающем в продажу издании, дать А.Ф. возможность, кажется, первую после публикаций 20-х годов, выступить с отдельным изданием (брошюрой) на поприще философской науки, с которого он был устранен с 30-х годов. (И тут я хотел бы выступить с предложением. Как говорила мне А.А.Тахо-Годи, все исходные варианты статей А.Ф. для «Философской энциклопедии» сохранились. Было бы целесообразно издать полностью, без сокращений и редактирования статьи А.Ф. для I—III томов, а может быть, — именно в виду малотиражности нашего макета статей IV—V томов — и всех пяти).

А.Ф. остался недоволен технической стороной издания макета статей IV—V томов. Тексты, естественно, содержали большое количество ссылок на иностранных языках, в их числе и на классических. Я считал за благо и то, что издательство согласилось на такое издание (здесь помог Л.С.Шаумян, понимавший значение этой брошюры); о достаточной корректорской работе и перенборе нечего было и мечтать, и я не настаивал на этом, боясь спугнуть эту «синицу в руках». Но А.Ф. стремился все же овладеть тем «журавлем», который пребывал в небе его абсолютных требований. И вот, видимо, под его руководством корректура была проделана уже на готовом экземпляре макета, и экземпляр был мне вручен с

многочисленными поправками и авторской надписью: «Дорогому Захару Абрамовичу Каменскому с извинениями за макулатурный подарок. 28/III — 66 г. А.Лосев».

Поскольку я привел эту надпись, скажу, что А.Ф. дарил мне и тогда, и впоследствии свои книги с автографами. Приведу четверостишие, написанное А.Ф. на экземпляре книги «Ученые записки, том XXXIII. Кафедра классической филологии, вып. 4. Московский Государственный педагогический институт им. В.И.Ленина. — М., 1954», где были напечатаны две его работы — «Эстетическая терминология ранней греческой литературы» и «Гесиод и мифология» (из 301 стр. тома тексты А.Ф. занимали 244 страницы, так что это, в сущности, его опять-таки первая после 20-х годов книга): «Глубокоуважаемому Захару Абрамовичу Каменскому от участника этого сборника

Прими, внимательный Захар,
Моих античных завываний
Филологический удар
И плод бесплоднейших мечтаний.

3/VI-62
Москва».

А.Лосев

В заключение моих воспоминаний о контактах с А.Ф.Лосевым в энциклопедии (а они хотя и возникли на этой почве, но в известной мере вышли за эти пределы. Я имел честь общаться с А.Ф. у него дома и был удостоен его речи по-латыни, произнесенной на защите мной докторской диссертации; речь эту никто, и я тоже, попросту не понял) упомяну, что он стремился не ограничиваться только античной тематикой. Его перу принадлежала статья «Диалектическая логика», написанная на конкурс и получившая премию, хотя и не была напечатана, т.к. статья была исключена из словника; при соответствующем «черненьком слове» в I томе сделана сноска: «см. Логика, Диалектический материализм».

Мои контакты с А.Ф.Лосевым после завершения работы над энциклопедией стали постепенно ослабевать. Но и тогда, когда я по конкурсу вернулся на работу в Институт философии (о чем мечтал все долгие 20 лет после увольнения из него), я старался поддерживать с ним научные связи. В частности, по моей просьбе А.Ф. принял участие в институтском сборнике «Проблемы методологии историко-философского исследования», напе-

чатав (вып. I. М., 1974) статью «Социально-исторический принцип изучения античной философии». Кстати говоря, не следует упрощать научную биографию А.Ф. и считать, что его ставшее недавно известным обращение к А.А.Жданову (см.: *Батыгин Г.С., Девятко И.Ф.* Советское философское общество в сороковые годы...// ВАН. 1993. № 7. С. 634) и его самохарактеристика в автобиографической заметке в III томе «Философской энциклопедии», согласно которой он в «30—40-е годы переходит на позиции марксизма», являются попросту политиканством, приспособленчеством. Каков бы ни был марксизм А.Ф., упомянутая статья свидетельствует, что он искренне и всерьез стремился овладеть марксистской методологией историко-философского исследования и применять ее.

Теперь мне хотелось бы рассказать о Б.Э.Быховском в связи с его деятельностью как члена редколлегии и автора «Философской энциклопедии».

Мне не довелось слушать Бернарда Эммануиловича Быховского в свои студенческие годы (1934—1938), хотя он в это время сотрудничал на философском факультете МИФЛИ, где я учился. Но уже тогда я знал его статьи по истории философии, из которых особенное впечатление произвела на меня статья «Бэкон и его место в истории философии» («Под знаменем марксизма». 1931. № 6).

Познакомился я с Бернардом Эммануиловичем весной 1941 г. В это время он руководил сектором истории философии Института философии АН СССР и организационно возглавлял работу по написанию многотомной «Истории философии» (вошедшей впоследствии в наше философское арго под именем «Серая лошадь»). Первый том уже был напечатан, второй находился в производстве, третий — в работе. Весной 1941 г. сектор приступил к написанию тома этого издания, посвященного истории философии. Я заканчивал аспирантуру Московского университета и готовился к защите кандидатской диссертации о философских взглядах П.Я.Чаадаева. Б.Э.Быховский пригласил меня на переговоры о зачислении в штат Института для написания глав тома. С мая 1941 г. я стал сотрудником Института и приступил к этим работам, которые были прерваны войной. Я ушел на фронт. Б.Э.Быховский эвакуировался с Институтом в Алма-Ату, откуда вернулся в Москву в 1942 г. С октября этого же

года, после ранения и госпиталя, вернулся в Институт и я. С тех пор до ухода Б.Э.Быховского из Института (в 1944 г.) я под его руководством написал несколько глав тома («Первые представители идеалистической диалектики», «Чаадаев», «Славянофилы», «Русский панславизм», «Петрашевы», «Грановский»).

В это время я был еще совсем начинающим автором. Хотя я и опубликовал несколько популяризаторских статей по философии в комсомольской печати и написал диссертацию, но опыта исследования больших и сложных периодов истории национальной философии, какими, в сущности, были перечисленные главы, у меня не было. Дело осложнялось и тем, что большинство направлений и мыслителей, которых я должен был исследовать, были изучены очень слабо или даже совсем не изучены, особенно в марксистской литературе. Это затрудняло мою работу и усложняло задачи Б.Э.Быховского как моего руководителя и редактора тома. Он не мог быть снисходителен ко мне как к начинающему автору, т.к. мои главы в томе по уровню и отделке, по концептуальности и углубленности анализа не должны были быть ниже других глав, написанных такими крупными историками философии, как О.В.Трахтенберг (о русской философии до XVIII в.), В.Ф.Асмус (о русском идеализме второй половины XIX в.), М.М.Розенталь (о Чернышевском) и сам Б.Э.Быховский (о Герцене).

Метод, которым работал со мной Б.Э.Быховский, заключался в том, чтобы дать мне полный простор в проявлении собственной инициативы. Я решительно не помню, чтобы он когда-нибудь настаивал на проведении какой бы то ни было собственной линии. Наоборот, он чутко прислушивался к тому, что предлагал ему я, и притом не в виде каких-то предварительных соображений и установок, а в форме уже более или менее отстоявшихся концепций. Он вступал со мной во взаимодействие не прежде, чем я представлял ему первый набросок уже оформленного текста — машинопись. И лишь тогда он подвергал тщательному редактированию эти тексты. Некоторые из них сохранились в моем архиве, и по ним видно, на что направлено было внимание редактора — на конденсацию анализа и изложения, если понимать этот термин в его первоначальном латинском смысле (*condensatio* — уплотняю, сгущаю). Все мои излишества в подробностях, в отступлениях и особенно кавалерий-

ские наскоки на заблуждения анализируемых авторов, на возможных противников моих интерпретаций, самодовольные провозглашения своего превосходства над «идеалистическими взглядами» и «реакционными толкованиями» и т.п. беспощадно пресекались, текст резко сокращался в объеме, выявлялись и проводились основные линии развития, осуществлялась связанность, непрерывность анализа, аморфное подчас изложение становилось рельефным, частности ставились в зависимость от главного, от общего. О сосредоточении внимания редактора на тексте свидетельствуют многочисленные перестановки абзацев, нередко на 5-6 страниц вперед или назад.

Я думаю, что было бы полезно напечатать когда-нибудь факсимильное издание этой филигранной редакторской рабты Б.Э.Быховского, этого маэстро редактуры, в назидание овладевающим этим нелегким и ответственным искусством.

Интересная деталь: редактор, он же — научный руководитель, не считал свою правку безапелляционной и на уголке отредактированной им первой из названных выше глав написал: «показать Каменскому, затем печатать в 3-х экземплярах». Это означало, что у меня еще оставалось «право обжалования», если бы я с чем-то не согласился в его редакции. Правда, я не помню, чтобы у меня возникали подобные несогласия или чтобы я предъявлял редактору какие-либо претензии. Но такое право за мной, как за автором, как за ученым, признавалось.

Такая редакция была для меня чрезвычайно поучительной, благодаря ей я проходил школу анализа и изложения. Под ее воздействием я старался выработать принципы сосредоточенного изложения, искал линии его непрерывности, связи частей. Увы, мне не удалось даже приблизиться к авторскому мастерству Б.Э.Быховского, но я всегда помню его уроки и стремлюсь к такому стилю.

Думаю, что успех «Серой лошади» был определен не только высокой квалификацией членов авторского коллектива, но и тем, что все эти высококачественные материалы проходили еще и горнило редакционной обработки. Помню, как работал Б.Э.Быховский над III томом этого издания. В трудные, тяжелые 1942—1943 годы он получил огромную кипу глав тома и кабинет в здании тогдашнего Института Маркса — Энгельса — Ленина на Советской площади, напротив Моссовета. Он засел за

редактирование, было запрещено его тревожить и отвлекать, он работал напряженно, сосредоточенно, долго, напоминая лесковского мастера Левшу из Тулы, который ни разу не выходил из избы, пока не окончил свою невиданную работу.

После перехода Бернарда Эммануиловича из Института философии в редакцию тогдашнего Института БСЭ он привлекал меня к энциклопедической авторской работе. Но вскоре его деятельность там прекратилась, наши пути разошлись. У каждого из нас возникли свои трудности, но мы поддерживали связь телефонными разговорами. Потом, когда он перешел на педагогическую работу, связь эта нарушилась, но ненадолго. Она возобновилась с началом работы над «Философской энциклопедией». Б.Э.Быховский был членом редколлегии по «моему» разделу. Здесь мы отчасти поменялись ролями. Он выступал не только как редактор, но и как автор многочисленных статей, которые уже я должен был редактировать.

Как энциклопедический редактор Бернард Эммануилович раскрылся передо мной другими гранями своего таланта. Жанр краткой энциклопедической статьи не представлял ему как редактору тех возможностей концептуализации материала, которую он проводил, редактируя тома «Истории философии». Но здесь выступала другая особенность его — чрезвычайная эрудированность, как общая, так и в области философской библиографии. Он внимательно следил за тем, чтобы в статьях, которые он контролировал как член редколлегии, не было никаких теоретических и фактических «накладок», и за тем, чтобы статьи были максимально насыщены библиографическими материалами. Почти не было случая, чтобы он возвратил после редактирования статью, в которую не включил бы три-четыре, а то и более дополнительных, главным образом иноязычных, указаний на литературу вопроса. Что же касается Б.Э.Быховского как автора энциклопедических статей, то особенно хотелось бы сказать о специальном, пожалуй, самом трудном их жанре — обзорных статьях по истории национальной философии. Когда мы приступили к составлению подобных статей для «Философской энциклопедии», соответствующей традиции не существовало; такого рода обзоры входили в энциклопедических изданиях в комплексные статьи о странах. Здесь же надо было написать самостоя-

тельную статью «с высоты птичьего полета», как он выражался. Он понимал это в том смысле, что в ней история философии данного народа должна была быть представлена максимально лаконично, в крупных, существенных линиях развития, в обобщенных характеристиках, а также в связях с гражданской историей страны, с культурой народа. Такая статья требовала от автора большой эрудиции, свободной ориентации в огромном эмпирическом материале, умения обобщить его, отделить важное и существенное, типичное от мелочей и второстепенностей. То, что я видел в начале 40-х годов в его редакции, я наблюдал теперь в новом качестве — работе авторской. Он написал для I тома «Философской энциклопедии», помимо прочих, статьи «Английская философия» и «Американская философия». И хотя эти статьи были относительно малого объема, я думаю, что статья «Английская философия» является образцовой по выдержанности жанра, и она служила в дальнейшем как бы эталоном при редактировании и для авторов при написании подобных статей.

Как автор и редактор, Б.Э.Быховский придавал большее значение форме и собственно литературной, и внутренне-содержательной. Он всегда находил форму яркую, острую, законченную, и это соответствовало столь же острой принципиальности при решении содержательных задач, при выработке и проведении концепции.

Бернард Эммануилович, по моему мнению, относился к числу людей с повышенной нервно-интеллектуальной напряженностью, и эта черта была психологической основой его особенностей как автора и редактора. Он и воспринимал все чутко, и столь же интенсивно излучал интеллектуальную энергию, которая действовала сосредоточенно и напряженно, как лазерный луч. Это чувствовалось даже в его взгляде, казалось, проникающем в мысли и замыслы человека, с которым он общался, как и в сущность всего, что он стремился постичь.

Другой член редколлегии, крупный ученый — историк философии Валентин Фердинандович Асмус был человеком иного психологического склада. Его проникающая в предмет познания сила, как и его способ общения, были спокойными, напряженность интеллектуальной энергии, не менее эффективной, была как бы более расфокусированной, обтекающей свой предмет многосторонне.

Он был гораздо более терпим, гораздо менее категоричен. Он был мягок там, где Бернард Эммануилович был тверд и непреклонен. Это различие рельефно проявлялось в том, как эти ученые писали о различных течениях современной идеалистической философии. То, что у Валентина Фердинандовича представляло собой спокойное, даже подчас академическое развитие опровергающей аргументации, у Бернарда Эммануиловича, чья аргументация была не менее предметной, основательной, убедительной, очень часто выступало как темпераментная, страстная полемика, исполненная иронии и нередко сарказма.

«Шестидесятники» обвиняли Б.Э.Быховского в том, что он поддерживал манеру критики «растленной буржуазной философии», сложившуюся еще до Второй мировой войны и процветавшую в 40–50-е годы. В известной мере они были правы и сами проводили свой анализ в более адекватной форме. Но, может быть, их анализ был недостаточно критичен. Б.Э. отвергал адресованные ему упреки в том, что именно он содействовал отвержению в нашей стране кибернетики. Он, действительно, критиковал ее, но, как он сам говорил мне, свою критику направлял не на кибернетику как таковую, а на философские претензии некоторых кибернетиков, в частности Н.Винера, и это еще вопрос — был или не был он прав в этом отношении. Во всяком случае, будучи убежденным диалектическим материалистом, он не предавал своего философского кредо и на этом пути часто достигал немалых положительных результатов, как это было, например, с критикой тенденций к распрямлению философии (см.: *Быховский Б.Э. Распрямление философии // Вопросы философии. 1956. № 2*).

С В.Ф.Асмусом я познакомился в 1939 г., когда он читал лекции по истории логики для нас, аспирантов кафедры диалектического и исторического материализма Московского университета, которой руководил З.Я.Белецкий. До войны в Университете не было философского факультета, и наша кафедра обслуживала весь Университет (лишь в 1941 г., во время эвакуации в тогдашний Свердловск, в Университет влился Московский институт истории, философии и литературы — МИФЛИ — всеми тремя своими факультетами — историческим, филологическим с отделением искусствознания и философским). Вскоре, в 1939/40 учебном году, Валентин Фер-

динандович стал моим научным руководителем по диссертации о П.Я.Чаадаеве.

О Чаадаеве как философе в те годы мало кто знал, разве что В.Соловьева, напечатавшая в журнале «Под знаменем марксизма» (1937. № 1) статью «Чаадаев и его "Философские письма"» и, если я не ошибаюсь, диссертацию на ту же тему. В.Соловьева была потом моим оппонентом по кандидатской диссертации. Знали, конечно, Чаадаева литературоведы и историки, и вторым моим оппонентом был известный литературовед Н.Л.Бродский. Самым знающим чаадаевоведом в 30-х годах был кн. Д.И.Шаховский, связанный с Чаадаевым родством по материнской линии, но он подвергся репрессии, кажется, в 1938 г. В 1935 г. Д.И.Шаховский опубликовал разысканные им в Пушкинском доме в Ленинграде 5 (из 8) «Философских писем» П.Я.Чаадаева (Литературное наследство. 1935. Кн. 22—24), а В.Ф.Асмус написал к этой публикации вступительную статью. Естественно было поручить руководство моей диссертационной работой именно Валентину Фердинандовичу. Должен, правда, сказать, что как с научным руководителем я работал с ним мало.

Помню лишь единственную встречу по этому поводу. Она происходила весной 1940 г. во дворе старого здания Университета, где находилась кафедра, на скамейке подле памятника. Я показал В.Ф. свои к тому времени уже обширные материалы и конспекты, в том числе и работы по овладению огромным архивом Д.И.Шаховского, переданным из НКВД, куда он попал после ареста владельца, в Институт мировой литературы (откуда впоследствии был передан в Пушкинский дом — Институт русской литературы АН СССР в Ленинграде).

В.Ф. одобрил результаты моей работы, тем более, что к архиву Шаховского, кажется, еще никто не прикасался, и уже само это обстоятельство делало мою работу интересной. Как я тогда же и понял, В.Ф. решил, что лучшее его руководство будет состоять в том, чтобы не мешать мне работать. Не думаю, чтобы такое решение было совсем верным.

Я диссертацию защитил (за 20 дней до начала войны и ушел на фронт кандидатом философских наук). С В.Ф. у нас сложились наилучшие отношения, которые укрепились совместной работой по написанию так и не вышедшей книги «История русской философии». Затем

в наших отношениях наступил перерыв, хотя мы иногда и встречались, но новые тесные контакты установились тогда, когда он, наряду с Б.Э.Быховским, оказался «моим» членом редколлегии «Философской энциклопедии».

Мне всегда казалось, что В.Ф.Асмус был способен на большее в области теоретической философии, что, подавленный партийно-идеологическим прессом (а его всю жизнь за что-нибудь «прорабатывали» — в 20-е годы за симпатии или даже солидарность с «меньшевистствующим идеализмом», в 30-е за «буржуазный объективизм», будто бы содержащийся в книге «Маркс и буржуазный историзм», в 40-е — за мнимые ошибки III тома «Истории философии» и упомянутую выше невышедшую книгу по истории русской философии, также попавшую в сферу критического внимания вездесущего ЦК; в 50-е годы — за «беспартийную позицию» в области логики, в 60-е, как я уже писал, за высокую оценку позиции и прозы опального Б.Пастернака), он так и не вышел из состояния некоторого теоретического анабиоза, в который впал, видимо, еще в 20-е годы. Мне всегда думалось, что у него «в столе» лежат труды не только по истории философии, но и философии теоретической. Основанием к тому было понимание высокого теоретического уровня его работ, как «Диалектический материализм и логика» (1924), «Противоречия специализации в буржуазном сознании» (1926), его полемика с А.Варьяшем (эта полемика была в центре моей статьи «Из истории изучения советскими философами методологии историко-философского исследования» (История общественной мысли. М., 1972). Когда я ее написал, то показал В.Ф. машинопись. Он статью одобрил, но счел, что критиковать А.Варьяша теперь следовало бы помягче, чем это у меня получилось. Того же мнения придерживались и венгерские товарищи, читавшие уже напечатанную статью) по проблемам методологии историко-философского исследования (1926—1927), «Очерки истории диалектики в новой философии» (1930), упомянутая уже книга о марксовом историзме (1933), «Проблемы интуиции в философии и математике» (1965). И если мои ожидания не оправдались и в архиве ученого, как сказала мне его верный друг, жена и помощница А.Б.Асмус, собственно теоретических работ не оказалось, то для меня это является свидетельством того, что сталинизм задавил теорети-

ческий потенциал и еще одного выдающегося русского интеллектуала...

Сложными были мои отношения с М.Т.Иовчуком. Ввиду того, что он был одним из наиболее жестких наместников партийных органов в философии, особенно в области истории отечественной философии, о нем мало вспоминают, а если и вспоминают, то только со знаком минус. Разговор о нем, действительно, требует именно такой тональности, поскольку, начиная с 40-х годов, он был одним из душителей свободной мысли. И не только душителем, но и идеологом, насаждавшим всякого рода антинаучные, антиисторические схемы в истории русской философии, начертанные по его политическим соображениям. С карикатурной серьезностью он требовал перестройки идей и целых концепций в зависимости от весьма частых и подчас противоречащих друг другу решений пленумов, съездов, Политбюро ЦК. Как ученый он, в сущности, «не состоялся», не сделал ничего серьезного (а ведь он был членом-корреспондентом АН СССР и многократно претендовал на то, чтобы стать академиком). Это же можно было сказать о его докторской диссертации, которую я читал в числе немногих удостоенных этой чести (он даже поручил мне это чтение, чтобы я высказал свои соображения, которыми, впрочем, он так и не поинтересовался) перед тем, как он защищал ее в спешном порядке, для того чтобы баллотироваться в члены-корреспонденты АН. После защиты диссертация исчезла, и «шестидесятники», хотевшие подвергнуть ее критике, так и не смогли ее получить в руки.

Все это так, и М.Т. был, конечно, одной из мрачных фигур идеологической, научной жизни России, начиная с 40-х годов. Как и Г.Ф.Александров, он является типичной — я бы сказал трагической — личностью эпохи сталинизма, которая, в отличие от оппозиционных сталинизму ученых, входила в группу партийно-идеологической элиты. Трагической в том смысле, в каком трагичен герой рассказа А.Солженицына «Случай на станции Кречетовка» или героиня рассказа А.Яшина «Рычаги»: сталинистская система делала даже и хорошего человека — плохим, заставляла приспособляться к политиканству, к борьбе за место в элите, словом, развращала и разрушала личность.

Лично я сильно пострадал от его прямолинейной партийности. Именно ему я обязан жестокостью той «проработки», которой я подвергся в 1948—1949 годах в связи с кампанией против космополитизма, в результате которой, как я уже говорил, я был уволен из числа сотрудников Института философии. Так что вряд ли меня можно упрекнуть в каких-либо симпатиях к М.Т. И тем не менее я хочу сказать, что чисто негативная оценка его деятельности и личности была бы несправедливой.

Человек он был способный, чтобы не сказать талантливый. Он обладал острым умом, стремившимся к крупным обобщениям. В нормальных условиях жизни из него, несомненно, мог бы выйти историк философии значительного масштаба. Он обладал недюжинными организаторскими особенностями, и вот их-то он употребил не без пользы. Надо признать, что значительность размаха работ по истории отечественной философии (не говоря сейчас об их результатах, это вопрос особый), которые развернулись в нашей стране с 40-х годов, во многом была обязана его энергии. В 1943 г. он организовал и поначалу возглавлял первую в СССР кафедру истории русской (впоследствии — народов СССР) философии (его сменил на этом посту И.Я.Щипанов). Он же был организатором и руководителем работы в этих областях, осуществляющейся в Институте философии АН СССР, особенно работ соответствующего цикла в шеститомной «Истории философии» и пятитомной «Истории философии в СССР».

На М.Т.Иовчука не могло не оказать влияние раскрепощение общественной мысли, наступившее в нашей стране после смерти Сталина, как ни синусоидально проходил этот процесс (и М.Т. «колебался вместе с линией»). Со временем М.Т. как бы несколько остепенился, стал ближе к научным запросам, терпимее относился к научным поискам, дискуссиям, некоторым новациям, сам понабрался знаний. Эти изменения отозвались и на его отношении ко мне, одному из его идейных врагов в 40-х — начале 50-х годов. В конце 50-х годов, по настоянию Б.М.Кедрова, М.Т.Иовчук согласился нормализовать мое положение в моей профессиональной области (история отечественной философии), тем более, что я был легализован и поступлением на работу в «Философскую энциклопедию» под руководством «самого» зав. агитпропа ЦК. В знак такого примирения он согласился

быть моим оппонентом по докторской диссертации, оценив ее как «поисковую». Вряд ли без его поддержки мне удалось бы напечатать (в сильно сокращенном виде) эту диссертацию как книгу «Философские идеи русского Просвещения» (М., 1971).

Но все же он все время оставался правоверным блюстителем идеологической чистоты, вступал в конфликты с ее нарушителями. Так было в его полемиках с В.Ф.Пустарнаковым по поводу русского марксизма, Плеханова в частности. Так было при редактировании завершающих томов «Истории философии в СССР», посвященных развитию советской философии, где было много трудных политизированных проблем, как, например, борьба философских направлений в СССР конца 20-х — начала 30-х годов, оценка философских и вообще теоретических выступлений И.В.Сталина и официальных идеологов периода сталинизма — М.Б.Митина, П.Ф.Юдина, Г.Ф.Александрова и др. Так было при организации, написании и обсуждении не увидевшего света и не завершеного работой коллективного многотомного труда «История русской философии». Кажется, именно М.Т.Иовчук как мог препятствовал изданию книги А.Ф.Лосева о В.С.Соловьеве и сочинений последнего.

М.Т.Иовчук как член редколлегии «Философской энциклопедии», был одним из наиболее активных. Посылаемые ему для прочтения и визирования статьи по истории русской и марксистской философии возвращались испещренными редакционными правками, замечаниями, вопросами и рекомендациями. Правда, по преимуществу они носили конъюнктурный характер, хотя иногда были справедливыми.

Мне, может быть, следовало рассказать об авторах хотя бы того раздела «Философской энциклопедии», который я редактировал. Сделать это в полной мере или хотя бы значительной мере в этой статье — невозможно. Отчасти я сделаю это ниже, а сейчас назову лишь фамилии «призеров», т.е. тех, кто написал наибольшее количество статей по разделу «история западноевропейской философии»: А.Ф.Лосев — 97 статей, В.Н.Кузнецов — 48, В.В.Соколов и Б.Э.Быховский — по 47, В.Ф.Асмус — 27 (по моим, может быть, не совсем точным подсчетам).

4

Принимали «Философскую энциклопедию» хорошо. Первый том редакция ездила обсуждать в Ленинград, первые два тома — в Ростов-на-Дону. По мере выхода томов появлялись рецензии — на I и II тома в «Коммунисте» (1964. № 2), на V том в «Философских науках» (1971. № 5), на все пять томов — в «Правде» (16.II.1971), «Вопросах философии» (1971. № 5) и «Коммунисте» (1972. № 5). И обсуждения, и рецензирование проходили, в общем, благоприятно для издания. Общественность высоко оценила труд сотен авторов, а также редакторов и редколлегии, хотя, разумеется, было сделано немало критических замечаний, по преимуществу частного характера. Довольно критической, по частностям, была указанная рецензия на V том.

Не обошлось и без тяжелых эпизодов. О них стоит рассказать для характеристики времени, условий, в которых приходилось тогда работать. Так, в газете «Советская культура» (28.III.1964), известной своим идеологическим пуританизмом, претензией на идейную «чистоту» и маниакальной, вульгаризованной борьбой за нее, появилась рецензия П.Трофимова под весьма характерным для тех времен заголовком: «Путают...». Автор сводил в рецензии какие-то групповые счеты с новыми взглядами и самостоятельными трактовками различных проблем искусствознания и эстетики, требуя ортодоксальных, по его пониманию, трактовок высказываний Энгельса, критикуя молодых новаторов от эстетики, будущих диссидентов Л.Пажитнова и Б.Шрагина, а также лидера одного из направлений тогдашнего искусствознания и эстетики — Г.Недошивина. Все это осуществлялось в специфической стилистике, весьма напоминающей 40-е годы, и заканчивалось обличительными обобщениями о «путанице и неразберихе в нашей философской литературе», призывами к бдительности и неприятию «вреда, который она («путаница». — З.К.) приносит практической работе, нашей идеологической борьбе», а также призывом следовать глубоким высказываниям по вопросам эстетики (а именно по поводу абстракционизма в искусстве) Н.С.Хрущева и Л.Ф.Ильичева (тогдашнего секретаря ЦК КПСС по идеологическим вопросам).

Другого свойства неприятный инцидент произошел уже после выхода всех пяти томов. Он был связан с вы-

движением «Философской энциклопедии» на соискание Ленинской премии. Конечно, труд этот был вполне достоин премирования, особенно если иметь в виду, какие работы выдвигались и получали премии в те времена. Но тут важны и специфика издания, и то, как происходило это выдвижение. Тогда для благополучного исхода конкурса надо было, чтобы кто-то из высшей идеологической элиты поддержал такое выдвижение, да и в состав авторского коллектива лучше всего было ввести ее представителя. Но в данном случае все критерии перемешивались. С одной стороны, труд был достоин выдвижения. Но, с другой, была объективная трудность, которую инициаторы этого выдвижения либо не учли, либо намеревались преодолеть именно за счет элитности части «выдвиженцев». Эта объективная трудность состояла в том, что в создании труда участвовали сотни ученых, и выделить из них небольшое число (если я не ошибаюсь, по условиям конкурса их не могло быть более семи) было невозможно, не поступаясь справедливостью. Отсюда следовал вывод, что подобное издание вообще не могло быть выдвинуто на соискание премии. Но, видимо, желание руководителя издания украсить свою грудь отличием, которого у него не было, оказалось сильнее благоразумия и чувства справедливости. В «Правде» (12.I.1972), в рубрике «на обсуждение общественности» в списке выдвинутых на соискание Ленинских премий работ появилась и «Философская энциклопедия». Были названы четыре претендента вот в каком порядке: Ф.В.Константинов, А.Г.Спиркин, В.Ф.Асмус, М.Т.Иовчук. В газете «Известия» (17.III.1972) была напечатана восторженная статья за подписью академика А.Берга, опирающаяся на детальное знание содержания издания, что сразу же настораживало: скорее всего, акад. Берг не писал, а просто подписал статью, он не мог с такой подробностью знать этот материал, да и вряд ли вообще столь подробно знакомился с изданием. Хотя мне это и неизвестно в точности, но я предполагаю, что статью мог написать А.Г.Спиркин, который был в то время не только заместителем Ф.В.Константинова по энциклопедии, но и заместителем А.Берга в Научном совете по комплексной проблеме «Кибернетика» при Президиуме АН СССР. Может быть, в написании статьи принимал участие и Б.В.Бирюков, поскольку в ней речь шла главным образом о материалах того раздела энциклопедии, по ко-

торому Б.В.Бирюков был научным консультантом и одно время внештатным научным редактором. Статья заканчивалась словами, что выдвинутый «коллектив ученых... принимал наиболее активное участие в создании "Философской энциклопедии"...». Но это было не так, и превосходная степень была здесь совершенно неуместна. Характерным было здесь и нарушение алфавита, и подчинение даже простого перечня участников некоему бюрократическому принципу должностной иерархии: сперва был поименован Главный редактор, затем его заместитель и затем уже по алфавиту два «простых» члена редколлегии.

Нельзя сказать, что эти кандидаты не были достойны подобного выдвижения. А.Г.Сpirкин был, несомненно, одной из центральных фигур в создании «Философской энциклопедии», являясь также и автором многих важнейших статей, особенно по диалектическому материализму, а В.Ф.Асмус — по истории западноевропейской философии. М.Т.Иовчук, как я уже заметил, был активным членом редколлегии, хотя и в ограниченном тематическом масштабе. Лишь «руководящую роль», в общем-то мало влиявшую на создание томов, играл Главный. Но никак нельзя было сказать, как это было напечатано в статье А.Берга, что это был «коллектив ученых», который «принимал наиболее активное участие в создании "Философской энциклопедии"», и потому предложение это было несправедливым. Но справедливость таки восторжествовала: пройдя все предварительные стадии — рекомендация не была одобрена на пленарном заседании Комитета по премиям.

5

В заключение я хотел бы высказать некоторые соображения о выходе «Философской энциклопедии» как событии, отражающем духовную жизнь советского общества 60-х годов.

30-е — первая половина 50-х годов в нашей стране были годами господства сталинской вульгаризации и догматизации философии. Правда, господства не тотального. В этих границах все же получала возможность как-то существовать история философии. Издавались сочинения классиков западной философии, к тому же различных направлений, в том числе и идеалистического, вплоть до Беркли и Фихте, не говоря уже о Канте, Шел-

линге и Гегеле. Эти издания комментировали и анализировали, что давало определенный простор для свободной мысли. Все-таки жила психология как наука, соседствующая с философией. Официальная философская наука стремилась выходить и в области онтологии под модусом «философских проблем естествознания». И здесь можно было кое-что сделать, хотя именно в этой области официальная философия осуществляла свою разрушительную функцию — в генетике, биологии, химии, физике. Следует подчеркнуть особую роль истории философии в противостоянии философской мысли отупению, исходящему из IV главы «Краткого курса». Восходя на вершины классической философской мысли, ученые дышали совсем другим воздухом. Они проникались классической проблематикой, постигали классические методы исследования и стиль рассмотрения философских вопросов. Но на собственно теоретическом участке философской науки, сосредоточенном в диалектическом и историческом материализме, дышать было трудно, атмосфера была затхлая, господствовала схоластика. Выход в те времена книг по философии был явлением чрезвычайно редким, их тематика и даже сами названия (например, «Материалистическая диалектика». М., 1937 и «Марксистский диалектический метод». М., 1951 М.М.Розенталя; «Марксистский диалектический метод». М., 1947 и «Очерк диалектического материализма» М.А.Леонова; «Диалектический материализм». М., 1953 под ред. Г.Ф.Александрова и т.п.) — чрезвычайно однообразными.

И вот пришло время постепенного освобождения мысли. И, как всегда в области науки и культуры, оказалось, что свободой не так-то просто воспользоваться (это мы чувствуем и сегодня). И первое пятилетие освобождения оказалось малопродуктивным, во всяком случае на поприще публикаций. Поначалу освобождение давало себя знать по преимуществу в устных дискуссиях, в изготовлении неких «виттенбергских тезисов». Б.М.Кедров, будущий член редколлегии «Философской энциклопедии», выступает в Академии общественных наук в присутствии вскоре потерпевшего политический крах, но на время занявшего руководящую должность в области идеологии Д.Т.Шепилова (чтобы он не потерялся и не забывался, сообщу об историческом анекдоте, а может быть, факте, связанном с этими двумя лицами. Когда Б.М.Кедров, в присутствии Д.Т.Шепилова, критикуя

Сталина, сказал, что между сталинским и теперешним временами (а это происходило до «падения» Д.Т.Шепилова, т.е. между 1953 и 1957 годами) он не видит особой разницы, Шепилов подал реплику: разница большая, в сталинские времена вы отправились бы сейчас прямо на Лубянку, а теперь Вы будете продолжать свое выступление...) с критикой философского раздела «Краткого курса», написанного Сталиным. Выходят на простор самостоятельной научной и преподавательской деятельности выпускники философского факультета МГУ 50-х годов, будущие активные авторы «Философской энциклопедии» — Э.В.Ильенков, готовивший к печати свою кандидатскую диссертацию (она была защищена в 1953 г. и только в 1960 г. вышла как книга «Диалектика абстрактного и конкретного в "Капитале" Маркса»), которая станет исходным документом целой школы советских диалектиков; со своими единомышленниками (прежде всего — В.И.Коровиковым, впоследствии отошедшим от деятельности в области философии) он пишет тезисы по гносеологии, направленные против рутинного «диамата», царившего на факультете. Там же выступают Ю.Ф.Карякин, Е.Г.Плимак и другие будущие «шестидесятники» с критикой антиисторизма и просто невежественности официальных историографов отечественной философии — М.Т.Иовчука, И.Я.Щипанова и др. А.А.Зиновьев, так же как и Э.В.Ильенков, пройдя в своей диссертации, посвященной проблеме соотношения логического и исторического у Маркса (1954) гегелевско-марксов искус, ринулся со своими единомышленниками в современную формальную логику и начинал деятельность по формулированию исчислений (логик), чем приводил в ужас как старых формальных, так и официальных диалектических логиков. Где-то между новациями Ильенкова и Зиновьева формируется «содержательная логика» Г.П.Щедровицкого. Пионерскую смелость в области освоения западной философии XX в. проявляла П.П.Гайденко, преодолевая ставшую к тому времени традиционной ту манеру охаивания «современной растленной буржуазной философии», которая делала невозможным освоение ее позитивных результатов. Она всерьез исследует экзистенциализм, Хайдеггера и Ясперса, другие направления западной философии нашего века (обо всем этом она издаст несколько книг в 60-х — начале 70-х гг. и будет писать в «Философской энциклопедии»). В эти

же 50-е годы оканчивают философский факультет МГУ будущие энтузиасты теории систем И.В.Блауберг и В.Н.Садовский, и к ним присоединится сотрудник Энциклопедии Э.Г.Юдин, о котором я скажу несколько слов ниже. Из «школы» Ильенкова выходит В.А.Лекторский, из группы Щедровицкого — В.С.Швырев, которые начинают плодотворную работу в области гносеологии, а также критической ассимиляции на отечественной почве идей «логики науки».

Философский факультет Московского университета, а затем, благодаря главным образом его выпускникам, и Институт философии АН СССР оживают, появляются молодые философы, которым становится душно и тесно в старых гнездах, чтобы не сказать — камерах, охраняемых надсмотрщиками из числа официальных идеологов сталинистской выучки.

Возвращаются из среднеазиатской ссылки философы тогдашнего среднего поколения — В.С.Библер, успешный в этой внутренней эмиграции издать книгу «О системе категорий логики» (Душанбе, 1957); отправляясь от этой гегелевско-марксистской традиции, он двинется по пути создания философии «диалога культур», собравшей под свои знамена целую школу. Оттуда же возвращается ученик С.Л.Рубинштейна М.Г.Ярошевский, также создавший школу — истории психологии и психологии научного творчества.

Начинают оживать и многие философы старшего поколения, вынужденные в 30-х — начале 50-х годов уйти во внутреннюю эмиграцию, писать «в стол», молчать на дискуссиях в целях самосохранения. Что это было так, доказывает явление, которое еще не проанализировано нашими историографами и библиографами: со второй половины 50-х годов начинают выходить многочисленные книги и статьи представителей старшего поколения, причем совершенно очевидно, что это были финальные обработки того, что накапливалось многими годами и даже десятилетиями, не находя выхода в печать (на что я безрезультатно, как на аномалию, сетовал еще на философской дискуссии 1947 г. — см.: «Вопросы философии». 1947. № 1. С. 347—375). Едва ли не наиболее яркие тому примеры — Б.М.Кедров и А.Ф.Лосев. Их продукция 60—80-х годов представляется совершенно невероятной, как заново наработанная. А.Ф.Лосев в 1960 г., когда вышел 1-й том «Философской энциклопедии», был уже старым человеком, ему было

67 лет, он был почти слеп и сильно ограничен в передвижении. И — такой фейерверк блистательных энциклопедических, а вскоре и монографических работ! Было совершенно очевидно, что он, наконец, смог реализовать наработки прежних напряженнейших трудов.

Не сочтите за нескромность, если я и себя поставлю в этот ряд, разумеется, не в смысле значимости своих работ, а в том, что лишь тогда, с 60-х годов, появилась возможность печатать то, что накапливалось годами. Все 5 моих монографий 70—80-х годов (а также две, застрявшие в издательстве и две — у меня «в столе») и две двухтомные работы — антология по русской эстетике и сочинения П.Я.Чаадаева — были по материалу, а отчасти и по концептуализации подготовлены в 40—60-х годах.

Словом, к началу 60-х годов в стране образовалась большая группа авторов старшего поколения и молодых, жаждавших обновления, — «молодые штурманы будущей бури» уже рвались в бой.

Но было бы поверхностным предполагать, что сталинистская традиция сразу же, с 1953 г., прерывается и исчезает в этих порывах новаторства и жажды обновления. Она не только еще сильна, но все еще господствует и в руководящих органах, и на ниве высшего гуманитарного образования, и в специализированной науке, в журналах и издательствах. Очень скоро выставят «гносеологов» из Университета, одернут Кедрова, Шаумяна и наше издание в связи с рассказанным выше эпизодом со статьей «Культ личности», раскассируют сектор исторического материализма Института философии АН СССР, руководимый В.Ж.Келле, и т.д. и т.п.

Вот в такой ситуации и возникла сперва идея, а затем и сама «Философская энциклопедия». В верхнем эшелоне ее возглавила достаточно консервативная в массе своих членов редколлегия. Но даже и консерваторы понимали, что создавать многотомное издание теперь, после XX съезда КПСС и в условиях хрущевской оттепели, когда общественное мнение требует обновления, в прежнем духе нельзя.

В значительной мере обновленчество подсказывалось и тем, что сама задача была новая: многотомной специально-философской энциклопедии Россия еще никогда не создавала. И если все это понимали даже консерваторы, то что же говорить о нашем редакторском и главном создателе этого нового издания — авторском коллективах?

В этих условиях перед редакторским коллективом едва ли не главной была задача привлечения авторов-новаторов, независимо от их возраста. Думается, эту задачу в основном решить удалось. Все названные выше молодые университетские выпускники шли к нам и приводили еще более молодых. Э.В.Ильенков привел Н.В.Мотрошилову и других; Е.Г.Плимак порекомендовал нам в состав редакции А.И.Володина, С.Л.Воробьева и Р.А.Гальцеву; кажется, Б.В.Бирюков направил к нам М.М.Новоселова и М.Ф.Солодухину, без помощи которых он сам уже не мог справиться с редактированием все разрастающегося отдела формальной логики, философских вопросов математики, естествознания и — специально — кибернетики. Отдел исторического материализма и социологии, который в редакции вел нынешний заведующий редакцией философии издательства (сменивший меня на этой должности в конце 1968 г.) Н.М.Ланда, консультировали И.С.Кон, Ю.А.Левада, Б.А.Грушин, А.Г.Здравомыслов, В.А.Ядов, В.Н.Шубкин, выступавшие и как авторы по тогда почти неизвестной в стране науке социологии, а Г.М.Андреева — по социальной психологии. По историческому материализму и смежным с ним проблемам в качестве консультантов и авторов выступали молодые помощники Н.С.Хрущева и Ю.В.Андропова — Ф.М.Бурлацкий, А.Е.Бовин, Г.Х.Шахназаров, Г.А.Арбатов, молодые преподаватели вузов — В.Ж.Келле, А.П.Бутенко и др.

Если я не ошибаюсь, именно через «Философскую энциклопедию» на широкое поле научных публикаций вышел окончивший в 1961 г. филологический факультет Московского университета С.С.Аверинцев, написавший для Энциклопедии большое количество статей по истории и догматике христианства и истории духовной жизни Византии, что тогда мало кто мог сделать. Из Ленинграда слал нам статьи по истории философии Возрождения А.Х.Горфункель. Кроме названных патриархов советской философии тех времен писали нам и другие ученые старшего поколения — А.С.Ахманов и Е.К.Войшвилло по логике, И.И.Зильберфарб и Н.Е.Застенкер по истории утопического социализма, М.А.Лифшиц по теории и истории культуры, Т.И.Ойзерман по истории марксизма и западноевропейской философии. Трудно, очень трудно было с Востоком, и здесь явилась молодежь: Н.П.Аникеев, А.М.Пятигорский, В.В.Бро-

дов — по Индии, С.Н.Григорьян и другие — по арабскому Востоку. Эмигранты из числа «испанских детей» И.Претель и Р.А.Бургете во многом помогли нам справиться с малоизученной испанской тематикой. Целую плеяду молодых логиков — В.К.Финна, Д.А.Лахути, В.А.Успенского, Ю.А.Гастева и др. — привлекли Б.В.Бирюков и его помощники, неизменно консультировавшиеся с корифеями отечественной математической логики А.А.Марковым и С.А.Яновской.

Хотелось бы сказать специально несколько слов о трагической судьбе нашего научного редактора Эрика Григорьевича Юдина. Это трагедия подавляемого сталинизмом, но устоявшего человека. Уже будучи кандидатом философских наук, но совсем еще молодым 26-летним человеком, Э.Г.Юдин был репрессирован в 1956 г. по политическим мотивам. Он находился в заключении до 1960 г., а выйдя из заключения, никак не мог получить работу по специальности. Только в 1964 г. он стал нашим сотрудником по разделу диалектического материализма, философским проблемам естествознания и психологии. Э.Г.Юдин вместе с А.Г.Сpirкиным углубляли и в известной мере преобразовывали традиционный диалектизм — эту цитадель философского консерватизма (впрочем, и исторический материализм был законсервирован едва ли не еще более). В этот период начинали осваивать концепцию системного анализа И.В.Блауберг и В.Н.Садковский, и Э.Г.Юдин присоединился к ним. Лучшие IV и V тома «Философской энциклопедии» многим обязаны ему в этих своих разделах не только как редактору, но и как автору. Э.Г. прожил после выхода V тома совсем недолго. Он умер в 1976 г., не реализовав всех своих творческих возможностей.

Я, конечно, не назвал и малой доли участников создания «Философской энциклопедии». Я хотел только сказать, что все живое, молодое и все лучшее, что могло еще дать старшее поколение, — все это хлынуло к нам. И если бы требовалось дать некую общую характеристику того, что сделала «Философская энциклопедия», то следовало бы сказать, что она решила свою задачу на высшем из возможных для десятилетия 1960—1970 гг. уровне. Надо добавить при этом, что, в отличие от других изданий тех же и последующих лет, она, по самой своей природе, вынуждена была решать эту задачу тотально, по всему периметру философии и даже значи-

тельно выйдя за пределы собственно философской проблематики, особенно в некоторые смежные специальные области. Нам ставили это в упрек и по ходу дела, и подводя итоги. Но, как я уже заметил, мы делали это сознательно, поскольку в то время, особенно поначалу, эти специальные области находились в некоторой идеологической опале и не могли рассчитывать на достаточно детальное освещение. Так это было с математической логикой, социологией, историей религии.

Я погрешил бы перед объективностью и просто исторической правдой, если бы представил создание «Философской энциклопедии» как дело безоблачное, а решение стоящей перед ней задачи как полностью реализованное в том смысле, что каждая ее статья отвечала самым высоким требованиям. Возможности наши были тогда отнюдь не безграничны, и в издании энциклопедии были многочисленные и разного рода трудности, в ней содержится немало конъюнктурных материалов и попросту лишних, ненужных статей. Об этом можно рассказывать подробнее, и это, может быть, когда-нибудь сделают. Я же расскажу здесь об этом вкратце.

Трудностей, подобных тем, которыми была отмечена работа над статьями «Карл Маркс» и «Культ личности», было немало, особенно в тех случаях, когда статьи эти были посвящены темам, имевшим политическое, конъюнктурное значение. Тут и подбор авторов, и содержание статей часто оказывались под присмотром и Главного, и консервативных членов редколлегии, они были, что называется, начеку. Под их влиянием, например, было решено посвятить специальные статьи всем первым секретарям зарубежных компартий. Так появились у нас статьи, которые, в сущности, не имели отношения к «Философской энциклопедии», — о Гомулке, Айдите, Чаушеску и других подобных фигурах. Такая же обязательность была введена и для статей по истории философии во всех союзных республиках тогдашнего СССР и в социалистических странах. Была ли философия в данной стране или не было, а ее надо было разыскать и изложить. Извинением здесь могло быть разве лишь то, что в заголовки этих статей входило выражение: «...и общественная мысль».

Что касается эволюции принципов, на которых основывалось издание, то они изменялись и в формальном, и — отчасти — в содержательном отношениях.

О плане формальном я уже говорил: «Философская энциклопедия» первоначально планировалась в гораздо меньшем объеме томов и статей в них. И это привело к тому, что статьи первых двух, а отчасти даже и третьего тома, были значительно меньше, чем статьи IV и V томов. Уже эта эволюция давала себя знать с выгодой для последних томов — на большом пространстве можно лучше справиться с темой.

Но гораздо существенней, значительнее была эволюция содержательная, которая, правда, не была тотальной, а захватывала лишь некоторые отделы и статьи. Я имею в виду отражение в энциклопедии новых тенденций в общественном сознании, обозначившихся уже к середине 60-х годов и отразившихся в двух последних томах. В них все большее внимание уделялось идеалистической философии, иррационализму, религии и богословию. И дело, конечно, не просто в увеличении внимания, но и в том, что статьи этого цикла утрачивали былой критический пыл и все более становились апологетическими. Со второй половины 60-х годов начинался процесс, который разовьется бурно лишь в конце 80-х — 90-х годах и приведет к критике, а многих — к отвержению материалистической, марксистской философии. Соответственно изменялось направление и отдела истории отечественной философии, в котором все большее место стал занимать русский идеализм и религиозная философия. Если говорить о сотрудниках редакции, то, насколько это уловил я (а я не могу претендовать на то, что видел картину этого движения во всем его многообразии), инициатива исходила здесь от Р.А.Гальцевой и отчасти Ю.Н.Попова. Мне кажется, что их поддержал и А.Г.Спиркин, может быть, не столько по убеждению (ибо в своих собственных работах, несмотря на интерес к парапсихологии и поддержке Джуны, он оставался более или менее ортодоксальным марксистом с учетом того обновленчества, который марксизм претерпел в 60-х годах), сколько по желанию дополнить и украсить сухую материю ортодоксии некими идеологическими вольностями, придать мятежный имидж нашему изданию, потрафить сторонникам этих новых тенденций.

В отличие от него, я не поддерживал этого направления, поскольку оставался и материалистом, и атеистом. Религиозно-иррационалистическая реакция, которую не только Россия, но и Запад пережили в первой половине

XX в. и которую Россия вновь переживает сейчас, даже и для начала XX в. представляется исторически не соответствующей культурному, философскому развитию европейских народов, а уж для конца — одним из самых трагических парадоксов, хотя, как и всякий парадокс, его можно попытаться осознать и тем самым — решить. Как бы я ни относился к религии, я не считал возможным смешивать философию с богословием и был против того, чтобы соответственно этой тенденции изменять словник и в какой-то мере превращать соответствующие разделы нашей энциклопедии из философских в богословские.

Но, как заведующий редакцией, я не считал возможным действовать административными методами в угоду своим собственным убеждениям и что-либо запрещать. Да и полномочий таких у меня не было — права А.Г.Спиркина, заместителя Главного редактора, были здесь большими. Я полагал, что тут надо действовать методами спора, обсуждений и т.п. Я исходил из того, что ведь эта тенденция, как бы я к ней ни относился, не каприз и не злоумышление Р.А.Гальцевой и привлеченных ею таких интересных авторов, как С.А.Аверинцев, С.С.Хоружий, И.Б.Роднянская и другие, а тенденция отечественного общественного сознания. И я был убежден в том, что наше издание, в соответствии со своим кредо, должно отражать его наиболее адекватно, а не через призму моих убеждений.

Так оно и сложилось. Правда, эта ретроградная тенденция была замечена не только мной. Некоторые члены редколлегии, сколько помнится, например, Х.Н.Момджян (Как рассказал мне Н.М.Ланда, уже после выхода V тома, т.е. по завершении издания и моего ухода из редакции, все-таки была созвана Редколлегия, на которой ряд членов, особенно Х.Н.Момджян, резко критиковали редакцию за то, что она не воспрепятствовало развитию указанной тенденции и некоторых вольностей в отделе социологии. Но этот шум имел смысл разве только как назидание на будущее...), протестовали против нее и, в отличие от меня, жаловались Ф.В.Константинову. Но чтобы преодолеть эту тенденцию, надо было систематически следить за ходом работы, а это делать было недосуг ни Х.Н.Момджяну, ни Ф.В.Константинову, который, кажется, все-таки дал по этому поводу выволочку А.Г.Спиркину. Но тот, по-видимому, рассуждал так же, как и я, ему было труднее, чем мне, ответственность

была на нем. Надо отдать ему справедливость, как я уже говорил, он смело брал ее на себя, он попросту, когда это было нужно, обходил Главного, не давал ему на просмотр подобных статей. И уж совсем интуитивно, не имея на то никаких фактических данных, я подозреваю, что и Главный редактор, соблюдая декорум ортодокса, давая выволочку А.Г.Спиркину и тем создавая себе в случае чего алиби, сам был в известной мере охоч до этих вольностей, завоевывая таким образом в глазах общественного мнения некий авторитет смелого человека...

Но как бы то ни было, теперь, через четверть века, можно сказать, что «Философская энциклопедия» отразила и эту эволюцию общественного сознания.

Вспоминая теперь о годах создания «Философской энциклопедии», я часто задумываюсь о призывах многих наших журналистов, писателей и идеологов, требующих ото всех россиян, чья сознательная жизнь прошла в сталинские и послесталинские времена, очищения и покаяния. Мне всегда была противна эта морализация, ничего, по моему мнению, не дающая для укрепления национальной нравственности, а только расшатывающая ее, воспитывающая ханжество и лицемерие. Для меня эти требования были лишь ханжескими иллюзиями, обывательским требованием выставлять напоказ свои раны, неким показным мазохизмом. Разумеется, у всех нас есть поступки, достойные сожаления, а если надо, то и исправления. Разумеется также, что надо наказывать виновных, и тем строже, чем больше их вина. Но большинство из нас сочтут, что и в тяжкие 30—40-е годы, и в нелегкие последующие они делали свое дело и приносили как могли пользу своим согражданам. Думая обо всем этом, я вспоминаю финал давнего (кажется, английского) фильма о Рембрандте. Мастер смотрит на свою картину «Ночной дозор», улыбка озаряет его лицо, и он, немало грешивший, произносит: «Да, я не напрасно прожил жизнь».

Такие мысли приходят мне в голову, когда я в очередной и бесчисленный раз обращаюсь за справкой в «Философскую энциклопедию».

«Вопросы философии» в шестидесятые годы

Мне посчастливилось работать в журнале «Вопросы философии» пять с половиной лет — с середины 1962 по конец 1967 г. Я специально подчеркиваю «посчастливилось» потому, что это был интересный и, как выяснилось впоследствии, достаточно важный период в истории журнала; коллектив, в котором я трудился, был жизнерадостным, активным, работоспособным, очень доброжелательным и делал все для того, чтобы превратить «Вопросы философии» в действительно профессиональный философский журнал, и, наконец, всем нам, кто в это время работал в редакции, было на 35 лет меньше, чем сейчас.

Естественно, что мои заметки будут касаться главным образом этого периода жизни журнала, но для того, чтобы они были более понятны, этот период следует «вставить» в контекст всей пятидесятилетней истории «Вопросов философии». Я считаю — конечно, с этим можно спорить, — что журнал «Вопросы философии» за пятьдесят лет своего существования прошел шесть различных периодов,

Первый — кедровский, когда во главе журнала стоял Б.М.Кедров, был очень коротким — всего один год, с середины 1947 до середины 1948 г. Затем в течение двадцати лет главными редакторами журнала были представители «сталинской философской гвардии» — Д.И.Чесноков, Ф.В.Константинов, М.Д.Каммари, А.Ф.Окулов и, наконец, М.Б.Митин. На самом деле *эти двадцать лет представляли два периода жизни журнала, то есть второй и третий*. Между ними трудно провести четкую хронологическую границу, но они существенно отличаются содержательно: «Вопросы философии», выступающие с конца 1948 г. официальным и поэтому сугубо догматическим периодическим изданием по философии и общественным наукам в целом, постепенно, начиная с середины 50-х годов, стали приобретать форму научного,

исследовательского журнала по философии. *Четвертый* период жизни журнала связан с деятельностью И.Т.Фролова и созданной им в 1968 г. редколлегии, в которую были включены наиболее яркие советские философы того времени. *Пятый* — когда во главе журнала стоял В.С.Семенов, и *шестой*, в котором, по моему мнению, журнал находится и в настоящее время, связан с работой В.А.Лекторского в качестве главного редактора. Выделение шести периодов пятидесятилетней истории «Вопросов философии» я предложил в своем выступлении на круглом столе, посвященном юбилею журнала. Э.Ю.Соловьев, в свою очередь, выступая на этом круглом столе, выделил четыре периода в истории «Вопросов философии», о которых более подробно говорится в его статье «Философский журнализм шестидесятых: завоевания, обольщения, недоделанные дела» (Вопросы философии. 1997. № 7). Хотя четыре не равны шести, эти две периодизации весьма близки друг к другу, но я все же предпочитаю свой вариант, потому что, во-первых, соединять в одном периоде «кедровские» номера журнала, которые, по словам Э.Ю.Соловьева, представляли «достойную прелюдию», с «десятилетием идеолого-догматического раболепства», на мой взгляд, не только совершенно неоправданно, но — да простит меня Эрих Юрьевич — просто недопустимо, и, во-вторых, я не могу согласиться с тем, что двадцать лет истории журнала — с 1977 г. по настоящее время — окрашены в одни и те же тона и представляют один период истории журнала (я разделил эти двадцать лет на два периода). Впрочем, любая периодизация — дело условное, и читатель, у которого хватит терпения дочитать мою статью, обнаружит, что в ее последнем абзаце я предлагаю еще одну периодизацию истории журнала «Вопросы философии» на два больших этапа: конечно, эта периодизация является достаточно грубой, но в ней есть свой смысл.

Расскажу несколько более подробно об этих шести периодах жизни журнала. Появление Б.С.Кедрова во главе журнала было, как мне кажется, во многом неожиданным. Б.М.Кедров был хорошо известным философом, очень активно работающим, но, скажем так, не очень вписывающимся в философскую иерархию того времени. Видимо, основную роль в назначении его главным редактором сыграла поддержка А.А.Жданова и его сына — химика и философа Ю.А.Жданова, который в

то время также работал в ЦК партии. Б.М.Кедров стал создавать журнал, исходя из своего понимания целей и задач марксистской философии, что и нашло наиболее яркое выражение во втором номере журнала за 1947 г. (первый номер носил формальный характер — в нем, как известно, была опубликована стенограмма философской дискуссии по книге Г.Ф.Александрова «История западноевропейской философии», что было выполнением решения этой дискуссии). Второй номер журнала за 1947 г. — практически первый содержательный номер «Вопросов философии» — буквально вызвал шок для тогдашнего партийного и философского руководства. По своему основному содержанию этот номер журнала, я считаю, предвосхитил возможный уровень публикации философских статей в Советском Союзе лет на десять-пятнадцать. Во всяком случае статьи М.А.Маркова и И.И.Шмальгаузена по философским проблемам физики и биологии еще и сегодня не утратили своей актуальности. И к тому же здесь была опубликована нетрадиционная для того времени статья З.А.Каменского по истории русской философии, которая оказалась весьма «благодатной» почвой для только что возникшей и набирающей огромную разрушительную силу кампании против космополитизма. Реакция была мгновенной, и, хотя Б.М.Кедров формально оставался главным редактором еще двух номеров журнала (№№ 1(3) и 2(4) за 1948 г.; до 1951 г. журнал, выходявший три раза в год, имел сквозную нумерацию), судьба Б.М.Кедрова как главного редактора созданной им редколлегии и, главное, — кедровского понимания философии — была предрешена. Неожиданная смерть А.А.Жданова в августе 1948 г. только подтолкнула принятие соответствующего решения, и с номера 3(5) журнала за 1948 г. главным редактором стал Д.И.Чесноков, который, как стало известно впоследствии, в последние годы жизни И.В.Сталина был его главным философским советчиком, за что и был избран на XIX съезде партии членом Президиума ЦК КПСС.

Началась двадцатилетняя история журнала — с 1948 по 1968 г., когда его главными редакторами были «хорошо проверенные» сталинские кадры. В этой истории, однако, как я уже говорил, можно выделить два существенно различных этапа. На первом — до смерти И.В.Сталина и, может быть, точнее до 1955—1956 гг. — журнал представлял собой «младшего брата» «Больше-

вика», а затем «Коммуниста» — типично идеологическое издание догматического типа, предназначенное для вещания философских истин в последней инстанции и карающее — при случае — тех, кто вольно или невольно впадал в философскую ересь. Именно в это время в журнале была опубликована печально знаменитая статья «Кому служит кибернетика?», выключившая лет на пять-семь участие советских ученых в проведении кибернетических исследований, и ряд аналогичных публикаций. (Кстати, статья «Кому служит кибернетика?» была подписана псевдонимом «Материалист», и позднее, лет через десять, некоторые авторы, которые также пользовались этим псевдонимом, доказывали, что не они написали эту статью. Насколько я знаю, ее автором был психолог В.Н.Колбановский.) В основном же журнал был заполнен статьями истматовского плана с разъяснениями последних решений ЦК партии, партийных съездов, описанием победоносного движения Советского Союза к коммунизму и комментаторскими статьями по диамату на сюжеты работы И.В.Сталина «О диалектическом и историческом материализме».

Второй этап этого двадцатилетнего периода истории журнала, а следовательно, третий период его жизни, формировался постепенно, начиная с середины 50-х годов, и его суть состояла в превращении «Вопросов философии» в профессиональный философский журнал. Очень важную роль в этом процессе сыграл ответственный секретарь журнала в 1949—1959 гг. Михаил Иванович Сидоров. Я, к сожалению, не был лично знаком с ним, но по рассказам многих моих коллег и друзей, которые с ним работали, представляю его как человека, глубоко заинтересованного в журнале и максимально способствующего тому, чтобы превратить его из типичного для того времени партийно-идеологического органа в научное философское издание. Прежде чем более подробно рассказать об этой «перестройке», следует пояснить читателю структуру и формы работы журнала, которые, по сути дела, возникли в момент его создания и практически сохранились вплоть до настоящего времени. Без этих пояснений трудно понять, как журнал менял свой облик, начиная с середины 50-х годов.

* * *

«Вопросы философии» не только создавались по решению ЦК партии (такое решение при советской власти было необходимо для создания любого печатного органа), но и при непосредственном и постоянном курировании со стороны ЦК, в первое время — со стороны секретаря ЦК партии А.А.Жданова, позднее — со стороны других партийных лидеров идеологии страны. В соответствии с этим журнал был создан как достаточно солидное научно-издательское учреждение: численность его сотрудников временами доходила до 35—40 человек; журнал платил за публикуемые статьи, особенно первое время, очень высокий гонорар; ставки работающих в нем сотрудников были также достаточно высоки; работники журнала имели некоторые льготы — хорошую поликлинику, льготные путевки и т.п.; главному редактору была предоставлена персональная машина; не сразу, но с конца 50-х годов журнал получил вполне приличное и обширное помещение на первом этаже здания на Волхонке, 14, и т.д. и т.п.

Коллектив сотрудников журнала состоял из трех групп:

1) Первая — члены редколлегии, в разное время от 10 до 20 и более человек. Редколлегия утверждалась ЦК партии, и в нее включались видные (в первое время практически без исключения — по занимаемому положению; позднее стал учитываться и реальный научный вес членов редколлегии) советские философы. Во главе редколлегии стояли главный редактор, заместитель главного редактора и ответственный секретарь (в кедровский период не было заместителя главного редактора и ответственного секретаря — их функции выполнял И.А.Кривелев, который практически занимался основной оперативной работой по подготовке журнала и был вместе с Б.М.Кедровым сурово наказан за грехи первых номеров журнала. Правда, Б.М.Кедров был оставлен членом редколлегии и бессменно оставался таковым до своей смерти в 1985 г., И.А.Кривелев же вместе с М.Э.Омельяновским, П.В.Таванцом и Б.А.Чагиным были выведены из состава редколлегии, и позднее ни И.А.Кривелев, ни П.В.Таванец в составе редколлегии журнала никогда более не появлялись. Не знаю, кого надо благодарить за то, что Б.М.Кедрова оставили членом редколлегии в 1948 г. Этот шаг был крайне нелогичен с точки зрения

бытовавших в то время партийно-государственных нравов, но практически сорокалетнее активное участие Б.М.Кедрова в работе журнала трудно переоценить, особенно в 40-е и 50-е годы, то есть в наиболее тяжелый период его истории, как, впрочем, и в последующие годы); некоторые члены редколлегии заведовали отделами журнала — в первые десятилетия жизни журнала традиционными для философских учреждений того времени: отделами диамата, истмата, научного коммунизма, истории философии, критики современной буржуазной философии, этики, эстетики, критики и библиографии и т.п. Редколлегия, как правило, заседала не менее одного раза в две недели и обстоятельно обсуждала все материалы, предназначенные к опубликованию.

2) Вторая — заместители заведующих отделами и научные консультанты — обычно порядка 10—12 человек; все они, как правило, философы-профессионалы, и в их задачи входит заказ, подготовка статей, их редактирование и доведение до окончательной формы после обсуждения на редколлегии. Практически эта группа сотрудников делала основную содержательную работу в журнале; редколлегия же выносила соответствующие вердикты по представляемым на ее заседания материалам.

3) Третья — группа вспомогательных, технических сотрудников: несколько литературных редакторов, специальный сверщик цитат, секретарь редакции, секретарь главного редактора, машинистки, стенографистки, курьеры, шоферы и т.п.

Получилось так, что фактически уже в кедровский период начал формироваться очень хороший коллектив вспомогательных сотрудников журнала, многие члены которого проработали в нем не один десяток лет, поистине самоотверженно отдавая этой работе все свои силы. Не могу в этой связи не вспомнить с самыми теплыми чувствами секретаря редакции Ольгу Яковлевну Фридлянд, проработавшую в «Вопросах философии» с момента создания журнала до своей смерти в 1982 г. Журнал в советское время издавался издательством «Правда», наиболее престижным в СССР, с большим размахом, что было характерно для всех курируемых ЦК партии изданий: достаточно сказать, что до середины 60-х годов члены редколлегии обсуждали уже набранные статьи, то есть верстку, которая нередко шла под нож (денег, естественно, никто не считал). Ольга Яковлевна вела все

дела по взаимоотношениям редакции с издательством «Правда». Ее хорошо дополняла секретарь главного редактора Галина Францевна Гурко, очень тепло относившаяся ко всем сотрудникам журнала. Прекрасно работал коллектив литературных редакторов: в мое время в нем были Елена Иосифовна Годунская, Инесса Сергеевна Фиалкова, Александра Федоровна Озерская (Галахова) и некоторые другие. Конечно, я не смог упомянуть всех, кто работал над подготовкой журнала даже в «мои», шестидесятые годы, да я и не ставлю перед собой такой задачи. Я хочу подчеркнуть лишь одну мысль: с момента создания и практически до настоящего времени коллектив редакции журнала, который, конечно, за прошедшие пятьдесят лет существенно менялся, всегда оставался очень дружным и крепким, и подавляющее большинство его членов просто жили заботами и проблемами журнала.

К началу 50-х годов описанная структура журнала «Вопросы философии» полностью сформировалась, и по этой структуре — естественно, с соответствующими модификациями, связанными главным образом с сокращением штатных единиц и начавшейся с 70-х годов экономией средств, журнал работает и в настоящее время.

Сидоровская «перестройка» журнала, конечно, ни в коей мере не могла коснуться состава редколлегии — это было дело высших партийных и научных инстанций. В ее первом послекедровском варианте вместе с Д.И.Чесноковым в качестве новых членов оказались главный противник Б.М.Кедрова А.А.Максимов, а также один из лидеров борьбы против космополитизма М.Б.Митин, заведующий кафедрой философии Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б) В.С.Молодцов и крупный государственный чиновник В.П.Столетов, впоследствии многолетний министр высшего образования СССР. Редколлегия была дана журналу как бы от Бога, и с авторитетными (по занимаемому положению, конечно) мнениями ее членов волей-неволей приходилось считаться. За десять — двенадцать лет — с 1948 по 1960 г. — состав редколлегии, главным образом в связи с приходом новых главных редакторов, несколько менялся, но партийно-государственный статус и научный уровень ее членов в основном оставались одними и теми же.

Не было нужды М.И.Сидорову хоть в какой-то мере реформировать и прекрасно работающую группу вспомо-

гательных сотрудников: от добра добра не ищут. Оставался один путь — постепенное изменение состава и квалификации групп заместителей заведующих отделами и научных консультантов журнала, и М.И.Сидоров пошел именно этим путем, заложив тем самым хороший фундамент для кардинального изменения облика журнала.

Следует сказать, что с самого начала к работе в журнале в качестве научных консультантов и заместителей заведующих отделами (эту группу сотрудников обычно называли «аппаратом») привлекались, как правило, весьма достойные и квалифицированные кадры: сначала научные сотрудники Института философии АН СССР, например, З.А.Каменский, Н.В.Завадская, Л.Л.Потков, И.И.Новинский и другие; свой вклад в работу журнала внесли Г.А.Арбатов, А.В.Гулыга, И.И.Ворошилин, только что пришедшие из сталинских лагерей Е.П.Ситковский и С.С.Пичугин. Особенно следует отметить Геннадия Сардионовича Гургенидзе — одного из первых пришедших в журнал научных консультантов, который отдал журналу добрых тридцать лет своей жизни и в течение всех этих лет, без преувеличения можно сказать, олицетворял научную совесть журнала. Каждый из названных мною людей (к ним, наверное, надо добавить и некоторых других, которых я не смог вспомнить и упомянуть), несомненно, внес свой положительный вклад в работу журнала, но каждый из них, как правило, действовал в одиночку, защищая и «проталкивая» свои статьи, и коллективного воздействия аппарата на редколлегия долгое время не было. Думаю, что М.И.Сидоров это хорошо понял, и с середины 50-х годов он широко открыл ворота «Вопросов философии» для приглашения на работу в журнал выпускников и закончивших аспирантуру философского факультета МГУ, который в то время был гораздо более прогрессивным учреждением по сравнению, например, с Институтом философии.

В результате, начиная с середины 50-х годов, в журнале в качестве научных консультантов стали работать Э.А.Араб-Оглы, А.Л.Субботин, И.Т.Фролов, М.К.Мамардашвили, Н.И.Лапин, И.В.Блауберг, Н.Б.Биккенин, И.Б.Новик, Б.С.Пышков, несколько позднее — Е.Т.Фаддеев, А.Г.Арзаканян и др. Это была первая волна выпускников философского факультета в журнале «Вопросы философии», которая своими коллективными действиями во второй половине 50-х — начале 60-х

годов существенно изменила его научный статус. Во многом благодаря усилиям этих сотрудников аппарата удалось добиться реабилитации кибернетики на страницах «Вопросов философии»; Т.Д.Лысенко потерял свой былой безоговорочный авторитет среди философской общности; сталинская интерпретация диалектического и исторического материализма стала быстро исчезать со страниц журнала; практически все перечисленные новые работники аппарата активно стали публиковаться в журнале с интересными и оригинальными статьями, и главное — аппарат стал реальным коллективом со своим видением философии, и нередко в противостоянии редколлегия (с защитой официальных, догматических философских позиций) — аппарат (с гораздо более прогрессивным пониманием целей и задач философии) редколлегия была вынуждена уступить.

Представители первой волны выпускников философского факультета в журнале «Вопросы философии», может быть, даже не очень осознавая это, выполнили к началу 60-х годов свои основные задачи — журнал стал совершенно иным по своему содержанию, а им самим — во всяком случае большинству из них — рамки журнала стали тесны. И поэтому нет ничего удивительного в том, что за очень короткий промежуток времени многие из них покинули журнал и ушли работать в другие места. Остались лишь И.Б.Блауберг, который в 1963 г. стал ответственным секретарем и членом редколлегии журнала, Е.Т.Фаддеев и А.Г.Арзаканян. Однако линия, заложенная М.И.Сидоровым, сохранилась, хотя сам он в журнале уже не работал. В «Вопросы философии» пришла вторая волна выпускников философского факультета: наконец-то научную работу получил Э.Ю.Соловьев, выпускник 1957 г.; с нашего курса выпускников 1956 г. в журнале оказалось трое — Г.Н.Волков, В.С.Марков и я, с более младших курсов — Ю.Б.Молчанов и А.П.Огурцов, позднее в журнале стали работать также выпускники философского факультета МГУ — Л.И.Греков, В.М.Михкалев, А.Я.Шаров. Ключевую роль в работе аппарата продолжал играть Г.С.Гургенидзе, который, несмотря на большую разницу в возрасте по сравнению с большинством других научных редакторов, по духу был очень близок нам всем. По-видимому, можно сказать, что именно в середине 60-х годов сидоровская идея перестройки журнала получила наиболее полное воплощение

(даже заместитель главного редактора А.С.Ковальчук, пришедший на работу в журнал в 1962 г., также был выпускником философского факультета МГУ первых послевоенных лет, однако его понимание философии и задач журнала существенно отличалось от нашего — но ведь хорошо известно, что нет правил без исключений).

Мы, представители второй волны выпускников философского факультета в журнале «Вопросы философии», в своей работе, конечно, опирались на то, что удалось сделать нашим более старшим товарищам, и — решусь высказать такое самонадеянное утверждение — в некоторых аспектах мы смогли добиться даже больших результатов. Естественно, нам было легче действовать: журнал начала 60-х годов, когда мы пришли в него, по своему содержанию существенно отличался от «Вопросов философии» середины 50-х годов, да и редколлегия, с которой нам пришлось работать, разительно отличалась от первых послекедровских редколлегий. Интересно, что эта редколлегия была образована при назначении в 1959 г. главным редактором А.Ф.Окулова, он проработал в этой должности всего один год. А.Ф.Окулов, который до этого работал заместителем директора Института философии и которого я в какой-то степени знал, будучи младшим научным сотрудником этого института, был совершенно нормальным — по своим человеческим качествам — человеком (действительно, хорошим мужиком), но совершенно неподходящим для этой работы. Но вместе с его приходом в журнале появилась значительно более прогрессивная редколлегия, чем это было раньше. И именно эту редколлегию наследовал М.Б.Митин. В ней, конечно, еще сохранились некоторые партийные и философские «зубры», например, М.Д.Каммари, Ц.А.Степанян, В.С.Молодцов, В.И.Свидерский, Б.С.Украинцев, — вот, пожалуй, и все, но в нее уже были включены весьма достойные и хорошо профессионально подготовленные философы — И.В.Кузнецов, Ю.К.Мельвиль, А.Ф.Шишкин, а в лице Ю.А.Замошкина в нее впервые в истории журнала попал представитель совершенно иного, значительно более молодого и безусловно прогрессивного поколения советских философов и социологов. В работе редколлегии по-прежнему был очень активен Б.М.Кедров — впрочем, так было и раньше и будет позже, до конца его дней. Создатель журнала, он очень внимательно относился к своему лю-

бимому детищу и, несмотря на огромную загруженность, практически не пропускал ни одного заседания редколлегии, твердо держа свою руку на пульсе журнала.

Если попытаться охарактеризовать в самых общих чертах то, что удалось сделать в журнале «Вопросы философии» в 60-е годы, я бы сказал так: *именно в эти годы журнал реально превратился в профессиональное философское периодическое издание*. Конечно, ни в эти годы, ни позже — вплоть до крушения Советского Союза — журнал не мог освободиться от «неизбежной дани» — марксистско-ленинского идеологического обрамления публикуемых в нем статей, но, во-первых, во многих случаях такое обрамление стало явно чужеродным довеском (и читатель, как правило, это хорошо понимал), во-вторых, в статьях, скажем так, по сциентистским разделам философии — по теории познания, по логике и методологии, по философии естествознания, в какой-то степени по истории философии авторы нередко вообще избегали такого обрамления, и, наконец, в-третьих, сама марксистско-ленинская философия превратилась из объекта раболепного поклонения в предмет серьезного, нередко достаточно критического анализа.

В *диаматовском цикле* журнальных публикаций тех лет полностью исчезли не только сталинский вариант философии диалектического материализма, но во многом и ленинская интерпретация диалектики и философии марксизма в целом. Вместо этого авторы журнала обратили свое внимание на анализ новейших направлений гносеологии, методологии и философии науки — методов моделирования, структурно-системного анализа, аксиоматического, гипотетико-дедуктивного и генетического методов и т.п., широкой кибернетизации научной деятельности и внедрения идей и принципов кибернетики практически во все основные сферы естественных и социальных наук. Природа информации, взаимосвязь информации и вероятности, соотношение энтропии информационных процессов и физической энтропии и т.д. — еще одна важная область методологии науки, которая стала глубоко исследоваться на страницах «Вопросов философии» в эти годы. Серьезному анализу стали подвергаться проблемы семиотики, логической семантики, теорий естественных и искусственных языков. Появились первые публикации по проблемам науковедения, которые вызвали целый поток статей на эти темы во вто-

рой половине 60-х и последующие годы. Широко обсуждались на страницах журнала вопросы общей теории систем и философско-методологических проблем системного подхода. Ведущую роль в этой переориентации диалоговской тематики играл заместитель заведующего отделом Г.С.Гургенидзе; в этом отделе работал я, и несколько позднее к нам присоединился А.П.Огурцов.

На страницах «Вопросов философии» 60-х годов очень широко была представлена проблематика *философских вопросов естествознания*. Кардинально изменился характер обсуждения этих проблем: навсегда ушли в прошлое попытки представить диалектический материализм в качестве философского цензора содержания новейших научных теорий, что было столь характерно для 30-х, 40-х и начала 50-х годов; естественнонаучный материализм из различных областей физики, биологии и других наук, который рассматривался авторами публикуемых в журнале статей по этому разделу, перестал выступать в качестве иллюстрации действия законов диалектики, что также было основным мотивом соответствующих публикаций в предшествующие десятилетия господства философского сталинизма; все статьи — буквально все, — которые были опубликованы в разделе философских вопросов естествознания в эти годы, — это серьезные научные исследования, например, философских проблем физики элементарных частиц, соотношения элементарного и сложного в физике микромира, проблемы измерения в квантовой теории, структуры физической теории, проблем времени и бесконечности, методологических вопросов генетики, молекулярной биологии, современной эволюционной теории, биофизики, происхождения жизни, вопросов возможности искусственно создать живое, наконец, самых различных аспектов кибернетики, о чем я уже говорил, и т.д. и т.п. Неудивительно, что отношение многих видных отечественных естествоиспытателей к журналу начало решительно меняться именно в эти годы, и большая заслуга в этом отношении, несомненно, принадлежит научному консультанту, а затем заместителю заведующего отделом философских вопросов естествознания Ю.Б.Молчанову.

Принципиальные изменения претерпел в 60-е годы и раздел журнала, посвященный *современной зарубежной философии и социологии*. Даже само это название было просто немислимо в 40-е и в начале 50-х годов, когда

высшее партийное начальство поставило перед журналом в качестве одной из его основных задач «активную и непримиримую борьбу против философии буржуазной реакции» (см. статью «Вопросы философии» в «Большой советской энциклопедии». 2-е издание. Том 9. М., 1951. С. 95). Теперь даже вполне нейтральное слово «критика» исчезло из названия отдела, в статьях же их авторы все в большей степени стали заменять слово «буржуазная» на «зарубежная». Это, однако, только внешняя сторона дела. Что же касается содержания опубликованных в этом разделе статей в 60-е годы, то, во-первых, подавляющее большинство из них представляли собой действительно серьезный критический анализ соответствующих зарубежных философских теорий, и, во-вторых, журнал в эти годы открыл советскому философскому сообществу смысл и значение ряда важных направлений западной философской мысли, и прежде всего экзистенциализма. Не менее трех десятков статей по этой проблематике было опубликовано в период работы второй волны выпускников философского факультета в журнале, а главную роль в этом отношении сыграл Э.Ю.Соловьев, который не только искал и находил новых авторов, но и сам активно публиковался по этим вопросам. Другим направлениям современной зарубежной философии «повезло» несколько меньше, но тем не менее на хорошем научном уровне были выполнены опубликованные в это время статьи по философским воззрениям А.Уайтхеда, А.Швейцера, Мартина Лютера Кинга, М.Шелера, феноменологии Э.Гуссерля, лингвистической философии, неотомизму и др.

Значительно сложнее шел процесс профессионализации в сфере *исторического материализма*, что легко понять: эта область марксистской философии была наиболее тесно связана с идеологически-политическими установками советского государства. Тем не менее наряду с дежурными статьями о строительстве коммунизма, ленинских теориях социалистической культуры, решения национального вопроса и т.п., от которых журнал еще долго не сможет избавиться, в этом разделе стали все решительнее появляться серьезные статьи по социальной философии и социологии, например, по проблемам современной научно-технической революции, взаимосвязи природы и общества, науки и производства, проблемам организации управления производством, вопросам тео-

рии оптимального планирования, проблемам социальной структуры общества, анализу экономических моделей и экономической кибернетики, структурному анализу в историческом исследовании, применению принципов системного подхода в социальных исследованиях, количественным методам в социологии, проблемам социологического измерения, роли закона больших чисел в социальной статистике и т.п. Медленно, но процесс шел в направлении усиления научной составляющей марксистской социальной философии и социологии, хотя термин «марксистская социология» даже в конце 70-х годов будет еще вызывать истерику у правоверных блюстителей марксистской философской чистоты. Тяжелую, поистине адскую работу по «онаучиванию» исторического материализма и внедрению в марксизм исследований по социологии вели в журнале в 60-е годы сотрудники аппарата журнала Е.Т.Фаддеев, Г.Н.Волков, некоторые члены редколлегии — прежде всего А.Ф.Шишкин, Ю.А.Замошкин, В.Ж.Келле и некоторые другие.

К сказанному о позитивных сторонах содержательной работы журнала «Вопросы философии» в 60-е годы следует еще добавить, что, несмотря на практически официально провозглашаемое в то время мнение о неактуальности собственно *историко-философских исследований*, А.Г.Арзаканяну, отвечавшему за эту область философии в журнале, пусть не очень часто, но все же удавалось публиковать достаточно интересные и оригинальные статьи по проблемам истории философии. Ряд несомненно творческих статей был опубликован в эти годы и по проблемам *этики*, в которых, как это было и в статьях по другим разделам философии, о чем я уже говорил, исследовались не только и не столько традиционные вопросы марксистско-ленинской этической концепции, сколько современные этические проблемы, такие, как анализ природы морального сознания, проблемы ценности, моральной оценки, человек как высшая ценность и т.п. Уровень этих публикаций был достаточно высок. Журнал, кроме того, имел в эти годы весьма объемные и богатые по содержанию отделы *критики и библиографии*, *научной жизни* и специальный отдел «Философия за рубежом», который достаточно оперативно знакомил советских философов со многими новейшими работами зарубежных философов и социологов. Постепенно устанавливались серьезные научные контакты с *видными зарубеж-*

ными философами: еще в конце 50-х — начале 60-х годов журнал посетили Н.Винер, Ж.-П.Сартр и другие; в 60-е годы мы принимали Ж.Пиаже, У.Росс Эшби, большую группу ведущих зарубежных психологов — участников проведенного в 1966 г. в Москве XVIII Международного психологического конгресса, и др.

И, наконец, во второй половине 50-х — 60-е годы журнал получил *во многом совершенно новый авторский актив*. Думаю, что к старым философским пишущим кадрам за эти годы добавилось не менее 70—90 новых интересных авторов — философов, социологов и представителей конкретных наук, которые в последующие годы прочно заняли ведущие позиции в развитии философии и социологии в нашей стране.

Надеюсь, что я привел достаточно аргументов в пользу высказанного мною мнения, что именно в 60-е годы были сделаны важные шаги в превращении журнала «Вопросы философии» в профессиональное философское периодическое издание. Не хочу быть неправильно понятым: безусловно, это произошло не только в результате работы в журнале второй волны выпускников философского факультета МГУ. Во-первых, *журнал эволюционировал вместе с развитием научно-ориентированных философских исследований в ведущих научно-исследовательских центрах страны*, прежде всего в Институте философии АН СССР, на философском факультете МГУ и других философских учреждениях, и, во-вторых, в журнале в эти годы сложилась уникальная ситуация взаимоотношения редколлегии и аппарата: вместо почти постоянного противостояния, что было характерно для 40-х и 50-х годов, происходило постепенное сближение аппарата по крайней мере с частью редколлегии и совместное решение многих важных содержательных проблем, причем аппарат на заседаниях редколлегии очень часто выступал в роли своеобразного дополнительного, никем, конечно, официально не утвержденного *коллективного члена редколлегии*. Этому способствовали и изменения в составе редколлегии, которые имели место в 60-е годы.

Я уже говорил о первом составе редколлегии «Вопросов философии», с которым начал работать М.Б.Митин и с которым работали мы. В этом составе было хорошее ядро здравомыслящих и глубоко профессиональных философов — Б.М.Кедров, Ю.А.Замошкин, И.В.Кузнецов,

Ю.К.Мельвиль, А.Ф.Шишкин, и совместными усилиями этих членов редколлегии и аппарата удавалось решать многие возникающие по ходу работы содержательные проблемы. Однако в начале 1962 г. в журнале по инициативе главным образом Ю.К.Мельвиля была опубликована статья видного английского философа А.Айера «Философия и наука» («Вопросы философии». 1962. № 1), а через некоторое время его небольшая статья о советской философии в журнале «Observer». Статья «Философия и наука» была совершенно безобидной с самой строгой советской идеологической точки зрения; в статье же, опубликованной в «Observer», содержались, как об этом писал впоследствии сам А.Айер, некоторые неразумные и просто «глупые» утверждения. В результате разразился скандал (см. более подробно: Вопросы философии. 1962. № 1, а также мою статью «Б.М.Кедров и международное философское сообщество» — «Вопросы философии». 1994. № 4. С. 62), итогом которого было реформирование в 1963 г. редколлегии журнала, из которой были исключены Ю.К.Мельвиль и И.В.Кузнецов, а также М.Д.Каммари, В.С.Молодцов, М.Ф.Овсянников, А.Ф.Окулов, К.М.Фролов и Б.А.Чагин, но зато введены в нее А.И.Берг, В.А.Карпушин, В.Ж.Келле, В.С.Кеменов, П.В.Копнин, А.Н.Леонтьев, С.Р.Микулинский, Ю.В.Сачков, несколько позже еще дополнительно Т.И.Ойзерман и М.Э.Омельяновский — в итоге, так сказать, здравомыслящая и профессиональная составляющие редколлегии существенно увеличились, и контакты аппарата с редколлгией стали более тесными, что дало возможность решать многие важные вопросы по публикуемым в журнале материалам.

Среди многих словесных баталий, которые разыгрывались очень часто на заседаниях редколлегии, мне, да, видимо, и многим моим коллегам особенно запомнилось обсуждение небольшой статьи П.Ф.Юдина, в которой он решительно осуждал предпринимаемые в последнее время попытки, как он писал, ревизии постановления ЦК ВКП(б) от 25 января 1931 г. «О журнале "Под знаменем марксизма"», где была дана партийная критика меньшевистствующего идеализма. П.Ф.Юдин правильно почувствовал грозящую, в частности ему, опасность — на безусловном принятии и реализации этого постановления основывалась вся его карьера, как и карьера М.Б.Митина и всех других советских философско-пар-

тийных лидеров 30-х — 50-х годов. Особое его неудовольствие вызвала статья «Меньшевиствующий идеализм», опубликованная в 3-м томе «Философской энциклопедии» (М., 1964). На самом деле эта статья была написана вполне в традиционном духе, но в последнем ее абзаце — хрущевская «оттепель» это разрешала — говорилось о том, что в период культа личности это постановление трактовалось нередко неправильно: порой философы, допустившие те или иные ошибки, необоснованно характеризовались как представители враждебной идеологии, объявлялись врагами народа и репрессировались. Такая интерпретация постановления ЦК 1931 г. представлялась П.Ф.Юдину глубоко ошибочной, и М.Б.Митин первоначально, как казалось, был готов поддержать своего старого соратника, но неожиданно в ходе обсуждения он обнаружил, что автором этой статьи в «Философской энциклопедии» является не кто иной, как он сам, и ему пришлось искать выход из создавшегося положения. Выступавшие при обсуждении этой статьи члены редколлегии — во всяком случае большинство из них, если не все — и работники аппарата высказывались против публикации статьи П.Ф.Юдина, аргументируя тем, что по своему духу и стилю она является чуть ли не дословным повторением того, что писалось по поводу этого постановления добрых 35 лет тому назад, и что М.Б.Митин совершенно прав, когда в своей статье, опубликованной в «Философской энциклопедии», писал об извращенном истолковании этого постановления в период культа личности. В конечном итоге после обсуждения этой статьи на двух заседаниях редколлегии (после первого заседания П.Ф.Юдин дорабатывал статью, но она практически осталась без изменений) она была отвергнута.

* * *

Думается, что следует рассказать о специфических особенностях рабочей атмосферы, которая была в журнале в 60-е годы. Приход М.Б.Митина в журнал совпал с началом нисходящей линии его карьеры (не знаю, осознавал он это сам или нет). Официальный советский философ номер один в 30-е годы, он в 40-е и даже в 50-е годы оставался еще на самом верху советской философско-партийной иерархии, хотя и не мог не чувствовать за собой жаркое дыхание своих, как правило, более моло-

дых конкурентов, стремящихся потеснить его с философского трона. В 1961 г. закончилось его более чем двадцатидвухлетнее членство в ЦК КПСС, и, хотя пост главного редактора «Вопросов философии» был одним из четырех или пяти наиболее престижных философских постов в Советском Союзе, для М.Б.Митина получение этой должности было не повышением, а понижением.

Справедливости ради надо сказать, что в журнале М.Б.Митин вел себя вполне корректно, доброжелательно ко всем работникам редакции, никакой нервозности, шума и тем более крика. Работа в журнале для него, имеющего за спиной пятнадцатилетнее руководство журналом «Под знаменем марксизма» (1930—1944) и почти семилетнюю работу в качестве шеф-редактора газеты «За прочный мир, за народную демократию» (1950—1956), издававшуюся на 19 языках, была рутинной и спокойной деятельностью. Создавалось впечатление, что он даже не читал статей перед заседаниями редколлегии, просто просматривал их во время обсуждения и предлагал, как правило безошибочно, наиболее приемлемые для большинства участников обсуждения решения. В связи с поведением М.Б.Митина на заседаниях редколлегии вспоминается один забавный эпизод: заседание редколлегии проходило в день снятия Н.С.Хрущева, вся Москва уже знала об этом; хотя официального сообщения еще не было, и вот М.Б.Митин, ведя редколлегию, тщательно вычеркивал в обсуждаемых статьях все упоминания о Н.С.Хрущеве.

Вот еще один эпизод. В середине 1964 г. мы с Г.С.Гургенидзе решили предложить Э.Г.Юдину написать обзор новейших работ советских философов по проблемам диалектического материализма. Главной целью этого предложения было стремление оказать хоть какую-то помощь Эрику Григорьевичу в решении его нелегких проблем: возвратился в Москву в 1960 г.; на руках у него был диплом кандидата философских наук, но он вынужден был несколько лет работать на Московском заводе резинотехнических изделий в должности рабочего; все попытки добиться реабилитации, в чем ему активно помогали Н.Б.Биккенин, в то время работавший в журнале «Коммунист», В.П.Кузьмин, работник отдела науки ЦК партии, и некоторые другие, не приводили к положительному результату. Э.Г.Юдин написал очень хороший обзор, содержащий большой фактологический материал

с указанием многих работ, содержащих серьезные научные результаты. Обзор был опубликован в журнале в 1964 г. (№ 12. С. 149—162) под двумя фамилиями — Н.Г.Алексеев и Э.Г.Юдин. Буквально через несколько дней после выхода журнала в редакцию приехал сильно возбужденный Б.С.Украинцев, кстати, член редколлегии журнала, работавший в то время заведующим сектором идеологического отдела ЦК партии и курировавший все общественные науки, с претензиями по поводу этого обзора — мол, как это вы допустили, в обзоре широко цитируются и излагаются работы малоизвестных авторов, а фундаментальные исследования Л.Ф.Ильичева и некоторых других советских философских лидеров остаются в тени. К чести М.Б.Митина, мы с Г.С.Гургенидзе не услышали от него ни одного слова упрека, вся эта история на этом и закончилась, а мы с Геннадием Сардионовичем смогли сохранить при себе информацию о биографии Э.Г.Юдина.

Не могу не рассказать еще об одном событии, которое произошло в журнале в 1966 г. и которое было непосредственно связано с М.Б.Митиным, с одним из его деяний прошлых лет, но это, как говорится, сюжет из совершенно другой оперы. В начале 1966 г. в ЦК КПСС обратилась вдова видного советского философа Яна Эрнестовича Стэна, репрессированного и расстрелянного в 1937 г., с просьбой восстановить справедливость относительно авторства статьи «Философия», опубликованной в «Большой советской энциклопедии» (1-е изд. Том 57. М., 1936). В письме говорилось о том, что эта статья была написана Я.Э.Стэном, но соответствующий том БСЭ вышел с указанием, что статья «Философия» в основном написана М.Б.Митиным, и, естественно, без какого-либо упоминания о ее действительном авторе. По существующим в то время партийным нормам в редакции была создана специальная комиссия по проверке этого письма в составе Е.Т.Фаддеева (руководитель), А.П.Огурцова и меня. Мы очень быстро установили, что вдова Я.Э.Стэна абсолютно права: мы посетили Л.С.Шаумяна, в то время первого заместителя главного редактора БСЭ, и он, буквально как хороший фокусник, немедленно вынул из сейфа два сигнальных экземпляра тома 57, где в первом из них указано авторство Я.Э.Стэна, а во втором сказано, что авторами статьи «Философия» являются М.Б.Митин, А.В.Щеглов при участии еще одного фило-

софа. По содержанию же эти два варианта статьи отличались только тем, что в опубликованном ее варианте добавлен последний абзац, где клеймятся враги народа и в качестве примера таковых называется Я.Э.Стэн. В отделе кадров Академии наук нас познакомили с личным делом М.Б.Митина, в котором он в списке своих трудов указывает и статью «Философия» из тома 57 БСЭ. (Описывая эту печальную историю, я вдруг осознал, что мы ведь после безусловного установления авторства Я.Э.Стэна вроде бы так и не опубликовали эту информацию. Позвонил А.П.Огурцову — он подтвердил это, хотя и назвал минимум два источника, где об этом говорится. Действительно, в томе 5 «Философской энциклопедии» в статье «Стэн Я.Э.» (М., 1970. С. 149) в списке его сочинений указана и статья «Философия» тома 57 БСЭ со следующим примечанием: «(статья в основном написана Я.Стэном)». Аналогичным образом в книге «Философы России XIX—XX столетий» под редакцией П.В.Алексеева статья «Философия» включена в список сочинений Я.Э.Стэна — в данном случае без каких-либо примечаний. В результате читатель, желающий познакомиться с этой статьей и взявший в руки том 57 БСЭ, вряд ли что-нибудь сможет понять: ведь совершенно невозможно представить себе, что статья, подписанная другими именами, в которой в ее последнем абзаце Я.Э.Стэн представлен как враг народа, на самом деле написана им самим. Я надеюсь, что мой рассказ об этой истории снимает грех с наших душ за то, что в свое время мы не довели это дело до конца. В интересах читателей важно, однако, чтобы соответствующие пояснения обязательно присутствовали в последующих публикациях биографических данных Я.Э.Стэна.) Познакомились мы там также с еще одним очень любопытным для истории философии в СССР документом: собственноручно написанной А.М.Дебориным в 1939 г. рекомендацией М.Б.Митина в действительные члены АН СССР — именно на этих выборах М.Б.Митин был избран в академики. По результатам нашей проведки партийная организация журнала «Вопросы философии» провела обсуждение персонального дела М.Б.Митина, и, пожалуй, это был единственный случай, который мне пришлось наблюдать, когда М.Б.Митин избрал ошибочную форму поведения: выслушав все наши очень резкие слова и осуждения, он решил «надавить» на нас, что привело к тому, что мы в конеч-

ном итоге проголосовали за исключение его из партии. Вышестоящая партийная инстанция, каковой являлось партийное бюро Института философии, однако, все это смягчила, и дело было в основном, как говорится, спущено на тормозах, и — что самое удивительное — вся эта история не изменила, во всяком случае внешне, отношение М.Б.Митина ко всем нам, хотя он не мог не осознать, что после того, что произошло, занимать пост главного редактора «Вопросов философии» ему осталось недолго.

Расскажу, наконец, еще об одном эпизоде журнальной жизни 60-х годов, который носит несколько курьезный характер, а в устах Э.В.Ильенкова превратился в целую легенду. М.Б.Митин, надо сказать, не докучал нам своими научно-литературными проблемами: все наши отношения носили чисто производственный характер, и в их число входили — хорошо, что очень редко, — просьбы подготовить соответствующие информационные материалы по сфере нашей работы для «инстанций» — ЦК партии прежде всего. Такая работа обычно носила чисто механический характер, склеивались куски ранее подготовленных материалов, что-то писалось заново, что-то дописывалось, уточнялось и т.п. — в целом она не требовала большого труда, но в ней был и определенный позитивный смысл — освящения «своих» идей (недаром же в средние века авторы стремились выдать свои идеи за мысли великих). И вот, думаю, что это было в начале 1963 г., М.Б.Митин попросил нас с Г.С.Гургенидзе подготовить информацию о новейших разработках проблем диалектического материализма. Сразу же выяснилось, что этот материал предназначался для программного доклада секретаря ЦК КПСС Л.Ф.Ильичева, который решил торжественно отпраздновать десятилетие хрущевской эры широкой демонстрацией выдающихся достижений общественных наук в нашей стране. Этот доклад писала вся философская Москва, да и провинция, наверное, была привлечена. Мы с Геннадием Сардионовичем написали 2-3 страницы машинописного текста в духе, близком к тому, как я несколько ранее описывал проблематику диаматовского цикла статей, опубликованных в журнале в 60-е годы. Совершенно случайно я попал на это торжественное заседание — В.М.Глушков, лидер украинских кибернетиков, попросил меня встретиться с ним в Президиуме Академии наук для того, чтобы снять

вопросы по его статье. Доклад Л.Ф.Ильичева был совершенно традиционным: никаких «наших» идей я в нем не услышал. Затем начались прения, которые открыл чуть ли не Президент Академии наук. Дождавшись удобного момента, я покинул «сонм бессмертных». Вскоре стало известно, что небольшая группа видных научных сотрудников Института философии прямо в здании ЦК КПСС срочно готовит труды этого совещания к публикации, и через пару-тройку месяцев вышла в свет блестяще изданная книга под названием «Методологические проблемы общественных наук» (М., 1964). Просматривая этот выдающийся труд (такие книги никто никогда не читал, их только просматривали), мы с Г.С.Гургенидзе обнаружили, что две страницы этой книги — одна в докладе Л.Ф.Ильичева и другая в выступлении М.Б.Митина — совпадают с точностью до редактирования. Это и был «наш» текст. Мы с Г.С.Гургенидзе сделали из этого совершенно очевидный вывод — доклад и выступления редактировали разные люди. Э.В.Ильенков же, как настоящий диалектик, для которого истина всегда конкретна, пришел к твердому убеждению, что это все козни А.Л.Субботина, и очень любил об этом рассказывать. Даже после того, как ему объяснили, как все это произошло, он предпочитал свою версию. Пользуясь случаем, клятвенно свидетельствую о том, что Александр Леонидович Субботин к этой истории не имеет никакого отношения.

* * *

Вторым лицом в «Вопросах философии», что вполне естественно, был заместитель главного редактора, и все время, пока мы, представители второй волны выпускников философского факультета, работали в журнале, эту должность занимал А.С.Ковальчук. Он прекрасно понимал, что в случае каких-либо серьезных неприятностей с журналом отвечать придется прежде всего ему, и поэтому с завидным упорством, да еще не по одному разу, читал все статьи, как говорится, от корки до корки. К тому же, пройдя после окончания философского факультета школу работы в партийных журналах, он приобрел скорее всего обычную для работников такого профиля способность читать между строк, улавливать ересь и попытки ревизии или извращения марксистской философии.

фии даже там, где этого не было и в помине, причем каждую прочитанную им верстку или рукопись он тщательно расписывал, ставя недоуменные вопросы, высказывая сомнения, а то и просто категорически не соглашаясь чуть ли не с каждым более или менее серьезным утверждением автора работы. Кто-то из философских остряков назвал этот процесс «оковальчукованием», но нам, работникам аппарата редакции, было не до смеха: в постоянных дискуссиях с А.С.Ковальчуком кипели страсти, нередко возникали обиды и т.п. Особенно тяжело было «пройти» А.С.Ковальчука тем работникам аппарата, которые готовили статьи по историческому материализму и научному коммунизму — Г.Н.Волкову, В.С.Маркову, да и у всех нас, кто занимался диалектической и историко-философской тематикой, этот процесс не вызывал никакого удовольствия. И тем не менее ретроспективно скажу, что все это были, может быть, проходящие в несколько более повышенной, чем надо, эмоциональной обстановке, но обычные производственные разногласия и конфликты, и, уйдя из журнала — а мы почти все, включая А.С.Ковальчука, перешли на другие места работы почти одновременно — в 1967—1968 гг., мы не затаили зла друг против друга.

Почти все время моей работы в журнале и работы моих коллег по аппарату прошло, когда функции ответственного секретаря выполняли сначала И.В.Блауберг (1963—1966), а затем Л.И.Греков (с 1966 г.). Оба они — спокойные, уравновешенные люди, читали все, что было необходимо, на мелочи не обращали внимания, отмечали лишь что-то существенное и важное, и мы легко разрешали все возникающие производственные вопросы. Очень важно, что и И.В.Блауберг, и Л.И.Греков поддерживали хорошие отношения и с аппаратом, и с редколлегией, и я не припомню ни одной сложной или тем более конфликтной ситуации, инициаторами которой они бы были.

Вот так мы и работали в журнале «Вопросы философии» в 60-е годы. Были молоды, много смеялись и шутили, с упоением играли в нарды и шахматы. Присутствовали на первом театрализованном публичном представлении знаменитой поэмы Э.Ю.Соловьева «Журнальная статья», которую автор недавно наконец-то опубликовал. Посещали Дом журналиста, где всегда могли, сидя, как говорил Е.Т.Фаддеев, за рюмкой кофе и чашкой конь-

яка, встретиться с коллегами из Института философии, журналов «Коммунист» и «Политическое самообразование». Удивлялись нашим читателям, которые несмотря на то, что мы действовали по всем издательским правилам, то есть читали рукопись, верстку, сверку, вторую сверку и чистые листы, обнаруживали в опубликованных номерах (это ведь порядка 25–30 тысяч экземпляров), например, такую опечатку в названии известной работы Ф.Энгельса: «Роль труда в процессе превращения человека в обезьяну», или того более — поразившую всех до глубины души опечатку в знаменитом древнегреческом изречении «Познай самого себя» (кто знает, улыбнется; тому, кто не знает, в чем она состояла, я объяснить не решаюсь). И так прошел отведенный нам срок работы в журнале, и к середине 1968 г. почти никого из нас в редакции не осталось.

Начался новый период жизни журнала — *четвертый* в его истории, во главе с И.Т.Фроловым и его заместителем М.К.Мамардашвили. Так и подмывает сказать, что «сработал» закон отрицания отрицания — представители первой волны выпускников философского факультета МГУ, бывшие во второй половине 50-х годов сотрудниками аппарата, после завершения работы в журнале второй такой волны стали руководителями журнала. Но даже это бесспорное наблюдение не делает данный закон серьезным и научным.

Этот и последующие периоды истории журнала я, как и мои прежние коллеги, наблюдал и наблюдаем уже со стороны как читатели и авторы, и я очень рад, что во «фроловский» период журнал удалось отстоять, несмотря на яростные попытки всех функционировавших еще в то время философских монстров, возглавляемых одним из московских партийных лидеров В.Н.Ягодкиным, подмять под себя журнал и практически его уничтожить как профессиональное издание. Слава Богу, не удалось.

Пятый период истории журнала, когда во главе его стоял В.С.Семенов, во многом совпал с глобальным социально-экономическим застоем СССР, и это не могло не отразиться на характере журнала. И мы, представители советской, а теперь уже российской философской и социологической общественности, с радостью приветствовали наступление *шестого* периода истории «Вопросов философии», когда на гребне перестройки журнал получил новые свежие силы, и то, что он сейчас, возглавляемый

В.А.Лекторским, является *профессиональным философским периодическим изданием*, я считаю, *высокого научного уровня*.

Об этих трех последних периодах истории «Вопросов философии» более подробно должны говорить те, кто работал в эти годы в журнале, и те, кто работает в нем сейчас. Я же, заканчивая свои заметки, хочу отметить, что, наряду с используемой мною периодизацией, всю историю журнала «Вопросы философии» можно разделить на два больших этапа: на первом — с 1947 по 1968 г. — во главе его стояли люди, родившиеся в первом десятилетии нашего века, на втором — начиная с 1968 г. и по настоящее время — философы, родившиеся в конце 20-х — начале 30-х годов, то есть люди следующего поколения. Эта периодизация, конечно, более грубая по сравнению с той, которую я использовал в своих рассуждениях, но она, к сожалению для меня и людей моего поколения, приводит нас к весьма неутешительному, но совершенно обоснованному прогнозу: пройдет еще максимум 5-7 лет, и журнал возглавят философы рождения конца 50-х — начала 60-х годов. Увы! Ничего не поделаешь — произойдет неизбежная смена поколений.

«Вопросы философии», 1997

**Философский журнализм шестидесятых:
завоевания, обольщения,
недоделанные дела**

Оглядываясь назад, я не без грусти высчитываю, что был читателем «Вопросов философии» на протяжении сорока пяти лет, автором — без малого сорок, а штатным сотрудником — ровно десятилетие (1958—1967). Надеюсь, это дает мне право потолковать о самой соблазнительной из юбилейных проблем — о проблеме периодизации.

В пятидесятилетней истории «Вопросов философии» можно, мне кажется, выделить четыре периода:

(1) После достойной прелюдии, исполненной в первых («кедровских») номерах, наступает десятилетие идеолого-догматического раболепства (время чесноковых, константиновых и каммари). В этом темном царстве можно, конечно, заметить и какие-то всполохи, но на поверку они, как правило, оказываются болотными огнями.

(2) «Хрущевская оттепель» настигает журнал с известным опозданием (в 1957—1959 годах, уже после того, как она выразительно заявила о себе на философском факультете МГУ — в дискуссионных инициативах Э.В.Ильенкова и В.И.Коровикова, А.А.Зиновьева и Г.П.Щедровицкого, Ю.Ф.Карякина и Е.Г.Плимака). С этого времени «Вопросы философии» становятся одним из очагов мировоззренческого реформизма, утверждают сознание необратимости перемен, начатых XX съездом, и, что особенно существенно, поддерживают его после низвержения Хрущева и событий в Чехословакии в 1968 г.

(3) С начала семидесятых годов (когда главным редактором был И.Т.Фролов) журнал ведет упорную, изнурительную борьбу против ползучей ресталинизации и редогматизации общественного сознания. Он несет серьезные потери в «живой силе» (вспомним 1974 год, когда из состава редколлегии были выведены, я считаю, лучшие ее работники: М.К.Мамардашвили, Б.А.Грушин,

Ю.А.Замошкин) и все-таки выходит победителем, не только не уступив «шестидесятнических» принципов, но и отыскивая их новые проблемно-тематические применения. За десятилетие до перестройки журнал, по сути дела, уже очерчивает всю совокупность проблем, которые вынудят к ее осуществлению (научно-техническая и информативная революция, изменение социальной структуры советского общества, издержки бюрократизации, экология и связанный с нею комплекс глобальных цивилизационных задач).

(4) Последний период полувековой истории «Вопросов философии» приходится на время перестройки и демократических реформ. В 1986—1987 гг. (при главном редакторе В.С.Семенове) журнал тяжелой, системно-схоластической поступью пристраивается в хвост движения «за ускорение, демократизацию и гласность». Осознание специфических — неполитических, неконъюнктурных и все-таки глубоко актуальных — задач, которые выпадают на долю философской журналистики в пору крушения единой идеологии, достигается лишь позднее (на мой взгляд, не раньше 1990 г.).

Надеюсь вернуться к этой теме в конце статьи, а сейчас позволю себе вспомнить время, когда я сам был сотрудником «Вопросов философии». Речь пойдет о шестидесятых годах, помеченных мною как «второй период» в истории журнала. Осмелюсь утверждать, что это, как выражаются немцы, была фаза «формообразующая и смыслополагающая».

В 1957 г. журнал перешел с шестиномерного на двенадцатиномерный режим. Это позволило расширить и (дыхание «оттепели»!) решительно омолодить редакцию. В составе нового «аппарата» оказались такие незаурядные русские мальчики, как Иван Фролов и Мераб Мамардашвили (об их дальнейшей судьбе нашему читателю едва ли нужно рассказывать), Игорь Блауберг (душа новой редакции, один из зачинателей методологии системного исследования), Николай Лапин (ныне — известный социолог, в 1987—1988 гг. — директор Института философии), Наиль Биккенин (последний главный редактор журнала «Коммунист», на долю которого — вместе с Отто Лацисом — выпало в сентябре 1991 г. оповестить мир о распаде и самоликвидации КПСС).

Я угодил в эту реторту с перестроечными эмбрионами сразу по окончании университета (был зачислен на место

машинистки, а два года спустя получил должность, приличную для мужчины с приличным образованием).

В 1960 г. в кресло главного редактора «Вопросов философии» надолго сел академик М.Б.Митин — бывший сталинский фаворит, активный проводник партийно-идеологических чисток середины 30-х годов. Перед нами он предстал как крепко ушибленный догматик, уже никогда — даже в брежневское время — не позволявший себе поверить в сладкую грезу о тотальном возврате к прошлому. В обращении с подчиненными был рассудительно демократичен, в работе с редколлегией домогался консенсуса и реалистических компромиссов.

Решающую роль в работе тогдашней, попустительски молодой, редакции играли представления, сформированные в аспирантско-студенческой среде конца пятидесятых годов. Все мы, если говорить коротко, исповедовали понятие философии как строгой науки, способной противостоять идеологическому иррационализму и свободной от комплекса неполноценности в отношении физики, биологии или политической экономии. Тема коренного различия философии и науки еще не проложила себе дорогу. Она заявит о себе позже: паллиативно — в 1969 г., в работах П.В.Копнина, с диссидентской энергией — в 1972 — 1975 гг., в лекциях М.К.Мамардашвили, который впервые заговорит о *великой тавтологии*: философия есть философия (а не просто одна из наук, или одна из форм художнически-артистической игры, или один из видов предельно секуляризованного теологического размышления об Абсолюте).

Понятие философии как строгой науки, при всей его наивности (и даже благодаря последней), оказалось эффективным оружием в идеологической полемике 60-х годов. Редакции удавалось достаточно успешно обыгрывать двойственный статус журнала, который, как упоминалось, был и одним из партийных («правдистских») изданий, и одним из органов Академии наук. Авторитет партийного издания использовался для поддержки научной компетентности публикаций; авторитет академического — для внедрения элементов научного дискурса в партийно-идеологический язык.

Выразительной приметой тогдашнего понимания философии как строгой науки был культ Марксова «Капитала». Решающую роль для его утверждения сыграла книга Э.В.Ильенкова «Диалектика абстрактного и кон-

кретного в "Капитале" Маркса» (1960). Все молодое поколение — иногда с глубокой верой, иногда в порядке нового методологического конформизма — возлагало жертвы на этот алтарь. «Капитал» воспринимался как научно-философский (философско-экономический) шедевр и эталон. Он внушал мечту о современной социально-политической программе, обоснованной так же глобально и систематически, как проект коммунистической эмансипации обосновывался в четырех Марксовых томах. Этот идеал был совершенно убийствен для любых реально возможных партийных программ и разъедал марксистско-ленинское правоверие, подобно кислоте. Не припомню ни одного сотрудника тогдашней редакции, который не сознавал бы теоретико-методологического измелчания марксизма после Маркса и позорного убожества господствующей социальной философии. Утешение искали в марксоидности («капиталоподобии») несоциальных научных теорий.

Редакция приложила много усилий, чтобы на языке наново обдумываемой гносеологии представить и разъяснить читателю философски значимые достижения конкретных наук.

С признательностью и восхищением вспоминаю в этой связи почти тридцатилетнее подвижничество Г.С.Гургендзэ.

Геннадий Сардионович был прозелитом Л.С.Выготского и ценил его философски ориентированную психологию выше всего, что было сделано в советское время в самой философии, включая работы Э.В.Ильенкова и каткомбное творчество М.М.Бахтина и А.Ф.Лосева (знаменательно, что сегодня этот взгляд на вещи утверждается на Западе, например, в некоторых университетах Швейцарии). Из проблемного горизонта Выготского Г.С.Гургендзэ сумел ясно увидеть философский потенциал послевоенной отечественной психологии: не только А.Н.Леонтьева и С.Л.Рубинштейна, которые были прямыми преемниками Выготского, но и П.Я.Гальперина, В.В.Давыдова, В.П.Зинченко, Я.Н.Пономарева, а также оригинальной физиологической концепции Н.А.Бернштейна. Соответствующий комплекс публикаций, излеленных и отвоеванных Г.С.Гургендзэ, по праву может быть причислен к «золотому фонду» «Вопросов философии»: они по сей день интересны и эвристически значимы. По сути дела, это была полноценная теория созна-

ния, вмонтированная в проблематику психического, и философски осмысленная психология активности. Последнюю, мне кажется, следует отличать от романтической философской идеологии активности, которую с увлечением проповедовал молодой Г.С.Батищев и которая к середине семидесятых годов выродилась в расхожую сентиментально-коммунистическую риторику.

Без всякого стыда за прошлое читаются сегодня и многие статьи шестидесятых годов, выходившие под рубрикой «философские вопросы естествознания». Журнал (здесь надо поименно вспомнить И.Т.Фролова, Ю.В.Сачкова, И.Б.Новикова, Ю.Б.Молчанова) терпеливо боролся за философское признание теории относительности и квантовой механики, а в деле реабилитации генетики постоянно опережал соответствующие публичные дискуссии. Удивительным научно-публицистическим событием были статьи М.А.Маркова, демонстрировавшие, что такое «сумасшедшие идеи в физике» (словосочетание, которое в ту пору впервые было легализовано). Марков предвосхищал парадоксалистски-катастрофическую парадигматику сегодняшней науки. Это было естествознание, от которого веяло «свободой продуктивного воображения» (в смысле Канта) и исследовательской свободой.

Вообще надо заметить, что в шестидесятнической практике журнала выражение «союз философии и естествознания» совершенно изменило свой смысл. Во времена Ленина — Сталина оно подразумевало философско-идеологический контроль над наукой, в описываемый же период — неумолимо работало на подчинение самой философии растущему (общественному и государственному) престижу естественных наук. Публикации «Вопросов» наносили чувствительные удары по апломбу еще господствовавшего (кафедрального, ленинско-сталинского) диамата и внушали его представителям робость «лириков» в отношении «физиков».

Но что самое существенное, укрепление «союза философии и естествознания» припирало к признанию интернационального (более того — космополитического) характера любой научной достоверности. Неудивительно, что и существование мирового философского сообщества впервые стало ощущаться в связи с проблемой «нашего отношения к философски влиятельным ученым-естественникам».

Летом 1961 г. состоялось памятное обсуждение статьи Норберта Винера «Ученый и общество». Это был первый со дня основания журнала немарксистский текст из-за рубежа. Вопрос о возможности его публикации исследовался редколлегией на протяжении двух дней. Ю.К.Мельвиль и М.К.Мамардашвили выстроили аргументы в пользу незамедлительного издания десятистраничного эссе, вышедшего из-под пера «отца кибернетики». Тему вертели так и этак и наконец снесли одним ударом: «А кто может поручиться, что статейка эта не заслана нам Пентагоном?!» (Б.С.Украинцев). Тут бы, пожалуй, все и кончилось, если бы не талейрановская находчивость тридцатилетнего И.Т.Фролова. В моей дневниковой записи его выступление звучит так: «Мы были свидетелями острого спора. У противника статьи понятные мотивы и доводы. Но как пересказать их самому Норберту Винеру? Думаю, выход тут один. С честностью ученых, с принципиальностью коммунистов мы должны предоставить проф. Винеру полную стенограмму нынешнего обсуждения, без каких-либо изъятий. Надеюсь, он сам сумеет оценить весомость наших "за" и "против"».

Деваться было некуда: в положенный срок статья увидела свет. Именно эта публикация положила начало расширяющимся контактам журнала с инославными зарубежными учеными и философами. В 1964 г. редколлегия приняла А.Дж.Айера, в конце шестидесятых в журнале побывали Ж.Пиаже и Ж.-П.Сартр.

Итак, можно с большой степенью уверенности утверждать, что сredo редакции в шестидесятые годы определялось одной из основных оппозиций критического рационализма, — оппозицией науки и идеологии. Философия, ориентированная на методологическую структуру новейших и современных научных теорий, все увереннее противопоставляла себя догматическому, идеолого-мифическому мышлению, ссылающемуся на привилегированную социально-историческую практику («пролетарскую», «революционную», «большевистскую») и на науку вчерашнего дня. Это обеспечивало достаточно независимую ориентацию в противоречивом, принудительно монистическом наследии марксизма, позволяло расширять круг научно-компетентных авторов, прорубать новые окна в Европу и все более авторитетно воздействовать на перестройку вузовского философского образова-

ния. Бросается в глаза гордое равнодушие, даже презрение, с каким журнал уже с начала шестидесятых годов относился к «кафедральному конформизму» — к решениям разного рода союзных, республиканских и межвузовских совещаний по проблемам преподавания диамата и истмата, где еще долго доминировали явные и тайные поклонники четвертой главы «Краткого курса истории ВКП(б)».

Вместе с тем сегодня едва ли нужно объяснять, что оппозиция «наука — идеология» достоверна и критически эффективна лишь в определенных границах. Вера в науку сама может приобретать характер идеологии, застывая в стандартных предрассудках и догматах. Таково явление, известное под именем сциентизма (понятие-порицание, которое в нашей литературе войдет в оборот с начала семидесятых годов и зафиксирует сомнение и разочарование в умственном складе предшествующего десятилетия).

Журнальная философская продукция 60-х годов отмечена печатью сциентистской ограниченности, самоуверенности и слепоты. О них свидетельствует прежде всего гуманитарная бедность публикаций. В период, когда художественная литература была главной духовной пищей интеллигенции, «Вопросы философии» не опубликовали *ни одной* статьи, которая принадлежала бы к жанру философски ориентированной литературной критики. Отдел эстетики был попросту косным; он не столько участвовал в тогдашней, достаточно острой, полемике «о природе эстетического», сколько отбояривался от нее (иногда — с помощью казенных инвектив). Статьи по этике лишь в редких случаях возвышались над уровнем просветительского резонерства. Тема личности ютилась где-то на обочине истматовской проблематики. У редакции как бы начисто отсутствовал слух к замечательным начинаниям отечественной семиотики (знаменательно, что ни в шестидесятых, ни в 70—80-х годах в «Вопросах философии» не появилось ни одной работы Ю.М.Лотмана; не жаловались вниманием и другие инициативные участники знаменитого тартуского «Контекста»).

Персоналистская тема утверждала себя косвенно и окольно: через исследования, подготовлявшиеся отделом современной зарубежной философии. Важную роль сыграли здесь публикации Ю.А.Замошкина, в которых на материале американской социальной критики была ярко

и многопланово обрисована оппозиция индивидуализма и конформизма. Внушительный проблемный вызов исходил и от статей тогда совсем еще молодых П.Гайденко, Б.Григорьяна, О.Дробницкого, Т.Кузьминой, Н.Мотрошиловой, Г.Тавризян, посвященных критическому анализу новейшей философской антропологии, феноменологии и экзистенциализма. Критика в этом критическом анализе могла быть совершенно условной («подцензурно податной», как выразился однажды Н.В.Новиков), могла быть достаточно искренней и оригинальной. Однако в обоих случаях она не заслоняла от читателя основного усилия всех только что названных авторов — их работы по *разъяснению* проблемных и категориальных новаций западной философии XX века. Именно в литературе, опонирующей новейшей философской антропологии, феноменологии и экзистенциализму, тема личности впервые получила свои собственные философские очертания; стала трактоваться в категориях онтологии субъективности (таких, как самобытие, экзистенция, идентичность, индивидуальный «жизненный мир»). Это было важное завоевание, но его, увы, оказалось далеко не достаточно, чтобы сомкнуть философское понимание личности с новым переживанием ответственности, выбора, призвания и судьбы, которое начала выражать проза В.Дудинцева и Ю.Трифорова, В.Быкова и В.Астафьева, А.Солженицына и В.Шаламова. Язык нашего нарождающегося персонализма так и остался переводным языком.

Неудивительно, что по силе духовно-экзистенциального и граждански-публицистического влияния «Вопросы философии» шестидесятых годов позорно отставали не только от «Нового мира» (тут и говорить не о чем), но и от «Вопросов литературы», и даже от таких изданий, как «Знание — сила» и «Наука и жизнь», вступавших в ту пору в стадию публицистического расцвета.

Не могу не вспомнить и еще об одном изъяне «шестидесятнической» философии, наглядно представленном в облике нашего журнала.

Сегодня бытует мнение, будто на протяжении всего послевоенного периода российские философы добивались чего-либо достойного лишь в той мере, в какой им удавалось укрыться в нишу историко-философских штудий. Это плохо продуманная легенда. В действительности историко-философский эскапизм дает о себе знать не ранее середины 70-х годов. В пятидесятых — начале

шестидесятых он так же невозможен, как в девяностых ненужен.

После жандармского выступления Жданова на дискуссии по книге Г.Ф.Александрова «История западноевропейской философии» (1947) историко-философское исследование сделалось едва ли не самым регламентированным, подозрительным и опасным из профессиональных философских занятий. До середины пятидесятых годов подготовка кадров в этой области оставалась не просто убогой, но калечащей. В шестидесятые стал ощущаться дефицит соответствующих специалистов. Стимулирование истории философии было уже возможно, но требовало особых (все еще рискованных) усилий. Надо честно признать, что журнал их не проявил: он, что называется, держался на подножном корму, «адекватно отражая» скудость и выморочность предназначенных историко-философских интересов. Оживление исследований по истории философии в конце шестидесятых провоцировалось не нашей редакцией, а редакцией «Философской энциклопедии» (А.Г.Сpirкин, З.А.Каменский, Ю.Н.Попов, Р.А.Гальцева). Именно здесь подбирались (больше того: формировались и пестовались) авторы, компетентные в такой, прежде немыслимой, тематике, как позднеантичная и средневековая европейская философия, русская религиозная философия, западноевропейский идеализм после Гегеля.

Высокомерно-снисходительное отношение редакции к историко-философскому исследованию дает о себе знать вплоть до середины 80-х годов. И, конечно, это уже не рудимент страхов, когда-то внушенных Ждановым. Это выражение самого сциентистского образа мысли, утверждавшегося в противовес ждановщине, — следствие того, что эволюция философских идей стала уподобляться эволюции научных теорий. Когда история философии подводится под модели кумулятивного процесса, апломб «новейшего» и «современного» по отношению к прошлому («классическому», «традиционному», «древнему») становится почти неизбежным.

Сциентистские установки — проклятие, довлевшее над журналом многие годы (их последнее, самое помпезное и вместе с тем самое жалкое выражение — это культ «системно-комплексных исследований», насаждавшийся журналом накануне перестройки).

Освобождение от сциентизма я склонен трактовать в качестве наиболее существенной заслуги «Вопросов философии», как они определились при нынешней редколлегии, благодаря усилиям В.А.Лекторского, В.И.Мудрагея, Б.И.Пружинина, а также (грех было бы не вспомнить его сегодня) А.А.Яковлева, властно использовавшего полномочия ответственного секретаря в 1988—1991 гг.

При редакторстве В.А.Лекторского журнал впервые за пятидесятилетнюю историю увидел своего хозяина в имманентном запросе современного философствования. Он обслуживает этот запрос, не утруждая себя ни разгадками возможного «социально-идеологического заказа», ни поисками формул методологического конформизма, который отвечал бы притязаниям наиболее преуспевающего комплекса конкретных наук. Он держит руку на пульсе времени, но при этом в равной степени равнодушен как к подковерной борьбе, которая идет в верхнем эшелоне коррумпированной политической власти, так и к научно-организационным («системно-комплексным») комбинациям, которые складываются в финансово ущемленной Российской Академии наук.

В работе «Вопросов философии», конечно же, есть немало недостатков. В год юбилея я позволю себе сказать лишь об одном из них, сразу оговорившись, что ставлю его в вину не столько редакции журнала, сколько «авторам-шестидесятникам» и «авторам-семидесятникам».

С поста господствующей идеологии марксизм в России ушел нераскритикованным. Его едва успели освистать вдогонку. Коммунистическая утопия лишилась доверия, но категории и объяснительные схемы исторического материализма по-прежнему владеют умами. Понаблюдайте за понятием «идеология», проследите, какой кондовый, ленинско-сталинский смысл сохраняется за ним даже в эталонно-демократических текстах. По-прежнему толкуют о «научной идеологии», об «идеологической работе», об «идеологическом вооружении» правового государства. По-прежнему религию называют идеологией (ту самую религию, в храме которой уже выстаивают Пасху со свечами). По-прежнему дают заказы «на разработку» передовой идеологии, способной одушевить — нет, не авангардные классы, — всех тоскующих россиян.

Перечитывая статьи 60—70-х годов, я вижу, какие продуманные экспозиции систематической критики марк-

сизма вызревали в них подцензурно. Куда они канули после 1991 г.? Не сточились ли, как бритва от слишком долгой правки? Не стушевались ли перед остервенением народа, линчующего памятники? Я вспоминаю многих коллег, которые пережили совершенно уникальный по драматизму и поучительности опыт оболъщения марксизмом и последующего (фундаментального, на все ключевые понятия распространяющегося) разочарования в марксизме. Экспликацию этого опыта я отнес бы к самым значительным логико-философским задачам, сравнимым с той, которую взял на себя К.Поппер, приступив в 1941 г. к работе над книгой «Открытое общество и его враги». Могут ли «Вопросы философии» хоть чем-то содействовать ее выполнению?

О марксизме надо писать больше; с ним надо разбираться регулярно и попроблемно. Систематическая критика марксизма, провоцируемая идеалом философии как строгой науки, выполняемая с осмотрительностью и тщательностью подцензурной литературы, свободная от сциентистского апломба, от аргументов *ad hominem* и соблазнов диссидентского пасквильянтского озорства, терпимая к попыткам реформистской (например, социал-демократической) интерпретации, — таково недоделанное дело «философов-шестидесятников». Впрочем, это бремя еще придется принять на себя и новым поколениям, вступающим на поприще философского журнализма.

«Вопросы философии», 1997

«Докладная записка»—74

31 декабря 1957 г. зам. директора Института философии АН СССР А.Ф.Окулов сообщил мне о зачислении на должность младшего научного сотрудника. В следующем году «Вопросы философии» напечатали мою первую статью, за которой последовали другие. С тех пор я не раз покидал Институт, много публиковался в других журналах и издательствах, но Институт и «Вопросы» навсегда остались для меня философским Домом, некоей осью, вокруг которой выстраивалась моя затейливая судьба. Поэтому 50-летие журнала я воспринимаю не просто как одну из юбилейных дат — пусть торжественную и почетную, — а как тревожное и радостное событие собственной жизни, как ее экзистенциальный рубеж.

В памяти сразу же возникают забытые эпизоды и сцены, крупным планом наплывают улыбки и гримасы, звучат голоса и друзей, и бесчисленных наставников; через плечо они заглядывают в текст и никак не могут договориться между собой. Среди них я вижу и себя — еще вчера примерного столичного школьника, театрального мальчика, замороженного Ростаном и Пришвиным, токкатой Ре-минор Баха и операми Вагнера, а теперь втянутого в суровый и мстительный мир казенной мудрости. Так уж получилось, что мне довольно рано довелось стать свидетелем и непосредственным участником многих событий, которые определяли состояние отечественной философии, и на ум приходит немало эпизодов, порой забавных, порой зловещих. Но сейчас у меня одна забота — постараться ввести читателя в эзотерику одного документа, копия которого каким-то чудом сохранилась у меня. Это — «Докладная записка. Об обсуждении журнала "Вопросы философии" в Академии общественных наук при ЦК КПСС», состоявшемся 17—18 июня 1974 г. На первый взгляд она выглядит как рядовой документ: в ту пору читательские конференции были делом обычным. В номенклатурной АОН, однако, тон задавали особые читатели, да и само обсуждение было подготовле-

но и проведено как ответственное идеологическое мероприятие. Так что «Записка» (текст ее публикуется ниже) — свидетельство мрачное, в концентрированной форме запечатлевшее серьезный сдвиг в философской атмосфере тех лет.

1

Едва ли стоит напоминать, что в советском обществе официальная идеология конструировалась сверху и определялась партийными директивами: решениями съездов, пленумов, постановлениями ЦК КПСС, установочными материалами в «Правде» и «Коммунисте». В истории нашего журнала я бы выделил три поворотных момента: погромное выступление А.А.Жданова при обсуждении книги академика Г.Ф.Александрова и учреждение журнала «Вопросы философии» (1947); назначение И.Т.Фролова вместо академика М.Б.Митина главным редактором журнала (1968); и, наконец, разгон прежней редколлегии (1974) и установление режима, в котором «Вопросы философии» были обречены существовать до «перестроечной» ломки. Основным сигналом к последней реорганизации и послужили обсуждение в АОН и «Докладная записка», с которой меня познакомили в ЦК КПСС, сообщив, что она направляется вице-президенту АН СССР, академику П.Н.Федосееву. Я знал, что П.Н.Федосеев в трудные минуты неоднократно поддерживал наш журнал. Поэтому, изумленный тенденциозным и злобным характером этого документа (вместе с тем понимая его особый вес), я решил по горячим следам сообщить Федосееву свои критические замечания. Сохранившаяся копия помогает мне достовернее восстановить нервную атмосферу этого обсуждения.

При знакомстве с «Запиской» нужно непременно учитывать особый статус и специфическую стилистику подобного текста. Тенденция к сакрализации политической верхушки, характерная для любого тоталитарного строя, в полной мере распространялась и на язык руководящих указаний. Они представляли собой шифровки, священнические предписания, письмамена господина Бога, в которых все было на месте — даже повторы и косноязычие. Это была смесь декламаций (вспомним «клятву Сталина» или бериевское «кто не слеп, тот видит...»), поговорок и поговорок, безграмотных «крылатых выраже-

ний» («страны народной демократии», «развитой социализм»), слов-отмычек, свидетельствующих о причастности к номенклатурной стилистике («на перспективу», «есть мнение», «канализировать»). То был приклатный жаргон, в котором каждая мелочь демонстрировала не просто языковую верноподданность, но готовность воспринимать мир в категориях и императивах начальственного сознания. Самое же любопытное было в том, что подданные, люди «кадровые», с полуслова понимали этот узаконенный воляпюк, безошибочно вычитывали из него однозначные указания, кого осудить и сместить с должности, что запретить, а кого, напротив, приласкать и выдвинуть. При этом, как в любой сакральной системе, различные знаки обретали смысл лишь внутри нее самой, и их, так сказать, операциональное значение определялось не общепринятым смыслом, а тем, который они обрели в последних высказываниях верховного жреца. Я знаю немало случаев, когда из-за нетрадиционной характеристики, косвенного намека и даже пропуска имени в официальном списке того или иного идеологического деятеля на всякий случай «задвигали».

Нет нужды дальше вдаваться в тонкости партийной экзегетики — это вещи более или менее известные. Я упоминаю о них лишь для того, чтобы предупредить: «Записка» — это не беспристрастный отчет, не просто фиксация свершившегося события, а призыв к действию, если хотите, боевая программа устранения тех идеологических безобразий, которые обнаружили бдительные организаторы обсуждения. Любопытный момент: внешне документ ничего не требует и не предписывает — он лишь информирует от имени общественности о вывихах и ненормальностях, он как бы угадывает и подтверждает встречное настроение «сверху», а уж принимать решения, переводить большевистскую озабоченность на деловой язык отдела кадров — это прерогатива «инстанций», которым, как всегда, виднее. Дятлы и дровосеки — разные персонажи в сказках для взрослых.

Эти предварительные замечания, надеюсь, помогут настроить читателя на почтительное отношение к стереотипным фразам «Записки» и уловить их мрачные обертоны. Но чтобы оценить ее полностью, нужно бросить хотя бы беглый взгляд на философскую ситуацию в 60-е годы. Предварительно, однако, нужно сделать серьезную оговорку. Я постараюсь описать реальную обстановку,

которая складывалась в результате деятельности конкретных людей, а поэтому придется упоминать некоторые имена, суждения, позиции. Но я никак не претендую на общую оценку отдельных персонажей моего повествования, их высказывания и поступки интересуют меня лишь как неотъемлемые элементы, из которых сплеталась обстановка, запечатленная, в «Записке». Заниматься морализированием, рассуждать о Добре и Зле — не мое амплуа, тем более, я давно нахожусь под впечатлением максимы мудрого Рейнхольда Нибура: в истории сталкиваются не праведники с грешниками, а грешники с еще большими грешниками. Впрочем, и в этом случае дистанция получается изрядная.

Сегодня невозможно представить себе, в какое смятение были подвергнуты официальные умы «тайной» речью Н.С.Хрущева на XX съезде КПСС. Дело не только в том, что он поведал о чем-то ранее неизвестном. Многие давно догадывались о «белых пятнах» нашей истории, проступающих только цветом кровавым: семьи, в которых родные и близкие миновали ГУЛАГ, можно пересчитать по пальцам. Дело в жанре — большевистский вождь обличает злодеяния руководства партии, в которые он сам вложил заметную лепту. По этому поводу мне вспоминается образ, как-то предложенный А.А.Зиновьевым: римский папа собирает кардиналов и торжественно объявляет: «Бога нет!» К тому же создавалось впечатление, что велеречивый оратор не избежал искушения мстительно поплясать на могилке полубога, которого он продолжал смертельно бояться. Как бы то ни было, возникла робкая вера в торжество и безопасность либеральных идей и намерений. Вскоре, однако, посыпались грозные разъяснения. В частности, насчет того, что развенчание «культы личности» вовсе не отменяет высочайшего авторитета самого развенчателя.

Подоспела и программа спешного построения российского коммунизма, еще более усилившая духовную сумятицу. Правда, кремлевские мыслители не догадались заново открыть закон об обострении классовой борьбы по мере продвижения «к светлому будущему», но, похоже, именно им они руководствовались на практике. В свое время одной из первых жертв массовых репрессий стали церковь и духовенство. А поэтому в «оттепель» люди религиозные могли надеяться на ослабление тисков конвойного безбожия. Вышло же наоборот. Сообразив, что с

церковью и религией они в коммунизм не попадут, партক্রаты развернули кампанию по изживанию «опиума народа», по размаху и цинизму сопоставимую с преследованиями довоенных сталинских лет. Кстати, говоря о свободомыслии, обычно вспоминают светское диссидентство. Между тем масштабнее и упорнее (а по времени — и раньше) вольнодумие проявлялось в деятельности нерегистрируемых религиозных объединений (ИПЦ, ИПХ, пятидесятников, баптистов-инициативников, Свидетелей Иеговы, адвентистов-реформистов и др.), преследования которых резко ужесточились в 60-е годы. Счет шел тогда на тысячи узников совести.

А дальше все было предсказуемо. Если на первый план выдвинута задача идеологического обеспечения построения бесклассового общества (вспомним «моральный кодекс строителя коммунизма», «новые» обряды и праздники, особые идеологические комиссии в партийных структурах и т.п.), то рано или поздно руки должны были дойти и до философии, «теории мировоззрения», как ее тогда любили аттестовать, тем более, что у «инстанций» она давно вызывала нешуточное подозрение.

В 50-е годы основным рассадником «ересей» оставался философский факультет МГУ, на котором я учился (включая аспирантуру) с 1948 по 1956 г. Конечно, это самостоятельная тема, а потому ограничусь лишь одним эпизодом.

В это время группа молодых философов (А.А.Зиновьев, Э.В.Ильенков, Б.А.Грушин, М.К.Мамардашвили) предложила и разработала особую концепцию диалектики и логики. Они ссылались на известное замечание В.И.Ленина: «Если Маркс не оставил "Логики" (с большой буквы), то он оставил логику "Капитала", и это следовало бы сугубо использовать по данному вопросу». Метод исследования Маркса, показывали они, вовсе не сводится к «четырем чертам диалектики». Это — сложный набор операций: выделение ключевых понятий, процедуры упрощения и экстраполяции, восхождения от абстрактного к конкретному, нетривиальные взаимоотношения исторического и логического, мысленный эксперимент и т.д. Начинание нашло широкий отклик у студентов, с 1954 г. на философском факультете МГУ активно работал спецсеминар Э.В.Ильенкова (В.А.Лекторский, Г.С.Батищев, Л.Н.Науменко, В.М.Межуев и др.), воз-

ника целая «ильенковская школа», нашедшая последователей во многих университетах на периферии.

Создавался опасный прецедент. Последовательное развитие нового подхода означало, что ведущие специалисты по диалектике сразу же оказывались не у дел, а их пространные и торжественные комментарии к «краткому» сталинскому варианту диалектического метода выглядели как дилетантские и даже комичные. Это они сообразили сразу и развязали подлинную охоту на ведьм. Непрерывно устраивались обличительные обсуждения, сторонники новой «диалектической логики» быстро попали в категорию неблагонадежных. Это был заметный, но далеко не единственный эпизод в жизни факультета. Постоянно кого-то громили, выводили на чистую воду, тащили на дыбу. Здесь обличали «гносеологов», там — «безродных космополитов», разгорались нешуточные, а для молодых специалистов и просто опасные страсти вокруг оценки взглядов Радищева, Герцена, Гейзенберга, Винаера. И именно в этих публичных и подковерных схватках формировалось поколение молодых специалистов, усилиями которых достигался все больший профессионализм и компетентность отечественной философской мысли.

Красноречив такой факт. Осенью 1974 г. в Москве состоялся X Международный Гегелевский конгресс. Среди докладчиков был французский марксист Луи Альтюссер, имя которого тогда гремело во всем мире. В 1965 г. он опубликовал книги «За Маркса» и «Читать "Капитал"», в которых вместе с группой своих учеников изложил нетривиальное понимание марксизма, в том числе результаты анализа понятийного строя «Капитала». Как-то во время нашей встречи М.К. Мамардашвили подробно рассказал ему о дискуссиях на факультете в 50-е годы. Надо было видеть изумление знаменитого философа. Получалось, что французские ученые фактически повторили то, что 10 лет назад уже было проделано молодыми философами МГУ, на мой взгляд, в более универсальной и строгой форме.

Одним словом, в начале 60-х годов «снизу» нарастало давление на косные, ритуальные формы официального философствования. Оно охватило все разделы философского знания, но шансы на успех в каждом из них были разные. Разумеется, никакие серьезные содержательные новации не могли совершиться на «Осударевой дороге» — в диамате, истмате и научном коммунизме.

Здесь поперек, бревнами (как однажды громогласно выразился Б.А.Грушин) лежали твердокаменные корифеи. Поэтому непоседливые вольнодумцы (а в этой роли все чаще выступали сотрудники Института) прорывались путями окольными, огородами, порой чужими.

Скажем, дисциплина, известная под названием «научный коммунизм», таковой на деле не являлась. Это была схоластически тематизированная система начальственных представлений о путях «построения» нового общества и требований, которым граждане при этом должны были удовлетворять. А разного рода «достигнутые показатели», факты, цифры приводились лишь в том виде, в котором они могли подтвердить и конкретизировать декларируемую псевдореальность. Какой бы то ни было модернизации вся эта конструкция, разумеется, не поддавалась. Поэтому добросовестное социальное знание, а тем более достоверные исследования советского общества могли возникнуть лишь в обход уже существующих официальных доктрин, а следовательно, по самому определению оказывались диссидентскими, социально-неблагонадежными. В ту пору обеспечить профессиональный уровень обществоведения можно было только одним путем, а именно созданием социологии как самостоятельной научной дисциплины со своим понятийным аппаратом и методами конкретных исследований. Ее первые шаги в Институте философии были связаны с созданием Сектора труда и быта во главе с Г.В.Осиповым. Я помню, как яростно сопротивлялись «истматчики» любым нововведениям, ограничивающим их монопольное право формулировать главные закономерности, по которым якобы уже развивается советское общество. Особо напряженными эти споры и разборки стали после создания Института социологии. Их отзвуки ясно ощущаются в «Записке», в которой добрая половина названных отступников представляют общественные науки, и по их адресу (прежде всего Ю.А.Левады и Б.А.Грушина) высказаны наиболее злобные оценки.

По-другому складывалось положение с изучением («критикой») современной западной («буржуазной») философии. Бдительные корифеи языков не знали и все иноземное любомудрие расценивали как проявление «маразма и мракобесия». Таков был императив партийного подхода, и авторам предписывалось лишь разоблачать невежественных и заблудившихся Расселов и Хайдегге-

ров. Однако постепенно советские представители все чаще участвовали в зарубежных конгрессах и симпозиумах, и, хотя их выступления носили, скорее, церемониальный характер и были нацелены на то, чтобы «дать отпор», они предполагали какое-то знание иностранных доктрин и имен. Росло число молодых способных аспирантов, всерьез занимающихся современной западной мыслью, где они были относительно свободны в своих интерпретациях и могли отделяться формальными критическими оговорками. Стали появляться вполне приличные работы (прежде всего, по неопозитивизму и экзистенциализму), которые постепенно отвоевывали какие-то островки здоровой критической мысли, какие-то лакуны, которые могли заполняться профессиональными соображениями.

Все эти подспудные бурления и сдвиги (а я упоминаю лишь некоторые, мне наиболее знакомые) сказывались и на позиции дирекции Института. Символом особой идеологической бдительности у нас была Е.Д.Модржинская, заведовавшая сектором критики современной буржуазной философии. В прошлом кадровая кэгэбэшница, она специализировалась на критике антикоммунизма и космополитизма, неутомимо выискивала и разоблачала идейные шатания. В секторе росла оппозиция, желание заниматься западной философией всерьез, и в 1968 г. директор Института академик Ф.В.Константинов на место Е.Д.Модржинской назначил меня. Вскоре (а может быть, немного ранее) сектором диалектического материализма стал заведовать В.А.Лекторский, исторического материализма — В.Ж.Келле, истории западной философии — Т.И.Ойзерман. Эти сектора (во всяком случае, при П.В.Копнине) считались основными, между ними сложились деловые дружеские отношения, которые еще более укрепились, когда все мы стали членами редколлегии, заведующими соответствующими отделами «Вопросов философии».

Я не зря рассказываю о делах в Институте: в те годы он и журнал были тесно связаны. Однако они были «нераздельны, но неслиянны». Напомню, что и директор, и главный редактор утверждались Секретариатом ЦК КПСС, и только редактор решал, что печатать, а что нет. Редколлегия же существовала как орган совещательный. И, конечно, политика журнала, подбор авторов в значительной мере определяли тогдашнюю философскую атмосферу.

2

В одном из своих интервью М.К.Мамардашвили заметил: «А вот редколлегия, в которую вошел и я и которая стала анахронизмом в день своего появления, — это 1968 г. Создание ее задумывалось как целая операция, поскольку вначале нужно было снять предшествующего главного редактора». Редактором тогда был самый народный академик М.Б.Митин. О существовании какой-то продуманной операции на этот счет мне, правда, ничего не было известно. Но в конце 1966 г. я был избран секретарем партбюро Института и к делу академика имел прямое отношение. Поэтому скажу о нем несколько слов.

Все началось с того, что в начале 1967 г. в партбюро обратилась седая изможденная женщина, жена Яна Стэна, с просьбой возбудить персональное дело М.Б.Митина, состоящего на партийном учете в нашей организации. Суть дела заключалась в следующем. По заказу редакции БСЭ Ян Стэн написал одну из ключевых статей «Философия», которая была принята и набрана. Однако накануне выхода тома Стэн был арестован и вскоре расстрелян. Статья же вышла в первоначальном виде с двумя мелкими поправками. Во-первых, в качестве авторов фигурировали М.Б.Митин и А.В.Щеглов. Во-вторых, в нее был включен абзац, гневно клеймящий группу философов, недавно разоблаченных как враги народа, в числе которых был упомянут и Ян Стэн. Вдова также рассказала, что она сама долгие годы провела в ссылке и все ее попытки добиться политической реабилитации мужа ни к чему не привели.

В свое время я похоронил отца, генерала, в лагере под Рыбинском и просто отмахнуться от такого заявления никак не мог. В то же время я ясно понимал, что речь идет о многолетнем члене ЦК КПСС и депутате Верховного Совета СССР, о главном бриллианте в короне, носящей название «сталинская философия», а быстрое подмерзание хрущевской слякоти ощущалось повсеместно. В конце концов я решил попробовать компромиссный вариант: предложить академику предпринять некоторые меры, с тем чтобы восстановить доброе имя оклеветанного им видного философа. Скажем, напечатать в журнале чьи-либо воспоминания, попытаться отыскать в архивах неопубликованные рукописи Я.Стэна, перепечатать с комментариями некоторые преж-

ние статьи, тем более, как мне казалось, что я смогу убедить жену Яна Стэна согласиться с таким решением, позволившим бы ей предпринять дальнейшие шаги.

С этими намерениями я и затеял разговор с М.Б.Митиным. Я был готов ко всему: к намекам на опасения разделить судьбу Стэна или, на худой конец, загубить свою карьеру, к ссылкам на собственную неосведомленность и безграничную веру в Вождя и т.п. Но все же ждал подобия раскаяния или сожаления (напомню, шел 1967 г.), во всяком случае, хотя бы притворной готовности помочь несчастной женщине. Ничего подобного! Академик М.Б.Митин воспринял мои предложения как едва ли не кощунственную попытку поставить под сомнение его преданность великому делу. Он не мог допустить мысли, что существует такая шкала ценностей, по которой можно в чем-то упрекнуть его, верного идеологического опричника, готового по первому жесту высокого начальства оболгать и растерзать кого угодно. Мне даже передали его зловещее предостережение: «Митрохин — коммунист молодой, неопытный. И то, как он поведет мое дело, — это проверка его политической зрелости».

Так что персональное дело получило ход; началась удивительная детективная история, потребовавшая, кроме всего прочего, энергичных поисков вещественных доказательств. Было бы полезно когда-нибудь восстановить ее во всех деталях. Меня постоянно вызывали в ЦК, МГК, Фрунзенский РК, интересовались нюансами, советовали, предостерегали; я то прикидывался наивным правдоискателем, то с чувством цитировал антикультуговые декларации, пытаясь сыграть на их внутреннем лицемерии. Надо ли уточнять, что при этом никакой героической роли я не играл. Я постоянно ощущал поддержку многих и разных людей — даже в ЦК КПСС. С самого начала это была коллективная акция. Прошло шумное собрание в журнале, вынесшее академику выговор. Он был подтвержден на многочасовом заседании институтского партбюро. Вскоре каждому посетителю Института в глаза бросалось большое объявление, на котором значилось нечто немислимое: «Персональное дело М.Б.Митина».

Итог известен. Митин периодически брал бюллетень, собрание несколько раз переносилось, объявление ветшало. Менялась обстановка — и на самом верху, и в нашем философском сообществе. Я ушел с поста секретаря. Сработали серьезные скрытые механизмы, и персональ-

ное дело постепенно сошло на нет. Все же, надеюсь, оно сыграло свою роль в закате карьеры главного персонажа на философском капитанском мостике. Очевидно и другое: на его примере официальные идеологи лишний раз увидели, какую опасность для них таит либерализация духовной обстановки.

Как бы то ни было, в 1968 г. главным редактором «Вопросов философии» стал И.Т.Фролов. Сегодня, когда постоянно назначаются и снимаются начальники всех рангов, когда то здесь, то там возникают академии с ограниченной научной ответственностью, факт смены главного редактора может восприниматься как малозначительное будничное событие. Но я-то уверен, что это был один из главных моментов в истории журнала, имевший далеко идущие последствия. И дело даже не в тех или иных лицах, авторах, а в изменении самой метрики философского пространства.

Складывающаяся ситуация представлялась мне следующим образом.

До этого главными редакторами журнала «Вопросы философии» назначались философские корифеи, входившие в узкий круг номенклатурных руководителей идеологии. Они обладали качеством взаимозаменяемости и пребывали в состоянии постоянной ротации: аппарат ЦК КПСС, АОН при ЦК КПСС, «Правда», «Коммунист», ИМЭЛ, ВПШ, президиум АН СССР, Институт философии, «Вопросы философии» и т.п. В общем, нечто напоминающее «безумное чаепитие» из «Алисы в стране чудес».

Конечно, существовала четкая иерархия этих должностей, и люди знающие безошибочно определяли, кто «засиделся», кто пошел на повышение, а кто, увы, погорел. Но в «застойные времена» последнее случалось редко: «своих» система старалась так или иначе пристроить, на худой конец, послом где-то возле Огненной Земли. Решающим достоинством этих деятелей считалось умение руководить — практически всем. Поэтому очередной редактор «Вопросов философии» уже по самому определению был временщиком. Ему были достаточно безразличны профессиональный уровень журнала, его репутация в научном сообществе, целеустремленная разработка проблем, возникающих внутри философии, и даже, как это ни покажется странным, содержательная (а не ритуальная) критика «буржуазных» концепций.

Его основная забота — держаться посередине извилистого фарватера, именуемого идеологической линией партии, не прослыть совсем уж безнадежным тупицей и обнаруживать умеренные творческие замашки, а самое главное — всегда быть начеку и не пропустить зловредной «крамолы» на страницы вверенного ему журнала. Иначе завистливые коллеги тотчас же просигналят куда надо. Таким образом, выше всего ценилась способность предугадывать возможные реакции кураторов. Да и душа редакторов пребывала не в журнале, а там, на Старой площади, куда они мучительно и напрасно мечтали вернуться — как Моисей в землю Обетованную.

Теперь в журнал пришел руководитель другого типа. Для И.Т.Фролова как профессионального философа это был свой журнал, собственное дело, и у него имелись четкие представления (надеюсь, Иван Тимофеевич со мной согласится) об общей программе журнала, о качестве и облике статей — представления, вовсе не обязательно совпадающие в деталях с мнениями идеологических надзирателей и не сводящиеся к желанию заслужить их одобрение. Иными словами, в корне изменилась ключевая установка: не пребывать на посту, набирая дополнительные проходные баллы, а попытаться реализовать определенную позитивную программу. К тому же, занимаясь философскими проблемами естествознания, он установил прекрасные отношения со многими выдающимися биологами, ботаниками, физиками и был приобщен к академической атмосфере вольнодумия и свободного научного поиска. Новому облику журнала также способствовала одна черта И.Т.Фролова, мне самому, кстати, очень близкая. Я бы определил ее как просвещенно-интеллигентскую патриархальность. Он воспринимал журнал как свою большую семью, свое коллективное хозяйство, свою епархию, а себя — как руководителя, обязанного заботиться о меньших братьях. Он мог публично разнести в пух и прах своих друзей и единомышленников (впрочем, чаще за дело), но всегда защищал их от нападков со стороны — таких случаев мне известно немало.

Но это одна сторона дела, еще не объясняющая нового облика журнала и его места в философской жизни. В самом деле, как мог даже самый квалифицированный и заинтересованный специалист проводить сколько-нибудь самостоятельную линию под неусыпным контролем многочисленных кураторов? Здесь-то, как я догадыва-

юсь, и заключалась большая хитрость истории. Да, И.Т.Фролов не был очередным номенклатурным назначенцем, утомленным руководящими постами; он был человек другого склада, пришедший из науки, а его книгу «Генетика и диалектика» (1968) я до сих пор считаю событием в становлении отечественной философии естествознания. Однако он — и в этом «хитрость» — до этого был помощником секретаря ЦК КПСС по идеологии, и этот факт навсегда закрепился, если употребить выражение Мераба, на затылке сознания возможных критиков журнала.

В те времена было принято критиковать философов за догматизм и отрыв от жизни, за утрату новаторского творческого духа, присущего партии. На сей счет руководящие умы были согласны. Проблема возникала тогда, когда вопрос ставился конкретно: как отличить «новаторский» дух от греха «ревизионизма», доколе можно мыслить самостоятельно, чтобы не получить по шапке? Ссылки на классиков дела не решали, потому что наверху сами знали, что нужно цитировать, а что нет и как соответствующие цитаты истолковывать. Здесь, как в любой священнической системе, граница между «творческим» (дозволенным) и «еретическим» (наказуемым) определялась не самими авторами, и даже, в конце концов, не научной достоверностью их высказываний, а авторитетами, данную систему создающими и охраняющими. На Старой площади, однако, была своя иерархия, свои разномыслия, а поэтому все определял «уровень», на котором давалась оценка, а также срок ее годности: силу имело лишь самое последнее мнение, отменяющее все прежние.

Нетрудно догадаться, что руководитель журнала, еще недавно приобщенный к формулированию идеологических установок на самом верху, прекрасно разбирающийся в механизме каждодневной деятельности аппарата и, уж наверное, сохранивший прежние связи, любителями подменять научно-профессиональный подход рассуждениями об идейной чистоте воспринимался как неудобный, даже опасный оппонент. Всегда оставалось сомнение: а не согласовал ли он данный материал где-то совсем высоко? Каким-то показателем на сей счет могла служить смелость, с какой журнал отстаивает свои материалы. А здесь двух мнений быть не может: главный редактор держался предельно уверенно и независимо, он не оставлял без ответа ни один выпад, а его склонность к

мрачному юмору вызывала легкий паралич у боевых, но боязливых корифеев.

Показателен один эпизод. В 1973 г. четко обозначилось фронтальное наступление на Институт и «Вопросы философии». Его главным организатором и действующим лицом выступил секретарь МГК КПСС по идеологии В.Н.Ягодкин. В ту пору повсеместно закручивали идеологические гайки, громили то историков, то социологов, то писателей, то философов, с партийных трибун все чаще делались выпады по поводу тех или иных материалов «Вопросов философии». И именно в это время журнал публикует передовую статью (1974. № 1), в которой отстаивает право на собственное суждение в профессиональных вопросах и саркастически высказывается о «подлых» и бесталанных людях, пытающихся подменить решение научных проблем политической трескотней и внести в науку чуждый ей дух своекорыстия и конъюнктуры. Не случайно, что эта передовая вызвала неподдельный гнев авторов «Докладной записки».

Все эти свои соображения я высказываю с единственной целью, а именно — найти объяснение тому очевидному парадоксу, который имел в виду М.К.Мамардашвили, говоря о вновь назначенной редколлегии как об «анахронизме». С одной стороны, в конце 60-х годов ясно обозначилось попятное движение к идеологическому деспотизму — не легкие заморозки, а крупный град, выбивающий все ростки живой мысли. С другой — в течение последующих лет «Вопросам философии» удавалось проводить свою линию, оставаясь неким островком, оазисом профессионального подхода, несмотря на растущее враждебное отношение.

Теперь можно повнимательнее присмотреться к редакционным будням.

3

О своем намерении создать сугубо профессиональный журнал И.Т.Фролов заявил с самого начала, решившись на шаг, по тем временам определенно дерзостный. На должность заведующих отделом, то есть «рабочих» членов редколлегии, он пригласил известных специалистов, руководствуясь не их званиями и постами, а мерой философской компетентности и реальным научным авторитетом. Это были Б.А.Грушин, Ю.А.Замошкин, А.А.Зи-

новьев, В.Ж.Келле, В.А.Лекторский — их имена сегодня сами говорят за себя (отделом истории философии остался заведовать Т.И.Ойзерман, который органично вписался в молодежный коллектив). Если же учесть, что на роль своего заместителя он избрал не кого иного, как М.К.Мамардашвили, то станет ясно, что журнал претерпел самые серьезные изменения. К тому же директором Института философии стал П.В.Копнин, человек талантливый и решительный. В нем журнал сразу же нашел своего верного союзника.

Сегодня я со светлой грустью вспоминаю это время, дружеские встречи, споры, улыбки друзей-единомышленников, их поведение в различных, порой непредсказуемых и опасных ситуациях, и меня не покидает ощущение, что это были цельные личности со своими ценностями и строгими принципами; с достоинством и без суеты они делали свое дело, которое считали настоящим, не гонялись за халявой и званиями, не спешили сунуть глубокомысленную рожу под телеобъектив и иногда даже читали книги и статьи друг друга. Но прежде всего это была работа — каждодневная и напряженная. Мы тщательно разрабатывали перспективные планы журнала, везде разыскивали новых, наиболее способных авторов, внимательно прочитывали десятки статей, регулярно проводили читательские конференции.

А заседания редколлегии, вскоре принявшие ритуально-торжественный характер? Как нарочно, в редколлегии подобрались люди не просто остроумные, но склонные к артистизму, к словесному куражу. Легко догадаться, какие представления эти веселые и честлюбивые златоусты могли разыгрывать вокруг очередной «научно-коммунистической» статьи, задушевно пересказывающей последние партийные директивы. Иногда обсуждение одного материала длилось часами. Я помню, например, как разносили статью И.А.Кривелева о П.Флоренском, как непривычно чувствовал себя М.Т.Иовчук, когда ему показывали неоспоримые изъяны представленного им текста. При этом всё было честно: никто не пытался протолкнуть «своих» авторов, не было никакого предварительного сговора, каких-то редакторских подсказок. Мы просто с полуслова понимали друг друга, а поэтому, какие сольные проходы, какие импровизации и мизансцены! У меня до сих пор сохранилось подозрение, что

работники редакции предвкушали заседания редколлегии как захватывающие импровизированные спектакли.

Качество материалов обеспечивалось каждодневными усилиями консультантов, многие из которых (А.Арзаканян, Г.Гургенидзе, В.Кормер, Ю.Сенокосов) по своему уровню часто превосходили авторов. Если напомнить о четкой работе секретариата во главе с Л.И.Грековым, то получается дружная крепкая компания, если не республика, то небольшой автономный округ ученых, увлеченных общим делом. Да что лукавить: я и сегодня горжусь тем, что был активным участником тогдашней команды друзей-единомышленников из Института и журнала, которой в меру своих не всегда достаточных сил удалось продвинуть вперед исследовательскую мысль. Насколько? Сегодня некоторые журналисты и несостоявшиеся философы, задыхаясь от собственной необременительной смелости, обличают духовную окостенелость тех лет. Понять их можно: чтобы оценить новизну тех или иных взглядов, нужно самому быть причастным к творческим актам. А приведенный мною пример разработки новой диалектической логики я бы мог дополнить великолепными публикациями (в том числе и в «Вопросах философии») по немецкому и французскому экзистенциализму, постпозитивизму, философии естествознания и языка, неопротестантизму, социальной философии, которые сопоставимы с лучшими западными работами, а нередко и превосходят их.

А на что, собственно, надеялась строптивая редколлегия, разве она не понимала, что рано или поздно натолкнется на глухую стену? Думаю, что большинство из нас таким прагматическим расчетам не предавалось. Нас объединяло убеждение, что будущее отечественной философии не фатально, что оно отвоевывается в каждый момент, в каждой статье и фразе. Мы как бы постулировали: еще немного усилий, и все цветы расцветут, а идеологические тиски постепенно развинтятся, и делали свое дело. Кстати, в первые годы для подобного оптимизма были вполне веские основания.

Однако мы не могли не видеть, что с каждым месяцем атмосфера вокруг журнала сгущается. Было ясно, что назревает некое большое событие. О его характере можно было догадаться заранее, зная отработанную технологию проведения кампаний по выправлению идеологических вывихов. Здесь нужно уточнить одно представ-

ление, бытующее и поныне. Интеллигентскому сознанию льстит такая контрпозиция: «художники и чиновники», «интеллигенция и власть». Популярен зловещий образ: над страной черным коршуном нависло Политбюро, которое неустанно выискивает крамолу и оперативно принимает карательные меры не печатать, запретить, снять, предать суду. Получается трогательная картина: А.А.Жданов увидел пороки симфоний Д.Д.Шостаковича, а М.В.Зимянину, скажем, бросились в глаза изъяны постановки на Таганке. В жизни, однако, все было прозаичнее. Сверху определялся лишь общий «социальный заказ», желательный пафос и тембр ожидаемых сигналов. Что же касается конкретных фамилий, высказываний, публикаций, театров, то они своевременно поставлялись «снизу» по велению сердца своим же братом художником, писателем, философом. А кто бросит в них камень? Если, например, свободно печатаются М.А.Булгаков или А.И.Солженицын, если академиками становятся А.Ф.Лосев и В.Ф.Асмус, а читатели открыто восхищаются стихами Анны Ахматовой или Иосифа Бродского, то карьерным «красным профессорам» и всяким бездарям становится неуютно — за «философов», «поэтов», «композиторов» их могут и не признать. Выход один: добиваться, чтобы «наверху» их оценивали по другим критериям.

По каким? Если кругом завинчивают идеологические гайки, то это вовсе не бином Ньютона. Конечно, по степени готовности выполнять и перевыполнять партийные указания и в случае необходимости послушно признавать свои ошибки. Вспоминаю одну сцену. Ф.В.Константинов формировал авторский коллектив для очередного монументального издания, посвященного современной идеологической ситуации. В нем был раздел о религии. А в это время всюю громили социологов за пресмыкательство перед буржуазной наукой и отрыв от истмата. Главной жертвой был Ю.А.Левада, издавший свой курс, прочитанный студентам МГУ. Его дружно перестали печатать. Я и говорю академику: «Предложите раздел Леваде. Это же не социология, а в религии он прекрасно разбирается. А что до ошибок — у кого их не бывает. В конце концов, есть редколлегия...» Мне казалось, что мои доводы звучат убедительно, а он скучнел прямо-таки на глазах. Потом веско произнес: «А вам известно, что он до сих пор ни разу публично не раскаялся!» Дальнейший разговор сразу потерял свой смысл. Вспоминаю и

другой забавный факт. Однажды в ЦК КПСС мне по дружбе показали объемистую папку, содержащую анонимки по поводу моей персоны. Чего там только не было! А я ведь не был ни диссидентом, ни заметным трибуном, да и о политике рассуждать не любил. Однако, выходит, кому-то мешал. А здесь — строптивый журнал, который упорно отстаивает свои позиции, создавая нехороший прецедент для деятелей культуры. Вот и скрипели перья.

Первый год был сравнительно спокойным. Вскоре, однако, произошло событие, круто изменившее всю идеологическую обстановку в стране. Я имею в виду вторжение в Чехословакию (1968). Недругам журнала оно подсказало спекулятивную формулу, от которой партократы так просто отмахнуться не могли: «С чего начиналась контрреволюция в Праге? С выступлений философов — К.Косика, М.Прухи и др. Вот и у нас поднимают головы философские ревизионисты». И далее ненавязчиво упоминались конкретные имена. В 1971 г. фактически затравили П.В.Копнина, и началась ожесточенная схватка за директорское кресло. В 1973 г. на это место назначали академика Б.М.Кедрова, но и он продержался всего лишь около года. Наступало время, удобное для погрома. Руки дошли и до журнала. 17—18 июня 1974 г. состоялось то самое обсуждение «Вопросов философии» в АОН при ЦК КПСС, которое поставило точку в недолгом философском Ренессансе.

Позже один из высоких партийных деятелей спросил: «А в чем причина столь враждебного отношения к журналу? Борьба поколений?» Нет, ответил я, это выражение неприязни к людям способным, творческим со стороны непорядочных дилетантов, не желающих расстаться со своими постами. Даже в свои сорок лет я был, оказывается, наивен: «порядочные» и «непорядочные» — прямо как в сказке о Красной Шапочке и Злом Волке. Не хватало воображения понять, что это была социологически нормальная реакция Системы, стремящейся сделать общество прозрачным, просматриваемым сверху до низу, без каких-либо автономных, не поддающихся полному контролю центров и очагов мировоззренческой самостоятельности.

Меня всегда изумляла одна способность философских начальников. Как авторы они были удивительно беспомощны и на бумаге не могли корректно выразить

даже простую мысль. Однако, едва взглянув на любую статью — неважно, об экзистенциализме или проблемах коммунистического труда, — они моментально отыскивали нетривиальные положения (обычно именно те, ради которых статья была написана), даже если так называемая «крамола» была тщательно упрятана в сложные термины и обороты. Эта почти экстрасенсорная чувствительность к свободной мысли впечатляет и в публикуемой «Докладной записке». Ведь в ней разному подвергнуты два десятка авторов — не только философов, но и историков, социологов, религиоведов, естествоиспытателей. Причем характер обвинений предельно конкретен и «взвешен»: от указания на недостаточность партийности до прямого обвинения в защите «антимарксистских концепций». Чем это в то время могло обернуться — разъяснять не буду. А теперь представьте себе, как выглядела бы наша философская мысль, если бы удалось «перестроить» перечисленных авторов.

Большевистской анафеме преданы и мои собственные статьи: «страдают крупными пороками, некритически воспроизводя всевозможные фидеистские и буржуазные измышления». Ни больше и ни меньше! Полагаю, что такой чести я удостоился незаслуженно. Я, действительно, много публиковался в те годы, обычно вводя в научный оборот новые темы: христианский пацифизм, религия и НТР, взгляды Мартина Л.Кинга, Х.Малкольма, лозунг «Власть черным» и т.п. Причем в свое время я был тоже увлечен анализом логики «Капитала» и добросовестно пытался применить Марксов метод «выведения» религиозного мира из «самопротиворечивости и саморазорванности земной основы». Об этом и шла речь в статье о Билли Грейэме, в которой я старался обозначить механизм отражения социальных противоречий в религиозном сознании и объяснить причины уникальной популярности знаменитого евангелиста. Это была нормальная спокойная статья. Правда, на самом обсуждении я выступал довольно резко, без намека на раскаяние. А куда было деваться мне, к тому времени кое-что понимающему в американском баптизме, когда безвестный доцент громкогласно объявляет, что в статье «отсутствует партийный подход», «нет классовых оценок», «предоставляется трибуна религиозным идеологам», а ей вторит И.А.Крывелев — фигура среди религиоведов, по-моему, просто одиозная? Всего этого не могли не понимать авто-

ры «Записки», хорошо меня знающие (Х.Н.Момджян был даже официальным оппонентом на моей докторской защите). И хотя я довольно подробно доказывал несерьезность подобных обвинений, они сочли нужным зафиксировать одно: мои статьи подверглись «острой и справедливой критике», а я «отверг все сделанные замечания».

Дело было, полагаю, не в содержании статей. Просто в силу сложившихся обстоятельств я неизбежно ассоциировался со строптивым руководством журнала и Института, заместителем директора которого я был. К тому же я тогда заведовал отделом критики и библиографии, а журнал проявлял весьма сдержанные восторги по поводу многочисленных (обычно коллективных) эпохальных трудов, возвеличивавших философскую значимость различных партийных мероприятий, справедливо полагая, что к серьезной философии они непосредственного отношения не имеют. Поэтому и понадобился самый воинствующий атеист И.А.Кривелев, по своей склонности стучать уступающий лишь дятлу, и кто-нибудь еще — на подмогу.

Об этих деталях я упоминаю вовсе не для того, чтобы восстановить справедливость относительно моих публикаций. Сегодня такое занятие выглядело бы смешным. Этим примером мне хотелось подтвердить одно, на мой взгляд, принципиальное соображение. Сейчас появилась масса воспоминаний, авторы которых поздним числом приписывают себе роль неких карбонариев, сознательно выступавших против коммунистической диктатуры. У меня нет права говорить от имени всех работников журнала, но я уверен, что большинство из нас никаких «подрывных» надежд не лелеяло и уж тем более не подвергало сомнению историческую обоснованность коммунистического идеала. Мы отстаивали одно — статус философии как особой формы духовной культуры со своим богатейшим тысячелетним наследием, категориальным аппаратом, внутренней логикой развития, а главное — правом на свободные размышления по поводу любых познавательных и поведенческих акций, социальных явлений и духовных образований. Мы выступали не против тех или иных политических положений, а против того, чтобы красные комиссары навязывали философии чуждые ей критерии, исходя при этом не из реального профессионального содержания, а из политических спекуля-

ций, из так называемого «подтекста», открывающегося нечистому сознанию, озабоченному поисками «крамолы». Короче говоря, не вправе доцент И. Горина критиковать данную Л. Н. Митрохиным интерпретацию Б. Грейэма, если она этого самого Грейэма не читала, баптизмом всерьез не занималась и никаких содержательных интерпретаций его предложить не может. А Л. Н. Митрохину, в свою очередь, нет особой нужды обращать внимание на мнение неспециалиста, апеллирующего к понятиям «партийности», «классового подхода» и т. п. Такая установка — не проявление высокомерия, а элементарная научная процедура. Плюрализм, конечно, вещь необходимая, но элементом научной дискуссии конкретное мнение может стать лишь при наличии определенного профессионального уровня.

А здесь приходится констатировать фундаментальный факт. Системе партократии, несмотря на все заверения о желательности либерализации, такая философия была не нужна. Повторю, специфическая и благородная форма культуры, известная в истории мысли как философия, была типологически несовместима с тогдашним идеологическим деспотизмом, как, впрочем, был для него неприемлем и атеизм, взятый в его исторически закономерной «цивилизованной» форме. Наверное, это понимали наторелые авторы «Записки», придавшие ей жестко обличительный характер, не затрагивающий проблем профессионального знания и полностью игнорирующий выступления, не укладывающиеся в эту схему.

Что же касается самого обсуждения, то получилась игра в одни ворота. Мы, разумеется, понимали, что этот звездный час — не наш, но все-таки сохраняли надежду на какой-то минимум объективности и профессиональной заинтересованности. Естественно также, что никакой «оборонительной» стратегии мы не подготовили: было бы ниже нашего достоинства специально кого-то просить «поддержать» журнал, продумывать порядок ответных выступлений и реплик. В конце концов, мы работали добросовестно и могли позволить себе иллюзию относительно справедливого воздаяния со стороны старших руководителей коллег.

Главный редактор сделал подробный, вполне самокритичный доклад, призывая спокойно разобраться в проделанной работе. Но обсуждение как-то сразу развернулось в стиле корриды. Нет, многие говорили спокой-

но, разумно (М.М.Розенталь, Е.П.Ситковский, Н.М.Кейзеров, В.В.Столяров и др.). Но президиум постоянно пытался играть роль группы скандирования, перебивал ораторов, бросал реплики, подсказывал желательные формулировки. Впрочем, И.Т.Фролов подготовил письменный текст своего доклада, велась стенограмма, и, надеюсь, со временем удастся восстановить все живописные детали этого незаурядного представления, а пока приведу выдержки из моего послания П.Н.Федосееву. «Складывалось впечатление, — писал я, — что некоторые участники конференции стремились превратить спокойный заинтересованный разговор коллег в своеобразное "судилище", придав ему характер заранее подготовленного "разноса", постоянно взвинчивая обстановку раздраженными репликами и замечаниями, не останавливаясь перед личными оскорблениями членов редколлегии и главного редактора журнала. "Это безобразие, это уголовное дело", — воскликнул, например, председательствовавший Х.Н.Момджян, когда один из выступающих сказал, что "член редколлегии Митрохин, злоупотребляя своим положением, за последние годы опубликовал 12 статей (кстати, эта цифра неверна)... Это просто способ зарабатывать деньги" и т.п... Такой же тон сохранял он и относительно И.Т.Фролова, не останавливаясь перед странными намеками: "Мы знаем, на что Вы надеетесь, но не думайте, что Вы всемогущи... все может измениться"». На подобные обвинения я отвечал не менее резкими репликами в адрес председательствующего Х.Н.Момджяна, на что у меня были свои веские основания. Но сейчас приводить их не буду.

* * *

Потом был X Международный Гегелевский конгресс, в организации которого я помогал директору Института философии академику Б.М.Кедрову. Редколлегию основательно проредили. В начале 1974 г. Б.М.Кедрова сняли, директором назначили Б.С.Украинцева. В Институте стали хозяйничать люди, которым я недавно ничего серьезнее, чем заведование транспортом и поддержание общественного порядка на Гегелевском конгрессе, поручить не решался. Вовсю шельмовали В.Ж.Келле, Е.Г.Плимака, Ю.М.Бородая, подбирались к В.А.Лекторскому. Против меня по надуманному поводу затеяли пер-

сональное дело. Я пошел к директору: «В США меня с взысканием не пустят. Но здесь с выговором я буду для Вас вреднее, чем в Вашингтоне без выговора». Получилось душевно и убедительно, и он дал команду дело мое замять. Насколько мне известно, журнал не сдавался, но я к этому уже отношения не имел, поскольку лицезрел статью сидящего старика с внимательным взглядом по имени Авраам Линкольн. Но это, как говорят американцы, уже другая story.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Об обсуждении журнала «Вопросы философии» в Академии общественных наук при ЦК КПСС

В Академии общественных наук при ЦК КПСС 17—18 июня с.г. на заседании специализированного Ученого совета по философским наукам совместно с читательским активом было проведено обсуждение журнала «Вопросы философии» за последние годы. Это мероприятие привлекло к себе большое внимание философов, работающих как в АОН при ЦК КПСС, так и в других учреждениях — в Высшей партийной школе, Институте общественных наук при ЦК КПСС, институтах АН СССР, в ряде вузов столицы.

После выступления председателя Совета, чл.-корреспондента АПН, профессора Г.Е.Глезермана и доклада главного редактора журнала «Вопросы философии» проф. И.Т.Фролова развернулись прения, в которых приняли участие профессор и доктора философских наук М.М.Розенталь, Ю.И.Семенов, А.И.Корнеева, Е.П.Ситковский, И.А.Крывелев, И.С.Нарский, А.Ф.Окулов, Н.М.Кейзеров, В.В.Столяров, А.С.Ковальчук, Л.Н.Митрохин, Х.Н.Момджян и доцент И.Горина. Обсуждение завершилось заключительным словом И.Т.Фролова и кратким обобщением прений, сделанным Г.Е.Глезерманом. К стенограмме приложили свои выступления чл.-корреспондент АН СССР М.Н.Руткевич и профессор В.Е.Козловский.

Обсуждение охватило разные стороны работы журнала и по своему содержанию было глубоким и конструктивным. Были отмечены определенные положительные стороны в деятельности руководства журнала. Выступавшие одобрили публикацию ряда актуальных циклов ста-

тей: «Программа мира и диалектика международных отношений», «Социальные и философские проблемы воспитания и образования», «Проблемы научно-технической революции» и др. Была оценена как удачное начинание публикация на страницах журнала квалифицированных статей ряда видных партийных и советских работников. Продолжая сложившуюся традицию, журнал опубликовал в последние годы статьи крупных ученых-естествоиспытателей (академики Гинзбург, Зельдович, Дубинин, Капица и др.). Некоторые из редакционных и многие из авторских статей, опубликованных в журнале, также были положительно оценены выступавшими как имеющие серьезное научное значение. Журнал начал публиковать также статьи видных партийных и идеологических работников.

Никто из выступавших не ставил под сомнение те достижения, которые имеет в своей работе редакция журнала «Вопросы философии», но, естественно, главное внимание было уделено выявлению слабых, а порой и ошибочных сторон этой работы. Критические замечания сопровождалось конкретными советами и предложениями, направленными к улучшению журнала.

Большинство выступавших критиковало не частные недостатки журнала и не отдельные опубликованные статьи, а, что особо важно отметить, некоторые нашедшие свое выражение на страницах журнала ошибочные тенденции, неприемлемые в научном и идеологическом отношениях.

Многие участники обсуждения отмечали нарушения в ряде статей журнала принципа партийности философии, ведущие к извращению положений марксистско-ленинской теории. Отмечалось, что наряду с правильными в методологическом отношении статьями журнал то и дело печатает статьи, страдающие объективизмом и аполитичностью в отношении к буржуазной философии и социологии. В журнале публикуется ряд содержательных статей, направленных против современной буржуазной, реформистской и ревизионистской идеологии, но наряду с ними есть немало публикаций, написанных с позиций «имманентной критики», когда авторы стараются воспроизвести возможно более полно идеи соответствующих буржуазных философов и обнаружить в их работах внутренние логические и смысловые противоречия. При таком методе порой предается забвению классовый и

идеологический анализ этих работ и допускается, по существу, некритическое «нейтральное» отношение к идеям, которые должны были быть подвергнуты научно обоснованной и вместе с тем острой партийной критике. В этой связи были подвергнуты критике статьи К.Кантора «Соотношение социальной организации и индивида в условиях научно-технической революции» (Вопросы философии, 1971, № 10), В.Лазарева «Экзистенциалистская концепция человека в США» (Вопросы философии. 1967. № 3) и некоторые другие.

В самом профиле журнала, отмечали выступающие, обнаружился некоторый разрыв между философской проблематикой и публикуемыми в нем статьями и материалами, посвященными специальным темам по различным конкретным областям знания. В особенности за последние годы сократилось количество статей, относящихся к собственно философской проблематике, призванных дать философски-обобщенный анализ достижений современного естествознания, социальных наук и практики классовой борьбы на современном этапе мировой истории.

Теория диалектики и «большой логики» постепенно исчезает со страниц журнала. Так, из 20 статей, опубликованных в разделе «Диалектический материализм» в 1972—1973 гг., только две-три имеют философский характер, остальные же не относятся прямо, а в ряде случаев и косвенно, к теории диалектики и проблемам диалектического материализма. Хотя многие из них по-своему интересны, но, видимо, должны были печататься в журналах по специальным областям знания. Такая тенденция ведет к подмене диалектического материализма «методологиями» отдельных наук и, по мнению ряда выступавших товарищей, означает уступку позитивистским тенденциям. Участники обсуждения особо отмечали недопустимость этого в условиях, когда идеологи экзистенциализма, неотоцизма, неопозитивизма и других течений современной буржуазной и ревизионистской философии всячески стараются «упразднить» диалектику как метод научного познания. В прениях отмечалось, что статьи, направленные против этих наших философских противников, можно в журнале пересчитать по пальцам.

В области исторического материализма сложилось аналогичное положение. Разработка теории исторического материализма и основных категорий этой области фи-

лософского знания на страницах журнала фактически не ведется, — статьи на эти темы за ряд лет насчитываются буквально единицами. Некоторые выступавшие отмечали, что это не случайное явление, ибо в редакции существовало пренебрежительное отношение к историко-материалистической проблематике, — на заседаниях редколлегии высказывались мнения, по которым категории исторического материализма могут рассматриваться лишь как предмет преподавания, а не как сфера научного исследования, так что публикации на соответствующие темы могут быть только схоластическими и догматическими. Журнал ослабил свою методологическую роль в отношении общественных наук. Известно, что некоторые ученые-историки, исследующие своими частными методами конкретно-исторические явления и эпохи, нередко путаются в общеметодологических вопросах исторического знания. В ряде случаев дело доходит до попыток ликвидации такой основополагающей категории исторического материализма, как общественно-экономическая формация. Журнал же, заявили многие выступавшие в прениях, самоустранился от научной разработки этих проблем и тем способствует методологической «всеядности» в исторической науке.

Резко сократилось в «Вопросах философии» количество статей, посвященных теории марксистско-ленинского атеизма. Видимо, редакция не замечает того, что в последние годы наши идеологические противники все более активно используют в борьбе против нас оружие религиозной идеологии. По существу, как отмечалось в процессе обсуждения, журнал плохо выполняет свою роль в борьбе против фидеизма, не подвергает последовательной критике религиозное мировоззрение.

Публикуя большое количество статей, не имеющих прямого отношения к философской проблематике, редакция не проявляет особой заботы об их мировоззренческой выдержанности. Это относится к статьям и материалам как на естественнонаучные, так и на социально-исторические темы. В тех и в других встречаются неверные в философском плане положения, которые могли бы быть исправлены, если редакция старалась бы помочь авторам-специалистам в отдельных областях знания — стать на более высокий методологический уровень.

В этой связи ораторы критиковали статьи В.Н.Тростникова «О взаимоотношении математики и философии».

фии» (1972. № 8), члена-корреспондента АН СССР И.С.Шкловского «Проблема внеземных цивилизаций и ее философские аспекты» (1973. № 2), П.С.Дышлевого и В.С.Лукьянца «Проблема статуса пространственно-временных концепций в теоретической физике» (1970. № 10). Отмечалось, что в статье Тростникова неправильно освещается вопрос о взаимоотношениях математики, с одной стороны, практики и абстрактного мышления — с другой, И.С.Шкловский допускает возможность возникновения материи во времени, выражает скептический взгляд на перспективы развития техники в обществе будущего, считая, к тому же, такое развитие и не обязательным. Тт.Дышлевый и Лукьянец, как считает ряд выступавших на обсуждении товарищей, ставят под сомнение объективность и универсальность категорий пространства и времени.

В тематике, связанной с историческим материализмом, также отмечалось наличие известного количества статей, не только содержащих отдельные ошибки, но и неправильных по основной своей идее, причем в некоторых случаях эта неправильная идея пропагандировалась на страницах журнала не в одной, а в нескольких статьях. Так, концепция расширительного толкования понятия «рабочий класс», включающая в это понятие не только собственно рабочий класс, но и техническую интеллигенцию, была подана на страницах журнала не только в статье О.И.Шкаратана, но потом с некоторыми оговорками и в статье Л.Гордона и Э.Клопова «Социальное развитие рабочего класса СССР» (1972. № 2), причем последняя была напечатана уже после того, как данная концепция была подвергнута критике в журнале «Коммунист» (1972. № 1, статья акад. П.Н.Федосеева). В прениях отмечалось, что ряд статей по вопросам социологии и философии истории, опубликованных в журнале, носят на себе явный отпечаток влияния современной буржуазной социологии и историософии. Выступавшие указывали в этой связи на серию статей Б.А.Грушина о массовом сознании (1970. № 7 и 8; 1971. № 7), Н.Ф.Наумовой «Проблема человека в социологии» (1971. № 7), А.Г.Вишневого «Демографическая революция» (1973. № 2) и ряд других. Некоторые из выступавших отмечали, что журнал полностью воздержался от критики ошибочных попыток Ю.А.Левады и Б.А.Грушина оторвать социологию от марксистско-ленинской методологии.

По историко-философскому разделу отмечалась как ошибочная в основе своей статья М.К.Мамардашвили, Э.Ю.Соловьева и В.С.Швырева «Классическая и современная буржуазная философия». Указывалось, что в этой и других статьях по критике буржуазной философии нет по существу критики, а имеется лишь нарочито усложненное изложение взглядов буржуазных философов. Особой критике подверглись опубликованные журналом статьи Л.Н.Митрохина, в особенности его статья «Социальная терапия Билли Грейэма» (1973. № 6), а также статья Д.Фурмана «Американский вариант секуляризации» (1973. № 2). В ряде выступлений отмечалось, что эти статьи страдают крупными пороками, некритически воспроизводя всевозможные фидеистские и буржуазные измышления, авторы статей в «Вопросах философии» не позаботились о том, чтобы дать их убедительную критику и продуманный анализ, а редакция от них этого не потребовала.

Почти все выступавшие выразили неудовлетворенность по поводу работы отдела критики и библиографии. Здесь, как правило, публикуются рецензии, не несущие научной информации и не дающие научно-критических оценок. В этом отделе не выступают крупные ученые, нет проблемных рецензий, сам по себе научный уровень рецензий оставляет желать много лучшего. Редакция обходит молчанием появление ряда солидных коллективных марксистских трудов (книги по истории диалектики и другие). Она порой берет под свою защиту, одобряет некоторые издания, содержащие серьезные идейно-теоретические ошибки, и отказывается публиковать материалы, в которых содержится критический анализ такого рода ошибок. Выступавшие в этой связи указывали на защиту членами редакции журнала ошибочных статей М.К.Петрова, Б.А.Грушина, А.Я.Гуревича и других. В работе отдела критики и библиографии, по мнению ряда выступавших товарищей, наблюдались факты групповщины и пристрастного отношения к авторам рецензируемых работ и подбору рецензентов.

Принципиальным недостатком работы журнала является то, что редакция занимала позицию невмешательства в происходящие дискуссии и споры по ряду философских проблем. В качестве примера выступавшие приводили дискуссию по антимарксистской книге Ю.А.Левады; даже после того, как «Коммунист» и «Фило-

софские науки» выступили с развернутыми критическими рецензиями по поводу этой книги, «Вопросы философии» сочли все же нужным отмолчаться. Критика, которой подвергли V том «Философской энциклопедии», содержащий грубейшие ошибки и искажения, также не дошла до страниц «Вопросов философии». Отказ журнала от выступлений с критикой ошибок и недостатков в нашей философской литературе объективно выглядит как тенденция к замазыванию и даже поддержке некоторых имеющих в ней место болезненных явлений.

Особое место в ходе обсуждения занял вопрос об отношении руководства журнала к критике в его собственный адрес. Обычно критические замечания по поводу содержания и направления «Вопросов философии» парируются заявлениями о том, что уровень журнала отражает состояние и уровень всей философской работы в стране. В своих выступлениях на данном обсуждении главный редактор И.Т.Фролов также прибегал к этому методу оправдания недостатков журнала. Участники обсуждения отметили неправильность и несостоятельность таких заявлений. Отмечалось, что, имея возможность отбирать лучшее из научной продукции наших философов, журнал не пользуется ею, а отбирает во многих случаях работы сомнительные по своему идеологическому и научному качеству. Помимо того, указывалось, что журнал есть и «коллективный организатор», он должен доступными ему средствами способствовать развитию философской науки в нашей стране в принципиальном марксистско-ленинском духе, а не двигаться в хвосте нездоровых настроений и неправильных концепций.

В последние годы журнал прекратил обсуждение на своих страницах публикуемых в нем статей и материалов. Выступавшие отмечали несколько странное отношение редакции к этому вопросу. С одной стороны, она провозгласила, что так как все статьи в журнале подлежат обсуждению, то специальная рубрика дискуссионных материалов упраздняется, и ни одна статья не будет публиковаться с указанием на то, что она — дискуссионная. С другой же стороны, не было случая, когда опубликованная статья в дальнейшем подверглась обсуждению в журнале, так что фактически все публикуемое оказалось вне критики; в таком же положении оказались и напечатанные в журнале «новаторские», а по существу, сомнительные и даже порочные работы.

Даже после того, как редакции указывалось, что та или иная из опубликованных ею статей нуждается в серьезной критике, работники редакции журнала воздерживались от этой критики. Так было, например, с порочной статьей М.К.Петрова (1968. № 2). Так было и со статьями Б.А.Грушина: редакция отвергла направленную в их адрес критическую статью акад. А.Д.Александрова. Редакция обошла молчанием и ту критику, которой подверглись в партийной печати ошибки в статьях журнала по проблеме общественно-экономической формации.

Известно, что в редакционной статье «С позиций партийности», опубликованной в № 1 за 1974 г., журнал выступил с тезисом о «праве» на критику. Люди, критикующие журнал, аттестуются в этой статье как всем недовольные, бесталанные, профессионально неподготовленные, маскирующие свою бесплодность позицией «ультрапартийности» и т.д. Право на критику журнала имеют, с точки зрения авторов статьи, лишь философы-профессионалы, да и то лишь «избранные». Выступавшие выразили решительное несогласие со всем содержанием и духом статьи, указывая на то, что она проникнута не принципом партийности, а мотивами групповщины и стремлением пресечь критику в адрес той группы, которая определяет курс журнала. Статья подверглась критике на совещании в Отделе науки и учебных заведений ЦК КПСС 19 мая с.г., но за месяц, прошедший с тех пор, редакция и сам гл. редактор И.Т.Фролов нигде и ничем не выразили своего отношения к этой критике. На данном же обсуждении тов. Фролов занял «круговую оборону» и всячески защищал это порочное выступление редакции, находя в нем лишь отдельные неудачные слова и выражения. Он выразил несогласие и с критикой статьи, данной в Отделе науки и учебных заведений ЦК КПСС.

В своих двух речах на обсуждении И.Т.Фролов, по существу, не согласился с подавляющим большинством сделанных выступавшими критических замечаний. То же следует сказать и о выступлении члена редколлегии журнала Л.Н.Митрохина. Хотя его собственные статьи подверглись в ходе обсуждения острой и справедливой критике, он отверг все сделанные замечания, заявив, что ему не нравятся и работы товарищей, выступавших с критикой по его адресу. Выступления И.Т.Фролова и Л.Н.Митрохина создали впечатление, что руководство

журнала не хочет понять всю серьезность задачи преодоления недостатков, имеющих в работе журнала. Характерно в этом отношении и то, как трактовал в своем выступлении И.Т.Фролов факт обновления состава редколлегии президиумом АН СССР. Он рассматривал его лишь как очередное плановое мероприятие, связанное только с истечением срока полномочий старой редколлегии. Ему было указано выступающими, что обновление редколлегии надо рассматривать не только как «естественный процесс», но и как мероприятие, имеющее целью выправить линию журнала в ряде вопросов, сделать его более боевым и партийным органом нашей философской науки.

Выступающие отмечали оторванность редакции журнала от Института марксизма-ленинизма, Высшей партийной школы, Академии общественных наук при ЦК КПСС. Выразалась надежда, что обновленный состав редакционной коллегии сумеет укрепить связи между журналом и партийными научными учреждениями и учебными заведениями. Было высказано также пожелание укрепить состав редакции людьми, способными содействовать повышению идейно-теоретического уровня журнала.

Необходимость коренного улучшения работы журнала «Вопросы философии», как отмечали многие выступающие, особенно настоятельна в свете того, что этот центральный философский орган печати в Советском Союзе имеет и международное значение. Философы наших братских партий как в социалистических, так и в капиталистических странах внимательно читают его и придают большое значение его позиции в основных научно-идеологических вопросах.

*Председатель
Специализированного Ученого совета
по философским наукам АОН при ЦК КПСС
Г.ГЛЕЗЕРМАН*

*Зам. председателя совета
Х.МОМДЖЯН*

«Вопросы философии», 1997

Предисловие к публикации

Эта статья задумывалась и обсуждалась нами совместно и должна была публиковаться под двумя подписями. Время, увы, распорядилось иначе — нашему замыслу не суждено было реализоваться из-за безвременной кончины Игоря Викторовича Блауберга.

Сейчас, разбирая оставшиеся заметки и предварительные заготовки, я вижу, что, пожалуй, для реализации замысла потребовалась бы не статья, а книга. В ней говорилось бы по преимуществу о философско-методологических проблемах системных исследований.

Начать эту книгу, наверное, надо было бы с работ Э.В.Ильенкова, А.А.Зиновьева и Б.А.Грушина 50-х — начала 60-х годов. Следовало бы, видимо, отметить, что впоследствии Ильенков весьма жестко критиковал системный подход как порождение позитивизма и отступление от истинной диалектики Гегеля — Маркса — Ленина. Да и Зиновьев, как мне доводилось слышать, не очень высоко отзывался спустя многие годы о собственной кандидатской диссертации, посвященной логике «Капитала» Маркса. Тем не менее, вольно или невольно эти авторы оказались у истоков системного движения в нашей стране.

Необходимо было бы особо написать о роли семинара, собиравшегося в 60-е годы в НИИ общей и педагогической психологии на Моховой и руководимого Г.П.Щедровицким. Семинар, в числе многих других, посещали (и более или менее активно и долго участвовали в его работе) И.С.Алексеев, Н.Г.Алексеев, Г.С.Батищев, О.И.Генисаретский, В.В.Давыдов, В.П.Зинченко, Ю.А.Левада, В.А.Лекторский, М.К.Мамардашвили, Ю.Б.Рождественский, В.М.Розин, Н.И.Непомнящая, В.Н.Садовский, Б.В.Сазонов, В.С.Швырев, Э.Г.Юдин. Этот семинар, подлинно междисциплинарный по широте научных интересов его участников, можно, видимо, считать непосредственным началом, в числе многого другого, и системных исследований в нашей стране. Во всяком случае, в рамках прежде всего этого семинара был подготовлен получивший большую известность сборник тезисов «Проблемы исследования систем и структур. Материалы к конференции» (М., 1965) —

первое издание по собственно системной проблематике. Правда, проведение самой конференции было запрещено, а потому и тираж сборника формально был арестован.

В те же 60-е годы в Москве довольно активно проявляла себя и немногочисленная, но шумная группа, которую возглавляли популярный ныне в определенных кругах М. Антонов и Фетисов (не помню, к сожалению, его инициалов). М. Антонов пламенно обличал Щедровицкого и его сторонников, занимавшихся, по словам Антонова, не чем иным, как «гальванизацией трупов логического позитивизма». Как видим, и в те времена сей публицист был острым на язык. Системный подход, который развивали Антонов с Фетисовым, был тем магическим средством, кое позволит построить коммунизм к 1980 году, и притом не где-нибудь в Амстердаме или Васюках, а прежде всего — в Москве. Каково же мне было недавно услышать в одной из передач Всесоюзного радио, что после этого Антонов претерпел за... критику марксизма?

Дальнейшая история системного движения связана с организацией в конце 60-х годов в Институте истории естествознания и техники АН СССР сектора системного исследования науки, лидерами которого были И. В. Блауберг, В. Н. Садовский и Э. Г. Юдин, и с появлением ежегодника «Системные исследования», а также ряда книг со статьями советских и зарубежных авторов.

Что двигало людьми, стоявшими у истоков системных исследований в нашей стране? Только ли чисто научные и философские интересы? Думается, нет. Наряду с этим они видели здесь и возможность уйти от давящего казенного «диалектического и исторического материализма», путь к свободе философского творчества, способ воздействия на идейную атмосферу общественной жизни, средство развития серьезной методологической культуры и выхода нашей философской мысли из состояния изоляции.

Готовясь к мемориальной конференции 14 февраля 1990 г., посвященной 60-летию со дня рождения Э. Г. Юдина, Игорь Викторович, тогда уже тяжело больной, надиктовал на магнитофонную кассету расширенный текст своего доклада. С сокращенной версией этого текста он и выступил на конференции. Публикуемая ниже статья подготовлена мной на основании этой магнитной записи, которая потребовала лишь незначительной стилистической обработки. Название статьи дано мной. Кроме того, в ряде мест я счел нужным сделать собственные комментарии.

Б. Г. Юдин

И. В. Блауберг

**Из истории
системных исследований в СССР:
попытка ситуационного анализа**

Десять лет назад на аналогичном мероприятии, проводившемся тогда в Институте истории естествознания и техники, я делал доклад об особенностях методологической деятельности Эрика Григорьевича Юдина. Это был 1980 год, и в то время нельзя было сказать о многом, о чем можно сказать сегодня. Прежде всего, я хочу прочитать документ, полученный матерью Эрика Григорьевича из Верховного Суда СССР.

Справка

Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 18 июля 1989 года приговор Томского областного суда от 22 марта 1957 года и все последующие судебные решения в отношении Юдина Эрика Григорьевича, 1930 года рождения, отменены, и дело производством прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

Юдин Э.Г. по настоящему делу реабилитирован.

По материалам данного дела Юдин Э.Г. до ареста 30 декабря 1956 года работал старшим преподавателем философии Томского государственного педагогического института.

Секретарь Пленума,
член Верховного Суда СССР

Р.К.Бризе

Надо сказать, что это обстоятельство — то, что Эрик Григорьевич Юдин в свое время стал жертвой политических репрессий, было известно многим окружавшим его, во всяком случае — всем его близким друзьям. Очень интересно, что оно не оказало непосредственного негативного воздействия на его жизнь, на его деятельность, но, конечно, мешало ему, главным образом, в научной карьере (он, например, ни разу не был за рубежом)¹. Если же говорить о каких-то конкретных фактах, то я вспоми-

наю лишь один. При представлении его на звание старшего научного сотрудника по специальности «История науки и техники» бдительный помощник вице-президента Академии наук Петра Николаевича Федосеева счел необходимым сообщить об этом факте, и кандидатура Эрика Григорьевича была снята с обсуждения.

С другой стороны, нельзя было, конечно, предполагать, что это обстоятельство не оказало какого-то влияния на все, что было связано с развитием научной деятельности Эрика Григорьевича и нашего, тогда еще небольшого, коллектива.

И вот я хочу повести речь о двух эпизодах из истории развития системных исследований в нашей стране, связанных с деятельностью нашей группы и Эрика Григорьевича.

При этом я хотел бы оговориться: я буду, может быть, говорить чаще о себе, чем о других, и это понятно — мне это известнее. Но все, что мы делали, все предпринятые нами шаги, конечно, согласовывались внутри нас, тогда уже группы, получившей название БСЮ, с легкой руки одесских шутников, «Блауберг — Садовский — Юдин», — и, конечно, вся дальнейшая деятельность, не только тактическая, но и научно-стратегическая, проходила под непосредственным руководством Эрика Григорьевича Юдина, прошедшего большую жизненную школу, которую нам, к счастью, не пришлось пройти.

Итак, речь будет идти о проблеме отношений системного подхода и философии и о двух эпизодах из истории этих отношений.

Однако начало истории не имело никакого отношения к проблеме системных исследований. Примерно в конце 1964 или начале 1965 года на редколлегии «Вопросов философии» обсуждалась рецензия Александра Петровича Шептулина на собрание сочинений Тодора Павлова² в нескольких томах. Сочинения эти недавно появились, рецензия составляла примерно полтора печатных листа и представляла собой набор достаточно известных вещей, что, видимо, было связано и с текстом самого Собрания сочинений. Я, будучи тогда молодым ответственным секретарем и членом редколлегии «Вопросов философии», выступил против такого объема рецензии и настаивал на том, что рецензия должна быть не больше чем на поллиста, при этом обязательное условие — выделение тех

новых моментов, которые содержатся в данном собрании трудов. Редколлегия приняла это решение, по-моему, примерно в таком объеме и вышла рецензия, и на этом вроде бы все и закончилось.

В 1965 году, в июле, по дороге в Международный Дом журналистов в Варне я встретился в Софии с двумя болгарскими коллегами — Крстю Горановым и Азарей Поликаровым, и они в разговоре в Софийском доме журналистов сообщили мне, что в Институте философии Болгарской Академии наук, директором которого, естественно, был Тодор Павлов, он выяснял у своего окружения, кто такой советский философ Блауберг, который высказал такое непочтительное мнение о его работах и рецензии на них. Они дали понять, что это проблема не только информационно-личного порядка.

После, уже в Москве, я слышал, что эта проблема обсуждалась и в других кругах — среди наших сотрудников в Болгарии, связанных, скорее, с некоторой политической, чем научной деятельностью, где пытались выяснить характеристики на меня. По счастью, человек, который эти характеристики давал, оказался моим давнишним знакомым по работе в комсомоле, и все, вроде бы, было благополучно и на этом закончилось. Это был 1965 год. И поэтому, действительно, громом среди ясного неба была для меня публикация в журнале «Коммунист», № 15, октябрь 1969 года, письма в редакцию Тодора Павлова под названием «Марксистско-ленинская философия и системно-структурный анализ».

Что говорилось в этой публикации? Цитирую: «Одной из важных задач, стоящих перед марксистско-ленинской философией, является исследование природы и сущности тех многообразных методических средств и приемов, которыми постоянно обогащается современная наука, в частности системно-структурного анализа. Вместе с тем нельзя не видеть, что при решении этого вопроса подчас допускаются серьезные ошибки философского характера, о чем свидетельствуют, например, некоторые выступления на Всесоюзной конференции, посвященной методологическим вопросам системно-структурного исследования, организованной философским факультетом МГУ (см. "Вестник Московского университета", философия, 1969, № 3). Так, И.В.Блауберг в своем выступлении утверждал, что возникновение системно-структурных представлений есть якобы переход к новому научно-

му мировоззрению, требующему нового подхода к традиционным проблемам. Следует со всей решительностью и определенностью заявить, что такая позиция глубоко чужда принципам диалектического и исторического материализма, основана на неправомерной абсолютизации роли системно-структурного анализа в познании. Марксизм-ленинизм не отрицает, что макротела и микротела, Вселенная и нейтрино, вещество и антивещество, пространство и время, общество и человек, организм и сознание и т.д. имеют свою структуру, и требует исследования структур и структурных закономерностей. Это, безусловно, верно. Но столь же верно и то, что изучение структур и структурных закономерностей составляет задачу частных, специальных наук. Философская же наука занимается отношением бытия и сознания, общественного бытия и общественного сознания. Установление того факта, что бесструктурного бытия и бесструктурного сознания не существует, не может, естественно, повлечь за собой пересмотр коренных мировоззренческих выводов, сделанных диалектическим и историческим материализмом на основе философского обобщения всей истории познания и социальной практики. Несомненно, что философские исследования можно и нужно конкретизировать при помощи частно-научных, специально-научных исследований, но это не означает, что марксистско-ленинское научное мировоззрение можно и нужно заменить каким-то "новым" мировоззрением на основе "системно-структурного подхода" к традиционным проблемам. Системно-структурный подход, понятно, необходим в частно-научных исследованиях, в языковедении, геологии, социологии, математике, кибернетике, бионике, физике и т.д., но он не может упразднить или подменить собой необходимость философских исследований бытия и сознания в свете основного или главного вопроса философии, а в связи с этим и научного ленинского определения философского понятия материи».

Я сейчас не хочу заниматься анализом содержательной стороны высказывания Тодора Павлова. Это его известная концепция об отношениях философии и частных наук, устаревшая, видимо, уже и в то время. Меня интересует другая сторона дела: как этот материал появился в «Коммунисте»? Насколько можно восстановить события, материал был получен непосредственно в секретариате М.А.Суслова, оттуда быстро был направлен в

«Коммунист», там готовился тоже почти мгновенно, при этом подготовкой занимался Андрей Филиппович Полторацкий, у которого в то время, видимо, чувство партийности и классовости сильно превалировало над общечеловеческими и религиозными соображениями. Он даже не сообщил нам об этом событии, хотя был с нами достаточно близко связан, и вот мы «попали», стали перед фактом. Нужно еще добавить, что буквально на следующий день после того, как был опубликован этот материал, мы должны были своей «командой» лететь на очередной системный семинар в Одессу.

И здесь возникла проблема: как тут быть, как реагировать, что делать? Надо сказать, что большую роль сыграли два человека. Во-первых, Семен Романович Микулинский, который в те времена нас достаточно основательно поддерживал, он был членом редколлегии ежегодника «Системные исследования» с 1969 по 1972 год, а в то время был и заместителем директора Института истории естествознания и техники, естественно, человеком, заинтересованным в том, чтобы на институт не падало какое-то темное пятно. Мы с ним срочно поехали к Всеволоду Петровичу Кузьмину, который в то время работал в секторе философии ЦК КПСС. Его предложение было определенным и категоричным: нужно немедленно писать письмо на имя заведующего отделом науки ЦК КПСС. Немедленно!

И вот, собирая одной рукой чемодан для поездки в Одессу, я писал это письмо. В нем говорилось: «Целиком разделяя критическую направленность выступления академика Тодора Павлова против попыток заменить марксистско-ленинское мировоззрение системно-структурным подходом, я должен со всей определенностью заявить, что не могу считать себя в какой бы то ни было мере причастным к этим попыткам. Безусловно, попытки отождествить системный подход с философским мировоззрением или, более того, противопоставить системные исследования и диалектический материализм способны принести лишь вред как нашему мировоззрению, так и развитию системных исследований. Именно эта мысль была одним из основных тезисов моего выступления на указанной конференции. А тот факт, что это выступление получило в обзоре столь неверное освещение, я могу объяснить лишь тем, что при подготовке обзора были нарушены элементарные правила публикации материалов

подобного рода. Выступления на конференции не стенографировались и не представлялись в письменном виде, были предварительно опубликованы лишь тезисы докладов. Очевидно, авторы обзора не должны были полагаться на собственное восприятие и понимание содержания выступлений, а обязаны были завизировать у выступавших содержание их выступлений, тем более, что им приписывались столь ответственные высказывания. Но это не было сделано. Во всяком случае, о существовании этого обзора я впервые узнал из письма академика Тодора Павлова в журнале "Коммунист". Следует добавить, что обзор этой же конференции за подписью тех же авторов был опубликован значительно раньше в журнале "Философские науки", 1968, № 5, а там смысл моего выступления передан совсем по-иному. Что же касается моего понимания отношения философии диалектического материализма и системного подхода, то оно состоит в следующем: системный подход, системные исследования, общая теория систем — эти термины в науке еще окончательно не устоялись — представляет собой общенаучное направление, подобное кибернетике, теории информации и т.п., которое в его настоящем виде вызвано к жизни развитием современной науки и техники и которое имеет своей задачей разработку специальных средств исследования и проектирования сложно организованных объектов — систем. Как и кибернетика, системный подход не может претендовать на статус философского мировоззрения, хотя, разумеется, полученные с его помощью позитивные научные результаты могут способствовать обогащению и дальнейшему развитию как научного мировоззрения в целом, так и его философской сердцевины. С другой стороны, существо системного подхода, пути его разработки, его место в современном научном знании могут получить адекватную оценку и с позиций диалектического материализма, и на основе использования тех принципов исследования сложных систем, которые были сформулированы классиками марксизма. Эта точка зрения была выражена в ряде работ по проблемам системных исследований, в написании которых я принимал участие, в частности, в брошюре "Системный подход: предпосылки, проблемы, трудности", М., Знание, 1969, одним из авторов которой я являюсь. Полностью присоединяясь к призыву академика Тодора Павлова углубить анализ теоретических проблем системно-структурного ис-

следования с позиций марксистско-ленинской методологии, я в то же время вынужден констатировать, что в части, касающейся оценки моего выступления, письмо академика Тодора Павлова основано на досадном недоразумении, вызванном недостаточно ответственным подходом авторов обзора к его подготовке. Именно это недоразумение и побудило меня обратиться к Вам с этим письмом».

Оставив это письмо для отправки в ЦК, я утром улетел в Одессу. Там уже было известно о тексте в «Коммунисте», и, конечно, это было предметом многочисленных обсуждений, тем более, что трудно было заранее предвидеть возможные последствия этого дела не только для нас, но и для системных исследований в широком смысле слова. Я сейчас не помню подробности этих обсуждений, могу лишь сказать, что они, видимо, превалировали над официальной темой системного семинара.

Возвратившись в Москву, я довольно скоро узнал, что вопрос о письме Тодора Павлова и моем ответе разбирался в отделе науки ЦК и никаких претензий ко мне не было, то есть вопрос был закрыт. Об этом я скоро получил и официальное извещение, правда, в своеобразной форме. В чем состояло это официальное извещение?

В Институте истории естествознания и техники, в коридоре, наш тогдашний куратор из отдела науки ЦК Николай Васильевич Марков отвел меня в сторону и сообщил об этом, т.е. не было не только каких-то письменных сообщений, но даже публичных, даже в присутствии хотя бы одного свидетеля. Тем не менее, я мог быть удовлетворен.

Ясно, что такой конфиденциальный ответ на фоне публикации в «Коммунисте», который в том номере имел тираж 730 тыс. экземпляров, не мог не подвигнуть кого-то из «заинтересованных» людей к тому, чтобы все-таки воспользоваться этой ситуацией и перед всей страной высечь человека, виновного в умалении нашей философии. Ну, и такой человек, конечно, нашелся.

В начале 1970 года я получил из вузовской среды известие о том, что зам. министра высшего образования по общественным наукам Николай Иванович Мохов в своих поездках по стране и инструктивных докладах перед преподавателями общественных наук (видимо, это было в начале второго семестра), в общем, широко пользуется

этим текстом, и фамилия Блауберга звучит по всей стране. Пользуясь опытом борьбы с отделом науки, мы с Владимиром Садовским и Эриком Юдиным решили, что здесь тоже очень важно применить метод быстрого реагирования, и я отправился в Министерство. С помощью Владимира Тиграновича Калтахяна, который тогда был начальником управления преподавания общественных наук, довольно быстро я попал на прием к Мохову. Там был какой-то деятель из ЦК ВЛКСМ, перед которым зам. министра должен был вести себя соответственно; когда я изложил ему суть дела, он сказал, что, действительно, выступал с этим текстом, опираясь на «Коммунист», это вполне понятно. Я ответил, что это я понимаю, но, однако, произошло недоразумение, о чем в тех или иных формах известно. «Ну, откуда же известно?» — спросил он. Я сказал, что, во-первых, об этом было написано в журнале «Вестник Московского университета», серия философия, но этот журнал не вызвал у него никакого пиетета. Следующий ход был таким: я сказал, что предполагается публикация в «Вопросах философии» нашей с Э.Г.Юдиным статьи, где этот вопрос специально рассматривается, что и будет некоторым официальным обоснованием для дезавуирования этого текста.

Мы, действительно, в то время готовили статью «Философские проблемы исследования систем и структур», которая была опубликована в 5-м номере «Вопросов философии» за 1970 год, и мы договорились с редакцией, что в ней будет сделана следующая сноска: «В этой связи мы бы хотели воспользоваться случаем, чтобы рассеять недоразумение, возникшее в результате неверного изложения позиции одного из нас в обзоре конференции по методологическим проблемам системно-структурных исследований, опубликованном в журнале "Вестник Московского университета", серия философия, 1969, № 3. Текст обзора дает возможность сделать вывод о том, что мы якобы противопоставляем системный подход диалектике, хотя это совершенно не соответствует нашим взглядам и содержанию опубликованных нами работ».

Это заявление также не произвело впечатления на зам. министра, он сказал, что «Вопросы философии» публикуют разные материалы — и правильные, и неправильные, и на них ссылаться как-то не очень основатель-

но в такой большой союзной преподавательской аудитории. Тогда у меня остался последний ход. Оглядевшись по сторонам, я сказал, что вопрос обсуждался на заседании отдела науки ЦК КПСС, и Сергей Павлович³ заявил, что ко мне нет претензий, что это недоразумение. Тут Николай Иванович уже несколько привстал, сказав, что об этом он, к сожалению, не знал, это важная информация, и ему нужно сделать какие-то выводы, но они могут быть только такие, что больше он мою фамилию в этом контексте упоминать не будет; но, конечно, и извиняться или каким-то образом дезавуировать сказанное до этого он вряд ли будет. На этом мы с ним и договорились, и вопрос как будто бы был закрыт.

Не считая индивидуальных всплесков, эта проблема действительно всерьез не поднималась до конца 1975 года. Я начну несколько с другой стороны. Будущий исследователь истории советской философии XX века, возможно, обратит внимание на некоторые загадочные обстоятельства: в 1977 году в целом ряде публикаций появились сообщения об обсуждении ежегодника «Системные исследования», причем шести номеров — с 1969 по 1974 год. Надо сказать, что такого обсуждения не было ни до, ни после, хотя сегодня мы уже имеем 20 выпусков ежегодника. Опубликованы эти материалы были в «Вопросах философии», № 3, 1977, в сборнике «Вопросы истории естествознания и техники», в предисловии к ежегоднику «Системные исследования» 1976 года. В общем-то все это сопровождалось достаточно положительной оценкой ежегодника, смущало лишь то, что недостатки во всех этих текстах формулировались достаточно единообразно, как будто бы подсказанные, допустим, одним человеком. Но подчеркиваю, что, действительно, оценка была положительной, и даже было не очень понятно, почему нужна такая массовидная публикация этого обсуждения.

Во всех текстах было сказано, что на расширенном заседании Ученого совета Института истории естествознания и техники Академии наук СССР в мае 1976 года происходило обсуждение работы ежегодника «Системные исследования», содержания шести его выпусков, и были намечены меры дальнейшего улучшения издания. Вот, собственно, и все.

Но что же стояло за этим обсуждением? И здесь мы переходим ко второму факту из истории системных ис-

следований, связанному именно с этим мероприятием. Середина 70-х годов была периодом разгула идеологической дубинки в лице тогдашнего секретаря горкома партии по идеологии Владимира Николаевича Ягодкина. Расправившись в силу своего понимания — о компетентности я не говорю, ею там и не пахло — с такими академическими институтами, как Институт истории СССР, Институт экономики, ЦЭМИ, Институт философии, с журналом «Вопросы философии», он решил взяться за ежегодник «Системные исследования».

Это нашло свое выражение в том, что примерно летом 1975 года Семен Романович Микулинский, тогда уже директор Института истории естествознания и техники, сообщил мне, что он был на даче у Ягодкина. Там, естественно, шла беседа об институте, о судьбах науки, такие беседы проходят всегда, и между прочим Ягодкин спросил: «Вот у вас системники, как вы с ними?» Семен Романович ответил: «Да, они у нас есть, мы их критикуем». Ягодкин ответил: «Критикуете? Это хорошо».

Эта беседа не получила, видимо, непосредственного продолжения, но «запала в душу» по крайней мере одному из участников, и стали, похоже, продумываться какие-то организационные мероприятия. Во всяком случае, уже ближе к концу года мне было сообщено, что предполагается беседа в отделе, вернее, в секторе философии ЦК партии, которым тогда заведовал Н.П.Пилипенко, и что я должен быть к этому готов.

Но этому предшествовали драматические события. 5 января 1976 года умер Эрик Григорьевич Юдин, и все наши дела показались мелкими дрызгами и отошли на второй план...

Однако жизнь в институте шла своим чередом, интрига раскручивалась, как ей положено, и Микулинский в начале января сообщил мне, что 14 января в секторе философии ЦК будет обсуждение ежегодника, куда приглашают и меня... Сказано было как-то мимоходом, без какой-то предварительной договоренности, и для всех, кто знал Микулинского и его отношения с этим партийным органом, было ясно, что там все уже предрешиено и мое появление — это, скорее, чистая формальность.

Кульминация всего этого действия имела место, по видимому, 13 января, когда было 9 дней со дня смерти Эрика, у него на квартире на проспекте Вернадского. В

разгар этого вечера, а точнее, уже к концу его В.П.Кузьмин, на которого, видимо, подействовала обстановка (а он не был на похоронах), сказал мне по секрету: «Я хочу проверить тебя на умение держать язык за зубами. Ягодкина снимают, но об этом не должен никто знать». И вот с этой информацией на следующий день утром я явился в ЦК КПСС, там уже были сотрудники сектора философии, а также Микулинский, Федоров⁴, Шухардин⁵. Видимо, все обсуждалось заранее, мне вручили некий текст без подписи, сказали, чтобы я отошел с ним ознакомиться и с его учетом рассказал о работе ежегодника.

Сидя в «предбаннике», на фоне прогуливающихся невдалеке Георгия Лукича Смирнова⁶, Виктора Григорьевича Афанасьева⁷, Ричарда Ивановича Косолапова⁸, я начал изучать этот текст. Текст был ужасный. Название его: «Справка о ежегоднике "Системные исследования", издаваемом Институтом истории естествознания и техники Академии наук СССР, Москва, "Наука", т. 1—6, 1969—1974 гг.». В 18-страничном объеме этой справки всего 2-3 фразы дают позитивную оценку ежегодника. Звучат они так: «Особенно интересны те статьи, в которых применяется системный подход к анализу проблематики частных наук — биологии, географии, этнографии и др.». Заметим вскользь, что ни одной статьи по этнографии в ежегоднике опубликовано не было. «Каждый последующий выпуск "Системных исследований" в этом отношении может рассматриваться как шаг вперед» (стр. 3).

Вот и вся позитивная часть. Далее — анализ недостатков. Выводы, которые суммарно могут быть представлены в следующем виде.

1. «В ряде статей ежегодника делается попытка противопоставить системные методы диалектики, подменить диалектику этими методами». Вспоминается текст Тодора Павлова.

2. «Многие статьи отличаются схоластичностью, нарочито подчеркиваемым уходом в сферу формальной логики, отходом от диалектико-материалистических методов исследования».

3. «Редколлегия ежегодника занимает ошибочные позиции в вопросе о публикации и оценке немарксистских авторов прошлого и настоящего». Как выяс-

няется, самый главный автор прошлого — это А.А.Богданов.

4. «Материал ежегодника не связан с задачами, которые вытекают из сегодняшней практики социального, культурного и научно-технического развития социализма в нашей стране и братских странах социалистического содружества».

5. «Ежегодник стоит в стороне от идеологической борьбы против буржуазной идеологии и ревизионизма. Более того, в статьях ряда авторов — М.К.Петрова, Б.Г.Юдина, А.И.Каценелинбойгена (обратите внимание на перечень. — *И.Б.*) допущены политические ошибки».

6. «В ежегоднике выступает одна и та же узкая группа авторов. Складывается впечатление, — говорится в "Справке", — что в "Системных исследованиях" сложилась замкнутая группа людей, занимающихся пересказами теорий Богданова, Берталанфи и др. и отнюдь не склонных к разработке и использованию методологии и мировоззрения диалектического и исторического материализма» (последняя, 18 страница).

Легко представить, каково было бы мне, если бы информацию о Ягодкине я не получил за день до этого обсуждения. Но сейчас, признаюсь, меня больше всего интересовал вопрос, кто же автор (или авторы) этого текста. Довольно быстро я его идентифицировал, и пару часов спустя в институте мою догадку подтвердил Илья Семенович Тимофеев. Это был не кто иной, как Лев Николаевич Суворов. Тогда многое стало на свои места, это можно было понять и по отношению к Богданову, и по отношению к формальной логике, и по ряду других вещей.

После этого я был приглашен на обсуждение, оно было в принципе скомкано, сказано было, чтобы этот материал не брать за оценку, а его учитывать, и что после обсуждения нужно пойти в институт и там, так сказать, дождавшись возвращения наших товарищей, договориться о дальнейшей деятельности. Не успел я прийти в институт, уже был звонок «оттуда», чтобы не принимать во внимание этот текст, рассматривать его всего лишь как справочный материал. То есть фейерверка не получилось. Я думаю, можно вполне определенно сказать, что политическая смерть Владимира Николаевича Ягодкина и его присных в лице того же Суворова наступила имен-

но в тот день, когда они решили обсуждать ежегодник «Системные исследования». Однако машина была запущена, никакого другого текста в секторе философии ЦК не было, видимо, обсуждение ежегодника было запланировано, и так оно и пошло. Оно было запланировано на май, в мае оно и состоялось.

Теперь на минутку представим себе, что агония еще не наступила и первоначальная цель обсуждения была достигнута. Очевидно, что здесь наиболее яркий пример должны были представить политические обвинения в адрес ежегодника, поскольку они по определению считались «неотбойными». Рассмотрим два примера. Первый касался статьи Каценелинбойгена, который в своей статье в ежегоднике, посвященной проблеме ценностей, писал: «По-видимому, нельзя отрицать тот факт, что "в открытом море нельзя без кормчего", но вряд ли допустимо те условия, которые порождают способ управления кораблем в открытом море, считать всеобщими для социально-экономической системы и пытаться на этом основании унифицировать механизмы его функционирования».

Комментарий авторов справки: «Каценелинбойген переходит к важнейшему вопросу марксизма, вопросу авторитета и централизованного управления общественными явлениями: и эта цитата показывает, что лежит под спудом нарочито усложненных и абстрактных рассуждений этой статьи».

Очевидно, здесь авторы (или автор) справки «подставились», поскольку широко известно, что тезис «в открытом море нельзя без кормчего» является одним из главных лозунгов маоистской пропаганды, призванным обосновать необходимость культа личности Мао Цзэдуна. Я писал в ответ на эту справку, что совершенно непонятно, как люди, выступающие от имени марксизма-ленинизма, смогли увидеть в этом тезисе адекватное выражение марксистского понимания авторитета или централизованного управления общественными явлениями.

Второй пример еще более показателен. Две страницы в тексте Суворова уделены статье Бориса Григорьевича Юдина «Процессы самоорганизации в малых группах». Главное, что вменяется в вину автору статьи, — это использование терминов формальной и неформальной организации, в чем усматривается проявление буржуазной

идеологии. Недостаточное понимание сути различия формальной и неформальной организации в малых группах приводит к тому, что в качестве примера формальной организации в малой группе в «Справке» называется партия и другие массовые организации, а также государство. Это, естественно, не имеет никакого отношения к проблематике малых групп. Точно так же не имеет никакого отношения к неформальной организации и шайка расхитителей, фигурирующая в «Справке» в качестве примера.

Думаю, что нет необходимости сегодня говорить о возможности разработки понятия неформальной организации. Во всяком случае, и по поводу этой статьи и по поводу обвинений, которые касались статьи Петрова и были столь же неосновательными, мы имели возможность дать общий вывод: обвинение в том, что в ряде статей ежегодника допущены политические ошибки, фальсификация вопроса о роли партии и ее научного мировоззрения в развитии социалистического общества, следует категорически отнестись как совершенно необоснованное и клеветническое. Это правильный вывод, но представьте себе, что эти обвинения произносятся с трибуны какого-то большого форума, чему часто мы были свидетелями. Думаю, что с такой нашей оценкой нас бы, конечно, близко к этой трибуне не допустили.

Общая же оценка текста Суворова звучала в моей объяснительной записке на 42-х страницах следующим образом: «В "Справке" о ежегоднике "Системные исследования" не дана объективная картина положения дел с этим изданием. Авторы "Справки" подошли к оценке ежегодника явно тенденциозно и прибегли к приему передержек, неточного цитирования, бездоказательных и необоснованных обвинений, что несовместимо с принятыми в нашей стране нормами научной критики. Содержание "Справки" фактически зачеркивает все, что сделано ежегодником, взявшим на себя сложную и трудную задачу содействовать развитию в нашей стране нового направления научных исследований. Сопоставление "Справки" с материалами ежегодника и другими публикациями сотрудников сектора системного исследования науки заставляет сделать вывод, что позиция авторов "Справки" продиктована не интересами дела, а узкогрупповыми соображениями. В этой связи хочется еще раз напомнить, о чем недавно говорилось в редакционной

статье газеты "Правда", озаглавленной "Высокий долг советских философов": "С коммунистической научной этикой несовместимы хотя бы малейшие претензии на чью бы то ни было монополию и проявления групповщины, чем бы они ни оправдывались. Подчас необоснованно хлесткие оценки поисковых научных работ, ведущие к замораживанию мысли и удобные лишь для некомпетентных лиц, так же, как идейно-методологическая бесхребетность, размывание принципов, ведущих к теоретическим и политическим ошибкам, равно неприемлемы среди философов-марксистов, находятся в очевидном противоречии с их партийным и профессиональным долгом" ("Правда", 19 сентября 1975 года). Характер "Справки" подтверждает справедливость этих слов».

Это оценка, которой не стыдно и сегодня. Но и она носила кулуарный характер и не вышла практически за пределы Института. А между тем текст Суворова и какие-то дополнения стали достаточно широко распространяться по идеологическим учреждениям Москвы, в институтах Академии наук и дошли в конце концов до Леонида Федоровича Ильичева. Он в это время занимался объединением двух своих прежних работ — «Строительство коммунизма и общественные науки» и «Методологические проблемы науки» в общий текст под названием «Философия и научный прогресс», который вышел в свет в 1977 году. В этой книге нашли отражение некоторые отзвуки суворовских писаний, плюс к тому появились, видимо, какие-то новые доброхоты. Здесь были два момента, обращенные против Блауберга, Садовского и Юдина. Первый вопрос был связан с отношением методологии и теории, и у Ильичева было сказано, что в работе Блауберга и Юдина «Становление и сущность системного подхода» утверждается, что методология оторвана от теории и что процесс построения теории — чисто умозрительное движение. Приходится заметить, что, если бы у нас была такая формулировка, она заслуживала бы самой серьезной критики. Однако в книге Блауберга и Юдина сказано так: «Вместе с тем это — не чисто умозрительное движение. Формирование предмета исследования невозможно без формирования адекватного ему предметного содержания» (с. 82). То есть несерьезность по отношению к тексту,

возможность некорректного цитирования объединяет Суворова и Ильичева.

И второй вопрос, который также в свое время поднимался в «Справке» Суворова. Я об этом не говорил, имея в виду возможность рассмотреть это теперь. Речь идет о проблемах статуса системного подхода и общей теории систем и проблеме метатеории. У Ильичева написано: «Хотя авторы этого или нет, но, поднимая значение системных методов до "метатеории", они, по сути дела, противопоставляют системный подход методологии диалектического материализма... Можно понять, когда на позициях фетишизации теории систем стоит Берта-ланфи, утверждая, что созданная им теория "систем" будет знаменовать собой "революционный переворот научной методологии", "рождение нового стиля мышления" и даже "новое мировоззрение и новую философию", но трудно понять, когда подобную точку зрения высказывают советские философы» (с. 117—118).

И вот Вадим Николаевич Садовский, как специалист по этому вопросу, отвечал ему так: «Весьма трудно понять смысл выражения "поднимая значение системных методов до "метатеории" (где к тому же этот термин почему-то взят в кавычки). Действительно, в работах Садовского и, в частности, в его монографии "Основания общей теории систем" (М.: Наука, 1974) на основе анализа различных вариантов общесистемных концепций, существующих в советской и зарубежной литературе, был сделан вывод о неплодотворности и противоречивости трактовки общей теории систем как общей (обобщенной) научно-технической теории, из которой можно было бы вывести особенности отдельных классов систем, и была предложена концепция общей теории систем как метатеории относительно специализированных... теорий систем и различных системных концепций и разработок. Метатеория понимается здесь как характеристика такого типа анализа, который направлен на исследование не объектов как таковых, а знаний об этих объектах (в этом смысле в качестве метатеоретических дисциплин выступают, например, теория науки, методология науки и т.п.). Эта теория включает два аспекта: синтаксический и семантический. "Мы полагаем, — заключал Вадим Николаевич, — что после этого по необходимости пространного объяснения любой непредубежденный читатель согласится с тем, что выраже-

ние "поднять значение системных методов до метатеории" не содержит никакого рационального смысла — а тем самым и выдвинутое на этом основании обвинение в противопоставлении системного подхода диалектическому материализму».

Свою позицию мы с Вадимом Николаевичем Садовским изложили в письме в редакцию «Вопросов философии», но факт оставался фактом. Книга Ильичева вышла, на нее готовилась рецензия Т.И.Ойзермана, и как-то нужно было выходить из положения и рецензенту, и редакции. И вот здесь проявил себя совершенно бесподобным диалектиком Бонифатий Михайлович Кедров. Он нашел такой способ, что все три стороны были удовлетворены: и автор книги, и рецензент, и критикуемые в книге авторы-системники. Как это выглядело в тексте? Отмечалось, что очень важно, что в книге Ильичева идет речь о системно-структурном подходе, что он выступает против его универсализации и в то же время говорит о его важности. И дальше, «правильно критикуя Л.Берталанфи и других теоретиков, выдающих системный анализ "за новое мировоззрение и новую философию", автору книги следовало бы, на наш взгляд, отметить исследования советских философов (И.В.Блауберга, Д.М.Гвишиани, В.И.Кремянского, В.П.Кузьмина, В.Н.Садовского, Э.Г.Юдина), стремящихся с позиций марксизма-ленинизма разрабатывать теорию систем. Их научные результаты были отмечены философской общественностью»⁹. Итак, получалось — вроде бы и упоминаний об этих философах в книге нет. Благо, работа Ильичева была такого сорта, которую вряд ли кто-то специально бы стал читать, да еще и перечитывать. И все это осталось как некоторый курьез, на который я хочу обратить внимание.

В заключение следовало бы обобщить все сказанное. Та двухактная история борьбы идеологически-партийного аппарата против развития методологической проблематики системных исследований, о которой я говорил, имела свой карьеристский, личностный, связанный со сведением счетов и т.д. поспудный смысл и отнюдь не диктовалась чисто научными, пусть даже отработанными идеологическими соображениями типа борьбы «за чистоту», или «за широту», или «за полноту» марксизма.

Конечно, вряд ли можно было ожидать от инициаторов этой кампании чего-либо иного, учитывая характер

их карьеры, уровень профессиональной компетенции, тип используемых подручных (доносчики, они же «эксперты», как правило, анонимные).

Но мне хотелось бы закончить свое выступление на оптимистической ноте. Оглядываясь сейчас назад, нельзя не признать, что возникшая опасность заставила всех нас — и здесь невозможно переоценить быстроту реагирования Эрика Григорьевича Юдина, его умение просчитать ситуацию на несколько шагов вперед, способность быстро и безошибочно найти точки допустимых компромиссов, — заставила всех нас сформулировать основные принципы советской концепции системных исследований, уровни методологического анализа¹⁰, отношения системного подхода и диалектики, понимания общей теории систем как метатеории и т.п., короче говоря, тех проблем, которые (часто вопреки, а не по воле первоначальных «инициаторов») практически оказались в центре проводившихся научных обсуждений.

И в этом я вижу своеобразную апологию диалектики: «не было бы счастья, да несчастье помогло». И здесь вполне уместно привести маленькую выдержку из фельетона Ефима Смолина «Светлое будущее» («Юность», 1990. № 1. С. 95), где описывается гипотетическая картина грядущего изобилия у нас к двухтысячному году: «У нас потрясающий товарооборот и дружба со всеми странами. Израиль прислал тонну апельсинов в обмен на членов общества "Память". Их расселили в лесу как лесных санитаров. Как говорится, на то и "Память" в лесу, чтобы еврей не дремал...» Я думаю, одна из функций аппарата здесь хорошо описана, причем не только в переносной, но и в прямой форме.

Примечания

¹ Автор, на мой взгляд, здесь не совсем точен. Было немало ситуаций, когда это непосредственное воздействие оказывалось если не в прямых, то в слегка завуалированных формах, отчего, впрочем, оно не становилось менее болезненным.

² *Тодор Павлов* (1890—1977) — болгарский философ и крупный партийный деятель.

³ *С.П. Трапезников* — тогдашний заведующий отделом науки ЦК КПСС.

⁴ *С.А. Федоров* — в то время — зам. директора Института истории естествознания и техники («ИИЕТ»).

- ⁵ С.В.Шухардин — в то время — секретарь партбюро «ИИЕиТ».
- ⁶ В то время — зам. заведующего отделом науки ЦК КПСС.
- ⁷ В то время — главный редактор «Правды».
- ⁸ В то время — главный редактор «Коммуниста».
- ⁹ Вопросы философии. 1978. № 2. С. 158.
- ¹⁰ С моей точки зрения, идея уровней методологического анализа, и прежде всего — различения философского и общенаучного уровней методологии, играла сугубо защитную роль.

«Вопросы философии», 1991

Ю. А. Шрейдер

Загадочная притягательность философии (субъективные заметки)

Я хочу попытаться рассказать о своем пути к серьезным занятиям философией, полагаясь только на то, что отложилось в памяти, порой сверяясь с другими свидетельствами. Это всего лишь заметки очевидца и участника описываемых событий.

1. Начало пути

Я не получил профессионального философского образования и в своем стремлении заниматься философией не сразу осознал, на что, собственно, трачу свои усилия. Не получив заранее готовой установки по отношению к предмету и цели философии, я фактически отнесся к выработке и осознанию этой установки как к философской проблеме. Мне было важно осознать, чем фактически я занимаюсь. Для этого существенно было иметь референтную группу, реакция которой необходима, чтобы скорректировать самооценку. Именно об этой группе здесь пойдет речь. Это — отчасти воспоминания, отчасти исповедь, отчасти изложение собственной позиции по отношению к философии и того, как эта позиция формировалась. Понять, чем я занимаюсь на самом деле, мне помогли мои друзья философы, признавшие во мне «своего» после первой публикации в 1969 г., которую они расценили как философскую. Она мне принесла знакомство, а затем и дружбу с философами, не воспринимавшими свою область деятельности как обслуживание идеологических задач. Для меня же обнаружить существование в рамках вполне официальных философских структур людей, мыслящих о философии гораздо глубже и свободнее, чем большинство известных мне ученых естественников и технарей, оказалось приятным сюрпризом.

Начало моей «любви к мудрости» положил вспыхнувший к середине 60-х годов интерес к религиозной проблематике. Дело в том, что для меня занятия наукой

не были просто профессией или средством честно заработать приличные деньги. Когда я, выбирая жизненный путь, предпочел мехмат Университета инженерной карьере, последняя еще оплачивалась гораздо лучше, чем карьера научная. Я рос в убеждении, что наука — это единственный способ понять Мир, а сам я занимаюсь наиболее совершенной из наук — математикой. Но в 60-е годы я заинтересовался религиозными проблемами. Первоначальным толчком послужил интерес к церковной архитектуре и иконописи. Все это было настолько серьезно, что не могло быть только плодом изощенного субъективного воображения. Такое искусство могло быть порождено только высшей реальностью. Но вокруг было принято считать, что существование такой реальности в корне противоречит научным представлениям о мире. Вопрос для меня не сводился к банальной постановке: противоречит ли религиозная концепция бытия научным представлениям. Для меня более важно было другое: способна ли наука вообще судить о религии, распространяется ли сфера компетентности науки на абсолютную истину? Например, способна ли наука быть обоснованием этической системы? Если бы я до того внимательно проштудировал Канта, то ответ был бы очевиден. Но мне пришлось реализовать свою «любовь к мудрости» самолично, без опоры на опыт человечества. Прочитав статью известного математика, академика А.Д.Александрова о научных основах морали, я понял, что для меня совершенно неубедительно, что наука не способна в принципе служить обоснованием морали. Соображения о науке и религии, о фундаментальности религиозных истин я стал записывать для себя. В результате получилась рукопись книги «Неизбежность христианства». Название выражало мое личное ощущение неизбежности такого выбора, что и реализовалось 7.10.70 г. в католическом храме святых Петра и Павла города Таллина, где я принял крещение. Хотя саму книгу я публиковать не собирался, на ее основе я написал статью «Наука — источник знаний и суеверий», опубликованную в «Новом мире» (1969. № 10) благодаря доброму отношению Ефима Яковлевича Дороша (писатель, стоявший у истоков «деревенской прозы», в то время член редколлегии НМ. Был резко против публикации известной статьи А.Дементьева против В.Чалмаева), с которым я до этого не был знаком. Редактором этой статьи был Ю.Г.Буртин, впоследствии

известный демократический публицист. Работать с ним было сплошным удовольствием. Эта статья, с одной стороны, оказалась для меня «пропуском» в философское сообщество, а с другой стороны, вызвала гнев идеологического начальства и два отрицательных отклика в печати. Первый из них, написанный А.Д.Александровым, был через год (то есть уже после ухода А.Т.Твардовского) опубликован в «Новом мире». У меня хранится первоначальный вариант письма Александрова, где через каждую страницу повторяется припев «дальше в поприши марксизма и истины идти некуда, но Ю.А.Шрейдер идет дальше». В печати этот припев был убран — слишком уж напоминал «клятву» Сталина и выступление Берии над гробом последнего. Второй отклик был опубликован другим академиком в сборнике «Вопросы научного атеизма» (вып. 10. М., 1972). Из него было ясно, что Бонифатий Михайлович Кедров сделал все, чтобы его статья не стала против меня орудием травли. Кедров написал свой пространственный отклик на мою статью с благородной целью: публикация этого отклика в «Новом мире» должна была предохранить редколлегию от гнева Трапезникова — тогдашнего деятеля из ЦК, но журнал при Твардовском отказался от защиты такой ценой, а статья Александрова была опубликована уже после последовавшей вскоре отставки Твардовского.

В 1974 г. я впервые встретил Бонифатия Михайловича на конференции в Алуште и решил, что долг требует от меня представиться первому. Бонифатий Михайлович вскинул руки и воскликнул: «Вы на меня не обиделись?!» Я ответил, что, наоборот, оценил человечность его отношения к критикуемому автору и почувствовал к нему признательность. Позже я имел еще случаи убедиться в личной добропорядочности Б.М.Кедрова даже к тем, чьи убеждения не так уж совпадали с его собственными. Один из них представился довольно скоро. Той же зимой 1974 г. проходил в клубе МГУ на ул. Герцена (Б.Никитской) вечер памяти Александра Александровича Любищева — биолога, известного своими симпатиями к платонизму и витализму. И вот Э.Г.Юдин, В.Н.Садовский и А.П.Огурцов уговорили Кедрова явиться на этот вечер и сесть в Президиуме. В те годы это было очень важной поддержкой в посмертной публикации трудов Любищева и статей о нем.

С А.А.Любищевым я познакомился в 1968 г. у Надежды Яковлевны Мандельштам. Потом завязалась переписка по философским проблемам биологии, был обмен текстами. Была еще встреча, когда он, ходивший на костылях, направлялся через Москву в Питер и зашел ко мне на пару часов передохнуть перед поездом. В 1972 г. он умер, а потом мы втроем (Рэм Баранцев, Сергей Мейен и я) отправились в Ульяновск разбирать его рукописи, за которыми несколько позже приехал ныне покойный математик Сергей Маслов. О Любищеве я писал неоднократно, а здесь хочу только отметить, что деятельности по публикации его наследства и популяризации его идей (недарвиновская эволюция, естественная система классификации, многообразие уровней реальности и т.д.) активно способствовала целая группа философов: Регина Семеновна Карпинская, Альберт Алешин, Игорь Лисеев, Валерий Шуков и др. Идеологические обвинения против Любищева (платонизм, витализм, антидарвинизм и т.п.) выдвигали его коллеги-биологи. Надо сказать, что философская среда 70-80-х годов весьма благожелательно относилась к ученым-естественникам, проявлявшим активный интерес к философским проблемам науки. Эта сфера, включающая методологию науки, представлялась им благотворным источником философских идей, лишенным (и это не последнее обстоятельство) идеологической окраски. Впрочем, моя первая работа, замеченная философами, была опубликована в 1965 г. («Проблемы кибернетики». Вып. 13). Это была работа, где я предлагал измерять семантическую информацию в сообщении через степень изменения тезауруса адресата, принимающего это сообщение. Мне казалось, что коренной недостаток этой работы в том, что я не мог предложить единственной естественной меры такого изменения. Важной частью работы был график, показывающий характер изменения количества принятой информации от количества информации, накопленной в тезаурусе. (Кстати, от этой работы и распространилось теперь уже ходячее понимание тезауруса как системы логических (языковых) знаний личности или сообщества.) На графике было видно, что слабый тезаурус не воспринимает ничего (не понимает сообщения), а слишком информированный не получает ничего нового, т.е. тоже нулевую информацию. Хотя мера, по моему мнению, должна была выбираться в зависимости от конкретно модели-

руемой ситуации. На эту статью живо откликнулись психологи, а среди философов В.Г.Федотова (ныне доктор наук, а тогда юная аспирантка МГУ).

Через 30 лет я обнаружил, что мой старый график приведен как некое принципиальное достижение в докторской диссертации по философии, на которую я только что написал вполне похвальный отзыв. Неопределенность выбора меры в ней оправдывалась «полифундаментализмом постнеоклассической науки». (Боже, я-то жил еще в период, когда о неоклассической науке мы только пытались заговорить и это вызывало бешеное сопротивление!) Увы, диссертантка ссылалась не на меня, а на книгу М.В.Волькенштейна (1980), который не счел нужным на меня сослаться, хотя явно был знаком с моей работой. Собственно, это и есть наибольший успех идеи, когда она входит безымянной в культурную традицию...

2. Первые «философские знакомства»

Философская конференция в Алуште по проблемам творчества (1974) была для меня первым приглашением в профессиональную среду философов. Считалось, что мои работы по семантической теории информации имеют к этому вопросу прямое отношение. Кроме Б.М.Кедрова, мне там запомнились А.В.Гулыга, который при мне объяснял Елене Сергеевне Вентцель (она же И.Грекова), что среди советских философов есть гегельянцы, позитивисты, кантианцы, экзистенциалисты и один платоник (А.Ф.Лосев), но все они считают себя марксистами (или выдают себя за таковых). Были там братья Юдины — Эрик и Борис, А.Г.Сpirкин, Д.И.Дубровский, а также М.В.Волькенштейн, который сказал мне что-то лестное о моих работах. Именно в Алуште я внезапно ощутил, что мои публикации были замечены философами. Однако первым из философов, с которым я всерьез сдружился на почве общего понимания проблем, которыми мы оба считали нужным заниматься, был ныне покойный Эрик Григорьевич Юдин. Незадолго до его смерти мы долго гуляли вдвоем по проспекту Вернадского в том месте, которое увековечено в фильме «Ирония судьбы», обсуждая перспективы создания независимого журнала, посвященного волнующим нас вопросам, — естественно, имелся в виду журнал не подцензурный, выпускаемый обще-

ственной группой. Не знаю, дошло ли бы дело до реализации замысла, но скоропостижная кончина Эрика Григорьевича разрушила эти планы. Через Эрика я сдружился и с другими философами — Вадимом Садовским, Борисом Юдиным и др. Это было начало «вхождения в среду», помогшее мне осознать свое личное призвание к философским занятиям и отнестись к ним с необходимой серьезностью. Это общение помогло мне в известной мере восполнить пробелы в профессиональной подготовке, овладеть необходимыми навыками философского дискурса и ориентироваться в литературе.

Эрик был тогда одним из лидеров группы, занимавшейся т.н. «системным подходом» как методологией науки (и не только науки).

В группе философов, поднявших знамя системных исследований, меня привлекали именно как ученого с солидной репутацией, проявляющего явный интерес к философским аспектам науки. Я активно публиковался в сборнике «Системные исследования», что считалось высоким уровнем признания. Об этой группе накопилось уже не так мало воспоминаний, но я остановлюсь только на одном чисто оценочном моменте. В системной проблематике, равно как и в методологии, логике и философии науки, была привлекательная возможность дистанцироваться от идеологического влияния. Собственно, феномен системности (целостности), представляющий несомненный философский интерес, был бы недостаточен для объединения столь значительного количества ярких людей под общее знамя. Не случайно, что после снятия идеологического пресса системное движение сильно пошло на убыль. Не случайно и то, что человеческие связи системщиков, логиков и методологов оказались очень тесными. Мне довелось публиковать работы и по анализу понятия системности (с выделением противопоставления «система — множество»), и по анализу методологических установок (эвристик), и по исследованию науки как феномена человеческой деятельности. Однако меня совершенно не привлекала методология как способ проектирования деятельности. В этом мне виделось посягательство на свободу человека. Гораздо интереснее в методологии перспектива описания многообразия возможных методов и их связь с онтологическими представлениями. Эту идею мне удалось выразить в статье «Познавательные установки и космологические представления» («Сис-

темные исследования — 1976»). Позже я ее сформулировал как принцип «методологического порочного круга»: метод исследования определяется представлением об онтологии объекта, а последнее имплицитно содержится в выбираемом методе. Системное движение было для меня хорошей питательной средой, которая в силу своей принципиальной неидеологичности притягивала многих сочувствующих и не превращалась поэтому в секту со своей доморощенной идеологией.

Системное движение отличалось своей готовностью объединять широкий спектр персональных интересов.

Мои дружеские связи (в первую очередь с братом Эрика — Борисом Юдиным) и репутация «пишущего», вероятно, послужили причиной приглашения на страницы «Вопросов философии», где в 70-е годы я опубликовал три большие статьи. Одна написана в соавторстве с С.В.Мейеном — о классификациях, посвященная двойственности таксономии и мерономии, другая — с Н.Я.Вилениным об объектах математики, а третья (без соавторов) была посвящена проблеме машинного разума. В ней я в качестве отличия машинного «мышления» от человеческого приводил целеустремленность первого и ориентированность второго на ценности, а не цели. Этическая проблематика остро волновала меня еще с новмирской публикации, и в конце концов я издал «Лекции по этике» (М., 1994). В упомянутой статье я тайком просунул собственный стишок под названием «155-й сонет Шекспира». Редактор убрал кавычки, и Шекспир стал автором еще одного сонета, который осталось лишь перевести на староанглийский, что мне явно не по силам. О ценностно ориентированном поведении я написал потом статью в сборник «Психологические механизмы регуляции социального поведения» (М., 1979).

3. Вхождение в среду

Переход группы «системщиков» во главе с В.Н.Садовским в Институт истории естествознания и техники (ИИЕТ) привел к тому, что я туда зачастил и близко познакомился с философами-«науковедами» из секторов Б.М.Кедрова и И.С.Тимофеева. Здесь была какая-то особая, неповторимая атмосфера увлеченности самим процессом философствования. Философская мысль воспринималась как ценность сама по себе, а не как путь к

частному результату или построению философской концепции, всеобъемлющей системы, которой суждено превратиться в нечто обязывающее всех способных в ней разобратся. Мне кажется, что стремление к таким всеохватывающим философским системам, к созданию общеобязательных методологических принципов плохо совместимо с любовью к мудрости, ибо созданная система сама претендует на эту любовь, заранее олицетворяя мудрость. В среде философов ИИЕТа центр интересов лежал в области философии науки — изучения науки как познавательного и социального феномена в общекультурном историческом контексте. Общий философский уровень этой среды определялся присутствием в ней Мераба Константиновича Мамардашвили, Николая Федоровича Овчинникова, Пиамы Павловны Гайденко, Александра Павловича Огурцова и многих других. Здесь полагалось знать идеи Куна, Поппера, Лакатоша, Агасси, Коллингвуда и других современных зарубежных философов. Хотя собственно философская проблематика концентрировалась на вопросе «что есть наука в ее историческом развитии», это не сужало философскую мысль, но освобождало ее от принятых в советское время идеологических реверансов и спекуляций. Интерес заключался не в том, чтобы указать, какой должна быть наука, но в том, чтобы выяснить, какова она на самом деле, а не только в рефлексии самих ученых. При этом сама эта рефлексия оказывалась важным компонентом исследуемого предмета.

Атмосфера философского сообщества, в которое я попал в конце 70-х, ярко проявилась в том, как 14.11.95 мы все собрались в 80-летие Николая Федоровича Овчинникова, который за эти годы незаметно превратился в нашего патриарха. Дело здесь не в возрасте и не в философском лидерстве, а в особых личностных качествах — доброте и ответственности. Я вдруг понял, что он один из немногих людей, в которых меня бы очень огорчила дурная мысль обо мне.

Эта недавняя встреча живо напомнила мне атмосферу философской жизни начала 80-х годов, когда мы регулярно собирались в подмосковных пансионатах и домах отдыха на конференции. Я сейчас не всегда хорошо помню, что, где, когда происходило, ибо компания собиралась довольно устойчивая, приглашали с отбором и по личным качествам. Все это слилось в общее воспоминание о совместных семинарах и вечерних беседах.

Вспоминается, например, конференция в Обнинске, где «царил» М.К.Петров, человек с примечательной биографией бывшего разведчика и первоклассными науковедческими идеями. Ему принадлежит остроумная идея о том, что университетское образование было порождено безбрачием западного духовенства, ибо из-за этого они не могли передавать профессиональные знания через семью детям.

Примечательна была и общесоюзная конференция в Паланге (1983). Туда я приехал через Калининград, чтобы побывать на могиле Канта, который был похоронен на университетском кладбище. Но там, кроме кантовской, сохранилась еще могила деда Кэте Кольвиц — немецкой художницы. Все остальное было уничтожено. «Прислонился к храму деликатно у полуразрушенной стены Саркофаг Иммануила Канта — жителя немецкой стороны. Рассуждая о проблеме Бога, был к себе он беспрельдно строг, потому у Божьего порога В смерти упокоиться он смог». Так я выразил свое ощущение от посещения могилы.

Дух такого рода собраний определялся ядром, в которое входили И.С.Алексеев, Н.Ф.Овчинников, А.П.Огурцов, Н.И.Кузнецова, П.П.Гайденко: братья Визгины, А.В.Ахутин, М.А.Розов, В.С.Степин, З.А.Сокулер, В.Л.Рабинович... Естественно, что я не даю полного перечня и говорю прежде всего о входящих в круг ИИЕТа. Я уже упоминал здесь людей из Института философии АН СССР. Был еще круг людей на кафедре В.И.Купцова в МГУ, интересы которых были близки к изучению методологии и философии науки.

Из Института философии ближе всех к описываемой среде стоял В.А.Лекторский, дружба с которым у меня началась с середины 70-х годов. По его инициативе я начал писать для журнала «Вопросы философии», и он же первый подал мне мысль защищать диссертацию по философии, которую тут же активно поддержал Владимир Иванович Купцов. В секторе Лекторского, где обсуждались мои статьи, у меня возникли особые отношения с Генрихом Батищевым и Борисом Ласточкиным, которым ближе всего были мои тогдашние интересы. Потом оказалось, что они оба практикующие православные христиане, хотя Батищев отдал дань увлечению рерихианством и подобными учениями. Он активно занимался распространением «мягкого» самиздата, организо-

вывал ксерокопирование. Мне он всучил «Тибетское евангелие» — явную фальшивку о жизни Иисуса, по поводу которой я высказался достаточно резко и определенно. Впоследствии он от этих увлечений отказался и признал правоту моей оценки.

Когда у меня возникли неприятности на религиозной почве, Г.С.Батищев стал настойчиво советовать мне перейти из католичества в православие, поскольку первым занимаются два управления в КГБ, а вторым — только одно. Я никогда не сомневался в полном достоинстве православия, а свой личный выбор ощущал скорее как предпочтение одного прихода другому, но не как догматически обоснованный. Но все же такой аргумент «от КГБ» мне показался странноватым и неуважительным по отношению к обоим вероисповеданиям. Впрочем, Генрихом двигали добрые побуждения, и надо отдать ему должное — его философские соображения были мне часто интересны и помогали осознать собственную деятельность. В годы перестройки он стал очень активно заниматься проблемами образования, но как-то внезапно скончался.

Особым местом для философских встреч долгое время был Обнинск, где работал до своей кончины Б.С.Грязнов и до сих пор живет его семья. Чтения памяти Грязнова обычно собирали сильный состав, где заметное место занимали мои названные здесь и неназванные друзья. На занятия местного Университета марксизма-ленинизма также приглашались хорошие лекторы, из которых прежде всего следует назвать И.С.Алексеева. Выступал там пару раз и я вместе с Н.И.Кузнецовой. Очень трудно было убедить аудиторию научных работников (естественников), что «Диалектика природы» отнюдь не первоклассное философское сочинение. В той же аудитории кто-то меня спросил, что такое бессознательное. Я выкрутился на ходу: «это фрагмент сознания, который мы в данный момент не можем поставить под контроль сознания». Лучшего определения, чем этот вынужденный (не терять же философу лицо перед ученой аудиторией!) экспромт, я до сих пор нигде не нашел. Можно только выразиться учение: «фрагмент, актуально недоступный рефлексии». Подобные выступления «на публику» в команде «своих» философов также составляли часть нашего общения.

4. Ильенков, Карпинская, Мамардашвили...

Уже недавно я спросил своего сына про его впечатления о тех годах, когда я «входил в среду». Его первые слова были: «пили много», но вторые были такими: «меня поразило, как много там было хороших, умных и просто замечательных людей». А Наталии Ивановне Кузнецовой, которая преподавала ему несколько уроков философии, он до сих пор поет дифирамбы. Для него это был важный опыт столкновения с живой философской мыслью. Что касается питья, то его, правда, было многовато. Но все же в пределах дружеского застолья. Скандального пьянства в той среде, которую я считал своей, не бывало, хотя на конференциях под вечер некоторые участники были тепленькими. Тяжелый случай опьянения был на одном дне рождения, когда вдруг мы получили известие о смерти Эвальда Васильевича Ильенкова. Мне было особенно тяжело, потому что за неделю до этого я провожал Эвальда до его подъезда и отказался зайти, хотя он очень звал к себе. Помешало какое-то не слишком важное обязательство, а Эвальду, видно, нужно было дружеское присутствие в этот день. Познакомились мы с Ильенковым на моем докладе в секторе В.А.Лекторского, хотя знали друг о друге раньше по статьям в «Новом мире». Ильенкову запомнилась моя статья о науке, в которой ему импонировал антипозитивистский настрой, а я был под впечатлением его работы «Об идолах и идеалах». При встрече между нами как-то сразу возникла личная симпатия, хотя никогда не было разговоров ни о марксизме, ни о религии. По-видимому, у Ильенкова была интуиция, что в математике есть какие-то глубинные соприкосновения с абсолютными сущностями, а в моем докладе о недостаточности теоретико-множественного представления о математических объектах он почувствовал у меня интерес к философскому анализу категории количества, и мне больно, что любопытные обсуждения на эту тему оборвались с его смертью. Это была типичная «идея на двоих», которую ни одному из нас не потянуть самому. В памяти остались лишь интересные соображения Ильенкова о том, почему категория качества банальна, а «количество» имеет глубинное (абсолютное?!) содержание. Если бы дело оставалось только за технической разработкой этих идей, то я был счел себя обязанным в память Ильенкова ее завершить, но

нам недоставало каких-то важных озарений, которые явно предчувствовались обоими. (Уже написав эту страницу, я вспомнил, что мы связывали «количество» не со счетом или измерением, но с возможностью сопоставить объектам, принадлежащим некоему классу, математические структуры, позволяющие выразить фундаментальные отношения между этими объектами и тем самым открыть в них более глубокие качества. Может быть, я еще попробую вернуться к этому замыслу.) Мне кажется, что сила мысли Ильенкова состояла в стремлении дойти до первых начал бытия. В марксизме его пленила (так мне это видится) идея закономерной необходимости. Но жизнь не необходима, она возникает в свободном проявлении Духа. С необходимостью наступает только гибель в ее материальном понимании. Отсюда понятной становится идея «раннего» Ильенкова (не опубликованная при его жизни) о необходимой гибели Вселенной в результате гигантского пожара от высвобождения космических резервов энергии. Из этого источника проистекает ильенковское вслушивание в музыку Вагнера, предвещающую эту гибель. (Бесценный урок философии я получил от Эвальда Васильевича, слушая с ним траурный марш из «Гибели богов». Уже после его смерти я прочел его эссе с философским разбором этого произведения, но совместное вслушивание в эту музыку дало мне не меньше.) Рискну предположить, что отсюда же приятие марксистской идеи борьбы как основы развития общества, которая должна привести к мировому пожару. Возможно, что идея высвобождения энергетики социальной борьбы додумывалась Ильенковым до понимания ее неизбежных следствий — взрыва и гибели общества. Мыслитель такого масштаба не мог не ощущать трагичность и ужас этого исхода. Жить с таким ощущением реальности невозможно. Нужно либо поставить себя на службу торжествующему злу, принять его сторону, либо принять реальность противостоящей ему силы. Ильенков был слишком хорош для первого, но слишком поверил в немолимость естественных законов, чтобы поверить во вторую возможность. Смерть его воспринималась как трагедия общенационального масштаба — проститься с ним пришли люди, которых мало что другое могло бы собрать в одном месте. Запомнились фигуры многих прощавшихся: его слепых учеников, ощупывающих лицо покойного, прощальный поцелуй С.С.Аверинцева, искрен-

ние надгробные слова В.И.Шинкарука, В.А.Лекторского и других. Впрочем, я был свидетелем и совершенно карикатурной сцены. Когда у гроба остались только самые близкие, я вышел покурить на балюстраду и встал рядом с Юрием Владимировичем Сачковым, который как зам. директора Института философии вел траурную церемонию. (Отсутствие директора, с которым Ильенков открыто враждовал, было проявлением деликатности.) Вдруг к нам подходят два ражих долдона из ЦК, здороваются за руку с Сачковым (а заодно и со мной), и один из них говорит покровительственно: «Все прошло хорошо». Интересно, каких демонстраций они боялись? В этом начальственном присмотре отразилось реальное отношение идеологической власти к Ильенкову: «марксист-то он марксист, да философ-то настоящий».

Мне довелось пережить не одну смерть из нашего философского сообщества. Каждая из них теснее сближала оставшихся. Несколько лет происходили памятные встречи, в которых личность ушедшего как бы продолжала участвовать в общем ходе философствования, оставалась стимулом для окружения. Потом это, естественно, прекращалось, хотя присутствие ушедших продолжалось, но без иллюзии, что они еще здесь среди нас. Время затягивает образовавшиеся в сообществе дыры и помогает видеть ушедших в перспективе вечности. Что же касается Эвальда Ильенкова, то в нем был такой запас любви и доброты, что его душе многое может проститься.

С Региной Семеновной Карпинской меня связывало прежде всего участие в общем деле воскрешения духовного наследия ушедших. Началось это с ее активной помощи в деле публикации научного наследия А.А.Любищева, имеющего огромное значение для философии биологии и философии науки вообще. Нас объединила и общая близкая дружба с замечательным биологом-теоретиком и палеонтологом Сергеем Викторовичем Мейеном, который считал себя прямым учеником Любищева. Его работы по философско-методологическим проблемам биологической эволюции довольно быстро получили признание как классические, а его замечательная концепция двойственности таксономии (разбиения объектов на классы) и мерономии (членения объектов на гомологичные части — органы) дала огромный импульс для развития общей теории классификации. Я искренне горжусь своим соавторством в совместной статье на эту тему, опублико-

ванной в «Вопросах философии». Впоследствии это помогло мне разобраться, чем районирование отличается и от таксономии, и от мерономии. По этой проблематике я плодотворно сотрудничал с географом В.Л.Каганским, который вместе с С.В.Чебановым обратил внимание на логические особенности процедуры районирования. В 1984 г. мы с Региной были на методологической конференции в Смоленске и вместе мучились от мысли, что Сергей в это время находится в больнице после перенесенной операции по удалению почки, пораженной раковой опухолью. Вечером кто-то из нас сказал, что стыдно чувствовать себя здоровым и благополучным, когда Сергей там мучается и перспективы на его выздоровление ничтожны. Он скончался от этой же болезни через три года, но эти три года для него были исключительно плодотворными. За день до смерти он получил экземпляр своего капитального труда по палеоботанике, в значительной мере основанного на лично собранных и обработанных коллекциях, а также на фундаментальных идеях по эволюции растений. (Подобная радость была суждена когда-то Копернику.)

После его смерти мы с Региной вместе старались, чтобы наследство Мейена осталось достоянием философской мысли. В частности, я посвятил несколько популярных статей и главу в книге «Лекции по этике» его «принципу сочувствия», осветившему этические основания развития науки и имеющему, на мой взгляд, фундаментальное значение для этики. Так получилось, что Регина девять лет спустя скончалась от той же раковой болезни, мое формальное благополучие рухнуло через месяц после нашего разговора — я был исключен из партии и на два года был лишен возможности публиковаться. К счастью, к тому времени я уже был два года как утвержден доктором философских наук, а за неделю до того, как началось «мое дело», мне в моем институте вручили аттестат профессора. В день, когда меня должны были исключить на заседании райкома, Регина пригласила меня в гости, и мы весело пиروвали вдвоем. В другой раз, уже на ее дне рождения, к середине пиршества пришел Лен Карпинский с добавочной бутылкой, и мы с ним радостно пили за то, чтобы нам обоим (Лен был исключен в начале 70-х) не пришлось снова вступать в КПСС. Ирония судьбы состояла в том, что Лену так и пришлось это сделать в эпоху перестройки, чтобы получить журналистскую ра-

боту, но дни этой партии были уже сочтены. Мне же довелось выполнить этот его завет.

Я не помню, когда я познакомился с Мерабом Константиновичем Мамардашвили, но хорошо помню встречи, когда мы были уже как бы давно знакомы. На одной из методологических конференций в Звенигороде мы даже жили в одном номере. Тогда Мераб штудировал только что полученный им английский учебник древнегреческого языка. Вместе мы были и в тот вечер, когда узнали о смерти Ильенкова. Вместе были и на конференциях по сознанию в Батуми, где его выступления всегда были в центре внимания. Он был немногословен, но все сказанное было как-то особо значительно, как будто оно произнесено впервые и родилось в ту самую минуту. Он как-то сказал, что в философствовании очень важно освободиться от привычных языковых смыслов, чтобы породить философские смыслы. И еще он многократно повторял, что сознание возникает каждый раз заново — в акте осознания, требующем личных усилий «тогда, когда» нечто уже произошло и стало неустранимым фактом. Перефразируя, можно это сказать так: действовать сознательно — это действовать по совести, т.е. «нипочему», но вопреки внешнему давлению и внутренним импульсам. Сам он был очень точен в выражениях и как бы давал слушателям время осознать сказанное им. Еще он говорил о том, что никто не может понять за другого, подчеркивал, что понимание требует личных усилий (с этими идеями М.К.Мамардашвили читатель может подробнее ознакомиться по его книгам «Картезианские размышления». М., 1993, и «Лекции о Прусте». М., 1995). Даже его молчание было значащим и как бы предохраняло от бездумных глупостей и повышало общий уровень. При внешней замкнутости он был очень внимателен к эмоциональным состояниям окружающих и делал порой трогательные жесты, свидетельствующие об этом. Потом он стал много выезжать за рубеж, и я увидел его только на прощании в морге, перед тем как гроб отправили в Тбилиси. Сопровождали тело Н.Мусхелишвили и Ю.Сенокосов, а вовсе не представители грузинских политических партий, как было упомянуто в прессе.

Я мог бы многое добавить об эпизодических встречах и многолетней дружбе (я бы назвал прежде всего А.А.Брудного и А.А.Игнатьева), о замечательных докладах покойного Ю.М.Лотмана и других. В 1988 г. дове-

лось участвовать в последней Гартуской конференции по семиотике: эти конференции 18 лет не допускались советской властью, а потом стали невозможными из-за отделения стран Балтии. Лотман сделал там блестящий доклад о процессах над ведьмами, но и общий уровень был чрезвычайно высок.

Кое-кто из среды дружественных философов сегодня меня огорчает — кто уходит в рерихианство или возвратом к марксизму, кто несвойственным ранее антирелигиозным запалом. Многие философы превратились в политологов, а количество конференций и семинаров резко сократилось. Тем не менее философское сообщество существует, а философия все еще притягивает тех, кого не удовлетворит перспектива замкнуться в политику или коммерцию.

5. Содружество-соавторство

Близкое знакомство с философами заставило меня отказаться от одного предрассудка. Опыт университетских курсов и многое другое выработало резко негативное отношение не только к официальной философии, но и к философской среде, в которой я видел только кузницу идеологических кадров.

Оказалось, что за употребляемой всеми марксистской фразеологией сохранялась живая и разнообразная мысль. Философия продолжала существовать не как кладезь готовой премудрости, но как то, чем она является по буквальному смыслу своего названия: любовь к мудрости. Когда-то в шуточной стенгазете, выпущенной к дню рождения Н.И.Кузнецовой, я написал: «философии сила — не софия, а фило». Следует добавить, что любовь — это не эмоция благорасположения и предвкушения соответствующей награды, но способность и стремление понять (познать) объект, на который она направлена. С учетом этого словосочетание «любовь к мудрости» приобретает свой истинный смысл — оно выражает жизненную установку, а не область профессионального знания. Любовь к мудрости — это отнюдь не мудрость. Скорее это серьезное препятствие к тому, чтобы ощутить себя достигшим мудрости. Покойный Игорь Серафимович Алексеев временами призывал нас не только мыслить, но и «экзистировать». Особенно сильное влияние на меня оказала личная дружба с Наталией Ивановной Кузнецовой, с которой мы обсуждали принципиаль-

ные вопросы философского подхода к науке и культуре. Познакомились мы в ИИЕТе, и это знакомство перешло в настоящую дружбу, когда обращаться друг к другу по имени и отчеству как-то нелепо. Это было не только содружество, но и соавторство, продолжающееся фактически и по сей день. Так что и эти записки я счел нужным прежде всего показать ей. Что было отнюдь не бесполезным. С ее подачи состоялся мой доклад на тему «Наука и цирк», текст которого уже в 90-е годы был опубликован в журнале «Вопросы истории естествознания и техники». Побывав летом 1979 г. на методологической конференции в Питере (именно так мы тогда называли этот город), нам захотелось в качестве аргумента против возможности искусственного проектирования и самочинного провозглашения новых научных дисциплин построить контрпример — придумать науку, правомерность которой обоснована не хуже иных, но которая была бы, очевидно, несерьезной. Это построение возникло у нас во время прогулки по городу и вылилось в серьезный научный доклад и статью «Открытие флаконики» (Химия и жизнь. 1980. № 1). Наука «флаконика» просуществовала ровно столько, сколько мы ее обсуждали, а статья осталась в памяти и неоднократно цитировалась. Идея флаконики возникла не на пустом месте. В истоке ее было представление М.А.Розова о роли удачно выбранных репрезентаторов, т.е. известных объектов, представляющих изучаемое явление. Нас с Н.И.Кузнецовой очень занимал вопрос о том, какие репрезентаторы можно найти для феномена науки. Мы как-то вместе пришли к выводу, что репрезентатор может быть пародией на исследуемый объект. Это стимулировало меня использовать в качестве репрезентатора науки цирк. Вообще, по поводу этих сюжетов мы сделали несколько совместных докладов, в том числе летом 1979 г. в Киеве. На конференции в Питере мы услышали выступление некоего технаря, провозгласившего новую научную область с каким-то залихватским названием вроде «проектоника». Это очень понравилось Г.П.Щедровицкому, который стал объяснять, почему это так хорошо. Мы с Кузнецовой переглянулись и сразу поняли, что перед нами была бы пародия, если бы только пародийность была столь очевидна, что даже Щедровицкий не решился бы счесть ее наукой. Мы быстро сообразили, что надо идти от слова: «батоника», «платоника» или что-то

вроде. Подсказку нам дала в тот же день выставка в Эрмитаже, где в витрине экспонировался этрусский флякон. Переглянувшись, мы осознали, что название науки есть. Потом мы с увлечением бродили по городу, придумывая принципы, законы и проблемы «фляконики». Сама возможность использовать пародию как средство серьезного философствования о науке характеризует открытость царившей среди философов ИИЕТа атмосферы. Остроумие рассуждения (но не легковесность) там ценилось очень высоко. При этом «философия науки» там понималась не как второсортная или узкоспециализированная философия, но как органическая часть «большой» или «первой» (по Аристотелю) философии. Например, Мамардашвили никогда не занимался специально «философией науки», но само его присутствие в этой среде воспринималось как очень значимое.

Среда, группировавшаяся вокруг философов ИИЕТа, посвящала себя именно философии, а не изучению науки философскими методами. Очень часто оказывалось, что на встречах философов с учеными-предметниками последние оказывались гораздо более отягченными идеологическими догмами и консервативно мыслящими по сравнению с моими философскими друзьями. Возможно, что одна из важных причин притягательности философии в том и состоит, что сама попытка философски мыслить (это и есть действительно мыслить, совершать поступок мышления) разъедающе действует на привычные стереотипы мышления. Мышление возможно только как свободное, иначе субъект не мыслит сам, а только вмещает в сознание чью-то мысль или ее имитацию. Любовь к мудрости подразумевает личные усилия постигнуть истину. Никто другой не может сделать это за нас. А как только человек начинает совершать эти усилия, то предмет мышления (мне так, по крайней мере, кажется) имеет второстепенное значение, ибо Истина едина.

Было бы непростительной неблагодарностью с моей стороны не сказать о той, поистине решающей роли, которую Наташа Кузнецова сыграла на моем пути в философию. Возможно, что я так и продолжал бы стремиться понять, что такое феномен науки, не развивая в себе соответствующих способностей и навыков и не понимая общепhilosophский контекст этого феномена, если бы не эта встреча. Дружба с философами продолжалась бы, но я был бы не одним из них, но пришельцем из иной

среды — бывалым человеком, способным рассказать что-то интересное из своего опыта занятий наукой и даже от-рефлексировать этот опыт как методолог.

Наша дружба с Н.Кузнецовой началась с января 1979 г. Оказалось, что ей еще в студенческие годы попала моя новомирская статья, а проблема феномена науки в момент нашего знакомства уже была в центре ее исследовательских интересов. Мой опыт методологической рефлексии о науке был для нее важен, но именно в совместных обсуждениях я осознал, что методология ограничивается проблемой «как следует познавать мир?», а для философского понимания науки и ее контекста более существен вопрос гносеологический: «как возможно знание?» Методологическая постановка вопроса, естественно, влечет попытки проектировать «правильную науку» или, как это получилось в движении, возглавленном Г.П.Щедровицким, организовать любую деятельность. (Э.В.Ильенков ядовито заметил, что Щедровицкий переводит гегелевские категории на язык радиотехнических схем.) Гносеологическая постановка вопроса о знании требует не проектирования познавательной деятельности, но исследования реальных возможностей познания. В методологии человек является объектом улучшения, в гносеологии — объектом понимания. Отсюда — родство гносеологии с философской антропологией, герменевтикой и культурологией. В сущности, обсуждение философской проблематики с Н.И.Кузнецовой помогло мне осознать собственные философские интересы и научиться понимать философский статус тех или иных подходов и утверждений. Должен признаться, что она фактически отредактировала в процессе совместного обсуждения подготовленный мною текст докторской диссертации. Мне кажется, что и она от меня кое-что получила в своей собственной работе. К сожалению, по ряду житейских обстоятельств не состоялась задуманная нами совместная книга по философии науки, но долгие ее обсуждения не прошли для нас обоих впустую. Мы не так много вместе написали, но сделали ряд совместных докладов и много вложили в дискуссии, проходившие на философских конференциях и семинарах, где мы вместе участвовали. Мы старались делать это весело, без ученой натуги и трепета перед священным «объектом исследования — наукой». Именно так назвали книгу, которую потом написали в компании с М.А.Розовым.

Готовить доклады и писать книгу было чистым удовольствием, попутно многое заново придумывалось. Рукопись мы предложили в издательство «Знание». На нее дал обстоятельную положительную рецензию В.А.Лекторский. (Не уверен в том, что он знал, кто авторы. Рецензии заказывались заведующим редакцией — Н.Ф.Яснопольским.) Ему явно импонировал стиль книги, где пародирование тех или иных феноменов науки было чуть ли не основным способом о них говорить. Втроем мы тянули на довольно остроумного автора. Вторую рецензию дал Владимир Спиридонович Готт. Это была уже «тяжелая артиллерия» — от авторов требовалось показать преимущества советской науки и, в частности, указать, что основные результаты по квантовой физике были получены в Харькове, откуда он родом. Яснопольский самолично вписал это в наше предисловие, но разгневанный М.А.Розов после этого забрал рукопись из редакции. Не уверен, что у меня хватило бы духа на такой поступок.

Вышеупомянутый спор о «Диалектике природы» возник на моей лекции, где я рассказывал о многообразии эвристик, используемых наукой. Но присутствовавшие ученые требовали, чтобы в науке был единственно верный метод, а на эту роль претендует исключительно диалектико-материалистический подход.

После этих наших гастролей в Обнинск пригласили В.В.Налимова, что было последней каплей. Предполагавшийся на целый учебный год курс лекций о науке был отменен. Жизнь вокруг не была идиллией, и ту добрую атмосферу внутри определенной среды, которую я пытаюсь здесь передать, приходилось создавать общими усилиями. Думается, что люди, о которых я здесь пишу, сыграли в этом решающую роль.

Через Н.И.Кузнецову я познакомился с Михаилом Александровичем Розовым. Она помогла мне разобраться в его философских идеях, а потом мы их неоднократно обсуждали совместно. Это было для меня заметным этапом в философском становлении, хотя ей так и не удалось сделать из меня последовательного «розовца». Его концепция социальных эстафет представляется мне очень значимой, ибо в ней выделяется особая форма существования социализированного знания в виде циркулирующих в обществе образцов деятельности, вызывающих подражания.

Наряду с информацией как вербализованным знанием, представленным на отчужденных от человека носителях, и личным или неявным знанием в смысле Полани, социальные эстафеты составляют важный особый тип социализированного знания, не отчужденного от субъекта, но не являющегося достоянием индивидуального субъекта. Показав, что научное знание состоит не столько в научных текстах (научной информации), сколько в транслируемых, перенимаемых и модифицируемых образцах деятельности, Розов сделал замечательный вклад в гносеологию науки. На языке социальных эстафет ему удалось обнаружить ряд важных принципов и феноменов в развитии науки и фактически показать, что представляет из себя наука как социально-культурный феномен. Для меня всегда бывали и бывают интересны обсуждения с ним и Н.И.Кузнецовой самых разных философских проблем. Тем не менее у нас бывали и такие споры, где нам не удавалось достичь соглашения. Чаще всего вина здесь лежит на мне, ибо мне не удавалось найти адекватный язык для выражения своей мысли или хотя бы исходной установки. Тем не менее я очень высоко ценю теорию научных эстафет и уверен, что она прочно займет свое место в гносеологии. Мне кажется только, что этой теории пока не хватает идей Б.Вышеславцева о связи подражания (основного механизма социальных эстафет) с индивидуальными представлениями об авторитетности образца и с механизмами самовнушения и воображения. Я понимаю даже, почему для М.А.Розова эти идеи внушают некоторые опасения. Они несут в себе риск лишиться представления о социальных эстафетах того образа объективной научной убедительности, который столь значим для автора этой теории. Лично для меня такой образ не представляется ни столь важным, ни столь убедительным.

Вообще, мне представляется, что роль философии вовсе не в том, чтобы находить новые истины и обосновывать их своими средствами. Источник этих истин лежит вне философии, и различные философы ищут этот источник, кто в науке, кто в культурно-историческом опыте, кто в опыте экзистенциальном, а кто и в религиозном откровении. В этом смысле философских истин как таковых нет. Есть разные способы (воплощаемые в разного типа дискурсах) артикулировать истины, добываемые из того или иного опыта. Такая артикуляция необходима хотя бы для того, чтобы видеть состоятель-

ность, границы применимости и принимаемые предпосылки этих истин. В религии это важно, в частности, для выяснения границы между ортодоксальным толкованием и еретическими (то есть не допускаемыми в рамках определенной доктрины) отклонениями. Подлинные расхождения между философами — это различия в оценке значимости того или иного опыта и адекватности той или иной его артикуляции.

Когда-то, еще до перестройки, М.А.Розов высказал очень интересное соображение, что основной вопрос философии состоит вовсе не в том, что первично, но в вопросе о свободе воли: определяется ли все сущее в мире естественной причинностью или существуют действия (точнее поступки), происходящие беспричинно — по свободному действию воли поступающего субъекта. (Я выбрал формулировку, наиболее удобную для выражения собственной мысли, но нечто очень близкое я впервые услышал именно от Розова.)

Наш внутренний духовный опыт говорит о наличии свободной воли. Доказать или опровергнуть это положение на основе естественнонаучных или философских соображений невозможно. Но одно соображение здесь полезно учитывать. Если мои действия или мысли происходят не по моей воле, но по объективным причинам, то я не способен поступать сам и мыслить сам, ибо тогда я обязан считать, что это во мне что-то или кто-то действует или мыслит. Отрицая свободу воли, я вынужден отрицать собственное существование как личности, способной что-то хотеть, что-то решать, что-то выбирать. Тогда мое ощущение каких-то хотений означает лишь «мне хочется»; но не «я хочу». Свобода воли состоит не в том, чтобы поступать, как «мне хочется», но так, как я хочу, то есть «нипочему». Как моральная личность, я обязан поступать в соответствии со своим разумением добра и голосом совести, что часто означает действовать вопреки тому, что «мне хочется». Основной аргумент против свободы воли состоит в том, что ее существование противоречит естественному принципу причинности. Но этот принцип не может быть доказан — он получен как опыт описания изучаемых наукой явлений. Он подтверждается, но не доказывается опытом науки. Дилемма выбора оказывается ценностной — я выбираю, что мне дороже: универсальная применимость принимаемого естественной

наукой постулата или уверенность в существовании собственного «я».

Опыт свободы воли оказывается первым метафизическим опытом соприкосновения со сверхъестественным. Единственное (хотя и серьезное) основание его отрицать состоит в том, что для данного субъекта существование сверхъестественного абсолютно неприемлемо. Настолько, что он ради отрицания сверхъестественного готов отрицать существование собственной способности к поступкам, то есть собственного «я». Для меня лично убедительнее, что «я существую», чем несуществование сверхъестественной сферы свободы. Здесь, видимо, моя позиция отличается от нынешней позиции М.А.Розова, который фактически первым сформулировал исходную дилемму. Очень часто я слышал от атеистов упрек в том, что религия предназначена для людей с рабской психологией и отрицает (вариант: подавляет) свободу. Если под религией не понимать идеологию, а, скажем, традиционное христианство, то вернее было бы сказать, что оно подразумевает свободу и требует ответственности и личных усилий преодоления плена «мне хочется». Христианство предлагает кое-что принять на веру, но это «кое-что» четко оговорено, а уже дело философии (то есть увлеченного любовью к мудрости разума) вывести из этого «кое-что» все следствия о природе и назначении человека, получить ориентиры для своих поступков.

6. Исключение из рядов

Я вступил в партию в 1956 г. в атмосфере «оттепели», когда впервые за много лет ощутил себя полноправным человеком, а не второсортным сыном репрессированного (расстрелянного в 1938 г.) отца. Я ощущал советский строй как нечто незыблемое, а вступление в партию как некую нормализацию ситуации. Даже карьерных соображений у меня не было: я уже защитил кандидатскую (в 1950 г.) и имел звания доцента и старшего научного сотрудника. Что данное обстоятельство будет позитивным при защите докторской по философии, я и вообразить-то не мог, как и перспективу занятий философией.

Конечно, следовало бы выйти из рядов самому, когда мое сознание очистилось от иллюзий молодости. Но вышедшим из партии жить куда труднее, чем просто бес-

партийным. На такой героический подвиг я бы не решился, но за меня решила жизнь.

Мое исключение из партии в 1984 г. было связано с тем, что органы обнаружили незарегистрированного католического священника, к которому я два-три раза приходил на домашние собрания. Из этого возникло обвинение в принадлежности к нелегальной секте. Надо подчеркнуть, что доброе отношение коллег-философов от этого нисколько не ухудшилось. Бонифатий Михайлович Кедров пригласил даже меня на дачу, чтобы дать несколько полезных советов. Он рассматривал происшедшее со мной в общем контексте гонений на интеллигенцию, которым считал нужным противостоять. В процессе исключения я избегал демонстративных жестов и стремился вести себя как можно тише. Впрочем, о своем поведении я от разных людей слышал разные суждения. Мой друг и тогдашний заведующий отделом, где я работал, Руджеро Сергеевич Гиляревский, всем, в том числе и мне, буквально песни пел о моем твердом, чуть ли не героическом поведении в партийных инстанциях. Философы скорее считали мое поведение излишне трусливым или, по меньшей мере, нервным.

Разумеется, в душе я дрожал как мокрый цуцик, хотя умом понимал, что для души это все во благо. Я не считал, что меня исключают несправедливо, — вряд ли члену КПСС подобает быть католиком, как и наоборот: честнее было бы самому уйти. Но тогда — конец активной жизни и дорога одна — в эмиграцию. Трусил я не только за себя, но и из-за детей: сын кончал университет, а дочь только собиралась поступать. Но я твердо знал одно — отречься от своего христианства я не буду. И не отрекался, что и выглядело «героическим» со стороны людей, для которых норма поведения состояла в том, чтобы каяться в прегрешениях перед партией. Но я давал при этом возможность поступить со мной «мягко», не вступал в пререкания и не говорил о несправедливости обвинения и даже о неточности показаний против меня. Даже подал, как положено, апелляцию в горком. Однако в ЦК уже подавать не стал — я счел, что достаточно продемонстрировал свою лояльность к «сильным мира сего». К Кедрову я ходил не с просьбами восстановить меня, но помочь в продолжении возможности публикаций. В.А.Лекторский на первой же встрече сказал: «Годик-другой тебе печататься не удастся, а статью, что

готовится у нас для 1-го тома монографии по теории познания, мы переложим на 4-й — к тому времени все уляжется». Никто из философов (в большинстве партийных) не был шокирован происшедшим. Их отношение напоминало отношение циркачей к товарищу, свалившемуся с трапеции и на некоторое время выбывшему из строя. Никто не пытался избегать общения со мной, но шутили, что я попал в «клуб имени В.Ф.Асмуса» — так называли небольшую группу беспартийных докторов философии, где негласным президентом считался Николай Федорович Овчинников. Среди моих институтских коллег некоторые перестали меня замечать, а один, встретив в коридоре ВИНТИ и поздоровавшись, явно не знал, как и о чем со мной теперь следует говорить. Прежний дружески-шутливый тон не годился, а обсуждать мое положение всерьез неуместно. Вот такой неловкости философы не проявляли.

Наш кадровик Семен Семенович в кругу своих приближенных признавался: «Обманул меня Шрейдер — я думал его в сионизме уличить, а он католиком оказался». Он с охотой взялся за устройство моих служебных дел, организовав мой перевод из научного отдела в издательский, явно рассчитывая, что работать, как все, я не смогу. Но оказалось, что, освоившись примерно за месяц, я стал уверенно перевыполнять норму. Заодно начитался литературы по базам знаний и начал писать по этой проблематике довольно интенсивно, что мне сильно помогло потом перейти на проблематику по сознанию. Так что сегодня я могу только благодарить всех ответственных за происшедшее. Впрочем, в гущу всех событий я не предполагал столь оптимистического исхода дел и резонно опасался весьма неприятных для себя перспектив. Трусить было из-за чего, а поддержка философской среды оказалась для меня очень значимой. Был еще у меня знакомый философ, занимавший довольно заметный партийный пост. Он тоже не вычеркнул меня из списка знакомых, но дал возможность подработать, весьма для меня актуальную в тот момент, поскольку надо было оплачивать репетиторов для дочки. Что касается моих партийных дел, то поначалу он дал совет апеллировать в ЦК, где, мол, много случаев, когда восстанавливали в партии исключенных за хищения. Больше мы с ним к этой теме не возвращались, сохраняя добрые деловые отношения.

Моя аспирантка (по информатике) явилась ко мне с поддержкой, уговаривая, что надо каяться, каяться и каяться. В 1989 г. я встретил ее в Православной церкви у Речного вокзала, где мы оба были крестными родителями младенцев (разных). Она сообщила мне, что недавно окрестилась и вступила в партию (тогда это слово понималось еще однозначно).

Из памяти всплывают еще два эпизода. Смысл первого мне до сих пор непонятен. В момент, когда исключение на уровне института уже состоялось и меня ожидал следующий акт — вызов в райком, мне позвонил один мой сослуживец, с которым у меня были дружеские, но отнюдь не приятельские отношения, и пригласил к себе домой на встречу с его знакомым полковником КГБ. Я решил не уклоняться от встречи — она, мне казалось, не должна была ничего испортить, а уклоняться от нее было бы несколько вызывающим действием. И, действительно, меня ждала не вербовка, а выпивка, во время которой этот полковник (имя и отчество которого я не помню, а фамилия его не называлась), не спрашивая меня ни о чем, стал обсуждать вопрос, как предотвратить исключение. Предполагалось как бы очевидным, что я не хочу быть исключенным. Да, в общем, так оно и было: я был бы тогда доволен, если бы вся история задухла, хотя и четко знал, какая цена для меня неприемлема. Что все это значило, я не понимаю до сих пор. Мой вполне симпатичный собеседник не вытягивал из меня никакой информации и ни о чем не просил. Может быть, он хотел иметь во мне дружественно настроенного человека. Может быть, считал, что вся эта история не разумна, а может быть, хотел показать, что его организация посильнее, чем КПСС. Возможны и иные версии.

Второй эпизод, о котором я узнал только лет через 6-7, относится к моменту, когда я уже был исключен. Это был звонок из верхов тогдашнему директору ВНИТИ А.И.Михайлову с просьбой дать мне возможность участвовать в научных разработках. Вероятно, он способствовал тому, что я не был уволен, а уже в 1985 г. был командирован на конференцию по сознанию в Батуми. Н.Л.Мусхелишвили постарался включить меня в наиболее близкую лично для него проблематику, связанную с анализом измененных состояний сознания и лежащую в русле идей С.Кьеркегора, М.Мамардашвили и А.Пятигорского. Это не только не противоречило моим личным

устремлениям, но, наоборот, находило во мне резонанс. За первые 3-4 года совместной деятельности мы очень сблизились — и во взаимном понимании общности позиций, и в личном плане. Существенно то, что наши умения взаимно дополнительные и мы усиливаем друг друга. Впрочем, это еще не предмет для воспоминаний, но текущая жизнь, в которой накапливаются общие воспоминания. Таким воспоминанием стали ушедшие от нас. Но я не могу не вспомнить тех, благодаря которым мое формальное отлучение от философии продолжалось не более полутора лет, так что Р.С.Гиляревский пошутил: «Вы всегда, как кошка, падаете на четыре ноги». Прежде всего это Н.Л.Мусхелишвили, не только пригласивший меня на престижную конференцию, но и добивавшийся от моей дирекции разрешения на командировку. Это и киевские друзья М.Попович, Ю.Прилюк, Н.Вяткина, публиковавшие с 1986 г. мои статьи в украинском философском журнале, и многие другие. Уже с 1985 г. я начал принимать участие в конференциях по сознанию, где присутствовали покойные ныне М.К.Мамардашвили, Ю.М.Лотман, психиатр Вадим Деглин, а также Сергей Сергеевич Хоружий и ряд других. Только одну из конференций (1986 г.) я пропустил из-за травмы головы, но во всех последующих принимал активное участие. В этих конференциях заметное место занимала религиозно-философская тематика.

С 1989 г. я перешел на постоянную работу в Институт проблем передачи информации, и философская проблематика стала для меня основной по месту работы. Я впервые стал получать за нее основную зарплату. Наши совместные работы с Н.Л.Мусхелишвили начали регулярно выходить. Стали возможными и публикации непосредственно по религиозной тематике. Открылись заграничные поездки, первые из которых мне достались в 1990 г., а в 1991 г. я принял участие в конференции по проблемам культуры, происходившей в Ватикане, где была представительная российская делегация. Религиозно-философская тематика стала признаваться философским сообществом. Более того, бывшие антирелигиозники быстро перекрестились в «религиоведов» и стали посещать семинары и конференции по философии религии.

7. Новые времена и старые мысли

У фантаста Кира Булычева есть рассказ о том, как сотрудник престижного советского департамента, благополучно живущий в 60-е годы, разговаривает по телефону с девочкой, переживающей военную зиму 1942-го. Девочка принимает своего собеседника за шпиона или провокатора. Наверное, нечто подобное испытал бы каждый из нас в годы советской власти, если бы нам кто-то стал сообщать о том, в какой стране нам предстоит жить. Жизнь круто изменилась. Она не стала легче, она стала нормальной. Люди обрели дыхание, а это приводит не только к хорошим ощущениям. И все-таки разве мог бы я представить себе, что буду писать воспоминания, заботясь не о том, что нечто надо скрыть, но о том, чтобы быть как можно точнее?

Проблемы сегодняшнего дня имеют очень близкую аналогию с тем, что произошло после исхода евреев из Египта. Воспользовавшись пребыванием Моисея на горе Синай, народ Израиля поклонился золотому тельцу. Моисей не повел их обратно в Египет, но сжег тельца в огне и стер во прах, вернув народ к Богу, а не отправив обратно в неволю (Исх., гл. 32).

Свобода слишком дорогая вещь, чтобы ее ценой добиваться временных и иллюзорных улучшений.

Очень существенна для нормализации духовной атмосферы оказалась возможность восстановить связь с покинутыми страну друзьями. В 1991 г. мне удалось навестить в Мюнхене Геннадия Моисеевича Файбусовича, который когда-то привлек меня к участию в журнале «Химия и жизнь». В 1978 г. мы затеяли обмен письмами, из которых составила рукопись «Письма без штампа». Целиком она так и не издана, но мой адресат издал свои письма ко мне в своем сборнике (он пишет под псевдонимом Б.Хазанов). Судить по его письмам о содержании моих невозможно.

Восстановилась и моя научная связь с Владимиром Александровичем Лефевром, который несколько раз посетил Россию, а в 1994 г. я посетил его в Калифорнии и сделал там доклад о придуманной мною вероятностной интерпретации его модели этической рефлексии.

Этическим идеям В.А.Лефевра я посвятил специальную главу в книге «Лекции по этике» (М., 1994). Уже после я сообразил, что его представление о двух этичес-

ких системах, по сути, означает следующее. Первая из этих систем предполагает наличие этического абсолюта, в принципе не допускающего оправдания зла. В этом случае ситуация, где возникает комбинация добра и зла, означает неабсолютность добра и оценивается как дурная. В этой системе субъект нацелен не на благие цели, но на то, чтобы избежать зла. (Это очень похоже на толкование Львом Толстым принципа недеяния.) Во второй системе субъект легко абсолютизирует относительное добро, и тогда добро становится соблазном совершить зло. Это значит, что такая комбинация добра и зла оценивается в этой системе как добро. В этом опасность утилитарной этики, ибо она ориентирует человека не на то, как распознать то, что дурно, и отказаться от зла, но на непрерывное достижение некоторого блага, которое, тем самым, становится в его глазах абсолютным и превращается в опасный соблазн. Это верно не только в применении к отдельному субъекту, но и к общественным группам, борющимся за свои права, за справедливость. Эти несомненные блага легко превращаются в соблазн, толкающий на преступления, когда ставятся над всеми иными ценностями — прежде всего над любовью и милосердием.

Жизнь идет, и надо отвечать на ее меняющиеся требования. Я искренне стремился ответить на вопрос, поставленный в заголовке статьи. По сути, это философский вопрос о том, что есть философия. Я не верю в возможность дать ее определение, отличное из вытекающего из этимологии, и потому поставил этот вопрос как чисто субъективный.

В кругу «послеоттепельных» философов прочно укоренилось убеждение в суверенности философского мышления. Официальные же воззрения на сей счет лучше всего выразил отставной полковник КГБ — наш зам. по кадрам Семен Семенович.

В день смерти Ю.В. Андропова он мне (как уже доктору философии) высказал следующую сентенцию: «Если бы он не умер так рано, стал бы великим философом». После моего исключения из партии он эту мысль продолжил следующим образом: «Теперь мне придется взяться за старые тетради (он учился на каких-то чекистских курсах) и заняться философией информатики». Он явно думал, что я освободил ему занимаемую вакансию. Философом он не стал по той же причине, что и его покойный шеф: вскоре последовал за ним.

Поразительно, что философия притягивала чем-то и таких Семенов Семеновичей, и стать философом было для них привилегией — одной из распределяемых властью. Боюсь все же, что странная притягательность философии так и осталась необъясненной. Впрочем, мне известны притязания отнюдь не последних из философов сделать философию научной, построить философский дискурс по образцу гипотетико-дедуктивного метода науки. Мотивы таких притязаний мне вполне понятны, в них сквозит желание получать надежно обоснованные и красивые результаты, общеобязательные для науки. Любой дурак вправе отрицать категорический императив Канта. Более того, категоричность этого императива отрицают некоторые вполне квалифицированные философы. Наоборот, теорема Пифагора неприкосновенна. Вряд ли ее сумеет опровергнуть даже самый мудрый из современных математиков. Ее можно только обобщить и тем примазаться к славе первоначального автора. Лобачевский лишь подчеркнул величие Эвклида, создав неэвклидову геометрию. Даже идея теплорода, казалось бы, изгнанная из физики, осталась в виде совпадения уравнений теплопроводности и диффузии. Тепло распространяется так, как будто диффундирует некое вещество. Критерий научности утверждений Поппера состоит в том, что любое из них в принципе может быть поставлено под опровержение. Он хорошо согласуется со сказанным выше, ибо в науке приживается только то, что выдержало ряд попыток опровержений в рамках определенной парадигмы. В сменившей ее парадигме это не отменяется, но переосмысливается. В философии нет подобного «бессмертия» результатов, в ней сохраняется лишь опыт существенных рассуждений, опыт осмысления бытия. Эти рассуждения не опровергаются, но отбрасываются за непригодностью в последующем философском дискурсе. Излагая в своем курсе этики этические взгляды Спинозы, я не могу опровергнуть его положение об отсутствии свободы воли. Вместо этого я привожу рассуждение о том, что такой взгляд отвергает существование человеческой личности, способной на ответственные поступки, и потому непригоден для использования в этике. Когда я готовился к этой лекции, я попросил Н.Кузнецову рассказать о том, как этика Спинозы преподносилась на философском факультете. Этого она вспомнить не сумела, но рассказала о том, что подчеркивалась установка Спинозы на отключе-

ние от любого опыта и использование исключительно собственного разума. Думается, что здесь ключ к грехопадению философии Нового времени, сделавшей самодостаточного человека источником истины. Эту установку уместно назвать «Синдром Мюнхаузена». Заблуждения и чаяния эпохи наиболее полно выражаются в предрассудках наиболее глубоких умов, которые принимаются ими как нечто очевидно бесспорное и последовательно развиваются в творчестве. Соблазны и тупики марксизма лучше всего видны в трудах Ильенкова, которому суждено оставаться в истории философии. Спиноза убедительно демонстрирует, как идея самодостаточности разума, возникшая из стремления к свободе, логически ведет к отказу от свободы. Этот философский сюжет в высшей степени своевременен сегодня. Не коренится ли притягательность философии в том, что человек не в состоянии удовлетвориться частичной истиной, а стремится достичь ее во всей полноте?

Любовь не удовлетворяется частью, «не ищет своего», но хочет быть всем. Частичная мудрость — это просто недомыслие. У замечательного писателя Сергея Довлатова есть очень верные слова про любовь: «Противоположность любви — не отвращение, и даже не равнодушные, а ложь».

Загадка притягательности философии мне видится в том, что любовь к мудрости есть нетерпимость ко лжи. Это непрактично, ибо мудрость требует недостижимого для человека совершенства. Но любовь и стремится к недостижимому, а не удовлетворяется доступным. Этой загадке, по сути дела, было посвящено мое выступление на «круглом» столе «Необходимость философии», который происходил на философской конференции в Пушкино (осень 1981 г.). Текст этого выступления я счел нужным подвергнуть лишь минимальному редактированию. Этот текст так и был заготовлен в виде тезисов, которые назывались

«Заметки о философии»

1. Философа отличает странная вера в то, что знание фундаментальных свойств реальности безразлично для личного существования.

2. Философия ставит одни и те же вечные вопросы, не только не решая их, но и не обещая их решить.

3. Философия, в сущности, рассматривает одну проблему: «Как жить дальше». Эту проблему она принципи-

ально не может решить, но, строго говоря, ответ на нее был бы невозможен без философии.

4. Философия в принципе не имеет догматов. На любые исходные положения она имеет право и даже обязана смотреть критически, сделав их предметом своей рефлексии.

5. Наука и религия обязаны принимать догматику. Этой ценой покупается возможность получать ответы на поставленные вопросы.

6. Философ не может в своих рассуждениях ставить себе какие бы то ни было догматические ограничения. Его дело артикулировать догматы науки и религии.

7. Сидеть между двух стульев — это эклектика. Сидеть на двух стульях — это диалектика. Кстати, это вполне реально. Можно сидеть на двух стульях вдвоем — это дискуссия. Можно одному — это рефлексия.

8. Свобода философии от догматов покупается невозможностью исключить из философии какую бы то ни было систему или построение. Ошибочных философских построений не бывает. Не бывает и устаревших. Эйнштейн — это уже история науки. Платон — это философия сего дня. И еще покупается эта свобода отсутствием результативности. Чтобы получить результат, наука вынуждена догматизировать плодотворные установки.

9. Философия прокладывает необходимый мостик через пропасть между наукой и религией (искусством и религией, нравственностью и религией). Наука — это сфера конечного, догматизируемая в своем отрыве от трансцендентального. Догмат самодостаточности конечного даже не осознается как догмат, а представляется великим освобождением науки. Религия — это постижение бесконечного. То, что внутри науки кажется освобождением, философия осознает как порабощение. То, что религия принимает как догмат, философия осознает как имеющее разумную интерпретацию.

10. Философия — это высвобождение духа. (Наука — взнуздание духа, религия — стяжание духа.)

11. В эпохи кризисов веры религия нуждается в философии особенно остро: так появляются св. Августин, св. Фома, Паскаль, Лейбниц, Беркли, Вл. Соловьев, П. Флоренский и др. Великие каппадокийцы — Отцы Церкви были выдающимися философами.

12. Философия берет от науки формы: университетские кафедры, ученые степени, блеск эрудиции. Но не

философ тот, кто всерьез верит, что для занятия философией необходимы университетская кафедра или ученая степень. Ученому же профессионализация нужна по сути дела.

13. В философии нет бесспорных построений, нет рассуждений, которые нельзя было бы оспорить. Проблема истинности уступает первенство проблеме осмысленности.

14. Философская проблематика глубоко интимна, она касается глубинных струн души. Любое подлинно философское высказывание выявляет внутренний мир его автора. В этом философия гораздо ближе к поэзии, чем к герметичной науке.

15. Соавторство в науке возможно между душевно далекими. В философии — это интимнейшая близость, касание души.

16. Неблагодатность философии в том, что нет слов, чтобы выразить глубинное, и нельзя, оставаясь в чистой философии, апеллировать к откровению. Остается только мужественно искать разрешение, ощущая потери смысла. Остается только неизбывная вопросительность. Удовлетворение в философии невозможно, просветление души — это другая сфера.

17. Если спасение дело не только индивидуальной души, но общее дело человечества, то философия необходима. В присутствии Бога философия не нужна и даже невозможна, но в поисках Его даже любой из апостолов становится философом. Поиск утраченного смысла для человечества, устройство ноосферы — вот задача философии.

18. В обвинение философии можно поставить создание фикций, выход на псевдопроблемы и псевдорешения. В оправдание она может предъявить только ничем не ограниченное стремление к поиску истины, снятие покровов с сокровеннейшего, снятие ложной таинственности, бесстрашие перед антиномиями бытия.

19. Снять антиномию — не задача философа, это делает жизнь. Высветлить ее, обострить, выразить в парадоксе, противоречии, противопоставлении — вот задача философии. Философия не эсхатологична, она не выдает векселей, не планирует финальных ситуаций.

20. Философское отрицание Бога есть тем самым Его утверждение в поисках смысла. Бессмыслица — вот подлинное отсутствие Бога.

21. То, что я пишу, это, скорее, не выяснение сути философии, но позиции философствующего.

22. Сократ, задающий «неприятные» вопросы, — вот первообраз отчетливой философской позиции. Собеседники Сократа отнюдь не глупы, они понимают многое, но... в рамках традиции, в рамках неосознаваемой догматики.

23. Сократ должен был быть приговорен к смертной казни. Общество, даже самое просвещенное, не может терпеть в своей среде подлинного философа: не обязательно умерщвлять его, можно приспособить, кастрировать и т.д.

24. Философу не задано роли в обществе, он его разрушает. Создавать он может лишь мечту о Граде Небесном. Но ее можно приспособить как основание Града Земного. Так парадоксальным образом воплощается нужда общества в философе.

25. Истинное философское рассуждение балансирует на самой грани бессмыслицы, в противоречивости своей порывая со здравым смыслом. Запас прочности, отделяющий рассуждение от грани потери смысла, гасит философскую мысль в топком болоте обыденности. Логичнейший Витгенштейн работал на грани пошлости, которая обессмыслила бы работу его мысли, если бы она перешла эту грань. Только вблизи этой грани, отделяющей торжество здравого смысла от нелепицы, рождается подлинный смысл.

26. Диалектика — это способ говорить о невозможном, о немислимом с точки зрения здравого смысла. Невыносимость противоречия рождает содержание. Это прыжок через трюизм в область неизведанных смыслов.

27. Остроумие часто доставляет единственный способ сохранить себя от внешнего давления чужой логики или чужих мнений.

28. Два качества необходимы философскому разуму: бесстрашие и смирение. Без первого он оказывается в путах очередной догмы: философской, научной или религиозной. Без второго он оказывается в плену конечного, теряет выход к абсолюту.

29. Заблуждения ученых приводят к открытию частичной истины, остающейся в науке навсегда. Заблуждения философов закрывают путь к истине.

ЧАСТЬ II

Бонифатий Михайлович Кедров (1903—1985)

Философ, историк науки. Академик АН СССР. Первый главный редактор «Вопросов философии» (1947—1949). Директор Института истории естествознания и техники АН СССР в 1962—1972 г. Директор Института философии АН СССР в 1973—1974 г.

Соч.: День великого открытия. М., 1958; Предмет и взаимосвязь естественных наук. М., 1962; Единство диалектики, логики и теории познания. М., 1963; Ленин и революция в естествознании XX века: Философия и естествознание. М., 1969; Три аспекта атомистики. 1. Парадокс Гиббса. Логический аспект. М., 1969; Три аспекта атомистики. 2. Учение Дальтона. Исторический аспект. М., 1969; Три аспекта атомистики. 3. Закон Менделеева. Логико-исторический аспект. М., 1969; Науки в их взаимосвязи. История. Теория. Практика. М., 1988; Проблемы логики и методологии науки. Избранные труды. М., 1990.

Б.М.КЕДРОВ: ПУТЬ ЖИЗНИ И ВЕКТОР МЫСЛИ (материалы «круглого стола»)

В.А.Лекторский (главный редактор журнала «Вопросы философии»). Я хочу открыть нашу встречу, посвященную памяти выдающегося философа, удивительного человека Бонифатия Михайловича Кедрова.

Жизнь его была необычной. Внешне она выглядит как цепь преследований, идеологических проработок, снятий, выговоров и т.д. Вместе с тем это была счастливая жизнь, ибо была исполнена глубокого смысла: Бонифатий Михайлович при всех трагических событиях оставался верен себе, своим идеям и моральным принципам, делал то, что считал нужным и важным, и сумел осуществить очень много своих замыслов.

Крупнейший специалист по истории естествознания, в частности по истории химии (его работы, посвященные

атомистике и открытию периодического закона элементов, стали классическими), науковед, авторитет в вопросах философии, методологии и логики науки, теории историко-научных исследований, автор оригинальных подходов в изучении психологии научного творчества и классификации наук — Бонифатий Михайлович был щедро одаренной и яркой натурой.

Я хотел бы особо отметить, что именно Б.И.Кедров создал то направление в нашей философии науки, которое можно назвать «историческим» и которое оказалось весьма плодотворным: ныне в его рамках у нас работает немало философов и историков науки.

Речь идет об изучении проблем логики и методологии науки в связи с анализом исторического развития научных понятий, теорий, картин мира. В западной философии науки т.н. «исторический поворот» осуществился в 60-е годы, после появления известных работ Т.Куна. Первые же работы Бонифатия Михайловича такого рода появились гораздо раньше, они относятся еще к 30-м годам (в частности, его интереснейший анализ парадоксов Гиббса).

В этой связи я хочу обратить внимание на одну важную особенность «исторического» подхода Б.М.Кедрова, отличающую его от аналогичных подходов Т.Куна и многих других современных представителей «исторической школы» философии науки в США и Англии. Дело в том, что Бонифатий Михайлович был убежденным марксистом. Он не принимал многое в нашей жизни: в политике, в идеологии, в социальной практике. Но он был уверен в необходимости и возможности демократического социализма, был убежден в плодотворности гуманистических и научных принципов К.Маркса.

Конечно, теперь наше отношение к марксизму и Марксу (между прочим, как мне кажется, это не совсем одно и то же) существенно меняется, и на это есть серьезные основания. Сегодня мы видим в марксизме не только то, что оказалось утопическим, но и то, что ответственно за тоталитарную практику т.н. «реального социализма».

Сказанное, однако, не отменяет того факта, что в теоретическом наследии Маркса есть ряд идей, без которых были бы невозможны (в том виде, в каком они есть) многие направления современной философской и научной мысли: Франкфуртская школа, послевоенный фран-

цузский экзистенциализм, структурализм, исследования по «социологии научного познания» и др. Философско-психологическая концепция Л.С.Выготского сегодня широко популярна в мире. Но «культурно-исторический» и «инструментальный» подходы Выготского были стимулированы определенными идеями Маркса. То же можно сказать о «деятельностном подходе» С.Л.Рубинштейна и А.Н.Леонтьева.

Синтез исторического анализа с методологическим исследованием для Б.М.Кедрова выступал как реализация определенных марксистских замыслов. Важно, однако, подчеркнуть, что это не было простым «наложением» общепhilosophических схем на эмпирический материал. Бонифатий Михайлович разрабатывал совершенно оригинальные теоретические концепции, опирающиеся на обобщение огромного материала, а определенные философские традиции играли роль некоторой направляющей рамки. Важно, однако, то, что результаты его исследований оказались действительным вкладом в философскую, методологическую и историко-научную литературу и, как уже сказано, инициировали целое движение в нашей философской и историко-научной литературе.

Можно много сказать о Б.М.Кедрове. Можно, например, вспомнить о том, что он одним из первых, еще в 1955 г., выступил с резкой критикой лысенкоизма (и было это, между прочим, на страницах нашего журнала). Можно много говорить о его плодотворной деятельности на посту директора Института истории естествознания и техники АН СССР (1962—1974), о его драматически закончившихся попытках реформировать нашу философию на посту директора Института философии АН СССР (1973—1974). Я, однако, хотел бы особо отметить прежде всего тот исключительно важный для нас факт, что Бонифатий Михайлович был инициатором создания и первым главным редактором «Вопросов философии». Он недолго пробыл на этом посту, успев выпустить всего лишь два номера (об этой истории он сам рассказал в посмертно опубликованных воспоминаниях, см.: Вопросы философии. 1988. № 4; с относящимися к этому документами, ставшими известными в связи с недавно открытыми архивами, можно познакомиться по статье В.Д.Есакова «К истории философской дискуссии 1947 года» в «Вопросах философии». 1993. № 2). И вот, едва став главным редактором, Бонифатий Михайлович пуб-

ликует в журнале статьи (а это было в 1948 г., я хочу особенно обратить на это внимание), в которых обсуждаются серьезнейшие философские проблемы, и притом на настоящем философском уровне: И.И.Шмальгаузена о целостном подходе в биологии, М.А.Маркова о природе физического знания и З.А.Каменского о взаимодействии русской и западноевропейской философии. Неудивительно, что Б.М.Кедров был сразу же снят с поста главного редактора и на несколько лет попал в глухую опалу (что не помешало ему использовать это время — и в этом весь Б.М.Кедров! — для основательнейшего изучения архива Д.И.Менделеева).

Большинство наиболее интересно работавших в последние 20 лет наших философов так или иначе, в той или иной форме взаимодействовали с Бонифатием Михайловичем, многие из них обязаны ему поддержкой в трудные минуты. Назвать можно многих, я ограничусь именами Э.В.Ильенкова, М.К.Мамардашвили, П.В.Копнина, Э.Г.Юдина, В.С.Библера, П.П.Гайденко, В.Ж.Келле, А.Ф.Зотова. Вместе с Б.М.Кедровым работали наши известные психологи В.В.Давыдов, В.П.Зинченко, М.Г.Ярошевский. К людям, которые обязаны Бонифатию Михайловичу не только как философу, но и как человеку, относятся все те, кто сегодня принимает участие в нашей встрече, которую я, с вашего позволения, открываю.

И.Т.Фролов (академик РАН, директор Института человека РАН). Память о Бонифатии Михайловиче для нас всех очень дорога. Я знаю, что каждому из нас приходилось в той или иной мере сталкиваться с ним в научной работе, в жизни. И я уверен, что здесь собрались не просто единомышленники, но и почитатели его таланта ученого и философа. И в то же время, мне кажется, и почитатели его личности, личности необычайно многосторонней. Мы все знаем, чем увлекался Бонифатий Михайлович как дилетант в хорошем смысле слова и как профессионал. Это был действительно ученый-энциклопедист.

Бонифатий Михайлович был большой жизнелюб, к людям относился доброжелательно, хотя его много обманывали, били, ломали. Но жизнелюбие у него осталось, насколько я сам могу судить по встречам с ним, как самое главное его человеческое качество.

Должен сказать, что уже в перестроечные годы по моим советам в газете «Советская культура» были опубликованы некоторые материалы о нашей философии. Мы хотели показать, что не было у нас в прошлом сплошного восхваления существовавших общественных отношений и сплошного философского догматизма. Мы договорились с главным редактором газеты, что будет опубликована статья о Бонифатии Михайловиче. И такая статья о нем появилась.

Но вот что интересно. Уже в те годы она пошла не без труда. Главным редактором было сказано, что уж очень Кедров получается «какой-то правильный». Бонифатий Михайлович для этого старого партаппаратчика, перескочившего на другие позиции, стал уж очень «правильным»! То есть Кедров не был диссидентом, он не уехал, не высказывался против Советской власти и т.д. И это сегодня считается уже некоторым минусом. Если кто-то сейчас верноподданнически высказывается, — это ничего, это нормально. А то, что человек мог занимать такие позиции, как Бонифатий Михайлович, который догматиками, сталинистами в чем только не обвинялся — он и космополит, и ревизионист и т.д., — это уже как бы и не понимается.

Поэтому я бы хотел начать с того, чтобы обозначить, может быть, становящееся все более неприличным для складывающихся условий то, что мы чествуем философа, который все-таки был убежденным марксистом. Это надо подчеркнуть. Он был сторонником материалистической диалектики, очень много сделавшим для того, чтобы в борьбе со сталинизмом, с извращениями и вульгаризацией диалектики, которые были, в частности, в IV главе «Краткого курса», представить учение о диалектике как действительно великое наследие философской мысли, чтобы, опираясь на некоторые ленинские положения и фрагменты о диалектике, преодолеть ее узкую и косную интерпретацию, которая была в то время весьма распространена.

Сейчас, может быть, это кажется не таким уж значимым, поскольку защищал-то он все-таки то, что в нынешних условиях все больше осуждается и отвергается. И вот, отталкиваясь от моего разговора с главным редактором «Советской культуры» (ныне просто «Культуры»), я задаю себе вопрос: ну, а доживи Бонифатий Михайлович до наших времен, как бы он сейчас выглядел?

Во-первых, я не думаю, что Бонифатий Михайлович совсем не модернизировал бы свои взгляды, что-то не уточнил бы в них. Но одновременно я уверен, что он остался бы таким же принципиальным, каким и был, то есть защищал бы то, чему он посвятил свою жизнь. А каково было бы сейчас восприятие взглядов Бонифатия Михайловича со стороны части перекрасившейся философской общественности? Я думаю, было бы еще хуже, чем при его жизни. Вот этот «парадокс», как мне кажется, тоже надо иметь в виду...

Я впервые увидел Бонифатия Михайловича в 1949 г. В Институте философии шло осуждение его «космополитических» взглядов, нашедших отражение в книге «Энгельс и естествознание». Собрался весь «цвет» советской философии того времени во главе с академиком Г.Ф.Александровым. Выступали тогда Ф.В.Константинов, М.Б.Митин, П.Ф.Юдин и др. А я, совсем тогда молодой первокурсник философского факультета МГУ, сидел неподалеку от симпатичного человека, которым оказался Бонифатий Михайлович. Я наблюдал за ним, за тем, как он реагировал на все резкие высказывания, которые направлялись против него. Мне сразу стало его жалко, потому что это были уж очень грубые высказывания. Но я наблюдал, как он себя держал. А держался Бонифатий Михайлович с большим достоинством, иногда даже улыбался, недвусмысленно показывая свое отношение ко всему этому.

Вот как я увидел в первый раз Бонифатия Михайловича, и это было началом моей жизненной учебы у него, хотя лекций я его не слышал. Это было тогда, когда Бонифатий Михайлович был уже снят с поста главного редактора журнала «Вопросы философии», которым он руководил очень непродолжительное время.

С 1956 г. в течение долгого времени я работал в этом журнале. Я пришел туда после XX съезда партии, когда началась волна изменений, происходило довольно существенное кадровое обновление. Журнал «Вопросы философии» стал подвергаться большим преобразованиям. Со мной пришла большая группа молодых философов из Московского университета (М.К.Мамардашвили, И.В.Блауберг и др.). Мы застали в журнале Э.А.Араб-Оглы, Г.А.Арбатова.

В «Вопросах философии» началось наше непосредственное сотрудничество с Бонифатием Михайловичем. Я

вскоре стал заместителем заведующего отделом философских вопросов естествознания, которым руководил Иван Васильевич Кузнецов. Как член редколлегии, в журнале очень активную роль играл Бонифатий Михайлович Кедров. И я согласен с тем, что сказал В.А.Лекторский: безусловно, Бонифатий Михайлович может по праву считаться одним из основателей в нашей стране того, что ныне называют «философией науки». Мы называли это «философские вопросы естествознания». Мы организовывали по этой тематике дискуссии в журнале, провели первое и очень важное для нашей науки совещание по философским вопросам естествознания. Был образован Научный совет по этим вопросам. Бонифатий Михайлович с первых же шагов участвовал в его работе, а я вначале был ученым секретарем Совета. Деятельность Бонифатия Михайловича и тех, кто ему помогал, — а я был в их числе — была направлена на то, чтобы преодолеть абстрактно-схоластическое философствование, цитатничество, оторванность от науки, которые тогда были доминирующими в нашей философии. И эта обращенность к науке, которую впоследствии стали считать чрезмерной, упрекая нас в «позитивизме», вдохновляла нас. Мы были убеждены в том, что без знания науки, какой-то ее конкретной отрасли, невозможно плодотворно заниматься философией, что, только изучая законы познания, как они складываются в какой-то отдельной науке, можно делать философские обобщения. Это была основная идея Бонифатия Михайловича. И вы знаете, как он сам профессионально изучал и знал химию.

В этом нашем убеждении, в направлении по этому пути нашей работы в журнале «Вопросы философии» огромную роль сыграли Бонифатий Михайлович и Иван Васильевич Кузнецов. У них это была своего рода «идея-фикс». На этой основе они резко критиковали догматиков, сталинистов типа Митина, Юдина как людей, прежде всего некомпетентных в науке. Это была твердая позиция в философии, которая позволила в те годы укреплять ее научные основания, завоевывать признание у естествоиспытателей, крайне пренебрежительно относившихся к философам.

Бонифатий Михайлович, защищая «ленинское», как он его называл, понимание диалектики, стремился именно к тому, чтобы все философские обобщения делались на основе данных науки.

Новый этап в работе с Бонифатием Михайловичем у меня начался в 1968 г., когда я стал главным редактором «Вопросов философии». В новую редколлегия мне удалось включить много новых философов, за исключением Э.В.Ильенкова, против которого резко выступали в ЦК КПСС. Бонифатий Михайлович тоже был, разумеется, в составе редколлегии, был вместе с нами, и еще неизвестно, кто из нас был моложе. Его талант и влияние в наибольшей степени помогли оформиться тому новому направлению, которое отстаивал в то время журнал «Вопросы философии». А в те годы, я вам должен об этом сказать, журнал, организуя различные дискуссии, в том числе обсуждения за «круглым столом», поставил все основные вопросы, которые и сейчас составляют предмет наших размышлений. Роль Бонифатия Михайловича во всем этом была огромной.

Журнал «Вопросы философии» был в это время центром творческого диалога, который велся у нас в философии, и средоточием, как мы это называли, «ленинского союза» философов и естествоиспытателей. Что нам помогло отстаивать это новое направление в философии? Опора на ученых-естественников. Это надо в особенности сейчас подчеркнуть. И кто же, как не Бонифатий Михайлович, способствовал именно этому? Только активнейшая поддержка великих, можно сказать, естествоиспытателей, таких, как П.Л.Капица, П.К.Анохин, Б.Л.Астауров, В.А.Энгельгардт, А.И.Берг, Д.К.Беляев и др., их непосредственное участие в дискуссиях за «круглым столом», их защита нашего журнала, в том числе и на Президиуме Академии наук СССР, делали возможным все то новое, что делалось в нашем журнале.

Я помню, как выступал с докладом о программе и направлениях деятельности журнала «Вопросы философии» на Президиуме АН, и Петр Леонидович Капица прежде всего, а также и другие крупные ученые сильно поддержали нас. И это, как потом мне стало известно, было не случайно. Это была «спланированная акция» в нашу пользу.

После смены руководства в журнале «Новый мир» журнал «Вопросы философии», как неоднократно подчеркивала интеллигенция тех лет, стал своеобразным центром прогрессивной мысли в нашей стране. Мы чувствовали это многие годы.

И здесь личность и культурный горизонт Бонифатия Михайловича сыграли решающую роль. Он действительно оказывался магнитом, центром притяжения многих интереснейших людей. Не со всеми у него были близкие и теплые отношения. Нет, он был человеком своеобразным, человеком талантливым, а значит, не вызывающим одинаковое отношение со стороны окружающих. У него было очень много друзей и почитателей. Но у него было и много врагов, недоброжелателей, в том числе, кстати говоря, и из тех, кто считал себя «прогрессивным».

Вокруг этого человека всегда бурлили страсти человеческие.

Мы с Бонифатием Михайловичем вместе были много лет заместителями председателя Научного совета по философским вопросам естествознания, П.Н.Федосеев был его председателем. М.Э.Омельяновский тоже активно участвовал в его работе.

Очень много я наблюдал Бонифатия Михайловича на разного рода дискуссиях. Неоднократно мы с ним участвовали в различных зарубежных конференциях, симпозиумах. Мы стремились налаживать сотрудничество со многими философами мира как раз по философским вопросам естествознания, по философии науки. Приведу один пример. Бонифатий Михайлович не смог поехать на Всемирный философский конгресс в Варну в 1973 г. Он тогда заболел. Там должен был быть его доклад на пленарном заседании. Просто зачитать его доклад было нельзя. И тогда меня «присоединили» к Бонифатию Михайловичу в качестве соавтора. Я просидел ночь, что-то добавил к этому докладу, и он состоялся.

Еще раз хочу подчеркнуть следующее. Нет, не в отрицании того направления, которое мы называли «марксистским», в том числе «ленинским союзом философии и естествознания», не в отрицании всего этого заключается сейчас источник движения вперед. Деятельность многих талантливых людей, в особенности деятельность Бонифатия Михайловича, показывает, что в рамках этого направления было возможно очень существенное и творческое продвижение вперед, причем гораздо более эффективное, чем, может быть, в рамках других направлений. Почему? Это еще предстоит проанализировать. Кто-то говорит, что это было возможно только в результате «отступлений» от марксизма, что марксистские фразы играли в этих исследованиях роль камуфляжа. Я так не счи-

таю. Я думаю, что внутри марксистского учения есть определенные мировоззренческие и методологические идеи, которые в своем развитии могут давать и дали плодотворные результаты. Мы не должны отказываться от этого и сейчас. Философская деятельность Б.М.Кедрова — подтверждение сказанному и великий пример для подражания.

Чествуя сейчас Бонифатия Михайловича, я думаю, мы не должны ограничиваться сожалениями по поводу того, какие трудности приходилось ему преодолевать, тем более не должны утверждать, что ему якобы приходилось чисто внешне прикрываться в своей работе цитатами из Маркса, Энгельса, Ленина. Нет, это неправда, Б.М.Кедров был очень идейным и очень принципиальным человеком. И в той или иной форме в его работе и поведении прорывалось бы это противоречие, если бы оно существовало. А его у него не было. У него всегда была неудовлетворенность тем, что в данный момент достигнуто. Это верно. Но это в равной степени относится к любой идейной философской позиции, и эта неудовлетворенность — неудовлетворенность творческого человека.

Было бы глупо и смешно утверждать, что марксистская позиция деформировала творчество Бонифатия Михайловича. Деформировали сам марксизм, главным образом, неумные, очень часто и непрофессиональные люди. А Бонифатий Михайлович был настоящий профессионал, и он вел неустанную борьбу против всякого рода недоучек, которые как раз и делали основную ставку на то, чтобы клясться высокими именами классиков марксизма и ничего не делать для творческого развития их идей. Поэтому Бонифатий Михайлович, как истинный марксист, всегда подвергался резкой критике с их стороны. Надо всегда различать, следовательно, марксистов и «марксистов» в философии.

Я думаю, что в других, более спокойных условиях все бы это выглядело по-другому. Но и эти внешние условия тоже надо понимать как условия жизни творческого человека во все времена и при любых режимах. Столкновение с неблагоприятными условиями высекало какие-то яркие искры из могучего таланта Бонифатия Михайловича. Личность проявляется по большей части в экстремальных ситуациях, а таких ситуаций у Бонифатия Михайловича было предостаточно.

Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Бонифатий Михайлович был цельной личностью. У него была большая убежденность в правоте своих идейных позиций. Он не был лицемером. И его работы об Энгельсе и по Энгельсу, о Ленине и по Ленину свидетельствуют об этом. Как искренне он любил Ленина, сколько он рассказывал о нем! С детских лет он был знаком с Лениным и всегда восхищался им. Какое уж тут лицемерие? Этот человек, этот очень большой человек — Бонифатий Михайлович Кедров — просто органично не был способен к лицемерию. Он в это искренне верил, это помогало ему жить, и это было одновременно, если несколько огрубить, хорошей формой и хорошим средством для его творческого поиска, для его творческой деятельности, для борьбы с догматиками-сталинистами. Ленин вообще на определенных этапах для нас был сознательно создаваемым собирательным идеальным образом, в который мы вкладывали все, что нам нужно было, что помогало творчески продвигаться вперед. Апеллируя к Ленину и поднимая, возвышая его, мы отмежевывались от Сталина и получали возможность творческого обновления нашей философии в борьбе против сталинистов, догматиков и т.д. Это последнее трудно понять тем, кто плохо представляет себе условия, в которых мы работали. И это — не просто «философское лукавство», а определенная — политическая даже — позиция. Можно было бы сказать тактика, если бы мы сами не верили в то, что создавали.

Я не отрицаю того, что можно было занимать и другую позицию: чистого отмежевания от марксизма, негативного отношения к тогдашней действительности. Такая позиция проявилась, в частности, в диссидентских движениях. У нас (я говорю и о себе, хотя главным образом имею в виду Бонифатия Михайловича) все складывалось по-другому. Правда, мое поколение, надо сказать, уже несколько иронично относилось к чрезмерному возвеличиванию Ленина, как это было у Бонифатия Михайловича. Никогда мы Бонифатия Михайловича за это открыто не критиковали, но между собой иногда немножечко посмеивались над тем, как он с чрезмерным, на наш взгляд, пиететом относился к Ленину.

Но, как я уже сказал, по-человечески нам это было понятно, поскольку мы знали, что он с детства был так воспитан, вырос в такой семье и Ленина знал близко, даже работал с ним и помогал ему. Ну куда это все

деть? Это значит ничего не понимать в жизни и в истории. Бонифатия Михайловича, как мне кажется, надо рассматривать в целостности и ни в коем случае, как делают некоторые нынешние наши историки, не огрублять все, что было, делая в результате многих из тех, кто работал в те годы, примитивными, одномерными. По отношению к Бонифатию Михайловичу это было бы вопиющей несправедливостью.

Я бы хотел еще сказать, что мы должны учиться у Бонифатия Михайловича чисто человеческому поведению. В частности, я многому учился у него, хотя наши реакции не всегда совпадали. Поражали его большой оптимизм, большая жизнестойкость. Он был рожден для этого времени и этим временем, в нем он полнокровно и цельно жил, и поэтому, мне кажется, он будет жить в истории.

Я сейчас вспоминаю одно заседание бюро Отделения философии и права АН СССР. Бонифатия Михайловича вывели из себя оскорблениями, прямо направленными против него. Он вскочил, задыхаясь, начал что-то говорить. А я смотрю на него и думаю, что вот сейчас что-то случится. По-моему, даже вызывали неотложку, потому что его просто трясло, а он уже был в возрасте довольно солидном. И потом, буквально через 10—15 минут, немножко подсмеиваясь над собой, перед нами был уже прежний Бонифатий Михайлович. Он был удивительно жизнеспособным, обладал удивительным качеством быстро восстанавливаться. К тому же он был убежден в своей правоте, чувствовал свою силу. Он не был одинок, и я это тоже хотел подчеркнуть, даже в трудные годы. Всегда вокруг него были его сотрудники, ученики и последователи.

Его связь с самыми прогрессивными направлениями в развитии науки, философии, с передовыми людьми, прежде всего естествоиспытателями, мне кажется, помогла ему жить, и это для нас большой урок.

Я думаю, что нужно сделать большую, полнокровную книгу о Бонифатии Михайловиче, не юбилейную, а показывающую его значение как философа и человека. Ничего не приукрашивая и ничего не скрывая. Кстати, и скрывать-то нечего: у этого искреннего и откровенного человека все было на виду, и все можно понять, все можно объяснить, не огрубляя и не ставя себя в позу судьбы, который вот сейчас что-то может отрицать, отвер-

гать у Б.М.Кедрова. Еще не известно, что будет через 5—10—20 лет. Я думаю, что о Б.М.Кедrove будут помнить долго. И чтобы потомки больше знали о нем, долг тех, кто работал с Бонифатием Михайловичем и знал его, — правдиво рассказать о своем выдающемся современнике.

В.А.Смирнов (доктор философских наук, зав. Центром логических исследований Института философии РАН). Знакомство мое с Б.М.Кедровым было необычным и произошло в 1967 г. Конечно, до этого я читал его работы и использовал их в своих лекциях, особенно его работы по философским проблемам естествознания. У меня сложилось впечатление о Б.М.Кедrove как о принципиальном диалектике. В 50-е годы формальные логики отстаивали свое право на самостоятельность, независимость от диалектики. В 1967 г. должен был состояться третий Международный конгресс по логике, методологии и философии науки. На втором конгрессе, проходившем в Иерусалиме, советская делегация отсутствовала из-за проблем политического статуса Иерусалима в то время. Руководство Международного отделения логики, методологии и философии науки (ОЛМФН), его президент И.Бар-Хиллел, профессора А.Тарский, С.Клини и другие предприняли ряд шагов, чтобы советская делегация участвовала в Амстердамском конгрессе, воспользовавшись проходившим в Москве в 1965 г. Международным математическим конгрессом.

Вице-президент Академии наук СССР П.Н.Федосеев пригласил сотрудников сектора логики Института философии АН СССР, а также академика П.С.Новикова и члена-корреспондента АН СССР А.А.Маркова на совещание, на котором обсуждались вопросы участия советских ученых в Амстердамском конгрессе.

Была сформирована хорошая группа для участия в конгрессе, для большинства участников это был первый выезд. Перед отъездом на совещании участников было объявлено, что руководить делегацией будет Б.М.Кедров. Тогда я полагал, что руководителем должен быть специалист в области логики, например, П.С.Новиков или А.А.Марков. И, исходя из этих соображений, я заявил протест по поводу назначения Б.М.Кедрова руководителем делегации. Самого Б.М.Кедрова на этом собрании не было, но, естественно, ему сообщили о моем демарше. Как я вскоре убедился, я был не прав. В Амстер-

даме советский Национальный комитет был принят в члены ОЛМФН и было предложено избрать основателя школы конструктивизма А.А.Маркова его вице-президентом. Как это было принято в те времена, советская делегация имела твердую инструкцию, в частности относительно своего представителя в ОЛМФН (в качестве асессора рекомендовался Б.М.Кедров). Бонифатий Михайлович поступил очень смело в тех условиях: он снял свою кандидатуру и поддержал кандидатуру А.А.Маркова. На самом конгрессе не было разговора о моем демарше, но после возвращения на конференции в Обнинске я имел разговор с Бонифатием Михайловичем о моей позиции, и затем он неоднократно — шутя — спрашивал: ну как, полезен Кедров для формальной логики? И я всегда отвечал положительно. Б.М.Кедров очень много сделал для развития математической логики в нашей стране, хотя основной круг его интересов лежал в другой области. Вокруг Бонифатия Михайловича сформировалось мощное движение по логике, методологии и философии науки. Под его руководством были проведены все-союзные конференции, наши делегации достойно участвовали в работе конгрессов по логике, методологии и философии науки.

Несколько слов об одном принципиальном вопросе. После Амстердамского конгресса журнал «Revue internationale de Philosophie». 1972. № 98 посвятил целый номер работам советских методологов и логиков. Составители этого номера в предисловии вспомнили о двух направлениях в русской философии XX в.: научном и религиозно-иррационалистическом. Они полагали, что в собранном номере представлены оба направления: к научному были отнесены собственно работы по логике, ко второму — работы по диалектике, в том числе статьи Б.М.Кедрова и П.В.Копнина. Б.М.Кедров, П.В.Копнин, В.Н.Садовский и я поместили в том же журнале специальную статью, в которой, во-первых, подчеркивался общечеловеческий, а не сугубо национальный характер развиваемых нами общеполитических идей. Эта позиция Бонифатия Михайловича особенно важна в наши дни, когда идеи диалектики трактуются в антиинтеллектуалистическом, иррационалистическом духе.

В последующем мне пришлось работать с Бонифатием Михайловичем по подготовке все-союзных конференций и международных конгрессов по логике, методоло-

гии и философии науки. И здесь проявилась широта интересов Бонифатия Михайловича, его доброжелательность, желание и умение помочь людям, занимающимся делом. Наконец, его смелость, отзывчивость.

Сфера интересов Бонифатия Михайловича была необъятной. Хотя он не занимался непосредственно формальной логикой, но и здесь он оставил интересные работы. Он нашел аналогию между идеями Гиббса и Курнакова в химии и задачами формальной логики. Еще в 1945 г. он сделал доклад на семинаре И.И.Жегалкина, а в 1959 г. опубликовал работу об отношениях между объемами понятий. Идеи Бонифатия Михайловича в формальной логике еще ждут серьезного изучения и анализа.

В.С.Степин (член-корр. РАН, директор Института философии РАН). Современная Россия переживает переломный этап своего исторического развития. Та цивилизация, которая была связана с более чем 70-летней нашей историей как Советского Союза, закончилась. Провозглашаемый лозунг разрыва с прошлым и отказа от большевизма приводит, как это часто бывает в нашем российском сознании, к простой инверсии: все, что ранее оценивалось положительно, теперь отвергается; что рассматривалось со знаком плюс, теперь получает знак минус. Но этот вариант черно-белого видения не содержит в себе конструктивного начала. Разрыв традиций — это всегда смятение в умах, поэтому необходимо не просто отбрасывание прошлого, а его критический анализ и выявление тех конструктивных моментов, на которые мы могли бы опереться в сегодняшних поисках.

Имя Бонифатия Михайловича весьма значимо для нашей философии, хотя эпоха, в которой он работал, была не лучшей для творчества.

Из многоплановых работ Б.М.Кедрова сегодня, пожалуй, наибольший интерес представляют его исследования в области гносеологии и философии науки. Б.М.Кедров успешно соединял их с профессиональными работами историка естествознания В его творчестве эти две линии тесно переплетались, что позволяло ему успешно преодолевать традицию идеологизированного умозрительного философствования, которая складывалась в 40—50-х годах при обсуждении проблем философии естествознания.

Труды Б.М.Кедрова прокладывали пути, на которых в 60-х годах обозначился и начал быстро набирать силу новый тип исследований в философии науки.

В 60—70-е годы это направление у нас было одним из наиболее интересных и продуктивных. Здесь был значительно меньший идеологический контроль, чем, например, в социальной философии. Здесь, да еще, пожалуй, в истории философии, мы активно осваивали результаты зарубежных исследований, и вместе с тем имели собственные оригинальные разработки. Они во многом были итогом активных коммуникаций философов с выдающимися учеными-естествоиспытателями нашей страны. Заниматься методологией науки было для философа в эти годы престижным делом. В эту область исследований шел постоянный приток специалистов, имеющих естественнонаучное образование. Естествоиспытатели с вниманием относились к обсуждению проблем логики и методологии научного познания. Все это и стимулировало интенсивный рост нового знания в этой области.

Я бы сказал, что именно в то время у нас сложилось сообщество методологов — философов науки, которое тесно взаимодействовало с историками естествознания и естествоиспытателями. Я помню, что мы внимательно читали труды друг друга, была жесткая экспертиза работ, чего, к сожалению, сейчас уже нет. И нужно прямо сказать, что заслуга Бонифатия Михайловича в становлении этого сообщества и его интеграции с сообществом историков науки была очень велика.

Б.М.Кедров прошел в своем творчестве все три этапа развития нашей философии науки. На первом этапе, когда шел своеобразный поворот от догматизированных работ по диалектике природы, которые сводились к иллюстрации цитат классиков марксизма определенными примерами из различных областей естествознания, Б.М.Кедров был одним из инициаторов поворота к глубокому исследованию категориальной структуры науки и ее новых философско-мировозренческих смыслов. Такое исследование выявило ряд новых пониманий категорий пространства, времени, причинности, категорий необходимости, случайности и возможности и др., содержание которых обогащалось и развивалось под воздействием достижений естествознания XX в. На этом этапе работы Кедрова выступали в качестве своеобразных парадигм

мальных образцов. Он умел найти такие подходы, когда исходные положения диалектики и диалектико-материалистической теории познания ассимилировали новый материал науки и развивали свое содержание.

Второй этап философии науки, который у нас начался в 70-е годы, был этапом расширения поля проблематики и перехода от акцентирования онтологических проблем к эпистемологической и методологической проблематике науки. На передний план вышли вопросы структуры научного знания, методов науки, операций построения нового знания, анализ процесс научного открытия. Такая же смена акцентов в этот исторический период происходила и в западной философии науки. И средством изучения структуры и генезиса научного знания стал его исторический анализ. То, что у нас принято называть постпозитивистской философией науки (работы Поппера, Куна, Холтона, Лакатоша, Фейерабенда и др.), характеризовалось теснейшей связью между разработкой проблемы роста знания и историко-научными исследованиями.

И здесь надо особо подчеркнуть, что Бонифатий Михайлович был одним из первых исследователей, который продемонстрировал в своих работах продуктивность сращивания историко-научного анализа и собственно философско-методологических исследований науки.

Я помню его прекрасные реконструкции по истории атомистики, его книгу «День одного великого открытия», в которой процессы порождения нового знания прослежены как в аспекте логики, так и в аспекте психологии научного открытия. Бонифатий Михайлович проанализировал уникальную историю менделеевского открытия, опираясь на архивные материалы и анализ текстов, и получил интересные результаты, которые имели глубокий философско-методологический смысл. В частности, к ним можно отнести идею психологического барьера, которая, на мой взгляд, объясняет многие важные аспекты фундаментальных научных открытий, связанных со сменой традиционных представлений и появлением новой парадигмы. В творчестве ученого, который осуществляет прорыв к принципиально новому видению фактов, часто встречаются ситуации, когда он наталкивается на психологический барьер, который мешает ему сделать решающий шаг и по-новому оценить и объяснить факты. Иногда он сам преодолевает этот барьер. Но бы-

вают и такие случаи, когда решающий шаг делает другой ученый, опираясь на работы своих предшественников, он переходит к новой системе представлений об исследуемой реальности, отказываясь от старой парадигмы и предлагая новую. Т.Кун характеризовал этот процесс как гештальт-переключение, связанное с введением новой парадигмы. Мне кажется, что у Бонифатия Михайловича на этот счет были глубокие соображения, опирающиеся на значительно более детальные реконструкции процесса научного открытия. Он выявил не только психологические, но и логические аспекты этого процесса, рассматривая его логику не только как встречу ранее сформировавшихся теорий с новыми фактами, но и как процесс взаимодействия различных теорий, в том числе и относящихся к различным наукам.

Опираясь на предложенную Б.М.Кедровым идею, можно объяснить ряд известных исторических фактов, связанных с появлением новых фундаментальных научных теорий. Я приведу здесь только два примера. Первый из них касается открытия Планка, которое лежало в истоках формирования квантовой теории. Как известно, Планк завершил поиск закона излучения абсолютно черного тела, предложив обоснованное множество экспериментальных фактов теоретическое решение этой конкретной физической задачи. Но из предложенного им закона вытекало, что поглощение электромагнитной энергии абсолютно черным телом имеет квантовый характер. Отсюда напрашивался вывод о дискретности электромагнитного поля. Но сам Планк не смог сделать этого вывода, поскольку для этого ему бы пришлось менять физическую картину мира, в которой укоренилось представление о непрерывности электромагнитного поля как состояния эфира. Психологический барьер помешал Планку сделать решающие шаги к перестройке сложившейся физической картины мира. И он стремился снять противоречие между выводами из конкретной теории и принципами картины мира за счет *ad hoc* гипотезы, предположив, что осцилляторы черного тела поглощают излучение квантами, но само излучение все-таки непрерывно. Это было стремление спасти старую парадигму, когда, по существу, она уже разрушалась. И только Эйнштейн сумел сделать шаги, преодолевшие эту парадигму, выдвинув идею реальности фотонов.

Аналогичным образом обстояло дело с истоками теории относительности. Здесь также все началось с решения довольно частных задач электродинамики движущихся тел. Обнаружив, что уравнения Максвелла перестают быть ковариантными относительно преобразований Галилея, Лоренц предложил новые преобразования. Но из них следовало, что пространственные и временные интервалы относительны, что, в свою очередь, требовало отказаться от идеи абсолютного пространства и времени. Но сам Лоренц не мог сделать этого вывода, поскольку представление об абсолютном пространстве и времени было фундаментом физической картины мира. Отказ от этой парадигмы и создание новых представлений о физическом пространстве и времени было уже результатом эйнштейновского творчества и построения им теории относительности.

Короче говоря, идея психологического барьера позволяет объяснить многие факты истории науки и выстроить такую целостную логику ее развития, в которую органично включалось бы и действие социально-психологических факторов.

На мой взгляд, это было очень важно для более широкого взгляда на историю науки и ее методологию, ибо детерминация в развитии научного знания уже не рассматривалась как жесткая, связанная с действием только внутринаучных факторов.

В работах Б.М.Кедрова были сделаны существенные шаги к новому пониманию развития науки, основанному на соединении когнитивного и социально-психологического анализа динамики знания. И я думаю, что уже в этих работах намечался переход к третьему этапу развития нашей методологии науки, когда поле методологической проблематики было вновь расширено. Уже в конце 70-х годов интересы философов науки начали сдвигаться в сторону исследования социокультурных факторов, определяющих динамику научного знания. Все больше утверждался подход, согласно которому анализ механизмов роста знания, изучение операций, инструментария, концептуальных средств внутринаучного движения необходимы, но недостаточны для понимания закономерностей развития науки. Ее следует рассматривать как погруженную в социокультурный контекст, включая в систему философского анализа социологические и культурологи-

ческие аспекты. Открывались пути к интеграции методологии с социологией и культурологией науки.

И хотя Бонифатий Михайлович был в большей степени ориентирован на анализ внутренней динамики науки, он не только хорошо понимал необходимость новых подходов, но и обосновывал их, определяя главные направления исследований в истории естествознания.

Все эти изменения проблемного поля философии науки проходили не сами по себе, они проходили через людей, через личности. И на каждом этапе возникали новые школы и появлялись новые имена. И что меня всегда удивляло — насколько я знал Бонифатия Михайловича, он очень чутко реагировал на новых людей и на новые идеи. Нельзя сказать, что он всегда их безоговорочно принимал. Часто он их оценивал критически, требуя более четкого и солидного обоснования. Но безразличным он никогда не был. Я помню наши знаменитые семинары в Звенигороде в 70-х годах, как мы их шуточно называли «звенигородские вербалки», во многих из которых он активно участвовал. Мы тогда были молодые, задиристые, много спорили. И когда на семинаре был Бонифатий Михайлович, он участвовал в дискуссиях активнейшим образом. Я помню, как они почти разругались с Мерабом Мамардашвили — спорили довольно жестко, без взаимных комплиментов и джентльменских поклонов. Но Бонифатий Михайлович буквально через полчаса остыл от спора, нашел Мераба Константиновича и продолжил разговор уже в других тонах. Потом был «товарищеский ужин с буфетом», и все произошло так, как и должно происходить в нормальных человеческих отношениях, а не так, как у нас часто бывает, когда два ученых где-то поспорили публично и эмоционально между собой по проблеме, а потом — враги на всю оставшуюся жизнь.

Я бы еще хотел отметить, что Бонифатий Михайлович не только сам работал очень активно, но помогал в создании научных центров, в которых развивались иные, чем его, исследовательские программы. Во всяком случае, минская методологическая школа, к которой я принадлежал, всегда получала от него помощь и поддержку.

Завершая ретроспективный анализ нашей философии науки в те годы, я бы сказал, что не так уж все там было плохо, а даже, наоборот, совсем неплохо.

У нас были свои оригинальные направления исследований, свои оригинальные школы. И я думаю, что во многом благодаря таким людям, как Бонифатий Михайлович Кедров, Иван Васильевич Кузнецов, Михаил Эразмович Омеляновский, формировались и развивались эти исследования.

Бонифатий Михайлович был одним из таких людей, который не только сам много и плодотворно работал, но который много помогал другим исследователям, даже если они развивали идеи, которые были не в русле его собственных работ. Наверное, это и есть основное качество человека науки.

Н.В.Овчинников (доктор философских наук, ведущий научный сотрудник ИИЕТ РАН). Бонифатий Михайлович, как я ныне могу сказать, принадлежал к тем, во все времена редкостным натурам, которые, оставаясь всецело в системе господствующей идеологии, тем не менее, каким-то спасительным импульсом жизни, непреднамеренно оказываются носителями достойных человека непреходящих качеств. Среди этих качеств — для него характерных — я назвал бы: смелость мысли, веру в людей, высокий профессионализм. Встреча с такими людьми спасительна, общение с ними плодотворно.

Он был искренне захвачен «единственно верным» учением. Учение это было его мировоззрением. Его, как он был убежден, научным видением мира. Любое учение, любую систему понятий можно интерпретировать по-разному. В истории можно наблюдать, как изначально рациональные построения превращаются в идеологические системы, в которых исходная здравость покрывается непрестанно твердеющей патиной многословных схем и штампов. Требуется значительная сила интеллекта, для того чтобы пробиться сквозь такую патину к здоровому началу. Для Бонифатия Михайловича таким исходным, все определяющим началом была провозглашенная классиками идея научности.

Можно сейчас критически отнестись к его оценке философии как одной из наук, наряду с другими науками. Хотя и особенной, общей науки. Но одно несомненно — та философия, которую он принимал и в области которой работала его мысль, была для него сферой поисков научной истины, «не зависящей ни от человека, ни от человечества». Отсюда его убежденное неприятие различного рода лжеучений, вроде лысенкоизма, несмотря на

явную поддержку подобных учений высоким партийным руководством.

Отсюда же, как я понимаю, проистекало его поразительное и, можно сказать, нравственное превосходство над многими теми, кто громко клялись не поступаться принципами, но, как было очевидно, клялись ради личной карьеры. Они чувствовали его человеческую правоту, и потому нападки на него с их стороны были особенно беспощадны.

Так случилось, что после моего ученичества, в самом начале приобщения к философской работе, мне пришлось наблюдать одну из таких кампаний. Это происходило на обсуждении книги Б.М.Кедрова «Энгельс и естествознание». Книга Бонифатия Михайловича вышла в 1947 г. Обсуждение книги состоялось, по-видимому, в конце этого года или в начале следующего. В сентябре 1947 г. я был зачислен в аспирантуру Института философии по сектору «Философии естествознания», и потому мой интерес к книге Кедрова был естествен. У меня сохранился экземпляр этой книги, на котором отмечен дата покупки — 20 октября 1947 г. Вспоминаю, что ко времени обсуждения я уже успел прочитать эту весьма объемистую книгу. Для меня чтение книги Кедрова, тогда совершенно незнакомого мне автора, означало первую попытку погружения в новые для меня предметы.

В здании на Волхонке, 14 большой зал на втором этаже был заполнен. По-видимому, пришли на обсуждение не только философы. Обсуждение открыл президент Академии наук СССР Сергей Иванович Вавилов. В памяти сохранился лишь общий настрой его вступительного слова: он призвал к деловому, аргументированному обсуждению книги. Последующие за этим выступления повергли меня в смятение. Началось такое поношение автора книги, полились такие обвинения во всех возможных идеологических ересьях, после которых, как мне представилось тогда, автору книги оставалось лишь покаяться и, подняв руки, уйти под конвоем. Все услышанное было мне внове.

После окончания физического факультета в начале войны я преподавал физику. В среде естественников было, конечно, всякое. Но того, что происходило в зале на Волхонке, 14, мне не приходилось слышать. На философском факультете, который я только что закончил, иногда раздавалось нечто подобное, но мне казалось

тогда, что это просто проявление, скажем так, пассионарности отдельных личностей. Здесь же, в Институте философии, уровень зловещей пассионарности превысил нормы человечески допустимого. Отдельные личности приходят и уходят, но как быть, если то, что я слышу, — обычный стиль философского разговора? Это же не обсуждение, не дискуссия и даже не драка, а избивание. В какую же новую для меня среду я вломился! У кого мне здесь учиться и чему?

Вспоминаю, как появился на кафедре сам виновник происходящего. К моему удивлению, Кедров не выглядел избитым или смущенным. Аргументированно, иногда язвительно в отношении своих обвинителей, он разбирал и отвергал их поношения. Его превосходство перед критиками, как я понимаю теперь, заключалось в том, что он профессионально знал предмет — теоретические проблемы науки — и вместе с тем мог так убедительно обратиться к авторитету классиков, что нападки его хулителей оборачивались всего лишь примитивной интерпретацией известных высказываний. Становилось очевидным, что он не просто знает ортодоксальные идеи, но и стремится их понять в контексте истории научного знания и современных проблем. Создавалось впечатление, что тем самым он оказывался не только внутри ортодоксальных идей, но как бы над ними. Насколько я могу судить, это впечатление могло служить тем основанием, которое вызывало волну беспощадной критики, которую можно было наблюдать не только на этом обсуждении.

Заключительное слово Б.М.Кедрова на обсуждении его книги эмоционально запомнилось мне потому, что оно смягчило тогда мои тревоги. Я почувствовал, что при всей пугающей странности нового для меня сообщества философов все же и здесь есть люди, у которых можно учиться. Кто может дать образцы поведения, кто, несмотря на мрачную атмосферу, идет своей дорогой.

К следующей встрече с Кедровым, а в дальнейшем и к личному с ним общению, непреднамеренно привела тема моей кандидатской диссертации. Но чтобы прояснить это, мне придется сделать некоторое отступление. Еще до аспирантуры меня интересовала тема «Понятия массы и энергии — их философское значение». В 1949 г. после сдачи кандидатских экзаменов в отделе аспирантуры Института философии АН СССР мне предложили встретиться с моим официальным научным руководите-

лем членом-корреспондентом АН СССР А.А.Максимо-вым. Он практически не бывал в Институте. Я по телефону договорился с ним о встрече у него дома. Он жил в академическом доме на Ленинском проспекте.

Я подготовил несколько вопросов в связи с темой диссертации. Среди них был и такой: у Ленина в книге «Материализм и эмпириокритицизм» в одном месте говорится, что «исчезают» такие свойства материи, как «инерция, масса и т.п.», а в другом утверждается, что вся масса электрона оказывается «исключительно электродинамической». Я хотел получить разъяснение, как согласовать эти противоречащие друг другу утверждения. Максимов выслушал мои вопросы, помню, как-то странно улыбнулся и стал подробно рассказывать мне, как он в свое время успешно боролся с «меньшевистствующими идеалистами». Ни на один вопрос я не получил ответа.

Через несколько дней Иван Васильевич Кузнецов, тогда зав. сектором «Философии естествознания», вызвал меня для серьезного разговора. Он сказал мне, что Максимов сообщил ему, что у аспиранта Овчинникова антиленинские воззрения по теме диссертации. Это была долгая и трудная для меня беседа, в которой я изложил свое понимание темы и свою трактовку тех вопросов, которые я задавал Максиму. В конце разговора я понял, что могу продолжать работу над темой моей диссертации. Иван Васильевич поддержал меня.

Как теперь я могу понять, Максимов поступил со мною еще достаточно гуманно — он не отправил свой донос карательным органам, но всего лишь сообщил обо мне моему непосредственному начальнику, снимая тем самым с себя ответственность за меня и перекладывая эту ответственность на плечи Кузнецова. Максимов, в отличие от меня, хорошо понимал, что книга Ленина — это священный текст, и всякий, кто, пусть по наивности, указывает на неточности или противоречия, оказывается еретиком, заслуживающим самого сурового наказания.

Максимов не оставил «заботу» обо мне. Он сообщил директору Института акад. Г.Ф.Александрову, что его аспиранту необходимо сменить тему. Директор вызвал меня и предложил заняться исследованием мировоззрения Ломоносова. Я от неожиданности не нашел убедительных аргументов для отказа и оказался в результате в тяжелом раздумье. Но вскоре после предложения дирек-

тора изменить тему диссертации и во время моего нового разговора с И.В.Кузнецовым в нашу комнату, как я помню, стремительно вошел стройный, высокий человек — это был Б.М.Кедров. Он обратился к Кузнецову и сказал, что на дирекции Института было внесено предложение изменить тему «Понятия массы и энергии» одному из наших аспирантов. «Я убедил Александрова, — сказал Кедров, — что эта тема весьма актуальна и что надо предоставить возможность аспиранту ее разрабатывать».

Так летом 1949 г. состоялось мое знакомство с Бонифатием Михайловичем, так началось мое общение с ним, которое продолжалось до его кончины осенью 1985 г.

Конечно, настаивая перед директором Института сохранить мне тему «Понятия массы и энергии», Кедров, насколько я теперь понимаю, руководствовался исключительно содержательно-научными интересами. Так случилось, что в сферу его теоретического внимания попали и мои усилия разобраться в некоторых научных понятиях. Известно теперь, что в эти годы Бонифатий Михайлович основательно занимался изучением и детальным исследованием научных идей Д.И.Менделеева и его философских воззрений. Среди проблем, которые возникли в процессе этого изучения, была и следующая. Кедров обратил внимание на то, что в периодическом законе, как это подчеркнул сам Менделеев, «периоды элементов... это точки, числа, это скачки массы, а не ее непрерывные эволюции». Кедров, естественно, заметил также, что современная физика выдвинула другой принцип периодической зависимости свойств химических элементов, и усмотрел здесь проблему, требующую осмысления. Дело здесь в том, что Н.Бор, а затем Ван ден Брук и другие еще в 1912—1913 гг. выдвинули идею зависимости атомного ядра элемента от заряда атомного ядра. Некоторые ученые на этом основании отказались от принципа Менделеева и полностью оторвали химические свойства атомов от их массы. Однако открытие изотопов показало, что от принципа Менделеева не следует полностью отказываться. Кедров в своем исследовании «Химические понятия в свете менделеевского наследства», опубликованном в 1947 г., отмечал, что, например, различие между водородом и его изотопом дейтерием заключается только в массе, но не в заряде и не в конфигурации электронной оболочки. Перед нами два изотопа, химически раз-

личные между собой. Это означает, что между числом протонов и нейтронов в ядре (массой) и химическими свойствами атома существует реальная связь.

Упомянув предельно кратко об исследованиях Б.М.Кедровым периодического закона, я хотел только подчеркнуть характерное для него стремление выявить проблемы и направить усилия на их разрешение. В данном случае в связи с анализом принципов периодического закона Б.М.Кедрову было важно детально разобраться в понятии массы.

В поддержке моих попыток прояснить понятие массы, равно как и понятие энергии, явно видится проявление характера подлинного исследователя. Кедров озабочен разработкой проблемы, а не одними своими успехами в ее решении. Иначе говоря, он видит, что важнейшее условие успешной работы над проблемой — это привлечение к ней других заинтересованных людей; он понимает, что различные подходы к проблеме открывают возможность более глубоко осмыслить интересующее его понятие. Надо ли говорить, что тогда я не очень осознавал эту его особенность, понимая лишь, что Кедров поощряет мои усилия в изучении интересующих меня проблем.

Сложности с защитой диссертации, связанные с тем, что Максимов оставался формально моим научным руководителем, были как-то преодолены. В этом помог И.В.Кузнецов, который невольно стал фактическим руководителем в разработке моей темы. В тексте кандидатской работы я никак не сослался на публикации Максимова — ни в положительном, ни в отрицательном смысле — это был мой сознательный выбор: я мог либо подвергнуть решительной критике примитивные высказывания Максимова, относящиеся к рассматриваемым вопросам, либо вообще не упоминать о его работах.

Бонифатий Михайлович выступил на защите моей кандидатской работы в качестве неофициального оппонента. В своем выступлении, как всегда в живом и убедительном стиле, он подверг критике работы Максимова, в которых давалась весьма упрощенная и, как становилось ясно, необоснованная ни в естественнонаучном, ни в философском смысле трактовка понятий массы и энергии. И вместе с тем в контексте критики Максимова Бонифатий Михайлович резко критиковал меня за то, что я не подверг критическому анализу высказывания своего

научного руководителя, связанные с темой диссертации. Нападая на мою позицию, он бросил крылатую фразу, которую я помню до сих пор: напрасно диссертант побоялся и обошел молчанием порочные воззрения своего научного руководителя — истина дороже кандидатской степени. В итоге ученый совет проголосовал за присвоение ученой степени. Позднее Кедров объяснил мне, что он сознательно критиковал меня, так как, по его мнению, именно такая критика положительно повлияла на голосование. Мне это было трудно понять, но, по-видимому, Кедров хорошо понимал психологические особенности своих коллег.

Упомянутые особенности философской среды выражали, я полагаю, особенности времени. Захваченность всепроникающей идеологией не могла пройти безболезненно. Как выразительно сказал поэт Наум Коржавин, имея в виду самого себя: «из сталинщины никто не вышел без потерь». Вместе с поэтом можно добавить к сказанному — и я не исключение. Кузнецов вместе с Кедровым готовили тогда сборник статей по философским вопросам физики. Сразу же после защиты мною кандидатской диссертации они привлекли меня к редакторской работе над этой книгой, которая вышла в 1952 г. Можно назвать это покаянием: ныне я сожалею о своем участии в подготовке и издании этой книги. Хотя, вместе с тем, если смотреть исторически отстраненно, можно сказать, что эта книга — зеркало идеологической круговерти того времени.

Я могу только удивляться жизнестойкости Бонифация Михайловича, который не отстраненно, а внутри идеологического пространства смог сохранять живой интерес к научным проблемам и проявлять при этом поразительную творческую энергию.

Потери — это потери; главное, чтобы после них и над ними оставалось нечто ценное и непреходящее. В этом отношении теоретическая ценность исследований Кедрова намного превышает неизбежные потери, обусловленные особенностями времени.

В конце 1970 г. Б.М.Кедров предложил мне перейти из Института философии в Институт истории естествознания и техники АН СССР, где он был тогда директором. Принимая меня в свой Институт, Кедров и на этот раз по-своему спасал меня, теперь уже от максимовых более жесткой формации, которые мои новые наивные

вопрошания донесли непосредственно всекомпетентным органам.

К этому времени в ИИЕТ был принят и И.С.Алексеев (мой бывший аспирант). Кедров поддержал наши совместные с Алексеевым усилия по осмыслению и разработке методологических принципов. Он вскоре и сам активно включился в нашу работу как автор и редактор. По его предложению, при его активной творческой помощи и организационной поддержке вышла серия книг, посвященная этим принципам (соответствия, дополнительности, симметрии, простоты, объяснения и др.).

В дни девяностолетия со дня рождения Бонифатия Михайловича я говорю, что благодарен судьбе за встречу с ним. Его благотворное влияние, его спасительное внимание, его творческая помощь определили не только мои интересы, но порою, в те трудные годы, и саму возможность жить и работать. Да, он был захвачен господствующим «единственно верным» учением. Но вместе с тем он оставался человеком как таковым. Он олицетворял собою глубокую дополнительность в смысле обобщенного принципа Нильса Бора: находясь внутри идеологии, он одновременно умел подниматься над ней в область независимой мысли, в сферу высокой культуры. Таким я помню его: человеком времени и человеком вечности.

А.И.Уемов (доктор философских наук, зав. отделом Института проблем рынка и экономико-экологических исследований АН Украины, Одесса). В последнее время все чаще появляются люди, говорящие о советской философии послевоенного периода лишь как о незыблемом идеологическом бастионе псевдосоциализма, укреплявшем его, наряду с партийно-государственным аппаратом, армией, КГБ и ГУЛАГом. С этой точки зрения смешно говорить о каких-то достижениях этой философии в своей профессиональной области, о том, что, наряду с преданными линии партии догматиками, были какие-то творчески мыслящие философы. Сейчас, быть может, и есть кое-какие философы-демократы, но появились они лишь после краха режима, который в свое время все они единодушно поддерживали.

Такая точка зрения, если вспомнить многих наших руководящих в то время философов, может показаться убедительной. Однако она делает происходящие события совершенно непонятными.

В истории человечества трудно найти другой пример столь быстрого и радикального краха идеологии, которая, вследствие тотальности средств ее внедрения в сознание людей, казалось бы, была обречена на многовековую незыблемость. И этот крах не был вызван грохотом артиллерийской канонады или ужасом атомной бомбардировки, как это было с нацизмом в Германии, фашизмом в Италии или духом Ямато в Японии. Враг не вторгался на нашу территорию. Напротив, мы сами всюду вторгались и наводили свои порядки. И. Шафаревич, подсчитав темпы прироста «наших» земель, предрекал скорую победу однопартийной коммунистической системы в мировом масштабе (*Шафаревич И.* Есть ли у России будущее? М., 1991. С. 413).

И вдруг все исчезло, как исчезает мираж в пустыне. Почему? Если не становиться на позиции мистицизма, то придется признать, что устои однопартийной системы давно работали не только на ее укрепление, но и на разрушение. Гигантское дерево должно было основательно сгнить изнутри, прежде чем рухнуть столь неожиданно быстро.

Особая роль в этом процессе, очевидно, принадлежала идеологическим устоям, и прежде всего — философии. Даже сугубо официальная философия не представляла собой незыблемого монолита. В ней шла борьба идей, которая чем дольше, тем в большей мере сеяла семена сомнения в незыблемости священных текстов марксизма-ленинизма. Философии обучали всех. Любой студент, желающий получить высшее образование, должен был «пройти» философию. Но чем толковее был студент и чем более сведущ был его преподаватель, тем большую роль играли эти сомнения. Одним из важнейших генераторов сомнений явился тот стержень, на котором была основана европейская культура XX в., а именно — наука. Вожди не могли игнорировать науку. Но они хотели от нее двух, по сути дела, исключаящих друг друга вещей. С одной стороны — полного подчинения идеологии, превращения науки в ее покорную служанку. С другой стороны, наука должна создавать экономическое и, главным образом, военное могущество империи. Вначале казалось, что обе задачи вполне совместимы друг с другом. На основе самой правильной идеологии строится самая правильная наука, которая, естественно, дает наилучшие практические результаты. Прежде всего, был на-

веден «порядок» в истории, искусствоведении, психологии, педологии — там, где не было четких критериев практических успехов. Иное дело — биология. Она напрямую связана с сельским хозяйством. Поэтому о практической отдаче судить можно было достаточно легко. Но даже и здесь долгое время господствовала надежда, что идеологически правильная мичуринская биология приведет к невиданным практическим результатам. На это рассчитывал не только Сталин, но и Хрущев. Однако уже Л.Берии стало ясно, что наведение идеологического порядка в физике могло лишить режим атомной и водородной бомбы. Поэтому физикам вышло послабление. Они могли заниматься свободомыслием, проповедуя то, что ортодоксальными философами считалось идеализмом.

И это стало вдохновлять некоторых философов. В зависимости от своих постов и природных склонностей философы разделились на две группы. Большая часть верноподданно проводила партийную линию в борьбе с наукой. Но находились философы, и их было не так уж мало, которые мужественно защищали науку, будь то биология, кибернетика или физика. Именно среди них мы находим гигантскую, хотя и противоречивую фигуру Б.М.Кедрова. Хотя сам Б.М.Кедров был убежден в святости всего того, что было написано классиками марксизма, прежде всего — Ф.Энгельсом и В.И.Лениным, объективно его борьба за науку способствовала такому напору свободомыслия, который в головах его многочисленных читателей и последователей исподволь разрушал те догмы, на которых держался режим.

Часто сравнивают советскую философию со средневековой схоластикой, которая, как известно, была служанкой богословия. Сравнение это более точное, чем обычно думают те, которые его проводят. Но работает оно не только в пользу отрицательной оценки советской философии. Как правильно заметил Гегель, раб, сделавшийся необходимым, становится господином. В средние века философия сумела навязать теологии свои проблемы. Именно в недрах ортодоксальной католической философии постепенно было подготовлено то брожение умов, которое в конечном счете привело к Реформации. Крайне интересно, что особую роль здесь играли те философы, которые были связаны с наукой. Это — члены ордена францисканцев, среди которых мы находим такие

крупные фигуры, как Гроссетест (Большая голова) и Роджер Бэкон. Современные католики полагают, что наука вообще была создана францисканцами, еще в XIII в. Быть может, это преувеличение. Но несомненно, что эпохе Возрождения мы привыкли приписывать многое из того, что было создано за 3—4 века до нее (в частности — знаменитый лозунг «знание — сила»).

Быть может, о Б.М.Кедрове имеет смысл сказать, что он в какой-то мере — «францисканец» советской философии. Можно отметить несомненные заслуги Б.М.Кедрова в борьбе за науку. Здесь и защита теории резонанса в химии, и защита научной биологии от Т.Д.Лысенко и его сторонников. Но роль Б.М.Кедрова к этому далеко не сводится. Стремясь согласовать святые для него тексты классиков с современной наукой, Б.М.Кедров зачастую доказывал нечто прямо противоположное желаемому. И этим он генерировал сомнение в идеологических устоях, будил мысль, которая вынуждена была искать решение поставленной проблемы совсем иными способами. Характерным в этом плане является построение Б.М.Кедровым развернутой, в трех томах, классификации наук на базе идей Ф.Энгельса о формах движения материи. Б.М.Кедров извлек все, что можно было извлечь из этих идей. И показал не столько их значимость, сколько ограниченность подхода, целиком основанного на понятиях материи и движения.

Основная идея такой классификации наук, как известно, заключается в следующем. Существуют различные формы движения, отличающиеся друг от друга по степени сложности. Более сложная — высшая форма движения включает в себя низшую, но не сводится к ней. Каждая наука изучает определенную форму движения. Последовательность расположения наук в их классификации вытекает из развития форм движения в ходе истории солнечной системы. Простейшей формой движения является механическая. Далее, в порядке усложнения, идут физическая, химическая, биологическая формы движения (жизнь). Эта последовательность определяет соответствующий порядок наук: «механика», «физика», «химия», «биология». Каждая форма движения имеет соответствующий материальный носитель. Поэтому науки могут быть определены через него. Тогда механика оказывается наукой о массах, физика — о молекулах, химия — об атомах, а биология — о белковых

соединениях. В логическом плане возможность таких определений очень существенна, поскольку помогает избежать порочного круга, который будет неизбежным в том случае, если науки определять через формы движения, не имея возможности определить форму движения независимо от соответствующей науки.

Историческое обоснование такой классификации связано как с развитием самой природы, так и с развитием ее познания. Стройность приведенной схемы очевидна. Однако она не охватывает все науки, даже естественные.

Поэтому Ф.Энгельс дополняет эту схему и приходит, по существу, к следующей классификации, напоминающей классификации Сен-Симона и Конта:

1. Науки о неживой природе: математика, астрономия, механика, физика, химия, геология.
2. Науки о живой природе — биология.
3. Науки об обществе — история.

Стройность классификации по формам движения здесь нарушается в ряде пунктов. Прежде всего — математике не соответствует никакой особой формы движения материи и никакого особого материального носителя. Эту трудность Ф.Энгельс и Б.М.Кедров стремятся преодолеть тем, что считают математику служебной дисциплиной, дающей инструментарий для изучения количественной стороны всякого движения, прежде всего механического. С астрономией можно, конечно, связать форму движения и определить ее носитель, но это не будет более простое движение, чем механическое. Тем более, нельзя включать астрономическое движение в физическое, химическое и т.д. в качестве одного из моментов, как это можно делать с механическим движением. И, наконец, биологическое движение не включает в себя геологическое.

Очевидно, классификация Ф.Энгельса в какой-то мере отображает состояние науки его времени и сейчас устарела. Но Б.М.Кедров настаивает на том, что «...если могло устареть конкретное решение проблемы, то лежащие в основе ее решения принципы должны остаться неизблемыми» (Кедров Б.М. Энгельс и естествознание. М., 1947. С. 443).

Однако, как можно говорить о неизблемости принципов, если взрыв атомной бомбы красноречиво доказывал правомерность словосочетания «атомная физика». Поскольку, с точки зрения Ф.Энгельса, атомы изучает

химия, а физика — это наука о молекулах, выражение «атомная физика» лишено смысла. И это не частный вопрос. Он имеет принципиальное значение, поскольку наличие атомной физики, равно как и молекулярной химии, делает неоднозначным соотношение между материальным носителем и формой движения. Возникает проблема — как определить, что именно в движении атомов и молекул относится к физической, а что к химической форме движения? Отвечая на этот вопрос, фактически придется опираться на знание о том, что изучает физика и что химия. Таким образом, при определении этих наук возникает порочный круг. Физика понимается как наука о физической форме движения, а физическая форма движения — это те аспекты в движении атомов и молекул, которые изучаются физикой. Аналогичное можно сказать и о химии.

Описанная ситуация свидетельствует о том, что необходимо менять не только конкретные детали, но и сами принципы классификации наук. Есть и другое основание, требующее такого изменения, еще более весомое. Оно связано с возникновением и, несмотря на сопротивление противников, признанием кибернетики как вполне уважаемой науки, достойной занять свое место в классификации наук. Увы! Места для кибернетики в классификации наук по формам движения не находилось. Более того, кибернетика ломала эту классификацию. Ее пришлось бы отнести и к наукам о неживой природе, и к наукам о живой природе, и к наукам об обществе.

Все же Б.М.Кедров сделал попытку найти место для кибернетики. Наиболее детально она изложена в третьем томе трилогии (*Кедров Б.М. Классификация наук. Прогноз о науке будущего. М., 1986. С. 309—320*). Здесь говорится об открытии новой — кибернетической — формы движения. Это — процессы управления, предполагающие ряд взаимодействующих движений, направленных определенным образом. Как и всякая другая форма движения, кибернетическое движение имеет своего «совершенно определенного» материального носителя. Это — «определенное устройство, каким является живой организм, общество, человеческий мозг, созданные человеком машины, весьма различные по своему качественному содержанию, поскольку они построены из физического материала» (там же. С. 314). Кибернетическая форма

движения имеет особенность — она не действует непосредственно на наши органы чувств. В этом она подобна квантовомеханической форме движения и мышлению. Это очень сложная форма движения, и поэтому здесь заметнее и резче выступает зависимость «формы движения от характера ее материального носителя» (там же. С. 315). Однако основоположники кибернетики подчеркивали не зависимость кибернетических отношений от материального субстрата, а независимость от него. Использование понятия формы движения применительно к кибернетике вряд ли более правомерно, чем применение понятия «математическая форма движения» для определения предмета математики.

И это было очевидно для многих. И вызывало протест. Б.М.Кедров своими исследованиями фактически показал, что та форма материализма, которая считалась ортодоксальной философией, по крайней мере, устарела. Необходимы новые идеи, чтобы разобраться в современной науке.

Характерно, что, будучи убежденным демократом, Б.М.Кедров приветствовал эти идеи и даже способствовал их публикации, несмотря на то, что они противоречили тому, что он стремился доказать в своих работах. В качестве альтернативы классификации по формам движения материи были разработаны принципы классификации наук, основанные на использовании категорий «вещь», «свойство», «отношение» (*Уемов А.И., Валенчик Р. Формальная типология научного знания и проблема его единства. Философия и естествознание. К семидесятилетию академика Б.М.Кедрова. М., 1974. С. 133—151; Уемов А.И. Формальные аспекты систематизации научного знания и процедур его развития. Системный анализ и научное знание. М., 1978. С. 95—141; Поликарпов А. Методология на научного познание. София, 1973. С. 138—153; Поликарпов А. Проблемы на научного познание от методологична гледна точка. София, 1977. С. 107—123 и др.*). Здесь мы имеем уже не ортодоксальную, по Энгельсу, философию. К современной науке оказалась ближе трактовка соотношения формы и материи, данная Аристотелем. Можно также говорить и об известном влиянии философов неокантианского направления (*Уемов А.И. Теоретико-системные аспекты дифференциации научного знания // Философская и социологическая мысль. Киев, 1992. № 11. С. 70—84*).

Сказанным выше мы не хотим создать впечатление чисто отрицательной роли работ Б.М.Кедрова, посвященных классификации наук. В ряде случаев ему удается так развить идеи классиков, что получается ценный научный результат, имеющий вполне самостоятельное значение. Так, используя идею Ф.Энгельса о том, что наибольших результатов следует ожидать на стыках между науками, Б.М.Кедров дает типологию таких стыков. Им выделены четыре типа синтеза различных наук. Первый — это интеграция — заполнение переходов между науками, изучающими более высокие и более низкие формы движения. Переход между физикой и химией составила физическая химия, между химией и биологией — биохимия, между химией и геологией — геохимия.

Другой тип синтеза — «цементация». Здесь нет заполнения промежутков, есть «наведение мостов». Например, поскольку химическая и физическая формы движения переходят друг в друга, возможна наука, специально изучающая этот переход. Это — химическая термодинамика, начало которой было положено Дж.У.Гиббсом и Я.Г.Вант Гоффом.

Третий тип синтеза — «фундаментация». Это — распространение метода одних наук на изучение объекта других. Так, к исследованию биологических объектов применяются химические и физические методы, а к изучению химических объектов приложимы методы физики.

Для четвертого типа синтеза Б.М.Кедров не нашел подходящего русского слова, назвав его «пивотацией» или «стержнизацией». «Так мы будем называть процесс пронизывания частных наук более общими, абстрактными (математическими) науками, которые отражают какую-то общую сторону (количественную, общую структуру, процессы управления и самоуправления и др.)». Соответствующая общая (абстрактная) наука выступает как «стержень, который пронизывает собой частные естественные науки» (Кедров Б.М. Классификация наук. Прогноз К.Маркса о науке будущего. М., 1985. С. 86).

Типология, предложенная Б.М.Кедровым, дает возможность оценить возникающие в настоящее время науки. Так, на грани между экономикой и экологией развивается новое научное направление — эконология (Мелешкин М.Т. Экономические проблемы Мирового океана. М., 1981). В типологии Б.М.Кедрова эконология

может рассматриваться как результат процесса цементации. Это дает возможность провести интересные аналогии между, казалось бы, никак не связанными друг с другом науками, такими, как экология и химическая термодинамика (см.: *Глушко В.Е., Сараева И.Н., Уемов А.И.* Теоретико-системный анализ предмета экологии и перспектив ее развития как нового научного направления. В печати). Отметим, что ценность идей Б.М.Кедрова о механизмах развития научного знания могла бы значительно возрасти, если бы они были соответствующим образом обобщены, в том числе с применением формальных методов. Это относится и ко многим другим идеям. Думается, что наш долг перед мыслителями, ушедшими в мир иной, заключается прежде всего в том, чтобы лучшая часть их душ — их идеи жили среди нас полнокровной жизнью. Особенно если речь идет о мыслителе такого калибра, как Б.М.Кедров.

Б.Г.Юдин (доктор философских наук, заведующий лабораторией Института человека РАН). Прежде всего, мне хотелось бы поблагодарить редакцию журнала за организацию этой встречи. Наш сегодняшний разговор идет как бы на двух уровнях. Первый — это уровень воспоминаний. Причем не только научного, но и личного характера, о человеке, богато одаренном и душевно щедром, прожившем большую и яркую жизнь. Это, если угодно, попытка оценить то, что было сделано Бонифатием Михайловичем, с позиций нынешнего состояния нашей философии или, точнее, с позиций того, как каждый из нас, здесь собравшихся, понимает ее нынешнее состояние.

Второй уровень — это характеристика и анализ в целом того периода развития нашей философии, который мы связываем с именем Б.М.Кедрова. А эта проблема представляется мне весьма важной и отнюдь не простой.

Начать с того, что многие сегодня отрицают саму осмысленность такой постановки проблемы. Весь этот период они считают чем-то вроде кошмарного сна, с которым нет смысла серьезно разбираться, отделавшись, быть может, зубоскальством либо несколькими саркастическими замечаниями в том роде, что все, пусть даже самые ожесточенные споры и дискуссии этого периода — если смотреть на них с нынешних «высот» — есть не больше, чем несущественные столкновения между адептами одного и того же лжеучения, лучше всего забыть о

них и начать философию с новой страницы. На мой взгляд, подобные умонастроения коренятся в той широко распространенной позиции интеллектуальных или околоинтеллектуальных кругов, которая полагает философию не более чем средством для обслуживания сиюминутных политических интересов: коль скоро весь спектр этих интересов кардинально изменился, ему должна соответствовать и принципиально новая философия.

Вообще, говоря, можно серьезно усомниться в том, что при такой позиции философская мысль будет более свободной, чем она была в тот период, о котором мы здесь говорим. Это может показаться странным, если принять во внимание, что философская литература — как классическая, так и современная, как отечественная, так и зарубежная — стала несравненно более доступной, что нет запретов на исповедание любой, даже самой экзотической философии.

Но все это — лишь внешние условия духовной свободы, и, как бы они ни были важны, все же и при их наличии мышление так и останется зависимым, если не будет самостоятельного усилия, внутреннего импульса к свободе. С этой точки зрения я и хотел бы говорить о Бонифатии Михайловиче Кедрове и о том периоде, когда он был одним из самых авторитетных наших философов.

В моей памяти он остался прежде всего как человек творческий, а творчество как раз и невозможно без внутренней свободы. И деятельность Б.М.Кедрова для меня важна именно тем, что он расширил пространство свободы, причем не только для себя, но и для всех тех, кто был вокруг него, кто сотрудничал, соглашался или спорил с ним. Давно было сказано, что дух дышит, где хочет. И можно поклоняться разным богам, но, тем не менее, находить общий язык, если это поклонение не зашоривает, а освобождает мысль.

Вообще в ситуации 60—70-х годов в нашей философии центральным мне видится противостояние двух тенденций. Существовала некоторая область дозволенного, границы которой, однако, никогда не были четко определены. Одна тенденция выражалась в стремлении неуклонно расширять эту область, это пространство свободы, за что всегда приходилось вести тяжелую борьбу. Именно эту тенденцию во многом и олицетворял Б.М.Кедров. Удавалось, скажем, процитировать какого-нибудь ранее запрещенного или хотя бы подозрительного философа,

да при этом и не обругать его, а потом опубликовать статью о нем, а потом — и какую-то его работу — примерно такими небольшими, но трудными шажками отвоевывались новые островки свободной мысли.

Потом, однако, мог появиться некто вроде В.Н.Ягодкина (который является для меня одним из характерных выразителей второй тенденции), шли доносы, разбирательства, оргвыводы — многое из добытого с таким трудом терялось, и надо было снова начинать толкать в гору сизифов камень... Добытая таким путем свобода ощущалась не столько как пьянящий легкий воздух, сколько в качестве бремени. Ибо вместе с ней приходилось брать на себя ответственность. Для Бонифатия Михайловича эта ответственность была особенно высокой, учитывая его роль в философии того времени. Он вполне понимал, что всякий удар, который доставал его, задевал сразу многих — не только какой-то институт или сектор, но целые направления нашей философии, а в конечном счете — и сам дух свободомыслия. И каким бы ограниченным ни казалось по сегодняшним меркам это пространство свободы, оно во всяком случае было пространством отвоеванным и освоенным.

Между прочим, в условиях постоянного прессинга на плечи Бонифатия Михайловича, как лидера философского сообщества, ложилось и такое бремя, как защита гонимых. Каждый из участников нашей сегодняшней встречи в свое время оказывался в крайне неприятном положении гонимого. И каждый, как и многие другие, получал в это нелегкое время защиту со стороны Бонифатия Михайловича. И, что характерно, принимая на себя эту ответственность, а нередко и сопряженный с нею риск, он никогда не искал при этом выигрыша для себя, не требовал взамен личной преданности, перехода на его философские позиции и т.п.

Мне кажется, когда свобода воспринимается как дарованная, а не как завоеванная, это вольно или невольно приглушает чувство ответственности за все сказанное и написанное. Такой дефицит ответственности, увы, очень часто ощущается сегодня — и в том, как просто иные авторы отрекаются от своих вчерашних воззрений, и в том, как легковесна порой бывает аргументация в работах философов.

Чем еще важно изучение закончившегося (да действительно ли закончившегося?) периода нашей философии

фии? Конечно, многие, хотя и далеко не все, из обсуждавшихся тогда проблем ушли в прошлое. Но не хотелось бы, чтобы вместе с ними ушла и та традиция добротной, профессиональной работы, которая с таким мучительным трудом складывалась долгие десятилетия. Эта традиция принесла немало глубоких и оригинальных — по самим высоким меркам — работ, дала плеяду ярких мыслителей, да и сама стала органической частью отечественной культуры. И если сейчас оборвать эту традицию, начать с чистого листа, то потом неоднократно еще придется открывать давно открытое, блуждать в давно исхоженных тупиках. Один раз, в 20-е годы, такой разрыв уже произошел, и его печальные последствия далеко не изжиты до сих пор. Так разумно ли снова отрешиваться от своего наследия, пусть даже оно сегодня кому-то и кажется скудным и несовременным, чтобы впоследствии вновь набивать синяки в поисках собственных истоков? Не лучше ли будет не насиловать традицию, а, дав отмереть тому, что нежизнеспособно, обогащать ее тем лучшим, что было в предшествующей русской философии, что было и есть в философии зарубежной, и уже на этой основе пытаться решать те вопросы, которые ставит время? И, может быть, пора уже сказать о том, что философия советского периода, при всем трагизме ее истории, при всех ее несообразностях, есть в конечном счете неотменимый этап в истории русской философии?

Я хотел бы закончить свое выступление воспоминаниями личного характера. В последние годы жизни Бонифатия Михайловича мне довелось много работать и общаться с ним, часто бывать у него дома. Много раз меня озадачивала его парадоксальность. С одной стороны, я видел в нем человека не просто опытного, но мудрого, который позволял мне увидеть то, чего я сам был не в состоянии заметить. Но, с другой стороны, я замечал и то, с каким чисто юношеским азартом он мог ввергаться в то, что мне представлялось авантюрой с совершенно неопределенным исходом. При этом одно как-то удивительно органично сочеталось с другим.

Он был неукротимым бойцом и очень сильным тактиком, и наблюдать его в пылу борьбы доставляло эстетическое удовольствие. Он, если воспользоваться боксерским термином, хорошо держал удар. Но мне приходилось видеть и то, как тяжело это ему доставалось, какую

острую душевную боль причиняли ему всякого рода клеветы и наветы. Это был, помимо всего прочего, о чем здесь уже говорилось, очень цельный и очень обаятельный человек.

В.Л.Рабинович (доктор философских наук, главный научный сотрудник Института человека РАН). Жизнь Б.М.Кедрова, почти равная веку, конгениальна этому веку. Она соотносима с временем, но соотносима особым образом: новое слово в общественных науках, а требовались тусклые банальности; честное слово коммуниста и гражданина — в безликом хоре улюлюкающих подпевал; живая мысль посреди мертвечины, выдающей себя за истинный марксизм; человеческий жест — в противовес машинной жестикуляции косноязыких манекенов; отважный поступок в защиту одного — наперекор ведомственной травле, устремленной к моральной гибели этого несчастного одного.

И все это — жизнетворяще и весело.

Замечательно сказано про него: он был человеком *веселого мужества*.

Его жизнь можно представить как две жизни: жизнь в обществе и жизнь в науке.

Сын профессионального революционера, Б.М.Кедров — делатель истории своей страны, участник гражданской и Отечественной, создатель и редактор нового журнала — «Вопросы философии», заступник-защитник «безродных космополитов», гуманный интернационалист, яростный спорщик с «народным академиком» Лысенко, учитель молодых философов...

И жизнь в науке: по-ломоносовски всеохватная, по-леонардовски праздничная — радостная... Мысль Б.М.Кедрова имела только одну точку опоры — неоспоримое научное знание, интернационально единое, не ведающее квасных приоритетов.

Что в этой, второй жизни видится и поныне? Какие ее пласты? История науки, философия естествознания, психология творчества, логика развития научного знания, теория познания, системный анализ науки... Все это области, в которых Бонифатий Михайлович был вполне своим: компетентным, пытливым, вовлекающим в свой длительный и продуктивный поиск новых учеников — сначала верных адептов, а потом оппонентов и полемистов... Но Учитель умел радоваться и этому, доверяя чужой мысли в ее несовпадении со своей собственной.

Так длились многие десятилетия эти две, казалось бы, разные жизни. Две в одной? А может быть, и не две вовсе, а одна? Но особая, ни на чью другую не похожая, как, впрочем, ни на кого не похож ее творец Бонифатий Михайлович Кедров.

Здесь я подошел, пожалуй, к самому главному в этой поучительной жизни.

Образ кабинетного ученого среди книг, книг, книг... Что может быть привычней в обыденном сознании, чем этот образ?! А общественное мельтешение и суэта — все это лишнее, они — помеха многознанию эрудита. Вихри общественных страстей за дверьми кабинета — уединенной обители книжной премудрости. Но философ Б.М.Кедров выбирает иное. Тишь библиотек, но и гул улицы — многоголосой, болеющей болью времени, радующейся радостями того же времени. Мысль и действие. Осмысленное действие, но и мысль, пригодная в дело. Правдивый человеческий жест. «Поступающее мышление» (М.Бахтин).

Это и есть советский общественвед, социалистический философ, чья жизнь — одна! — в науке и вне ее — всецело в опоре на Маркса и Энгельса, не ставших для Б.М.Кедрова иконами. Но живыми их делает живая мысль Кедрова-ученика, Кедрова-последователя, Кедрова-ученого.

Он верил стертым словам о дружбе народов (пишет М.А.Сулову письмо против антисемитизма), о социальной справедливости... Одним словом, верил... в советскую власть чистосердечно и простодушно. Жил в опоре на все эти правильные слова, которые, между прочим, никто не отменял и опереться на которые бывало не бесполезно. Простодушие с пользой для дела.

Это его *первый урок*, сполна преподанный нам.

Верность жизни, складывающей самое себя, доверие к жизни, противящейся насилию над собой. Это удивительное свойство ума и души Бонифатия Михайловича сделало его собственную жизнь *естественной*.

И это — его *второй урок*, тоже преподанный нам. Надо лишь воспользоваться этим уроком — самим прожить и пережить сие.

Верность жизни... Ясно, что речь здесь о жизни вне и вокруг науки, которой был одержим академик. Но этого недостаточно, потому что была у него и другая верность. И тоже верность жизни, но жизни тех, чьи твор-

ческие судьбы он изучал. Это жизнь первоисточников науки с трогательной к ним доверчивостью, высоким доверием. И они отвечали тем же: открывались ему всю душою. Рассказывали о себе все.

«День одного великого открытия» — об открытии Менделеевым Периодического закона — шедевр Мастера, естественный результат верности своим героям.

Это *третий урок*, которому тоже следует внять.

Философ своего времени, Б.М.Кедров в этом времени, как это уже отмечали, был неуместен, хотя выражал именно его. А неуместен он был двумя своими свойствами: *сам* писал и *сам* (без шпаргалки) говорил. Писал, что хотел. И говорил тоже, что хотел. То есть всего-навсего... умел говорить, читать и писать. Простить ему эти дерзости было нельзя. И не прощали. Противоестественное время не прощает то, что естественно, то есть свободно...

Научные идеи могут быть со временем скорректированы. Поэтому уроки Бонифатия Михайловича Кедрова, следующие только из его идей, — временные уроки. Но урокам естественной верности жизни, не сводимой — в отдельности — ни к философствованиям в кабинетной тиши, ни к действиям на жизненных сценах века, предстоит *быть*.

Сказанное, надеюсь, *имеет* отношение к сути дела; но, скорее, к сути общего дела, ради которого жил Б.М.Кедров. Индивидуальное вытесняется общезначимостью его идей и его поступков.

Мне повезло. Я знал его около двадцати лет. Более того. Я был одним из тех многих, за кого в трудную минуту активно заступился Б.М., радикально решив мою рушащуюся научную судьбу.

Это было в конце 70-х — начале 80-х годов. Тогдашний директор Института истории естествознания и техники АН СССР Семен Романович Микулинский в приступе тоскливой ко мне нелюбви решил меня вышвырнуть из института. (За что, почему и в подробностях — когда-нибудь в другой раз.) Сейчас только кое-что из этой леденящей душу истории.

Для общественности все началось с пометы на полях ксерокопии верстки «круглого стола» на тему «Культура, история, современность», проведенного журналом «Вопросы философии» в 1977 г. Ксерокопия предназначалась сектору философии Отдела науки ЦК КПСС, а

помета принадлежала перу цековского консультанта той поры (этику по специальности). Злополучная помета аккуратно пришлась на мое выступление, в коем речь шла об алхимии как феномене культуры. А реплика пронизательного этика из ЦК была такой: «И *это* в год 60-летия Октября?!» Для С.Р.Микулинского этого было вполне достаточно, чтобы начать угождать высокой инстанции мощным комплексом мероприятий: расширенным партбюро (без меня), расширенной дирекцией (здесь и далее — со мной), расширенным ученым советом, расширенным коллективом... Казалось, ширше уже некуда. Я не повинился. Но не потому, что был так уж смел. А потому, что никак не мог взять в толк, что означает *это* в год 60-летия, чем ввел в идеологическое бешенство директора. Бонифатий Михайлович, хлопнув дверью, брезгливо покинул одну из таких публичных пороков. Но, покидая, сказал: «Мерзко, когда директор член-корреспондент сводит счеты со своим младшим (тогда я был именно таким) сотрудником». В.Н.Садовский присоединился к Б.М., что было тогда тоже вполне героично. И так — далее... Аж до 1982 г. К этому времени С.Р.Микулинский включил в травлю все общественные службы Института — от партбюро и месткома до МОПРа и Красного полумесяца. Участвовали в отлове и отстреле и просто, так сказать, физические лица (в том числе и те, кто ходит сейчас в христоробивых гуманистках или же респектабельных ученых мужьях).

Чем бы все это кончилось, сказать трудно. Может быть, чем-нибудь сосудисто-недостаточным?.. Если бы не замечательный и добрый Б.М.

Просто выгнать на улицу было все-таки трудно. Евреев хоть и не брали на работу, но зато и не увольняли. Именно в эти годы ходил такой горький анекдот. У армянского радио спрашивают: чем отличается еврей от сиониста? — Еврей — это тот, кто уже работает. А сионист — который еще только хочет устроиться на работу. И Кедров придумал: передать меня со ставкой (к тому времени уже старшего) в Научный совет к И.Т.Фролову. (Лишь теперь понимаю — как холопа какого: от Семена Романовича к Ивану Тимофеевичу...) Зато был спасен, да что спасибо им всем.

И ангелы на небесах над Маргаритою из «Фауста»: «Спасена, спасена...»

Пуще всех обрадовался Семен Романович. Но, оказывается, на акт передачи меня необходимо было согласие Отдела науки того же ЦК КПСС. Во исполнение и во избежание работник ЦК КПСС в разговоре по телефону с Б.М.Кедровым сказал: ЦК не будет возражать, если в результате этой передачи будут довольны все: С.Р.Микулинский, Б.М.Кедров, И.Т.Фролов и... В.Л.Рабинович.

Вот, оказывается, чем занимался Отдел науки ЦК КПСС — мною, бедным беспартийным евреем. Так завершился мой путь — от «мании» преследования к «мании» величия.

Недолго поломавшись (больше для вида), я согласился. Н.И.Кузнецова, для скорости взяв такси, отвезла мою штатную единицу от С.Р.Микулинского — через П.Н.Федосеева — к Б.С.Украинцеву для И.Т.Фролова. Б.М. ликовал. С тех пор и поныне — я там (или здесь?). А мог бы и не взять меня Иван Тимофеевич. Наверное, пропал бы я тогда. Но... взял. За одно только это И.Т.Фролову — мое неизменное благодарствование. А Бонифатию Михайловичу Кедрову — всею памятью...

Веселый он был человек. Действительно, выдающийся тамадолог АН СССР. А может быть, даже и всего СССР. Экспромтщик и острослов.

А секторские — у него дома, когда он, больной, почти и не выходил вовсе, — заседания; круглые и не очень круглые юбилеи или просто так... С чаем, пирожками и вином, а то и с водочкой.

Я был на этих встречах непременно одописцем. Мало-помалу стал складываться канон таких вот стихотворных посланий. Сначала — после краткой величальной в честь Б.М. — о его ученом окружении, далее — еще о нем, а потом — в финале, в качестве хэппи-энда — о себе, в виде рифмованного автографа.

Между прочим, рифму к слову Рабинович впервые подобрал Б.М. И не какую-нибудь там — по окончанию — вроде Абрамович или Пейсахович, а коренную, цепкую. Б.М. всегда давал мне слово на подобных тамадологических мероприятиях в форме такого вот двустишия:

Чтоб не закралась в сердце горечь,
Имеет слово Рабинович.

(Вероятно, по пародийному образу райклубовского конферансье-затейника:

А сейчас артист Вуячич
Вам две песни зафигачит.)

Все смеялись... Но звонче всех — Б.М. И даже шуточкам, порою довольно-таки едким, в свой адрес. Но такое по росту действительно остроумному человеку, который мог мгновенно ответить. И отвечал. (В отличие от хмурого Семена Романовича. Бедняга! Такого он не умел. Впрочем, беднягой оказался я — как раз именно за это... — См. выше.)

В.И.Корюкин (кандидат философских наук, директор Центральной научной библиотеки Уральского отделения РАН, г.Екатеринбург). Мне посчастливилось без малого 20 лет встречаться и активно сотрудничать с Бонифатием Михайловичем Кедровым, который остался в памяти не только как выдающийся ученый, но и как человек высокой гражданственности и высокой личной культуры. Будучи марксистом (без кавычек!), Б.М.Кедров всю жизнь был противником «попугайского», лозунгового марксизма, вульгарного социологизма и воинствующего дилетантизма. Увы, как говорится, «все течет, но ничего не меняется»: сегодня нас снова захлестывают лозунговость и сверхвоинствующий дилетантизм с обратным знаком по принципу: «и я сжег все, чему поклонялся, поклонился всему, что сжигал».

Б.М.Кедров как человек и ученый сформировался под влиянием трех основных факторов: революции, которой он принадлежал по рождению, и идеи, которую он отстаивал до конца своих дней (думаю, сегодня также отстаивал бы ее с талантом и блеском); демократической культуры, столь органично ему присущей, основанной на глубоком уважении к человеку и его труду; науки, которую он понимал глубоко, по существу, и которой отдавал все свои силы.

Разумеется, Б.М.Кедров был сыном своего сложного времени, для которого характерны как наивысшие подъемы человеческого духа, так и наиглубочайшие его падения... Что греха таить, Б.М.Кедров отдал определенную, хотя и весьма скромную, дань идеологической форме, господствовавшей в нашей научной литературе в конце 40-х — начале 50-х годов. Однако суть его позиции всегда была связана с *защитой историзма* в познании, с *уважением к научному факту*, с рассмотрением любых теорий и взглядов по существу, в их точном историческом контексте. Как все люди, он мог заблуждаться, не

все наследие Б.М.Кедрова выдержит, вероятно, проверку временем, однако ему было чуждо стремление подогнать науку под сиюминутные конъюнктурные соображения, не говоря уже о соображениях карьерных и корыстных.

Работать с Б.М.Кедровым было не просто. Отдаваясь работе целиком и с увлечением, он не требовал, а скорее предполагал подобное и у других. В нем не было ничего от отрицательных черт «главы школы», он, на удивление многим «маститым» и вознесенным, все всегда писал сам, внимательнейшим образом редактировал все, что несло на титуле «Ответственный редактор Б.М.Кедров». Его, пожалуй, можно было упрекнуть в несколько преувеличенном пиетете по отношению к Марксу, Энгельсу, Ленину, чьи работы, в отличие от нынешних скороспелых отвергателей, он знал досконально и понимал глубоко. Справедливым было и условие, которое после многочисленных и порой острых обсуждений было выдвинуто Б.М.Кедровым перед участниками дискуссий на актуальные философские темы: точно фиксировать несогласие с классиками («иду на вы») и приводить четкие аргументы в обоснование своей позиции. Думаю, что сегодняшние наезднические упражнения в отношении марксистской классики встретили бы со стороны Б.М.Кедрова резкое осуждение прежде всего из-за незнания критиками предмета и фактического отсутствия связной аргументации. Кстати, сам Б.М.Кедров был готов уточнить свою позицию, обсудить заново проблему, если находил, что аргументы оппонента весомы. Могу лично засвидетельствовать, что так было в отношении оценки работ А.Пуанкаре, а также понимания знаменитой ленинской цитаты из Гегеля: «Сознание не только отражает мир, но и творит его».

Уместно вспомнить сегодня, что Б.М.Кедров сыграл большую роль в жизни многих людей, и поныне активно работающих в науке: защищал от клеветы и утеснений, помогал «пробить» диссертации и публикации, устраивал на работу, помогал материально.

Словом, «он человек был, человек во всем, ему подобных мне уже не встретить»...

В. Н. Садовский

Б.М.КЕДРОВ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИЛОСОФСКОЕ СООБЩЕСТВО

Девяностолетие со дня рождения Б.М.Кедрова — хороший повод для того, чтобы попытаться рассказать о Бонифатии Михайловиче как о человеке, яркой личности, крупном ученом, философе и историке науки, вспомнить наиболее характерные эпизоды его жизни. Конечно, каждый из нас, кому посчастливилось — в большей или меньшей степени, длительное время или хотя бы очень кратко — общаться с Бонифатием Михайловичем, в состоянии осветить лишь некоторые стороны его богатой и яркой деятельности, однако совместными усилиями мы, я надеюсь, способны воссоздать более или менее полный портрет Бонифатия Михайловича.

В этих заметках я буду говорить о Б.М.Кедрове и международном философском сообществе 50—80-х годов XX в. Именно это сторона деятельности Б.М.Кедрова — точнее, некоторая часть этой стороны его деятельности — оказалась наиболее знакомой мне, и причина этому проста: перейдя в конце 1967 г. на работу из журнала «Вопросы философии» в Институт истории естествознания и техники Академии наук СССР, который возглавлял в то время Б.М.Кедров, я очень скоро по его предложению был избран ученым секретарем Отделения логики, методологии и философии науки Советского национального объединения истории и философии естествознания и техники. Б.М.Кедров, начиная с 1962 г. и до конца жизни, был Председателем этого Объединения и активно участвовал в работе Отделения логики, методологии и философии науки. Выполняя функции ученого секретаря, я и многие мои коллеги и друзья — прежде всего В.А.Смирнов, М.В.Попович, В.А.Лекторский, И.А.Акчурин, Б.С.Грязнов, а также видные советские математики А.А.Марков и Ю.Л.Ершов — постоянно общались с Б.М.Кедровым и видели его в напряженной, активной работе по организации научных мероприятий Объединения как в стране, так и за рубежом. Думаю, не ошибусь, если скажу, что, начиная с середины 60-х годов, на протяжении 15—20 лет философия науки и математическая логика были теми научными областями, в которых удалось создать широкое международное научное сотрудничество советских специалистов. Интенсив-

ные научные контакты по истории философии и другим разделам философии, которые развернулись с конца 70-х годов, во многом, как мне кажется, опирались на положительный опыт, достигнутый ранее в философии науки. В этом несомненная большая заслуга Бонифатия Михайловича Кедрова.

* * *

Международная деятельность в области философии науки в первые послевоенные годы организовывалась только что возникшим Международным союзом философии науки, который провел в конце 40-х — 50-х годах два международных конгресса по этим проблемам. Во втором таком конгрессе (Швейцария, Цюрих, 1954) впервые после войны участвовали советские философы, в том числе Б.М.Кедров. В конце 50-х годов этот Международный союз объединился с аналогичным Международным союзом истории науки, образовав Международный союз истории и философии науки с двумя Отделениями — Отделением истории науки и Отделением логики, методологии и философии науки. Первое Отделение продолжало заложенную еще до Второй мировой войны традицию созыва с интервалом в 3—4 года Международных конгрессов по истории науки (первый такой послевоенный конгресс — V по порядковому номеру — состоялся в 1947 г. в Лозанне, Швейцария, а последний XIX конгресс в 1993 г. в Сарагосе, Испания). Второе Отделение провело I Международный конгресс по логике, методологии и философии науки в Стэнфорде, США, в 1960; в 1991 г. в Упсала, Швеция, состоялся IX такой конгресс. Очень важный и чрезвычайно плодотворный аспект международной научной деятельности Б.М.Кедрова был связан именно с конгрессами по логике, методологии и философии науки.

Как уже было сказано, Б.М.Кедров принимал участие в работе II конгресса 1954 г., он был участником I (Стэнфорд, США, 1960), III (Амстердам, Нидерланды, 1967), IV (Бухарест, Румыния, 1971), V (Лондон, Онтарио, Канада, 1975) и VI (Ганновер, ФРГ, 1979) Международных конгрессов по логике, методологии и философии науки. На III—VI конгрессах Б.М.Кедров был руководителем советских делегаций, в некоторых случаях весьма многочисленных (до 100 человек). Бонифатий

Михайлович активно готовился к участию в VII Международном логическом конгрессе (Зальцбург, Австрия, 1983), был председателем Советского оргкомитета по подготовке к этому конгрессу, но состояние здоровья не позволило ему поехать в Австрию. А на следующем — VIII логическом конгрессе, который состоялся в Москве в 1987 г., через два года после кончины Б.М.Кедрова, на специальном мемориальном заседании многие зарубежные и советские участники конгресса очень тепло говорили о нем как о крупном ученом и прекрасном человеке.

Естественно, на всех Международных конгрессах по логике, методологии и философии науки Бонифатий Михайлович выступал с докладами по приглашению, к прочтению которых привлекались наиболее известные философы и логики со всего мира. Б.М.Кедров установил обширные научные связи со многими зарубежными специалистами по философии науки и логиками, что приводило к дальнейшим научным контактам, взаимным посещениям, чтению лекций как в СССР, так и за рубежом, интенсивному обмену информацией и т.п. Особенно тесными и даже дружескими были научные связи Б.М.Кедрова с группой американских и европейских философов и логиков, которые практически на всем протяжении истории этих конгрессов составляли (и во многом составляют сейчас) руководящее ядро по организации деятельности Отделения логики и по проведению таких конгрессов. Здесь в первую очередь следует назвать Патрика Суппеса, Роберта Коэна, Маркса Вартофского, Эрвина Хиберта, Эрнана Макмаллина (США), Джонатана Коэна, Мэри Хессе (Великобритания), Яакко Хинтикку (Финляндия — США), Ежи Лося, Ришарда Вуйцицкого (Польша), Ладислава Тондла, Карела Берку (Чехословакия), Михайло Марковича (Югославия) и многих других. Нет нужды особо говорить о том, что эта деятельность Б.М.Кедрова во многом открыла более молодым его коллегам дорогу в международное философско-логическое сообщество. Нельзя, однако, не упомянуть того, что Б.М.Кедров, а вместе с ним П.В.Копнин, Г.П.Щедровицкий, М.В.Попович, В.А.Смирнов, В.С.Степнин, Б.С.Грязнов и многие другие приложили много усилий для того, чтобы, начиная с начала 60-х годов, организовать в СССР — в разных городах и республиках — систематическое проведение Всесоюзных конференций по

логике и методологии науки, многочисленных симпозиумов по этой проблематике.

Международная научная деятельность Б.М.Кедрова не ограничивалась только проблемами философии науки и современной формальной логики. Бонифатий Михайлович очень много сделал в области истории науки — и как исследователь, и как организатор практически всех крупных союзных и международных мероприятий в этой области в 60—80-е годы. Он был руководителем советских делегаций на XI (1965, Польша), XII (1968, Франция), XIII (1971, СССР) Международных конгрессах по истории науки, председателем оргбюро XIV Международного конгресса по истории науки (1974, Япония), входил в состав руководящих органов Отделения истории науки Международного союза истории и философии науки, участвовал во многих международных конференциях по проблемам истории науки, по вопросам науковедения, в международных гегелевских, лейбницеvских и других конгрессах, в 1963 г. был избран членом-корреспондентом, а в 1966 г. действительным членом Международной академии истории науки (одновременно с избранием действительным членом Академии наук СССР).

Еще одной важной сферой международной научной деятельности Б.М.Кедрова были международные философские конгрессы. В 1958 г. он принял участие в работе XII Международного философского конгресса (Италия) и в дальнейшем активно участвовал в организации Международных (впоследствии — Всемирных) философских конгрессов, представил свои доклады на XV (Болгария, 1973) и XVI (ФРГ, 1978) Всемирные философские конгрессы. Огромную работу Б.М.Кедрову пришлось выполнить по организации в Москве XIII Международного конгресса по истории науки (1971) и X Международного гегелевского конгресса (1974).

К сказанному следует добавить, что, начиная с 1954 г., Б.М.Кедров несколько десятков раз выезжал в разные страны для чтения лекций по философии и истории науки, на совещания директоров институтов философии и социологии, главных редакторов философских и социологических журналов социалистических стран. В начале 70-х годов он возглавил советско-чехословацкий коллектив по подготовке труда «Человек — наука — техника». К этой работе были привлечены лучшие силы философов и историков науки двух стран, и подготовка

этого издания потребовала от Б.М.Кедрова больших усилий. (Человек — наука — техника. М., 1973. Издано также на английском языке: *Man Science. Technology: A Marxist Analysis of Scientific-Technological Revolution*. Moscow, Prague: Acad. Prague: 1973).

Всего за 25 лет — 1954 (первая поездка Б.М.Кедрова за рубеж) — 1979 (последние выезды за границу) — он посетил около 20 стран и в общей сложности был за границей более 50 раз. (См.: Бонифатий Михайлович Кедров // *Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия философии, выпуск 3*. М.: Наука. 1985. С. 5—12.) Конечно, охватить в этих моих заметках все стороны международной деятельности Б.М.Кедрова я не в состоянии. Я буду говорить о том, что было мне известно по личному опыту, рассказам Бонифатия Михайловича и на основании знакомства с соответствующей литературой.

* * *

Свое изложение я должен начать с 1954 г., когда Б.М.Кедров в составе советской делегации выехал в Швейцарию для участия в работе II Международного конгресса Международного союза философии науки. Естественно, я не мог быть свидетелем этого события, так как в то время только успел преодолеть половину философского университетского курса, но не рассказать об этом событии — очень важном для советской философии — ни в коем случае нельзя, так как это было не только первое появление советских философов на международной арене в послевоенный период, но оно во многом определило — в значительной мере благодаря активной позиции Бонифатия Михайловича — характер дальнейшего советского международного философского сотрудничества, особенно в первые послевоенные десятилетия. Рассказывая об этом конгрессе, я опираюсь на его опубликованные материалы (*Actes du II Congrès international de l'Union internationale de philosophie des sciences*. Zürich, 1954. Vol. 1—3. Neuchatel, 1955), рассказы и неопубликованные «Воспоминания» Бонифатия Михайловича и на беседу, которая состоялась у нас с В.А.Смирновым в 1967 г. в Амстердаме во время III Международного конгресса по логике, методологии и философии науки с Альфредом Тарским, одним из выдающихся ло-

гиков XX в., который был активным участником этого конгресса.

Итак, конец лета 1954 г. Страна, да и весь мир, полтора года прожили без И.В.Сталина. Не было уже и Л.П.Берии. И хотя в СССР за это время мало что изменилось (до доклада Н.С.Хрущева на XX съезде КПСС оставалось полтора года), одно важное изменение было очевидно: исчез тотальный страх — страх мгновенно потерять свободу и жизнь.

Как можно судить по рассказам Б.М.Кедрова и его близких, значительно полегчало на душе и у него. Последние годы жизни Сталина Бонифатий Михайлович был чуть ли не идеальным кандидатом сначала на Лубянку, затем в лагеря со всеми вытекающими отсюда последствиями. Действительно, близкие родственники — отец и брат — репрессированы, как выяснится позднее, если не при личном участии Берии, то во всяком случае по его прямым указаниям. Вознесенный в одночасье на философский Олимп в 1947 г., заняв высокопрестижный пост главного редактора журнала «Вопросы философии», сразу же обретя множество недругов и завистников, Б.М.Кедров не менее стремительно буквально через год был сброшен с этого Олимпа, приобретя к тому же по ходу дела репутацию чуть ли не главного идеолога космополитизма в философии. (См.: *Батыгин Г.С., Девятко И.Ф.* Пятый пункт основного вопроса философии. Эпизоды 40-х годов // Человек. 1993. № 3. С. 109—118.) Двух цитат из публикаций того зловещего времени вполне достаточно, чтобы наглядно представить тогдашнюю атмосферу и оценить степень опасности, которая угрожала Б.М.Кедрову: «Космополитические взгляды Б.Кедрова тесно переплетаются с его антимарксистскими, идеалистическими воззрениями», «Поистине, лавры Дюринга не дают Кедрову покоя. Создав эклектическую окрошку, смешав в кучу материалистические и идеалистические воззрения, этот новоявленный Дюринг проповедует порочные антимарксистские идейки, засоряющие головы молодых научных работников. По целому ряду философских вопросов Б.Кедров прямо скатывается в болото идеализма» (*Митин М.* Против антимарксистских космополитических «теорий» в философии // Литературная газета. 16 марта 1949 г. № 22). Сам же Бонифатий Михайлович в своих неопубликованных «Воспоминаниях» называет это время «лихолети-

ем», «переломным моментом» всей его жизни и деятельности и считает, что главным для него тогда «было одно: выжить и выстоять». Защищать его было некому: А.Жданова, который так или иначе нес ответственность за все философские события 1947—1948 гг., уже не было в живых, да и не принято это было при советской системе. Даже место основной работы, на которую после всех этих событий перешел в 1949 г. Бонифатий Михайлович, — Большая Советская Энциклопедия — имело очень плохую репутацию; отсюда нередко (достаточно вспомнить Я.Стэна) путь лежал прямо в Сибирь, а то и того хуже. Впрочем, безопасных мест работы тогда вообще не было.

Однако, слава Богу, пронесло, и в 1954 г. Б.М.Кедров, практически находясь на периферии московской философской жизни, включен в состав первой послевоенной советской философской делегации, решившей прорвать кордон и донести до философски наивного и глубоко заблуждающегося Запада марксистско-ленинскую философскую мудрость. Я не иронизирую, а думаю, что довольно точно воспроизвожу основную идеологическую задачу, поставленную перед этой делегацией, которую возглавил П.Н.Федосеев, стремительно двигавшийся в то время к заветному посту официального советского философа номер один, который он и занял в самом скором времени.

Мне не известна реальная предыстория этой поездки — следует посмотреть Архив Академии наук СССР, возможно, там есть кое-какие материалы на этот счет. Известна, однако, общая обстановка, в которой оказалась возможной эта поездка советских философов в Швейцарию. После 1953 г. советская интеллигенция стала постепенно прокладывать дорогу за рубеж. Сначала это сделали писатели, затем представители других слоев интеллигенции — наконец, наступило время философов.

Имея некоторое представление о характере советской философии в начале 50-х годов, когда ко всему прочему практически отсутствовала философская информационная служба, представить, что тогдашние официальные руководители советской философии узнали о предстоящем II Международном конгрессе по философии науки из зарубежных философских журналов и после этого предприняли соответствующие шаги, — это фантастика.

Скорее всего, была инициатива организаторов конгресса, хорошо отражающая умонастроения либеральной западной интеллигенции того времени. Несмотря на то (а может быть, именно потому) что холодная война была еще в самом разгаре, прогрессивная западная интеллигенция испытывала большой интерес к Советскому Союзу, особенно учитывая, что коммунистический мир вступил в послесталинский период. Отсюда кажется очень правдоподобным, что тогдашние советские руководители получили приглашение прислать на конгресс советских философов, добились решения ЦК партии, и колесо закрутилось. Надо думать, что в этом приглашении говорилось о том, что предстоящий конгресс будет посвящен обсуждению проблем философии науки, чем и объясняется во многом весьма неожиданное предложение Б.М.Кедрову войти в состав делегации. Ведь у Бонифатия Михайловича вот уже два десятка лет была репутация философа, работающего именно в этой области, да к тому же в то время чуть ли не единственного.

Как бы там ни было, но в конце августа 1954 г. достаточно представительная советская философская делегация в сопровождении переводчиков прибыла в Цюрих. (С одним из переводчиков М.И.Зайцевой я работал в конце 50 — начале 60-х годов в Институте философии АН СССР, и она кое-что рассказывала об этом конгрессе.) В советской делегации в основном были специалисты по историческому материализму и истории философии, и, хотя эта проблематика была далека от основной тематики конгресса, любезные его организаторы всем предоставили слово для докладов, а два советских участника — П.Н.Федосеев как руководитель делегации и Б.М.Кедров в знак явного признания его научного авторитета в философии науки — получили возможность выступить на пленарных заседаниях.

Думается, что такому решению относительно Б.М.Кедрова способствовал и тот совершенно уникальный для того времени факт, что Б.М. опубликовал в 1949 г. статью «Атомистика Дальтона и ее философское значение» в одном из самых солидных западных философских журналов «*Philosophy and Phenomenological Research*» (*Kedrov B.M. Dalton's Atomic Theory and its Philosophical Significance // Philosophy and Phenomenological Research. 1949. Vol. 9. № 4. P. 644—662*). Эта статья, отражающая основное содержание доктор-

ской диссертации Б.М.Кедрова, ранее была опубликована на русском языке в «Известиях АН СССР» (Серия истории и философии. 1947. Т. 4. № 6. С. 487—504). Представляется, что и в этом случае инициатива исходила не от Б.М.Кедрова, а от журнала, и эта публикация в той или иной степени была известна западным философам.

В то время информация о современной западной философии была у советских философов весьма скудной, и поэтому получилось так, что советская делегация, оказавшись в Швейцарии, угодила, если пользоваться языком тогдашней официальной философии, в «логово» своих самых заклятых врагов — неопозитивистов, не обладая к тому же достаточными знаниями о сути их философско-логических концепций. Правда, неопозитивизм в первые послевоенные годы был уже не тот, что в 30-е годы. Исчезла философская уверенность в безусловной истинности своей концепции, неопозитивизм стал более терпимым по отношению к метафизическим философским системам, явственно стали проявляться внутренние противоречия его доктрин, некоторых признанных лидеров неопозитивизма уже не было в живых — Л.Витгенштейна, Г.Рейхенбаха, О.Нейрата. К тому же в европейской послевоенной философии и психологии тон задавали такие философы, как Ф.Гонсет, Э.Бет, Ж.Пиаже, Ж.-Л.Детуш, П.Феврие-Детуш, Г. фон Вригт и некоторые другие, которых нельзя было — во всяком случае безоговорочно — причислить к неопозитивизму. Именно они играли заглавную роль на Цюрихском конгрессе.

Я не берусь судить и оценивать доклады советских участников II Международного конгресса по философии науки — они, конечно, отражали тогдашний уровень советской философии, да к тому же во многих случаях по своей проблематике не имели прямого отношения к теме конгресса. Следует, однако, привести мнение об одном таком докладе, которое высказал нам с В.А.Смирновым Альфред Тарский в уже упоминавшейся беседе. С глубоким сожалением — я подчеркиваю это — он сказал: «На конгрессе одним советским философом был сделан доклад по проблеме истины, из которого было ясно, что докладчик не имеет никакого представления о разработанной этой проблематике в последние десятилетия». А.Тарскому — философу и логика, внесшему в XX в. именно

в разработку проблемы истины очень большой вклад, следует поверить безусловно.

По-иному был встречен на конгрессе пленарный доклад Б.М.Кедрова на тему «О классификации наук» (*Kedrov B.M. Sur la classification des sciences // Actes du II Congrès international de l'Union internationale de philosophie des sciences. Zürich, 1954. Vol. I Exposés généraux. Neuchatel, 1955. P. 67–77.* На русском языке этот доклад опубликован в журнале «Вопросы философии». 1955. № 2. С. 49–68). В докладе была изложена разработанная автором на основе идей Ф.Энгельса теория классификации наук, базирующаяся на принципах объективности и субординации (развития). Центральное место в докладе занимало обсуждение предложенного Б.М.Кедровым «треугольника наук» и следствий, которые вытекали из этой теоретической конструкции в виде линейной классификации наук. (Впоследствии в результате многолетних исследований Б.М.Кедров подробно изложил эту теорию в трехтомной монографии «Классификация наук»: Кн. 1. Энгельс и его предшественники. М., 1961; Кн. 2. От Ленина до наших дней. М., 1965; Кн. 3. Прогноз К.Маркса о науке будущего. М., 1985, издано также на немецком и французском языках.)

Вспоминая через четверть века Цюрихский конгресс, Б.М.Кедров писал: «При обсуждении моего доклада "О классификации наук" Ж.Пиаже выступил и в целом поддержал идею доклада. Особенно мне понравилось, как он возражал против того, что я не отнес психологию к числу основных наук (естествознание, общественные науки и философия), а поставил ее между ними. После моего доклада Ж.Пиаже поймал меня в кулуарах конгресса, и мы продолжали с ним беседу... о классификации наук и о месте психологии в общей системе наук. Я сказал ему, что мне понравилась его кольцевая система наук, изложенная им в его "Введении в генетическую эпистемологию" (*Piaget J. Introduction a l'épistemologie génétique. Vol. 1–3. Paris, 1949–1950*) ...хотя я не во всем согласен с ним в данном вопросе... Я еще добавил, что я тоже пришел к идее о замыкании линейного ряда наук в кольцо, но местом замыкания у меня оказалась не психология, как у него, а логика, поскольку объективная логика стояла у меня в начале ряда наук, а субъективная — в его конце. Ж.Пиаже высказал удивление, что

во второй раз наши с ним идеи в чем-то сближаются, несмотря на то что между ними имеются существенные различия. "Вы диалектик, а я нет", — сказал он и пояснил: "В нашем понимании"». (Кедров Б.М. Пять встреч с Жаном Пиаже // Вопросы философии. 1981. № 9. С. 147—148. В этой цитате говорится о втором совпадении взглядов Ж.Пиаже и Б.М.Кедрова; первое касается совпадения подходов к разработке комбинаторного метода «исчисления предложений»: см. там же. С. 147).

Дискуссия в Цюрихе между Б.М.Кедровым и Ж.Пиаже имела, как минимум, два важных следствия. Во-первых, она свидетельствовала о том, что между ними возникла определенная интеллектуальная близость. Она охватила не только Б.М.Кедрова и Ж.Пиаже, но еще несколько других, в основном франкоязычных философов — участников конгресса, прежде всего Ж.-Л.Детуша и П.Феврие-Детуш, в определенной степени Ф.Гонсета. Эти очень влиятельные в то время западные философы и психологи во многом способствовали тому, что Б.М.Кедров, а впоследствии и его более молодые коллеги нашли пути к научному сотрудничеству с западными философами. И, во-вторых, Ж.Пиаже, с которым Б.М.Кедров встречался еще четыре раза — в конце 50-х годов, в 1962, 1966 и, наконец, в 1967 гг., постоянно проявлял интерес к предложенной Б.М.Кедровым теории классификации наук (что хорошо соответствовало повышенному интересу маститого Женевского психолога к разработке фундаментальных философских проблем) и в конечном итоге изложил основы кедровской теории в изданном под его редакцией томе «Encyclopédic de la Pléiade» (Encyclopédie de la Pléiade. Logique et connaissance scientifique. Volume publié sous la direction de Jean Piaget. Vol. 22. Paris, 1967. P. 1166—1169). Это описание Ж.Пиаже концепции классификации наук, предложенной Б.М.Кедровым, очень любопытно, и интересующийся читатель может с ним познакомиться по упомянутой ранее статье Б.М.Кедрова «Пять встреч с Жаном Пиаже» (с. 155—156). Один пункт дискуссии между Ж.Пиаже и Б.М.Кедровым я загляну в дальнейшем.

* * *

Итак, первое личное общение Бонифатия Михайловича Кедрова с западным философским сообществом оказалось успешным. Следующего подходящего случая пришлось ждать четыре года, когда в Венеции с 12 по 18 сентября 1958 г. проходил XII Международный философский конгресс. На конгресс прибыла весьма представительная делегация и научно-туристическая группа из СССР (всего 28 человек), возглавляемая на этот раз М.Б.Митиным. Б.М.Кедров — в составе делегации, а также несколько близких к нему по духу философов — М.Э.Омельяновский, М.М.Розенталь, П.В.Копнин, Г.А.Курсанов, Д.П.Горский и некоторые другие. Философская ситуация в стране после 1956 г. стала быстро меняться, по крайней мере внешне; делегация тщательно готовилась к поездке, изучала предварительные материалы конгресса, знакомилась с основными работами его главных участников, до конгресса были изданы «Доклады и выступления представителей советской философской науки на XII Международном философском конгрессе» (Москва, 1958) и т.п. Результаты конгресса (пленарные доклады по трем основным темам конгресса: «Человек и природа» (М.Б.Митин, СССР; Ф.Франк, США; И.Лотц, ФРГ), «Свобода и ценность» (М.Реале, Бразилия; А.Демпф, ФРГ; А.Муньес-Алонсо, Испания; Р.Маккеон, США) и «Логика, язык и коммуникация» (Х.Перельман, Бельгия; А.Айер, Великобритания; Э.Форе, Франция) были опубликованы в: *Relazioni introduttive. Atti del XII Congresso Internazionale di filosofia. (Venezia, 12—18 Settembre 1958). Firenze, 1958*) широко обсуждались как в западной, так и в советской философской литературе (см., например: *Kurtz P. International Congresses and International Tensions // The Journal of Philosophy. 1958. Vol. LV. № 26; Randall J.H. The Mirror of USSR Philosophizing // The Journal of Philosophy. 1958. Vol. LV. № 23; Юлина Н.С., Михаленко Ю.П., Садовский В.Н. Некоторые проблемы современной философии. Критический обзор материалов XII Международного философского конгресса (Венеция, 1958). М., 1960; Мельвиль Ю.К. О главных течениях идеалистической философии на XII Международном философском конгрессе // Научные доклады высшей школы. Философские науки. 1959.*

№ 2. Отмечу также, что в домашнем архиве Б.М.Кедрова имеются интересные «Замечания делегата о XII философском конгрессе в Венеции», с которыми мне удалось познакомиться и которые я частично использую в этом тексте). В целом этот конгресс оказался довольно важным событием научной и культурной жизни мира.

В 1958 г. Б.М.Кедров формально продолжал оставаться в московской философской жизни на вторых ролях: не был членом Академии наук (членом-корреспондентом его изберут только в 1960 г.), хотя и ушел с работы из Большой Советской Энциклопедии, но только на должность старшего научного сотрудника Института истории естествознания и техники АН СССР, т.е. на должность, которую в то время обычно занимали кандидаты наук. Вместе с тем его научное реноме, как и прежде, было весьма высоким.

На Международном философском конгрессе Б.М.Кедров выступил на секции гносеологии и эпистемологии с докладом «Определение научных понятий через закон». Как позднее он вспоминал, на его докладе была весьма представительная аудитория (около 70 человек), однако людей, сведущих в тематике доклада, было немного: обычная история на больших международных конгрессах, когда одновременно работают несколько секций. В докладе Б.М.Кедрова на основе анализа физического и химического материала были выделены различные типы взаимоотношения между законами науки и соответствующими естественнонаучными понятиями: отношения коррективы, ликвидации, генезиса, копуляции, конкретизации и эволюции (см.: *Кедров Б.М. Определение научных понятий через закон // Доклады и выступления представителей советской философской науки на XII Международном философском конгрессе (Венеция, 12—18 сентября 1958 г.). М., 1958. С. 93—110*). Эта оригинальная логико-методологическая разработка, несомненно, способствовала развитию учения об определении понятий.

Бонифатий Михайлович был очень активен на конгрессе: неоднократно выступал в дискуссиях (см., например, выступление Б.М.Кедрова в дискуссии. — *Atti del XII Congresso Internazionale di filosofia (Venezia, 12—18 Settembre 1958). Vol. 4. Logics, linguaggio e comunicazione. Firenze, 1960. P. 394—397*), имел беседы (и впоследствии часто рассказывал о них) с известным томистом Г.Веттером (реальных научных контактов не по-

лучилось), одним из ведущих британских философов А. Айером (А. Айер, как уже говорилось, был одним из докладчиков на пленарных заседаниях конгресса. Получив широкое международное признание своими работами еще до войны, он на конгрессе был одной из ключевых фигур. Проявлял очевидный интерес к контактам с советскими философами, по-видимому, тогда же обсуждался вопрос о приглашении А. Айера в СССР. И такая поездка состоялась через несколько лет. А. Айер приехал в Москву, выступал с лекциями (я был на одной из них в Институте философии — из-за очень плохого перевода разобрать было практически ничего невозможно), опубликовал статью «Философия и наука» в журнале «Вопросы философии» (1962. № 1), а затем произошел получивший печальную известность скандал в связи с публикацией в Англии в «Observer» статьи о советской философии, которая была подписана его именем и которая была воспринята официальной советской философией очень негативно. Это привело к весьма серьезным неприятностям для некоторых советских философов, прежде всего для Ю. К. Мельвиля (он был главным организатором поездки А. Айера в СССР), а также для Б. М. Кедрова и И. В. Кузнецова. Любопытно, что впоследствии в своих мемуарах А. Айер пояснил, что тон его статьи был дружественным, что заголовок статьи «Прорыв диалектического занавеса» («Breaching of dialectical curtain») был придуман не им, а редактором, что в своей статье он действительно допустил неразумные утверждения, «наиболее глупым» из которых, по его мнению, была заключительная фраза статьи: «Дух ревизионизма пока еще не покорил советскую философию, но шум его крыльев можно хорошо слышать» (*Ayer A. J. More of my life. London, 1984. P. 210—214*). Конечно, нет никаких оснований приписывать А. Айеру злой умысел: это была типичная история несовместимости двух интеллектуальных культур, но эта история, как это ни печально, воздвигла новые дополнительные барьеры для вступления советских философов в международное философское общество), бельгийским специалистом по теории аргументации Х. Перельманом, руководителем группы швейцарских философов, объединившихся вокруг журнала «Dialectica», Ф. Гонсетом, с которым он встречался еще на Цюрихском конгрессе, с некоторыми другими зарубежными участниками конгресса. Б. М. Кедров и его коллеги про-

должали в Венеции дело, начатое еще в 1954 г. в Цюрихе, — формировали базу дальнейшего развития зарубежных научных контактов советских философов, но существенный прорыв в этом отношении произойдет только лет через десять.

* * *

И первый очень важный шаг в этом направлении был сделан в 1960 г., когда небольшая советская делегация в составе М.Э.Омельяновского (руководитель), Б.М.Кедрова и В.С.Семенова (будущий главный редактор журнала «Вопросы философии» в 70—80-е годы) приехала в Стэнфорд, Калифорния (США) для участия в I Международном конгрессе по логике, методологии и философии науки. Начинаясь, как мы об этом уже говорили, новая серия Международных логических конгрессов, и можно предполагать, что организаторы этого конгресса продолжали линию на привлечение к международной философско-логической жизни советских специалистов и на формальное вступление СССР в только что образовавшееся Отделение логики, методологии и философии науки Международного союза истории и философии науки.

Стэнфордский конгресс оказался очень представительным и имел большое воздействие на международное философское и логико-математическое сообщество. Он заложил традицию публикации основных докладов (так называемых докладов по приглашению), прочитанных на таких конгрессах, в виде объемных томов (нередко до 1000 страниц) «Proceedings», и эти тома, начиная с первого (Logic, Methodology and Philosophy of Science. Proceedings of the 1960 International Congress. Edited by E.Nagel, P.Suppes, A.Tarski. Stanford, 1962. Значительная часть этой книги (главным образом доклады по основаниям математики и математической логике) была издана под редакцией академика А.И.Мальцева на русском языке: «Математическая логика и ее применения» (М., 1965). Готовя это издание, математики — во избежание каких-либо осложнений — не стали публиковать философские доклады, в частности Р.Карнапа и некоторых других позитивистов. Жаль, но в то время это можно было понять), сразу же приобрели большую известность и содержали достаточно полную информацию о состоя-

нии логики, методологии и философии науки в данный момент развития этих научных дисциплин.

На конгрессе Б.М.Кедров и М.Э.Омельяновский выступили с докладами на секционных заседаниях. Бонифатий Михайлович сделал два доклада: «Механизм общего хода познания» и «Периодизация истории физики и химии». Отношение к советским философам было весьма доброжелательным, их выступления вызвали интерес. Остался нерешенным, однако, один важный формальный вопрос. Советский Союз не вошел в состав Отделения логики этого Международного союза, и положение советских участников на этом конгрессе (так могло продолжаться и в будущем) было двусмысленным: их были готовы принимать на конгрессах, но они никак не могли влиять ни на сами конгрессы, ни на деятельность логического Отделения, не говоря уже о том, что для них была закрыта дорога в выборные руководящие органы Международного союза и Отделения логики, методологии и философии науки. Конечно, этот вопрос обсуждался в Стэнфорде, но советская делегация не имела на этот счет соответствующего — партийного и академического — решения, и вопрос остался висеть в воздухе.

Вместе с тем в одном отношении советской делегации на конгрессе, и прежде всего Б.М.Кедрову, удалось добиться очень значительного результата (правда, это выяснилось только через несколько лет). На конгрессе состоялось знакомство Бонифатия Михайловича с Патриком Суппесом, профессором философии и логики Стэнфордского университета, который на правах гостеприимного хозяина — организатора конгресса держал в своих руках все нити управления. П.Суппес тепло относился к немногочисленной советской делегации, хорошо понимал все ее трудности, и, думаю, не ошибусь, если назову возникшие во время конгресса взаимоотношения между Б.М.Кедровым и П.Суппесом дружескими, с явной взаимной симпатией. Этому способствовала близость тематики, в которой оба они работали, философия, логика, история науки и психология, но также — и это очень существенно — общее понимание важности развития советско-американских научных контактов в области философии, логики и истории науки.

На Стэнфордском конгрессе П.Суппес был избран на Ассамблее Отделения логики, методологии и философии науки секретарем Отделения, практически в его руках

оказались все основные рычаги управления деятельностью Отделения, и впоследствии — вплоть до настоящего времени — он и так или иначе связанные с ним виднейшие представители философии и логики буквально из всех стран мира оказались во главе этого Отделения и определяли его научную линию. (Президентами этого отделения последовательно становились С.Клини, Г. фон Вригт, И.Бар-Хиллел, С.Кернер, А.Мостовский, Я.Хинтика, П.Суппес, Е.Лось, Д.Скотт, Дж.Коэн и Э.Фенстад (с 1991 г.). Практически со всеми ними Б.М.Кедров, а также некоторые другие советские логики и философы науки имели и имеют плодотворные научные связи.) В этой ситуации, так сказать, тандем П.Суппес — Б.М.Кедров оказался решающим фактором в дальнейшем развитии международных контактов советских философов и логиков. (По этому поводу можно говорить много, но я расскажу только об одном результате совместной деятельности Б.М.Кедрова и П.Суппеса, который имел место тогда, когда Бонифатия Михайловича уже не было в живых, но который, несомненно, был прямым результатом научного сотрудничества Б.М.Кедрова и П.Суппеса. В 1988 г. Институт философии АН СССР, Институт системных исследований АН СССР (в настоящее время — Институт системного анализа РАН) и Стэнфордский университет подписали протокол о сотрудничестве и о создании постоянно действующего американо-советского семинара «Философия и компьютерная наука». Инициатива создания такого семинара принадлежала П.Суппесу; он же смог получить соответствующее финансирование с американской стороны. В то время Академия наук еще располагала некоторыми средствами, и мы смогли принимать наших американских коллег. И в результате П.Суппес, Дж.Маккарти и их несколько молодых коллег, а также В.А.Смирнова, А.Л.Блинов, П.И.Быстров, Е.Д.Смирнова, И.А.Герасимова и другие (Институт философии), В.Н.Костюк, Д.С.Черешкин и я (Институт системных исследований) получили возможность плодотворно поработать в рамках этого семинара, посещая соответственно СССР и США.)

Завершая описание Стэнфордского конгресса, не могу не рассказать об одном полукурьезном событии, которое не состоялось, но о котором неоднократно вспоминал Бонифатий Михайлович. Во время конгресса он узнал, что буквально в 30—35 километрах от Стэнфорда

в Сан-Франциско живет А.Ф.Керенский, бывший премьер-министр Временного правительства. Можно понять его желание встретиться с А.Ф.Керенским — родственными узами Бонифатий Михайлович был связан с теми, кто свергал А.Ф.Керенского, и теперь спустя почти полвека хотел поговорить с ним о России и ее судьбе. Однако глава советской делегации М.Э.Омельяновский категорически запретил любые попытки организовать такую встречу.

* * *

В 1962 г. Б.М.Кедров стал директором Института истории естествознания и техники АН СССР и пробыл на этом посту двенадцать лет, до 1974 г. (в 1973—1974 гг. он был одновременно директором Института философии АН СССР). С 1974 г. и до конца жизни он заведовал сектором «История науки и логика» Института истории естествознания и техники, проработав, таким образом, в этом институте в общей сложности более 27 лет (1958—1985 гг.).

Как директор института Б.М.Кедров нес ответственность за все стороны его жизнедеятельности, в том числе и за международную деятельность сотрудников института. Надо сказать, что историки науки, находящиеся в некотором отдалении от марксистско-ленинского идеологического эпицентра по сравнению, например, с философами, значительно раньше и — главное — существенно эффективнее смогли организовать свою международную деятельность, в которую активно включился Бонифатий Михайлович. В середине 60-х годов он участвует в международном симпозиуме по истории науки (1963, Польша), конференции, посвященной 400-летию со дня рождения Г.Галилея (1964, Италия), конференции историков науки социалистических стран (1965, ГДР), международном симпозиуме на тему «Античность и современность» (1966, Чехословакия), Международном лейбницевском конгрессе (1966, ФРГ) и т.д. В 1965 г. Б.М.Кедров — руководитель представительной советской делегации на XI Международном конгрессе по истории науки (Польша). (См.: *Kedrov B.M. Regularities of the Development of Science // Report of the XIth International Congress of the History of Science and Technology (Warszawa—Krakow. August 1965), 1965.*)

В эти же годы ему удается участвовать и в научных международных мероприятиях, посвященных проблематике философии науки — в Международном симпозиуме по методологии и логике науки (1961, Польша), Международном коллоквиуме «Наука и синтез» (1965, Франция), XII Международном симпозиуме по генетической эпистемологии (1967, Швейцария) (см., например: *Кедров Б.* К вопросу о логике научного исследования // *The Foundation of Statements and Decisions. Proceeding of the International Colloquium on Methodology of Science held in Warsaw 18—23 September 1961* / Edited by K. Ajdukiewicz. Warszawa, 1965. P. 121—132; *Кедров В.М.* Vers la synthèse du classique et du moderne en biologie // *La nouvelle critique*. 1965/1966. № 171. P. 136—144) и т.д. Бонифатий Михайлович приобретает большой опыт международного научного общения, быстро ширится круг продуктивных научных знакомств, растет его научный авторитет в международном сообществе. В результате создается хорошая основа для существенного прорыва и в области философии науки. И этот прорыв произошел в 1967 г.

* * *

В августе 1967 г. в Амстердаме (Нидерланды) должен был состояться III Международный конгресс по логике, методологии и философии науки. Как, я надеюсь, помнит читатель, на первом таком конгрессе (1960, США) были М.Э.Омельяновский и Б.М.Кедров. В 1963 г. готовились поехать на II Международный логический конгресс, который должен был состояться в Израиле, П.В.Копнин и, если не ошибаюсь, академик П.С.Новиков, крупнейший советский специалист по основаниям математики и математической логике. Однако советско-израильские отношения были в то время настолько плохи, что эта поездка не состоялась. Казалось, все, что было достигнуто в 1960 г. в США в плане налаживания международных контактов советских специалистов в области логики и философии науки, рухнуло. Однако в конце 60-х годов остановить научный, в том числе научно-международный, прогресс было уже невозможно.

Поездка сравнительно большой советской делегации на конгресс в Амстердам имела свою предысторию, кото-

рая началась еще в 1966 г. во время проходившего в Москве Международного математического конгресса. В этом конгрессе принимали участие многие видные зарубежные специалисты по математической логике, в частности С.Клини, Г.Карри и другие. Они, а также А.Тарский (я не знаю, был ли он участником Московского математического конгресса, но, насколько мне известно, он посещал СССР в это время, и, возможно, не один раз) обсуждали с руководством Академии наук важность участия советских ученых в международной логической жизни. В конце 1966 или в начале 1967 г. известный израильский философ и логик И.Бар-Хиллел, который в то время был президентом Отделения логики, методологии и философии науки Международного союза истории и философии науки, направил официальное письмо Президенту Академии наук М.В.Келдышу с информацией о предстоящем III конгрессе и с выражением настоящего желания международного философско-логического сообщества видеть на конгрессе советских ученых. Вице-президент АН П.Н.Федосеев поддержал эту идею, началась подготовка к поездке, в организации которой большую роль играли Б.М.Кедров, П.С.Новиков, А.И.Мальцев, А.А.Марков, сотрудники сектора логики Института философии АН СССР.

В конечном счете на конгресс прибыла достаточно представительная советская делегация, состоящая из пяти официальных делегатов: Б.М.Кедрова (руководитель), А.А.Маркова, М.Э.Омельяновского, С.Т.Мелюхина и М.Г.Ярошевского и научно-туристической группы (приблизительно 20—25 человек). Очень важным положительным фактором было то, что значительную часть советской делегации составляли сравнительно молодые философы, логики и математики — не только и не столько философские «киты», которых Запад уже знал, сколько активная в творческом отношении научная молодежь (математики Ю.Л.Ершов и С.Ю.Маслов, философы И.А.Акчурин, В.А.Смирнов, Б.С.Грязнов, А.Л.Субботин, М.В.Попович, Н.С.Юлина и другие). Думается, что это обстоятельство во многом предопределило успех советских ученых на этом конгрессе. И заслуга в этом отношении принадлежит в основном Б.М.Кедрову, который подобрал (конечно, в пределах своих возможностей) соответствующий состав делегации, постоянно оказывал поддержку и помощь, буквально вводил своих более мо-

лодых коллег в международное философское и логическое сообщество.

Сам Б.М.Кедров выступил на Амстердамском конгрессе в секции методологии психологии с докладом «Психология научного творчества». (Основное содержание этого доклада изложено в статье: Кедров Б.М. О логике и психологии научного творчества // Проблемы научного и технического творчества. М., 1967. С. 3—20. В дальнейшем Бонифатий Михайлович много внимания будет уделять разработке проблематики психологии научного творчества, что найдет отражение в его последующих публикациях.) А.А.Марков и Ю.Л.Ершов сделали доклады по приглашению, которые собрали большие аудитории и вызвали значительный интерес (философы пока не получили ни одного предложения выступить с такими докладами). С докладами на секционных заседаниях выступили все остальные советские участники конгресса, и, несмотря на ряд трудностей — языковой барьер, нередко плохое качество переводов на английский язык подготовленных текстов докладов и т.п., — советские философы, логики и математики и их доклады пользовались успехом. Создавалось впечатление, что советские участники конгресса были в моде, на их выступления шли — послушать, познакомиться, завязать контакты на будущее.

В этом, по сути дела, первом весьма представительном появлении на международной научной сцене советских специалистов по философии науки и логике были, конечно, свои трудности. Некоторые из них были не столь значительными, их легко было преодолеть. Так, в Амстердаме в выпущенных до конгресса тезисах докладов (Abstracts. The III International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science. Amsterdam. August 1967) были опубликованы тезисы доклада только одного советского участника конгресса А.А.Маркова; все же остальные советские ученые, участвующие в конгрессе, выступали без предварительного представления основных идей своих докладов. Кстати сказать, только любезностью организаторов конгресса и их особым отношением к советским ученым можно объяснить то, что, не имея никакого представления о содержании советских докладов, члены Программного комитета, однако, включили все советские доклады в программу конгресса (в последующих конгрессах это будет практически невоз-

можно). Конечно, эту трудность можно было легко преодолеть, что и было сделано на последующих Международных логических конгрессах, на которых после Амстердама неизменно появлялась большая группа советских специалистов: в тезисах докладов таких конгрессов нередко публиковалось до сотни тезисов советских докладчиков.

Была, однако, и еще одна, значительно более глубокая, проблема, которая сильно испортила настроение и руководителю делегации Б.М.Кедрову, и всем остальным участникам делегации. В Москве при формировании группы советских ученых, которую планировалось отправить на логический конгресс, было твердое мнение о том, что в состав этой группы, причем именно в состав официальной советской делегации, непременно должен войти А.А.Зиновьев, доктор философских наук, профессор, один из ведущих советских философов-логиков, исследования которого получили широкое признание не только в стране, но и за рубежом. Этот вопрос даже не обсуждался, он был очевиден, и тем не менее перед самым отъездом А.А.Зиновьев не получил разрешения на выезд в Амстердам. Все попытки Б.М.Кедрова как руководителя делегации, В.А.Смирнова, который в то время был заместителем секретаря партийной организации Института философии, а также некоторых других не привели ни к какому успеху, и А.А.Зиновьев поехать в Амстердам не смог. (Это был не первый отказ А.А.Зиновьеву в поездке за границу на научные мероприятия, и аналогичные истории повторились несколько раз в дальнейшем. Все попытки многих, в том числе и высокопоставленных партийных и философских чиновников, как-то прояснить ситуацию и добиться для А.А.Зиновьева разрешения на поездки за рубеж ни к чему не привели. Думаю, что эта безысходность была одной из причин, по которым А.А.Зиновьев в конечном счете принял решение эмигрировать из страны.)

Необходимо сказать, что в таком или аналогичном положении оказывался не только А.А.Зиновьев, но и многие другие советские философы. В качестве примера можно назвать Н.С.Юлину, которая в конце 60-х годов была редактором знаменитой стенной газеты Института философии и после громкого скандала вокруг этой газеты не смогла выезжать за границу в научные командировки целых десять лет.)

На всех Международных конгрессах по логике, методологии и философии науки, начиная со Стэнфордского конгресса 1960 г., наряду с научной программой, которая, естественно, занимает основное время конгресса, проводятся заседания Генеральной ассамблеи — высшего руководящего органа Отделения логики, методологии и философии науки Международного союза истории и философии науки. На этих заседаниях решается вопрос о членстве в Отделении стран и международных научных организаций (например, Ассоциации символической логики, Ассоциации по философии науки и т.п.), определяется место следующего конгресса, решаются вопросы о финансировании научных мероприятий, намеченных на ближайшие 3—4 года, и т.п. На Генеральной ассамблее выбирается также Совет Отделения на ближайшие четыре года. Совет логического Отделения Союза состоит из Исполкома (президент, вице-президент, с 1975 г. — два вице-президента, секретарь, казначей и бывший президент) и членов Совета, которые в этом Отделении называются ассессорами.

Советская делегация прибыла на Амстердамский конгресс, имея в кармане решение высших партийных и академических инстанций о вхождении СССР в лице Советского национального объединения истории и философии естествознания и техники в состав логического Отделения. Считая с Женевы 1954 г., потребовалось тридцать лет, для того чтобы положительно решить этот совершенно очевидный вопрос. На заседании Генеральной ассамблеи СССР единогласно был принят в состав Отделения и получил право на четыре голоса на Ассамблее (что определяется суммой уплачиваемого членского взноса). Вопрос о приеме СССР даже и не обсуждался, настолько он был бесспорным. Члены Ассамблеи лишь выразили большое удовлетворение по поводу этого решения. На заседании Генеральной ассамблеи в Амстердаме возник, однако, ряд вопросов, при решении которых наглядно проявились лучшие стороны характера Бонифатия Михайловича Кедрова как руководителя советской делегации.

В директивных указаниях (молодые читатели могут не знать, что это такое, поэтому я кратко расскажу о директивных указаниях — этом изощренном изобретении советской тоталитарной системы. Не знаю, когда это началось, но во всяком случае после войны любая делега-

ция и любой отдельный советский гражданин перед командировкой за рубеж должны были ознакомиться (и расписаться, что он ознакомился) с директивными указаниями — своего рода сводом правил поведения за границей. Со временем этот документ превратился буквально в филькину грамоту и готовился самими командироваемыми, старательно переписывающими старые образцы с заменой номера партийного съезда на номер последнего съезда и указанием названия последнего выступления Генерального секретаря ЦК КПСС, — содержанием этих документов делегация должна была руководствоваться в зарубежной командировке. Большая часть директивных указаний состояла из пустых рекомендаций (пропагандировать достижения советской науки и т.п.), перемежаемых совершенно фантастическими требованиями — разъяснять зарубежным ученым советскую внешнюю политику, о которой советские ученые в то время имели самое поверхностное представление, не сопоставимое с тем, что знали об этом их западные коллеги хотя бы из средств западной массовой информации; возникающие во время командировки серьезные вопросы требовалось обязательно согласовывать с Посольством СССР в стране командирования, что было, как правило, практически невозможно. И тем не менее директивные указания, утверждаемые на высоком уровне (в Академии наук — вице-президентами), нарушать было небезопасно: особенно это касалось различного рода персональных рекомендаций — выдвинуть в Исполком соответствующей международной организации того-то, предложить на соответствующий пост того-то, настаивать на проведении следующего международного форума там-то; предпочтение, конечно, отдавалось социалистическим странам), которые имела с собой делегация, предлагалось «рекомендовать академика Б.М.Кедрова на пост члена Совета (ассессора) Отделения». Незадолго перед заседанием руководители Исполкома обратились к Бонифатию Михайловичу с предложением, чтобы он выдвинул Андрея Андреевича Маркова, входившего, как, я надеюсь, помнит читатель, в состав делегации, на пост вице-президента Отделения, что, несомненно, было признанием личных научных заслуг А.А.Маркова и свидетельством того, что западные руководители Отделения очень высоко оценили решение СССР официально войти в состав логического Отделения союза. Для Б.М.Кедрова возникла непростая ситуа-

ция — я убежден, что никакие личные амбиции (стать членом Совета) его не волновали, но отступление от директивных указаний наказуемо. Согласовывать этот вопрос с Посольством СССР в Нидерландах, во-первых, очень сложно и, во-вторых, скорее всего бессмысленно, ибо Посольство не возьмет на себя решение проблемы, которой должны заниматься другие службы в СССР. Б.М.Кедров принимает единственно возможное для себя решение и на заседании Генеральной ассамблеи рекомендует А.А.Маркова на пост вице-президента, за что члены Ассамблеи голосуют единогласно. В Москве, конечно, возникли далеко не простые проблемы, но Бонифатий Михайлович — не сразу и не без трудностей — все же смог их решить.

На этом же заседании Генеральной ассамблеи возникла еще одна не простая для Б.М.Кедрова проблема. Не оповестив заранее Исполком Отделения, румынская делегация неожиданно предложила провести следующий Международный конгресс по логике, методологии и философии науки в Бухаресте. Исполком имел и другие предложения, во многом более приемлемые, однако — столь все же было велико в то время желание западных философов и логиков ближе познакомиться с социалистическим миром — это предложение, несмотря на его явную нелегитимность с точки зрения принятых норм деятельности в Отделении, было принято. И естественно, что руководитель советской делегации поддержал такое решение.

Впоследствии Бонифатий Михайлович неоднократно рассказывал о том, что у него были большие сомнения, насколько Румыния готова организовать такой конгресс. Конечно, при голосовании этого вопроса на Генеральной ассамблее эти сомнения остались при нем. Решение было принято. Но Б.М.Кедров был очень прозорлив, и, когда в начале 1971 г. (в этом году должен был состояться Бухарестский конгресс) из Румынии не поступило никакой информации о предстоящем конгрессе и международный логический мир всем этим был весьма взволнован, инициативу в решении этого вопроса взяли на себя А.А.Марков как вице-президент Отделения и Б.М.Кедров как президент Советского национального объединения истории и философии естествознания и техники. В результате в апреле 1971 г. А.А.Марков и мы с В.С.Смирновым, как представители Советского Нацио-

нального объединения, отправились в Румынию, для того чтобы на месте прояснить ситуацию с предстоящим Международным логическим конгрессом. В Бухаресте мы были приняты румынскими академическими и партийными руководителями, обнаружили, что, действительно, подготовка к конгрессу пока еще не началась, но затем в Румынии очень активно взялись за организацию конгресса, и он был проведен в срок и на хорошем научном и организационном уровне.

На Амстердамском конгрессе произошло еще одно событие, которое, насколько я знаю, тогда не было осознано никем из советской делегации, но которое могло повести к печальным последствиям. В кулуарах конгресса был замечен мужчина лет 50—55, владеющий прекрасным русским языком, который быстро перезнакомился с советскими делегатами, любезно помогал исправлять далеко не блестящие переводы советских докладов на английский язык, демонстрировал всяческое благорасположение. На лацкане его пиджака значилось «Владимир Поремский, Франция». О себе говорил скупко: из эмигрантской среды, живет на юге Франции, занимается проблемами философии. Этот эпизод мог остаться совершенно не замеченным, если бы месяца через три после окончания конгресса советские газеты не начали активную кампанию против Народно-трудового союза (НТС), одним из лидеров и теоретиков которого, как утверждали газеты, и был Владимир Поремский. О нем писались всяческие страсти: связь с гестапо во время войны, чуть ли не участие в массовых расстрелах, НТС характеризовался как филиал ЦРУ и т.д. и т.п. Слава Богу, в этой кампании факт общения советской логической делегации с В.Поремским в Амстердаме не фигурировал, и, как можно судить, никаких негативных последствий ни для кого из членов делегации это событие не имело.

Сегодня этот рассказ о знакомстве с В.Поремским и о возможных негативных последствиях такого знакомства, несомненно, должен показаться диким. Действительно, в последние годы в нашей литературе дана совершенно иная трактовка задач — разумных и гуманных — НТС, В.Поремский и другие лидеры этого союза посещали Россию, издательство «Посев» и журнал «Грани», связанные с НТС, — желанные партнеры для российских издателей, но тогда — в конце 60-х — все было по-иному, и, попади в то время на стол какому-нибудь

крупному партийному или кагебэшному чиновнику информация о контактах советской логической делегации с В.Поремским, все то позитивное, что удалось Б.М.Кедрову и его коллегам в установлении сотрудничества советских философов и логиков с западными коллегами, могло пойти насмарку. Но этого не произошло, и следует благодарить за это судьбу.

Надо сказать, что В.Поремский и другие члены НТС и в дальнейшем появлялись на международных научных конгрессах и конференциях. Лично я сталкивался с ним в Париже в 1968 г. во время XII Международного конгресса по истории науки, а также дважды в Ганновере на Международных лейбницевских конгрессах в 1972 и 1977 гг. Интеллигентные, научные разговоры, никакой политики. Но я — мальчишка, хотя и руководитель в Ганновере небольших советских делегаций, скорее всего не представлял для него какого-либо интереса. Что же касается Б.М.Кедрова — одного из ведущих советских философов, занимающего высокий официальный пост в СССР и имеющего заслуженное высокое реноме в западном мире, то он объективно (даже независимо от личных побуждений В.Поремского и его коллег) мог оказаться (и это, действительно, произошло, например, в 1968 г. в Париже на только что упомянутом Международном конгрессе по истории науки) в очень сложной политически-психологической ситуации.

* * *

Для того, чтобы рассказать об этой истории, я прерву на короткое время основную для меня нить описания взаимоотношений Б.М.Кедрова с международным философским сообществом и посвящу несколько строк другой стороне международной деятельности Бонифатия Михайловича — в области истории науки, отнюдь при этом не претендуя на полноту и будучи твердо убежден в том, что историки науки должны это сделать более подробно и обстоятельно. XII Международный конгресс по истории науки проходил в Париже в двадцатых числах августа 1968 г. Напомню, что 20 августа вооруженные силы Варшавского пакта вступили в Чехословакию. Советская делегация вылетела в Париж 22 августа практически в полном намеченном составе — советское руководство еще не разобралось, что к чему, и не успело из-

менить ранее принятого решения, что, например, произошло буквально через несколько дней с советской делегацией, направляемой в Австрию для участия в очередном Международном философском конгрессе, от которой в самый последний момент осталось менее половины. Б.М.Кедров — глава делегации, насчитывающей порядка 40 человек. Политическая обстановка в мире чрезвычайно сложная: все газеты и все программы телевидения только и говорят о Чехословакии и очередном советском преступлении. На парижских улицах даже говорить по-русски небезопасно — вполне можно нарваться на резкую эмоциональную отповедь (был такой случай).

Официальная чехословацкая делегация на конгресс, конечно, не приехала. Оказалось, правда, так, что два-три известных чешских историка науки, кстати, лично знакомых с Б.М.Кедровым и некоторыми другими советскими историками науки, находились перед конгрессом в Западной Европе и смогли приехать в Париж. Бонифатий Михайлович проявлял по отношению к ним максимальную человеческую теплоту, старался успокоить, обнадежить. Но политические реалии совершенно объективны, и некоторые западные научные лидеры Отделения истории науки, не говоря уже о руководителях НТС, которые также были на конгрессе (мне кажется, что заглавную роль там играл не В.Поремский, а другие лидеры НТС), не могли не ставить на заседаниях конгресса — прежде всего на пленарных заседаниях и на заседании Генеральной ассамблеи — вопрос о советско-коммунистической агрессии против Чехословакии, требуя серьезных санкций против советской делегации, чуть ли не вплоть до исключения СССР из состава Отделения.

Положению Б.М.Кедрова как руководителя советской делегации трудно было позавидовать. И вот здесь в очередной раз (возможно, это был один из самых сложных для него) проявились мудрость, спокойствие и рассудительность Бонифатия Михайловича. Не имея возможности негативно оценить, хотя бы в самой минимальной мере, действия советских властей (это было бы равносильно самоубийству), Б.М.Кедров смог решительно развести политику и науку и добиться того, что никаких санкций против советской делегации на конгрессе предпринято не было. Конечно, в этом ему помогали его коллеги, некоторые из которых (например, А.П.Юшкевич,

Б.Г.Кузнецов, А.Т.Григорьян) имели высокую репутацию в западном сообществе историков науки и к мнениям которых прислушивались, но, я думаю, есть все основания сказать, что среди советских руководителей в области общественных наук того времени немногие могли бы так достойно, как это сделал Б.М.Кедров, выйти из этой сложнейшей ситуации.

* * *

Теперь вернемся к рассказу о Международных конгрессах по логике, методологии и философии науки. Бухарест 1971 г., канадский Лондон в штате Онтарио 1975 г. и Ганновер 1979 г. — здесь происходили IV, V и VI логические конгрессы — это пик международной логико-философской деятельности Бонифатия Михайловича. Посеянное ранее (начиная с 1954 г.) дало прекрасные плоды. На всех этих конгрессах Б.М.Кедров — глава советских делегаций, образующих значительную часть участвующих в этих конгрессах ученых (в Бухаресте советская делегация насчитывала более 100 человек, что составляло приблизительно одну шестую часть всего состава конгресса, по 30—40 человек было в Канаде и ФРГ).

Начиная с Бухареста, прежде всего в результате инициативы А.А.Маркова и Б.М.Кедрова, рекомендовавших Международному программному комитету конгресса пригласить нескольких советских философов и математиков выступить с докладами по приглашению, на всех этих конгрессах значительную часть докладов по приглашению делали советские специалисты. Обычно Международные программные комитеты таких конгрессов включали в программы конгрессов 50—60 докладов по приглашению, из них, например, в Бухаресте в 1971 г. 13 докладов делали советские участники конгресса (6 — математики и 7 — философы). Такое же представительство советских докладчиков по приглашению было и в канадском Лондоне (14 докладов), и в Ганновере (9), и позднее в Зальцбурге в 1983 г. (5) и в Москве в 1987 г. (11 докладов). Очень представительным было участие советских ученых в публикуемых перед конгрессами тезисах докладов (начиная с Бухареста, до 70—100 тезисов).

После Амстердамского конгресса 1967 г., когда А.А.Марков был избран вице-президентом Отделения, советские представители неизменно стали входить в состав Совета Отделения: в 1971 г. членом Совета (ассессором) был избран М.В.Попович, в 1975 г. — А.А.Марков во второй раз вице-президентом и я — членом Совета, затем последовательно ассессорами становились В.А.Смирнов и Ю.Л.Ершов, на Московском конгрессе 1987 г. И.Т.Фролов был избран вице-президентом, и, наконец, на IX конгрессе в Упсала (Швеция) ассессором стал В.А.Лекторский. С учетом всего сказанного, думаю, можно с полным правом утверждать, что советское, а ныне российское, философско-логическое сообщество стало полноправным участником международной деятельности в этой области науки. Заслуги Б.М.Кедрова в этом отношении — и, я надеюсь, мне удалось это показать в этих заметках — трудно переоценить.

Сам Бонифатий Михайлович был докладчиком по приглашению на двух следующих друг за другом конгрессах — в Бухаресте и в канадском Лондоне (не уникальный факт, но достаточно редкий, свидетельствующий о его чрезвычайно высоком международном авторитете). На IV конгрессе Б.М.Кедров выступил с докладом «Идеи прерывности и непрерывности в физике и химии XIX века» (*Kedrov B.M. La continuité et la discontinuité en chimie et en physique au XIX-e siècle // Logic, Methodology and Philosophy of Science IV. Proceedings of IV International Congress for Logic, Methodology and Philosophy of Science (Bucharest, 1971) / Edited by P.Suppes, L.Henkin, A.Joja and Gr.C.Moisil. Amsterdam, North Holland, 1973. P. 957–966* — на русском языке: *Кедров Б.М. Идеи прерывности и непрерывности в физике и химии // Природа. 1972. № 2. С. 28–32*), на V — с докладом на тему «Эволюция понятия материи в науке и философии» (*Kedrov B.M. Evolution of the Concept of Matter in Science and Philosophy // Historical and Philosophical Dimensions of Logic, Methodology and Philosophy of Science. Part 4 of the Proceedings of the V International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science (London, Ontario, Canada, 1975) / Edited by R.E.Butts and Ja.Hintikka. Dordrecht; Boston, 1977. P. 187–208* — на русском языке: *Кедров Б.М. Эволюция понятия материи в естествознании и философии // Вопросы философии. 1975. № 8. С. 68–80*). Оба докла-

да имели несомненный успех, на них собирались большие аудитории, состоялись дискуссии, в которых активное участие принимали американские философы и историки науки Эрнан Макмаллин и Эрвин Хиберт, давние знакомые Бонифатия Михайловича, глубоко интересующиеся тематикой этих докладов, но имеющие — что вполне естественно — другие мнения по ряду затронутых Б.М.Кедровым вопросов.

* * *

Я уже говорил ранее о том, что в этих заметках не смогу рассказать о многих сторонах многогранной научно-международной деятельности Б.М.Кедрова. Думаю, однако, что обязательно надо вспомнить об его активном участии в реализации идеи Объединенных международных конференций по истории и философии науки. Эта идея возникла в Международном союзе истории и философии науки. Б.М.Кедров имел большой авторитет в обоих Отделениях этого Союза и стал активно поддерживать идею организации таких конференций. Сам он смог принять участие только в первой такой конференции, которая состоялась в 1973 г. в Ювяскюля (Финляндия). С научной точки зрения, эта конференция оказалась очень продуктивной, и она во многом заложила разумные принципы организации последующих таких конференций: ограниченное число участников, все они приглашаются Программным комитетом, все доклады заранее направляются участникам и т.п. В результате в Финляндии, например, собрался буквально весь международный цвет в области истории и философии науки: Т.Кун, И.Лакатош, Я.Хинтиikka, Р.Коэн, М.Вартофский, М.Хоссе, Дж.Мэрдок, Ю.Миттельштрасс, Л.Лаудан, А.И.Сабра, Дж.Уоткинс, И.Ниинилуото, И.Элкана и другие, от СССР: Б.М.Кедров, Б.С.Грязнов, В.А.Смирнов, И.А.Акчурина, В.А.Лекторский, Л.А.Маркова, Г.А.Курсанов, Д.П.Горский, Л.О.Вальт, А.А.Старченко и другие.

На этой конференции состоялся, как выяснилось позже, последний тур знаменитой дискуссии Т.Кун — И.Лакатош (менее чем через полгода И.Лакатош скоропостижно скончался), главное внимание было уделено методам синтеза историко-научных исследований и исследований по философии науки, значительный инте-

рес вызвали доклады Б.М.Кедрова, Б.С.Грязнова, М.Хессе, Я.Хинтикки и других. В дальнейшем такие конференции состоялись в Италии, Канаде, США, других странах, и в каждой из них, можно сказать, так или иначе присутствовал дух Б.М.Кедрова — исследователя и организатора.

Упомяну — хотя бы очень кратко — еще об одной важной стороне деятельности Б.М.Кедрова: он придавал большое значение публикациям советских авторов по логике и методологии науки за рубежом и всячески способствовал этому. Так, при его непосредственном участии в 1971 г. был опубликован специальный номер известного философского журнала «Revue internationale de philosophie», полностью посвященный разработке проблем логики и методологии науки в СССР. В этом номере было представлено 15 советских авторов, в том числе сам Б.М.Кедров (*Kedrov B.M. Les degrés de la pensée productive // Revue internationale de philosophie. 1971, an 25. № 98. Fasc. 4. P. 467–476; а также Kedrov B.M., Kopnin P.V., Sadovsky V.N., Smirnov V.A. Quelques notes au sujet de l'article de B.Jeu, J.C.Demaille et J.L.Duhameau // Ibidem. P. 596–601*), А.А.Марков, П.В.Копнин, В.А.Смирнов, Б.С.Грязнов и другие. К этому следует добавить публикации сотен тезисов советских докладов, представленных на Международные конгрессы и конференции, участие советских специалистов по логике и философии науки в многочисленных международных изданиях и т.п.

* * *

VI Международный конгресс по логике, методологии и философии науки (Ганновер, 1979) оказался последним крупным научным форумом, на который выезжал Б.М.Кедров. Впоследствии Бонифатий Михайлович будет активно помогать своим более молодым коллегам, например, перед поездкой на VII Международный логический конгресс (Зальцбург, 1983) и при подготовке других научных мероприятий, с большим удовольствием будет встречаться в Москве со своими зарубежными коллегами-друзьями, но сам по состоянию здоровья выезжать из страны уже не сможет. В Ганновере же было все, как обычно, точнее — как это было задумано и создано в основном самим Бонифатием Михайловичем, на-

чиная с Амстердама 1967 г. Большая советская делегация, более 50 опубликованных тезисов докладов советских ученых перед началом конгресса, включая тезисы выступления Б.М.Кедрова (*Kedrov B.M. Three Units in the Analysis of Scientific and Technological Creativity Work // 6th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science (Hannover, Aug. 22 — Aug. 29, 1979). Abstracts. Sections 10, 11, 12. Bonecke-Druck, 1979. P. 34—38*), девять, как мы уже сказали ранее, советских докладчиков по приглашению, напряженная восьмидневная работа, доклады, дискуссии, выступления, многочисленные встречи со старыми и новыми коллегами, обсуждение планов дальнейшего научного сотрудничества, организация выставки книг по философии науки и логике, изданных в последние годы в СССР (начиная с Амстердама 1967 года, на всех последующих международных логических конгрессах сотрудники Института философии В.А.Орлова и Л.С.Савельева приложили много усилий для организации таких выставок, которые пользовались неизменным успехом), и, наконец, традиционный, столь любимый иностранцами, прием, организованный советской делегацией, где Бонифатий Михайлович — прирожденный тамада — в центре торжества.

Думаю, что у нас есть все основания сказать, что успех советской делегации на ганноверском конгрессе, как, впрочем, и на предшествующих, — это прекрасное свидетельство того, что Б.М.Кедрову, конечно, вместе со своими коллегами, удалось добиться главного: советские специалисты по логике, методологии и философии науки прочно вошли в международное философско-логическое сообщество.

Приходится, однако, отметить, что, несмотря на все эти успехи и достижения, в философии науки и логике было далеко еще не только до безоблачной ситуации, но просто до нормального положения дел. Хотя был уже конец 70-х годов, советская партийно-бюрократическая система мало в чем изменилась и могла мгновенно обнажить свое нутро. Так и произошло буквально на следующий день после возвращения делегации из Ганновера. Высокое партийное начальство предъявило обвинение руководителю делегации Б.М.Кедрову и нам с В.А.Смирновым, как заместителям руководителя делегации, ни много ни мало, как в отступлении (если не ска-

зять больше) от кардинальных принципов советской международной политики, которое якобы проявилось в том, что советская делегация на Генеральной ассамблее поддержала просьбу Чили о вступлении в Отделение логики. Напомню, что с Чили Советский Союз порвал дипломатические отношения в 1973 г., и поэтому — согласно принятым в то время нормам — к Чили могло быть только отрицательное отношение.

Обвинения против нас были обусловлены элементарным страхом одних начальников по отношению к более высоким начальникам, которые — это прекрасно понимали советские чиновники — всегда могли спросить со своих подчиненных: «А ведь на конгрессе речь шла о Чили, а как же себя вела советская делегация?», и после этого репрессивное колесо закрутилось бы независимо ни от чего.

В этой ситуации пришлось объяснять то, что реально имело место в Ганновере, даже получать официальную информацию от секретаря Отделения Дж.Коэна (Великобритания). Эта информация, зафиксированная в Протоколе заседания Генеральной ассамблеи, такова: «Секретарь сообщил, что в соответствии с решением предшествующего заседания Генеральной ассамблеи были предприняты усилия по выяснению, насколько действенны национальные комитеты по логике и философии науки в Чили и Греции. Эти усилия оказались успешными относительно Чили» (Synthese. Vol. 43. № 1. January 1980. P. 186). Поясню эту краткую информацию: Чили ряд лет не платила членские взносы, и Генеральная ассамблея решила выяснить, в чем дело; выяснила, что все в порядке, Чили готова платить членские взносы, и члены Генеральной ассамблеи были информированы по этому вопросу. Вот и все. И по этому поводу разгорелся сыр-бор, который стоил немало нервов Б.М.Кедрову, да и нам с В.С.Смирновым также. Эта история, как и некоторые другие, рассказанные в этих моих заметках, конечно, трагикомична, но нельзя забывать, что если сегодня мы прежде всего видим комические аспекты таких историй, то тогда они выступали перед нами своими мрачными сторонами.

* * *

Завершая свой рассказ о международной деятельности Б.М.Кедрова, хочу прежде всего отметить серьезность и ответственность, которые характерны для всех дейст-

вий Бонифатия Михайловича на международной арене. К тому, что было сказано по этому поводу ранее, добавлю лишь один факт: в начале 70-х годов Б.М. задумал издать трехтомник под заглавием «Проблемы науки», в который намеревался включить свои доклады и выступления на международных форумах за 20 лет (1954—1973). Б.М. тщательно продумал содержание всех трех томов, составил оглавление всего труда, написал примечания к трехтомнику и его отдельным разделам.

Несмотря на многоплановость тематики докладов, которые Б.М. намеревался включить в этот трехтомник, — начиная с анализа взглядов Маркса, Энгельса и Ленина на науку, через исследование проблем предмета диалектики, связи наук, анализа понятий, взаимоотношения науки и техники, рассмотрения ступеней познания и методов научного исследования и кончая философским и психологическим анализом творчества людей науки (в частности, Леонардо да Винчи, Лейбница, Ломоносова, Дальтона, Менделеева, Браунера, Резерфорда и др.) и их открытий — все эти доклады и выступления, как, впрочем, и все научное творчество Б.М.Кедрова в целом, были посвящены, по сути дела, детальной разработке одной исследовательской программы — философскому, методологическому, историко-научному и психологическому анализу науки и научной деятельности, в основу которого были положены принципы марксистско-ленинской философии. Соответственно, сама марксистская философия, разработка ее проблем, во многом на основе текстологических исследований сочинений К.Маркса, Ф.Энгельса (прежде всего) и В.И.Ленина, составили важнейшее направление научных изысканий Б.М.Кедрова, который был глубоко убежден в истинности марксистско-ленинской философии и иного пути в философии для себя не мыслил.

Судьба Бонифатия Михайловича Кедрова сложилась так, что его сознательная жизнь практически совпала с периодом существования советского социалистического государства: в 1917—1918 гг. он, четырнадцатилетний юноша, воспитанный в семье профессионального революционера, входящего в большевистские верхи, со всеми присущими молодости пылом и энергией стремится участвовать в строительстве новой жизни, и он завершил свой жизненный путь в сентябре 1985 г., когда о конту-

рах перестройки и всех вызванных ею катаклизмах еще никто не мог составить никакого представления.

Творческая деятельность Б.М.Кедрова пригласилась на период начала 30-х годов — 1985 г., и весь этот период в философском и идеологическом плане был окрашен одним очень мрачным цветом лишь с легкими изменениями оттенков. Б.М.Кедров был сыном своего времени, он искренне разделял многие господствующие в эти годы иллюзии и заблуждения, все это не могло не отразиться на его творчестве, но ему удалось пронести через всю жизнь высокую репутацию честного человека и честного ученого.

Сегодня марксистско-ленинская философская исследовательская программа не пользуется успехом, особенно в бывших социалистических странах. Как правило, эмоции, вполне естественные, мешают понять ее как исторический элемент человеческой культуры и оценить ее прежде всего в этом качестве. Я не собираюсь обсуждать здесь эту проблему: кое-что по этому поводу я сказал вместе с моими коллегами В.А.Лекторским, А.П.Огурцовым и В.А.Смирновым сравнительно недавно в статье «Лабиринты бесконечного тупика» (*Лекторский В., Огурцов А., Садовский В., Смирнов В.* Лабиринты бесконечного тупика // Независимая газета. 3 июля 1993 г. № 123 (547)). Применительно же к основной обсуждаемой мною здесь теме должен сказать следующее.

Вся творческая жизнь Б.М.Кедрова прошла под знаком противостояния, с одной стороны, его и поддерживающих его так или иначе философов, историков науки, психологов и естественников и, с другой стороны, официальной философской верхушки 30—80-х годов, начиная с М.Б.Митина и П.Ф.Юдина, через Г.Ф.Александрова, М.Т.Иовчука и Д.И.Чеснокова и кончая Ф.В.Константиновым, Л.Ф.Ильичевым и П.Н.Федосеевым. Нередко это противостояние имело неявные, скрытые формы, но было много периодов за советскую историю, когда эта борьба велась открыто и в самых резких формах (достаточно вспомнить цитировавшиеся ранее высказывания конца 40-х годов М.Б.Митина о Б.М.Кедрове).

Противостояние «Кедров — официальная советская философская верхушка» было очень глубоким: оно касалось и основных принципов жизни, которые исповедовали участники этого противоборства, и отношения к окружающей их всех, правда, по-разному, советской действи-

тельности, и различного понимания природы марксистской философии — как сферы научного исследования или как чистой идеологии.

Бонифатий Михайлович Кедров всю свою жизнь был убежден в научности марксистской философии и необходимости разрабатывать ее научными методами. В связи с этим он в конечном итоге оказался победителем в этом противостоянии: его многочисленные сочинения, проникнутые этой идеей, совершенно заслуженно могут рассматриваться как важный этап научной разработки марксистско-ленинской исследовательской философской программы (как бы к ней ни относиться), в то время как обычно прекрасно полиграфически изданные книги его оппонентов — впрочем (что также характерно), весьма немногочисленные — не имели никакого отношения ни к науке, ни к философии и могут служить лишь свидетельствами охватившего советское общество социального, философского и идеологического умопомешательства.

Мне думается, что западный философский мир, с которым общался Б.М.Кедров, как правило, хорошо понимал и ситуацию с философией, которая была в Советском Союзе на протяжении всей его истории, и ту роль, которую играл Б.М.Кедров в советской философии. Та чрезвычайно высокая репутация, которую имел Б.М.Кедров в международном философско-логическом сообществе, была обусловлена тем, что многие представители этого сообщества, независимо от их личного отношения к марксистской философии, не могли не оценить научности подхода Б.М.Кедрова к разработке проблем исповедуемой им философской системы. Приведу в этой связи три эпизода из жизни Бонифатия Михайловича.

Ранее я упоминал о том, что Ж.Пиаже, познакомившись с Б.М.Кедровым в 1954 г., с большим интересом отнесся к предложенной Б.М. концепции классификации наук, неоднократно при встречах обсуждал с ним эти проблемы и в конечном итоге изложил в одном из томов «Encyclopédie de la Pléiade» основы кедровской теории (Encyclopédie de la Pléiade. Logique et connaissance scientifique. Volume publié sous la direction de Jean Piaget. Vol. 22. Paris, 1967. P. 1166—1169). Дискуссия между Ж.Пиаже и Б.М.Кедровым любопытна в контексте обсуждаемого мною сейчас вопроса. Ж.Пиаже начинает свое описание с представления концепции Б.М.Кедрова как «одной из самых новых классификаций наук». «До-

стоинство ее состоит, по нашему разумению, в том, что она близка к циклической системе, ибо в ее основе лежит диалектическая точка зрения». После достаточно подробного и весьма благожелательного описания сути предлагаемой Б.М.Кедровым концепции Ж.Пиаже делает следующие — очень характерные — замечания: «Стоит призадуматься над... двумя возможными функциями диалектики. Или, действительно, диалектика — общий метод, или она — философия, как и любая другая, и тогда, как и все другие, она подвержена риску стать догматической». И далее: «Конечно, философия влиятельна на всех уровнях и при разных социальных режимах, но нельзя не видеть опасности в том, что как бы диалектика, возведенная в ранг философии и выступающая как контроль, как "наука о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления", не остановилась очень быстро в своем собственном развитии, то есть не подверглась риску потерять свой собственный диалектический характер?» (приведенные цитаты взяты из: *Кедров Б.М. Пять встреч с Жаном Пиаже // Вопросы философии. 1981. № 9. С. 155, 156*).

Что можно сказать по поводу этой дискуссии? Во-первых, об исключительно уважительном отношении Жана Пиаже, одного из самых авторитетных западных психологов и философов 30 — 70-х годов XX в., к идеям, предложенным Б.М.Кедровым. Во-вторых, о вполне естественном негативном отношении Ж.Пиаже к марксистской философии и марксистской диалектике, выраженном, надо сказать, в чисто академической манере. Что же касается возможного марксистского догматизма, то Ж.Пиаже был безусловно прав, но Б.М.Кедров из всех действующих в то время философов в наименьшей степени заслуживал такого упрека, и к тому же, так сказать, умеренный догматизм — это неотъемлемая составная часть любой научной и философской программы, включая и генетическую эпистемологию Ж.Пиаже.

Второй эпизод, о котором я хочу рассказать, связан с V (канадским) Международным конгрессом по логике, методологии и философии науки (1975). На этом конгрессе, как я уже говорил ранее, Б.М.Кедров выступил с докладом по приглашению на тему «Эволюция понятия материи в науке и философии». Изданные после конгресса четыре тома его трудов были обстоятельно рецензированы в журнале «Synthese» известным англий-

ским философом и логиком Дэвидом Миллером. Выражая в целом скептическое отношение к марксистской философии, Д.Миллер тем не менее дает спокойные оценки реферируемым им докладам, излагающим марксистскую философскую концепцию, в частности, докладу Б.М.Кедрова («Кедров предпринял попытку описать историю теории материи в гегелевских терминах. Ленину приписывается (с. 196) то, что он предложил первое "детализированное определение философского понятия материи", и обосновывается, что уравнение $E = mc^2$ некорректно интерпретировать как переход материи в энергию» — *Miller D. Proceedings of the Fifth International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science. London, Ontario, 1975 (in 4 volumes) / Ed by R.E.Butts and Ja. Hintikka // Synthese. Vol. 43. № 3. 1980. P. 406*), и крайне резко оценивает доклады некоторых очень видных в западном мире философов как «образцы не более чем философско-научной журналистики» (*Miller D. Ibidem*).

И, наконец, последний эпизод, точнее свидетельство, которое я хочу привести и с которым меня любезно познакомили Э.Я.Кедрова и мои коллеги из Екатеринбурга. В письме уральскому философу В.К.Бакшутуову Алексей Федорович Лосев писал 21 февраля 1980 года: «...как видно из твоего письма, ты большой поклонник Б.М.Кедрова и, кажется, даже его ученик. Я тоже большой поклонник Б.М.Кедрова и считаю его единственным академиком-философом, который не только учен, не только проводит подлинно советскую линию, но вообще человек умный и честный. Это добросовестный человек. Я его уважаю за очень многое, а особенно за то, что он в свое время бесстрашно боролся против проходимца Георгия Александрова».

Это высказывание А.Ф.Лосева о Б.М.Кедrove затрагивает деятельность Бонифатия Михайловича в целом, но оно имеет прямое отношение к обсуждаемой мною теме. И, завершая эти мои заметки, думаю, что у нас есть все основания сказать: Бонифатий Михайлович создал советское международное сотрудничество в области философии науки и логики, сам весомо вошел в это сообщество и во многом предопределил направления дальнейшего развития международных научных связей в этой области.

Валентин Фердинандович Асмус (1894—1975)

Специалист в области истории философии, логики, эстетики, теории культуры. Профессор Московского Университета. Учитель нескольких поколений отечественных философов.

Соч.: Диалектический материализм и логика. Киев, 1924; Диалектика Канта. М., 1929; Маркс и буржуазный историзм. М. — Л., 1933; Учение логики о доказательстве и опровержении. М., 1954; Декарт. М., 1956; Проблемы интуиции в философии и математике. М., 1965; Иммануил Кант. М., 1973; Платон. М., 1975; Избр. философские труды. Т. 1—2. М., 1969—1971.

В. Ф. АСМУС — ПЕДАГОГ И МЫСЛИТЕЛЬ (материалы «круглого стола»)

В. В. Соколов (профессор философского факультета МГУ): Яркое имя Валентина Фердинандовича Асмуса неотделимо от истории русской философии в советский период.

Родившийся 30 декабря 1894 г. в семье служащего (отец — обрусевший немец, мать русская, крещен в православии), он окончил в Киеве реальное училище, но стал гуманитарием. Уже студентом отделений философии и русской словесности Киевского университета (окончил в 1919 г.) В. Асмус проявил склонность к научной работе, написав конкурсное сочинение об отношении мировоззрения Л. Н. Толстого к философии Спинозы и получив за него премию. Его учителями в философии были А. Н. Гиляров, В. В. Зеньковский, Е. В. Спекторский. С начала 20-х гг. В. Ф. Асмус ведет педагогическую работу по философии и эстетике в вузах Киева.

Преподавание философии и тем более научно-исследовательская работа в ней самого начала 20-х гг. была немислима без принятия теоретических установок марксизма. С присущей ему основательностью молодой пре-

подаватель философии и эстетики изучил труды Маркса и Энгельса, затем и Ленина (вернее, философские аспекты в различных их работах). Нацеленность молодого автора на исследование самых общих и принципиальных вопросов философии характеризует уже его первую книгу, изданную в Киеве, «Диалектический материализм и логика» (1924). Для уяснения роли дальнейшей научно-исследовательской, литературной и педагогической деятельности В.Ф.Асмуса необходимо вспомнить определяющие особенности марксистской философии и то, как они преломлялись в суровых условиях советской действительности.

Первая из таких особенностей состояла в достаточно настойчивой претензии на то, что эта философия продолжает и углубляет предшествующую философскую культуру и традицию — прежде всего материализм и диалектику. Вместе с тем в марксизме, и тем более в ленинизме, всемерно подчеркивали революционный переворот, якобы осуществленный им в философии. Такой «переворот», в сущности, трансформировал философию в идеологию, всемерно политизировал философию на основе пресловутого принципа партийности. Рассмотрение «философского наследия», его исследование в этих условиях, как правило, вульгаризировалось, схематизировалось, а иногда и просто пресекалось.

Но потребность в такой работе — разумеется, с сугубо марксистских позиций, — конечно, существовала. К тому же после высылки в 1922 г. выдающихся русских философов квалифицированных специалистов, способных вести серьезную исследовательскую работу в философии, оставалось крайне мало. Отсюда относительно терпимое отношение к молодым специалистам, недавно окончившим «старую школу». Одним из них и стал В.Ф.Асмус.

Для его позиции весьма характерна полемика с А.Варьяшем (Под знаменем марксизма. 1926. № 7—8; 1927. № 1).

Специализировавшийся по вопросам логики, методологии естествознания, опубликовавший книги по истории философии автор, видный деятель венгерской революции 1919 г., затем эмигрировавший в СССР, проявил себя в этих книгах как упрощенец и социологический вульгаризатор, пытавшийся однозначно вывести из пресловутого социально-экономического базиса гносеологи-

ческие и онтологические идеи великих рационалистов и эмпиристов XVII в. Хотя такого рода «идеи» в марксистской философской литературе признавались не вполне (вспомним судьбу книги В. Шулятикова «Оправдание капитализма в западноевропейской философии», 1908), но их все снова повторяли в различной мере множество авторов, что было закономерно в силу марксистской идеологизации философии. В своей рецензии на книгу А. Варьяша, а затем и в ответе на его реакцию (в том же журнале) В. Ф. Асмус с блеском эрудиции, силой аргументации, опиравшейся и на логику, и на работы Маркса, явно неизвестные автору историко-философских трудов, тонкостью ироничной стилистики показал несостоятельность позиций А. Варьяша.

Для утверждения идей о первостепенной важности философии в ее органической связи с историей философии весьма существенны были те акценты, которые делал В. Ф. Асмус в интерпретации диалектического материализма. По его словам, диалектический материализм является революционной философией, «ибо отнюдь не развивается вне философской традиции, ибо перестраивает мир он по тем принципам, которые находит в этом же самом мире как тенденции его развития» (ПЗМ. 1926. № 7—8. С. 206).

По-видимому, эта полемика, выявившая недюжинную теоретическую и литературную силу киевского философа (как и две его глубокие статьи «Бергсон и его критика интеллекта» и «Алогизм Уильяма Джемса», опубликованные в ПЗМ в 1926—1927 гг.), произвели сильное впечатление на А. Деборина и И. Луппола, тогдашних руководителей ИКП философии, и они пригласили его в качестве преподавателя этого главного тогда центра философского образования. Здесь (а затем и в других московских вузах) в течение ряда лет развертывалась профессорская деятельность В. Ф. Асмуса, великолепного лектора, точного и изящного в своей речи (о чем автор настоящей заметки судит и по рассказам своих старших коллег, и по собственному, уже более позднему опыту).

Продолжалась, расширялась и углублялась литературная деятельность В. Ф. Асмуса. Одно из главных ее направлений было зафиксировано в «Очерках истории диалектики в новой философии» (1930 г.), где автор развивал и углублял ту же идею «синтетичности» диалектики Маркса и Энгельса по отношению к диалектике

Декарта, Спинозы, Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля. Широта термина «диалектика», как он трактовался в гегелевско-марксистской традиции, предоставляла автору широкие возможности рассмотрения всех основных вопросов философии. Это особенно очевидно в «Диалектике Канта» (1929), несколько переработанные и дополненные, они составили солидный том «Иммануил Кант», опубликованный в 1973 г. Многие годы В.Ф.Асмус оставался у нас главным кантоведом, и есть все основания утверждать, что именно философия Канта составляла для него самую убедительную основу мировоззрения.

Постановление ЦК ВКП(б) 1931 г. по журналу «Под знаменем марксизма», как известно, зафиксировало наличие в советской философии «меньшевистствующего идеализма» (главным образом А.М.Деборин и его ближайшие сподвижники Н.Н.Карев и Я.Стэн), переоценивавшего философию Гегеля и не заметившего «ленинского этапа» в диамате. Это постановление знаменовало дальнейшую идеологизацию тогдашней официальной философии и, по существу, осуждение сколько-нибудь тесной увязки марксизма с философскими учениями прошлого. В многочисленных проработках, последовавших за этим постановлением, Асмуса тоже причислили к «меньшевистствующим идеалистам», изгнали из Академии комвоспитания, где он читал лекции, но его беспартийность, стремление держаться вне политики и сугубая осторожность спасли его от более горькой участи (большевики Карев и Стэн, а с последним он дружил, как известно, были арестованы, а затем и расстреляны).

В такой сгущавшейся и мрачнейшей атмосфере, оставаясь лектором ИКП философии, В.Ф.Асмус в 1933 г. опубликовал одно из самых значительных своих исследований «Маркс и буржуазный историзм». Здесь опять учение Маркса об обществе представлено как итог и преодоление предшествующей философско-исторической традиции Бэкона, Гердера, Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля. Вместе с тем оно как учение рационалистическое и диалектическое было противопоставлено алогическому историзму А.Шопенгауэра и О.Шпенглера, методологическому дуализму Г.Риккертта. Эта книга В.Ф.Асмуса была единственной философской книгой, вышедшей в год 50-летия смерти Маркса, что не удержало одного будущего академика от публикации в «Правде» погромной рецензии на нее. В последующие годы непродолжитель-

ное литературное сотрудничество с Н.И.Бухариным снова подвело В.Ф.Асмуса к опасной черте (в стенной газете Института философии после известного политического процесса марта 1938 г. появилась статья видного тогда литературно-политического деятеля, доказывавшего, что Асмус был «тенью Бухарина»).

В эти годы В.Ф.Асмус переключился на вопросы истории и теории эстетики. Среди наиболее значительных публикаций — «Гете в "Разговорах" Эккермана», «Философия и эстетика русского символизма», «Чтение как труд и как творчество», «Круг идей Лермонтова». В послевоенные годы были опубликованы такие значительные работы, как «Шиллер об отчуждении в культуре XVIII в.», «Мировоззрение Толстого» (отдельные статьи о нем публиковались и в 30-е годы). Член Союза советских писателей с 1935 г., В.Ф.Асмус немало писал и по вопросам литературоведения. В частности, он первым заметил большой поэтический талант А.Твардовского, когда появились его первые публикации в начале 30-х гг.

В январе 1940 г. В.Ф.Асмус защитил докторскую диссертацию «Эстетика классической Греции» (это была вторая в СССР публичная защита диссертации и первая в ИФАНе). Он — один из авторов многотомной «Истории философии». Первые три тома (из семи намеченных и частично написанных) были опубликованы в 1940—1943 гг., и Асмус стал одним из лауреатов Сталинской премии. Но уже в следующем, 1944 г. было принято известное постановление ЦК ВКП(б), осуждавшее третий из вышедших томов (в сущности, самый содержательный из них) за освещение в нем немецкого классического идеализма XVIII—XIX вв. Претензии к этому освещению носили туманно-политический характер (шла война с фашистской Германией), и В.Ф.Асмус наряду с Б.Э.Быховским и Б.С.Чернышевым был назван в этом постановлении одним из виновников политически неверного изображения немецких идеалистов. Последовали новые проработки на философском факультете МГУ (где В.Ф.Асмус работал профессором, как и Б.С.Чернышев) и в Институте философии.

Так называемая дискуссия 1947 г. по книге Г.Ф.Александрова «История западноевропейской философии» стала новым этапом в идеологизации и политизации философии. Она сводила к минимуму преподавание истории классической («домарксистской») философии,

максимально увеличив долю истории марксистской философии, которая включала теперь не только ленинский, но и сталинский этап. Исследовательская работа по истории домарксистской философии фактически прекратилась. В эти годы В.Ф.Асмус переключился на работу в области логики, которой он занимался с молодых лет и которая теперь стала преподаваться в ряде вузов. Уже в 1947 г. вышла солидная «Логика» В.Ф.Асмуса, систематически рассматривавшая традиционную формальную логику. В дальнейшем в новой коллективной «Логике» (1956) им были написаны главы «Понятие», «Аналогия», «Гипотеза», «Доказательство».

Но когда в логике стала осуществляться перестройка на математическую логику, В.Ф.Асмус посчитал, что в его годы уже поздно переключаться на новую исследовательскую область. К тому же наступило время XX съезда КПСС, знаменовавшего определенную оттепель и в философии. Она дала проф. Асмусу возможность перейти с кафедры логики на кафедру истории зарубежной философии, на которой он и проработал последующие двадцать лет. История философии оставалась главной научной любовью В.Ф.Асмуса. Он читал общие и специальные курсы по истории античной, новой и новейшей философии в студенческой, аспирантской, преподавательской аудиториях. Как всегда, эти лекции отличали ясность, содержательность, непринужденная и изящная стилистика. Из книг, опубликованных в этот период творческой деятельности В.Ф.Асмуса, назовем монографии «Декарт» (1956), «Проблема интуиции в философии и математике» (1963; 2-е изд. 1965), «Платон», учебное пособие «Античная философия» (1968; 2-е изд. 1976).

Здесь названы, разумеется, далеко не все публикации философа-энциклопедиста, писавшего фактически по всем разделам истории зарубежной, как и русской философии XIX—XX вв., эстетике и литературе — русской и зарубежной, множество статей в «Большой советской», «Литературной» и «Философской» энциклопедиях.

Возвращаясь к названной выше монографии «Проблема интуиции в философии и математике», исследующей проблему непосредственного знания в западноевропейской философии XVII—XIX вв. и математике XIX—XX вв., необходимо подчеркнуть высокий философский профессионализм ее автора. А такого рода профессиона-

лизм невозможен без способности к логико-гносеологическому анализу, которым наш маститый автор владел в высокой степени.

Последние 15—20 лет жизни и творчества В.Ф.Асмуса были не только творчески насыщенными, но и довольно счастливыми по сравнению с предшествующими годами. Правда, появилась одна тучка, когда в 1960 г. на похоронах Б.Л.Пастернака, травля которого за публикацию «Доктора Живаго» продолжалась и посмертно, его близкий друг построил свою надгробную речь вокруг идеи, согласно которой конфликт большого поэта и писателя не был конфликтом только с советской эпохой, но и со всеми эпохами. Руководящие профессора философского факультета МГУ на заседании Ученого совета устроили агрессивную проработку недавнему оратору за то, что он в своей речи не осудил покойного клеветника на советскую действительность. Прорабатываемый не посыпал свою голову пеплом, умело защищался, но, имея богатый опыт прошлых проработок, решил было покинуть философский факультет МГУ и перейти в сектор эстетики Института мировой литературы (где он работал по совместительству). Однако времена все же изменились, «высшие инстанции» не поддержали проработчиков, и все сделали вид, что Асмуса никто не трогал. В 1969—1971 гг. издательство Московского университета опубликовало два тома его «Избранных произведений».

С 1943 г. и в каждые новые выборы В.Ф.Асмуса выдвигали в состав АН СССР по философии. Однако члены этого отделения, руководимые твердыми марксистами-ленинцами и старыми партийцами, не могли простить ему ни «меньшевистствующего идеализма», ни последующих «вихляний». Научное содержание его трудов ими было просто не понято (да они вряд ли их сколько-нибудь внимательно читали). Впрочем, и сам «непроходимец» с 1962 г. не подавал больше документов. («Не хочу я разыгрывать демократию для Ильичева», — сказал он в этот год, когда секретарь ЦК КПСС сразу прыгнул в академики.)

Но к этому времени выросли новые поколения философов, формировавшиеся уже в предвоенные и тем более в послевоенные годы. Многие из них оценили уникальный талант В.Ф.Асмуса, глубокого и разностороннего исследователя и стилиста. Если поколение икапистов и других работников «философского фронта», сформиро-

вавшихся в 20—30-е годы, видело, как правило, в Асмусе «индивидуалиста» и «аристократа», всегда замкнутого и идеологически ненадежного, то многие представители нового поколения убедились, что его замкнутость — своего рода защитная броня, позволившая ему выжить в жестокие годы идеологической бдительности, проработок и арестов. И стоило уже стареющему профессору убедиться, что его слушатель, студент и аспирант — искренний поклонник философии, как он раскрывался в своей подлинной сути — в желании максимально помочь молодому коллеге, наделяя его толикой своих громадных знаний. Его слушатель быстро убеждался в огромной доброте и безупречной интеллигентности Валентина Фердинандовича. И когда он умер (4 июня 1975 г.), на его похороны в Переделкино пришло множество его учеников, друзей и почитателей.

Оценивая деятельность В.Ф.Асмуса в столетнюю годовщину его рождения, я глубоко убежден в том, что за все наши пореволюционные годы никто в нашей стране не сделал столько, сколько Валентин Фердинандович Асмус, для философского просвещения и образования в России, да и для всех стран бывшего СССР.

Т.И.Ойзерман (академик, член редколлегии журнала «Вопросы философии»): С В.Ф.Асмусом мне повезло познакомиться весной 1941 г., когда, будучи аспирантом философского факультета ИФЛИ, я представил диссертацию, посвященную проблеме свободы и необходимости. Естественно, мне хотелось, чтобы мою работу прочел какой-либо ученый, специально занимавшийся этой проблемой. Мне, конечно, были знакомы такие монографии Асмуса, как «Очерки истории диалектики в новой философии» и «Маркс и буржуазный историзм», в которых центральное место занимает анализ «моей» темы.

В.Ф.Асмус не работал в это время на нашем факультете. Так же, как А.Деборин, Л.Аксельрод-Ортодокс, он, по-видимому, считался не подходящим (разумеется, по идеологическим мотивам) для преподавания на философском факультете. А мою просьбу дать диссертацию на отзыв В.Ф.Асмусу в деканате оставили без внимания. Но мне было в высшей степени важно обсудить основные вопросы моей темы с настоящим, большим ее знатоком, каких на факультете не было. И я отважился, так сказать, на свой страх и риск, позвонить домой Валентину

Фердинандовичу и попросить его, по возможности в частном порядке, просмотреть мою диссертацию. Разговор был коротким, так как он сразу же сказал, чтобы я принес ему работу домой, что я и сделал.

Примерно недели через две состоялась моя вторая встреча с В.Ф. у него дома. Он не только прочел мою работу, но и выписал на отдельном листке основные вопросы, которые считал необходимым обсудить со мной. Помнится, что он, в частности, обратил внимание на один из основных тезисов диссертации: проблема свободы есть, в сущности, проблема необходимости, т.е. сама необходимость должна быть понята не как жесткая, однозначная связь событий, а как заключающая в себе многообразие возможностей, благодаря чему необходимость есть вместе с тем также необходимость выбора, если это социальная, историческая необходимость. Даже возможность альтернативных, взаимоисключающих человеческих решений коренится, с этой точки зрения, в лоне необходимости. Валентин Фердинандович, согласившись с этим тезисом, вместе с тем указал мне и на его недостаточность. Сама необходимость, поскольку речь идет о социальном процессе, должна быть понята как результат деятельности людей, которые лишь в той мере обусловлены обстоятельствами, в какой они эти обстоятельства сами творят. Эта мысль, хотя, на первый взгляд, она представляется чем-то само собой разумеющимся (ведь люди сами творят свою историю), глубоко запала в мое сознание. Она открывала перспективу действительно диалектического понимания противоположности свободы и необходимости как их коррелятивного отношения.

Я рассказываю об этом давнем эпизоде не просто потому, что он имел существенное значение для меня. В нем, в этом эпизоде, отчетливо вырисовываются две основные черты личности В.Ф.Асмуса. Он был учителем с большой буквы и весь отдавался этой деятельности, не жалея для нее своего времени, которое он, между прочим, очень ценил. И, во-вторых, он был не просто замечательным профессором, прекрасным лектором, но и творческим мыслителем, самостоятельно развивавшим философию. Его положение о коррелятивном отношении между свободой и необходимостью в социальном процессе, несомненно, обогащало диалектико-материалистическое понимание проблемы. Стоит напомнить в этой связи,

что в тогдашней марксистской литературе господствовало представление об абсолютной первичности необходимости не только в природе, но и в обществе. В рамках догматизированного марксизма, с его однозначным представлением о безусловной неизбежности победы социализма, положение о взаимопревращении необходимости и свободы не могло получить не только развития, но и формального признания. Официальная точка зрения сводилась, как известно, к утверждению, что свобода — лишь познанная необходимость.

Мое счастливо начавшееся знакомство с В.Ф.Асмусом было прервано войной и возобновилось лишь в 1947 г., когда я пришел на философский факультет в качестве доцента кафедры истории зарубежной философии и заместителя заведующего кафедрой. Заведующим кафедрой был профессор В.И.Светлов, который, будучи заместителем министра высшего образования СССР, практически не занимался кафедрой. Профессорами кафедры тогда были М.А.Дынник, О.В.Трахтенберг, М.И.Баскин. Все они были профессорами-совместителями, их основным местом работы был академический Институт философии. В.Ф.Асмус был штатным профессором философского факультета, но работал на кафедре логики. Его учебник по логике, вышедший в эти годы, был, несомненно, лучшим пособием в этой области. И все же, зная исследования В.Ф., посвященные главным образом историко-философской тематике, я не мог понять, почему он не читает курса по истории философии, не ведет спецсеминара, например, по Канту. Я поделился этими мыслями с В.Ф., и он мне прямо сказал, что с удовольствием перешел бы на кафедру истории зарубежной философии, но это, увы, не зависит от его желания.

Я обратился к декану факультета Д.И.Кутасову. Он согласился со мной в том, что Асмусу следовало бы, конечно, поручить основной лекционный курс по истории философии, но это, сказал он, не так уж просто. Существует мнение, подчеркнул он со значительным видом, что Асмус не вполне марксист. Преподавать логику — «беспартийную» дисциплину — он, конечно, может и должен, но иное дело — история философии, дисциплина партийная. Хочу подчеркнуть, что, ссылаясь на «мнение» каких-то руководящих партийных товарищей, Д.Кутасов не вполне разделял это мнение, но просто считал необходимым считаться с ним. Я же, несмотря на

его колебания, продолжал настаивать на переводе В.Ф.Асмуса на кафедру истории зарубежной философии. Кафедре необходим, доказывал я, хотя бы один штатный (на полной ставке) профессор. В ответ на мои настояния декан факультета принял решение поставить вопрос о переводе В.Ф.Асмуса на заседании партбюро факультета. Я присутствовал на этом заседании и был поражен аргументами некоторых членов партбюро, выступавших против перевода. Один из них (не стану называть его фамилии, хотя хорошо ее запомнил) даже сказал, что В.Ф.Асмус не заслуживает в полной мере политического доверия, так как его недавно не утвердили правофланговым на предстоящей праздничной демонстрации. Однако Д.Кутасов и большинство членов партбюро все же в конечном итоге согласились на переход В.Ф.Асмуса на нашу кафедру.

В.Ф.Асмус стал читать большую часть основного курса по истории зарубежной философии. Меньшую часть этого курса читали другие члены кафедры, которые вынуждены были теперь равняться на Асмуса, лекции которого собирали большую аудиторию (приходили не только студенты курса, для которого предназначались лекции, но и студенты других курсов, аспиранты и нередко также преподаватели).

Лекции В.Ф.Асмуса были рассчитаны на подготовленных слушателей. Он говорил, например, о Канте или Фихте так, как будто слушатели уже знакомы с их произведениями и испытывают потребность уяснить наиболее важные и трудные для понимания положения. Слушатели как бы вовлекались в обсуждение проблем, приглашались тем самым к более основательному, глубокому их изучению.

В.Ф.Асмус как лектор не пытался уснащать свои лекции какими-либо забавными, анекдотического свойства, подробностями. Он читал спокойно, несколько даже суховато, постоянно ссылаясь на источники, в том числе и на новейшую зарубежную литературу вопроса. Такие основательные (я бы сказал даже специальные) лекции по философии, собственно, и нужны на философском факультете. Они стимулируют серьезное изучение трудов классиков философии и оказываются необходимыми, полезными и для тех, которые уже преуспели в этом изучении. Однако я не могу, к сожалению, назвать какого-либо другого профессора философского факультета, лек-

ции которого были бы столь же основательны, столь же способствовали развитию у учащихся стремлению к самостоятельному исследовательскому поиску. Были хорошие лекторы, слушать которых было не скучно, даже интересно, но они, как правило, ограничивались популярным введением в изучение классических философских трудов, в то время как В.Ф.Асмус вводил своего слушателя вглубь этих произведений, убеждая его в том, что он все еще недостаточно их постиг, даже в том случае, если он посвятил им немало своего времени.

Особенно запомнились мне лекции В.Ф. по философии Канта. В те годы философия этого гениального мыслителя явно недооценивалась, ей постоянно противопоставлялось учение Гегеля, которое трактовалось как полное преодоление кантианской «критической философии». Лекции В.Ф. опровергали это упрощенное представление, убедительно показывая, что в некоторых, весьма существенных отношениях Гегель фактически оказался позади Канта, который подверг основательной критике традиционную, догматическую метафизику с ее теологическими постулатами, в то время как Гегель возродил (правда, в обновленной, диалектической форме) это метафизическое философствование.

На кафедре истории зарубежной философии В.Ф.Асмус стал также учителем, наставником молодых преподавателей. Мне, ставшему в 1953 г. заведующим кафедрой, В.Ф. был всегда добрым советчиком. И я, со своей стороны, старался всячески укрепить авторитет этого выдающегося ученого. К 70-летию Валентина Фердинандовича мы добились издания двухтомника его избранных работ. Это было немалым делом не только вследствие начальственных предубеждений против Асмуса, но также и потому, что в те годы вообще не было практики издания избранных трудов каких-либо, даже наиболее видных, советских философов. Сама идея издания избранных работ В.Ф.Асмуса представлялась начальству неуместной, так как избранные труды, говорили нам, имеются только у классиков философии. Пришлось немало потрудиться, чтобы переубедить начальствующие инстанции.

В связи с 70-летием В.Ф.Асмуса кафедра также поставила вопрос о присвоении ему звания заслуженного деятеля науки. Это предложение, поддержанное ученым советом факультета, одно время застряло где-то «ввер-

ху». Мне, в частности, дважды звонили из МГК КПСС, предлагая еще более подробно и «убедительно» охарактеризовать научные заслуги профессора Асмуса и еще раз обосновать целесообразность присвоения ему этого звания. И я вновь и вновь писал обстоятельные характеристики научных работ Валентина Фердинандовича, обращался к известным советским философам с просьбой подписать эти характеристики. Наши старания в конечном счете увенчались успехом: высокое звание заслуженного деятеля науки было, наконец, присвоено В.Ф.Асмусу.

Во второй половине 50-х годов, в период так называемой «оттепели», кафедра истории зарубежной философии выступила с предложением организовать издание важнейших трудов современных западных философов, в частности, Витгенштейна, Рассела, Гартмана, Карнапа и др. Под редакцией В.Ф.Асмуса и с его весьма содержательным предисловием, положительно оценивающим научный вклад Витгенштейна, был издан на русском языке его «Логико-философский трактат». За ним последовали и другие, не менее значительные издания, в подготовке которых активно участвовал В.Ф.Асмус.

В первой половине 60-х годов гостями-профессорами философского факультета были такие известные западные философы, как А.Айер, П.Риккер, Ж.Ипполит, Э.Вейль. Они выступали главным образом с лекциями по истории философии, и наша кафедра непосредственно занималась организацией этих лекций и следовавших за ними дискуссий. Эти философы были также гостями нашей кафедры, которую они часто посещали, выступая на ее заседаниях с докладами. Благодаря этому они познакомились с В.Ф.Асмусом, и результат этого знакомства не замедлил сказаться: Валентин Фердинандович был первым (и в течение многих лет единственным) российским философом, избранным действительным членом Международного института философии.

Все мы, российские историки философии, являемся прямо или косвенным образом учениками профессора Асмуса. Его работы, даже те, которые были написаны 70 лет назад (например, монография «Диалектика Канта»), до сих пор читаются как вполне современные, находящиеся на современном уровне, исследования. Это не значит, конечно, что в исследовании того же Канта мы не пошли дальше работ нашего учителя. Это значит лишь то, что мы постоянно опираемся на эти исследования,

учитываем их результаты и как бы включаем их в новые философские выводы.

Научное наследие В.Ф.Асмуса очень значительно и во многом все еще недостаточно оценено. Отмечая столетие выдающегося российского ученого, следовало бы позаботиться о переиздании его трудов, которые, безусловно, необходимы не только студентам философского факультета, но и всем стремящимся к мировоззренческому осмыслению действительности людям.

А.В.Гулыга (доктор философских наук, главный научный сотрудник ИФ РАН). Валентин Фердинандович Асмус состоял членом союза писателей с 1935 г. Он читал эстетику в Литературном институте им. Горького и считался признанным авторитетом в области художественного творчества. Один из его благодарных слушателей, поэт Яков Козловский посвятил ему стихи:

Время нас проверяет, как лакмус:
— Чем ты дышишь? а ну, отвечай! —

Валентин Фердинандович Асмус
Пьет из белого блюдечка чай.

Кто-то хочет,
ах, гога-магога,
Чтоб земная заржавела ось.
Нынче псевдофилософов много
От большой суеты развелось.

Но спокоен, добрый мой гений,
Не меняет под модный галоп
Ни оценок своих, ни суждений
И на звезды глядит в телескоп.

Стала б логика школьным предметом,
Но безумья он дал ей права
В день, когда над почившим поэтом
Молвил слово устами волхва.

В одиночестве слушает Баха
Он, достойный собрат могикиан.
Блещет мысль, избежавшая праха,
А над нею грохочет орган.

Телескоп, упомянутый поэтом, — не метафора. Еще до войны Валентин Фердинандович обратился в правительство за разрешением приобрести ему за границей телескоп для астрономических наблюдений. Решение принимал Молотов. Оно было положительным, телескоп

был куплен в Германии и доставлен в Переделкино, в писательский поселок, где у Асмуса была дача.

Неподалеку жил Пастернак. Поэт и философ дружили. В романе «Доктор Живаго» немало философски насыщенных страниц, несущих следы не только пребывания Пастернака в Марбурге, где он был любимым учеником Когена, но и переделкинских бесед с Асмусом.

Асмус выступил на похоронах Пастернака с проникновенной речью. По свидетельству очевидца, были там такие слова: «...До тех пор, пока будет существовать русская речь, имя Пастернака останется ее украшением». Партийное начальство в университете было недовольно. Устроили «проработку» Асмуса. Коллега Асмуса в высоких академических чинах, но с трудом произносивший слово «экзистенциализм», обвинил профессора в том, что в своей надгробной речи он не дал принципиальной критики романа «Доктор Живаго». Асмус парировал: «Вы согласитесь с тем, что публично критиковать неопубликованное произведение неприлично, это то же самое, что забираться в чужой письменный стол без разрешения хозяина. Давайте приложим все усилия к тому, чтобы напечатали роман, тогда я обещаю вам выступить с критической статьей».

Критический отзыв Асмуса значил много. Подпись Валентина Фердинандовича под рекомендацией открыла мне кратчайшую дорогу в писательскую организацию. «Его рекомендует сам Асмус» — это звучало как пароль для всех — «левых» и «правых», прогрессистов и консерваторов.

Один из студентов Литинститута, начитавшийся, видимо, «Камо грядеши» Сенкевича, извлек оттуда выражение «*arbiter elegantiarum*» и предложил называть так Валентина Фердинандовича. Он хотел польстить профессору, но ошибся: Асмус, когда прозвище дошло до него, остался недоволен. Очередную лекцию он посвятил различию между внутренней и внешней красотой, прекрасным и красивостью. Петроний, автор «Сатирикона», заботящийся о складках своей тоги, Дориан Грей, умеющий неподражаемо завязывать галстук, — герои снобизма, и не у них мы ищем идеал красоты. Слова «*arbiter elegantiarum*» не были произнесены, но был ясно, куда клонит профессор.

На следующий день состоялось собрание (то ли комсомольское, то ли партийное, то ли профсоюзное). По-

вестка дня — борьба с космополитизмом, с преклонением перед иностранщиной (дело было в пятидесятые годы). Выступавшие затруднялись привести примеры этого порока из собственной жизни. И вот берет слово студент, придумавший называть Асмуса «*arbiter elegantiarum*», говорит о недопустимости сравнения советского ученого с жалким вырожденцем Древнего Рима времен упадка и предлагает раз и навсегда заменить чуждое нам латинское выражение для характеристики профессора Асмуса простыми словами «законодатель прекрасного», что было с восторгом принято аудиторией, зафиксировано в решении собрания и одобрено начальством как должная мера самокритики.

Асмус как эстетик импонировал творческим работникам своей безусловной приверженностью к художественному вымыслу. В двадцатые годы у нас, а после войны и на Западе господствовал в литературе документализм. Жизнь полна выразительных событий, задача художника фиксировать их. В будущем, говорил Лев Толстой, писатели не будут придумывать романы, а брать их целиком из жизни. Асмус почитал Толстого, не возражал против документальной прозы, но утверждал, что без вымысла, без работы воображения и здесь не обойтись. Простой репортаж о произошедшем требует умения скомпоновать материал, найти выразительные средства. Документальное искусство не брезгует преувеличением, гиперболизацией (эффект «остранения»). Ибо искусство всегда игра.

По железобетонным канонам того времени сравнить искусство с игрой было недопустимой уступкой идеализму. Искусство родилось не в игре, а в труде, якобы учили классики. И вот профессор Асмус, опираясь на Шиллера, стал объяснять, что речь идет не о детской забаве и не об азартном времяпрепровождении, а особом способе поведения человека. И даже ставил слово «игра» в кавычки. «Эстетическая "игра" — свободная деятельность всех творческих сил человека и способностей, а порождаемый "игрой" продукт — не непосредственный предмет реальной жизни и не чистая греза воображения. Продукт игры — "видимость" — нечто идеальное (в сравнении с жизнью) и реальное (в сравнении с продукцией чистого воображения)... Характеризуя образ искусства как "видимость", Шиллер связывал образ его и со сферой *чувственности*, и со сферой *идей*. При этом он

не отождествлял образ ни непосредственно с чувственностью, ни непосредственно с мышлением. Как "эстетическая" видимость образ уже поднимается над непосредственным чувственным восприятием предмета. Возможность такого возвышения коренится в самой чувственности. Уже *зрение* и *слух* ведут к познанию действительности только путем видимости. В зрении, как и в слухе, материя, производящая впечатление, уже *удалена* на известное расстояние от чувственных органов, посредством которых она воспринимается. "То, что мы видим глазом, — говорит Шиллер, — отлично от того, что мы ощущаем, ибо рассудок перескакивает через свет к самим предметам". Переход от дикости к культуре сказывается в эстетической области тем, что "видимость", которая на докультурной ступени была подчинена низшим чувствам, получает самостоятельную ценность и становится предметом особого наслаждения». Я процитировал вступительную статью Асмуса к тому эстетических работ Шиллера, увидевшему свет в середине пятидесятых годов. Не прошло и десяти лет, как стало возможным говорить вслух о первоисточнике идей Шиллера.

В начале шестидесятых годов Институт философии приступил (впервые в истории) к изданию сочинений Канта на русском языке. Валентин Фердинандович взял на себя подготовку работ Канта по эстетике и этике. Он убедил издательских работников, что труды Канта по этике невозможно уложить в одну книгу, в результате четвертый том вышел в двух книгах, издание из шеститомного превратилось и семитомное. По инициативе Асмуса впервые на русский язык был переведен важнейший этический труд Канта «Метафизика нравов». Очень горевал он, что нет возможности опубликовать трактат «Религия в пределах только разума» (это было время хрущевской «оттепели», обернувшейся для церкви губительными холодами). Валентин Федорович доказал, однако, что первая глава трактата о религии «Об изначально злом в человеческой природе» имеет самостоятельное значение, и открыл этой работой вторую часть четвертого тома. Полностью «Религия в пределах только разума» увидела свет десятилетие спустя в составе тома «Трактаты и письма». Валентина Фердинандовича к тому времени уже не было в живых. Мы, готовившие этот том, посвятили его светлой памяти нашего наставника и учителя Валентина Фердинандовича Асмуса. Поместить на аван-

титул книги это посвящение нам не разрешили, оно содержится в заключительных строках вступительной статьи.

З.А.Каменский (доктор философских наук, ведущий научный сотрудник ИФ РАН): Если считать, что научная карьера начинается с поступления в аспирантуру, то вся моя научная жизнь вплоть до кончины Валентина Фердинандовича Асмуса в 1975 г. так или иначе связана с ним.

Впервые я услышал о нем еще в студенческие годы на философском факультете МИИФЛИ, где я учился в 1934—1938 гг. Тогда имя В.Ф.Асмуса дошло до меня как имя грешника, участника некоей секты, называвшейся туманным и витиеватым именем «меньшевистствующий идеализм». Что это такое, нам было не очень-то ясно. Правда, где-то во второй половине 30-х годов Валентину Фердинандовичу было разрешено преподавать в нашем институте, но я его курса не слушал.

Окончив МИИФЛИ, я поступил в аспирантуру кафедры диалектического и исторического материализма МГУ. И каков же был наш аспирантский трепет и восторг, когда в 1939 г. был объявлен для нас курс истории логики В.Ф.Асмуса! К тому времени мы, конечно, уже знали его выдающиеся работы, такие, как «Диалектический материализм и логика» (Киев, 1924), «Очерки истории диалектики в новой философии» (М.—Л., 1930), «Диалектика Канта» (М., 1930), и особенно последнюю для того времени крупную его книгу «Маркс и буржуазный историзм» (М., 1933), которую уже подвергли резкой, но совершенно бессодержательной и необоснованной критике. Можно представить себе, с каким интересом мы отнеслись к предложенному нам курсу.

Хотя Валентин Фердинандович и специализировался в основном в области истории западноевропейской (античной и новой) философии, но с молодых лет он интересовался и русской мыслью. В студенческие годы, в 1918 г. в Киевском университете, он получил премию за работу о философских взглядах Л.Н.Толстого. Поэтому можно не удивляться тому, что его внимание привлекла выдающаяся находка Д.И.Шаховского, который обнаружил пять до тех пор неизвестных, похороненных в архиве III Отделения «Философических писем» П.Я.Чаадаева. Публикацию этих пяти писем Шаховским в 22—24

книгах Литературного наследства (М., 1935) предваряла статья Асмуса «О новых "Философических письмах" П.Я.Чаадаева» — первая попытка интерпретации этого сложнейшего документа истории русской философии на основании полного его состава. Ко второму курсу аспирантуры у меня укрепился интерес к русской философии, зародившийся еще в МИИФЛИ. Я не без влияния Валентина Фердинандовича и надеюсь на то, что он будет моим научным руководителем, решил посвятить свою кандидатскую диссертацию именно этому интереснейшему мыслителю. В.Ф.Асмус был назначен научным руководителем моей диссертационной работы.

2 июня 1941 г. я защитил свою диссертацию (в моем архиве хранится отзыв Валентина Фердинандовича).

В конце 1942 г. я вернулся по ранению с фронта и поступил на работу в Институт философии АН СССР. Естественно, связи с В.Ф.Асмусом восстановились.

В 1942—1943 гг. завершалась работа над 3-м томом многотомной «Истории философии», в котором Валентин Фердинандович принимал активное участие. По моим сведениям, он был автором глав о Канте и так называемой «пореволюционной немецкой философии» (И.Гербарт, А.Шопенгауэр, Ф.Бенеке, Я.Фриз, Б.Больцано, Г.Фехнер, Г.Лотце), о которой тогдашний русский читатель мало что знал. За это издание он наряду с другими участниками получил Сталинскую премию.

Мои контакты с Валентином Фердинандовичем возобновились, поскольку и он, и я участвовали в подготовке глав, посвященных истории русской идеалистической и религиозной философии второй половины XIX в. Даже выбор тематики исследований был в те времена поистине небезопасен. Это было проявлением гражданского мужества. Нетрудно себе представить, в чем эта опасность состояла, если иметь в виду, что материалистическая ортодоксия была тогда непременным условием всякой историко-философской деятельности. Всякому, кто эту ортодоксию — вольно или невольно — нарушил бы, грозили не просто неприятности, но и нечто гораздо худшее. С этой сложной и опасной задачей Валентин Фердинандович справился блестяще. Я уже имел случаи вспоминать о том, как в военные годы мы работали над

этим томом¹. Асмус написал для этого тома главы о Вл. Соловьеве, о философии в Московском университете. Однако этот том не вышел. Главы, написанные В.Ф. Асмусом, в той или иной форме были изданы — глава о Соловьеве легла в основу статьи о Соловьеве в «Философской энциклопедии», а статьи об университетской философии появились под названием «Борьба философских течений в Московском университете в 70-х годах XIX века» (Вопросы истории. 1946. № 1 и затем в книге: Асмус В.Ф. Избранные философские труды. Т. 1. М., 1969) и «Философия в Московском университете второй половины XIX века» (Ученые записки философского факультета Московского университета. М., 1958).

Работа над «русским» томом после разгромного решения ЦК ВКП(б) о III томе (1944) «Истории философии» и удаления из Института философии фактического руководителя подготовки этого издания — Б.Э. Быховского — была остановлена. После этого была предпринята попытка другого издания, посвященного истории отечественной философии. Но В.Ф. Асмуса, как «провинившегося» в подготовке глав III тома, к составлению нового варианта книги уже не привлекали. Он оказался (в который раз!) в опале. В дальнейшем — в феврале—мае 1951 года — я посещал его лекции в университете по формальной логике. В этих лекциях по проблемам формальной логики В.Ф. Асмус большое внимание уделял историко-философским экскурсам.

Более устойчивыми наши контакты стали в конце 50-х годов, когда началось издание «Философской энциклопедии». Валентин Фердинандович был членом редколлегии этого издания, ответственным по отделу западноевропейской философии, а я — научным редактором этого отдела. Все статьи этого цикла я посылал ему на прочтение и визирование, что он и делал с величайшей аккуратностью. Выступал он и в качестве автора — ему принадлежат, по моим подсчетам, 27 статей, среди них такие крупные статьи, как «Древнегреческая философия», «Аристотель», «Кант», «Фихте», «Шеллинг», «Шопенгауэр», «Рационализм», «Непосредственное зна-

¹ Каменский З.А. Из истории изучения русской философской мысли в 40-х годах XX века. Воспоминания. Материалы личного архива // Отечественная философия: опыт, проблемы, ориентиры, исследования. Вып. X. М., 1992.

ние». Вспоминается один, весьма знаменательный эпизод. Известно, что на могиле опального великого русского поэта Б.Пастернака, с которым Асмуса связывала большая дружба (их частым встречам способствовало также то обстоятельство, что оба круглогодично жили в Переделкине), Валентин Фердинандович произнес речь. Это уже само по себе было актом гражданского мужества, поскольку в те времена если и говорили о Пастернаке по официальному поводу (а он выступал на могиле поэта от имени Союза писателей), то только гневно-осуждающе. Валентин Фердинандович в своей вдохновенной речи высоко оценил творчество своего друга и определил его выдающееся место в истории русской поэзии. В этой связи Главный редактор «Философской энциклопедии», один из деятелей официальной партийной идеологической элиты, Ф.В.Константинов поставил перед высшими партийными инстанциями вопрос об исключении Валентина Фердинандовича из числа членов редколлегии «Философской энциклопедии». К счастью для этого издания, высшее идеологическое начальство (М.А.Суслов), видимо, опасаясь неблагоприятной реакции в кругах интеллигенции, это предложение отвергло, и Валентин Фердинандович продолжил свою деятельность и в энциклопедии, и в университете, где над ним тоже сгустились тучи.

В годы нашей совместной деятельности в «Философской энциклопедии» Валентину Фердинандовичу была послана на экспертное заключение моя докторская диссертация. Судя по конечному результату, это заключение было положительным, и я очень сожалею, что согласно регламенту диссертанта не знакомят с такого рода рецензиями.

В конце 1968 г. я начал работать в Институте философии во вновь организованном секторе истории западноевропейской философии, куда в конце 60-х годов по совместительству был приглашен и Валентин Фердинандович. Наше сотрудничество было связано с написанием истории диалектики. Асмус написал для этого издания главу о диалектике Гегеля, которая в книгу не вошла и впервые публикуется в этом номере журнала «Вопросы философии». Из контактов тех лет запомнилась мне краткая беседа о моей статье «Из истории изучения советскими философами методологии историко-философского исследования» (История общественной мысли. М.,

1972). В центре этой статьи — анализ полемики В.Ф.Асмуса с А.Варьяшем.

В своей статье «Спорные вопросы истории философии» (ПЗМ. 1926. № 7—8) Асмус обнаружил полемический задор, не охлажденный идеологическими ограничениями и разносами, которые впоследствии обрушивались на Валентина Фердинандовича. Несколько необычен был и сюжет — не конкретно-историческая проблема, чему были посвящены большинство его работ, а методология историко-философского исследования. Валентин Фердинандович в своей статье подвергал критике вульгарно-социологическую методологию, в то время чрезвычайно распространенную во всех исторических дисциплинах и не только в истории философии. Он противопоставил этой методологии другую, исходившую из имманентного хода историко-философского процесса и учитывающую, конечно, и роль социально-политического фактора в этом процессе. В своей статье я был целиком на стороне В.Ф.Асмуса и, можно сказать, продолжал ту линию в области методологии историко-философского исследования, которую он наметил уже в 20-е годы. Я считал, что мы можем и в 70-х годах извлечь много полезного из концепции Валентина Фердинандовича для научной деятельности, поскольку — если не в теории, то в практике — методология вульгарного социологизма не только не была преодолена, но продолжала господствовать.

Прежде чем отдать статью в печать, я дал прочитать Асмусу ее машинописный экземпляр. Он одобрительно отнесся к статье, но полагал, что надо смягчить критику А.Варьяша, поскольку его позиция для того времени была общепризнанной, а его, Валентина Фердинандовича, хоть и более перспективной, но отнюдь не распространенной. И все же я не прислушался к его просьбе.

В начале 70-х годов Валентину Фердинандовичу уже трудно было участвовать в систематической работе сектора. Он и в университет почти не ездил. Аспиранты, которыми он руководил, приезжали к нему в Переделкино. Ездили к нему домой и мы, давние, как я, В.М.Богуславский, В.В.Соколов, Ю.К.Мельвиль, и новые — В.А.Жучков, М.А.Абрамов, М.М.Ловчева — молодые его ученики и почитатели. У нас сложилась традиция ездить к нему в день его рождения. Традиция эта сохранилась до сих пор — в этот день, как и в день его кончи-

ны, мы посещаем в Переделкине его друга и супругу, Ариадну Борисовну Асмус.

Разумеется, я не мог в этих кратких воспоминаниях охарактеризовать все мои краткие встречи с В.Ф.Асмусом, раскрыть значение его творчества в истории отечественной философской историографии 20—70-х годов. В.Ф.Асмус — крупнейший русский историк философии этого полувека. Его творчество должно быть еще осмыслено в дальнейших серьезных исследованиях. Полагаю, что специальные исследования должны быть посвящены следующим блокам проблем: работам В.Ф.Асмуса по античной философии, и особенно философии Платона и Аристотеля, по новоевропейской философии, и особенно философии Декарта и немецкой классической философии, прежде всего Канта, по русской философской и эстетической мысли. Думаю, что каждый из этих трех циклов заслуживает не одного исследования.

В заключение хочу сказать несколько слов об особенностях характера Валентина Фердинандовича и стиле его философствования. Мне редко приходилось встречать человека, в характере которого так счастливо бы сочетались поистине олимпийское спокойствие, интеллигентность и, что особенно его отличало, — доброта. Одной из черт его характера была чрезвычайная щепетильность в отношениях с людьми.

Что же касается стиля его научной работы, то он целиком соответствовал его характеру. Поистине, человек — стиль! В самом стиле его научных работ нетрудно заметить проявление его олимпийского величавого спокойствия. На первый взгляд может показаться, что его историко-философский анализ ограничивается пересказом и сопоставлением идей. Его нередко упрекали — особенно в 20—30-е годы — в объективизме, т.е. в том, что он не дает на каждом шагу оценок, особенно социально-классовых и т.п. В те времена его стилю противопоставляли так называемую партийную ангажированность. Да и в наше время нередко стремятся использовать историю философии ради изложения авторских взглядов, а не идей того или иного мыслителя. Такого рода авторы зачастую сами не понимают того, что говорят, и создают видимость не всем доступной глубины, хотя являются голыми королями. Подобного самовлюбленного обмана себя и других В.Ф.Асмус никогда не допускал. То, что кажется в его работах «простым» изло-

жением, является плодом долгого, мучительного, пристального анализа огромного материала. Понять это может лишь тот, кто смог глубоко постичь суть исследуемого мыслителя. Таким В.Ф.Асмус был в жизни, в научном творчестве. Таким он и останется в памяти и сердцах тех, кто имел счастье встретить его на своем жизненном пути.

В.А.Смирнов (доктор философских наук, профессор, заведующий отделом ИФ РАН, член редколлегии журнала «Вопросы философии»): Сейчас много пишут о российской культуре начала века и о провале в культуре в течение последующих десятилетий. На деле все сложнее. Мы не должны забывать, что наши отцы — отцы тех, кому сейчас за шестьдесят, — победили германский фашизм и создали предпосылки для преодоления тоталитаризма в России собственными силами. Были люди, которые сохранили и развили великую русскую культуру начала века. В литературе это Б.Л.Пастернак и М.А.Булгаков, А.Н.Колмогоров и А.А.Марков в математике, П.Л.Капица в физике. Труднее было в философии. Но и здесь мы можем назвать имена, которые сохранили настоящую философскую культуру, сумели ее развить и передать последующим поколениям. Одно из первых мест здесь принадлежит Валентину Фердинандовичу Асмусу.

Я поступил на философский факультет Московского университета в довольно мрачное время — в 1949 г. В целом преподавание философии — да и не только философии — было заидеологизировано и примитивизировано. Светлыми пятнами было преподавание логики, психологии и частично истории античной философии. Очень любопытная ситуация сложилась на кафедре логики. После разрешения преподавать формальную логику была образована кафедра логики, и на ней стали работать такие выдающиеся философы, как В.Ф.Асмус, П.С.Попов, А.А.Ахманов, Н.В.Воробьев, с 1949 г. начал преподавать Е.К.Войшвилло. Но наряду с этим на кафедре доминировали «диалектические логики», по образному выражению Н.В.Воробьева, руководство кафедры пришло с заданием разоблачить логический менделизм-морганизм. Но отрадным было уже то, что были дискуссии, открытая защита формальной логики и ее современной формы — логики математической. В период моего обучения уже не было специальной группы, специ-

ализирующей по логике. Однако мы образовали небольшую неформальную группу интересующихся логикой и организовали ряд спецкурсов и спецсеминаров. В 1952—1953 гг. Валентин Фердинандович провел спецкурс-спецсеминар под названием «Логика эпохи рационализма и эмпиризма». В работе этого спецсеминара-спецкурса участвовали мои однокурсники Е.Д.Смирнова, Ф.Т.Михайлов, И.Б.Михайлова, В.М.Козлов, я, а также студенты старшего курса Г.П.Щедровицкий и Л.Н.Митрохин. Мы изучали первоисточники, делали доклады, Валентин Фердинандович читал лекции. Были изучены произведения Галилея, Бекона, Декарта, Локка, Юма, Лейбница. Уже само название спецкурса-спецсеминара позволило В.Ф.Асмусу оставить в стороне обязательные в то время рассуждения о социальных и классовых корнях того или иного философского учения. Валентин Фердинандович подчеркивал связь идей философии XVII—XVIII веков с зарождением и развитием науки Нового времени. В последующем многие идеи, излагаемые в курсе, были опубликованы В.Ф.Асмусом в книге о Декарте, интуиции. Но, к сожалению, не все; это прежде всего относится к оригинальной трактовке философских идей Лейбница. Я законспектировал лекции В.Ф.Асмуса о Лейбнице, но Раббот, которому я дал их на время, мне их не вернул и эмигрировал в США.

В следующем 1953/54 учебном году Валентин Фердинандович, несмотря на наши убедительные просьбы прочитать цикл лекций об И.Канте, отказался, сказав, что сейчас не время для серьезного изложения идей Канта. И вместо этого предложил спецкурс-спецсеминар под названием «Логика эпохи империализма». Несмотря на одиозное название, это было серьезное изучение философии и логики конца XIX и начала XX в. Этот спецсеминар-спецкурс был необычен. Опять были наши доклады, лекции Валентина Фердинандовича. Формальной программы не было. Я, как староста группы, должен был вечером накануне занятий позвонить Валентину Фердинандовичу и сообщить ему, какой доклад будет завтра, и если не будет, то что мы хотим услышать от него. Мы делали доклады по доступным нам произведениям Гуссерля, Риккерта, Кассирера, Пуанкаре и др. Валентин Фердинандович излагал нам идеи логиков и философов, чьи произведения нам были недоступны. До

сих пор помню его лекции об идеирующей абстракции Гуссерля, лекции об идеях неокантианства. Некоторые темы были необычны. Меня потрясла его лекция о логических идеях Ф.Ницше. Я думал, что у иррационалиста Ницше не может быть никаких логических идей. Но они были. Валентин Фердинандович прекрасно показал, что Ницше (как и прагматисты) во многом опирается на Дарвина. Интеллект рассматривается им как средство приспособления. Поэтому истинно то, что полезно. Сам Валентин Фердинандович был ярким интеллектуалистом. Он неоднократно говорил и показывал, что основная ценность науки, знания не в их прикладном характере, а в том, что они дают истину. Знание полезно, потому что оно истинно. Надолго осталась в памяти его лекция о Махе. Воспитанные на критике В.И.Лениным Э.Маха, мы по-новому взглянули на философию Маха, ее связь с изменениями в физике, на роль Маха в становлении теории относительности. На основе этих лекций Валентин Фердинандович в последующем опубликовал работу «Логика эпохи империализма». Однако многие идеи и темы, излагавшиеся в курсе, не вошли в нее.

Первую курсовую работу я писал под руководством оригинального мыслителя Александра Сергеевича Ахманова, о котором следует говорить отдельно. Но он был уволен из Университета после звонка из органов, чтобы его — в то время пожилого человека — не делали правофланговым на демонстрации. Уже после XX съезда он вернулся в Университет, но стал работать на кафедре истории философии. Моим научным руководителем стал Валентин Фердинандович. Я все больше и больше увлекался математической логикой. Валентин Фердинандович поддерживал эти стремления. После поступления в аспирантуру моим научным руководителем, естественно, стал Валентин Фердинандович. Общение с ним стало более регулярным и тесным. Он не любил рассказывать о себе. Но в памяти сохранились эпизоды, дополнительно характеризующие Валентина Фердинандовича как гражданина, как глубокого мыслителя, исключительно доброго и доброжелательного человека.

На следующий день после смерти Сталина по расписанию у нас должен был быть семинар В.Ф.Асмуса. Валентин Фердинандович пришел на занятия со значком лауреата Сталинской премии, но на чье-то предложение отменить занятия в связи со смертью Сталина — что

было сделано во всех других группах — ответил отказом. На нас, студентов, это произвело неизгладимое впечатление.

Однажды, где-то осенью 1953 г., после пленума ЦК по сельскому хозяйству, я высказался скептически о возможности быстро изменить положение в деревне (я бывал в колхозах и видел, что там происходит). На это Валентин Фердинандович возразил, сославшись на опыт НЭПа.

Более скептически относился он к возможности быстрых перемен в области культуры и идеологии. Уже позже — году в 56—57-м я спросил В.Ф.Асмуса, не хотелось ли ему поехать в ГДР с курсом лекций. На это он ответил, что его лекции будут понимать в ГДР не раньше, чем через 20—25 лет.

Причины, по которым В.Ф.Асмус отказался читать лекции о Канте в 1953 году, понятны. Более интересно его отношение к философии Гегеля. Однажды он увидел у меня в руках томик Гегеля. «Не увлекайтесь Гегелем, — сказал он — объективно писать о Гегеле не только Вы, но, пожалуй, и Ваш сын еще не сможет». Я убедился в этом недавно, комментируя статью К.Поппера «Что такое диалектика». Слишком много эмоций (у меня отрицательных) связано с Гегелем и его последователями.

Еще один штрих. Как-то — когда «По ком звонит колокол» Хемингуэя был под запретом — Валентин Фердинандович увидел у меня машинописный текст этой книги. Его реплика: «Читаете, как мы проиграли войну в Испании?»

Валентин Фердинандович был многогранной личностью. Он внес весомый вклад в историю философии, в логику, эстетику, литературоведение. Он был прекрасно знаком с современным естествознанием, увлекался наблюдением Луны, специально изучал французскую геодезическую школу. Я как-то удивился такой разносторонности Валентина Фердинандовича. Он заметил, что в наше время нельзя быть специалистом в одной области. Если нет возможности честно работать в истории философии, можно перейти в эстетику, логику. Главное — не говорить и не писать то, за что впоследствии будет стыдно. При переиздании своих работ 20—30-х годов он не менял в них ни строчки.

Необходимо написать биографию Валентина Фердинандовича: о его учебе и жизни в Киеве, о его роли в группе «Серрапионовых братьев», его отношениях с Шестовым, Шпетом. Жизнь его в эти сложнейшие времена была отнюдь не простой. Планируемый арест Валентина Фердинандовича перед войной не состоялся, так как кто-то из друзей предупредил его, и он отбыл в Минск. В начале 60-х годов на конференции по логике и методологии науки в Киеве он поведал в частной беседе П.В.Копнину и мне о послевоенной ситуации, когда повсеместно была введена логика. Однажды поздно вечером, даже ночью, к В.Ф.Асмусу приехала группа лиц, предложила одеться и ничего не брать с собой и следовать за ними. Привезли его ночью на заседание Совета Министров и попросили прочитать лекцию о логике. П.В.Копнин спросил, в полном ли составе заседал Совет Министров, т.е. был ли на нем Сталин. Оказывается, был. П.В.Копнин обнародовал эту историю на конференции, что вызвало некоторое неудовольствие Валентина Фердинандовича.

В.Ф.Асмус был «невъездным». Он был хорошо известен за рубежом, избран действительным членом Международного института философии в Париже еще в 50-е годы, но не мог принять ни одного приглашения, так как не имел разрешения на выезд. Я помню, П.В.Копнин — тогдашний директор Института философии АН СССР — решил добиться, чтобы В.Ф.Асмус поехал на 4-й Международный конгресс по логике, методологии и философии науки в Бухарест (1971 г.). Не знаю, что он предпринимал. Но вскоре он попросил меня передать В.Ф.Асмусу, что, к сожалению, ничего не получается. Валентин Фердинандович после моего сообщения сказал, что не надо расстраиваться, он больше бы сожалел, если бы это был Краков, а не Бухарест.

Сейчас многие открывают для себя российскую предреволюционную философию. Но следует иметь в виду, что предреволюционные издания не были в спецхране, их можно было читать, более того, в послевоенные годы многие из предреволюционных книг можно было купить в букинистических магазинах. Кафедра логики в обязательный список литературы для сдачи кандидатского минимума по логике включала работы Васильева, Лосского, Каринского, Введенского, Лапшина, Щербатского, Пюварина и др. Это была заслуга В.Ф.Асмуса, П.С.По-

пова. В 60-е годы Валентин Фердинандович много сделал, чтобы восстановить имена репрессированных или эмигрировавших философов. Достаточно вспомнить его статьи о Шпете, Шестове. Мы не должны забывать, что Валентин Фердинандович был единственным из литераторов и философов, выступившим на похоронах Б.Пастернака.

Мне как логику хочется вспомнить некоторые не полностью реализованные идеи В.Ф.Асмуса. Он основательно занимался изучением неклассических логик. В частности, его интересовал вопрос о совместимости общей теории относительности и квантовой теории, возможно, за счет изменения логики. Эти идеи высказаны им во вступительной статье к книге Шарля Серрюса «Опыт исследования значения логики», переведенной им же с французского и изданной издательством «Иностранная литература» в 1948 г. Позже он перевел с французского статьи Ж.Л.Детуша и П.Феврие-Детуш по этим вопросам. Я смог прочитать их в рукописи. Первоначально планировалось, что моя кандидатская диссертация будет посвящена поливалентным логикам (так называл Валентин Фердинандович многозначные логики), но — это было в 1954 г. — тема моей диссертации не была утверждена кафедрой и Ученым советом. Для того времени она была слишком «буржуазной».

Валентин Фердинандович поддерживал разработку математической логики, он четко определял математическую логику как современную форму логики формальной. Его заслуги в переориентации кафедры логики на логику математическую бесспорны. В 1956 г. после ожесточенной борьбы с так называемыми диалектическими логиками было сменено руководство кафедрой. На короткий период заведующим стал В.Ф.Асмус. За этот период он много сделал для последующего развития кафедры. Но он быстро ушел с заведования, так как считал, что сделал свое дело и появилась возможность серьезной работы в области истории философии. Еще ранее, заметив, что я увлекся достаточно техническими вопросами логики, он предложил мне сменить руководителя. «Я переговорю с Андреем Николаевичем Колмогоровым, чтобы он стал Вашим научным руководителем», — сказал он. Я отказался, так как полагал, что тем самым дам повод для перевода меня, да и всей математической логики, с фи-

лософского факультета на механико-математический. Валентин Фердинандович согласился с моими аргументами.

Валентин Фердинандович очень своеобразно работал со студентами и аспирантами. Он давал творческий простор для работы, никогда не навязывал собственных идей, всегда стремился отметить успехи студента или аспиранта, давал возможность самостоятельно дойти до мысли, до решения поставленной задачи. Он как-то сказал, что самый хороший метод обучения аспирантов состоит в том, чтобы поручать им писать хорошие отзывы на плохие диссертации. Я знаю, что он поддержал в свое время очень многих ныне активно работающих философов. Лично я неоднократно имел поддержку Валентина Фердинандовича: в 1954 году он настоял, чтобы я был принят в аспирантуру (я не был членом партии, и мой отец был в плену). В аспирантуре я был достаточно агрессивен на семинаре по диалектическому материализму по отношению к так называемой диалектической логике и в результате получил тройку по диалектическому материализму, что послужило поводом к постановке вопроса о моем отчислении из аспирантуры, и только самое энергичное вмешательство В.Ф.Асмуса не позволило этому свершиться.

Авторитет Валентина Фердинандовича для меня и моих коллег был непререкаем. Приведу один курьезный пример. Однажды, когда я был аспирантом, Валентин Фердинандович заметил: «Владимир Александрович (он всегда называл и студентов и аспирантов по имени и отчеству), Вы очень много курите. Конечно, каждому человеку нужны тонизирующие средства. Я придерживаюсь такой теории: до тридцати лет нельзя ничего пить, кроме чая и кофе; после тридцати можно позволить себе бокал вина; после сорока рюмочку хорошего коньяка. Но поскольку Вы очень много курите, то можете начать с коньяка». После того как я пересказал этот совет Асмуса своей жене — тоже его слушательнице — то, к моему удивлению, на следующий день была куплена бутылка хорошего коньяка. Но я не последовал совету Валентина Фердинандовича, так как в то время не мог выпить рюмку коньяка один, без друзей.

Время показало, что Валентин Фердинандович Асмус был крупнейшим российским философом XX в. Мне повезло, что я слушал его лекции и имел возможность с ним общаться. Я горжусь, что был его учеником.

А.Л.Субботин (доктор философских наук, ведущий научный сотрудник ИФ РАН): В то время я, уже серьезно увлекаясь философией и чувствуя потребность в более систематических занятиях, хотел встретиться с человеком, который помог бы мне квалифицированным советом. Был май 1945 г. Я тогда жил в Переделкине и как-то рассказал о своих проблемах писателю Виктору Ефимовичу Ардову. «Познакомить Вас с Асмусом? Он сейчас живет здесь», — предложил Ардов. Встреча состоялась на следующий день у дачи Б.Л.Пастернака. Валентин Фердинандович сидел на лавочке, рядом стоял его знаменитый телескоп. Он прежде всего поинтересовался, с какой философской литературой я уже знаком. Багаж моих знаний был невелик, но как раз тогда я читал «Этику» Спинозы и его переписку, и беседа некоторое время шла в этом русле. «Надо хорошо знать историю философии, причем по первоисточникам», — сказал Валентин Фердинандович. И добавил: «Однако для начала, чтобы ввести в круг вопросов философии, я составлю для Вас список литературы, которую следует проработать». Через некоторое время я получил от него этот список. Перечислю рекомендованные им книги, так как полагаю, что наставления такого незаурядного философа и опытного педагога, каким был В.Ф.Асмус, могут быть полезны и другим начинающим философам. Прежде всего были указаны два «Введения в философию» — В.Вундта и Н.О.Лосского. Из книг по истории античной философии он рекомендовал «Первые шаги древнегреческой науки» П.Таннери, «Историю античной философии» Г.Арнима, а также «Метафизику в Древней Греции» С.Н.Трубецкого и «Мораль Эпикура и ее связь с современными учениями» М.Гюйо. С поздней античной и средневековой философией следовало ознакомиться по второй части книги А.Н.Гилярова «Философия в ее существе, значении и истории». Что же касается нового времени, то была названа «История новейшей философии» Г.Геффдинга (содержащая, в частности, очень ясное и логичное изложение критической философии Канта). С этой литературой, тщательно ее конспектируя, я работал более года. Но только потом, уже учась на старших курсах философского факультета, оценил, как много значило для моего образования то, что начало систематического изучения философии было положено чтением этих книг.

К сожалению, будучи целых пять семестров студентом экстерната философского факультета МГУ, я не имел возможности прослушать курс лекций по античной философии, который Валентин Фердинандович читал на факультете в середине 40-х годов. Однако когда в начале 1948 г. я перевелся на очное отделение, то сразу же попал на его лекции по логике отношений. 1947—1949 гг. можно считать переломными в логическом образовании на философском факультете МГУ, которое до этого в общем ограничивалось проблематикой, содержащейся в «Учебнике логики» для гимназий Г.И.Челпанова. В Издательстве иностранной литературы вышли сразу три книги, в которых излагалась теория современной логики: «Основы теоретической логики» Д.Гильберта и В.Аккермана, «Введение в логику и методологию дедуктивных наук» А.Тарского и «Опыт исследования значения логики» Ш.Серрюса. Последнюю перевел с французского Асмус, сопроводив ее обстоятельной вступительной статьей и комментариями. Об этой книге Валентин Фердинандович рассказывал мне еще до ее выхода в свет, сетуя на то, что издательство не пошло на публикацию более позднего и обстоятельного труда Ш.Серрюса — «Трактата по логике». Лекции по логике отношений В.Ф.Асмуса, как и лекции по математической логике, которые в то же время читала на философском факультете С.А.Яновская, стали первым прорывом небольшой, лишь снисходительно допускаемой официальной идеологией, части нашей философии к действительно современной научной проблематике. Московских студентов начали знакомить с тем, что уже давно вошло в программы учебных заведений многих стран. Павел Сергеевич Попов в связи с этим шутил: «Неудобно, чтобы у нас не преподавали того, что преподают даже на Мадагаскаре».

Юношеские впечатления от встреч являются наиболее яркими и запоминающимися. Потом, когда общение становится привычным и обыденным, многое не сохраняется в памяти. Мои встречи с В.Ф.Асмусом сейчас, почти пятьдесят лет спустя, я помню так же хорошо, как если бы они были совсем недавно. И это, наверное, еще и потому, что первые впечатления об этом в высшей мере интеллигентном и эрудированном человеке, доброжелательном и обладавшем безошибочным чувством нового, несколько не изменило все последующее общение с ним.

В.А. Жучков (доктор философских наук, старший научный сотрудник ИФ РАН). Вспоминать о Валентине Фердинандовиче Асмусе легко и непросто одновременно. С внешней стороны его жизнь чем-то напоминала работу хорошо отлаженного механизма: систематическая научная работа, чтение лекций, слушание музыки и музицирование, наблюдение небосвода в телескоп... Весь его быт был подчинен четкому распорядку (правильнее — высшему порядку бытия). Ежедневно, в любую погоду, мерным шагом он покрывал немалое расстояние от своего дома в Переделкине до столовой в Доме творчества писателей, а местные жители шутили, что по его появлению можно было проверять часы, как когда-то по прогулкам Канта узнавали точное время бюргеры Кенигсберга.

Внешне относительно мирно складывались даже его отношения с властью: он не был репрессирован, отправлен в ГУЛАГ или за рубеж (хотя и был «невъездным»), его не отстраняли от работы (хотя никогда и не выдвигали на ответственные или выгодные посты), его книги не запрещались (хотя едва ли не каждая из них становилась предметом идейно-политических «разборок» и «проработок» на страницах печати, разного рода заседаниях и совещаниях). Официальное руководство относилось к нему с настороженной терпимостью, у коллег же он вызывал либо плохо скрываемое раздражение, либо скрытое уважение и глубокое почтение. Куда менее осторожными были многочисленные студенты и слушатели: во время лекций профессора Асмуса аудитории МГУ, ИФЛИ или Литинститута были заполнены до отказа. На его лекциях и трудах выросло и сформировалось не одно поколение отечественных философов, его имя с благодарностью вспоминают многие ныне известные деятели науки и образования, а его огромные заслуги перед философской и духовной культурой нашей страны не нуждаются в пространных комментариях.

И тем не менее, думается, что в лице В.Ф. Асмуса, в его деятельности и общей жизненной позиции мы имеем дело с особым культурным, духовным и нравственным явлением, историческое, а особенно современное значение которого еще недостаточно осмыслено и оценено. Вдумчивый анализ этого феномена может оказаться весьма полезным не только для преподавателей философии, но и для всех, кто связан с педагогической деятельностью.

тью, имеет отношение к воспитанию и образованию молодого поколения.

Трудность осмысления указанного феномена заключается в том, что сам В.Ф.Асмус даже и не пытался создать какую-либо новую и оригинальную концепцию философского образования и воспитания, а в своей преподавательской деятельности не придерживался скольконибудь четкой педагогической программы, строгих правил, методик обучения и т.п. Однако двум принципам он неизменно следовал сам, стремился донести до слушателей, читателей, для всех, кто его окружал и знал. Принципы эти были предельно просты, сводились «всего лишь» к требованиям максимально полного изучения, самостоятельного освоения философского наследия и подлинного к нему уважения (впрочем, как и ко всему культурному достоянию человечества). О первом он говорил постоянно, призывая слушателей к чтению первоисточников и всегда подчеркивая, что никакое их изложение не может исчерпать глубины и богатства оригинала. На фоне господствовавших тогда примитивной подачи материала и его партийно-классовых оценок эти призывы воспринимались вполне однозначно. О втором он не говорил почти никогда, но его лекции поражали не столько широчайшей эрудицией, глубоким проникновением в смысл и существо рассматриваемых учений и проблем, а удивительно трепетным, почти любовным к ним отношением. Он умел не только видеть и понимать, но и восхищаться их истиной и красотой, а главное, обладал редким даром передавать это восхищение другим, заражать слушателей чувством удивления, восторга, преклонения перед мыслью, идеей, даже ошибкой или заблуждением того или иного философа. Эффект этот был тем более значителен, что достигался он за счет спокойной, рассудительной, академически бесстрастной и даже сухой манеры подачи материала, умения увлекать не увлекаясь и, как иногда казалось, охлаждая чрезмерный пыл и восторженность слушателей.

Последнее обстоятельство вызывало поначалу даже некоторую досаду, и хотя в данном случае трудно говорить о каком-то сознательном и преднамеренном «приеме» лектора, тем не менее за этим стояла принципиальная позиция, глубокая духовная и мировоззренческая установка. Ее подспудный, глубинный смысл чувствовался уже тогда, порождая известное раздражение у наиболее

горячих, критически настроенных инакомыслящих слушателей-шестидесятников. В своей отрицании догматизма и схоластики официальной философии они готовы были ухватиться и превознести до небес любую идею, отличную или противостоящую ортодоксальному марксизму-ленинизму, а подход Асмуса казался им недостаточно радикальным, слишком академическим и т.п. Они (правильнее — мы) не знали или не понимали, а может быть, и не хотели или не могли понять, что он и был подлинным диссидентом, но его инакомыслие определялось не противостоянием власти, а самостоянием: он не был противником кого-то или чего-то, а защитником культуры, его позиция основывалась не на отрицании, а на утверждении. Он «молвил слово» не над опальным, а над великим поэтом, «безумьем» для него был не рискованный шаг, а сама опала, отсутствие школьной логики, здравого смысла и чувства красоты. «Просто оппозиционность» не может быть фундаментом, она диктуется противником, определяется антиценностью, и потому правы те сегодняшние критики шестидесятников, чья позиция представляется им излишне лояльной и компромиссной, поверхностной и легковесной. Однако и позиция самих этих критиков, к сожалению, а может — к беде, обнаруживает отсутствие твердых основ, и сегодня мы если не с ужасом, то с разочарованием и беспокойством видим, как с развалом тоталитарной системы, разрушением внешних и внутренних преград для «свободного волеизъявления» все ценности и идеалы оказались либо под сомнением, либо стали источником еще более фанатичных и догматичных идеологических течений.

Сможем ли мы прожить, а может быть, и попросту выжить без «уроков Асмуса», без осознания того, что его академический профессионализм, твердое следование элементарным правилам и нормам научного исследования, уважительное и спокойно-сдержанное отношение к любым идеям и учениям оказывается выражением высшей духовности, непоколебимой причастности к подлинной культуре и ее ценностям? Эта позиция не позволяет что-либо принимать на веру, доверяться чужим мнениям, но требует углубленного и самостоятельного изучения предмета и выработки собственного к нему (критического и одновременно самокритичного) отношения. Это — позиция просвещенного разума, напряженно ищущего истину и сомневающегося во всем, кроме самой необхо-

димости этого поиска. Основанием и следствием такой позиции является безмерное уважение ко всем достижениям духовной и материальной культуры, науки, философии, искусства, поскольку все они представляют собой воплощения, конкретные проявления свободы и творчества, человеческой способности самостоятельно мыслить, открывать и создавать новое.

И именно здесь обнаруживается глубинный гуманистический пафос и мировоззренческий смысл «уроков Асмуса». Призывая к самостоятельному и серьезному освоению философского и культурного наследия прошлого, демонстрируя столь же серьезное, неподдельное к нему уважение, он ненавязчиво прививал нам способность самопознания, будил в нас освобождающее чувство собственного достоинства и самоуважения. Не морализаторством или поучениями, а тем более не развязным или замаскированным диссидентством, но своей органичной приобщенностью к культуре он открывал нам нас же самих как личностей, сопричастных культуре. Без этой сопричастности не может быть ни нравственной ответственности, ни духовной свободы, т.е. тех качеств, которые мы обозначаем несколько элитарным понятием интеллигентности, но недостаток которых сегодня мы ощущаем остро и болезненно.

«Вопросы философии», 1995

Сергей Леонидович Рубинштейн
(1889—1960)

Философ и психолог. Член-корреспондент АН СССР, академик Академии педагогических наук СССР. В 50-е годы создал оригинальную концепцию философской антропологии.

Соч.: Бытие и сознание. М., 1957; О мышлении и путях его исследования. М., 1958; Человек и мир. М., 1997.

К. С. Абульханова-Славская

**ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ НАУКИ
И ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
В КОНТЕКСТЕ ПАРАДИГМЫ СУБЪЕКТА
С. Л. РУБИНШТЕЙНА**

Период сороковых — пятидесятих годов является *вторым*, завершающим творческий и жизненный путь Сергея Леонидовича Рубинштейна, скончавшегося в 1960 году на семьдесят первом году жизни. Он датируется выходом в свет его «Основ общей психологии» (1940 г.) — фундаментального философско-психологического труда, изданного в качестве учебника, началом московского периода жизни и деятельности. Рубинштейн получает высшее признание в качестве психолога, впервые в Академии наук представившего эту науку (избранного членом-корреспондентом), выступает официальным и неофициальным лидером, интегрирующим ленинградских, харьковских, грузинских и московских психологов, создателем кафедры психологии Московского государственного университета и сектора психологии академического Института философии. К середине сороковых годов он возглавляет научные исследования трех крупнейших психологических центров Москвы.

С конца сороковых годов в период трагически знаменитой павловской сессии и борьбы с космополитизмом он

подвергается гонениям вместе с такими учеными, как Орбели, Анохин, Марр и многие другие, лишается всех постов и званий, рассыпается верстка его новой книги и запрещается дальнейшая публикация трудов. Тем не менее — вторая половина пятидесятых годов становится периодом расцвета творчества Рубинштейна, который в течение трех лет подряд публикует три книги по философско-методологическим и теоретико-эмпирическим проблемам психологии («Бытие и сознание» — 1957; «О мышлении и путях его исследования» — 1958; «Принципы и пути развития психологии» — 1959) и завершает свой жизненный путь написанием фундаментального философского труда «Человек и мир». Этот труд, знаменовавший смену философской парадигмы, удалось опубликовать лишь через тринадцать лет после смерти автора, когда эта парадигма начала разрабатываться в разных аспектах в трудах следующего поколения философов (В.А.Лекторским в гносеологическом, О.Г.Дробницким в этическом, К.А.Абульхановой-Славской — в методолого-психологическом плане).

1. Рубинштейновское решение философско-методологических проблем психологии как науки

Несколько схематизируя, можно, тем не менее, сказать, что, оторвавшись от философии, психология отрезала себя не только от столетних традиций, на протяжении которых осуществлялись поиски разных определений сознания, она лишилась, став самостоятельной наукой, векового методологического опыта выстраивания системы абстракций. С этим именно был связан кризис мировой психологии начала века, на фоне неразрешенности, остроты которого перед отечественной психологией встала задача применения марксизма к психологии. Сама марксова парадигма, будучи в основе своей социально-экономической, не содержала в себе проблем сознания, познания и, тем более, психического в том виде, как они разрабатывались на протяжении истории философии, вылившись в линию, связанную с предметом психологии. Можно, опять-таки несколько заостряя проблему, сказать, что в то время марксова социально-экономическая теория, политэкономия, теория классовой борьбы и коммунизма были не ближе психологии, чем теория от-

носительности Эйнштейна. Естественно, что первые попытки психологов, не все из которых были даже достаточно философски образованы, применить марксизм в психологии носили сугубо иллюстративный, поверхностный характер.

Этим объясняется сложность задачи, поставленной и решенной С.Л.Рубинштейном, а также то, почему только он смог ее решить. Поскольку, как уже отмечалось выше, по образованию и способу мышления он был философом, он мог рассматривать марксову концепцию в *контексте всей истории* и «логики» развития *философии*, во-первых. Во-вторых, он как исследователь был методологом науки, поскольку еще в Марбурге перед ним встала задача поиска метода, синтезирующего естественное, точное и гуманитарное знания. Поэтому проблемы методологии психологии не были для него уникальными: он осмыслил одновременно проблемы методологии *целого ряда* наук (поскольку он блестяще знал и физику, и математику, и, тем более, социологию, экономику и т.д.). Как отмечалось, в двадцатые — тридцатые годы он в основном решает *первую* часть этой гигантской задачи — *извлечения* из всего богатства марксовых категорий именно той, которая могла стать конструктивной методологической основой психологии, нового способа построения психологического знания и нового типа психологического исследования. Надо отдать должное, что с самого начала как раз, в известном смысле, несмотря на свое философское призвание, Рубинштейн принял сциентистскую установку психологии и ее ориентацию на *объективность* психологического познания. Но эта установка, как правило, реализовалась в ней на основе эмпиризма и редукционизма. (Последний выступил как тенденция свести психические явления к физиологическим как наблюдаемым, непосредственным, измеряемым, контролируемым, а в целом — более «материальным», чем и достигалась «объективность» познания.)

Как отмечалось, в двадцатых — тридцатых годах Рубинштейн выявляет в качестве основной методологической категории категорию *деятельности*, раскрывает ее методологическое значение для психологии, и, одновременно уже теоретически и эмпирически-экспериментально, доказывает, что на основе деятельности может быть создан психологический метод познания, который представляет собой качественно своеобразный способ такой

реорганизации психического, разных психических явлений, который дает доказательное, надежное и обоснованное выявление их сущности. Был намечен и апробирован путь к моделированию психических явлений в экспериментально контролируемой через деятельность ситуации.

«Основы общей психологии», которыми открывается второй период творчества Рубинштейна, обнаруживают предложенный им способ решения *второй* части задачи. Найдя системообразующую категорию, он выстраивает на ее основе всю систему категорий, принципов, понятий и исследовательских направлений психологии как самостоятельной науки, интегрируя практически все ценное, существовавшее в тот период в мировой и отечественной психологии. Такой способ репрезентации психологии до сих пор остается уникальным, особенно если сравнить с периодом расцвета западноевропейской и американской психологии, проходившим множество оригинальных, но... никак друг с другом не связанных теорий, и, тем более, с существовавшим всегда в зарубежной науке способом составления многочисленных руководств, содержащих сводки знаний и информации из не связанных между собой разделов науки.

Рубинштейн методологически решил в «Основах» несколько взаимосвязанных задач: определения *предмета* — того, что исследует психология, определения *метода* — того, как возможно разного типа психологическое исследование, построения психологии как *системы* знания, включающего три уровня — философско-методологический, теоретический и эмпирический, на основе интеграции знаний, имеющих в мировой науке. Здесь предпринята попытка превращения психологии из описательной (или эмпирической) науки, какой она оказалась, вступив на путь самостоятельности, в объяснительную науку. Тем самым из констатирующего факты типа знания она была превращена в проблемную науку, поскольку на основе категории деятельности была открыта совокупность существенных направлений исследований, которые она обнимает и открывает как перспективные. Рубинштейн впервые показал, как за совершенно разнородным, разноплановым, полученным в самых разных областях психологии материалом можно выявить предмет психологии в его развитии (и развитии — истории — представлений о нем), в иерархии уровней его определе-

ния, взаимосвязи разных качеств, свойств и функций. В «Основах» представлена система методологических принципов психологии, из которых системообразующим выступает принцип *единства сознания и деятельности*, а также принципы *личности, развития, социальной детерминации психического*. Рубинштейн определяет психическое, сознание как единство знания и переживания, отражения и отношения, идеального и экзистенциального. Тем самым сознание отнюдь не отождествляется с деятельностью, а определяется в своем *качественно специфическом* содержании. Это необходимо сразу оговорить в свете исторически последующего представления о деятельности в философии и психологии, при котором она превратилась в своеобразную идеальную операцию, формулу сознания, стала «внутренней», а вопрос о ее связи с внешней, реальной оказался сугубо словесно обозначенным (Э.В.Ильенков, А.Н.Леонтьев). Для Рубинштейна существенна проблема *взаимопереходов* сознания и деятельности, которая только и существует при признании качественной определенности каждой из сторон связи.

Первоначально и сам Рубинштейн, не имея возможности раскрыть качественно специфические характеристики — онтологию психики и сознания, в основном ставил проблему их объективности как *проявления* в «*другом*», через «*другое*», т.е. в деятельности (его известная формула двадцатых годов — в деятельности сознание и проявляется и формируется). Это была методологически более высокая ступень решения проблемы, чем разные формы редукционизма в психологии, которые, будучи не в силах определить специфику психического, просто подменяли его «*другим*» (физиологическим или социальным). В формуле психического как деятельности (в философском варианте как идеального, воспроизводящего деятельность) первое представлялось производным второго, но при этом лишаящимся своей онтологической специфики, которая приравнивалась к его натуралистическому пониманию.

В «Основах» Рубинштейн делает первый шаг в определении онтологической природы психического. Он заключен в двух определениях психики и сознания. Во-первых, кроме определения психического как отражения, знания, что вскоре стало общим местом, с легкой руки гносеологов, он вводит в это определение *отноше-*

ние. Является ли это определение простым парафразом известной цитаты К.Маркса, что мое сознание и есть мое отношение? Рубинштейн обращается, конкретизируя категорию «отношение», к его собственно экзистенциальному онтологическому эквиваленту — *переживанию*. Переживание есть состояние, принадлежащее самому субъекту, который в тот момент стоит за сценой (хотя, как показало исследование его рукописного наследия 1920-х годов, он уже тогда имел целостную концепцию субъекта)¹. Сегодня можно сказать, что, согласно Рубинштейну, сознание есть *отражение субъектом мира и выражение отношения* к нему.

Онтологизация сознания и психики проявилась, во-вторых, в раскрытии их *регуляторной функции* по отношению к деятельности, сохраняющей свой специфический онтологический статус, свое качество реальности. Если сознание есть идеальная формула деятельности, то оно не может регулировать реальную практическую деятельность в силу их тождественности. Только признание качественной специфичности сознания, в отличие от деятельности, позволяет вскрыть разные формы их связи, в числе которых находится регуляторная, — тождественность исключает наличие связи. Таким образом, свести сознание к деятельности — ход не более оригинальный, чем отождествить сознание с физиологическим или отражением.

Решение проблемы соотношения корпускулярно-волновой природы физических явлений позволяет, по аналогии, понять теоретико-методологическое онтологическое определение психического как имеющего определенную структурную, устойчивую модальность и процессуальную, функциональную имплицитную, которое было предложено Рубинштейном. Он внимательно прослеживает изменение соотношения структуры и функции в эволюции, приходя к выводу, что чем выше уровень организации (особенно при переходе к уровню человека), тем менее жестко фиксировано соотношение структуры и функции, тем более функции начинают зависеть от образа жизни и, что самое главное уже для индивидуального

¹ *Абульханова-Славская К.А. Принцип субъекта в философско-психологической концепции С.Л.Рубинштейна // Сергей Леонидович Рубинштейн. Очерки. Воспоминания. Материалы. М., 1989. С. 10—61.*

развития, от складывающегося *способа функционирования*, который начинает оказывать обратное воздействие на саму структуру. Тем самым уже здесь заложена основа для понимания психического как функционального, т.е. процессуального явления, что не исключало признания и наличия его структурных, устойчивых, а скорее — *определенных* форм. Эти идеи Рубинштейн разрабатывает в порядке развития концепций А.Н.Северцева и И.И.Шмальгаузена.

С точки зрения методологии науки очень существенно, что в «Основах» Рубинштейн предлагает *два* различных и связываемых им определенным образом *понимания развития*. Первое — эволюционное или генетическое, имеющее свои стадии, развертывающиеся *последовательно во времени* одна за другой, вытекающие одна из другой или отрицающие одна другую — в данном случае — не существенно. В качестве второго Рубинштейн вводит новый ракурс рассмотрения развития, которое связано не с традиционной стадийностью, а с *развитием в деятельности*: в ней *проявляется* некая функциональная особенность психического и, *осуществляясь, одновременно развивается*. Здесь имеют место разные временно-пространственные координаты развития. Первое — в основном необратимо, даже если имеет место регресс. Второе — в принципе развернуто в будущее, является не линейным прохождением стадий (как, например, выглядит возрастная периодизация), движением по восходящей, отвечает критерию совершенствования. Именно за непонимание последнего типа развития Рубинштейн критикует К.Бюлера, который не мог понять иерархичность стадий, «вытягивая их в одну прямую линию, разделенную на три строго ограниченных отрезка» (С. 114).

Именно таким образом преодолевается всякое понимание конечности развития, зафиксированное в теориях локализации и жестких структур. Развитие — это линия на дифференциацию и на генерализацию — на образование системно-динамических связей. Генерализация, согласно Рубинштейну, также онтологический механизм функционирования психики, который обеспечивает возможность образования неограниченных гибких обобщенных связей между структурами. Генерализация, лежащее в ее основе обобщение — это если не третий способ развития, то во всяком случае механизм бесконечного *рас-*

ширения возможностей психики, своеобразная ее геометрическая прогрессия. Этот механизм отвечает не статике, а динамике соотношения со средой человека, личности.

Для Рубинштейна *личность* — *исходная* психологическая категория (как уже было отмечено, для Рубинштейна важна не только связь разных категорий психологии, но и их логическая последовательность при изложении), *предмет* психологического исследования и одновременно методологический *принцип* психологии. Через личность он раскрывает систему различных связей сознания и деятельности, в личности и личностью эта связь замыкается и осуществляется. Для сравнения степени разработанности самой проблемы личности в книге Рубинштейна с состоянием ее разработки в психологии достаточно сказать, что в первом пособии по психологии Корнилова, Теплова и Шварца вообще не было главы о личности (1938), в трудах других психологов она появляется в такой последовательности — у Ананьева в 1945, Левинова — 1952, Теплова — 1953, Артемова — 1954. К этому стоит добавить, что начавшаяся в двадцатых годах разработка проблем личности ребенка, прервавшись на некоторое время в связи с разгромом педологии, восстановилась в виде проблем детской психологии, но сама личность взрослого, как и проблемы теории личности, фактически находились под запретом.

Рубинштейн определяет личность как *триединство* трех отношений — к миру, к другим людям и к себе — и трех модальностей — чего *хочет*, что *может* и что *есть* сам человек. Первое — мотивационно-потребностная модальность, второе — способности человека, третье — его характер. Здесь преодолена и *исторически предшествовавшая* односторонность понимания личности, которое сводилось, в основном, к характерологии, и последующая ограниченность, состоявшая в сведении личности к потребностно-мотивационной сфере (что было свойственно и современным Рубинштейну динамическим теориям личности), в отрыве способностей как раздела общей психологии от личности. Б.Н. Ананьев отметил как самую главную заслугу Рубинштейна *интегративность* его подхода к личности. Как способность личности *сознание*, согласно Рубинштейну, осуществляет *четыре взаимосвязанные функции* — регуляцию психических процессов, регуляцию отношений личности с миром, регуляцию деятельности и, выступая в качестве самосо-

знания, — *рефлексию* самого способа жизни, поступков и мыслей человека. На наш взгляд, основным в концепции личности, предложенной Рубинштейном, явилось то, что он, вслед за Ш.Бюлер, рассмотрел личность не как обособленную субстанцию, а в специфическом для нее масштабе *жизненного пути*, его особом времени и пространстве. Тем самым был намечен поворот в той абсолютизации, которая постепенно происходила на протяжении сороковых годов, категории и проблемы деятельности: личность могла соотноситься не только с деятельностью или ее видами, но и с жизненным путем в целом, в котором сама деятельность должна была занять определенное место.

Представляя собой непрерывную линию разработки проблем природы психического, книга «Бытие и сознание», вышедшая через семнадцать лет после первого, через десять — после второго издания «Основ» и через семь — после их кровопролитной «проработки», ставила их в несколько иной плоскости — проблем предмета психологии — определения этой природы, основанной на философско-методологическом *принципе детерминизма*. В «Основах» Рубинштейн связывает определение психики с двумя ее характеристиками — социальной, с одной, и связанной с функционированием мозга, физиологической — с другой стороны. Неправомерно приписанное Рубинштейну в процессе критики «Основ» авторство теории «двойной детерминации» заставило его не просто отвергнуть критику, а осмыслить самую проблему детерминации психики. И если в двадцатидвухлетнем возрасте он начинает свой научный путь с чтения курса теории относительности Эйнштейна, то в шестидесятидвухлетнем он штудирует труды А.Д.Александрова, П.Л.Капицы, А.Н.Колмогорова, размышляя... над загадками низких температур. Как ни парадоксально, но именно в физике и математике — области этих точных наук — он искал аналоги подходов к природе психического как одновременно совершенно уникального и принадлежащего к всеобщим закономерностям бытия явления.

Тупиковость идеи двойной детерминации психики привела его к преобразованию самого детерминационного уравнения, посредством которого эта природа могла бы быть строго закономерно объяснена. Ставшую привычной и стереотипной причинно-следственную связь он предлагает заменить новой формулой, звучащей до непо-

нятности просто «внешнее, преломленное через внутреннее». Смелым методологическим ходом Рубинштейн проводит аналогию между физическими явлениями, имеющими свои закономерности и, в частности, в зависимости от изменения температур по-разному реагирующими на эти изменения, и психическими явлениями, которые онтологически принадлежат к тем же явлениям бытия, а потому имеют собственные специфические закономерности, преломляющие воздействия на них тех или иных условий или причин. Психику он предлагает представить не как зеркало реальности, в которое она превратилась усилиями психологов, примитивно трактующих гносеологию и теорию отражения в психологии, а как некую реальность, встречающуюся с другой реальностью, и если уж первая не изменяет второй, поскольку такая прерогатива принадлежит не психике, а деятельности человека, то, по крайней мере, она «противодействует» оказываемым на нее воздействиям, преобразует их, относится к ним избирательно.

В чем заключалась парадоксальность методологического хода Рубинштейна? Очень значительная часть психологов, будучи не в состоянии объяснить специфику психического как высшего уровня организации «материи», сводила его к низшему именно как материальному (полагая, что психика как отражение не материальна). Это сведение базировалось на двойных аргументах — философском — утверждении первичности материи и собственно психологическом — понимании объективности как непосредственной данности, т.е. материальности. Рубинштейн, сближая психику со всеми другими способами существования (организации), правда, не материи, а бытия (в соответствии с чем он называет свою книгу не «Материя и сознание», а «Бытие и сознание» и в связи с юбилеем выхода в свет ленинского «Материализма и эмпириокритицизма» дает... критику ленинского понимания материи), отвлекаясь, абстрагируясь на время от ее идеальных характеристик, сближает ее закономерности с закономерностями любого уровня организации сущего, которое обнаруживает эти закономерности при взаимодействии с другим сущим. Здесь доказывается *универсальность* новой формулы детерминизма, поскольку преломление воздействий друг на друга свойственно любым уровням организации сущего, бытия.

Специфичность формула «внешнее через внутреннее» приобретает, когда ставится вопрос о *типе* закономерностей, которые свойственны, скажем, психофизиологическому уровню, в отличие от психического уровня организации, а этому последнему — в отличие от высшего сознательного, личностного уровня. Глубочайший, уже для психологии, смысл этой формулы заключался в том, что она позволяла отказаться от признания исключительной роли социальной детерминации в определении психического (на чем настаивал ряд психологов и что вполне отвечало идеологии времени) и отстоять специфику внутренних, т.е. собственных закономерностей психического от устремлений физиологов и психофизиологов, стремившихся к объективности познания.

Проведя определение предмета психологии между «Сциллой и Харибдой» — его социологизацией или физиологизацией, Рубинштейн обращается к раскрытию его собственной «внутренней» сущности. И здесь оно выступает не только как *преломляющее*, согласно своим закономерностям, внешние воздействия, но и как *обуславливающее*, т.е. само выступает в *качестве причины*. Психическое определяется как обусловленное и обуславливающее, т.е. определяющее поступки, поведение человека и в конечном итоге самоопределение личности в мире. Если сравнить с ранней формулой связи сознания и деятельности, то в ней сознание *лишь проявляется в другом*. В данной формуле сознание рассматривается в двух своих *собственных* модальностях — как идеальное и как... субъективное. И если в «Основах» сознание также определялось через двоякую модальность — отражение и отношение, переживание, но последнее еще не имело своего методологически эксплицированного, доказательного определения, то в «Бытии и сознании», *впервые в истории психологической мысли, субъективное признается в своем объективном, т.е. онтологическом статусе, признается в своем «праве» на существование*. Субъективное перестает трактоваться или как *производное* от объективного, в качестве которого предлагалось рассматривать высшую нервную деятельность, содержание отражения и общественные условия существования (Б.М.Теплов, 1985), или как *неадекватное*, не истинное, искаженное отражение.

Тезис о принадлежности субъективного субъекту и потому возможности объективного определения является

собственно философским и будет рассмотрен Рубинштейном позднее в книге «Человек и мир». Тезис же о субъективном как качестве, присущем воспринимающей системе (будь то собственно восприятие, или мышление, или переживание) является методологическим и конкретно-научным.

Кроме этих двух аргументов, отстаивающих онтологический статус субъективного, Рубинштейн выдвигает третий — философско-методологический. Он ставит проблему *особого способа существования психического*. Критикуя Сартра, признававшего приоритет существования над сущностью, с одной стороны, и всю, идущую от Платона, тенденцию абсолютизации сущности в ущерб существованию, с другой, он интегрирует сущность и сущее в понятие «способ существования», который позволяет методологически дифференцировать сущности, обладающие различными качественными определенностями, и отказаться от абстрактного гипостазирования сущности как субстанции. Понятие способа существования сразу открывает перспективу и возможность выявления развития, функционирования, изменения сущности. Специфика *способа существования психического* раскрывается Рубинштейном здесь в третьем аспекте: это *не только преломление* внешних воздействий, которое имеет место при преломлении воздействий через любую систему, это *не только обуславливающее*, т.е. детерминирующее другое — действия, поступки, самую жизнь человека, но это *самодетерминация*, т.е. *детерминация процесса в самом ходе его осуществления*. Рубинштейн раскрывает детерминацию психического, связанную не только с прошлым и будущим, но и с *настоящим*.

Конкретизируя в «Бытии и сознании» свое понимание идеального, Рубинштейн имеет в виду способность сознания репрезентировать человеку все существующее в мире, непосредственно ему не доступное, отделенное от него во времени и пространстве. Избирательность сознания проявляется в детерминации настоящим как способности человека осмыслить, отнести к себе только то, что существенно для него, и выстроить иерархию собственных смыслов.

И, завершая рассмотрение проблемы детерминации психического и детерминации сознания, Рубинштейн уже в «Бытии и сознании» вводит свое понимание *субъекта*.

В единую детерминационную цепь взаимосвязи явлений бытия он включает субъекта, который не только опосредствует внешние воздействия, но активно включается в детерминацию событий. «Детерминированность, — пишет он, — распространяется и на субъекта, на его деятельность... субъект своей деятельностью участвует в детерминации событий... цепь закономерности не смыкается, если выключить из нее субъекта, людей, их деятельность. Закономерный ход событий, в котором участвуют люди, осуществляется не помимо, а через посредство воли людей, не помимо, а через посредство их сознательных действий»¹. Нужно заметить, что в те годы объективность истории интерпретировалась как раз как независимость от воли и сознания людей. Иными словами, кроме собственно гражданской смелости этого положения, Рубинштейн здесь проявляет философскую смелость определения субъекта *не только как соотносительного с объектом в процессе познания*, но как субъекта в единой цепи причинно-следственных закономерностей бытия. И соответственно в этой единой цепи детерминаций определяется роль сознания, которая получает свою итоговую характеристику на основе своих функций идеального и субъективности. «В силу того, что человек благодаря наличию у него сознания может предусмотреть, заранее представить себе последствия своих действий, он самоопределяется во взаимодействии с деятельностью, данной ему в отраженной идеальной форме (в мысли, в представлении) еще до того, как она может предстать перед ним в восприятии в материальной форме: действительность, еще не реализованная, детерминирует действия, посредством которых она реализуется»². Поднимаясь по восходящей сложности определений типа детерминации, от психического к сознанию, от сознания — к личности, а от нее — к субъекту, Рубинштейн затем совершает свое блестящее методологическое «сальто» в способе анализа, рассматривая в обратном порядке, начиная с субъекта, включенного в цепь бытия, и раскрывая далее свойства сознания, деятельности, психики, их функции и детерминационные возможности не абстрактно, а в контексте соотношения субъекта с миром.

¹ Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. М., 1957. С. 284.

² Там же.

2. Рубинштейновская концепция человека как субъекта как парадигма философской антропологии и онтологии

Отстояв на основе принципа детерминизма в его новом понимании самостоятельность психологии как науки, Рубинштейн сначала обращается к проблемам философской антропологии в ранних рукописях К.Маркса (в книге «Принципы и пути развития психологии», 1959), чтобы в книге «Человек и мир» позднее дать свое решение этих проблем. При всей важности этой небольшой статьи в целом ряде отношений (и как реабилитации идей молодого Маркса, если не противопоставления их социально-экономическим взглядам позднего Маркса, и как реабилитации самой проблемы философской антропологии, и как анализа соотношения общественно-исторического и конкретно-исторического способов бытия человека и т.д.) она ставит совершенно неожиданно и по-новому проблему объекта, предмета соотносительно и безотносительно к субъекту. Критикуя в той же книге, очень замаскированно, но одновременно очень остро, ленинское понимание материи, которое оказывается определенным только через внеположность сознанию, Рубинштейн в данной статье выступает против свойственного уже не гносеологии, а историческому материализму определения бытия, природы только как предмета «условий, сырья, средств» человеческой деятельности. «Природа, — пишет он, — иногда низводится на роль мастерской и сырья для производственной деятельности человека»¹. Итак, оказывается, что Рубинштейн критикует парадоксальным образом, на первый взгляд противоречивым, оба постулата марксистско-ленинской философии: о безотносительности бытия (у Ленина — материи) к человеку (у Ленина — сознанию) и о соотносительности бытия и человеческой деятельности, человека, поскольку оно выступает предметом этой деятельности, производства.

На самом деле оба критических положения непротиворечивы и имеют целью раскрыть специфический онтологический статус самой природы, точнее, бытия в каче-

¹ Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии. М., 1959. С. 204.

стве природы. Более непосредственно он возражает против сведения природы только к предмету труда и деятельности человека; здесь можно при желании усмотреть экологическую тему — засорения природы промышленностью и т.д. Но на самом деле Рубинштейн в этой статье как трамплине к идеям «Человека и мира» хочет раскрыть необъятность и самоценность сущего прежде всего в этом очевидном и философском и обыденному сознанию качестве природного. В своих дневниковых заметках этого времени Рубинштейн обращается к идеям Вернадского и впервые употребляет понятия «космос», «вселенная». Он хочет выйти за рамки философских абстракций, связанных в клинче субъекта и объекта как противостоящих в познании и деятельности, он ищет «шатер» для бытия человека.

Другой аспект его реабилитации природы — это раскрытие природного качества в *самом человеке* и исходящее из этого понимание изначальной неразрывности природы человека и природы как действительности в собственно чувственном выражении. Природное в человеке это не биологическое, но и не только то, что обычно в философии понимается под чувственной ступенью познания, а все связанные с потребностями человека, с его эмоциональностью, превращающейся в способность чувствовать, с эстетическим отношением к миру модальности человека. Наметив в данной статье все подходы к постановке этой проблемы природного в человеке, Рубинштейн уже в «Человеке и мире» назовет эту отличную и от деятельности, и от познания модальность человеческого существования *созерцанием*.

Однако логика, последовательность изложения проблем и репрезентации категорий книги «Человек и мир» начинается после краткого введения в проблему с установления узловой взаимосвязи¹: принципа детерминизма, раскрытой на его основе онтологии взаимодействия и взаимопричинения разных сущих², понятия способа существования, которое — уже на основе выявленной ранее специфики детерминации психического — рассматривается как *самопричинение* или самоопределение, и, наконец, представления о *движении*, присущем тому или

¹ Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М., 1973. II. Человек и мир. С. 281.

² Там же. С. 285.

иному способу существования, как о его изменении. В связке этих трех составляющих впервые появляется кажущееся совершенно неожиданным и парадоксальным в таком контексте понятие субъекта: «так встает вопрос о субъекте изменений определенного рода», — пишет С.Л.Рубинштейн¹. Оригинальность этого определения очевидна на фоне традиционных историко-философских и современных философско-психологических определений субъекта, которые непременно начинаются с понятия человека как исходного, а затем, в зависимости от точки зрения, либо приписывают субъекту деятельность, либо добавляют к деятельности субъекта как эпитет — лицо, которое ее осуществляет, не говоря о вышеупомянутой философской оппозиции субъект — объект.

Чего добивается Рубинштейн таким определением? Решая обозначенную во введении основную задачу — включить человека в состав бытия, он не может ограничиться чисто пространственными координатами, сказав, что человек находится *внутри* бытия, а не как обособленная сущность *вне* или *против* него. И решение ее он начинает не со специфики человека, а с постепенно, шаг за шагом последовательно проводимого философского доказательства наличия в сущем взаимодействующих друг с другом различных *способов существования*, которые являются *пребыванием внутри изменений*, тождеством внутри изменений, которое эквивалентно их сущности. «Понятие сущности, соотнесенное с понятием субстанции, взятой в аспекте изменения, детерминации, означает не только определенную устойчивость в процессе развития и изменения, но и общность изменений в процессе взаимодействия»². Весьма существенна его переформулировка принципа детерминизма по отношению к первоначальному варианту в «Бытии и сознании»: «С этим, собственно, и связано понятие сущности или субстанции, развитое в "Бытии и сознании". При этом, строго говоря, внутренние условия выступают как причины (проблема саморазвития, самодвижения, движущие силы развития, источники развития находятся в самом процессе развития как его внутренние причины, а внешние причины выступают как его

¹ Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М., 1973. II. Человек и мир. С. 281.

² Там же. С. 285.

условия и обстоятельства)»¹. Детерминистическим объяснением охвачены и способность быть аффицированным, т.е. подвергаться воздействию, т.е. страдать в широком смысле слова, и способность действовать, и способность сохранять свою качественную определенность в процессах взаимодействия с другим, и в процессах самопричинения и самоизменения, и в развитии. Так Рубинштейн «укрепил» новый вариант онтологии всеми категориальными возможностями, вобрав в его обоснование и критически переосмысленный историко-философский опыт и методологический опыт самых разных наук — их познания разных качественно определенных сущностей, начиная с физики, включая эстетику и психологию, и кончая социально-экономическими теориями интерпретации способа существования человека.

Подобно тому, как ранее он сблизил психическое с особенностями взаимодействия всех явлений материального мира, не сведя его, однако, к низшим уровням его организации (благодаря чему оно, на первый взгляд, лишилось своей привлекательной исключительности, но обрело надежную онтологичность и объективный статус), тем же ходом мысли Рубинштейн постепенно «выращивает» понятие субъекта, парадоксальным образом двигаясь не «сверху» — от человека к низшим аналогам и основам его бытия, а «поднимаясь» из онтологических закономерностей всего сущего. (Между тем традиционно философский субъект, как, впрочем, и понятие человека, оказывался всегда предельным априорным понятием, что позволяло указать на его характеристики, но не раскрыть сущность.)

Решающий момент определения субъекта Рубинштейном как категории, обозначающей сущность именно человека, связан с раскрытием особенности качественно иного уровня в иерархии сущих с разными способами существования: это уровень уже не способа существования, а способа осуществления своей сущности. Осуществление предполагает не только деятельное, не только познавательное отношение человека к миру, но и осуществление своей сущности адекватно соотносительности человека с миром. Последнее есть новое категориальное обозначение специфики человеческого бытия, т.е. природы, пре-

¹ Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М., 1973. С. 290.

образованной человеком по новым историческим законам. Можно увидеть аналоги этой категории в марксовом понятии «второй природы» и гуссерлевском понятии «жизненного мира». Однако если в первом отражена все та же деятельная ипостась субъекта, преобразовавшего объект, превращенный в предмет человеческой деятельности, во втором — скорее феноменологическая экзистенциальность, то рубинштейновские категории человека и мира, человека в мире выполняют особую роль преодоления своеобразной конечности и исходности категорий субъекта и объекта, остающейся даже при учете их непрерывного взаимодействия. Рубинштейновские категории расширительны — они не несут в себе временно-пространственные беспредельности. Определенность, структурность и в этом смысле конечная завершенность взаимодействий раскрыта в контексте их бесконечности. Именно только такое понимание субъекта объясняет его критику ставшего модным и в отечественной философии определения специфики человека как «выхода за свои пределы», данного М.Хайдеггером. В основе такого способа определения лежит ограниченность человека от всего сущего, которую и ликвидирует своим пониманием Рубинштейн.

Но ведь существует же такая граница, данная неоднократно эмпирически, как граница человеческого тела, граница его жизни, граница как обособленность отдельного человеческого существа? Сущность рубинштейновского подхода заключается в часто применяемом им приеме — превращении данного положения в противоположное: он исходит не из эмпирического факта существования этой границы, а из философского вопроса — как она, собственно, возникает. И тогда проблема «сдвигается» с ложной и эмпирической проблемы границы как поверхности взаимодействий на проблему сущности в качестве основания изменений, устойчивости как меры самоопределения и определения другим.

Сущность человека не более чем основа изменений, происходящих по историческим законам, а бытие выступает как мир, включающий человека и соотносительный с ним.

Тем самым Рубинштейн выступает против распространенной в те времена трактовки, согласно которой критерий объективности (как и определения материи) предполагал существование *до* и *вне* человека. Включе-

ние человека в состав бытия как одного из сущих и вместе с тем как центра его реорганизации, преобразования «направлено против отчуждения как человека от бытия, так и бытия от человека. Из учения о категориях, в том числе даже из учения о действительности, бытии, выпадает человек. Он, очевидно, идет только по ведомству исторического материализма — как носитель общественных отношений», — так критически преодолевал Рубинштейн высокую классику марксистской философии, полностью господствовавшей в тот период¹. Онтология в его понимании — это учение о качественном составе бытия и одновременно о способах существования в нем разных сущих, субъектов разного рода изменений и развития, высшим из которых, осуществляющим свою сущность, является человек.

В некоторых интерпретациях марксистская категория деятельности, заняв ведущее место в системе философских категорий, стала приобретать все более логизированный характер, фактически подменяя собой самого субъекта. Рубинштейн не только восстанавливает в «правах» субъекта как субъекта деятельного и познавательного отношений к миру. В число его определений он, как упоминалось выше, вводит особое — третье — *созерцательное* отношение субъекта к миру. В чем исходный смысл этого философского хода? Если деятельностьная парадигма уже практически подменила собой субъекта, то гносеологизация, которая особенно очевидно проявилась в психологии, свела его к познавательной деятельности — субъектом стало само отражение. Сознание, познание вытеснило человека не только в идеалистической, но и в диалектико-материалистической философии. Онтологическое утверждение субъекта осуществляется Рубинштейном и путем сближения его со способами существования других сущих, и путем указания его особого места в бытии, и, наконец, путем раскрытия его качественной определенности, его «логики». Уже применительно к определению психического Рубинштейн показал недостаточность его квалификации как отражения, познания, а вскрыл его особенность как отношения, переживания. Созерцание, которое Рубинштейн не побоялся восстановить как категорию, несмотря на критику Марксом

¹ Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М., 1973. С. 259.

созерцательного материализма, выражает, по его мнению, «логику» внутреннего отношения субъекта к миру. Относясь к более высокому уровню абстракций, чем этическое, эстетическое, созерцательное отношение служит их основанием. Парадоксальным образом Рубинштейн, сам начав с актуализации и применения категории деятельности, в конце жизни выступает против ее абсолютизации сразу по двум основаниям — по линии понимания природы, бытия, которое все не сводится к объекту или предмету деятельности человека, о чем говорилось выше, и по линии понимания сущности человека как субъекта, который не может быть сведен к своим деяниям. Здесь имеется в виду и природная чувственная основа человеческого отношения к миру, и его ценностное мировоззренческое духовное самовыражение и самоосуществление. Осуществление субъектом своей сущности не сводится, по Рубинштейну, к производительной и производственной, даже к творческой деятельности. Он субъект, поскольку *воспроизводит* свою сущность *человеческим*, т.е. собственно этическим образом, поскольку относится не только к миру предметов и продуктов труда, но и к миру людей как других субъектов.

Этой категорией Рубинштейном осуществляется своеобразная онтологизация, как он сам выражается, этики, которая превращается из достаточно частного учения о нравственности, тем более, из теории морализирования в учение о субъекте, достигающем способа существования, отвечающего человечности. Нужно понутно заметить, что в период написания этой книги не только не существовало (в Институте философии или где-либо еще) сектора этики, но и само это понятие практически не употреблялось, как и понятие онтологии. А в 1963 г. вскоре после смерти Рубинштейна на огромном совещании по проблемам соотношения социального и биологического в человеке, организованном по замыслу и проектам Рубинштейна, П.Н.Федосеев в своем докладе буквально обрушился на Рубинштейна, критикуя его за возрождение идеалистических философских понятий «онтологии», «философской антропологии» и др.

Этическое раскрывается Рубинштейном как совершенно особое, ценностное, не только не сводимое к прагматическому использованию человека, отношение к нему, но как усиливающее, укрепляющее его человеческую сущность. Онтологизм этики Рубинштейна связан с

раскрытием активного, содействующего человечности другого человека отношения к нему в противовес функциональному отношению использования его в своих целях, в противовес отчужденному сведению другого к «маске», объекту, в противовес христианскому варианту гуманизма, состоящему в абсолютизации его страдательности, зависимости, обреченности.

Стремясь конкретизировать, если не онтологизировать понимание духовности, Рубинштейн заимствует из эстетики мало известное за ее пределами понятие обобщенного чувства и переносит его в философский контекст в качестве категории «мировоззренческих чувств». Последние есть самое глубинное выражение «логики» субъекта, раскрывающее одновременно способ его осмысления объективной трагики или комизма собственной жизни. Здесь завершается ряд определений субъекта, поскольку он получает свое самое конкретное определение через соотнесение не с миром, с которым он соотносится на вершине философских абстракций, а с *самой жизнью*. Качественная специфика человеческого способа существования в полной мере раскрывается на самом конкретном (в смысле — не частном, а определенной максимальной числом детерминант) уровне — уровне человеческой жизни и ее субъекта. Именно жизнь человека выражает *достигнутый им способ осуществления своей сущности* в специфическом для него — необратимом времени и пространстве социальных и личных, внутренних и внешних событий, отношений, ситуаций и поступков. Он субъект жизни, поскольку способен посредством рефлексии самоопределиться к ее эмпирическому ходу, т.е. не существовать, а осуществить, выразить себя в ней и, соответственно, прожить и построить ее соответственно своей сущности. Жизнь — это время и пространство и изменения, и развития личности, в конкретно онтологическом качестве которой выступает человек. Осуществление жизни через противоречия и их разрешение, жизнь как проблема для субъекта — таковы новые параметры и модальности, вводимые Рубинштейном (в то время, когда само понятие «жизнь» употреблялось в литературе лишь как биологическое и вошло в обиход в социальном значении после выхода в свет книги все того же Федосеева, посвященной образу жизни).

Особенность человека как субъекта жизни и состоит в его способности разрешать противоречия между добром

и злом, свободой и необходимостью, жизнью и смертью. Определенным способом разрешения личностью противоречий для Рубинштейна оказывается юмор как способность юмористически отнестись к жизни с позиций правды, добра и силы. В палитре жизненных мировоззренческих чувств он находит совершенно особенный эквивалент качеству субъекта — серьезное отношение к жизни, «дух серьезности» или ответственность. Многообразные концепции ответственности включают ее в нравственность, подразумевая способность предвидения результатов своих действий, автономность их регуляции субъектом (Пиаже, Кольберг, Хелкама). Рубинштейн определяет ответственность как самое глубокое, равное самой жизни и ее смыслу чувство серьезности — не только возможность осознать последствия своих действий (и предотвратить негативные), но и ответственность... за все упущенное. Это чувство связано именно с необратимостью жизни, с одной стороны, и с представлением о личности как потенциальности — с другой. Человек, по большому счету, отвечает за то, на каком уровне ему удалось реализовать свою сущность, свои возможности, в какой мере ему удалось стать субъектом собственной жизни.

Глубоко диалектичны его размышления об изменчивости жизни, ее обстоятельств и проблеме верности себе в связи с этой изменчивостью. Здесь для обозначения сущности субъекта уже недостаточно общих определений, таких как тождественность внутри изменений. Стоит ли верность в изменении своей позиции, которая, однако, уже не соответствует изменившимся обстоятельствам, или верность требует каждый раз решения субъектом этой проблемы, обобщения, предполагающего соответствие требованию правды перед самим собой. И потому таким не связанным абстрактными ценностями, догмами, правилами, абстрактной моралью предстает субъект в реальной диалектике жизни в понимании Рубинштейна. Ответственность — не в верности абстрактному долгу, ханжеской морали, а в верности самому себе, но именно в доверии к нравственности собственных чувств, в доверии к своему чувству справедливости.

Таким образом, для Рубинштейна этика связана с психологией, с обобщенностью и вместе с тем подлинностью, правдой человеческих чувств. Одновременно этика это онтология жизни, т.е. способность субъекта своим этическим отношением изменить течение собственной

жизни, изменить в ней расстановку сил или нравственно укрепить другого человека. В истории философии неоднократно повторялся тезис о нравственном субъекте как субъекте свободного нравственного выбора, нравственного самоопределения. Глубина рубинштейновского подхода к этим проблемам состояла в том, что он увидел их и через философски доказанную конкретность жизненных противоречий, детерминант, и через осмысление реальной бесчеловечности жизни своих современников, своей жизни. Поэтому свобода для него существует не как абстракция, а как проблема свободы в условиях принуждения, несправедливости, насилия. Поэтому одна из сквозных проблем для него — проблема «этики и политики», проблема «как стать или остаться человеческим в условиях бесчеловечных».

Если в свое время для А.П.Чехова основной жизненной трагедией и проблемой оказалось то, как вытравить из себя раба, если для А.Грина воля выступила как защита своей индивидуальности, то для Рубинштейна главной проблемой жизни стала не борьба с несвободой внешней — слишком очевидно продемонстрировала его эпоха невозможность и бесцельность такой борьбы, а то, как устоять внутренне, справиться внутренне с тем, что не удалось преодолеть в процессе борьбы за достойную жизнь.

Таким образом, рубинштейновский гений сумел преодолеть основную ограниченность, проявившуюся в самых различных попытках создания философской антропологии, — их абстрактность благодаря найденному им онтологическому способу ее построения и фундирования. Последний же оказался представленным столь многообразно определенными в их изменении, развитии и способе существования сущностями, поскольку Рубинштейн овладел методологическим мастерством продвижения во встречном направлении от абстрактного к конкретному и от него — к абстрактному посредством обобщения бесконечного числа научных данных и методологического опыта множества разных наук. Он показал стратегии конкретизации абстракций и обобщения многообразия конкретностей, непревзойденные образцы перевода на «язык» философии понятий, категорий и, главное, проблем конкретных наук, благодаря которому каждый раз открывались для самой науки новая плос-

кость и способ их постановки и перспектива исследования.

На наш взгляд, ему удалось преодолеть критически выявленную им самим разорванность философского знания, «штучность», «лоскутность» философских областей — исторического материализма (как социальной философии), гносеологии, этики и др. путем построения философской антропологии, раскрывшей множество модальностей человеческого бытия, определив последнее одновременно и как восходящее к совершенствованию его сущности, и как преодолевающее реальное несовершенство, противоречивость и трагичку.

Парадигмальность найденного им определения человека как субъекта доказывается уже не философско-логическим способом. В этом определении субъекта соединились на первый взгляд кажущиеся несовместимыми принципы — категоричность, имея в виду присущую любому объяснению завершенность, и вместе с тем имплицитность, потенциальность. Последняя и обнаружилась — сама себя явила и раскрыла в последующий период развития философии и методологии наук о человеке — с семидесятых годов до наших дней. Распространение категории субъекта, все большее обнаружение спектра объяснительных и проблематизирующих ее возможностей — свидетельство и доказательство этой парадигмальности.

Однако в противоположность гегелевской парадигме самодвижения, которая нашла свою смерть в миг ее доказательства как воплощения в конкретный способ существования, в парадигме субъекта оказалась угаданной его бесконечная способность создавать все новые способы своего бытия, ставя новые проблемы и загадки перед философским знанием.

Литература

1. *Аристотель*. Сочинения в четырех томах. Т. 4. М., 1984
2. *Абульханова-Славская К.А., Брушлинский А.В.* Философско-психологическая концепция С.Л.Рубинштейна. М., 1989
3. *Абульханова К.А.* О субъекте психической деятельности. М., 1973
4. *Дробницкий О.Г.* Понятие морали. М., 1974
5. *Лекторский В.А.* Проблема субъекта и объекта в классической и современной буржуазной философии. М., 1975
6. *Лосев А.Ф.* История античной эстетики. М., 1979

7. Проблемы материалистической диалектики как теории познания. М., 1979
8. *Рубинштейн С.Л.* Основы общей психологии. М., 1940 (1-е изд.); М., 1946 (2-е изд.); М., 1989 (3-е изд.)
9. *Рубинштейн С.Л.* Бытие и сознание. М., 1957
10. *Рубинштейн С.Л.* О мышлении и путях его исследования. М., 1958
11. *Рубинштейн С.Л.* Принципы и пути развития психологии. М., 1959
12. *Рубинштейн С.Л.* Проблемы общей психологии. II. Человек и мир. М., 1973 (1-е изд.); М., 1976 (2-е изд.)
13. Сергей Леонидович Рубинштейн. Очерки. Воспоминания. Материалы. М., 1989
14. *Payne T.R.S.L.* Rubinstein and philosophical foundations of Soviet psychology. Dordrecht, 1968
15. *Rubinstein S.* Eine Studie zum Problem der Methode. Marburg, 1914

А.С.Арсеньев

**РАЗМЫШЛЕНИЯ
О РАБОТЕ С.Л.РУБИНШТЕЙНА
«ЧЕЛОВЕК И МИР»**

От автора. Предлагаемая статья была мне заказана для сборника, посвященного 100-летию со дня рождения Сергея Леонидовича Рубинштейна, и написана летом 1987 года. Однако ни в сборник, ни в журналы, где я попытался ее опубликовать, она не была принята и разошлась в ксерокопиях. Теперь, по-видимому, ее время пришло — она «долежалась до своего часа»... Это вселяет в меня надежду, что и другие мои тексты могут дожидаться «своего праздника возрождения» (М.М.Бахтин).

Введение. Часть первая — агнографическая. 1. Как это было. 2. Основные идеи переворота. 3. Появление работы «Человек и Мир». Отношение к ней психологов. Часть вторая — апологетическая. 1. Прорыв. 2. Бесконечность. 3. Непосредственность. Часть третья — критическая. 1. Непоследовательность и противоречия. 2. Логика. Часть четвертая — профетическая. 1. Граница. 2. Судьба.

Введение

Работа С.Л.Рубинштейна «Человек и Мир» принадлежит к числу сравнительно немногих, сыгравших особенную роль в моей философской биографии. Поэтому я не хочу и не могу писать о ней от имени и с позиции того или другого «изма», науки или еще какой-нибудь «объективной» платформы. Пусть читатель не ждет ни объективных оценок, ни академичности, ни даже строгого порядка и логики изложения. Всего этого в статье не будет, о чем считаю необходимым предостеречь намеревающегося читать данный текст.

Долгие годы у нас считалось, что советский философ должен писать от имени и с позиций марксизма, трактуемого в духе последних (и даже будущих, для чего надо было обладать «верхним чутьем») постановлений ЦК и передовиц «Правды». Поэтому, когда у него вдруг появлялись собственные мысли (по многим причинам редкий случай), он должен был маскировать их цитатами, ссылками на высказывания очередного генерального секретаря и т.п.

Я пишу, выражая свое личное (ни для кого не обязательное) отношение к этой работе, свое понимание, свои мысли по ее поводу и, разумеется, по своей же позиции, хорошо осознавая, что существуют другие, в том числе и противоположные моей, несколько не худшие, может быть, и лучшие, чем моя. Но существование этих других позиций и оценок, мне кажется, не лишает меня права высказать мою собственную, так же как не лишает читателя права принять ее во внимание, отвергнуть как абсолютно неприемлемую, возмутиться и т.д. Недопустимо ни с чьей стороны лишь одно право — право запрета на свободное мышление.

Я хочу рассказать, какое непосредственное впечатление произвела на меня появившаяся в конце 1973 г. первая публикация работы «Человек и Мир» и о последующих размышлениях над ней (а обращался я к ней неоднократно, ссылаясь на нее в статьях и докладах, рекомендуя ее слушателям моих лекций и т.д.). Эта работа не только затронула мое мышление, но была пережита эмоционально. Поэтому моя статья будет содержать описания эмоций и психических состояний, и не только моих, но и С.Л.Рубинштейна (насколько, мне кажется, я могу их «реконструировать»).

Скажу сразу, что считаю работу «Человек и Мир» революционной в советской психологии (а в значительной степени и в философии), до сих пор не понятой и не оцененной по достоинству ни психологами, ни философами. Более того, я считаю, что направление исследования, открываемое этой работой, — единственное, выводящее советскую психологию из тупика, в котором она пребывает. Из всех направлений советской психологии только на этом пути возможны понимание и разработка оснований теоретической психологии. Я хочу попытаться объяснить, почему эта работа, заключающая радикальное революционное переосмысление основ психологии (и философии), осталась почти незамеченной и если изредка и цитировалась, то без понимания того, что она фактически взрывает позиции психологов и философов, ее цитирующих.

Мое восприятие работы Сергея Леонидовича определялось ситуацией и этапом моей собственной эволюции как философа ко времени знакомства с ней в 1974 г. В 50-х годах я работал в Институте философии АН СССР и был знаком с Сергеем Леонидовичем. Но должен признаться, что если бы я прочитал «Человек и Мир» в то время (а к моменту моего ухода из Института в 1959 г. текст этой работы был уже написан; С.Л.Рубинштейн умер в начале 1960 г.; работа опубликована посмертно в конце 1973 г.), то не смог бы ни понять, ни оценить ее глубину и революционность. Нужно было, чтобы коренным образом изменились мои собственные взгляды, мое мышление и видение мира, мое мироощущение. Такое изменение произошло лишь в период 1964—1968 гг. Оно было воспринято мною как выход из темницы или из какой-то скорлупы, и, хотя отдельные прилипшие ко мне ее части и осколки еще много лет меня сопровождали, как целое эта скорлупа была разбита. Это определило, во-первых, невозможность возврата назад, а во-вторых, обретение основания, с которого открывались такие бесконечные перспективы исследования и понимания, которые изменили все мое отношение к жизни.

По-видимому, надо, хотя бы в самых общих чертах, пояснить читателю мою позицию и путь к ней, чтобы был понятен угол зрения, под которым я вижу работу «Человек и Мир», а также воспроизвести ту реальную духовную атмосферу, в которой, во-первых, писалась, во-вторых, публиковалась (эти события разделены 15-лет-

ним промежутком), а в-третьих, существует в настоящее время эта работа Сергея Леонидовича. Поэтому, заканчивая эту часть статьи, я должен предостеречь неосторожного читателя, что ему предстоит преодолеть, кроме всего прочего, «лирические» отступления и соображения «по поводу», а также и часть мемуарную, связанную с воспоминаниями, ассоциациями и рефлексией автора.

Часть первая — агиографическая

§ 1. Как это было

Начав работать в философии в 1948 г., я сравнительно быстро понял, чего стоят все наши учебники, курсы и прочая макулатура, написанная в плане расхожего «марксизма-ленинизма». Этому быстрому пониманию способствовали два обстоятельства.

Во-первых, демьянова уха нашей пропаганды, назойливость которой тем больше, чем больше ее примитивность, невежество и элементарная неграмотность. Особенно отвратительна была мне принудительность, с которой она насаждалась. Когда-то К.Маркс сказал, что нет ничего страшнее деятельного невежества. Но что же тогда сказать о деятельном невежестве, облеченном властью? Работая в различных НИИ (их было пять) и в ВУЗах (их было три), я убедился, что именно эта догматическая тупость и принудительность у большинства мыслящих людей вызывают презрительное отношение к упомянутой макулатуре (а другого она, по-моему, не заслуживает), а через нее и к философии вообще (что очень жаль). И это — лучший вариант. Гораздо хуже, когда человек начинает верить во всю эту догматическую галиматью.

Во-вторых, с начала 1953 г. я стал сотрудником Института философии АН СССР и воочию увидел культурный, теоретический и нравственный уровень людей, возглавляющих советскую философию. В их руках (и в руках карьеристов помельче, несть им числа) «марксизм-ленинизм» стал своеобразным «Молотом ведьм», которым сокрушали все подряд: биологию, генетику, психологию, кибернетику, всех инакомыслящих, а также просто мешающих собственной карьере (и, — хочется продолжить по М.Е.Салтыкову-Щедрину, — «всех тех, кто унылым видом своим смущает благонамеренность обыва-

телей»). Ложь, невежество, хамство, цинизм с помощью «марксизма-ленинизма» маскировались под принципиальность, преданность делу и тому подобные добродетели.

Благодаря этим двум обстоятельствам (они общеизвестны и упоминаются здесь лишь как факты моей биографии) мне, как говорится, «повезло», и сравнительно быстро я разделался в своем сознании с официальной философией. Поиск какого-то более разумного ее понимания привел меня в лагерь гносеологов и методологов. Некоторое время я работал в рамках понимания философии как гносеологии. Оно тоже меня не удовлетворяло. Мне казалось, что здесь утеряно субстанциональное, бытийное содержание и мир вырождается в какую-то плоскую абстрактную схему. Однако ничего лучшего я тогда найти не мог. Не видел пути выхода «из логики в бытие». Даже гегелевское понимание диалектики как «движения самого содержания» меня не удовлетворяло. Предпринимал попытки освобождения диалектики от замкнутости, интерпретируя ее как иерархию органических систем, в которой каждый раз при приближении системы к завершению и полноте развиваются противоречия, ее взрывающие, не дающие ей стать системой категорий, выбрасывающие ее в состояние «безмерности» (впоследствии эти «упражнения» мне пригодились при логической интерпретации развития органических систем и представлении антропогенеза в контексте отношения «Человек — Мир»). Наконец, я понял, чего именно мне не хватает в понимании философии как логики, как гносеологии или методологии. Всеобщность, на которую она претендует, в этом случае заражена технологией; это претензия быть всеобщим инструментом анализа без обладающего соответствующей всеобщностью предмета, который анализируется.

В 1963 г., когда я работал в Институте истории естествознания и техники АН СССР над проблемой возникновения науки и научного мышления, мне вначале показалось, что в науке я нашел всеобщий предмет, адекватный всеобщему методу философии (так в свое время полагал А.И.Герцен). Но очень быстро я пришел к выводу, что наука — исторический феномен, ограниченный количественно рамками пространства и времени (Западная Европа, последние 350—400 лет), а также качественно — миром вещей и вещных отношений (вернее, видит мир не в его целостности, а в его «вещной проекции»).

При этом научное мышление есть систематическая разработка того специфически ограниченного (подходящим здесь мне кажется термин К.Маркса «вещное ограничение») типа отношения к миру и мышлению, который стал господствующим в Европе, начиная с конца XV в. («новоевропейского рационализма»). В основе его лежит понимание человека как субъекта познания и действия в его противопоставленности миру как объекту (с одной стороны, мир признается обладающим объективными, независимыми от субъекта законами и силами, с другой — подлежащим использованию со стороны познавшего эти законы и силы субъекта). Человек в рамках науки может рассматриваться тоже только в его вещной проекции, а потому человек как целое, личность, свобода, творчество (в том числе и научное) не могут быть в этих рамках поняты. Поэтому же не может быть научной философии, а научное мировоззрение — это что-то вроде взгляда на мир узников платоновской пещеры.

Об этом в 1965—66 гг., я написал книгу «Проблема творчества в современной науке», которая должна была публиковаться в 1967 г. в издательстве «Высшая школа», но верстка ее была рассыпана по приказу цензуры.

Расплюсование сторон отношения «Субъект — Объект» в новоевропейском рационализме приводит к взаимоисключающим, противоречащим друг другу абстракциям субъекта («сознание», «дух») и объекта («бытие», «материя»). Субъект, абстрагированный от всего объектного (протяженности, причинности, инертности, единичности и т.д.), дает понятие «дух» (в новоевропейском рационализме приравниваемый к «сознанию») с характеристиками: непротяженность и, следовательно, независимость от пространственных отношений, свободное целепологание, абсолютная активность, всеобщность и т.д. Абстрактный объект с противоположными характеристиками дает понятие «материя». Поскольку в вещной логике противоречие ведет к парадоксам, предпринимаются попытки его устранения путем объявления одной из противоположностей первичной, а другой — вторичной, производной. Эти попытки (материализм и идеализм) никому не удалось разработать последовательно (да это и невозможно логически: поскольку тот и другой являются определенными — хотя бы в их противопоставленности друг другу, — а всякое определение есть ограничение, каждый из них тем самым ограничен и не

может выражать всеобщность и бесконечность мира и человека, а следовательно, и служить основанием философии), и потому фактически они остались только декларациями, хотя и сыграли большую роль в истории новоевропейской философии (как и вообще декларации в истории, из которых многие почитались даже осуществленными, и эта иллюзия разделялась не только их сторонниками, но и противниками).

Между тем большинство исследований по истории философии были написаны в период господства новоевропейского рационализма, что определило различие «основной» линии развития философии и «второстепенных», «побочных», «не научных», «реакционных» направлений. Понимание ограниченности этого рационализма привело меня к необходимости расширения собственного сознания, изучению того, что осталось «за бортом» этой селекции, а именно многих философских, религиозных, мистических, мифологических учений Запада и Востока, а также материалов этнографии, психологии, археологии и т.д.

Вначале задача казалась просто непосильной. Обширность и разнообразие материала пугали. Кроме того, это было затруднено условиями безгласности, запретом на литературу, свободное общение, идеологическим прессом, а для меня лично еще и незнанием языков. Книги приходилось доставать практически нелегально. Однако постепенно я начал замечать, что в источниках, совершенно различных по характеру — мифологических, религиозных, философских, оккультных и т.д., — разделенных различием культур и временем в сотни и тысячи лет, — некоторые основные исходные идеи повторяются, хотя и в разной культурной одежде. Я начал чувствовать, что их можно свести к какому-то общему истоку, и чем глубже идешь в исследовании этого истока, тем явственнее становится конвергенция. Таким образом, отпадает необходимость бесконечного набора материала и экстенсивного расширения сознания за счет эрудиции. Это расширение происходит теперь за счет качественного изменения видения и понимания мира.

Я пришел, наконец, к пониманию, что, в сущности, во все времена, во всех культурах разговор шел об одном и том же, что центральным, основополагающим (конституирующим также и само «Я» человека, его психику) был и остается один вопрос, одна проблема —

проблема осознания Человеком своего бытия и места в Мире. Тайны своей единоприродности с Миром, своей причастности к Миру как бесконечному целому. Это и привело меня к полному перевороту в моем не только осознании, но и в восприятии Мира и Человека. Коренным образом изменился и мой взгляд на философию, ее предмет, проблематику, ее роль и задачи в современном мире.

§ 2. Основные идеи переворота

Здесь я считаю должным упомянуть трех мыслителей, с работами которых я в это время познакомился и воспринял их (хотя и в совершенно разных планах) как своих единомышленников. Их свободное, революционное, ломающее установившиеся традиции мышление как бы подтверждало мое собственное право на свободное исследование, вдохновляло, служило примером.

В начале 60-х годов я увлекся А.Бергсоном. Глубиной и эстетической красотой его идеи о двух противоположных мировых потоках («материя» и «жизнь») восхищаюсь до сих пор. Его простая и убедительная критика дарвиновской теории происхождения видов остается непреодолимым барьером для дарвинистов. А его идея о том, что жизнь в своей основе проста, а картина ее бесконечной сложности получается в науке вследствие того, что она изображается не в адекватной ей логике (логике противоположного потока) просто великолепна!

В 1966 г. я познакомился с книгой Тейяра де Шардена «Феномен человека» («Прогресс», 1965). Я уже был подготовлен к этой встрече, уже пришел к убеждению, что Человек должен рассматриваться как рефлексия природы. Книгу Шардена я принял сразу как колоссальную поддержку и толчок моему собственному мышлению. Я увидел в ней попытку диалектического соединения антропологии и космологии. Не все идеи книги были восприняты и поняты мной тогда. Например, смысл заголовка пролога — «Видеть» — я понял сравнительно недавно.

В конце 60-х годов я добрался до находившейся фактически под запретом русской философии конца XIX—начала XX в. И это было как раз вовремя: ранее я не смог бы проникнуть в ее глубину и даже мог, вероятно, отбросить ее в сторону. В лице Н.А.Бердяева я нашел философа, близкого мне по духу. Я во многом с ним не

согласен и готов спорить по множеству вопросов. Но основные его идеи о свободе, о личности и ее судьбе в Мире как центральной проблеме философии, о бесконечности Человека в творчестве как смысле бытия я принял как адекватные моему новому мироощущению. Несвязанность Н.А.Бердяева строительством логических, категориальных и вообще каких бы то ни было схем и систем была особенно привлекательна и вызывала чувство освобождения, особенно на фоне принудительно насаждавшегося тупого догматизма. Я не могу входить здесь в подробности моего отношения к идеям Н.А.Бердяева, отмечу лишь, что он остается и до сих пор одним из наиболее близких мне философов. Знакомство с Н.Бердяевым завершило и укрепило мой новый взгляд на Мир и на Человека.

Как я понимаю, определенную роль в этой моей эволюции сыграло с детства не покидавшее меня ощущение своей глубокой субстанциональной связи с природой и миром, ощущение причастности к вневременной всеобщей основе бытия. Это заставляло меня искать свидетельства и проявления этой глубокой внутренней сущностной связи как в литературных источниках, так и в эмпирической действительности. И я их находил в литературе исторической, этнографической, религиозной, мистической, эзотерической, оккультной и т.д., интересовался восточными религиозно-философскими учениями и системами воспитания, находил людей с экстрасенсорными способностями, наблюдал и экспериментировал.

Я убедился в существовании непосредственной информационно-энергетической (и в определенном смысле субстанциональной) двусторонней связи глубоких слоев психики с определенными полями во внешнем мире. Состояния психики (включая эмоциональный тонус, настроение и т.п.) не только испытывают воздействие со стороны внешнего мира, но и сами на него действуют. Поэтому, например, идея А.Н.Скрябина о возможном влиянии исполнения музыки на состояние мира, в принципе, не является невероятной. Существует общение людей друг с другом и со всем Миром, протекающее помимо внешних органов чувств. И т.д.

Эти отношения Человека с Миром гораздо глубже и фундаментальнее его социальных отношений. Но еще глубже лежит область личностного «Я» и его отношений к Миру: нравственного, эстетического, любви, благогове-

ния перед Тайной бытия Мира и самого себя, ощущение, что это одна и та же Тайна.

Мои занятия этим кругом проблем привели к расширению сознания, что спасло меня от поглощения Молохом социальности, с одной стороны; от ухода в логику и игру в категории — с другой. Но вместе с тем прочный интерес к рационально-философской стороне дела позволил избежать и другой крайности — замыкания в область парапсихологии, иррационализма или модного в некоторых кругах интеллигенции лозунга: «Долой разум, давайте жить сердцем!» Просто, если раньше в расхождении Гегеля с Шеллингом я был целиком на стороне панлогизма Гегеля, то теперь я понял (и почувствовал) также и правоту Шеллинга с его натурфилософией и мистикой, «своим человеком» стал для меня и Фейербах с его провозглашением чувственной основы бытия. Чувственности, непосредственному восприятию свойственна всеобщность не в меньшей, а скорее даже в большей степени, чем рациональному мышлению.

Коренным образом изменилось и мое понимание философии. Теперь я стал понимать ее как метафизику. Отличие от гносеологии и методологии состоит здесь в том, что гносеология и методология пытаются ответить на вопрос «как?»: как человек познает мир, как он действует (должен действовать) и т.д. В философии как метафизике главным является не вопрос «как?», но вопрос «что?»: что такое человек, что есть я в моем отношении к миру? Это приводит в область традиционных, вечных метафизических вопросов об отношении Человека к Миру (к Богу, Абсолюту и т.п., вообще, к некоторому бесконечному Началу), о «назначении» Человека, о смысле жизни, о добре и зле. Центральными в философии оказываются проблемы бытия человека, в том числе «последние вопросы» героев Ф.М. Достоевского.

Понимание философии как метафизики выводит из отношения «Субъект — Объект» в отношении «Человек — Мир», выступающее для личности как «Я — Мир». Именно в отношении «Я — Мир» происходит становление личностного «Я» при условии бесконечности (актуальной и потенциальной) и эквивалентности друг другу сторон этого отношения. Отношение «Субъект — Объект» (и новоевропейский рационализм в целом) вместе с порожденными им материализмом, идеализмом и всем строем соответствующих категорий выглядит теперь в плане ис-

торическом как ограниченный, преходящий этап истории, а в плане логическом как следствие, частный абстрактный случай отношения «Человек — Мир» или, употребляя геометрическую аналогию, вырожденный случай (как, например, отрезок прямой может быть представлен как вырожденный эллипс, а пара пересекающихся прямых — как вырожденная гипербола).

В отношении «Человек — Мир» Человек выступает как противоречивое бесконечно-конечное существо, как «особенное», т.е. как реализация, воплощение всеобщего в единичном. Только особенное, воплощая актуальную бесконечность, вынуждено, чтобы существовать, бесконечно развиваться, т.е. трансцендировать в форме потенциальной бесконечности. Именно поэтому справедлив афоризм: «Человеку, чтобы быть самим собой, нужно быть бесконечно больше себя». Это противоречие бесконечного и конечного в человеке, с одной стороны, определяет внутреннюю «структуру» (в кавычках, так как понятие «структура» здесь не очень пригодно) психики, его личностного «Я» вплоть до его бесконечных глубин (исключая лишь саму бесконечную глубину, где оно снимается). С другой стороны, оно формирует его внешние собственно личностные отношения — нравственное, эстетическое, отношение любви, рациональное и т.д., начиная с самого первичного, глубокого и общего — синкретического «отношения-переживания-восприятия» родства и причастности к безмерной Тайне себя самого и Мира (это и есть фактически все острые психические конфликты обыденной жизни, в том числе, например, расщепление этического сознания развивающейся личности на безусловную бесконечную сторону и конечную групповую¹).

Я не могу останавливаться здесь на всех следствиях обретенного мною нового понимания и восприятия Человека и Мира. Достаточно сказать, что моя собственная эволюция на его основе продолжается уже двадцать лет. В определенном смысле Мир открывался мне заново, как это было в далеком детстве.

¹ Об этом расщеплении я написал в 1969 г. статью «Взаимоотношение науки и нравственности», которая была опубликована частично (часть, касающаяся науки) в сб. «Наука и нравственность». (М., 1971) и полностью при переиздании того же сб. в 1975 г. издательством «Прогресс» на иностранных языках.

Замечу лишь, что, например, отношение «Человек — Мир» может быть рассмотрено как расщепление Природы на две стороны, из которых одна (Человек) может быть понята как Природа, в своей бесконечной интенсивности свернутая в точку, а другая (Мир) — как она же, экстенсивно развернутая (в частности, в пространстве и времени). Одновременно внутри Человека есть Нечто (или Некто), экстенсивно бесконечно разворачивающееся на весь Мир, а в Мире — Нечто (или Некто), бесконечно интенсивно сворачивающееся, с чем в своей глубине непосредственно связано и человеческое «Я». Употребляя аналогию из астрофизики, можно сказать, что Человек это черная (рефлексия) и белая (трансцендирование) дыра. (И оказывается, что аналогию эту можно продолжить довольно глубоко.)

Для изложения дальнейшего необходимо хотя бы кратко упомянуть некоторые самые общие следствия этого понимания. Например, невозможно строить космологию без антропологии и наоборот (современная научная космология и научная антропология — всего лишь вещные проекции Мира и Человека и в этом своем качестве, оставаясь частичными, не могут быть объединены). Человек должен быть рассмотрен как «микрокосм», аналогичный по внутренней своей сущности Миру («макрокосму»), интимно в этой сущности связанный с ним в единое целое. Это, в частности, означает, что у Мира есть также телесное и духовное «измерения», как и у Человека.

Нельзя, изучая психику, отбросить данные мировых религий, этнографии, мистический опыт, так называемые эзотерические знания, область, которую принято называть парапсихологией, практическую магию (которая в некоторых регионах мира продолжает практиковаться, входя как необходимая сторона в соответствующие культуры).

Невозможно в психологии не учитывать также современные исследования по измененным состояниям сознания, включая эксперименты с трансцендентальной медитацией, данные ЛСД-терапии и т.д.

Не принимать все это во внимание — значит заведомо обрекать себя на изучение части, стороны вместо целого, что затем практически проявляется, например, в педагогике, как полное непонимание душевной жизни

воспитуемых и неспособность управлять процессом воспитания.

К таким идеям я пришел к 1968 г. сначала в форме общего, лишь интуитивно схваченного, но несомненного в своей истинности, многообещающего Основания. В последующие двадцать лет я был полностью захвачен углублением в него и открывавшимися благодаря этому перспективами. Я находил его проявления в религии, философии, поэзии, литературе и т.д., в самоотчетах мыслителей, творцов, в личностном общении, в конечном счете во всех актах собственно человеческого бытия как непосредственную основу и конституирующий принцип психики как целого.

Но чем больше я понимал, тем меньше становились возможности внешней реализации этого понимания. В атмосфере тупого идеологического догматизма этот внешний план был урезан, не позволял сказать все, что думаешь, создавал чувство почти физического удушья. Публикация была необходимо связана с самокастрацией. Наконец, в 1973 г., почувствовав рождение в себе почти независимого от моей воли внутреннего цензора, я испугался за свой разум (а передо мной проходили примеры знакомых мне людей, уступивших внутреннему цензору и потерявших вследствие этого способность свободного самостоятельного мышления) и решил больше не писать для печати. Я сделал еще только одну попытку, написав в 1976 г. статью «Проблема личности с позиции К.Маркса», наивно полагая, что, ограничив тему взглядами Маркса, я не обязан излагать полностью свои собственные. Вернее, это был поиск, и не безуспешный, в идеях Маркса содержания, приемлемого для моего нового видения. Статья не была опубликована, да и вообще это была какая-то игра в прятки с самим собой. После этого я уже ничего нового для печати не писал, и все немногие мои публикации, появившиеся с тех пор, представляли собой адаптацию ранее написанных текстов. Я продолжал чтение докладов, курсов и циклов лекций, но и здесь, несмотря на отсутствие цензуры (если не считать цензурой доносы некоторых, к счастью, редких слушателей) и боящихся собственной тени редакторов, я должен был, хотя и в меньшей степени, ограничивать себя ради безопасности устроителей этих лекций. Поэтому в последнее время и эта моя деятельность почти прекратилась.

И было бы вовсе плохо, если бы не чувство внутреннего освобождения и положительного принятия мира, которое принес с собой переворот в моем видении и понимании существующего. Открывшаяся область безмерного была столь целостно захватывающа, что язык рациональных понятий оказался слишком бедным для ее выражения. На ум приходили символы и образы искусства. Например, строчки В. Маяковского:

Я сразу смазал карту будня,
Плеснувши краску из стакана.
Я показал на блюде студня
Косые скулы океана

(ибо «косые скулы океана» для меня просвечивали сквозь всю повседневность жизни. Я их видел и в каком-то смысле чувствовал присутствие «океана» в себе самом). И меня постепенно перестали беспокоить, оказались не столь уж важными внешние «регалии» моего бытия (престиж, степени, звания, публикации и т.п.). Мне не нужны стали последователи и ученики, которым я хотел бы передать какие-то положительно определенные, фиксированные взгляды, схемы. Но мне хотелось передать окружающим меня людям то, что мне открылось, научить их быть свободными, не принимать чужие взгляды и концепции, в том числе, если они исходят и от меня, а вырабатывать собственные, не самоотжествляясь при этом и с ними. Это я называл «расширением сознания».

Поэтому, когда в процессе чтения курсов лекций мои слушатели требовали рецепт, как надо жить и мыслить, я отвечал им словами А. Галича:

Не бойся войны, не бойся тюрьмы,
Не бойся мора и глада,
А бойся единственно только того,
Кто скажет: «Я знаю, как надо!»

§ 3. Появление работы «Человек и Мир». Отношение к ней психологов

С 1972 г. я начал работать в Институте общей и педагогической психологии Академии педагогических наук СССР. Я увидел, что в психологии проблема ее теоретических оснований не только не продумана, но даже понастоящему не поставлена. Что весь громадный багаж философии, истории, религии, этнографии и т.д. практи-

чески никак не использован даже ведущими советскими психологами, что подавляющее большинство психологов активно чураются философии, некоторые потому, что принимают за философию упомянутую выше макулатуру и то, что под именем философии преподается в наших ВУЗах, а большинство в силу общей некультурности и незаинтересованности в деле, которым занимаются.

Многие признавали, что центральной проблемой психологии является проблема личности, но что именно понимать под личностью, оставалось неизвестным. Одни начинали с выявления «направленности личности», другие с ее «структуры», напихивая в эту структуру, что кому нравится, большинство рассматривало личность как социальный феномен, подсовывая фактически на роль личности социального функционера, и никто не пошел дальше деятельностного подхода.

Мои попытки показать, что в логике и понятиях вещных отношений личность рассматривать нельзя, что в органической системе и соответствующей ей диалектической логике начало необходимо полагается как целое и не может быть составлено из частей, и потому не может быть положено как структура, успеха не имели. Также не имело успеха рассмотрение человека и психики в параметрах бесконечности-конечности, а отношения «Человек — Мир» как такого, где Человек может быть определен как целостность, несущая в себе бесконечность в форме развивающегося особенного.

И вот в этой ситуации в 1974 г. я познакомился с опубликованной в конце 1973 г. работой «Человек и Мир». К ее чтению и пониманию я был подготовлен упомянутым выше переворотом в моих собственных взглядах. Я испытал огромную радость и эмоциональный подъем. Во-первых, я получил поддержку авторитетного психолога и философа. Во-вторых, оказывается, Сергей Леонидович к 1959 г. сделал принципиально важный шаг, можно сказать, переворот в понимании основ психологии. Я вышел в ту же область со стороны философии лишь к 1968 г. Я стал пропагандистом этой работы в курсах лекций, которые я читал, в докладах и семинарах, среди всех, с кем я общался. И как-то сначала даже не заметил, что большинство известных советских психологов практически почти никак не отреагировали на появление работы «Человек и Мир» или отнеслись к ней отрицательно.

Например, однажды один известный психолог в докладе на теоретическом семинаре заметил, что третий Спинозовский способ детерминации познания (непосредственное и полное постижение) никак не был осмыслен в психологии. Я заметил, что, по-видимому, «Человек и Мир» С.Л.Рубинштейна подводит к возможности такого осмысления, и услышал в ответ: «Что касается Рубинштейна, то я его на всякий случай не читал!»

Этот же психолог, выступая на заседании, посвященном памяти С.Л.Рубинштейна в ноябре 1979 г., сказал, что работы Сергея Леонидовича, конечно, очень важны в плане критики зарубежной психологии, но что в положительном плане они слишком абстрактны и не могли быть использованы советскими психологами. Я на этом же заседании попытался показать: «Человек и Мир» — это поиск и утверждение нового, более глубокого основания теоретической психологии, но не встретил понимания.

Другой, не менее известный психолог, выступая на теоретическом семинаре, заявил примерно следующее: «Мы, леонтьевцы, развиваем завещанный нам Выготским деятельностный подход к человеку на базе марксистской теории деятельности. Правда, пробовал в этой области что-то сделать Рубинштейн, но не имел достаточно глубокой философской подготовки, и поэтому, пока он собирался, поезд уже ушел!» Я возразил выступавшему, сказав, что именно Рубинштейн отличается от всех остальных советских психологов несравненно более высокая философская и историческая культура и глубина мышления, что, впрочем, еще Б.Спиноза заметил, что чем меньше знаешь, тем легче быть (и слыть) теоретиком. Я также добавил, что поезд, конечно, ушел, но не туда и пребывает в тупике, что я и собираюсь показать при обсуждении работы Рубинштейна на теоретическом семинаре. Однако это мне не удалось. Несмотря на то, что в 1979 г., выступая на этом семинаре с докладом «Историзм и психология», многократно при этом ссылаясь на работу «Человек и Мир», как единственную в советской психологии, выводящую из теоретического тупика, я предлагал обсудить ее на семинаре, а себя в качестве докладчика, доклад так и не был поставлен.

О причинах такого отношения к работе «Человек и Мир» я попытаюсь сказать в конце статьи.

Часть вторая — апологетическая

§ 1. Прорыв

Со времени моего знакомства в 1974 г. с работой «Человек и Мир» прошло много лет. Успела в 1979 г., также посмертно, выйти в свет великолепная книга М.М.Бахтина «Эстетика словесного творчества», из которой я увидел, что с 20-х годов М.М.Бахтин глубоко и интересно работал в той же области целостного отношения Человека и Мира, в которую вышел и С.Л.Рубинштейн. Книга М.М.Бахтина представляется мне наиболее глубоким исследованием из опубликованных советскими философами и психологами (и сделал это филолог!). Многие мысли этой книги оказываются близкими и даже совпадающими с идеями работы «Человек и Мир». За эти годы изменилось, конечно, и мое понимание этой работы, но общая оценка ее, высказанная выше, остается прежней. Остается прежним ощущение глубины и мужества мысли, ломающей догмы, в борьбе с собой открывающей новые пути и возможности.

Попробую коротко рассказать, как я вижу революцию, совершенную С.Л.Рубинштейном в себе самом и в понимании основ психологии.

В 1957 г. публикуется книга С.Л.Рубинштейна «Бытие и сознание». По замыслу это некоторый теоретический итог его размышлений над проблемами психологии и философии. Идет также работа над книгой «Принципы и пути развития психологии» (М., 1959), о которой автор сообщает: «Главная цель этой книги — популяризация основных положений, к которым я пришел в результате предшествующих работ»¹. Таким образом, и эта книга — итог, завершение, придание результатам общедоступной формы.

Между тем, уже в 1955 г. Сергей Леонидович работает над произведением «Человек и Мир», которое начинается с критики еще не опубликованной книги «Бытие и сознание»: «Проблема бытия и сознания, обозначенная в заглавии книги, в целом не была там охвачена.

Мало того: основной результат нашего исследования проблемы психического в "Бытии и сознании" показал,

¹ Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии. М., 1959. С. 4.

что самая постановка вопроса, заключенная в заглавии нашей книги, не может быть окончательной» (253)¹.

Почему автор не внес изменения в тексты подготовляемых книг, хотя их недостатки были ему уже ясны, а предпочел их издать, чтобы затем в новой (в то время уже писавшейся) работе подвергнуть критике? Присмотримся к этой критике более внимательно. «Бытие и сознание»: «Психическая деятельность является функцией мозга, потому что сама деятельность мозга есть деятельность рефлекторная, обусловленная воздействием внешнего мира... психические явления определяются в самом своем возникновении воздействием вещей, отражением которых они в силу этого являются»². Это основное кредо автора в дальнейшем разрабатывается, многократно в разных формах воспроизводится, становится основанием критики различных психологических теорий. Ничего принципиально нового для психологии, на мой взгляд, здесь нет. Мы находимся в границах отношения «Субъект—Объект» в его абстрактно-материалистической модификации (первичность бытия — вторичность сознания). Но вернемся к началу работы «Человек и Мир»: «За проблемой бытия и сознания встает другая, как исходная и более фундаментальная (подчеркнуто мною. — А.А.) — о месте уже не психического, а о месте человека в мире, в жизни. Этой проблеме всех проблем и посвящена настоящая книга» (254). Этими словами заканчивается краткое обращение «От автора», помещенное в начале работы.

Итак, речь идет не о критике тех или других выводов книги «Бытие и сознание» (а она — итог всей предыдущей работы!), а о смене исходного теоретического основания на более глубокое и фундаментальное. И автор приходит к необходимости этой смены в то время, когда он завершает и обобщает то, что можно получить, исходя из старого основания. И это — нормальный ход диалектического развития мысли, где каждый существенно новый этап начинается с критического переосмысления предыдущего этапа в момент его завершения, готовности замкнуться в самостоятельное целое (но этот «нормаль-

¹ Здесь и далее в тексте статьи цифры в скобках означают страницы работы «Человек и Мир» по изданию: *Рубинштейн С.Л.* Проблемы общей психологии. М., 1976.

² Бытие и сознание. М., 1957. С. 5.

ный ход» мало кому доступен, так как несовместим с самоутверждением — внутренним и внешним — посредством уже достигнутого. Не каждый может, особенно в наше время — время утери смысла жизни и стремления урвать в своем наличном бытии кусок пожирнее, — так решительно переступить через то, что уже в жизни сделано. Тем более, не каждый способен в конце жизни к переделке собственного мышления, к тому, чтобы начать все сначала). В этот момент обнаруживается абстрактность и односторонность старого основания, выход из которого состоит в пересмотре этого основания, трансцендировании за его пределы и погружении в основание более глубокое, по сравнению с которым предыдущее выглядит как одно из следствий, сторона, абстракция и частный случай. Так происходит движение от абстрактного к конкретному¹. Поэтому отношение «сознание — бытие» (или «Субъект — Объект») в сравнении с более глубоким отношением «Человек — Мир», к которому пришел С.Л.Рубинштейн, оказывается вторичным, производным: «Само это соотношение (сознания и бытия. — А.А.) является не исходным, а вторичным. Исходным является соотношение человека и бытия» (255).

Новое основание является фундаментом нового понимания (видения) изучаемой области (как правило, по существенным параметрам противоположного старому). В процессе его рациональной разработки порождается новый строй категорий и понятий, внутри которого переосмысляются, получают новое содержание категории старого строя как диалектически снятые, вторичные. Именно поэтому невозможно внести исправления в теоретическую работу, построенную на старом основании. Она замкнута в своей логике и как целое сохраняет свое ограниченное значение в ограниченной же области. И эта ее односторонность и ограниченность видны из нового основания совершенно определенно. Ее нельзя (и не нужно!) исправить, а можно лишь оставить позади как пройденный этап, который займет место одного из следствий, одной из сторон нового основания.

С.Л.Рубинштейн увидел, что из отношения «Сознание — Бытие» нельзя понять человека, ибо он не на сто-

¹ Я пытался описать этот процесс и следствия из него в кн.: Арсеньев А.С., Библер В.С., Кедров Б.М. Анализ развивающегося понятия. Часть третья. М., 1967.

роне сознания (как его ранее помещали туда под названием «субъект») и не на стороне бытия (понятого как «объект»). Человек как субъект — абстракция, где он представлен лишь частично через свое сознание. И это сознание, даже облеченное в «плоть» обладающего деятельностью субъекта, не спасает положения. Тогда бытие, природа предстает как объект деятельности субъекта. Психика как целое, «Я», личность оказываются за бортом этого абстрактного отношения. Система субъект-объектных отношений как основание новоевропейского рационализма впервые четко была осмыслена Р. Декартом. Для целостного человека, личности, личностного «Я», всего бесконечно многообразного психического мира в такой системе, и в частности в научной картине мира (научном мировоззрении), просто нет места. И С.Л. Рубинштейн это фиксирует совершенно точно:

«Идущая от Декарта точка зрения также рассматривает бытие только как вещи, как объекты познания, как "объективную реальность". Категория бытия сводится только к материальности... В мире, "конституирующем", определяющем эти системы категорий, существуют только вещи и не существует людей... Из учения о категориях, в том числе даже из учения о действительности, бытии, выпадает человек. Он, очевидно, идет только по ведомству исторического материализма — как носитель общественных отношений; как человек он нигде, разве что в качестве субъекта, он есть тот, для которого все есть объект и только объект... бытие человека, способ его общественного бытия, история — деонтологизируются, выключаются из бытия в силу равенства: бытие=природа=материя» (256—257). Эта же мысль, и во многом в тех же словах, повторяется несколько раз. Например: «Если при рассмотрении состава сущего происходит сведение сущего к "объективной реальности", в бытии остаются только вещи и только объекты; категория бытия как субстанции сводится к материальности, бытие — к материи. При таком сведении происходит выключение из бытия "субъектов" — людей... Бытие выступает при этом только как физическая природа, как движущаяся материя ("Мир" Декарта)» (275—276; см. также: 295, 324).

Конечно, повторение этой мысли несколько раз в тех же самых словах можно отнести за счет того, что работа не закончена и представляет собой лишь черновой набро-

сок, но этим, скорее, можно объяснить именно одинаковость слов и формулировок, но не многократность повторения самой идеи. Я думаю (и, мне кажется, это ясно из контекста работы), многократное возвращение к этой мысли, ее подчеркивание показывают ее важность и новизну для автора. Она явилась его личным открытием, т.е. открытием не в том смысле, что до него это было неизвестно. В течение многих лет эта идея утверждалась крупнейшими представителями мировой культуры, как гуманитариями, так и естественниками. Просто у С.Л.Рубинштейна произошел переворот в собственном сознании, и он *увидел* ее истинность, она его захватила эмоционально.

С позиций нового основания — отношения «Человек — Мир» — должен быть развит новый строй мышления, где на первое место выходят не гносеологические (и, соответственно, не технологические), а онтологические (бытийные) категории: «Характеристика человеческого бытия предполагает, что должна быть дана и новая характеристика всего бытия с того момента, как появляется человеческое бытие» (273). «Надо ввести человека в сферу, в круг бытия и соответственно этому определить систему категорий» (325). И человек, в определенном смысле слова, оказывается эквивалентен (единосущ, причастен) всему бытию. Нельзя говорить о бытии, исключаяем человека (как это делает наука). Наоборот, человек есть то начало, через понимание которого может быть понято все бытие: «Определение природы и других способов существования (например, мира) может быть понято только через человека» (292). «Соответственно со становлением человека как высшей формы (уровня) бытия в новых качествах выступают и все ниже лежащие уровни или слои...» (276). «Человек должен быть рассмотрен как *объективно* существующий, отношениями к которому определяются *объективные* свойства того, что с ним соотносится... Поскольку есть человек, он становится не чем иным, как объективно существующей отправной точкой всей системы координат... Вселенная с появлением человека — это осознанная, осмысленная Вселенная, которая изменяется действиями в ней человека... Сама осознанная или осмысленная Вселенная, измененная или могущая быть измененной действиями в ней человека, есть *объективный* факт... Таким образом, осознанность и деятельность выступают как новые способы

осуществления *в самой Вселенной*, а не чуждая ей субъективность моего сознания (подчеркнуто мной. — А.А.)» (327).

Эта идея выражалась многими известными мыслителями. Вот, например, Р.Штейнер: «С пробуждением моего "Я" совершается *новое, духовное рождение* вещей мира. То, что являют вещи в этом новом рождении, не было им присуще дотоле»¹.

Здесь мне хочется показать, как эта же идея выражена М.М.Бахтиным: «Свидетель и судия. С появлением сознания в мире (в бытии), а может быть, и с появлением биологической жизни (может быть, не только звери, но и деревья и трава свидетельствуют и судят) мир (бытие) радикально меняется. Камень остается каменным, солнце — солнечным, но событие бытия в его целом (незавершенное) становится совершенно другим, потому что на сцену земного бытия впервые выходит новое и главное действующее лицо события — свидетель и судия. И солнце, оставаясь физически тем же самым, стало другим, потому что стало осознаваться свидетелем и судиею...

Этого нельзя понимать так, что бытие (природа) стало осознавать себя в человеке, стало самоотражаться. В этом случае бытие осталось бы самим собою, стало бы только дублировать себя самого (осталось бы *одиноким*, каким и был мир до появления сознания — свидетеля и судии). Нет, появилось нечто абсолютно новое, появилось *надбытие*. В этом надбытии уже нет ни грана бытия, но все бытие существует в нем и для него»².

Я привел эту довольно длинную цитату, чтобы, во-первых, показать читателю идентичность позиций С.Л.Рубинштейна и М.М.Бахтина, если рассматривать эти позиции в их самой общей форме, а во-вторых, обратить внимание на различие языка, которым они выражены. Язык М.М.Бахтина гораздо более свободный, выражающий его позицию полнее, глубже, образнее. Объясняется это, на мой взгляд, тем, что М.М.Бахтин давно и целиком в этой области, он в ней — хозяин, в то время как С.Л.Рубинштейн вступил в нее совсем недавно и с

¹ Штейнер Р. Мистика. М., 1917. С. 16.

² Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 341.

оглядкой на свой прежний символ веры, он здесь — неофит (подробнее об этом — в части третьей статьи).

Итак, вся система детерминации переворачивается. Не Человек должен быть понят через Мир, но Мир через Человека. Соответственно меняется порядок и детерминация психологических понятий. Можно было бы приводить множество примеров этого в работе «Человек и Мир». Я здесь приведу лишь два из них.

Первый. Возражая фактически против плоского понимания психики как простого отражения внешнего мира, С.Л.Рубинштейн выдвинул многократно повторяемый в его работах, в том числе в книге «Бытие и сознание», тезис, согласно которому личность есть совокупность некоторых условий, через которую преломляется действие внешних причин («Внешние причины — через внутренние условия»). В работе «Человек и Мир» читаем: «Внутренние отношения являются основой, сущностью и субстанцией внешних отношений» (284). Следовательно, уже наоборот: «внутренние причины — через внешние условия». Да и сам С.Л.Рубинштейн недвусмысленно это формулирует: «При этом, строго говоря, внутренние условия выступают как причины... а внешние причины как условия, как обстоятельства» (287).

Второй. В научной психологии, в том числе практически во всей советской, человеческие потребности принято разделять на первичные, куда относятся, в частности, все физиологические, и вторичные, надстраивающиеся над первичными, например, все духовные. В работе «Человек и Мир» отношение обратное. Например: «Любовь к другому человеку выступает как первейшая, острейшая потребность человека» (370). При этом любовь здесь понимается отнюдь не в физиологическом смысле и не как влечение полов: «любовь есть утверждение существования другого и выявление его сущности» (369).

Здесь можно было бы приводить много других диалектических характеристик перехода к новому основанию, изменяющих на противоположное понимание личности, психики и, соответственно, переворачивающих категориальный строй психологического мышления (например, онтологичность этического и эстетического и т.д.). Но, мне кажется, и сказанного достаточно, чтобы утверждать, что в работе «Человек и Мир» С.Л.Рубинштейн совершил революционный переворот, действительный прорыв к новому, более глубокому основанию.

Теперь я попытаюсь изложить три, с моей точки зрения, наиболее важных момента, связанные с этим прорывом из отношения «Субъект — Объект (сознание — бытие)» в область отношения «Человек — Мир». Это — бесконечность, непосредственность и проблема рационализации (логики).

§ 2. Бесконечность

Это, пожалуй, самый важный момент: обретение в понимании Человека бесконечности через усмотрение эквивалентности сторон отношения «Человек — Мир». Понимание Человека, личности как такой части Мира, которая может включать в себя, выражать собою весь бесконечный Мир (что логически и даже математически возможно тоже лишь в области бесконечного): «Человек выступает как часть бытия, сущего, осознающая все бытие. Это капитальный факт в структуре сущего (т.е. не Человека только, но и Мира. — А.А.), в его общей характеристике, осознающий — значит, как-то охватывающий все бытие, созерцанием его постигающий, в него проникающий, часть, охватывающая целое» (338). «...Приобщение человека к бытию через его познание и эстетическое переживание — созерцание. Бесконечность мира и причастность к нему человека, созерцание его мощи и красоты есть непосредственно данная завершенность в себе» (339). Бесконечность и одновременно завершенность — характеристика актуальной бесконечности. Остается добавить, что созерцание в данном случае не может быть только эстетическим. Эстетическое отношение — лишь одна из сторон, которая может быть выделена из него. Оно содержит также и нравственное отношение, и отношение любви, и отношение сыновства, и отношение благоговения и преклонения. Все эти отношения объединены (вернее, не разделены) в религиозном отношении как созерцании Тайны.

Такое отношение к Миру, по-видимому, было формирующим самого Человека и его психику в антропогенезе. Оно же *должно быть* (хотя осознание этого в значительной степени утрачено современным человеком, что влечет для него катастрофические последствия) ведущим и в онтогенезе, а потому составлять основу систем воспитания. О нем, как формирующем личность, говорили выдающиеся мыслители на протяжении всей известной нам истории. Можно было бы привести десятки широко из-

вестных имен наших современников, высказывавшихся в этом плане. Я приведу здесь Д.И.Блохинцева: «С юных лет ощущение и сознание того, что мы, люди, являемся частью Вселенной, частью ее Красоты и Тайны, — мировосприятие, которым я обязан К.Э.Циолковскому, не покидало меня» (из рукописи «Свет из Калуги»). «Но ощущение нашего родства со *всей* Вселенной, вера в ее *одухотворенность* и *благонамеренность* по отношению к человеку, преклонение перед ее гармонией и красотой всегда было и будет ничем не заменимым душевным богатством людей» (подчеркнуто мной, — А.А.) (Речь на конференции по физике высоких энергий. США, Майами, Рочестер, январь 1969 г.).

С.Л.Рубинштейн не называет эту бесконечность человека актуальной бесконечностью, но многократно возвращается к ее описанию различными способами. Например: «Человек, как говорилось, есть часть бытия, конечное сущее, которое является зеркалом Вселенной, всего бытия; он — реальность, в которой представлено идеально то, что находится за пределами этой конечности» (342). Обратим внимание на то, что здесь человек предстает как существо противоречивое: бесконечное (в нем представлено все бытие, за пределами конечности) и одновременно конечное («конечное сущее»). Это противоречие может существовать, может быть реализовано в наличном бытии лишь в форме развивающегося во времени, трансцендирующего, переходящего свои границы особенного, т.е. в форме потенциальной бесконечности.

И это трансцендирование также отмечено С.Л.Рубинштейном: «Своими действиями я непрерывно взрываю, изменяю ситуацию, в которой я нахожусь, а вместе с тем непрерывно выхожу за пределы самого себя. Этот выход за пределы самого себя не есть отрицание моей сущности, как думают экзистенциалисты (не все. — А.А.), это — ее становление и вместе с тем реализация... Отрицается только мое наличное бытие, моя завершенность, конечность» (341).

Актуальная бесконечность человека реализуется в наличном бытии в форме трансцендирования, т.е. потенциальной бесконечности (что делает наличное бытие раскрытым в будущее, полем творчества). Она имеет базой непосредственную связь человека (именно индивида!) с миром как целым (бесконечным!), что является основанием целостности самого индивида (как личности). В ин-

дивиде как частичном человеке она остается нереализованной или реализуется лишь частично, односторонне. Отсюда можно сделать предположение (оно подтверждается в непосредственном опыте) о существовании заключенной в индивиду бесконечной способности (энергии, силе и т.д.) трансцендирования, перехода всех конечных границ во внешнем мире и в себе. Причем, чем глубже рефлексия, т.е. осознание более глубоких слоев психики, внутреннего «Я» (вплоть до кантовского интеллигбельного «Я»), тем более расширенным оказывается трансцендирование, выход за границы наличного бытия, осознание своего единства с Миром как целым.

Когда-то, читая лекции, я для пояснения этого момента использовал, мне кажется удачно, аналогию с геометрическим представлением инверсии относительно круга на плоскости: точкам внутри круга ставятся во взаимнооднозначное соответствие точки плоскости вне его по правилу: через данную точку P_1 и центр круга O проводится прямая, и на ней от центра откладывается отрезок OP_2 , равный $\frac{R^2}{OP_1}$, где R — радиус, P_2 — точка, сопряженная (в некотором смысле сопряченная, отождествляемая) с P_1 . Точки P_1 и P_2 взаимно сближаются при приближении к окружности, а при приближении одной из них к центру круга, другая уходит в бесконечность, и наоборот: при удалении одной в бесконечность, другая стремится к центру. Остается представить себе, что круг — это Человек, его психика, а плоскость вне круга — внешний, окружающий человека Мир. Далее читатель сам может поиграть с этой моделью, помня только, что это лишь абстрактный и односторонний образ, облегчающий, но не заменяющий понимание одной из глубоких связей Человека и Мира.

Можно себе представить мои чувства, когда я читал следующие строки: «...в человеке, включенном в ситуацию, есть что-то, что выводит его за пределы ситуации, в которую он включен... Становление или становящееся соотносено с тем внутренним в человеке, что, в свою очередь, соотносится с чем-то внешним по отношению к ситуации, выходящим и выводящим за ее пределы; это внешнее по отношению к ситуации связано с внутренним по отношению к человеку» (338). С.Л.Рубинштейн почувствовал зависимость, которую я пытался представить при помощи аналогии с инверсией. Чем глубже интро-

спекция (рефлексия в форме созерцания), тем дальше продвижение к охвату Мира как целого, к универсальности и всеобщности. Следует отметить, что большинство как восточных, так и западных направлений психотренинга для получения психических состояний и переживаний единства с миром практиковали различные способы отключения индивида от восприятия наличной эмпирической действительности и погружения в глубины собственной психики. То же самое можно сказать о состояниях катарсиса, экстаза в религиозных, эстетических и других переживаниях, а также о современных экспериментах по измененным состояниям сознания.

Эта бесконечность, универсальность, потенциально заключенная в Человеке, отличающая его от животного (которое всегда видоспецифично), есть основная проблема антропогенеза и его Тайна. Бесконечность «просвечивает» (должна просвечивать! Иначе мы имеем дело с социальной или индивидуальной патологией) во всех формах отношения Человека к Миру, составляя внутреннее содержание личностного развития, трансцендирования. Позволю себе привести пример. Несколько лет назад на обсуждении работ по теме «Формирование нравственных отношений детей в совместной деятельности» я спросил, какое отношение авторы работ считают нравственным. Ответ был: «Отношение к другому как к себе и к себе как к другому!» Я возразил, сказав, что все больше появляется людей, реализующих эту формулу по принципу: «Вы говорите, что я дрянь? Правильно! Но ведь и другие не лучше», но можно ли это назвать нравственным отношением? И попытался пояснить, что нравственное отношение необходимо предполагает видение в другом и в себе положительной бесконечности. Например, христианство предписывало относиться к каждому человеку как к образу и подобию божьему, пусть искаженному, поруганному, но потенциально могущему быть проявленным, и мое отношение к нему должно способствовать этому проявлению.

Личностное развитие может быть понято как реализация индивидом своей потенциальной универсальности, бесконечности, как становление Человека в Индивиде. Можно было бы указать десятки крупнейших мыслителей, так понимавших личность. Например, при всем их различии, сходятся в этом Л.Фейербах, К.Маркс, Н.Бердяев, М.Бахтин, К.Домбровский, К.Роджерс (и

вся гуманистическая психология) и многие другие. В качестве примера сошлюсь здесь на теорию развития личности К. Домбровского, которую автор назвал «теорией позитивной дезинтеграции». Смысл названия состоит в следующем. Вначале индивид интегрирует себя в исходных конечных определенностях: наследственных особенностях, особенностях индивидуального и социального окружения и т.п. Однако «человек приговорен к развитию», к преодолению этой конечности. Поэтому в процессе нормального личностного развития происходит дезинтеграция, разрушение этих определенностей. К. Домбровский анализирует этапы этой дезинтеграции, показывает, что она сопровождается острыми внутренними конфликтами, отрицанием своего эмпирического «Я», невротами и т.п., но в целом является позитивной, определяющей развитие личности. На определенном этапе становится возможной «вторичная интеграция». Процесс в целом не завершен, бесконечен.

Понимание личностного развития как становления Человека в индивиде, как универсализации его отношений к Миру означает также понимание того, что всеобщность, универсальность могут реализоваться в индивиде, но не в социальности. Социальные формы (государство, класс, партия, профессиональные и любые другие конечные формы общности) всегда носят групповой характер и противостоят всеобщему. Всеобщее может нести в себе либо индивид как личность (в актуальной форме), либо род как человечество в его бесконечном развитии (в потенциальной форме). В эквивалентном отношении «Человек — Мир» Человек представлен личностью, а не социальностью. На этом, в частности, базируется теория социальных революций К. Маркса. Это ясно сознавалось многими людьми творческого плана, не только философами, но поэтами, писателями, филологами и т.д. Вот отношение к тому же вопросу А.П. Чехова в изложении А.П. Чудакова: «Общие взгляды, общая доктрина, объединяющая группы людей, не несут в себе, по Чехову, зерна исторического прогресса. Такое зерно заключает в себе лишь отдельная личность, свободная от догм своего клана»¹.

¹ Чудаков А.П. Поэтика Чехова. М., 1971. С. 265—266.

Считающая себя марксистской советская педагогика и психология, утверждая приоритет коллектива над индивидом или пытаясь вывести личность и ее свойства (например, нравственность) из социальности, следует, фактически, не К.Марксу, а Г.Гегелю. (Правда, от такого следования сам Гегель бы в ужасе открестился.) И здесь также С.Л.Рубинштейн в работе «Человек и Мир» оказывается за пределами этой плоской тупиковой концепции.

«Отсюда выясняется значение понятия личной жизни человека. Личная жизнь человека в таком понимании — это самое богатое, самое конкретное, включающее в себя как единичное многообразие, так и иерархию все более абстрактных отношений (в том числе и отношение к человеку как носителю той или иной общественной функции или как природному существу и т.д.). В своей конкретности она содержательнее, чем каждая из тех абстракций, которую из нее можно извлечь» (345). «Не каждый человек есть средство для счастья общества, а деятельность общества является средством, целью которого является благо каждого индивида...» (359). Человек вообще не может быть средством для чего бы то ни было: «Основным нарушением этической, нравственной жизни применительно к человеку в условиях общества является использование его в качестве средства для достижения какой-либо цели» (360). Нужно ли здесь говорить, что практически все советские педагогические сочинения безнравственны? И, наконец, подводя итоги, в «Заключении»: «Разбирая в онтологическом плане проблему существования, мы пришли к определению преимущества индивида как, во-первых, единичного и потому реального, которое существует само по себе, и, во-вторых, неповторимого, и в этом состоит незаменимая ценность индивида» (380).

§ 3. Непосредственность

Отношение «Человек — Мир», будучи всеобщим, универсальным, захватывает всего человека. Человек участвует в нем как целостный. В него включено не только (и даже не столько, как говорилось выше) его рациональное мышление, но вся его психика как целое (и только здесь она выступает как целое, а потому только здесь можно понять, что она такое, что такое психическое), весь строй его эмоций (включая эстетические, нравствен-

ные, любовь к миру, жизни, людям, религиозное благоговение и т.д.), все глубочайшие «этажи» его «Я».

И вот там, в глубине, он ощущает (именно ощущает, воспринимает как Тайну себя и Мира, а не рационально выводит) свою трансцендентность наличному бытию и свою сопричастность Миру как целому. Эта трансцендентность дана ему не в форме логического опосредования, вывода, а в форме непосредственного восприятия, минуя все внешне обусловленные конечные определенности (в том числе социальные). Именно так, через эту трансцендентность, происходит собственно человеческое, нравственное, личностное общение. Общаются не социальные маски, чины, звания, должности, знания и т.п., а именно личностные «Я» как таковые. Прекрасно пишет об этом М.М.Бахтин: «Исключительно острое ощущение другого человека как *другого* и своего *я* как голого *я* предполагает, что все те определения, которые облекают *я* и *другого* в социально-конкретную плоть, — семейные, сословные, классовые — и все разновидности этих определений утратили свою формообразующую силу. Человек как бы непосредственно ощущает себя в мире как целом, без всяких промежуточных инстанций, помимо всякого социального коллектива, к которому он принадлежал бы. И общение этого *я* с другим и другими происходит прямо на почве последних вопросов, минуя все промежуточные, ближайшие формы»¹. Понятна громадная роль непосредственных (рационально не опосредованных) форм восприятия, чувственности, ощущения, созерцания своего бытия в Мире. «Воспринять — значит, по существу, онтологизироваться, включиться в процесс взаимодействия с существующей реальностью, стать причастным ей» (281). Эта непосредственность в значительной степени утрачена современным человеком, растекшимся в телесно-вещном, «горизонтальном» измерении Мира. В этом одна из глубоких причин патологического развития психики (от неспособности любить мир и людей до терроризма и наркомании). Эта непосредственность остается необходимой основой собственно человеческого бытия. С.Л.Рубинштейн много пишет об этом: «В составе познания логический анализ обнаруживает под "покровом" понятий "окна", открытые в чувственно

¹ Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. С. 186.

данную реальность...» (310). «Приоритет чувственности перед мышлением — это и есть приоритет существования перед сущностью» (312). «...в форме непосредственного всегда заключаются не только результаты опосредствованного познания, но и бесконечно выходящее за ее пределы (трансцендентное), данное не эксплицитно, а только имплицитно» (320).

Последнее высказывание особенно важно. Трансцендентное дано не явно, не внешним образом, а внутренне присуще человеку. Именно поэтому возможно существование внутри человека того, что «соотносится с чем-то внешним по отношению к ситуации...» и т.д. Поскольку в данном случае ситуация может быть любой, единственная ее характеристика — принадлежность конечному наличному бытию, — выход за ее пределы есть выход в область, трансцендентную наличному бытию как таковому. Это, в свою очередь, означает, что эта область не может определяться наличным бытием, и, следовательно, психика не может быть «отражением объективной действительности». Это значит, что объективная действительность лишь проявляет некий спектр конечных форм (например, набор тех или иных способностей в зависимости от культурно-исторических условий) из бесконечно-неопределенного потенциального запаса индивида. Наличие этого запаса констатировалось мыслителями в течение тысячелетий. Источник его оставался, и в значительной степени остается и сейчас, проблемой, для научно-материалистического мышления крайне неудобной. В философии мы встречаем множество размышлений на эту тему. Здесь и врожденные идеи Платона, и третий вид познания Б.Спинозы, и априоризм И.Канта, и множество концепций интуитивного знания, и др. Многие творцы нового, в том числе и в науке, сталкивались с этой способностью человека и размышляли над ней. Большинство примеров этого общеизвестно. Я снова сошлюсь на высказывание Д.И.Блохинцева о разуме человека, оказывающемся «способным предсказывать возможные закономерности внешнего мира, с которыми он еще не имел случая встретиться в жизни. Не значит ли это, что наш разум посвящен в тайны мира, но не помнит, когда и где произошло это посвящение?...»¹

¹ Техника — молодежи. 1982. № 3. С. 20.

Итак, непосредственное восприятие Человеком своего взаимоотношения с Миром является свойством индивида, индивидуального «Я», индивидуального сознания. Оно может обладать всеобщностью, безмерностью, способностью в любой момент выходить в область актуальной бесконечности, сбрасывая как несущественные все определенности наличного бытия (в том числе социальные, что особо следует подчеркнуть для советских психологов и педагогов).

Движение в этом направлении связано с рефлексией, с глубокой интроспекцией (которую советская психология боится как черт ладана). Большая роль в этом принадлежит созерцанию. Деятельность непосредственно связана с трансцендированием и есть в той или другой степени проявление потенциальной бесконечности человека. Степень эта зависит от того, насколько в процесс вовлечена и осознана актуальная бесконечность. В противном случае деятельность обречена на вырождение в технологию, становится «дурной бесконечностью», обрекающей человека на экстенсивное растекание «по горизонтали» (в плоскости экстенсивно-вещного измерения Мира и Человека), на разрушение себя и окружающей природы. В этом случае она не может нести в себе «вертикаль» (интенсивно-духовное измерение Мира и Человека).

Важность созерцания в этом смысле подчеркивается многократно в работе «Человек и Мир»: «...должна быть указана опасность утрирования роли деятельности, которое свойственно бихевиоризму и прагматизму (и всей современной научной психологии. — А.А.)» (339). Я уже приводил цитату с той же 339 страницы, где говорится о постижении созерцанием всего мира как целого. А вот еще: «Такому прагматическому изничтожению действительности (имеется в виду выше указанное утрирование деятельности — «деятельностный подход». — А.А.) нужно противопоставить другое соотношение человека и бытия — приобщение человека к бытию через его познание и эстетическое переживание — созерцание. Бесконечность мира и причастность к нему человека, созерцание его мощи и красоты есть непосредственно данная завершенность в себе. Совершенство явления, увековеченное в своем непосредственном чувственном бытии, — это и есть эстетическое как первичный пласт души. Прекрасное в природе как выступающее по отношению к челове-

ку и чувство к нему как некая предпосылка затем формирующегося эстетического — таково содержание человеческого созерцательного отношения к миру» (339). Далее говорится об активности созерцания: «Величие человека, его активность проявляются не только в деянии, но и в созерцании, в умении постичь и правильно отнестись ко Вселенной, к миру, к бытию. Природа — не только объект созерцания, но она и не только продукт истории человечества, не только материал или полуфабрикат производственной деятельности людей» (340).

Я прошу читателя обратить внимание на язык этой цитаты. А вот еще более яркие примеры: «Внутреннее содержание человека включает все его богатство отношений к миру в его бесконечности — познавательное, эстетическое, отношение к жизни и смерти, к страданиям, к опасности, радости.

Как уже говорилось, в онтологии человека наличие не только действенного, но и познавательного, созерцательного отношения к миру составляет важнейшую характеристику человека... При рассмотрении отношения человека к человеку должна быть сохранена эта сторона его отношения к миру, которая и дает возможность понять и другую сторону отношения человека к человеку как к части одухотворенной части — природы, как к красоте, к существу определенной архитектоники, гаммы чувств, пластики и музыки позы и движений, мимики и пантомимики, взора, тембра голоса и мелодии речи и т.д. ...Эти связи с природой должны жить как *«подоплека» всего остального в его чувствах, его сознании, в его отношении ко всему на свете* (подчеркнуто мной. — А.А. Я также прошу читателя заметить, что отношение к миру дает возможность понять отношение к человеку)» (344). «Природа как стихийная сила, гроза, рокот моря, буря, природа как распускающиеся почки; цветение жизни, весна, нежность и тепло жизни, дети, связи родства, любовь к ребенку, женщине, к семье, к своим близким — любовь к ближнему в ее исходных формах — так по-разному выступает природа для человека.

...В красоте, в очаровании человека красотой — красотой природы, красотой человека, красотой женщины — происходит обратное отражение и просвечивание в непосредственно данном, чувственном всего того важнейшего, что человек может выявить в мире и в другом человеке, выходя мыслью за его пределы... человек, от-

чужденный от природы, от жизни Вселенной, от игры ее стихийных сил, не способный соотнести себя с ними, не способный перед лицом этих сил найти свое место и утвердить свое человеческое достоинство, — это маленький человек» (374). И последние строки работы: «Смысл человеческой жизни — быть источником света и тепла для других людей. Быть сознанием Вселенной и совестью человечества. Быть центром превращения стихийных сил в силы сознательные. Быть преобразователем жизни, выкорчевывать из нее всякую скверну и непрерывно совершенствовать жизнь» (381).

Я привел эти обширные цитаты, чтобы показать, что их язык, тон, внутренняя энергия утверждения выходят далеко за пределы строго научного, рассудочно-категориального стиля изложения. Здесь включаются эстетические и нравственные чувства автора. Язык становится образным, нагруженным глубоким (безмерным!) внутренним смыслом, для выражения которого понятийно-логические средства явно недостаточны. И происходит это потому, что отношение «Человек — Мир» целостно. Оно захватывает всю психику в целом, а не только мышление. Человек поражен созерцанием бесконечности в Мире и в себе, чувство причастности к ней воспринимается им как самое глубокое, интимное, как своя собственная трансцендентная сущность и одновременно сущность и основа всего. (Представление об этом может дать выражение: «Бог во мне глубже, чем я сам».) Это чувство свободы, радости, любви, благоговения (трудно перечислить его «параметры» и оттенки, тем более что в нем они не разделены) представляется мне основанием антропогенеза и истоком религии. Оно же должно быть основой («подоплекой», как выражается С.Л.Рубинштейн) всего в онтогенезе, в личностном развитии индивида.

Это непосредственно-целостное отношение трудно выразить в рациональных понятиях, но его наличие есть свидетельство выхода индивида, его чувств и мыслей в безмерность отношения «Человек — Мир», в область трансцендентную, область «всего того важнейшего, что человек может выявить в мире и в другом человеке, выходя мыслью за его пределы» (правда, здесь нужно снять слово «мыслью», так как выход осуществляется всем существом. — А.А.). А это «важнейшее» есть противостоящее вечному «духовное измерение» мира. А именно оно становится критерием оценки собственной жизни индивида.

его отношений и поступков. Тогда и происходит личностное развитие в собственном смысле слова.

Непосредственно данная Человеку в созерцании актуальная бесконечность напоминает ему о его месте и роли в Мире. Он должен вспомнить о своем «предназначении» (в некоторых эзотерических школах воспитания это называется «самовоспоминанием» или «пробуждением»). Оно становится критерием оценки и позицией, с которой он видит свои поступки, свою повседневную жизнь¹. Выход на этот уровень гораздо важнее для человека, чем общение с внешним, ограниченным наличным бытием:

Найдешь и у пророка слово.
Но слово лучше у него,
И ярче краска у слепца,
Когда отыскан угол зренья
И ты при вспышке озаренья
Собой угадан до конца².

Здесь выясняется глубокий личный смысл покаяния и могут родиться строки:

Что сделал я с высокою судьбою!
О боже мой, что сделал я с собою³.

Переживание актуальной бесконечности отражается в особой эмоциональной приподнятости речи. И потому язык С.Л.Рубинштейна, когда он говорит об этом, для меня есть еще одно свидетельство, что он, действительно, вышел в безмерность отношения «Человек — Мир», что всеобщность и непосредственная целостность этого отношения захватили его сознание и чувства, изменили его восприятие и видение Мира. И он сам прекрасно понимает, что это — Основание и Начало, рациональная разработка которого — последующий этап. Отсюда настаивание на восприятии, чувственности, непосредственной трансцендентности как основе (с таким же пафосом говорит об этом Л.Фейербах, да практически и все мыслители, которым довелось это испытать, при всем индивиду-

¹ См. об этом прекрасную статью В.Непомнящего «Пророк» — Новый мир. 1987. № 1.

² Тарковский А. Стихотворения. М., 1974. С. 58.

³ Там же. С. 40. См. также многие стихи Р.М.Рильке, А.К.Толстого, Ф.И.Тютчева, У.Уитмена и других. Поэзия особенно богата непосредственным выражением и описанием подобных состояний.

альном разнообразии форм этого восприятия от интеллектуальной интуиции Б.Спинозы до мистического видения М.Экхарта и Я.Беме. Сюда же можно отнести переживания «космического сознания»¹, феномены современной ЛСД-терапии, трансцендентальной медитации и т.д.).

Необходимо отметить еще один исключительно важный момент, связанный с созерцанием. Включение в психологию созерцания как диалектической противоположности деятельности создает то внутреннее напряжение мысли, которое не позволяет теории превратиться в догму, окостенеть. Появляется возможность движения и развития теоретической мысли, она становится самокритичной, способной к качественному преобразованию себя самой. Это также одна из причин, почему я считаю это направление в теоретической психологии не тупиковым, но перспективным, открывающим путь исследованию.

Заканчивая апологетическую часть статьи, мне хочется сказать, что я коснулся далеко не всего, что заслуживает быть отмеченным в новой позиции С.Л.Рубинштейна. Я совсем не затронул вопроса об онтологичности нравственного и эстетического отношений, об онтологичности и экзистенциальности истины и т.д. Рамки статьи, которая и без того грозит принять апокалипсические размеры, к сожалению, не позволяют это сделать.

Особенно жаль, что не удалось (это потребовало бы слишком много места) обсудить глубоко и интересно поставленную тему любви как утверждения человеческого существования в его неповторимой индивидуальности (369), как «прозрения и познания сущности другого человека» (370) и сравнить с этой же темой у М.М.Бахтина («любовь — свободный дар»).

Часть третья — критическая

§ 1. Непоследовательности и противоречия

Итак, С.Л.Рубинштейн в работе «Человек и Мир» вышел из отношения сознания и бытия к новому, более глубокому («исходному и более фундаментальному») основанию понимания человека, психики, личности. Это

¹ См. об этом: Бекк Р.М. Космическое сознание. Рига, 1936.

основание (отношение «Человек — Мир») открыто в бесконечность, связано с чувством трансцендентного, Тайны и своей причастности к этой Тайне. Этот выход означает также переворот в логике, в последовательности категорий мышления и в их содержании, а также в понимании места и роли мыслительных категориальных конструкций в процессе познания. Теперь все эти мыслительные построения определяются новым основанием. С.Л.Рубинштейн сам формулирует эту задачу как пересмотр всех основных категорий. И, как я пытался показать в апологетической части статьи, он, фактически, начал этот переворот, этот пересмотр.

Но здесь мы сталкиваемся в тексте работы с массой противоречий. Анализ, по крайней мере, основных из них — задача данной критической части. Начнем, на мой взгляд, с самого главного, в значительной степени определяющего все остальное. Сам С.Л.Рубинштейн, как мы видели, прекрасно понимает, что он вышел за пределы отношения сознания к бытию (духа к материи) в область более фундаментальную, по отношению к которой это отношение — всего лишь частное следствие, абстрактная сторона («Само это отношение является не исходным, а вторичным...»). Но ведь это означает, что и вопрос о том, какая сторона первична, какая вторична, в этом отношении тоже стал вторичным, производным, т.е. С.Л.Рубинштейн вышел и за пределы материализма и идеализма. Теперь материализм и идеализм сами превратились в частные случаи, более или менее удобные для анализа ограниченных задач. Для анализа вещных отношений, вещного измерения Мира и Человека (например, в области научного естествознания или политэкономии) имеет преимущества материализм, в то время как для понимания отношений духовного измерения Человека и Мира (например, нравственного, эстетического, личностного и т.п.) предпочтительнее идеализм, хотя оба остаются ограниченными и односторонними, не выражающими целостность ни Человека, ни Мира.

В области же «Человек — Мир» и Человек, и Мир имеют и то, и другое измерение (здесь точнее говорить не «сознание и материя», а «духовность» и «телесность», ибо понятия «сознание» и «материя» — абстракции от понятий «субъект» и «объект», а мы вышли за их пределы, и теперь «сознание» есть частный абстрактный

случай проявления «духовности», так же как «материя» — абстракция от «телесности»).

И вот С.Л.Рубинштейн, с одной стороны, прекрасно понимает это, многократно возвращаясь, как я показывал выше, к утверждению, что понимание Природы как материи фактически выбрасывает Человека из получающейся картины мира. С другой стороны, он, по-видимому, искренне считает, что остается в рамках материализма, во всяком случае пытается связать новые представления с материалистической позицией. При этом сама эта позиция расплывается до утери почти всякой логической определенности, а кроме того, в тексте работы появляется множество отрицающих друг друга утверждений.

Я должен признаться, что много раз пытался понять логику взаимоотношения категорий «сущее», «бытие», «материя», «сознание» из рассуждений С.Л.Рубинштейна в «Части I» работы, но каждый раз, когда мне казалось, что я что-то понял, дальнейшее чтение разрушало это понимание. Может быть, это можно отнести на счет моей недостаточной способности понимания, но так как я могу исходить только из нее, то пытаюсь все же изложить свои соображения. Понятие «бытие» С.Л.Рубинштейн считает более широким, чем понятие «материя», включающим также и понятие «сознание». Неясно, совпадает ли «сущее» с «бытием» или нет, во всяком случае, оно, как и «бытие», не может быть сведено к объективной реальности (260, 275 и др.). Поскольку «бытие» существует не только как объект физики, но и как природа в ее философском, историческом и эстетическом понимании» (29), также остается не ясным, совпадает ли с «сущим» и «природа», хотя понятно, и С.Л.Рубинштейн многократно это утверждает, что «природа» также не может быть сведена ни к «движущейся материи», ни к «объективной реальности».

С одной стороны, как мы видели, «человек должен быть включен в состав бытия» (276), а с другой, бытие — «это факт существования человека и бытия, как факт "встречи" одного сущего с другим», и это «два различных вида сущего» (273).

Можно было бы продолжать критически анализировать эти попытки сохранить материализм, но я избавлю от этого читателя, тем более, что считаю эту сторону работы «Человек и Мир» не очень существенной для общей оценки ее значения. Более интересно для меня

представить субъективную сторону ситуации, в которой оказался С.Л.Рубинштейн, состояние его ума.

Когда С.Л.Рубинштейн, со своей новой точки зрения, критикует идеализм, то в большинстве случаев с ним можно согласиться. Но он как-то стесняется сказать, что такого же рода аргументация может быть обращена и против материализма. Он отвергает материализм «Материализма и эмпириокритицизма» (не называя, впрочем, само это произведение), но в то же время не может расстаться с материализмом как таковым, вернее, с термином и связанным с этим термином привычным «букетом» других терминов и понятий. По существу, он уже расстался с материализмом и идеализмом, шагнув в отношении «Человек — Мир». Я очень хорошо понимаю смятение его рационального мышления, выброшенного из привычного строя привычных категорий, когда еще не найден новый понятийный язык для выражения совершенно нового (и бесконечного!) содержания и приходится «вливать новое вино в мехи старые».

Эти «старые мехи» тащат за собой груз привычных содержаний, толкований и ассоциаций. Например, С.Л.Рубинштейн хорошо понимает, что человек не только субъект (познания и деятельности), что природа не объект, но все же сохраняет термины «субъект» в отношении человека и «объект» в отношении мира, которые несут в себе традиционное для новоевропейского рационализма содержание, что затрудняет рациональное понимание его новой позиции как для него самого, так и для читателя. (Нужно отметить, что в том же значении эти же термины сохраняет и М.М.Бахтин, и, мне кажется, напрасно.) Субъект и объект и исторически, и логически определяются в их противостоянии друг другу. Объект есть «то, что противостоит субъекту, на что направлена его предметно-практическая и познавательная деятельность» (Философская энциклопедия. Т. 4. М., 1967. Ст. «Объект». С. 123). В этом противостоянии речи не может быть о причастности, единоприродности, Тайне и т.п. Наоборот, в плане этого противостояния Европейское Просвещение развило идеи о борьбе человека с природой (проникшие и в совершенно неверные, с моей точки зрения, научные представления об антропогенезе и о происхождении религии), о покорении природы («мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача») и т.п. Узость и односторонность

этих идей была ясна многим мыслителям теоретически, а практически бездумное следование им поставило человечество перед современными экологическими проблемами.

Человек, конечно, Хозяин природы, но не в смысле ее эксплуататора, а как ее понимающий и несущий нравственную ответственность за сохранение и совершенствование в ней (а следовательно, и в себе) всего живого и прекрасного.

Наряду с формулой «внутренние причины через внешние условия», С.Л.Рубинштейн продолжает употреблять и старую: «внешние причины через внутренние условия».

Утверждая преимущества индивида перед обществом и социальностью (что общественные отношения индивида — лишь часть его безмерно богатых отношений с миром), он в то же время пытается сохранить формулу «сущность человека — совокупность общественных отношений» (343), как будто он забыл собственную иронию над ней (256—257 относительно ведомства исторического материализма, см. выше). Эта формула противоречит и основной его идее, многократно им повторяемой, об укорененности человека в его отношении к миру, к природе как целому, о том, что это отношение есть «подоплека» всего остального в нем. И т.д.

Все это также вызывает массу противоречий в тексте и недоумений у читателя (см., например, 343—345, 370—371 и др.). Разбор этих противоречий, может быть, был бы очень поучительным, тем более, что объективно они отражают столкновение логики нового основания с логикой старого. Но я не стану их анализировать. По двум причинам.

Во-первых, новое основание, к которому пришел Сергей Леонидович, имплицитно содержит свою логику, и потому все эти противоречия несущественны, это только «скорлупа», освобождение от которой — лишь вопрос времени, нужного для понимания и рациональной разработки уже найденного. Времени, которого судьба Сергею Леонидовичу, к сожалению, не оставила.

Во-вторых, в критической части статьи для меня важнее констатировать субъективную сторону ситуации создания работы «Человек и Мир» как этап духовно-личностного развития автора, его внутренней борьбы и судьбы.

Поэтому я скажу несколько слов лишь о логике обсуждаемой работы, и опять-таки не в плане анализа тех

или других логических ходов (в философии как метафизике они играют хотя и очень важную, но все же служебно-инструментальную роль), а в плане субъективно-личностном, в попытке представить общее «состояние ума» автора.

§ 2. Логика

Итак, речь идет не о логических ходах, а о логике в целом, можно сказать, о типе логики. Какое место рациональная логика может занимать в отношении «Человек — Мир», принятом как основание философско-психологического теоретического исследования? Если это отношение может быть выражено в логике, то какова должна быть эта логика? Что можно, в этом случае, сказать о логике работы С.Л.Рубинштейна?

Отказ от рациональности, проповедуемый многими современными «учениями», снискал популярность у части интеллигенции, справедливо полагающей, что современный homo scientificus, продавший свое первородство за чечевичную похлебку науки и технологии, теряет собственно человеческие качества. Однако следует сказать, что этот отказ представляет собой такой же (но «обратным знаком») тупик, как и подчинение рационально-вещному знанию и научной технологии. Опасность такого отказа от рациональности, от разума состоит в том, что сильнейшие и представляющиеся бесконечно ценными эмоции и переживания, не будучи контролируемы рационально-критической рефлексирующей силой разума, могут увести индивида в сферы, отнюдь не способствующие его личностному духовному развитию. Тогда это становится своего рода опьянением, чем пользуются различные «гуроиды», подчиняя и разрушая личность человека в своих корыстных целях.

В христианстве, чтобы таким образом не попасться в лапы темных сил, предписывалось критически относиться к состояниям экстаза и видениям, быть в состоянии «трезвения».

Разум (не путать с рассудком, рационально представляющим вещные отношения) есть инструмент критики (в том числе и материала созерцания), а тем самым основание ясного видения существующего, а также основание трансцендирования сознания и самосознания. Он является единospасающим от подчинения всяким социально-де-

терминированным идеологиям и соответствующей массовой пропаганде.

Кроме того, никто не освобождал человека от рационально-критического объективного отношения к себе и миру, обеспечивающего успешность его действия и мышления, в том числе и в системе вещных отношений, так же как и от самих этих объективно существующих отношений. У Мира есть и эта (представляемая рассудком) объективная вещная сторона. И разум здесь необходим, чтобы не оказаться в подчинении у этой стороны, найти ее место и определить границы (а следовательно, и границы рассудка). И потому человек должен строить и теорию личности, и теорию мира. Речь может идти лишь о том, чтобы понять, в каких границах может и должно работать рационально-логическое мышление, как научно-вещное (рассудочное), так и более глубокое — диалектическое. Настоящая статья — не место для обсуждения этого сложного вопроса. Скажу лишь о том, что новое теоретическое основание (любой теории, от естественно-научной до философской) не может быть ни логически выведено, ни доказано, ни проверено практически. Оно либо принимается интуитивно готовым к этому умом, либо не принимается. Оно подтверждает свое право на существование тем, что при его логической разработке и выведении из него следствий среди этих следствий оказывается то, что прежде служило основанием, а также эмпирия, как уже известная, так и долженствующая быть открытой.

Что касается отношения «Человек — Мир», включающего всю безмерность духовно-эмоциональной жизни человека, то его целостность (как и целостность личности) не может быть отражена ни в какой теории. Логико-теоретические экскурсы и конструкции могут здесь играть лишь роль «вылазок», практически работающих в тех или других ограниченных областях человеческого бытия, с обязательным возвращением к основанию с целью коррекции и обновления. По выражению К.Маркса, целое должно непрерывно «витать» в уме исследователя.

Поэтому можно говорить лишь о большей или меньшей схематичности и приблизительности отображения отношения «Человек — Мир» в той или другой логике. Здесь мне кажется наиболее подходящей (хотя тоже ограниченной) диалектическая логика, понятая как логика органических систем. Не вдаваясь в подробности, отме-

чу, что, с ее точки зрения, мир выглядит как иерархия саморазвивающихся систем различных порядков. Каждая из систем обладает внутренней самостоятельностью в функционировании и управлении собой и системами более низкого порядка. В то же время как целое она сама является управляемой подсистемой системы более высокого порядка. Господствует детерминация не от частей к целому, а от целого к частям. Это означает, что основное направление и реального развития, и отображающего его логического движения есть конкретизация первоначально простого диффузного целого.

Это также означает, что, признав «преимущества индивида» (потенциально, а в имплицитной форме и актуально всеобщего) перед социальностью (всегда частичной, ограниченной), мы должны признать, что его социальная детерминация есть ограниченная (в пространстве и времени в том числе), «превращенная форма», делающая из него «частичного человека».

Мы не имеем права редуцировать человеческое к биологическому и социальному, ибо человеческое в данном случае первично (и логически, и, заметим это особо, исторически, что заставляет буквально «перевернуть» картину антропогенеза, принятую в науке).

И здесь остается не совсем ясным, какое отношение для индивида С.Л.Рубинштейн полагает основным и первичным: отношение к Миру, отношение к другому человеку, отношение к обществу (оно же для него отношение к социальности, социальное отношение). Этот вопрос мне представляется настолько важным, что я позволю себе, хотя бы очень коротко, все же сказать о нем.

Отношение «Человека — Мир» для личности выступает как «Я — Мир». И здесь очень важно, как представлен Мир. Если он полагается как безличное Начало (как во многих восточных учениях или, например, у Гегеля в форме Абсолюта), то и в индивиде личностное «Я» должно быть признано чем-то вторичным, эфемерным, а Мир выступает для индивида в третьем лице (оно или Он). Если Начало Мира представляется личностным (а это происходит, когда индивид ощущает эту личностность как свою собственную основу, как это было, например, в христианстве), тогда Начало Мира выступает во втором лице как «Ты», с которым возможно (и необходимо!) войти в индивидуально-личностное общение.

Отсюда вытекает, что первичным для личности отношением является «Я—Ты»¹, где всеобщности «Я» соответствует бесконечное, трансцендентное «Ты», «Я» и «Ты» оказываются эквивалентны и равны именно как причастные этой трансцендентности, одновременно бесконечно отличаясь друг от друга в плане наличного эмпирического бытия. Попытка установить это равенство не в трансцендентной области, а в области наличного бытия приводит к нивелировке, обезличиванию и т.п. со всеми вытекающими последствиями (также и формулами: «Я — дрянь, но и другие не лучше» и «незаменимых людей нет»).

Из первичности «Я — Ты» следует первичность монотеизма. Политеизм может быть результатом деградации, либо, как в некоторых религиях прошлого, существовать для увлеченной интересами наличного бытия толпы, в то время как посвященные поклонялись Единому. В свое время Эхнатон сделал попытку ввести монотеизм для всех египтян, но потерпел неудачу. (Возможно, примитивный политеизм некоторых народов, которые принято считать недоразвившимися, социально отсталыми, на самом деле показатель, что они — боковые деградирующие ветви родового дерева «Человек».)

«Мы» появляется в отношении «Я — Ты» не на стороне «Ты» и не путем суммирования эмпирического «Я» с эмпирическими «Ты», а как дифференциация, саморасчленение первоначально синкретического, еще личностно не обособленного «Я» в процессе филогенеза личности. При этом личностно полноценное, духовно насыщенное «Мы» (не рабское, не холопское, не родо-племенное, не национальное, не партийное, не замятинское, — вообще не групповое, а общечеловеческое) формируется как эквивалентное такому же «Я» (следовательно, такому же «Ты», «Я» и «Ты» эквивалентны) при условии бесконечного, трансцендентного содержания этого «Я». Такое «Мы» объединяет.

При отсутствии личностного трансцендентного содержания в отношении «Я—Ты» возникает только групповое «мы». Такое «мы» всегда есть утверждение частичности («частичного человека»), усиленное количественно за счет числа членов группы. Оно направлено против

¹ В своеобразной и интересной форме отношение «Я—Ты» разрабатывалось М. Бубером в его «Я—Ты философия».

личностного обособления и развития индивида (как, впрочем, и всякая социальность). Иногда индивид и сам для себя считает «быть как все» высшей добродетелью, обретая в этом (часто бессознательно) ощущение безопасности, устойчивости и силы. (Интересно в этом отношении сравнить Запад, Восток и Россию. Я не могу касаться этого в данной статье, обращаю лишь внимание читателя на японский «группизм».) Групповое «мы» противостоит всеобщему, разъединяет. Поэтому если принять первичным отношение «Я — социум» или «Я — общество», то невозможно выйти за пределы ограничено-группового, ни о какой актуальной бесконечности здесь не может быть и речи.

Групповое «мы» всегда морально и всегда безнравственно.

Этот вопрос связан также с эстетическим и нравственным отношением к Миру. С.Л.Рубинштейн считает первичным эстетическое отношение («первый пласт души»), на базе которого затем развивается нравственное. Мне этот вопрос представляется сложной и глубокой проблемой, которой я, опять-таки, не могу касаться в этой статье. Отмечу лишь, что первичность эстетического характерна в целом для Востока, в то время как христианство настаивало на первичности, а иногда фанатически и на единственности, нравственности. Впрочем, на деле любой фанатизм только морален. С нравственностью он несовместим, он — ее непримиримый враг.

Однако диалог с Сергеем Леонидовичем — дело увлекательное, а статья, между тем, разрастается. Мне кажется, что он вполне понимал, какой логики требует его новая позиция (это видно по тексту), но эта логика еще не стала для него полностью своей. Я хорошо это понимаю, так как сам пережил в свое время то же самое. К 1968 г. я уже понимал логику и связи отношения «Человек — Мир». Тем не менее в упомянутой выше статье 1969 г. «Взаимоотношение науки и нравственности» я в значительной степени пользовался старой терминологией. А когда рассматривал противоположность нравственности (как всеобщей) и морали (как социально-ограниченной), то пытался найти основание нравственности в культурно-историческом процессе, хотя уже понимал, что это основание «не от мира сего», т.е. трансцендентно наличному бытию и эмпирической истории. И высказал

это в тексте той же статьи, но не нашел еще адекватного выражения связи нравственности с актуальной бесконечностью. Я тогда еще не освободился от «прельщения культуры» и «прельщения истории» (Н.А.Бердяев)¹. Дело в том, что новое основание и логика, в какой я должен был бы рассуждать, не были мною достаточно освоены и осмыслены, можно даже сказать «обжиты», чтобы войти в мой философско-теоретический обиход.

И наконец, последнее замечание. Содержание нового основания развернуто С.Л.Рубинштейном во II части работы; часть I посвящена категориально-логическому анализу, который должен как бы логически подвести читателя к части II. Но на самом деле это невозможно, и сам автор, конечно же, вначале совершил интуитивный шаг к этому новому основанию, а затем уже занялся историко-философским и логическим анализом. Поэтому в действительности II часть имплицитно присутствует в его I части: II часть есть фактически реальное основание (на базе старого основания, разрабатывавшегося, например, в «Бытии и сознании», просто не могли бы возникнуть суждения и проблемы, о которых идет разговор). Таким образом, внешний план работы, ее внешняя демонстративная логика противоречит реальному движению мысли автора, т.е. ее внутренней логике. Назвав работу «Человек и Мир» и считая, что человек становится началом всей системы координат, С.Л.Рубинштейн в изложении принял порядок «Мир и Человек», о чем сказал в начале части II: «Если в первой части книги речь шла о мире в соотношении с человеком, то теперь речь пойдет о человеке в соотношении с миром» (327) (подчеркнуто мной. — А.А.).

В заключение критической части хочу сказать, что она написана не с целью уличить Сергея Леонидовича в непоследовательности, а исключительно для того, чтобы раскрыть тот этап развития его личности и мысли, на котором он находился, когда писал текст, опубликованный в 1973 г. Сделанный им шаг принципиально столь важен, что недоработки, оставшиеся вследствие недостатка времени, сами по себе объективно несущественны.

¹ См.: Бердяев Н. О работе и свободе человека. Париж, 1939.

Часть четвертая — профетическая

§ 1. Граница

Назвав эту часть статьи профетической, я тем самым взял на себя смелость говорить о возможном будущем как работы «Человек и Мир», так и психологии в целом. Понятно, что это могут быть лишь мои субъективные предположения. Тема столь обширна, накопившийся за десятилетия молчания материал так велик, что страшно даже за него браться. Состояние нашей философии и психологии трудноописуемо, требует много места и дара М.Е.Салтыкова-Щедрина. Поэтому я попробую максимально ограничиться, хотя и опасаясь, что при этом не все может оказаться достаточно понятным.

Начну с попытки найти место для работы «Человек и Мир» в спектре типов мышления, представленных четырьмя хорошо известными советскому читателю авторами. Передо мной лежат их работы:

Б.Г.Ананьев. «О проблемах современного человекознания» (М., 1977). А.Н.Леонтьев «Деятельность, сознание, личность» (М., 1975). С.Л.Рубинштейн «Человек и Мир» (в кн. «Проблемы общей психологии». Второе изд. М., 1976). Эти три работы написаны авторами в конце жизни и представляют собой итоги деятельности каждого. Четвертая — М.М.Бахтин. «Эстетика словесного творчества», сборник работ автора разных лет с 20-х по 70-е годы.

Расположенные в таком порядке, как я их назвал, они, мне кажется, позволяют последовательно представить части этого спектра, начиная от мышления Б.Г.Ананьева, полностью находящегося в плену научно-вещного видения Мира и соответствующей логики, до свободной, находящейся по отношению к вещиности в позиции «вне-находимости» мысли М.М.Бахтина.

Книга Б.Г.Ананьева написана в 1967—1971 гг., изда-на посмертно. С первых же ее страниц поражает односторонность мышления автора и чисто сциентистски-вещный подход к человеку. Человек для него «предмет (!) воспитания»¹. «Принципиально новые возможности научного изучения человека открылись с возникновением

¹ Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М., 1977. С. 5.

биофизики (включая молекулярную биофизику), биохимии и современного моделирования в биологии»¹. Кибернетический подход «проложил пути математизации антропологии»². «Применяемые в человекознании методы современной математики следует полностью использовать для интеграции всех знаний о человеке и их приложений в системе единой и общей теории, охватывающей все возможные аспекты изучения человека»³.

Параграф «Философское обобщение знаний о человеке и интеграция научных дисциплин» демонстрирует поразительное философское невежество автора, в котором, впрочем, он не виноват, поскольку знаком с философией по нашим учебникам, курсам и произведениям «корифеев». Лозунги, примитивная фразеология, перемешанные с кибернетическим подходом, «строгим анализом», «выявлением алгоритмов поведения» и т.д., составляют основное содержание параграфа. Только философской неграмотностью можно объяснить утверждения, подобные следующему: «Обратное влияние практической деятельности человека на развитие его мозга и сознание было *впервые* открыто марксизмом»⁴ (выделено мной. — А.А.). Ну, конечно же, до марксизма-ленинизма человечество пребывало в темноте и невежестве, а потому все впервые! Это напоминает мне слова О.Лепешинской в ее брошюре, изданной еще в 50-х годах: «Вот уже сотни тысяч лет идет борьба между материализмом и идеализмом». (Видимо, неандертальцы-идеалисты боролись с неандертальцами-материалистами.)

Заканчивает книгу Б.Г.Ананьев короткой главой «Будущее психологии». Здесь он объявляет спекуляцией мнение Дж.Томпсона, что «психология не принадлежит к числу точных наук»⁵, и надеется на открытие психических свойств, состояний и процессов, что обеспечит «создание научной основы проектирования личности»⁶ (прямо по «Новому бравому миру» О.Хаксли!). Надо ожидать, что в результате такого проектирования получатся «ревностные роботы» (Ч.Р.Миллс).

¹ Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. С. 8.

² Там же.

³ Там же. С. 13.

⁴ Там же. С. 29.

⁵ Там же. С. 364.

⁶ Там же. С. 370.

Противоположный полюс предлагаемой экспозиции представлен М.М.Бахтиным. Здесь ощущение метафизической глубины и мудрости, дыхания бесконечности. М.М.Бахтин прекрасно видит и чувствует бездонность и безмерность взаимоотношения личностного «Я» и Мира, а также неорганичность, вещный характер научного мышления и неприменимость его к человеку как целому, к личности. «Безличная система наук (и вообще знания) и органическое целое сознания (или личности)»¹. «Точные науки — это монологическая форма знания: интеллект созерцает вещь и высказывается о ней... Но субъект как таковой не может восприниматься и изучаться как вещь...»². «Два предела мысли и практики (поступка) или два типа отношения (вещь и личность)»³. «Полное, предельное овеществление (к чему так стремится Б.Г.Ананьев. — А.А.) неизбежно привело бы к исчезновению бесконечности и бездонности смысла (всякого смысла)»⁴. «Универсализм смысла, его всемирность и всевременность»⁵. «Определение субъекта (личности) в межсубъективных отношениях: конкретность (имя), целостность, ответственность и т.п., неисчерпаемость, незавершенность, открытость»⁶. «Великое дело для понимания — это вненаходимость понимающего — во времени, в пространстве, в культуре — по отношению к тому, что он хочет творчески понять»⁷.

Наверное, достаточно цитат. Мое отношение к М.М.Бахтину читатель поймет, если я скажу, что мне хочется процитировать всю книгу. По ее чтению у меня всегда возникает глубокое положительное чувство причастности к бесконечной Тайне, к моему собственному истоку, чувство радостного покоя, и я понимаю веру Д.И.Блохинцева «в благонамеренность Вселенной по отношению к человеку». Хочется лишь отметить параллель: у С.Л.Рубинштейна прекрасное — это *завершенное*, и у М.М.Бахтина в ранней работе «Автор и герой в

¹ Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 351.

² Там же. С. 363.

³ Там же. С. 370.

⁴ Там же. С. 364.

⁵ Там же. С. 350.

⁶ Там же. С. 343.

⁷ Там же. С. 334.

эстетической деятельности» *завершенность* образа героя и его судьбы — неперенное условие художественности и эстетической ценности. Это есть «дар» автора герою (само отношение автора к герою вполне сознательно строится М.М.Бахтиным по аналогии с отношением христианского Бога к человеку).

Но позже, при анализе романов Ф.М.Достоевского, М.М.Бахтин переходит к более глубокому пониманию этого отношения как эквивалентного, и завершенность снимается в принципиальной *незавершенности* углубляющегося диалога, в котором выясняется бездонность понимания и смысла, открывается безмерность человека и бесконечность «духовного измерения» его и Мира.

Итак, концы нашего «спектра» обозначены. Он не может быть непрерывным, поскольку здесь новое *целостное основание* сменяет старое, а органическое целое не может возникать по частям, но лишь сразу как целостность. И следовательно, в нашем «спектре» где-то между Б.Г.Ананьевым и М.М.Бахтиным есть разрыв, граница, которая может быть преодолена лишь сразу, одноактно. Где она?

Если взглянуть с этой точки зрения на книгу А.Н.Леонтьева «Деятельность, сознание, личность», то, на мой взгляд, сразу следует отметить, что она гораздо глубже, интереснее, проблематичнее, содержательнее, наконец, человечнее, чем ананьевская. Но она не совершает требуемого одномоментного, тотального перехода границы. Вскоре после выхода в свет книги А.Н.Леонтьева она обсуждалась на теоретическом семинаре Института общей и педагогической психологии АПН СССР. Порученный мне доклад я начал, сказав, что Алексей Николаевич очень умный человек, гораздо умнее своей книги. Я имел в виду, что А.Н.Леонтьев, будучи талантливым и тонким психологом, интуитивно схватывает интересные проблемы и увлекательно, живо о них рассказывает. Но беда в том, что он считает себя обязанным рассуждать «научно и философски», связывая эти проблемы с определенными догмами, считающимися необходимыми следствиями того самого марксизма-ленинизма, о котором я говорил. И мы снова оказываемся в плену теории отражения и деятельностного подхода: «Ведь психология — это конкретная наука о возникновении и развитии отражения человеком реальности, которое происходит в его деятель-

ности...»¹. «Понятие *отражения* является фундаментальным философским понятием. Фундаментальный смысл оно имеет и для психологической науки. Введение понятия отражения в психологию в качестве исходного положило начало ее развитию на новой марксистско-ленинской основе»² (этой «новой» основе — теории отражения — по меньшей мере, 200 лет. — А.А.).

Относительно проблемы восприятия говорится: «Новые в этом отношении перспективы открывает внесение в психологию категории психического отражения, научная продуктивность которой сейчас уже не требует доказательств (сильно сказано! На самом деле, несостоятельность теории отражения была выявлена уже в немецкой классической философии конца XVIII — начала XIX в. — А.А.)... внесение категории отражения в научную психологию необходимо требует перестройки всего категориального ее строя. Ближайшие проблемы, которые встают на этом пути, суть проблемы деятельности, проблемы психологии сознания, психологии личности»³.

А.Н.Леонтьев считает, что невнимание к философско-методологической стороне дела приводит психологов к тому, что между эмпирическими исследованиями и фундаментальными проблемами психологии «...образуется своеобразный вакуум, в который стихийно втягиваются концепции, порожденные взглядами, по существу, чуждыми марксизму»⁴.

Итак, во-первых, предлагается перестроить психологию на базе теории отражения, которую А.Н.Леонтьев приписывает К.Марксу.

Во-вторых, он озабочен тем, чтобы сделать психологию марксистской (опять же в плане интерпретации К.Маркса нашими учебниками и курсами). А если туда «стихийно втягиваются» другие концепции, то почему бы не поставить вопрос о большей плодотворности именно этих концепций? Ведь поиск истины и подгонка мысли под заранее сформулированные догмы абсолютно не совместимы.

¹ Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. М., 1975. С. 52.

² Там же. С. 48.

³ Там же. С. 72.

⁴ Там же. С. 8.

Именно эта подгонка и обесценивает, сужает, заводит в тупик идеи, к которым А.Н.Леонтьев интуитивно приходит. И здесь его философско-логическая рыхлость и непоследовательность играет положительную роль: будь он последовательнее, он душил бы их в зародыше. А так он, в отличие от Б.Г.Ананьева, мыслит свободнее и раскованнее и даже высказывает идеи, которые могли бы при их развитии привести к смене основания (отношения «субъект — объект»). Но догма держит, развития не происходит, и эти мысли остаются отдельными экскурсами с возвратом назад. Можно сказать словами В.Маяковского, что А.Н.Леонтьев «наступал на горло собственной песне», сам до конца этого не осознавая.

С.Л.Рубинштейн, по сравнению с А.Н.Леонтьевым, несравненно философски и логически строже (сказывается основательная философская культура), но именно это часто делает его рассуждения в работах, предшествовавших «Человеку и Миру», более сухими и жесткими. Принятые предпосылки (например, ту же теорию отражения) он доводит до их логического конца, такого, который не принял бы А.Н.Леонтьев (и был бы прав!). У С.Л.Рубинштейна до «Человека и Мира» тоже есть выходы за пределы сознательно принятых исходных посылок, но, в отличие от А.Н.Леонтьева, он прекрасно понимает, что согласовать их с этими предпосылками невозможно. Например: «В классовом обществе и в обществе сословном человек сплошь и рядом так срастается со своим общественным положением, что, забывая о своей человеческой сущности, он вне этого положения не может себе представить самого себя: утрата общественного положения представляется крахом самой личности»¹. «Способность, вырабатываемая в ходе жизни у некоторых людей, осмыслить жизнь в большом плане и распознать то, что в ней подлинно значимо, умение не только изыскать средства для решения случайно всплывших задач, но и определить самые задачи и цель жизни так, чтобы по-настоящему знать, куда в жизни идти и зачем, — это нечто, бесконечно превосходящее всякую ученость, хотя бы и располагающую большим запасом специальных знаний, это драгоценное и редкое свойство — мудрость»².

¹ Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 1940. Цитируется по второму изданию. М., 1946. С. 681.

² Там же. С. 682.

Подобных высказываний у С.Л.Рубинштейна можно найти много, но они существовали как бы обособленно от собственно теоретических психологических построений и наряду с ними. Характер этих высказываний показывает, на мой взгляд, особую чувствительность Сергея Леонидовича к духовной сфере жизни (нравственной, эстетической и т.п.), составляющей основу целостного отношения «Человек — Мир». Поэтому мне кажется, что именно осознание этой обособленности создавало то внутреннее напряжение, «метафизическую тоску», которые и привели, в конце концов, к тотальному отрицанию старого теоретического основания и всего прежнего видения мира. Это было освобождение из плена, и об этом свидетельствует весь характер работы «Человек и Мир».

Таким образом, искомая граница в нашем «спектре» проходит между А.Н.Леонтьевым и С.Л.Рубинштейном как автором «Человека и Мира», причем предшествовавшие «Человеку и Миру» работы С.Л.Рубинштейна относятся к области до перехода границы.

Переступив эту границу, С.Л.Рубинштейн отделил себя практически от всей советской психологии и философии как общественно признанных сфер деятельности. Я знаю некоторых философов, также переступивших эту границу, вышедших в онтологическую сферу бытия Мира и Человека, но они не отмечены философской общественностью, чинами и званиями, а соответствующие их работы не публиковались. Что касается советской психологии, я не знаю, кроме С.Л.Рубинштейна, ни одного психолога, переступившего указанную границу, и потому направление, открываемое произведением «Человек и Мир», мне представляется пока единственным, выводящим из тупика, открывающим новые возможности исследования.

§ 2. Судьба

Подводя итоги размышления о работе «Человек и Мир», мне остается сказать, как я понимаю и судьбу ее автора, и судьбу самой работы. Судьба Сергея Леонидовича представляется мне одновременно трагической и счастливой.

Трагической, во-первых, потому, что крупные советские психологи его поколения относились к нему, мне кажется, холодно и настороженно, в чем немалую роль сыграла его склонность к теоретическому философскому

мышлению, культура этого мышления и требование додумывания до конца принятого исходного основания: считаете себя сторонниками теории отражения — примите ее следствия, а не кидайтесь в стороны, не выкручивайтесь, не придумывайте «опережающее отражение» (отражение того, чего еще нет!). Он должен был чувствовать себя среди коллег одиноким. И не столько потому, что они не принимали его, а скорее потому, что он сам был далек от них. Его мышление в целом протекало на уровне большей глубины и общности.

Кроме того (позволю себе высказать такую гипотезу), это одиночество усугублялось тем, что Сергей Леонидович, как мне кажется, был не только чужд своим коллегам по профессии. Он также был внутренне отстранен от большинства окружающих его людей всем строем своего мировосприятия. В плане его наличного бытия просвечивал другой, более высокий план, несущий ощущение трансцендентности, актуальной бесконечности. Мне почему-то кажется, что в этом он был чем-то похож на Ф.И.Тютчева. Когда этот другой план осознается как тотально определяющий все остальное, происходит прорыв и появляется идея написания «Человека и Мира».

Во-вторых, этот прорыв, тотальный переворот в его миропонимании и мироощущении произошел незадолго до его кончины, и он не успел пожить достаточное время в новом состоянии и видении мира, не успел и разработать его как основание теоретической психологии. Это было только начало.

Счастливым, потому что этот переворот все же совершился, а приносит он с собой столько, что, как говорится, «игра стоит свеч», и случается в нашу технологическую эпоху столь редко, что его осуществление нужно считать большим счастьем. Несмотря на то что он, как и А.Н.Леонтьев, долгое время «наступал на горло собственной песне», его «песня», в конце концов, обрела свободу. Настоящий мыслитель, как и настоящий поэт, не имеет права «наступать на горло собственной песне» (тем более, что это успешно делают за него другие). Как заметил Л.Пастернак в «Охранной грамоте», фактом своего самоубийства В.Маяковский доказал, что он был настоящим поэтом.

Передо мной прошли примеры способных философов, совершавших такое предательство самого себя и того дара, которым они обладали как философы. Неза-

висимо от того, происходило ли это невольно (из страха, недостатка мужества, неспособности сопротивляться застью прохиндеев разных мастей и рангов и т.д.) или по собственной воле (из идеи служения какой-либо внешней цели: властям предрержащим, так называемому «обществу», а фактически им же, или, наоборот, борьбе против них, т.е. опять-таки им же, но «с обратным знаком», какой-либо доктрине, школе, группе и т.п.), конец всегда был один — маразм теоретического мышления, за которым иногда следовала и физическая смерть.

Всего этого счастливо избежал Сергей Леонидович Рубинштейн.

Что касается судьбы работы, ее психологи не приняли. Одну из причин этого я только что указал. Другая состоит в общем состоянии нашей психологии (как и философии). Подчинение теоретического мышления под страхом репрессий лживым и невежественным догмам создало обстановку преследования свободной мысли. Широкое гуманитарное образование было подозрительным, считалось пороком. Фактическое существование и одновременно секретность индекса запрещенных книг, поощрение доноительства, безгласность практически ликвидировали философию, а вместе с ней и возможность теоретической психологии.

Основой основ советской философии (и психологии) был «Материализм и эмпириокритицизм» — книга философски примитивная и ограниченная, утвержденная, однако, как догма, в которой не дозволено сомневаться. Вот и приходится изворачиваться с «опережающим отражением» или всю природу приравнять к «движущейся материи», поскольку эти догмы провозглашены в «Материализме и эмпириокритицизме». В 1914—1915 гг. В.И. Ленин всерьез занялся изучением философии и, конспектируя «Науку Логики» Г.Ф. Гегеля, заметил: «Нельзя вполне понять "Капитал" Маркса и особенно его I главы, не проштудировав и не поняв всей Логики Гегеля. Следовательно, никто из марксистов не понял Маркса 1/2 века спустя!!»¹. Поскольку В.И. Ленин штудировал Логiku Гегеля в 1914 г., а «Материализм и эмпириокритицизм» был написан в 1908 г., замечание В.И. Ленина полностью относится к этой книге.

¹ Ленин В.И. Полное собрание сочинений. М., 1969. Т. 29. С. 162.

Кадры, формировавшиеся в этой ситуации, естественно, боятся теории, боятся культуры, боятся расширения сознания, ибо это угрожает самому способу их существования. Многие из наших профессиональных философов и психологов рассматривают философию и психологию как средство самоутверждения и карьеры. Отсутствие жажды познания, незаинтересованность в деле, низкая общая культура заставляют их «стоять насмерть» против всего, что превышает их собственный близкий к нулю уровень компетентности. А за прошедшие с публикации «Человека и Мира» годы ситуация в нашей психологии намного ухудшилась. Теоретический уровень упал ниже нуля (сам не понимаю, как это может быть, но факт есть факт), а научные школы превратились в мафии, борющиеся и съедающие друг друга отнюдь не из теоретических соображений (например, в 1982—83 гг. съели, практически до основания, советскую возрастную и педагогическую психологию).

Большинство советских психологов стремится открититься от философии, с самого начала отгородив себе специфическую «психологическую» область. С одной стороны, они правы, так как упомянутый выше догматический «марксизм-ленинизм» может только «засорять мозги», и обвинить их можно скорее в лицемерии, с которым они перед этим же «марксизмом-ленинизмом» публично расшаркиваются.

Но с другой стороны, без глубокой и серьезной философии теоретическая (а следовательно, и серьезная экспериментальная) психология просто не может существовать. Например, она практически ничего не может понять в личности, поскольку основу личностного развития индивида составляет диалектическое противоречие бесконечного и конечного, а «игра с бесконечностью» — прерогатива философии. Также понять остро конфликтный духовно-душевный мир современного подростка, его противоречия и столкновения с собой и с окружающими можно, лишь если учесть, что определяющим новообразованием его психики является рациональное критическое рефлексизирующее мышление, а разработка этой области — тоже дело философии. Таким образом, теория личности может быть только философско-психологической (такого типа, например, упомянутая выше теория К. Домбровского). Большинство крупных психологов прошлого были глубоко философски мыслящими людьми.

ми. Да и сама психология немного более ста лет назад входила в философию как ее отдел или часть. Наш нынешний психолог, как правило, невежда в философии и активно сопротивляется приобретению философских знаний, считая себя узким специалистом. Но это означает утерю самого предмета исследования психологии.

Поэтому я думаю, что будущее принадлежит некоторому синтезу философии и психологии на базе общего для них основания — отношения «Человек — Мир». В противном случае современную психологию (как, впрочем, и философию) ждет летальный исход. И очень скоро. Надо понять, что времени на «раскачку» уже нет. Я пишу об этом потому, что многие психологи не принимают работ С.Л.Рубинштейна, считая их «слишком философскими». Между тем именно их философичность привела к «Человеку и Миру», могущему служить примером преодоления догматизма как в психологии, так и в философии.

А времени на «раскачку» не осталось потому, что проблемы экологические, демографические, нравственные, политические, медицинские и т.д. приобрели ныне глобальный масштаб и такую остроту, что буквально «берут человека за горло». Сюда же, мне кажется, можно добавить общий кризис социальности (социальной формы жизни как таковой) и кризис психический (кризис души). Все эти проблемы оказываются связанными в один узел, упираются в один вопрос: как дальше жить человеку в Мире? Чтобы адекватно их понять как единое целое, нужно глубокое теоретическое исследование, может быть, даже возврат к началу антропогенеза, чтобы обрести позицию «внеаходимости», с которой может быть понято, что происходит здесь и теперь. То есть нужно развернуть, разработать и логически, и исторически отношение «Человек — Мир».

Оно исследовалось в течение тысяч лет, но благодаря патологической акцентуации современной западной культуры, сосредоточению ее главным образом на вещной стороне бытия громадный материал, сюда относящийся, был отодвинут в сторону как несущественный, реакционный, мешающий «прогрессу» (т.е. увеличению производства упомянутой «чечевичной похлебки»). Он должен быть возрожден на современном уровне и усвоен, иначе тот же летальный исход можно предсказать человечеству в целом.

Существование в Человеке актуальной бесконечности позволяет (и заставляет!) иметь дело с бесконечно глубоким, трансцендентным вневременным и внепространственным содержанием, составляющим основу собственно человеческого бытия. Это содержание приобретало в различных исторических культурах различные особенные формы (филогенез), на базе которых разрабатывались соответствующие системы воспитания (онтогенез). В наше время это содержание реализуется все меньше, и в том, на мой взгляд, фундаментальная причина как обостряющихся трудностей воспитания, распространения алкоголизма и наркомании, так и общей дегуманизации жизни.

Этот глубинный смысл должен быть возрожден. Будучи безмерным, он не может реализоваться как статичный, завершённый, но лишь в форме диалогической. «В любой момент развития диалога существуют огромные, неограниченные массы забытых смыслов, но в определенные моменты дальнейшего развития диалога, по ходу его они снова вспомнятся и оживут в обновленном (в новом контексте) виде. Нет ничего абсолютно мертвого: у каждого смысла будет свой праздник возрождения»¹. Современные психологи создают десятки отвергающих друг друга понятий и определений личности. А нужно бы вспомнить, что само представление о личности (живущее до сих пор в обыденном сознании) как об индивидуе свободном и нравственно ответственном возникло в христианстве, и исследовать, что именно несет в себе это представление. Значительное (и все большее) число людей, не находя духовной пищи в ориентированной производственно-технологически социальности, в вещном знании науки (я уже не говорю об изолгавшейся идеологии), ищет прибежища в различных религиозно окрашенных направлениях, системах самовоспитания и т.п. Многие из них обращаются к христианству. Действительно, в эпоху дегуманизации жизни напоминанием о высоком назначении человека, о нравственном идеале мог бы служить образ Христа. Вот глубокий нравственный смысл этого образа в описании М.М.Бахтина: «В Христе мы находим единственный по своей глубине синтез этического солипсизма, бесконечной строгости к себе

¹ Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. С. 373.

самому человеку, то есть безукоризненно чистого отношения к себе самому, с этически-эстетической добротой к другому: здесь впервые явилось бесконечно углубленное я-для-себя, но не холодное, а безмерно доброе к другому (для этого оно должно быть внутренне бесконечно полным. — А.А.), воздающее всю правду другому как таковому, раскрывающее и утверждающее всю полноту ценностного своеобразия другого»¹. Этот образ несет в себе глубокий нравственный смысл.

Мне кажется, что возрождение утраченных и столь необходимых современному человеку смыслов возможно на базе того отношения Человека к Миру, которое, в частности, намечено в работе С.Л.Рубинштейна. Эта работа включается в бесконечный конвергирующий поток мыслей, идей, произведений, поступков, попыток понимания человеком самого себя, своего места и смысла своего бытия в Мире. Этот поток существует тысячи лет и в наше время противостоит дегуманизации и технологизации жизни, напоминая Человеку о его высоком назначении. В расширении этого потока, охвате им сознания возможно большего числа людей (расширении сознания) я вижу возможность осмысления и разумного разрешения упомянутых выше глобальных проблем.

В этом потоке уже фактически работает современная гуманистическая психология и психотерапия (К.Роджерс, В.Франкль и др.), но пока еще, в основном, на интуитивном уровне, без глубокого теоретического понимания собственных основ.

На мой взгляд, неучастие в этом движении психологии и философии в целом будет с их стороны предательством самих себя, своего назначения. А для участия нужна глубокая перестройка их основ и понимания ими самих себя. Начинаться она должна с самовоспитания философов и психологов как личностей, с переделки их собственного сознания. «Человек и Мир» показывает возможность такой перестройки, а о ее необходимости можно не говорить: достаточно оглянуться и посмотреть, что делается в мире. И надо торопиться: времени осталось немного.

В заключение нужно сказать, что в статье, что называется, «мимоходом» затрагивается много проблем, за-

¹ Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. С. 51.

служивающих серьезного и глубокого обсуждения. Еще большее их число осталось вообще за пределами этого текста. Их изложение требует написания объемистой книги. В свое время я намеревался написать книгу под тем же названием, что и работа Сергея Леонидовича. Но, представив себе, что начнется после ее написания, я отказался от этой безумной затеи и ограничился чтением в 1981—1984 гг. в г. Дубне курса лекций «Человек и Мир. Проблема человека в философии и психологии (курс расширения сознания)». Однако не затронуть совсем каких-то из этих проблем в статье я тоже не мог: это сузило бы поле сознания, в котором мне хотелось рассмотреть работу «Человек и Мир». Остается извиниться перед читателем за возможную малопонятность некоторых мест статьи.

Надеюсь все же, что хотя бы некоторой части читателей статья поможет другими глазами взглянуть на работу «Человек и Мир» и на судьбу ее и ее автора. Или хотя бы обратить на нее внимание и задуматься. Тогда мой долг признательности Сергею Леонидовичу я буду считать, хотя бы частично, оплаченным.

Июль—август, 1987 г.

«Вопросы философии», 1993

Павел Васильевич Копнин (1922—1971)

Философ, специалист в области теории познания, методологии научного познания, истории логики. Член-корреспондент АН СССР, академик АН Украины. В 1962—1968 гг. директор Института философии АН УССР, с 1968 до кончины директор Института философии АН СССР. Основоположник киевской школы логики научного исследования.

Соч.: Основные вопросы теории диагноза (в соавторстве с И.Н.Осиповым). М., 1951; Диалектика как логика. Киев, 1961; Гипотеза и познание действительности. Киев, 1962; Введение в марксистскую гносеологию. Киев, 1966; Логические основы науки. Киев, 1968; Философские идеи В.И.Ленина и логика. М., 1969; Диалектика как логика и теория познания. Опыт логико-гносеологического исследования. М., 1973; Диалектика, логика, наука. М., 1973; Гносеологические и логические основы науки. М., 1974.

М.В. Попович

П.В.КОПНИН: ЧЕЛОВЕК И ФИЛОСОФ

Павел Васильевич Копнин приехал в Киев летом 1958 г. погостить, тут же принял предложение возглавить кафедру философии Политехнического института и почти сразу перешел на аналогичную кафедру Киевского университета. Ему было тогда 36 лет, он был одним из самых молодых докторов философских наук, профессором, имел солидный послужной список, обеспечивавший ему устойчивые позиции на Украине (ибо с точки зрения республиканского партийного чиновника не мог оказаться не соответствующим должности завкафедрой в Киеве человек, который успешно возглавлял сектор в Институте философии АН СССР, кафедру философии той же академии, кафедру в университете Томска, был одним из авторов учебного пособия по философии, перевод которого на украинский язык вышел в том же году).

Приезд П.В.Копнина в Киев очень скоро резко изменил атмосферу философской жизни в нашем городе. Сочетание независимости и демократизма, свойственные его поведению, были совершенно необычны для нравов эпохи, но дело не только в этом. Само представление о личной позиции было новым в философской жизни в ту пору, и противники П.В.Копнина, которые обнаружили сразу же и в достаточном числе, проигрывали в глазах общественности уже потому, что даже не стремились к личной позиции и не понимали, что это такое. Первый же конфликт был превращен П.В.Копниным в дискуссию, состоявшуюся в стенах университета, и противная сторона вынуждена была продемонстрировать, что идеологический донос является единственно доступной ей формой мышления. Тем самым возник и феномен философской общественности, с которой приходилось считаться, как и с личностью Копнина, очень быстро ставшей ее центром на Украине.

Спустя четыре года П.В.Копнин стал директором Института философии Академии наук Украины. На этой должности в еще большей степени он проявил себя как влиятельный прогрессивный политик эпохи, когда хрущевская «оттепель» переживала тяжелый кризис и когда после октябрьского брежневского переворота 1964 г. начался процесс вялой реанимации сталинизма. С 1968 г. П.В.Копнин в Москве в должности директора Института философии АН СССР.

Как-то уже в Москве во время одной из наших встреч Павел Васильевич, похохатывая, сказал: «После моей смерти не будет проблем публикации наследия, так как все, что я пишу, я немедленно печатаю». Никому не могло прийти в голову, что этот большой, жизнерадостный, абсолютно здоровый человек не доживет и до пятидесяти лет. Так получилось, что после его кончины я вместе с Людмилой Филипповной Копниной разбирал архивы покойного и убедился в том, что, действительно, П.В.Копнин не писал в письменный стол.

Не было двух Копниных — явного и тайного. Поскольку же Копнин-философ был и Копниным-политиком и администратором, можно ожидать, что его логико-философское творчество является всего лишь частью политико-идеологической истории того времени и безвозвратно принадлежит прошлому как свидетельство глу-

бинных процессов, происходивших в нашем обществе, — и не более того.

Я полагаю, что это вовсе не так.

Нет необходимости ссылаться на какие-то тайные разговоры, чтобы понять философскую позицию П.В.Копнина, — действительно, он писал то, что думал, осторожно сообразуясь при этом со словарем и требованиями эпохи. Не могу не вспомнить, однако, один из частых разговоров на философски-политические темы, который Павел Васильевич закончил примерно следующими словами: «Подлинного понимания мировых процессов нет ни у них (т.е. на Западе), ни у нас. Когда-то родится нечто третье, и мы можем только всячески способствовать этому». Внимательный читатель и сегодня увидит в его работах попытки выйти за пределы идеологически закрытой философии и нащупать возможности и не повторять ни марксистских, ни антимарксистских пройденных путей. При всей унижительной неминуемости этикетных формул, демонстрировавших принадлежность к марксистско-ленинской философии, эта идейная независимость все же читалась в статьях и книгах П.В.Копнина и делала их идейно привлекательными. Это определяло и политическую позицию П.В.Копнина как руководителя философских учреждений. Копнин-политик понятен лишь после того, как понят Копнин-философ.

Чрезвычайно большое значение имела резкая позиция П.В.Копнина в отношении к так называемой диалектической логике. Именно здесь обнаруживалась мистико-иррационалистическая сущность диалектического материализма как политической религии. Претензии на загадочную сверхметодологию, для которой нет никаких тайн, которая может освободить человечество от потребности в изучении огромного эмпирического материала благодаря своей глубинной связанности с интересами мирового пролетариата, — эти претензии-обещания уже тогда потеряли свой романтический налет и скомпрометировали себя провалом попыток создания пролетарской математики, марксистской физики и — вплоть до хрущевского времени — диалектико-материалистической биологии.

Философствующие шаманы настаивали на том, что наряду с «обычным» мышлением, «обычными» понятиями, суждениями и умозаключениями существуют их «диалектические» двойники, открытие или конструирование которых позволяет сразу преодолеть идеалистичес-

кие и метафизические буржуазные предрассудки во всех сферах познания и практики и легко и просто обнаружить истину. Глубоко антинаучные по своим общим установкам, эти философские умонастроения противоречили потребностям технического прогресса, и позиции их защитников были поколеблены возрастанием влияния науки в СССР с его огромным военно-промышленным комплексом. Тем не менее полностью отказаться от идеологии «диалектической сверхнауки» правящие круги не могли, так как на особой причастности к марксистско-ленинской премудрости основывалась харизма власти коммунистической верхушки. Поэтому борьба против фундаментального и фундаменталистского тезиса об особых диалектико-материалистических формах мышления приобретала видимость критических уточнений и разъяснений, академичность которых тем более обнажала обскурантистский характер «подлинной диалектики». Наиболее ярким эпизодом этой борьбы была, пожалуй, небольшая рецензия на книгу В.И.Черкасова «Материалистическая диалектика как логика и теория познания» (М., 1962), опубликованная П.В.Копниным, И.С.Нарским и В.М.Смирновым («Вопросы философии». 1964. № 4). Постепенно концепции «диалектической логики» стали совершенно одиозными и непопулярными.

Первые работы П.В.Копнина принадлежали той сфере философии, которая в средневековой традиции как раз и называлась «логикой» и состояла в философских комментариях к теории понятий, суждений и умозаключений (в отличие от собственно формальной дисциплины, именовавшейся в старину, как ни странно, диалектикой). Еще до того, как рухнула сталинская догматическая система «диамата» и в советской философии пошли новые веяния, интересы П.В.Копнина определились в области, которую он продолжал называть логикой. В ту пору началось повальное увлечение различными самодельными «логиками» — от редких попыток фундаменталистского возрождения «диалектических логик» до различных «содержательных логик», лишь частью соприкасавшихся с традиционной логической проблематикой. Началось и творческое освоение современной логики в тех ее формах, которые ближе всего были связаны с математической и логическим позитивизмом. В Киев П.В.Копнин приехал уже с некоторой программой исследований, связываемой им с логикой.

Это не была «диалектическая логика», о чем уже говорилось. Не были это и варианты логических исследований, параллельные или альтернативные современной формальной логике. В общем можно сказать, что интересы Копнина были направлены на те философские перспективы, которые открывает изучение познающего мышления вообще. В какой-то степени это было ориентировано на эмпирическое исследование реального научного процесса, о чем говорят такие публикации, как совместная с И.Н.Осиповым книга «Основные вопросы теории диагноза», вышедшая в Томске двумя изданиями — в 1951 и 1962 гг., и статья «Эксперимент и его роль в познании» (Вопросы философии. 1955. № 4). Однако более важной для П.В.Копнина оказалась другая тема. Ей посвящены уже ко времени переезда в Киев несколько статей и брошюра, а в 1962 г. и вышедшая в Киеве книга — «Гипотеза и познание действительности».

Почему именно теория гипотезы, не теория эксперимента привлекла такое внимание П.В.Копнина? В какой-то мере это воспроизводило историю современной философии науки, в формировании которой огромную роль сыграла книга Анри Пуанкаре «Наука и гипотеза». При этом следует подчеркнуть, что традиция Маха — Пуанкаре была в основе именно *философии* науки в отличие от традиции Фреге — Рассела, воплотившейся в неопозитивистском принципе сведения философских вопросов к их формально-логическому модусу. Однако знакомство с содержанием книги П.В.Копнина позволяет утверждать, что она не была простым возвращением к философии науки начала века. Идеиная нагрузка исследования Копнина совсем иная.

В работах П.В.Копнина высказано много интересных соображений, характеризующих гипотезу и ее роль в развитии знания. Но самым интересным является выбор гипотезы как основной характеристики науки. Дело в том, что в марксизме-ленинизме не было гипотез. Вообще не было вопросов, а были только ответы. Характерно наименование марксистской философии науки: «философские вопросы естествознания». Вопросы существовали только в естествознании, а философия давала на них ответы.

Довольно конфликтным стало сразу же и отношение П.В.Копнина к традиционным «философским вопросам естествознания»: он настаивал на том, что философия

должна предлагать ответы не на вопросы естествознания, а на свои собственные вопросы. В этом духе развивалась и дискуссия по философии кибернетики и по поводу смысла понятия «информация», в которой П.В.Копнин принял активное участие, полемизируя с В.М.Глушковым. Существо позиции П.В.Копнина участники споров воспринимали с большим трудом, им нередко казалось, что он отказывается обсуждать проблемы, поставленные классиками науки, в то время как он ориентировался на философское существо этих проблем, на адекватность перевода естественнонаучных проблем на философский язык. Это была не только элиминация идеологического содержания из общенаучных споров и освобождение науки от идеологии, но и превращение философии в рациональную деятельность.

В 1963 г. вышла новая книга П.В.Копнина — «Идея как форма мышления». Здесь наиболее выразительно обстоятельство, которое несколько скрыто привычностью аналогичных характеристик гипотезы: в качестве *форм мышления* рассматриваются не только суждения или умозаключения, но и крупные структурные единицы — гипотеза и идея.

Мысль рассмотреть идею или концепцию в качестве структурообразующего принципа науки полностью принадлежит П.В.Копнину и имеет лишь отдаленное сходство с соответствующими страницами «Логики» Гегеля. Наиболее близок замысел П.В.Копнина идеям книги Томаса Куна «Структура научных революций», вышедшей первым изданием в том же 1963 году (русский перевод книги Куна появился в 1978 г., первые критико-аналитические статьи Н.И.Родного, В.А.Лекторского — в 1973 г.).

Понятие «идея» в смысле Копнина близко понятию «парадигма» в смысле Куна. Приходится сожалеть, что даже в нашей литературе мысли, развитые Копниным, имели несравненно меньший резонанс, чем идеи автора «Структуры научных революций». наших авторов можно понять: для советской философии начался период открытия Запада, в частности богатейшего опыта логико-философского анализа науки в позитивистских и постпозитивистских школах. Книга Куна и аналогичные историко-научные концепции подытоживали этот опыт и одновременно открывали возможности содержательного философского анализа, не стесненного рамками логичес-

кой техники. Что же касается концепции П.В.Копнина, то она находилась в опасной и для большинства творческих людей нежелательной близости к официальной полугегельянской, полумарксистской терминологии.

Рассматривая же концепции по существу, можно указать на некоторые преимущества подхода П.В.Копнина по сравнению со всеми вариантами теории парадигм. Идея парадигмы исходит из представления о предшествовании некоторых общих схем и образов конкретным научным построениям, о формировании общенаучных представлений вообще вне сферы науки, где-то в общекультурной сфере. В сущности, «научная революция», начало которой знаменует, по Куну, создание новой парадигмы, оказывается довольно консервативной: все последующее развитие только варьирует то, что уже заложено в парадигме. Эта позиция подкрепляется историко-научными исследованиями, оперирующими, как правило, материалами весьма отдаленных эпох. Как только мы переходим к современности, где созревание новых идей и парадигм шаг за шагом следует за совершенствованием чисто формальных математических схем, поначалу лишенных ясного содержания, концепция общекультурной парадигмы становится все более уязвимой и сомнительной.

Преимущество точки зрения П.В.Копнина заключается в том, что она не связывала структурообразующие принципы возникающей научной теории ни с культурным аргументом, ни с иными постулируемым стандартами и только ставила вопрос об их возникновении и роли. Идея или замысел теории — нечто гораздо большее, чем стандарт объяснения и понимания, схема, образец или парадигма. Это не консервативный стандарт, а основа конструкции, не укладывающаяся ни в какие предсуществующие рамки, причинно не связанная с предшествующим процессом развития. Для гуманитарии, для общественных наук, но также и для точного естествознания и математики оказывалось существенным развитие идеи в хорошую теорию, а вместе с тем возможность отличать «теорию»-концепцию, плохо структурированную и нечетко верифицируемую, от формально безупречной дедуктивной теории. Следуя логике работы П.В.Копнина, можно было говорить об идеологии различных сфер научного знания как совокупности соответствующих идей, что доводило бы до конца десакрализацию «марксистско-ленинской идеологии».

Предложенные П.В.Копниным общие подходы намечали программу философских исследований, возможные точки соприкосновения с зарубежной методологической мыслью и способы использования в философии опыта науки.

Еще во время работы в университете он попытался найти формы сотрудничества с научной молодежью, с наименее идеологически заангажированными, относительно более свободными от повседневного политического контроля научными работниками Института философии АН УССР. Первым результатом такого сотрудничества была книга «Проблемы мышления в современной науке», изданная под редакцией П.В.Копнина и зав. отделом диамата Института философии АН Украины М.В.Вильницкого в Москве в 1964 г. Надо сказать, что это была весьма слабая книга, в которой влияние современности и замыслов Копнина еще почти не ощущалось. Но уже в следующем году в Москве же была опубликована книга «Логика научного исследования», которая писалась коллективом авторов в основном в Институте философии АН Украины, директором которого и заведующим отделом логики научного познания с 1962 г. был П.В.Копнин.

Работа над книгой началась сразу после прихода Павла Васильевича в Институт философии. Он начал с плана-проспекта и общей идеологии книги, различные варианты которых (как и варианты названий) предложил подготовить нам, молодым в ту пору исполнителям. Готовых планов и замыслов не было ни у кого, в том числе у него. Все обсуждалось коллективно и в конце концов пришло к той схеме «Логики научного исследования», которая и была реализована.

Это был, мягко говоря, смелый замысел. Мы, молодые исполнители и соавторы, не были, конечно, готовы к написанию серьезной толстой книги по логике науки. В голове большинства еще шумел молодой хмель не так давно опубликованных и едва усвоенных «Философско-экономических рукописей 1844 года» К.Маркса, открывших перед нами новое видение человеческой субъективности. П.В.Копнин, в частности опытом работы над «Проблемой мышления», только втягивал нас в рациональную логико-методологическую проблематику. Приходилось преодолевать страстное желание поговорить об очеловечивании предметного мира и опредмечивании че-

ловека, об отчуждении от человека его существенных сил и деформации первоначальных идей под воздействием бюрократизации и окостенения — и так далее, вплоть до поисков «подлинного Маркса» и «подлинного Ленина», до марксистского фундаментализма. Поворот от идеологических конструкций к рациональному мышлению только начинался, и массив неосвоенной литературы только открывался перед нами. Мы еще не понимали, во что мы ввязываемся. Может быть, иначе никто бы за подобную книгу не взялся.

И все же я убежден, что «Логика научного исследования» была не только ученичеством, но и содержала своеобразную концепцию, положившую начало оригинальным работам. Здесь сказались и упомянутое открытие мира субъективности, и общее понимание науки, развитое П.В.Копниным в работах о гипотезе и идее, и восприятие западной методологической литературы.

Если говорить об общем замысле работы, то тогда мы его формулировали довольно традиционно: нам казалось, что мы пытаемся перейти от статики к динамике научного познания, от синхронии к диахронии, от анализа структур к анализу эволюции. В сущности, для описания порождения «нового знания» требовалось более глубокое понимание проблем доказательства, аналитического и синтетического, теории семантической информации, без чего невозможен синтез структурного и эволюционного подходов. На эти рубежи мы вышли позже, каждый по-своему. Но общая философская концепция науки, сохраняющая структурный подход и рационалистическую направленность, характеризовалась стремлением к раскрытию той же человеческой субъективности, активности спрашивающего исследователя, которая так привлекала всех в сфере общей гуманитарии. Как мне сейчас представляется, стремление сохранить верность истине вопреки идеологическому насилию и одновременно утвердить свободу духовного поиска способствовало формулировке некоторой активистской концепции философии науки, лишенной вместе с тем близости к ультралевому субъективизму.

«Логика научного исследования» описывала движение науки, начиная его с вопроса и гипотезы, с активного подхода к миру, а не мертвого «отражения». Эмпирия, факты появлялись в развитии концепции и идеи как этапы поиска ответов на вопросы, что противоречило обычной эмпиристской схеме «факты — обобщения».

Противоречия, возникающие в ходе приведения знания в логический порядок, рассматривались как следствия ограниченности любой концептуальной схемы, что вызывало справедливые ассоциации скорее с кантовским, чем с гегелевским образом мышления. Анализ интерпретации как процедуры, не тождественной эмпирической проверке или истолкованию, открывал новые перспективы.

Что касается связи с западной логико-философской литературой, то она все же была. П.В.Копнин познакомил нас с книгой Карла Поппера «Логика научного открытия», которая произвела известное впечатление, — как выяснилось потом, более глубокое, чем это могло показаться. Хотя было бы неверно полагать, что мы были этой книгой вдохновлены, но к идее доказательства как фальсификации позже пришлось возвращаться.

Книга «Логика научного исследования» была хорошо принята философской общественностью страны, и немецкий перевод ее (Берлин, 1969) получил благосклонную оценку в западной прессе (рецензия Альвина Димера в Висбаденском журнале «Zeitschrift der allgemeine Wissenschaftstheorie». 1970. № 1). Но к тому времени украинский логико-философский кружок уже далеко эволюционизировал в общем понимании проблематики и знакомстве с результатами логических исследований. Чрезвычайно эффективным средством интеллектуального развития нашей философской среды стали конференции по логике и методологии науки, почему-то долго называвшиеся у нас «симпозиумами». Инициатором и организатором всесоюзных симпозиумов по логике и методологии науки был П.В.Копнин. Они проходили в разных местах, но все же центром их подготовки оставался Киев, по крайней мере не в меньшей степени, чем Москва.

Собственно говоря, идея провести совещание по логике принадлежала В.А.Смирнову, работавшему тогда в Томске, была им высказана и поддержана местными «верхами»; первое Всесоюзное совещание по проблемам логики и методологии науки прошло в Томске в 1960 г. Но подлинную широту и блеск этим совещаниям придал, конечно, П.В.Копнин, превративший их в постоянно действующий центр рационалистически мыслящей философской общественности. После вступления СССР в международную организацию по логике, методологии и философии науки (очень длинное точное название этого союза я сейчас опускаю) мы принимали участие в меж-

дународных конгрессах, и структура всесоюзных симпозиумов была приведена в соответствие со структурой международных совещаний. Однако постепенно в наших симпозиумах все более утверждалась и гуманитарная проблематика, и Харьковский симпозиум, проходивший уже после смерти П.В.Копнина, включал также секцию семиотики культуры, которой руководил покойный Ю.М.Лотман. Сохранялись и поддерживались и связи с математиками, кибернетиками, физиками высокого уровня. Это было мощное интеллектуальное и культурное движение, оказавшее огромное, еще не оцененное влияние на нашу духовную жизнь. Справедливость требует напомнить, что после смерти П.В.Копнина жизнь этого движения во многом — в том числе на уровне нашего международного участия — поддерживалась усилиями Б.М.Кедрова, И.Т.Фролова, А.А.Маркова, неформальными лидерами и организаторами повседневной работы оставались В.А.Смирнов и В.Н.Садовский. Но первый толчок, организация и идеология движения все же были делом Павла Васильевича Копнина.

Киев стал одним из центров европейски ориентированной логико-философской мысли. Появилась украинская национальная элита нового характера, соответствовавшая месту Украины в научно-технической культуре СССР. Сколь бы ни были скромными результаты развития в этом направлении, они все же сыграли свою роль в будущем.

Если говорить об общественно-политической стороне дела, то П.В.Копнин отлично понимал, что он делает и каковы будут последствия, в том числе лично для него, и в том числе неприятные. С первых шагов его активность пришла в противоречие не только со старыми сталинистскими силами, но и с теми политическими тенденциями, которые не лежали на поверхности.

Как-то П.В.Копнин рассказывал о разговорах и спорах с украинскими писателями в Доме творчества литераторов под Киевом, где он писал очередную работу. В ответ на жалобы писателей на то, что гибнет и вытесняется русским украинский язык, Копнин полушутя, полусерьезно говорил, что для решения проблемы Украине надо иметь свои банки и свою армию. Писатели не воспринимали ни юмора, ни очень серьезного содержания его шуточек и очень сердились, а Копнина это забавляло.

Но все переставало быть забавным, когда действия переносились из столовой в Доме творчества в Ирпене на Банкову, в ЦК. Тогда руководил республикой П.Ю.Шелест, и отчетливо чувствовались некие национал-коммунистические тенденции. Пугая своих московских коллег по Политбюро «пражской весной» и, действительно, крайне опасаясь расшатывания тоталитарной системы власти, Шелест пытался укрепить Украину как антиревизионистский бастион и под этим флагом отстоять какую-то национальную независимость. Такая политика требовала, чтобы Украина понемногу дублировала общесоюзную структуру, имела у себя все, как в России, хоть и в меньших, провинциальных масштабах.

Что же касается П.В.Копнина, то его научно-организационная политика приходила в противоречие с этими тенденциями. Придя в Институт философии, Копнин начал с реорганизации его структуры, перехода с ведомственного на проблемный принцип. Так, отдел диалектического материализма оказался ликвидированным, на его место пришел отдел логики научного познания. Все бы ничего, но если Киев — это мини-Москва, то реорганизация оказывается «закрытием марксизма». Уже после перехода П.В.Копнина в Москву П.Ю.Шелест оказался очень чувствительным к доносам на эту тему, организованным противниками копнинских реформ.

Дело усугублялось личной враждебностью к Копнину и его философской политике весьма влиятельного в то время партийного деятеля с философскими научными знаниями И.Д.Назаренко, претендовавшего на все те академические позиции, которые доставались Копнину. Между тем Назаренко был одним из лидеров правившей тогда «харьковской группы», к нему тепло относился Н.С.Хрущев, а позже он стал активным вдохновителем шелестовского национал-коммунизма.

История этого противостояния могла бы стать основой острозащитной повести, оно отнимало много сил, но вряд ли стоит сейчас отвлекать к перипетиям той борьбы внимание читателя. Но надо подчеркнуть, что, относясь с крайним презрением к той форме национального самосознания, которая вся была построена на первостепенном значении «пятого параграфа» (напомню, что там в анкетах тех времен стоял вопрос «национальность»), а следовательно, на преимущественном праве на занятие выгодных постов, не принимая национал-коммунистического

провинциализма, П.В.Копнин с огромным вниманием отнесся к молодежному национал-демократическому движению, связанному тогда прежде всего с именем Ивана Дзюбы. Не будет преувеличением сказать, что именно ему, русскому человеку, удалось то, что не удалось бы украинцу по происхождению: произвести перелом в отношении к наследию Киево-Могилевской академии. Огромная работа по сохранению и осмыслению трудов профессоров этого интеллектуального центра не только старой Украины, но и всего православного мира той поры стала возможной благодаря его энергии и смелости.

В 1967 г. П.В.Копнин принял участие в работе III Международного конгресса по логике, методологии и философии науки в Амстердаме, с чего началось постоянное международное сотрудничество логиков и философов бывшего СССР, в том числе украинских. В трудные минуты международная научная общественность оказывала нам, украинским логикам, помощь и поддержку. В том году П.В.Копнин одержал победу на выборах в академии АН Украины, а в следующем году стал директором Института философии АН СССР.

Годы в Москве были исключительно трудными годами оборонительных боев, они и не могли принести удач, сопоставимых с теми, которые принес киевский период. Московская политика, конечно, была на несколько порядков сложнее провинциальной киевской уже хотя бы потому, что партийные консерваторы столицы были несравненно умнее и опаснее наших. Вряд ли можно рассматривать в силу всех этих обстоятельств последние годы жизни и деятельности П.В.Копнина как простое продолжение его киевского периода. Во всяком случае отношение П.В.Копнина к процессам, происходившим в политической и философской жизни страны в 60-е годы, характеризует и его, и прогрессистские устремления той и позднейшей эпох. Если работа П.В.Копнина в Москве проходила в условиях наступления реакции, то во всяком случае такая оборона, какой стала дискуссия по поводу «методологических ошибок» Копнина, была одной из побед молодой демократии. В этой дискуссии в защиту П.В.Копнина, против диалектико-материалистических консерваторов выступили философы и логики различных школ и умонастроений, выступили с блеском и огромной энергией, заставив противников на некоторое время замолчать.

Быть может, это и было наиболее выразительной оценкой, которую философская общественность дала деятельности Павла Васильевича Копнина.

«Вопросы философии», 1997

В. И. Шинкарук

**«ХРУЩЕВСКАЯ ОТТЕПЕЛЬ».
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ
ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ АН УКРАИНЫ
В 60-Х ГОДАХ**

Начало серьезным изменениям в духовной жизни советского общества, которые получили название «хрущевской оттепели», как известно, положил доклад Н.С.Хрущева на XX съезде КПСС. Содержание доклада повергло общество в глубокий идеологический шок: что же теперь будет? что в политике и теории партии было «от Бога» (Ленина, марксизма-ленинизма), а что «от черта» (Сталина, его культа)? и т.д.

Официальная партийная пресса долго молчала. Первым откликом, давшим весьма узкий «просвет» в кризисной ситуации, стала перепечатка в «Правде» редакционной статьи из «Женьминь жибао». Так было дано «добро» на «переоценку ценностей». Начался первый этап критики «культа личности Сталина и его последствий». Для преодоления «сталинских деформаций» социализма предлагалось «вернуться к Ленину», т.е. культ Сталина заменялся культом Ленина с новым идеологическим наполнением — «освящение» ленинизмом хрущевских реформ. Далее были пересмотрены основные идеалы: для развития общества таковым стал коммунизм (вместо социализма); для развития государства — общенародное государство вплоть до коммунистического самоуправления (вместо диктатуры пролетариата); для развития личности — воспитание нового человека, активного строителя коммунизма (вместо теории «винтиков», политики массовых репрессий). В противовес сталинской идее слияния наций выдвигалась идея их сближения и расцвета на основе ленинского принципа интернационализма.

Таким был идеологический фасад «хрущевской оттепели». На практике же государственно-партийные власт-

ные структуры продолжали руководствоваться административно-командными принципами, методологической основой которых является «бюрократический технократизм», где нет места человеку и его потребностям.

Практическое всевластие партийно-государственной бюрократии обрекло все установки «хрущевской оттепели» на статус социальных иллюзий, «теорий», противостоящих «практике», а страх перед возможным успехом реформаторства Хрущева привел в конце концов к прямому устранению его от власти. Фактически с середины 60-х годов, особенно на рубеже 70-х, разрыв между теорией и практикой, словом и делом, продолжая стремительно увеличиваться, стал очевидным фактом.

Совсем иначе восприняли «оттепель» широкие демократические слои общества, особенно молодежь и интеллигенция. Они искренне поверили, что «переоценка ценностей» касается отношений между обществом и индивидом, институцированной общественностью (уже — коллективом) и личностью, властью и свободой. Индивид, личность не могут быть средством реализации целей общества, наоборот, общество и государство должны способствовать творческой самореализации личности, гарантировать ее права и свободы. Такой подход стал идейно-мировоззренческой основой движения «шестидесятников».

Чрезвычайно сложная ситуация сложилась в области философии, которая наиболее сильно пострадала от репрессий. Что касается Института философии АН Украины, то почти все его сотрудники были репрессированы. Достаточно сказать, что к началу «оттепели» в его стенах работал всего один доктор философских наук — его директор Д.Ф.Острянин. Центром философской жизни в Украине был философский факультет Киевского государственного университета им. Т.Г.Шевченко. Именно отсюда вышла талантливая философская молодежь, воспитанная на традициях классической, в основном немецкой, философии, она оказалась наиболее способной к восприятию неортодоксальных идей.

«Философское обновление» после XX съезда КПСС в Украине связано с деятельностью и творчеством П.В.Копнина, заведовавшего кафедрой в Киевском государственном университете, а с 1962 по 1968 год возглавлявшего Институт философии АН Украины. Он положил начало философским исследованиям в области логики научного познания, социологии, изучения философского наследия

Киево-Могилянской академии и др., поднял вопрос о создании на базе Института философского журнала.

«Киевский период» в жизни П.В.Копнина — наиболее плодотворный в его философском творчестве. Тут были написаны его основные работы: «Диалектика как логика» (Киев, 1961), «Идея как форма мышления» (Киев, 1962), «Гипотеза и познание действительности» (Киев, 1962), «Логические основы науки» (Киев, 1968), «Философские идеи В.И.Ленина и логика» (М., 1969). В них П.В.Копнин решительно отходит от общепринятых положений. Разделению марксистской философии на исторический и диалектический материализм он противопоставляет идею их диалектического тождества: «...Диалектический и исторический материализм являются не двумя самостоятельными философскими науками (и не двумя самостоятельными частями ее)... Существует единая наука — диалектический и исторический материализм, вскрывающая объективные законы развития природы, общества и человеческого мышления» (Копнин П.В. Диалектика как логика. Киев, 1961. С. 52—53).

Исходя из известного положения Ф.Энгельса о том, что диалектика есть наука об общих законах развития природы, общества и мышления, а также ленинского утверждения, что диалектика, логика и теория познания суть одно и то же, Копнин формулирует свое понимание предмета марксистской философии как науки: «...Существует одна философская наука — материалистическая диалектика, которая одновременно выполняет функции и онтологии, и гносеологии, и логики, не являясь в прежнем понимании ни тем, ни другим, ни третьим; нет трех самостоятельных частей в философии с различными законами, а есть одна наука, которую можно назвать как угодно: диалектикой, логикой или теорией познания (название предмета не влияет на его сущность), с одними законами, являющимися и законами бытия, и законами мышления» (Там же. С. 35). Далее П.В.Копнин обосновывает свое понимание философии как метода познания (методологическая функция марксистской философии), рассматривая ее как диалектическую логику.

Таким образом, уже в первой своей книге Копнин начал кардинальный пересмотр исходных понятий марксистской философии, прежде всего ее предмета.

Результаты научного поиска в этой области нашли свое обобщенное воплощение в последующих работах

Копнина, и особенно в последней прижизненной книге «Философские идеи В.И. Ленина и логика» (М., 1969).

В этом фундаментальном труде он доказывает, что философия является наукой только в качестве философского учения о всеобщих законах развития (диалектика как логика): «Когда из философии берется знание и строится на его основе метод научно-теоретического мышления, сама философия становится наукой — диалектикой или логикой с большой буквы. Только в качестве логики философия — наука по предмету и методу, но диалектика как логика не является особой формой общественного сознания, создающей мировоззрение, осознание человеком своего бытия» (Копнин П.В. Философские идеи В.И.Ленина и логика. М., 1969. С. 27). «Но если по методу решения стоящих перед нею задач философия является наукой, стремящейся дать объективное, истинное и достоверное знание, то по своему предмету она отлична не только от других наук, но и от науки вообще» (Там же. С. 26).

В своих предыдущих работах П.В.Копнин исходил из традиционного отождествления философии с мировоззрением (научная философия = научному мировоззрению) (См.: Копнин П.В. Введение в марксистскую гносеологию. Киев, 1968. Гл. I). Однако при разработке проблем диалектики как логики он приходит к пониманию противоречия между пониманием философии как науки и философии как мировоззрения. Это противоречие П.В.Копнин пытается решить через различение философии как науки и философии как формы общественного сознания. В этом последнем случае философия «имеет начало, родственное мифу... в том смысле, что она никогда не расстается с человеческим отношением к объективному миру, его явлениям и процессам... Марксистско-ленинская философия является формой осознания действительности и, прежде всего, человека в его связи с окружающим миром, причем эта действительность берется не только со стороны сущего, но и должного, целей человечества...» (Копнин П.В. Философские идеи В.И.Ленина и логика. С. 28—29). Важно отметить, что здесь предмет философии как формы общественного сознания есть прежде всего человек в его мироотношении не только к сущему, но и должному, к тому, чего нет, но что должно быть в соответствии с целями человека, его ценностями. Этим «диалектико-логическим» и «антропо-

логическим» поворотом в интерпретации предмета философии П.В.Копнин стал одним из родоначальников направления философских исследований в Украине, получившего название «Киевской школы философов».

Что касается книги «Философские идеи В.И.Ленина и логика» (М., 1969), то она стала объектом серьезных нападков философской ортодоксии, которая видела в Копнине опасного ревизиониста. В марте 1970 г. было инициировано обсуждение этой книги, переросшее во всесоюзную дискуссию (Вопросы философии. 1979. № 7). Вопреки ожиданиям оппонентов, идеи П.В.Копнина получили поддержку значительного числа передовых ученых-философов, ему удалось отстоять свои позиции и сохранить статус директора всесоюзного академического института. К сожалению, он ушел от нас в 49 лет, не успев многого сделать в жизни и в философии.

В целом, П.В.Копнин и сотрудники возглавляемого им Института философии АН Украины реализовали в своих работах широкую, новаторскую для того времени программу исследования форм и принципов научного познания на основе диалектического переосмысления достижений мировой философии и логики науки, а также «узловых» категорий научного познания — проблема, идея, гипотеза, теория, границы развития теории, научный поиск, уровни систематизации знаний и др. Философские достижения П.В.Копнина и его школы получили признание не только в СССР, но и за его пределами.

«Вопросы философии», 1997

А.Н.Лой

ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ

История советской философии затребует от будущих исследователей особой тщательности в реконструкции ее интенций в шестидесятые годы, период «оттепели», что необратимо повлияло на историческую судьбу общества, пережившего событие, которое не случайно иногда называют Ренессансом. И хотя «железный занавес» сохранялся и еще долго идеологические стереотипы печально знаменитой «Истории ВКП(б)» продолжали существовать вместе с «блюстителем чистоты» «единственно вер-

ной теории», но трансформация начала происходить, вследствие чего мы оказались в кругу проблем и понятий европейской философии. Это, казалось бы, естественное событие обретения философской мыслью самой себя потребовало от определенных людей колоссальных душевных и интеллектуальных усилий. Для этого нужно быть незаурядной личностью с точки зрения профессиональной, но самое главное — быть внутренне избавленным от страха, от состояния раба, «идеологического прихлебателя» по определению. И если Ренессанс шестидесятых годов ассоциируется с П.В.Копниным, то, прежде всего, с силой и обаянием его личности. Раскованность и пластичность копнинского ума прекрасно сочетались с прозрачностью, строгостью и рациональностью его выкладок. Он никогда не пытался поставить себя выше аудитории, изобразить неким «философским гуру», напутствующим «несмышленных», обладал умением подводить слушателя, собеседника к пониманию точки зрения, которую он отстаивал. И хотя принципы столь распространенной и уважаемой ныне философии коммуникаций еще не были в обиходе, Павел Васильевич как бы практически, своей позицией отстаивания открытого дискурса философской мысли, исключая келейность, двусмысленность, слухи и т.п., индуцировал вокруг себя то особое пространство философской общественности как части научной и гражданской общественности, что в конечном итоге вызывает обратный импульс мотивации философского мышления. Говоря кантовским языком, П.В.Копнин был «человеком мира». Сегодня, в условиях отсутствия идеологического пресса, когда пишут, переводят и издают что угодно, в этом хаосе разнообразия, мы ощущаем дефицит рационального дискурса. И это тогда, когда это диффузное многообразие могло бы преобразовываться в пространство заинтересованного понимания. Копнинская интенция в этом смысле как никогда сохраняет свою актуальность, ибо оборачивается вновь сверхзадачей обретения философией своего лица в условиях изменившейся «структуры общественности».

Общеизвестно, что П.В.Копнин занимался гносеологией и практически благодаря его усилиям она заняла подобающее ей место. По существу, в тогдашней философии отсутствовала теория познания, существовала теория отражения, которая при наличии гносеологических сюжетов не в состоянии была претендовать на роль тео-

рии познания, настолько явно она воплощала метафизику фаталистического эволюционизма и историзма. Введение в мыслительный оборот гносеологии в копнинском варианте влекло за собой психологии, — а это была воистину философия психологию, — С.Л.Рубинштейн в своих оригинальных работах во многом обязан неокантианской философии, школу которой он прошел в молодые годы, как и Л.Пастернак, мы можем говорить обо всем этом как о своеобразном индикаторе строгого рационалистического настроения интеллектуально продуктивного поколения шестидесятников. Ведь это касалось не только гносеологической проблематики, методологии и логики науки. Можно вспомнить, как в 60—70-е годы обозначился повышенный интерес к аксиологии. Естественно, доселе закрытая наша философская мысль реагировала и осваивала идейный материал разных направлений, то ли это был экзистенциализм, критический рационализм и т.д., но установка на рациональность в познавательной и этической ориентации свидетельствовали о приверженности отечественной философской мысли европейским традициям. Сегодня как в России, так и в Украине, например, усматривают своеобразие нашего философствования в религиозной философии православия, кордоцентризме, что, несомненно, имеет место, но не замечают того, что «трансцендентальная прагматика» той ситуации взаимопонимания, в которой мы очутились в силу факта нашего существования и участия, необратимо задала для нас предпочтения рациональных структур в жизнедеятельности, культуре, познании. Вероятно, гносеология и методология науки и была той фундаментальной возможностью определиться в этих предпочтениях, воплотить их в определенные принципы и понятия. Гносеология в копнинском варианте оказалась матричной для всего состава философского знания. Гносеологии пришлось быть в пространстве своих понятий метафизичной и онтологичной, ибо о какой онтологии, о каких метафизических принципах познания можно было открыто говорить? — в условиях примитивизированной, физикалистской метафизики с господствующим принципом материального единства мира и т.д.? Даже терминологически они вызывали раздражение. Снова-таки подобная картина напоминает ту, которая была в истории философии, когда гносеология для себя была и онтологией, и метафизикой, в частности, подобным образом поступала и упоминаемая

гносеология неокантианцев. Но здесь была другая ситуация. Понятие практики, например, так и осталось за скобками трансценденталистской гносеологии неокантианства, а поэтому без подобной подпитки она была обречена на истощение. Копнинская гносеология имплицировала иные посылки, где деятельность выступает не в виде самодовлеющей, априорной структуры спонтанности, а связана с историей, с имеющими в ней место мотивациями и потребностями. Отсюда чуткость П.В.Копнина к философско-антропологическим мотивам, которые на современном языке заявлены как «антропология познания».

В современную теорию познания философско-антропологические идеи привнесены с разных сторон, разными направлениями. Но с достаточной очевидностью становится ясным одно обстоятельство: неклассическая гносеология не постулирует чистого, креативного, продуктивного движения познания, где в конечном итоге происходит направленный и контролируемый процесс «добывания» (немецкое «Gewinnung») знания, где важна чистота «синтеза», чистота и прозрачность условий, этот синтез обеспечивающих. Сейчас выглядит наивной попытка избавить феномен познания от интереса, от всего, что связано с прагматикой действия. Оказывается, что мотивирующие познания интересы имеют в структуре единого целого разные интенции, и хотя взаимодействуют, но не редуцируются друг к другу. Вычлененные и описанные Ю.Хабермасом в книге «Познание и интерес» три группы интересов (инструментальный, коммуникативный, эмансипативный) действуют скорее по формуле «едины, но неслиянны!». Подобный концептуальный поворот в жанре антропологии познания в своей основе затрагивает определенные стороны метафизики познания (если позволительно говорить об этом жанре в классических выражениях), поскольку в таком случае всплывает тема «региональных онтологий», где важна не только рубрикация регионов и, соответственно, статус тех или иных процедур, но, и это главное, характер их «межрегионального» взаимодополнения и взаимодействия.

К примеру, сегодня нельзя уже ограничиваться констатацией и декларированием того обстоятельства, что субъект не является всего лишь неким интеллигибельным субъектом, а чувственно, предметно конкретным существом, о чем справедливо замечалось гносеологами-марк-

системами, и в частности копнинской школы. Благодаря усилиям М. Мерло-Понти стало ясным, что тело — это не частичное обстоятельство, которое «тоже» следует брать во внимание, но тот фундаментальный онтологический момент, без которого немислимо конституирование и образование познавательной ситуации, смыслового поля познавательной деятельности.

Аналогичным образом можно говорить о языке, который перестал восприниматься в роли средства общения, некоего операционного фактора деятельности, а оказался тем горизонтом, в границах которого приобретают смысл те или иные действия познания. Не случайно, по-видимому, К.-О.Апель отнес и тему тела, и тему языка к области антропологии познания. Но здесь снова-таки возникает, по сути, метафизическая (онтологическая) проблема: не релятивизирует и в конечном счете не обесценивает ли значимость и результат познавательного акта тот культурный (языковой, культурный) контекст, в котором этот акт совершается? Какова универсальная (всеобщая) структура может в таком случае противостоять «контекстуализму»? Какова природа подобной вероятной «трансцендентальной», по сути, структуры? Это уже не просто область антропологии познания, но и метафизики познания. Кто мог раньше предположить, что облюбованная в начале века философской антропологией тема «общностей», «сообществ» (*Gemeinschaft*), имевшая, скорее, этно-культурную направленность, к концу века обернется уже в жанре антропологии познания темой о роли «научных сообществ», их этических принципов, традиций, авторитетов и т.д., что, с одной стороны, помогает кое-что объяснить историческими и социологическими аргументами, а с другой, еще резче очерчивает проблему единства знания, его единой универсальной природы. Не превращается ли истина в заложницу консенсусов, достигаемых в определенных контекстах.

Сохранить дух П.В.Копнина, а следовательно, и его установку на открытое понимание возникающих в жизни философских проблем, это тоже обозначает производимое нами культурное усилие для поддержания объединяющего нас сообщества.

В. Г. Табачковский

ПАВЕЛ КОПНИН В ВОСПРИЯТИИ МЛАДШЕЙ ГЕНЕРАЦИИ УКРАИНСКИХ ФИЛОСОФОВ-ШЕСТИДЕСЯТНИКОВ

Перед нами, студентами «набора шестьдесят третьего», Павел Васильевич Копнин предстал как человек, научная глубина которого гармонировала с широтой натуры, а широта питала глубину.

Моя личная судьба подарила, помимо общения с П.Копниным «на публике» (незадолго до переезда из Киева в Москву он читал у нас спецкурс по диалектике), также два личных контакта, ставших этапными в моем духовном и гражданском становлении. Один из них — совместные для философского факультета Киевского университета и академического Института философии «Дни науки — 67». Партистанции не разрешили научному студенческому обществу провести в стенах университета диспут, смысловым ядром которого был Марксов «одиннадцатый тезис» о нацеленности философии на изменение мира. (Это о каком таком изменении вы будете спорить? Через год грянули майские студенческие волнения на Западе, и у кого-то из наших «парткураторов» оказался хороший «нюх».) Павел Васильевич, к которому я, как председатель СНО, обратился за содействием, радушно пригласил всю студенческую братию в малый конференц-зал Академии наук («У меня можно, я ведь известный ревизионист. Пригласим Институт философии — хочу, чтобы выступили все заведующие отделами, среди них, как в Ноевом ковчеге, есть разные, пускай проверяют свой рейтинг на нашей философской смене»); мне выпала честь председательствовать вместе с П.Копниным на упомянутом диспуте и наблюдать, как своеобразно решал он попутно «кадровый вопрос». Заинтересовавшись фамилиями нескольких выступавших старшекурсников, тут же приговаривал: «Возьму к себе» — они таки стали в том же году сотрудниками и аспирантами Института философии, успешно работают здесь и в Институте социологии поныне.

Годом ранее, накануне предыдущих дней науки, я брал у Павла Васильевича интервью для факультетской стенгазеты «Мировоззрение». До этого мы не были знакомы, но я знал, что Копнин — демократ, и напросился на встречу. Оказалось — не только демократ, но и педа-

гог мудрейший, не упускающий случая просветить неопифита. В течение часа мне открылись целые материи еще не исследованных философских проблем: по гуманистике, логике науки, истории отечественной философии. Особенно переживал тогда Павел Васильевич из-за перекоса в наших представлениях о духовных истоках украинской интеллектуальной традиции. «Как вам преподносят отечественную философскую мысль? — По "классической" схеме: вначале ищут "революционеров-демократов", а у них — "элементы материализма и диалектики". В поле зрения преимущественно художественные и публицистические произведения. И это тогда, когда в библиотечных хранилищах — сотни непереуведенных с латыни работ преподавателей Киево-Могилянской академии. Когда-нибудь вы вспомните мои слова — введение этих работ в научный обиход составит гордость украинской философии перед человечеством». Именно в те годы зачиналось по инициативе П.Копнина интенсивное исследование упомянутого философского наследия, которое не прекращалось позднее, в застойные времена, а сам Копнин продемонстрировал, что подлинный интеллигент никогда не посмотрит «свысока» на культуру иного народа.

И глубина, и масштабность творческого гения П.В.Копнина не были сугубо профессиональным обретением, они переплетались с его человечностью, а также с гражданственностью. Примерам последней несть числа, однако важнейшим для потомков оказалось, наверное, то, что этот человек наглядно убеждал интеллектуалов в малоперспективности боязни «власть имущих». О том, что сам Копнин не боится, ходили легенды, которые мы узнавали задолго до знакомства с ним. Это был философ, постоянно «гуляющий», я бы сказал, на грани «цикуты». Может быть, именно отсюда — отчетливое сократическое начало в его общении и с близкими — коллегами, и с «дальними» — читателями. Привлекал сам стиль его философствования. Это — диалог, диалог даже тогда, когда ученый ни с кем непосредственно не полемирует. Он постоянно вопрошает: слушателя, читателя, самого себя. Элементы сократизма невероятно «динамизируют» большинство его текстов.

Берем, к примеру, «Введение в марксистскую гносеологию». Здесь с первых же страниц полемика: по поводу философского содержания понятий «мировоззрение», «метод», «теория познания», полемика относительно

смешения проблем мировоззренческих со специально научными (биологическими, физиологическим, языковедческими), относительно представлений о мировоззрении как «системе общих взглядов на мир» (с упомянутыми представлениями полемически сопоставлены различные значения термина «мир» в современной науке). Далее автор оспаривает бытующие взгляды на предмет мировоззрения, критикует истолкование философии как «учения о наиболее общих характеристиках всех вещей окружающего мира», обособление «диамата» и «истмата». И так — до последних страниц, где подвергаются сомнению утверждения о линейной «синхронности» теории и практики, парадигма неуклонного увеличения «господства» человека над силами природы, говорится о непредвиденных следствиях подобного господства.

«Погодите, — скажет скептик. — Это ведь шестьдесят шестой год. А что ранее?» — Ранее, оказывается, были иные модификации все того же сократизма.

Скажем — год пятидесятый. Еще не «оттепель» и даже не «заморозки», нечто похуже. П.Копнин издает работу «О логических взглядах Н.Васильева». Первые же страницы — о том, как Николай Васильев полемизировал в начале нашего столетия со сложившимися представлениями о сути логического, присущими как сторонникам «чистой логики», так и их оппонентам, тяготеющим к психологизму. Подобными сопоставлениями и противопоставлениями пронизан весь упомянутый труд Копнина. И ценны тут не только итоговые соображения данного автора. Самоценна постоянная нацеленность на дискуссию. Несомненно, важно на то время и введение в философский обиход ряда имен, очень популярных в западной философии, обстоятельное изложение логических взглядов Гуссерля, Липпса, Эрдмана.

О новаторской нацеленности самого предметного поля логических изысканий П.Копнина убедительно говорил сегодня Мирослав Попович, акцентируя на том, что он рассматривал как «вопросы» те сюжеты в тогдашней официозной философии, относительно которых в представлении ее адептов были возможны только лишь «единственно научные ответы». Нет ничего горше, нежели догматическая формула «данный вопрос в принципе уже решен марксизмом столетие тому», — часто повторял Копнин мысль, высказанную им в статье об особенностях философского анализа идеалистических фило-

софских концепций (1963). «Проблема» и «гипотеза» — это, наверное, ключевые термины в философском дискурсе Копнина. Но ведь они — и наидинамичнейшие ингредиенты научного поиска.

Не можем ли мы квалифицировать все это как доказательство тезиса, что творческая энергия П.В.Копнина концентрировалась прежде всего на создании эвристических ситуаций, резонанс которых оказывался значительно шире проблем собственно гносеологии, провоцируя ставить под вопрос любые устоявшиеся, «господствующие» и т.п. представления? — Как в известной эстонской песенке застойных лет: «Думай, думай, думай, думай, думай!» И представляется далеко не случайным, что программную гносеологическую работу П.Копнин увенчал главой «Истина, красота, свобода». Данная триада — своего рода мировоззренческое и экзистенциальное кредо самого мыслителя.

Оно особенно красноречиво с учетом того, что сформулировано в пору, когда П.Копнина захватила идея создания нового направления философских исследований — логики научного познания, которая (в особенности, если учесть умонастроения, преобладавшие тогда в неопозитивизме), казалось бы, весьма далека от вопросов философской гуманистики. Направление уже действовало, оно утвердило себя в мировом философском сообществе, однако Копнин не был сторонником противостояния между, так сказать, сциентистикой и гуманистикой, чувствуя, наоборот, необходимость их взаимодействия. Это была, собственно, кантовская установка «ставить все добытое знание в связь с мудростью», т.е. с «высшими целями человечества», — мысль, высказанная относительно предназначения философии два столетия назад, обрела в наше время «второе дыхание», определив направленность научных изысканий философов-шестидесятников.

Упомянутая мной заключительная глава книги «Введение в марксистскую гносеологию» заканчивалась тезисом, также нетипичным для гносеологических трактатов: «И вся-то наша жизнь есть борьба». Мне всегда казалось, что такой аккорд также имел звучание не только гносеологическое, но и мировоззренчески-экзистенциальное. В самом деле, он нацеливал, с одной стороны, на рассмотрение познания в контексте деятельного творения человеком собственного мира. В то же время мы, те, кто

был в два раза моложе П.В.Копнина, знали, что за данным утверждением стоит непреклонная «борьбистская», личностная суть этого человека — ведь само «перемещение» его из Москвы в Киев окутано легендами об оппозиционности его московскому «начальству». При том, что он занял в Киеве вначале должность много менее московской, он не угомонился, скорее наоборот.

Каждый, кто общался с Копниным, видел в нем борца с «канонизацией» марксистской философии, борца за то, чтобы сделать ее активной участницей мирового интеллектуального диалога, а не монологическим «глашатаем истин в последней инстанции». Достичь этого было весьма непросто, ибо это означало изнурительную, рискованную, во многом неблагоприятную борьбу с теми, кто, как любил острить Копнин, «не стоит, а лежит» на марксистской точке зрения. Мы были свидетелями многих поступков мыслителя, выдававших его неутомимо-неукротимый нрав, его готовность к соревновательности, диалогу, к, я бы сказал, интеллектуальному риску, который нередко (и не без оснований) квалифицировали как «ревизионизм».

Я часто задаюсь вопросом: что помогало людям копнинского полета обеспечивать подобную интеллектуальную атмосферу — в условиях, нацеливающих на «невысовывание» и на «бег на месте — общепримирающий». Помогало многое. Вне всякого сомнения, подлинный профессионализм. Особенности темперамента, душевные качества и т.п. Однако определяющую роль имел, наверное, своего рода инстинкт подлинного интеллектуала, а именно — умение и страсть выискивать нестандартные «мыслительные ходы» в условиях, так сказать, стандарта.

Когда речь идет о философии, таким стандартом был официозный марксизм. Его «размывание» шло по нескольким направлениям. Часть прогрессивно настроенных представителей поколения «шестидесятников» усматривала тот «рычаг», пользуясь которым можно было преодолевать стандарты, каноничность философствования, в диалектическом способе мышления. Официозный марксизм, правда, тоже «клялся диалектикой», однако то была скорее ритуальная формальность, поскольку вконец идеологизированная и вульгаризированная диалектика уподоблялась скорее прудоновскому «устранению нежелательной стороны противоположностей», не-

жели их взаимопроникновению, взаимообусловленности, диалогическому взаимодействию.

В этих условиях поиск «аутентичной» диалектики оказался в значительной степени способом противостояния догматизму, претензиям на абсолютность и соответственно провоцировал на повышение эвристичности философского процесса («крайняя медлительность и нерешительность» в поисках средств такого повышения отмечена П.Копниным в статье, опубликованной «Вопросами философии» в 1962 г.).

Вспышка интереса к диалектическому способу мышления — одна из отличительных особенностей философской атмосферы конца 50-х — начала 60-х годов. На Украине данная тенденция репрезентируема П.Копниным, М.Злотиной, В.Шинкаруком, В.Босенко, из младшего поколения — А.Канарским, М.Булатовым и др. Да простят названные лица мне некоторую модернизацию их порывов, но мы со студенческих лет воспринимали их как нацеленные на «расшатывание» философской «доксы» (устоявшихся стереотипов, согласно Х.Ортеги-и-Гассету) при помощи «пара-доксы». Возможно, не всякая из подобных «пара-докс» выдержала испытание временем, однако в те времена они были очень кстати для возрождения мыслительной культуры.

И существеннейшей «пара-доксой» стало стремление П.Копнина превратить диалектику (да и философию вообще) из идеологического «надзирателя» за специальными науками в способ интенсивнейшего осмысления их новейших достижений. Стремление, далекое от невинности, искушение, сродни тому, которому подверглась Ева, когда ей предлагали отведать яблочко.

Не случайно именно в данный период ностальгия по философской аутентичности пронизывает не только теорию диалектики (в более отдаленной перспективе это приведет к изучению эвристического потенциала «неклассических» разновидностей диалектики — экзистенциальной, негативной и др.). Ищут также аутентичную версию отражательных свойств сознания (П.Копнин еще в шестидесятые годы акцентирует на взаимообусловленности отражения и творчества). Размышления же о творческой сущности человека актуализируют проблему свободы (П.Копнин, И.Бычко). Своего рода итогом подобных умонастроений оказалось, на мой взгляд, выдающееся событие в жизни философского сообщества той поры:

в конце шестидесятых годов Павел Васильевич Копнин в Киеве, а Мераб Константинович Мамардашвили в Москве, каждый по-своему, актуализируют вопрос о марксистской философии как «открытой теоретической системе».

Первый настаивает на том, что, разрабатывая теорию человека, марксисты не могут игнорировать вопросы, поднятые экзистенциализмом, а изучая проблемы познавательной деятельности, необходимо учитывать опыт современного позитивизма (см.: Копнин П. В.И. Ленин и материалистическая диалектика. Киев, 1969. С. 192—193). Наверное, не случайно два мощных направления философствования, которые зарождались в это время в Киеве, мы шутили именовали тогда «красным позитивизмом» и «красным экзистенциализмом»; ортодоксы же от марксизма (не шутили) клеймили как «ревизионистские».

Не менее интеллектуально-стимулирующей оказалась известная статья М. Мамардашвили «Анализ сознания в работах К. Маркса»: автор предложил версию аутентичного марксизма как такового, который содержит в себе интенции фактически всех ведущих постклассических теорий, возникших в современной западной философии. Вот какое, оказывается, «яблочко» вкусила Ева-философия!

Для нас, младшего поколения шестидесятников, упомянутые события были дуновением свежего воздуха, которое вдохновляло не только в ту пору, но и в последующие застойные годы, ибо импульс, касающийся принципов миропонимания, данный мысли однажды, провоцирует «цепную интеллектуальную реакцию» на десятилетия.

Здесь хочу вновь коснуться вопроса, затронутого сегодня Евгением Быстрицким: насколько цельными были философы копнинского круга в своих мировоззренческо-методологических предпочтениях, не были ли эти предпочтения как минимум неоднозначны, а то и противоречивы. Думается, приведенные ранее факты дают основание для вывода о том, что последнее все же имело место; шестидесятники, оставаясь в рамках марксизма, все же нередко оказывались в ситуации «самокритики». Ведь они апеллировали к мотивам, весьма «взрывоопасным»: скажем, стремление к последовательной диалектичности стимулировало попытки применить ее к самой марксистской философской доктрине («метод» — и «система»!), определить границы ее, доктрины, применимости; после-

довательная разработка принципа практики провоцировала на уяснение коллизий человеческого мироотношения, сущностной противоречивости человека и т.п., — а отсюда недалеко уже до «ревизионистов» известной тогда югославской группы «Праксис» и ей подобных. Наконец, утверждение П.Копнина, о котором вспоминал сегодня М.Попович, — вся истина неведома ни «нам», ни «им» — весьма красноречиво. Стоит вспомнить, о чем мы говорили в неформальной среде (и относительно политики и политических деятелей, и относительно философии), чтобы понять, что мы не только разделяли иллюзию, утопические ожидания, но и нередко ставили их под вопрос.

Не могу не сказать еще об одном обстоятельстве, которое помогало создавать и поддерживать подобную интеллектуальную атмосферу. Острота мироощущения, присущая философам копнинского круга, очень часто подпитывалась юмором, иронией (Анатолия Канарского, шестидесятилетие которого мы отмечали недавно, как известно, называли «Вольтером украинской эстетики»). На чтениях, посвященных памяти А.Канарского, я говорил, что чувство юмора было «сублиформой» интеллектуальной свободы в условиях, таковую исключавших. Оно обеспечивало наличие того «интервала» между философом и антифилософской средой, который стимулировал хоть какую-то критическую рефлексю.

Не следует данное обстоятельство переоценивать, но и не стоит недооценивать его. Недавно мне встретилась очень выразительная характеристика тоталитаризма (ее приводит еще один из представителей младшего поколения шестидесятников Вадим Скуратовский) — тоталитаризм отличается концентрированным отсутствием чувства юмора. После этого стали еще более понятными некоторые своеобразные поступки П.Копнина, скажем, когда он, директор научно-исследовательского института, просматривая очередную стенгазету (она у нас все годы после Копнина имела название «За творчу думку»), в которой не было на него карикатуры, разочарованно говорил: «Плохая газета».

Того, кто склонен квалифицировать подобные обстоятельства как непричастные к «серьезному философствованию», можно отослать к ценному антропологическому наблюдению Иммануила Канта, который квалифицировал остроумие как выявление мыслительной свободы, а

серьезную «способность суждения» — как то, что сковывает ее. Весьма высоко оценивая мыслительную строгость, кенигсбергский философ писал: «Первое — это цветок юности, второе — зрелый плод старости. — Тот, кто соединяет высокую степень и того, и другого в одном произведении своего духа, прозорлив» (*Кант И.* Соч.: В 6 т. Т. 6. М., 1966. С. 463).

Не потому ли оказался таким прозорливым, таким юным в своей мудрости и незабвенный Павел Васильевич Копнин?

«Вопросы философии», 1997

Эвальд Васильевич Ильенков (1924—1979)

Специалист по теории диалектики, истории философии, философии психологии. В 50-е годы создал влиятельную философскую школу, оказавшую воздействие на многих представителей наук о человеке (психология, социальные науки, теория культуры). До последних дней жизни работал старшим научным сотрудником Института философии АН СССР.

Соч.: Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса. М., 1960; Количество // Философская Энциклопедия. Т. 2. М., 1962; Об идолах и идеалах. М., 1968; Гуманизм и наука. Наука и нравственность. М., 1971; Диалектическая логика. М., 1974; Становление личности: к итогам научного эксперимента // Коммунист. 1977. № 2; Что же такое личность? С чего начинается личность. М., 1979; Ленинская диалектика и метафизика позитивизма. М., 1979; Искусство и коммунистический идеал. М., 1983; Философия и культура. М., 1991.

Ф. Т. Михайлов

СЛОВО ОБ ИЛЬЕНКОВЕ

Так уж случилось, что познакомился я с Э.В.Ильенковым довольно поздно — в середине, а то и в конце 60-х. И лишь за десять с небольшим лет до его кончины почувствовал себя своим в его доме, смог приходить без звонка, звать по имени и на «ты». То есть так, как многие и многие не только истинные друзья, но и сердечно сблизившиеся с ним единомышленники, большинство из которых справедливо считало себя его учениками... Вот дверь широко распахнута, и Оля — профессор К.И.Салимова, жена и самый преданный друг Эвальда, ничуть не удивившись неожиданному гостю, будто даже страшно радуясь его приходу (да и вправду, обычно совсем не жалея), старается прежде всего завлечь его на кухню и

покормить... что ей чаще всего и удавалось. Не о себе речь веду: гостей всегда было много, и именно так попадали они в квартиру Ильенковых. Недавно в той же «Литературной газете» один критик вспоминал тех, кого он в 60-е годы встречал у Эвальда. «Это был сплоченный кружок единомышленников, — пишет критик. — Но одних уж нет, а большинство далече, за кордоном». Видно, не часто бывал он в этом доме или что-то потерял в памяти за давностью лет. Здесь никогда не было и не могло быть «кружка» — не тот хозяин, не тот стиль жизни и общения. С добрую сотню хороших и разных людей встречал я у Эвальда... И Н. Коржавина, и В. Давыдова, и А. Мещерякова, и С. Виноградову, и Н. Дубинина, и В. Зинченко, и А. Зиновьева, и Ю. Карякина, и... да нет, страниц пяти не хватит перечислять и очень знаменитых, и знаменитых не очень, и просто человеческих, ничем не прославившихся. Другом этого дома был Назым Хикмет. И А. Н. Леонтьев, и Б. М. Кедров... Всплывают в памяти все новые лица, фигуры, слова. Простить себе не могу, что однажды увлек меня Эвальд Васильевич к Юрию Любимову (и с ним он хорошо дружил), вез читать свою пьесу: «Ни бог, ни царь и ни герой...», да дело какое-то было у меня, вот такое важное, что и не помню сейчас, и помнить-то, видно, не стоит. А вернее всего: постеснялся к горящему творчеством человеку незванным явиться. Так же и с Галичем получилось... Особенно любил Эвальд его песню о Зоценко. Не пел ее — рассказывал, но так, что слезы всегда на глаза наворачивались.

Думаю, что очень многие сегодня могли бы поделиться личными воспоминаниями о годах близости с Ильенковым, но я позволил себе чисто личное с особой целью, если хотите, собственно деловой. Прежде чем слово мое о школе Ильенкова прозвучит, необходимо было сформулировать забавный парадокс: речь пойдет именно о школе, а школы как таковой никогда у него и не было. В подтверждение тому — последнее личное воспоминание.

Несколько лет тому назад пришлось мне выступать с серией докладов (или, вернее, с одним, но в течение трех дней) перед коллективом философского факультета Ростовского государственного университета. В большей аудитории, представляя докладчика слушателям, декан факультета вдруг сказал, обращаясь теперь уже ко мне: «А Вам я представляю наш факультет одним, уве-

рен, приятным для Вас словом: мы все — от первокурсника до декана — ильенковцы». Зал буквально взорвался аплодисментами. А вот и прямо противоположное: недавно на защите одной из наших аспиранток ее официальный оппонент с плохо скрываемым раздражением заявил: «Работа выполнена профессионально, но позиция диссертанта неприемлема — она же явная "ильенковка"». И тем также утвердил наличие этой особенной школы.

И все равно: школы не было. Э.В.Ильенков никого не учил. Он работал, писал. Выступал не часто. И слово его влияло на читателей и слушателей только потому, что это было серьезное слово высокой философской культуры, возрождению которой он отдал свой талант, всю душу и саму жизнь. В человечески искренней статье, ставшей предисловием к посмертному изданию книги Ильенкова «Искусство и коммунистический идеал», Мих. Лифшиц очень точно раскрыл секрет обаяния его философии. Здесь следовало бы процитировать целую, как минимум, страницу из этой статьи, но, отсылая читателя к первоисточнику, приведу лишь два отрывка:

«Помню, я читал его раннюю рукопись о диалектике в "Капитале" Маркса (есть еще более ранняя — "Космология духа". — Ф.М.) и понял, что годы войны и послевоенных событий совершенно не устранили лучшую традицию предшествующего десятилетия, что каким-то чудом семена, брошенные тогда в благодатную почву, но основательно затоптанные, все же взошли, хотя и в другой, неузнаваемой форме. Эвальд Ильенков, с его живым интересом к Гегелю и молодому Марксу (открытому у нас в двадцатых-тридцатых годах, а не за рубежом, как пишут иногда по незнанию или по другим причинам), с его пониманием диалектики "Капитала" Маркса, "Философских тетрадей" Ленина, казался наследником наших дум. Этими словами я не хочу ослабить оригинальность Ильенкова. Он шел в том же направлении, но в другое время и другим путем. Я хочу только сказать, что его появление в моей берлоге было как бы доказательством *закона сохранения мысли*, воспроизводства ее в новых условиях, если она того заслуживает. Для меня он был неожиданно найденным союзником в тот момент, когда подъем марксистски мыслящей и образованной молодежи тридцатых годов остался только хорошим воспоминанием. За Ильенковым чувствовалось мно-

жество других молодых голов, множество, правда, неопределенной плотности»¹.

И еще, если позволите: «Читая сегодня произведения Эвальда Ильенкова, я в каждой написанной им строке вижу его деликатную и вместе с тем беспокойную натуру, чувствую пламя души, страстное желание выразить близость земного, нерелигиозного воскресения жизни и эту нервную дрожь перед сложностью времени, приводящей иногда в отчаяние. Неплохо сказано где-то у Томаса Манна: нужно привыкнуть к тому, что привыкнуть к этому нельзя.

Вы не могли привыкнуть к этому, мой друг, вот почему, наверное, вы так рано ушли от нас»².

Его жгучую боль за судьбы культуры, скрытую в жестких продуманных строчках, как бы вбивающих в легкомысленные головы людей, приобщавшихся к философии через толщу бездарных комментариев к убогой четвертой главе «Истории ВКП(б)», упругие формулы логики исторической общественной деятельности человека, — эту боль многие (видно, безнадежно уже отравленные облегченным пафосом популяризаторских брошюр) принимали за риторизм сектанта. С некоторыми из таких он бурно полемизировал. Нет, не надеясь и их увлечь живым духом философии. Полемикой с ними он думал расшатать инертность мысли молодых читателей, привычно следующих за «дешевыми разносчиками научных истин», как называл Энгельс философов, мыслящих «естественнонаучно» и принимающих каждое последнее слово натуралиста за выдающееся философское обобщение. Таких ни увлечь, ни убедить в чем-либо нельзя. В одном из рассказов марсианского цикла Рея Бредбери заблудившиеся во времени при встрече не могут даже руки пожать друг другу — в том же месте пространства они взаимопроницаемы, нет в них друг для друга ни сопротивления, ни тепла. Вот так и с нашими «разносчиками»: сквозь, мимо текста Ильенкова проходит их взгляд, не чувствуя сопротивления аргументации, не задерживаясь на узловых точках мысли. Только «выводы» колют их больно, только на «формулировку» обрушивается весь их критический пафос. «Как, — несется по городам

¹ Цит. по кн.: *Ильенков Э. Искусство и коммунистический идеал.* М., 1984. С. 6.

² Там же. С. 7.

и весям крик возмущения, — идеальное, и вдруг не в голове! Не *субъективная реальность* переживания организмом состояния собственных нервов! Гегельянщина, платонизм! Идеализм объективный!» И сочиняется из плохопереваренной мешанины отвлеченных нейрофизиологических представлений и предельных абстракций теории информации «новейший» вариант старого как мир натуралистского объяснения чистой субъективности идеального: когда одна нейродинамическая система считывает информацию с другой, раскодируя ее, — носители информации материальны, а значение таковой, естественно, не вещественно, а следовательно, идеально. Ей-богу, у Демокрита: «оттиски», оставляемые на теле центрального чувствилища внешней атомной оболочкой вещи, от нее оторвавшейся, — звучит не хуже. Его натурализм даже прозорливее, ведь именно сущностная *форма* (эйдос) внешнего предмета, ему как таковому присущая, собственной персоной достигает чувствилища души и внедряется в нее. А современные толкователи идеального как лишь субъективной реальности, уловив чувствительнее самых лучших сейсмографов «подземные толчки», грозящие разрушить здание примитивного натурализма, вне которого им, не читавшим даже Фихте, так неуютно, преподносят нам на полном серьезе и со ссылками на самую передовую науку полумистический, полувульгарный «кентавризм». Тут и считывающие информацию друг с друга материальные нейронные системы, тут и неизвестно откуда выскочившая личность. Но она-то что такое: система всех систем или одна из них, наделенная светом разума?.. Задавать эти вопросы критикам Ильенкова — безнадежное дело. В их логике человек один на один противостоит внешним источникам информации (материальным предметам и процессам), и вся драма идей разрешается на этом робинзоновском необитаемом острове. Помню спор солидного философа с самым рьяным защитником «информационного» идеального. Философ спросил его: «Вот в Третьяковке на стене висит полотно Репина, а в зале никого... Так как же по-вашему, *образ* старика отца, в припадке безумия убивающего своего сына, исчез с полотна, как только последний посетитель вышел из помещения?» Даже я не ожидал, что критик наш будет столь последовательно упорным: «На материальном холсте только материальные краски; образ же возникает лишь в голове воспринимающего информа-

цию человека», — таков был ответ. Бедный Репин! Он-то старался *думать и чувствовать* цветом, рисунком, композицией! И навсегда впечатленный им жуткий образ отчаяния, еще как-то надеющегося остановить мгновение, вернуть роковой миг, отвергнуть неминуемое, оказывается не на полотне... Это какая-то фата-моргана, возникающая во мне, в моей бедной голове, и только в ней. Тогда и форма стула не зовет меня, усталого, присесть... Та самая, объективно приданная дереву руками мастера форма! Эх, да что там говорить! Бесплезно говорить.

А Ильенков спорил, доказывал, но, повторяю, не «разносчикам», а тем, кто еще способен свежим взглядом прочитать Декарта и Спинозу, Фихте и Гегеля, Маркса и... Мегрелидзе, например. И вслед за его текстами втягивались молодые (и не очень) в чтение философской классики, и спорили с ним, и убеждали его... Поверьте, он очень даже умел слушать и обдумывать возражения. И принимал их, если находил разумными.

Снова вспоминаю, как незадолго до кончины он, усадив меня в свое кресло и присев на подлокотник (любимая поза — это подтвердят многие), заставил читать кусок рукописи. Свежий, утренний — для книги о диалектике Ленина и метафизике махизма. Рукопись была еще не правлена рукой автора. Я читал, он «бежал» глазами по следу моего взгляда, скользящего по машинописным строчкам. Но вот, отложив рукопись, я стал упрекать его за излишнюю резкость выражений («в ругани ты Ильича самого перещеголял»), за перехлесты в, как мне казалось, одностороннем изображении и истолковании фантастической повести А.А.Богданова (Малиновского). Последнее замечание он отверг неумолимо: «Разве ты не видишь, что надежда Богданова на технократическое от имени науки управление уродлива, но реально воплотилась в жизнь! "Частичность" мира, не достигшего обобществления труда и трудящихся, представленная "умными" инженерами вещей и душ, воплощенная в механизме управления, есть власть, есть лишь ступень к новой и самой страшной форме деспотизма. И мы эту ступень уже "осилили"», — волновался он. И в дальнейшем не только не ослабил, но даже усилил, как мне показалось, критику идеи просвещенного, но властного управления. Но другие замечания выслушал молча. «Пожалуй, — уставив в пространство неподвижный взгляд больших, круглых, выразительных глаз, заметил он как-

то вяло, — сказано у меня верно, но... подумаю». Заспо-
рили о чем-то другом, Эвальд возражал снова. Потом
снова вернулся к рукописи, что-то перечитал и отложил.
В окончательном (нет, окончательного варианта так и не
получилось, он далеко не закончил работу) варианте за-
мечания, как говорится, были учтены. То же рассказы-
вал мне не раз и Э.В.Безчеревных, нежно любивший
его, не намного его переживший. Именно он был изда-
тельским редактором книги Ильенкова и уверял, что ав-
тора более внимательного к замечаниям ему встречать не
приходилось.

Ну вот. Получилось и еще одно «самое последнее»
личное воспоминание. Возможно, для моей цели не толь-
ко личное, но уже и лишнее. Об ушедших из жизни
всегда вспоминают хорошее, а тем более об Эвальде хо-
чется рассказать побольше.

Но и при жизни, и после смерти говорили и плохое.
Например, что он не очень храбрый человек, что пани-
чески боялся репрессивного аппарата, что поэтому не
всегда писал то, что думал. И что из Ленина диалектика
великого «лепил» по той же причине. Страх, должно
быть, был; но не тот храбр, кто не боится, а тот, кто и
при этом говорит и делает так, как велит ему совесть. А
ведь это о нем на одном из научных собраний, посвящен-
ных его памяти, было сказано: «Говорят иные, что
Эвальд не был храбр, только вот ведь что получается: с
этой трибуны, с трибуны зала всех собраний Института
философии в самые тяжелые времена один только
Эвальд и говорил открыто то, что думал». Это, конечно,
преувеличение — «только Эвальд», но что среди немно-
гих и он — это правда. Писал и говорил искренне. Ис-
кренне «пересаливал» в спорах с унижающими филосо-
фию. Искренне не соглашался со своими друзьями, если
они переходили в стан борцов с диалектикой, с марксиз-
мом. И был он однолюб, упрямо работал над проблемой
творческого воображения как истинно человеческой,
сущностно человеческой основы всех прочих субъектив-
ных способностей людей, рождаемой каждый раз заново
в изменяющей обстоятельства со-деятельности людей.
Истории и способам этой деятельности, логике, способ-
ной опереться на исторические формы общности, как на
собственные категории, он и посвятил себя без остатка.

Давать сжатый обзор его взглядов нет смысла. Лучше
внимательно перечитать то, что он нам оставил.

Лучше — книгу за книгой, статью за статьей. И именно теперь, когда куда-то в глубь времени ушли наши старые нервные споры, когда на поверхности тьма-тьмушая новых проблем. А вдруг окажется, что и к ним, к их теоретическому осмыслению ведут логические пути-дорожки, для прокладки которых всю свою жизнь работал Э.В.Ильенков.

* * *

Ведь за теми спорами о продуктивном воображении, об идеальном, о противоречии, его природе и формах бытия, об учении и воспитании, об абстрактном и конкретном, как и о многом другом, скрывалось глубокое различие двух способов полагания предмета мысли — двух разных подходов вообще к любой проблеме, достойной человека. Первый — традиционный подход рассудочного мышления к своему предмету. Назовем его, хотя бы для краткости, «нерефлексивным». Предмет теоретического мышления здесь конструируется пространственно, «берется в форме объекта» (Маркс) и уже поэтому как бы совпадает в сознании с объектом, представляясь сознанию своей пространственной проекцией. К самому себе мышление вынуждено отнестись как к чему-то принципиально внешнему для предмета, чуждому ему. А именно: как к чисто субъективной способности разума, так же предстающего самому субъекту в виде его «естественного» качества или свойства. Такого же естественного, как свойство огня греть и жечь. Мировоззренческих и методологических следствий из столь «естественной» установки не счесть. Здесь и представление о познании как «передаче» органами чувств и мышлением свойств объекта на суд разума. Здесь и неискоренимая в натуралистических штудиях убежденность в том, что именно объект диктует разуму методики его исследования: есть в мире вещей, например, сила притяжения их друг к другу, следовательно, измеряй ее, высчитывай, соображай, чему она пропорциональна прямо, а чему обратно. А если обнаружил микрочастицу, то по ее объективным свойствам для ее улавливания и изучения надо конструировать и строить соответствующие приборы и т.д., и т.п. Здесь и неизбежное допущение предустановленной гармонии мышления и мира объектов. Здесь и вынужденное признание неизбывной таинственности, а

возможно, и абсолютной непознаваемости интуитивных всплесков продуктивного воображения, видимо, рвущихся навстречу предметному (сиречь, объектному) миру из таких глубин психики, которые сознанием и не измеряются. И то верно: если психика, сознание, разум, мышление есть нечто изначально *субъектное*, к миру объектов относящееся лишь в качестве «уловителя» и «преобразователя» сигналов (информации и т.п.), идущих извне, тогда неизбежно признание любой силы познания и преобразования мира как силы, изначально и по сущности своей так же субъективной, в субъекте замкнутой, да и самим субъектом правящей.

Категории же мышления — просто наиболее широкие обобщения внешних впечатлений, а если это не проходит (а это, действительно, в серьезном доступе к практике мышления и мысленного конструирования не проходит), то тогда они — врожденные формы самого мышления, кои мы называем разными словами. Например: причина — действие, возможность — действительность, сущность — явление и т.п. Что же касается противоречий, то тут уж совсем обязательно исходить из семантики слова: речение против, спор, а то и результат непоследовательности в развитии мысли, приводящей к тому, что субъект начинает что-то утверждать и отрицать в одно и то же время. В мире объектов (в объективном мире) никто ничего не «речет», ни о чем не судит, а потому и запутаться не может, и с самим собой «спорить» не будет: объект есть то, что он есть, а изменившись, он становится другим, то есть опять-таки тем, чем стал.

И наконец, последнее из перечисленных следствий рассудочного, неререфлексивного подхода. Последнее в качестве примера, ибо имя таким следствиям — легион, и каждое из них вызывает столкновения философов и теоретиков, коль скоро стоят они в разном отношении к собственным способностям полагать предмет своего мышления. Те, кто прочно усвоил логические приемы и зависящие от них представления первого подхода, опять-таки просто вынуждены видеть вокруг себя множество отдельных вещей и предметов, разными и разнообразными свойствами обладающих. Все это многообразие для них (как многообразие самостоятельных сущностей; скажем, по Аристотелю, — «первых сущностей») и есть подлинное богатство *конкретного*, «вот этого», здесь и теперь представшего перед наблюдателем мира. Благодаря есте-

ственной способности своего разума тот же наблюдатель может отдельно рассмотреть то или иное качество (свойство), ту или иную особенность, но повторяющуюся у целого ряда вещей — объектов. Он как бы отвлекает свойство от его носителя, и возникает в его сознании представление, скажем, о тяжести или белизне, мягкости или... стоимости. Отвлечение есть абстрагирование, а дальнейшие операции мышления с такими *абстрактными* (отвлеченными) категориями есть не что иное, как абстрактное мышление. Итак, и в этом случае конкретное — в миру, абстрактное — в сознании, в мысли. Между миром и мыслью пропасть не зарастет.

Да, чуть было не забыл: идеальное! И тут логика подхода к предмету мышления и к мышлению (ставшему тем самым тоже предметом мысли) с железной необходимостью заставляет теоретика-натуралиста, или, что то же самое, — нерефлексивно мыслящего теоретика, признать любой объект материальным (так сказать, целиком и полностью), плоды же абстрактного мышления и сам процесс оперирования с абстракциями — идеальным. О том, к каким казусам приводит такой подход, верный библейскому принципу: «или — или, а что сверх того, то от лукавого», я говорить не буду. Достаточно ранее прозвучавшего напоминания о парадоксах, а то и просто полной неразберихе в случае с натуралистическим толкованием того же идеального.

Второй подход (назовем его теперь уж *рефлексивным*, то есть на себя обращенным и себя не упускающим из виду даже при суждениях об объектах) отличается от первого прежде всего тем, что различает вынужденно объект и предмет мышления (осмысленной, целесообразной деятельности вообще). Почему вынужденно? Да прежде всего потому, что считается с фактом, на разные лады обсуждавшимся в истории философами, но лишь укрепившимся этими обсуждениями в их сознании в качестве факта. Таким фактом является то, что, строго говоря, прежде чем зафиксировать «объект» как таковой, прежде чем выделить его даже для наблюдения, а тем более для таких его преобразований, которые позволяют зафиксировать в нем нечто устойчивое, для сообщения другим доступное, человек должен... изобрести орудия, средства и способы, подходящие для таких своих активных действий.

Простым запечатлением в мозгу или на экране сознания наличных свойств объекта тут уж никак не обойдешься. Поэтому мышлению все время приходится иметь дело не прямо с самим объектом как таковым, а с теми мышлением же рождаемыми образами орудий, с помощью которых этот объект и для практической деятельности, и для самого мышления мог бы быть представлен (поставлен *перед*). И нельзя не согласиться по крайней мере с двумя следствиями такого простого исторического факта. Во-первых, оказывается, предмет осознающей себя человеческой деятельности изначально не тождествен некоему безразличному к ней, деятельности, объекту, из которого его приходится «изымать» для представления сознания. И не методами, органично, безусловно и врожденно присущими самому человеку как таковому: его мозгу, его психике, его сознанию, разуму и мышлению. Ведь сами эти методы человеку вместе с другими и для других (только поэтому и для себя) приходится изобретать, подгоняя себя образом цели, также не возникающим спонтанно в голове, а рождающимся при поиске выхода из той или иной «безвыходной» ситуации. Только и сами эти методы ничего не стоят и даже не могут замаячить на горизонте поиска без одновременно потребного нового орудия или средства воздействия на строптивую ситуацию и ее вещные атрибуты. Вот и получается, что *предмет* осмысливающей себя человеческой деятельности (предмет мышления) — совсем не то, что объект.

Но ведь и мышление теперь уже совсем не то, что в первом случае, при первом неререфлексивном подходе к нему. Голову, конечно, и в этом случае надо иметь на плечах. Но и руки, и ноги, и все прочие органы, обеспечивающие целесообразную жизнедеятельность человека, его потребности и способности их удовлетворения. Для мышления все это абсолютно необходимое, однако не достаточное условие. Самодостаточное, то есть — главное, системообразующее, генерирующее изменения и во всех остальных «условиях» и средствах жизни, — это... *воображение*. Но и оно оказывается при исторически рефлексивном подходе к логике человеческой деятельности не врожденным свойством, не даром бога или природы, а рождающимся в обращениях людей друг к другу способом переводить во-образ то, что ничего не (или мало что) значило до этого для обращающихся друг к другу людей, вместе стремящихся вырваться из-под давления

обстоятельств. То есть не просто в некий, зеркально повторяющий внешне, чувственно воспринимаемые качества объекта, а в именно и *общезначимый* (значимый одно и то же для всех, всеобщий), формулируемый для обращения людей друг к другу и только для них «именно такой» *образ*. Проективный даже тогда, когда человек один на один созерцает объект.

Ведь и в этом случае он занят формообразованием (этот процесс психологи сегодня и называют восприятием; только у животных формообразование следует видоспецифической потребности, такому же опыту и т.п., а у человека — потребности в обращении к другим людям, почему и формообразование у него есть прежде всего образование *понятной* формы).

Мышление человека — отнюдь не переработка информации в недрах серого вещества мозга, хотя и в таком универсально-бытийном механизме оно нуждается. Мышление человека — это прежде всего и по самой своей сути, не говоря уже о происхождении, *деятельность*, обращенная к другому и всегда вместе с ним совершаемая (даже если этот «другой» сам субъект мышления) для разрешения противоречий в сложившихся обстоятельствах, в задачах, которые бытие не всегда любезно подбрасывает людям. Для мышления мало мозга одного человека: всегда нужны мозги, а главное — то, что приводит их в движение, — потребности, самими же обладателями мозгов произведенные вместе с производством средств к жизни, условий жизни и форм своего общения.

Так сближаются, грозя слиться, берега ранее непроходимой пропасти, отделявшей мышление и бытие. И при этом сближении, при исторически рефлексивной реконструкции шагов и этапов, форм и всеобщих способов становления и развития осознанного бытия людей — *реального* процесса их жизни принципиально иные даются ответы на вопросы о том, что есть противоречие, конкретное и абстрактное, идеальное и т.д. по всему неполно приведенному выше перечню.

Обоснованием этих ответов и занят был всю свою творческую жизнь Эвальд Васильевич Ильенков. Это он, анализируя «Капитал» Маркса, ярко продемонстрировал нам еще в 50-е годы, что не выдерживает критики как абсолютно несостоятельное понимание абстрактного и конкретного, логики и теории познания вообще, все еще

распространенное в нашей философии. Вернее, в сознании несостоятельных учеников полузабытых эмпиристов. И оказалось, что созерцание в наличном бытии свойств предметов, представших перед субъектом, не есть отношение к конкретному. Напротив, сие есть типичнейший пример самой первоначальной бытийной абстракции. Недаром так любил Эвальд Васильевич советовать всем, кто начинает свое знакомство с философией, прочитать статью Гегеля «Кто мыслит абстрактно»! Конкретное же обернулось богатством развитых форм, многообразием выявления ведущей силы процесса во всех этих (в том числе и противоречивых, противостоящих друг другу) формах. И только их целокупность, только осмысление их богатства как некоторой целостности позволяет увидеть в каждой из них всю полноту действий единой для всех для них сущности.

Оставим в стороне вопрос, вытекающий из такого подхода к абстрактному и конкретному, — вопрос о трудной работе мысли в ее движении от абстрактного к конкретному, хотя и в самое последнее время не так уж редко приходится слышать: вначале человек идет от конкретного к абстрактному, а потом — наоборот. Эту форму, скрыто возвращающую в философский обиход привычный для неререфлексивно мыслящих эмпирический подход к мышлению и его предметам, а тем самым и к отношению мышления к бытию, приходилось не только слышать, но и читать. Где? Да в тех же старых вузовских учебниках. Несмотря на это, не буду цитировать ни Гегеля, ни Маркса, ни Ильенкова. Дело сделано, и сделано основательно. А имеющий голову да внимает и думает.

Таковыми же «необычными» предстали в работах Ильенкова и все другие его сюжеты и темы. Но следует, однако, иметь в виду, что в постоянном напряжении, выдерживая давление «охранителей-ортодоксов», Ильенков во многих работах своих доводил аргументацию «от противного» до такой степени демонстративности, что терялась порой «другая сторона» проблемы, обоснованию которой он так неистово отдавался. Так, например, на мой взгляд, произошло с разъяснением бытийности мышления и трактовкой идеального. Возможно, и с какими-либо еще сюжетами, но я остановлюсь на этих двух, еще раз предупреждая читателя, что нельзя не учитывать адресата некоторых публикаций о мышлении и идеальном.

Итак, о бытийности мышления. Некоторые читатели Ильенкова, в том числе и симпатизирующие ему как философу и личности (в нем это, правда, сливалось), не могут и сегодня согласиться с чисто Спинозовским, как им кажется, взглядом на проблему мышления в его реальности. «Движение по предмету, движение по логике предмета, как два уровня телесного воспроизведения в реальном жизнедействии внешней формы и сущности воспринимаемого мышлением мира» — эта формула ничего не дает, кроме утверждения земного, бытийного, не потустороннего бытия мысли. Ну, еще и уподобление субъективного образу образу (форме и сущности) предмета кое-как тут объясняется. Но ведь чистейший же механицизм! Зачем, мол, понадобилось Ильенкову — именно ему! — использовать эти старые фокусы Спинозы в споре с нашими вульгарными материалистами, либо вообще отрицающими бытийную реальность мыслительной деятельности, либо, напротив, полностью сводящими эту деятельность к физиологической функции мозга? — Так нередко спрашивают, более того, так нередко возмущаются думающие читатели. Им кажется, что даже обращение к логике продуктивного материального, общественного производства — развернутой *тем же* автором, не спасет положение. Пресловутое «круговое движение руки», воспроизводящее форму круга, но не передающее, распространяется якобы и на орудийно опосредствованную взаимную деятельность людей, на труд, на общение, на предметную деятельность вообще, сохраняя и здесь свое значение ключика Буратино — ключа к тайнам отношения мышления и бытия.

Такова сила инерции удачно найденного для частной цели яркого образа: он претендует и на объяснение всеобщего. И вот что интересно: хорошо помню, какую взрывную роль играл этот образ для переориентации сознания тех, кто привык «медицински» оценивать функцию мозга — мышление. Ильенковский бросок к Спинозе, а от него к Гегелю, к Фихте, к классике философской, к Марксу — этот путь вслед за Эвальдом Васильевичем прошли на моих глазах многие из бывших «натуралистов». В текстах Эвальда Васильевича и этот образ работал безотказно... на первых порах приобщения к философской культуре. Но нередко те же «обращенные» уже после Гегеля и современных философов (зарубежных) с удивлением смотрели на злополучное «движение

руки, воспроизводящее форму круга»: но здесь же нет и намека на продуктивное воображение! — восклицали они, — а без его решающей роли никакое это не мышление, а сканирование примитивной копировальной машиной внешних границ предъявленного ей объекта!

Кто мыслит абстрактно? Видимо, все-таки тот, кто оценку большому философу, включающую в себя характеристику его самости, его места в истории нашей философии, дает на основании одного запомнившегося образа, сыгравшего в свое время в его собственном развитии важную роль. Все это так, но, как предупреждение всем нам, — в философии нет и по самой природе ее (если, конечно, это рефлексивная философия) не может быть «частности», произведенной для «частной» цели и не несущей в себе и через себя всю полноту исходного основания философской концепции. И все же я вынужден признать, что сам по себе «спинозизм» при утверждении бытийности мышления — работает не только на явление читателю концепции самого Эвальда Васильевича, но и подводит под нее незаметную вначале мину. Нет, не потому, что сам Спиноза «чего-то недопонял» и вообще устарел: Ильенков ведь и брал его именно как *необходимый исторический этап* становления диалектически противоречивого тождества бытия и мышления. В чем легко убедиться, обратившись к текстам. И тем более он никогда не ограничивался этим этапом, прослеживая его развитие в самой истории философии, идя строго вслед за ней. И его Фихте, его Гегель, его, наконец, Маркс — разве они оставили в неприкосновенности логику «уподобления»? (Кстати, на самом деле в чистом виде ее нет и у самого Спинозы.) Но Спиноза, как провозвестник диалектической идеи тождества мышления и бытия (новой для Нового времени), сделал однажды свое дело в текстах Ильенкова и, как Мавр, мог бы уходить. Однако он оставался, и, на мой взгляд, все же не случайно. Он что-то мешающее делу нашептывает нам, когда мы читаем великолепные статьи Э.В.Ильенкова об идеальном. В первой (Философская энциклопедия. Т. 2. М., 1962) голоса старика Спинозы я, признаюсь, не слышал. Но вот и посмертно изданной нашим журналом статье (Проблема идеального // Вопросы философии. 1979. № 6, 7) все же ощущается присутствие логики «уподобления», хотя бы и скрытой (более того, преодоленной) движением гегелевского «снятия» (Aufheben) к «снятому

(Ideelle). Но ощущается особенно теми, для кого подобная «гегельянщина» — темень темная. Скользя глазами мимо главного, они вычлениют для себя одну лишь формулу: идеальное — это существование вещи вне самой вещи; это — ее воспроизведение в ином «материале» — в предметной деятельности людей, в образах действий с «вещью». А вычленив только это, чувствуют себя неуютно. Будто что-то очень важное для понимания идеального недосказано в данной формуле.

Верно: главное в ней пропущено. Но не у Гегеля и тем более не у Ильенкова, которого также следует брать в полном многообразии его материалистических подходов к идеальному. И сама формула сия — не что иное, как момент *развития* мысли о бытийно творческой силе вечно пребывающего, конечные формы преобразующего предметного творчества природы и человека. И все же. Неверное в особом внимании к «формуле» воспроизведения, в небрежении процессом *формообразования*, формотворчества, требующего для своего понимания ответа на вопрос о природе энтелехиальных сил, повинны не только забывшие или невнимательно читавшие Гегеля читатели последней статьи Ильенкова... Спинозовский «модус» субстанции, способный выявить один из ее атрибутов — мышление — именно воспроизведением формы и сути любых иных модусов, в данной статье имеет одно имя: Человек. Природа же способности к творчеству более подробно раскрыта в других работах Ильенкова, ему постоянно памятных и для него подсознательно присутствующих и в обсуждаемом тексте.

Читая его труды, нетрудно убедиться, что для него не только *причиносообразные*, и *целесообразные* силы *natura naturans* (это, собственно, одна сила — сила творения новых форм бытия) по существу своему далеко еще не раскрыты и в самом близком нам природном «объекте» — в человеческой продуктивной, творческой деятельности. Понятие же об идеальном не есть понятие об эпифеномене действия данной силы, но о самом ее действии, о «механизме» его. Именно Эвальд Васильевич много, гораздо более других сделал для того, чтобы мы сегодня смогли ответить на вопросы, рождаемые попытками проникнуть в тайны этого «механизма». Во времена широко распространения (если не господства) натуралистических представлений о человеке он сумел показать, что энтелехиальная продуктивная сила — сила воображения —

не заложена ни в предметности условий человеческой жизни, ни в устройстве человеческого мозга; тем более ее нельзя отыскать в любых механизмах и процессах «уподобления». Перечитайте, пожалуйста, под этим углом зрения статью моего героя — статью «Об эстетической природе фантазии». Здесь, на мой взгляд, он вплотную приближается и к природе идеального.

Вот почему такое напряженное в своих социальных и теоретических импульсах, но такое спокойно-уверенное, в великолепную форму выливающееся творчество Ильенкова нельзя брать фрагментарно, используя для цитат *отдельные* положения. А для полного собрания сочинений, видно, эпоха была не та. Не та эпоха, чтобы... а впрочем, она была такая, которая породила уникальное явление в нашей философии — философа. И он сделал много и очень успешно прежде всего для того, чтобы такие «явления» при всей своей обязательной уникальности не были одиноки.

«Вопросы философии», 1990

Д. Бэксхерст

ФИЛОСОФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Моя тема сегодня — философское значение понятия «деятельность». Я не буду говорить о философских следствиях той работы, которая проделана теоретиками деятельностного подхода; без сомнения, существует много таких следствий, но не они предмет моего рассмотрения. Я хочу заняться таким вопросом — содержит ли теория деятельности некое фундаментальное философское видение. Деятельностный подход, конечно же, представляет собой определенный способ рассмотрения человека и его отношений с миром. Но в какой степени он связан с центральными вопросами философии? Я остановлюсь на той работе, которая проделана Эвальдом Ильенковым, философом, идеи которого иногда представляются как выражение различных философских предпосылок деятельностного подхода. Ильенков, конечно, не единственный мыслитель, которого можно рассматривать как «философа деятельности», однако его сотрудничество с А.Н.Леонтьевым делает его работы оче-

видной точкой, с которой следует начать разработку философских «измерений» теории деятельности.

2. Иногда говорят, что особая важность понятия «деятельность» подчеркивается тем фактом, что наше практическое взаимодействие с миром является фундаментальным отношением, которое определяет, каковы мы есть, и поэтому является ключом для понимания природы мышления, сознания, самосознания, личности, траектории человеческого развития, характера социальной организации и трансформации и т.д.

Такое утверждение, однако, вызывает два очевидных возражения. Первое имплицитно содержится в высказывании Б.Ф. Ломова, которое я процитирую: «Психологические явления формируются, развиваются и проявляют себя в процессах деятельности; но они не могут быть приписаны деятельности или обществу; их субъект — социальный индивид, личность. Деятельность и общество сами по себе не имеют психологических качеств; в самом деле, они не могут существовать сами по себе. Личность является носителем психологических свойств»¹.

Позиция Ломова заключается в том, что важно видеть человека, который действует, а понятие деятельности должно рассматриваться как вторичное при объяснении ментальных феноменов. Понятие «субъект» является первичным по отношению к понятию «деятельность». Субъект, персона является тем, кто действует и думает, а не деятельность или какие-либо другие надындивидуальные феномены. Можно представить аргументы Ломова следующим образом. Мы не сможем придать смысл деятельности до тех пор, пока не имеем понятия «субъект» или «личность», поскольку только они могут действовать. Но субъект, способный к деятельности, должен мыслиться и как носитель ментальных состояний; следовательно, понятие «деятельность» не может привлекаться для объяснения понятия «субъект». Конечно, такое рассмотрение действий субъектов является очень важным при объяснении развития их ментальных способностей и ментальных состояний. Человеческая деятельность поэтому оказывается важным объектом изучения для психологии, однако понятие деятельности может играть только маргинальную роль в философских рассмотрениях природы и происхождения сознания.

Теперь о втором возражении. Почему следует предполагать, что отношение субъекта и объекта может быть

охарактеризовано наилучшим образом с помощью одного «ключевого понятия»? Даже если полагать, что лучше все-таки рассматривать человеческие существа как обладающие динамической, а не «статической» сущностью, как это хотят подчеркнуть теоретики деятельностного подхода, почему «следует» должно иметь определяющее значение, а не множество различных отношений?

3. Давайте снова вернемся к Ильенкову, работы которого по «проблемам идеального» могут, я думаю, рассматриваться как прямой ответ на первое возражение². Для Ильенкова «проблема идеального» является проблемой природы и возможности нематериальных феноменов. Какое место в физическом мире должен определить материалист для таких феноменов? Многие советские современники Ильенкова представляли идеальное как ментальное и утверждали, что ментальные состояния сводимы, в конце концов, к состояниям мозга: все нематериальное локализовано в человеческой голове; Ильенков, напротив, повернул направление объяснения. Для него идеальные феномены существуют объективно, как аспекты мира, независимо от индивидуального сознания, и их объективное существование оказывается, в свою очередь, решающим для объяснения индивидуального сознания.

Позиция Ильенкова может восприниматься как определенного рода платонизм. Он, однако, озабочен тем, чтобы разъяснить те аспекты, которые кажутся родственными платонизму. Нет ничего мистического в объективном существовании идеального, поскольку идеальные феномены в конце концов обязаны своим существованием человеку. Они являются «объективациями» человеческой деятельности. Благодаря трансформациям природы посредством человеческих действий оказывается, что значения и ценности как бы вписываются в природу.

Понятие «объективация» легче понять на примере артефактов (этот термин был введен теоретиками деятельностного подхода). Что отличает артефакт от физического объекта? Ильенков сказал бы, что артефакт несет определенное значение, которое существует не благодаря физической природе, а потому, что он произведен для определенного использования и инкорпорирован в систему человеческих целей. Объект поэтому противостоит нам как воплощение значения, которое придано ему и поддерживается в нем благодаря «целенаправленной» деятельности. Природа организована, трансформирована и

«очеловечена» благодаря деятельности. Из звуков и форм мы используем в языке структуры, которые охватывают наши города и поселки, наш мир полон физических сущностей, получивших значение благодаря действию. Следуя Гегелю и Марксу, Ильенков описывает огромное сооружение, состоящее из объективированных идеальных феноменов, как человеческое «неорганическое тело» — нашу «духовную культуру», воплощенную в окружающей нас среде, как «мысль в своем другом».

Позиция Ильенкова может рассматриваться как своего рода плодотворный антропоцентричный платонизм, защищающий реальность культуры от позитивистской идеи, призывающей рассматривать мир как мир исключительно физический, познаваемый только с помощью методов естественных наук. Хотя и имеется смысл в утверждении, что все, что существует, есть «движущаяся материя», человеческая деятельность привносит в неживую природу культурную реальность, которая противостоит каждому индивиду как часть окружающего его объективного мира. Это понимание является важным для любой адекватной философской антропологии, поскольку человеческие существа творят сами себя в процессе создания культуры. Трансформированное благодаря деятельности, наше окружение оказывается наполнено значением; благодаря этому значению мы действуем, изменяя наш мир, наделяя его новым значением, и тем самым предопределяем необходимость дальнейших изменений. В этом процессе человеческие существа должны постоянно адаптироваться к меняющейся окружающей среде, находя и изобретая новые умения и навыки, необходимые для ориентации в этой меняющейся среде. Мы творим наш мир, и, поступая таким образом, мы становимся существами, которые могут в нем жить и определять его последующую трансформацию.

4. Давайте поразмышляем о характере позиции Ильенкова. Иногда он пишет так, как если бы его цель заключалась в показе того, что идеальные феномены существуют как подлинные черты объективной реальности, не сводимые к содержанию индивидуальных сознаний. Вместе с атомами, броненосцами и арсеналами мир содержит ценности, значения, модели и другие подобные не-очевидно-материальные вещи, которые играют решающую роль в человеческом развитии. Ильенков пишет: вне индивида и независимо от его сознания и воли суще-

ствуется не только природа, но также и социо-историческое окружение, мир вещей, произведенных человеческим трудом, и система человеческих отношений, сформированная в процессе труда. Другими словами, вне индивида лежит не только природа как таковая («в себе»), но и природа очеловеченная, природа, переделанная человеческим трудом³.

Конечно, возможно, существует и более сильное утверждение, имплицитное позиции Ильенкова. Ильенков пытается развить идею Маркса о том, что материалисты должны мыслить «вещь, реальность, чувственность» как «человеческую чувственную деятельность, практику». Представляется, что Ильенков воспринимает заявление Маркса очень серьезно, поскольку он иногда утверждает, что вся природа «идеализирована» человеческой деятельностью и что объект не говорит нам ничего до тех пор, пока он не включен в рамки человеческой духовной культуры. Продолжим только что приведенное утверждение: с точки зрения индивида, «природа» и «очеловеченная природа» сливаются, образуя окружающий мир.

К этому мы должны добавить следующее: природа «как таковая» дана индивиду только постольку, поскольку она трансформирована в предмет, в материал или средство производства материальной жизни. Даже небо, где человеческий труд прямо ничего не меняет, становится объектом внимания (и созерцания), только когда трансформируется в естественные «часы», «календарь» и «компас», т.е. в средства и «инструмент» нашей ориентации во времени и пространстве⁴.

Приведенное утверждение (и можно найти целый ряд других) подтверждает, что, по Ильенкову, первоначальный объект мысли — это очеловеченная или идеализированная природа. Наше взаимодействие с материальным миром опосредуется обычно идеальным.

Рассмотрим еще одно характерное направление мысли, которое, как представляется, тоже следует из работ Ильенкова. Мысль может быть понята как способность жить в идеализированном окружении: мыслящий тростник — это то, что может формировать свою деятельность с помощью исторически возникших идеальных форм, которые составляют наше очеловеченное окружение. Мысль поэтому определяется как специальный вид движения, как возможность и способность воспринимать и манипулировать значениями, которые сформированы и

трансформированы в процессе развития социального бытия. Вот почему Ильенков отрицает мнение, что высшие психические способности являются врожденными. Его идея заключается в том, что через объективации деятельности наши формы мысли записываются в структуры окружающей среды, и ребенок научается мыслить, как только реализует способность ориентироваться в этом окружении, присваивая и интернализуя (в смысле Выготского) формы деятельности сообщества, в котором он родился. Способность думать является поэтому столь же социально конституированной, как конституировано очеловеченное окружение, в котором мыслящий тростник живет. Ильенков пишет: все схемы, которые Кант определяет как «трансцендентально врожденные» формы работы определенных сознаний, как «внутренний механизм», представленный априори в голове каждого члена общества, в действительности оказываются формами самосознания социальных существ (понятыми как исторически развивающийся «ансамбль общественных отношений»), ассимилированными извне (противостоящими им с самого начала как «внешние» пути движения культуры, независимые от их сознания и воли)⁵.

Поэтому в противоположность индивидуализму традиционной эпистемологии Ильенков не верит в то, что одинокое сознание должно находить для себя мир заново; мы входим в мир, который история сделала познаваемым, и учимся находить в нем свой путь благодаря деятельности других, которую воспринимаем как нашу «духовную культуру».

Все это наводит на мысль о том, что рассмотрение Ильенковым идеального может быть прочитано как трансцендентальное объяснение самой возможности отношения субъекта и объекта, отношения между сознанием и миром, который является объектом мысли людей. Со времен Декарта философия занималась вопросом взаимоотношения сознания и мира в метафизическом и эпистемологическом измерениях. Как может природный мир содержать вещи или объекты, которые обладают способностью к сознанию (имеют субъективность, интенциональность и т.д.)? Как может сознание «постигать» естественный мир, когда его (сознания) реальная «пища» — значения (сущности, являющиеся значимыми, — мысли, высказывания и т.д.), в то время как объективная реальность, как представляется, лишена какого-либо значе-

ния? В этом контексте сознание и мир не созданы друг для друга. Работа Ильенкова в области идеального может рассматриваться как попытка решить эту проблему. Сознание и мир созданы друг для друга, потому что сам мир содержит значения благодаря объективации идеального, поэтому обращение с этим миром как с содержащим значение (движение сквозь него в свете тех значений, которые мир содержит) как раз то, что делают обладающие сознанием существа. История идеализации мира в деятельности поэтому является историей перехода мира естественного в мир для нас в мысли.

5. Я не знаю, насколько такое сильное «трансцендентальное» прочтение соответствует пониманию самого Ильенкова. Но определенно оно согласуется со многим из того, что он говорит, особенно с его заметками по поводу категорий Канта, одну из которых я только что привел. Однако есть привлекательная сторона такого прочтения, заключающаяся в том, что оно обеспечивает ответ на оба возражения, о которых я говорил ранее. Если идеальное не может быть объяснено без обращения к понятию «деятельность», тогда оказывается, что это понятие в самом деле является центральным для объяснения взаимосвязи и взаимоотношений субъекта и объекта. Понятие деятельности в конце концов оказывается философски первичным по отношению к понятию «субъект» или «личность». Более того, мы можем сейчас видеть, почему; хотя может существовать множество легитимных путей для описания субъект-объектных отношений, более того — самой возможности их существования, понятие деятельности фигурирует в рассмотрении, которое оказывается первичным, поскольку имеет дело с условиями, делающими возможным существование отношения между субъектом и объектом.

Тем не менее такое трансцендентальное прочтение вызывает и возражения. Одна очевидная трудность заключается в том, что такая позиция сталкивается с проблемами, подобными тем, что осаждали Канта: если открыть для себя реальность оказывается невозможным без посредничества идеального (т.е. нашей духовной культуры в самом широком смысле слова), не отрицаем ли мы тем самым то, что реальность является первичной по отношению к тем презентациям, которые существуют в культурно установленных формах? Конечно, Ильенков хочет избежать такого заключения, из которого следует, что мы

являемся пленниками наших собственных концептуальных схем. В самом деле, центральная точка его позиции заключается в том, что он хочет артикулировать гармонию между сознанием и бытием, а не вбить клин между реальностью, какой мы себе ее мыслим, и реальностью, как она есть. Конечно, неясно, как Ильенков может избежать кантовских проблем, связанных с «вещью в себе» в рамках такого трансцендентального прочтения.

Представленная таким образом теория идеального Ильенкова оказывается видом спекулятивного рассмотрения происхождения или генезиса значения и интенциональности путем введения понятия деятельности. Однако возникает такой вопрос: является ли это рассмотрение адекватным? Не уходим ли мы в сторону, объясняя интенциональность ссылкой на то, что это некое свойство, которым обладает мозг? Или, может быть, лучше заниматься историей материальной трансформации природы объектно ориентированной деятельностью. Однако даже если кто-то и думает, что такая спекулятивная история может оказаться полезной, тем не менее, ее статус проблематичен. Если брать эту историю буквально, она оказывается частью какой-либо спекулятивной антропологии, философского рассмотрения антропогенеза, «перехода от обезьяны к человеку» и того, как каждый ребенок становится субъектом мысли благодаря соответствующей культуре. Однако такие спекулятивные рассуждения вторгаются в сферу, которая, как мы чувствуем, является эмпирической. Как развивается человек, как происходит развитие ребенка — это, как представляется, проблемы эмпирического исследования, а не философского.

6. Никакое возражение не является фатальным, и многое можно было бы сказать в ответ на приведенные сомнения. Я хочу, однако, принять другой подход и рассмотреть с иных позиций труды Ильенкова по проблеме идеального.

Позвольте мне напомнить вам идеи другого философа, придавшего в своей философии особое значение понятиям практики и действия, — Людвиг Витгенштейна.

В поздних работах Витгенштейна понятие практики фигурирует как конечная цель объяснения. Витгенштейн решает ряд классических философских головоломок, апеллируя к различным видам деятельности, которые составляют то, что он называет нашими «формами жизни».

Он принимает эту стратегию в своем знаменитом обсуждении проблемы «следования правилу» в «Философских исследованиях» (1953)⁶. Витгенштейн обсуждает вопрос о том, как правила руководят поведением или определяют его. Какова природа той необходимости, с которой правила (логики, математики или языка) говорят нам, что делать? Когда мы знаем правило — скажем, математическое правило сложения, мы знаем нечто такое, что говорит нам, как поступать в бесконечном числе случаев. Предположим, что я пишу на доске команду: «Следуя правилу "прибавить 2", начните "2, 4, 6, 8..." и продолжайте до тех пор, пока я не вернусь!» — команда определяет, что вы должны делать всегда. Но как может записанное несколькими значками на доске достигать этого? Это вопрос о природе нормативности в конечном физическом мире. Правило говорит нам, что мы должны делать (если хотим быть последовательными, рациональными и т.д.), но каков характер этого долженствования?

Витгенштейн, разрабатывая эту тему, обдумывает голубомки. Он сравнивает правило с указательным столбом (§ 85), который показывает нам, в какую сторону идти. Но каким образом указательный знак направляет нас? В конце концов, он просто только находится здесь! И его подсказку можно понять одним из многих возможных способов. Естественно сказать: сам указательный столб не может направлять нас, мы нуждаемся в его интерпретации. Но если мы нуждаемся в интерпретации, для того чтобы понять правило, не нуждаемся ли мы, в свою очередь, в интерпретации, для того чтобы понять предыдущую интерпретацию? Мы оказываемся перед перспективой бесконечного регресса.

Здесь возникают интересные темы, относящиеся к проблеме обучения. Когда ребенок учится, как следовать определенному правилу, ему показывают конечную область его применения, благодаря этому он «улавливает», как «продвигаться дальше с помощью таких же шагов». Предположим, мы пытаемся научить ребенка, как продолжить математическую последовательность с помощью правила «прибавь 2». Мы показываем ему начало последовательности и просим его продолжить; каким-то образом ребенок «улавливает», как это сделать. Но как? Каким-то образом, на основе некой интерпретации ребенок научается воспринимать наши инструкции. (Аналогичные проблемы возникают при изучении языка, вокруг

идеи остенсивных определений и нашего восприятия универсалий.)

Существует искушение при решении этой проблемы впасть в платонизм традиционного типа. Когда мы учим правило, то все происходит так, как если бы шаги, которые диктует правило, уже предпринимались; правило каким-то образом содержит сферу своего применения, которая свернута в нем наподобие пружины. Так что мы можем вообразить, что в действительности существует идеальный мир, в котором все шаги уже проделаны, в котором решения всех математических проблем и все математические последовательности уложены наподобие рельсов, по которым могут двигаться наши мысли.

Витгенштейн, наоборот, прерывает регресс, дурную бесконечность интерпретаций, вводя понятие действия. Регресс демонстрирует то, что должен существовать «способ понимания правила, который не является интерпретацией, но демонстрируется в процессе того, что мы называем "подчинением правилу" и "неподчинением ему" в актуальных случаях» (§ 201). Объяснение должно где-то остановиться, и оно прекращается действием — «в начале было дело». Следование правилу есть практика. Мы рассматриваем указательный столб как предписание следовать этим путем, а не другим, продолжаем последовательность таким способом, а не другим, используем слово так, а не иначе — все это проявляется в том, что мы делаем. Все эти привычки содержат в себе нашу «форму жизни». Если кто-то следует правилам не так, как это делаем мы, это не означает, что он следует неправильной интерпретации правил; он просто нуждается в том, чтобы его научили нашим способам поведения, т.е. ввели в форму нашей жизни.

То, что является важным для нашего обсуждения, — это характер введения Витгенштейном деятельности. Этот характер обладает почти полностью негативной функцией. Это не субстантивный бихевиоризм или конвенциализм, которые определяют понятия ментальных состояний, истины и объективности в терминах специфических человеческих практик. Скорее, это попытка ограничить философское рассмотрение и человеческую мысль вообще. Философские головоломки требуют, чтобы мы каким-то образом вышли за пределы формы нашей жизни, с точки зрения которой можем охарактеризовать наши практики и «обосновать» или «предпри-

сать» их. Но это требование не может быть принято, поскольку не существует какой-либо выгодной точки зрения. Это не уступка скептицизму, поскольку представляется, что скептические позиции столь же немислимы, как и субстантивные философские теории, предписывающие отвергать скептицизм. Все, что мы должны сделать, — это понять характер нашей формы жизни «изнутри», а это требует замены эпистемологии историей культуры и философской антропологией.

7. Я хочу предложить новый взгляд на то, как Ильенков вводит и понимает деятельность, обусловленный изложенной стратегией Витгенштейна. Наверное, мы не должны рассматривать Ильенкова как такого философа, который развивает субстантивное философское объяснение субъект-объектного отношения, где субъект и объект рождаются в процессе активного взаимодействия становящегося человечества и природы. Скорее, мы должны представлять себе Ильенкова, занятого более скромной задачей. Его ответ на проблему идеального является принципиальным возражением идее, согласно которой объективная реальность должна рассматриваться как «разочаровывающая» в смысле Макса Вебера — что реальность, как она есть на самом деле, не содержит ни ценностей, ни смысла, ни значения. Такая объектифицирующая точка зрения заставляет нас противопоставлять субъект и объект таким образом, что обостряются многие классические философские проблемы, ибо субъект и объект теперь становятся такими различными «сущностями», что трудно понять, как они могут сосуществовать в одном и том же пространстве. В этом случае принятие чисто научного подхода к самим субъектам пытается редуцировать представления, служащие для понимания субъективности, к тем терминам, которые применяются для понимания «разочаровывающей» реальности. Мы оказываемся перед альтернативой — либо скептицизм, либо сайентизм.

«Культурализм» Ильенкова — это попытка утвердить некую среднюю позицию между этими неудовлетворительными альтернативами. Можно сказать, что мы не нуждаемся в том, чтобы защищать эту среднюю позицию с помощью философских аргументов; мы просто должны сопротивляться тем доминирующим представлениям, которые отличаются от наших. Мы можем видеть, что введение Ильенковым деятельности выполняет две функ-

ции: первое, оно предписывает, что, если мы должны рассматривать себя в качестве действующих существ, мы не сможем понять характера такой деятельности до тех пор, пока не будем обладать более богатой концепцией реальности, чем та, которую предлагает модель «разочаровывающей» реальности; и второе, оно предлагает альтернативу созерцательной модели субъекта, которая следует из понятия «разочаровывающая». Поэтому позицию Ильенкова мы можем рассматривать как попытку изменить фундаментальные метафоры, в которых мы представляем наше основное отношение к нашему миру; как попытку заменить одну сильную философскую картину другой. На место модели, которая подчеркивает брутальную натуральность объективной реальности и придает особое значение нашим силам репрезентации, Ильенков предлагает другую, напоминающую нам, что наше естественное бытие реализуется и возвышается благодаря культуре, и придающую особое значение нашим силам трансцендентности. Важно подчеркнуть, что эти силы реализуются только в таком мире, в котором существует гармония между мышлением и бытием, гармония, которую Ильенков пытается выразить через понятие деятельности. Это и есть тот смысл, в котором, во втором прочтении, понятие деятельности оказывается определенно первичным.

Второе прочтение обязывает нас покинуть величественную историю человеческого исторического саморазвития, столь характерную для работ Ильенкова. Однако, поскольку телеологическое повествование оказывается частью марксизма Ильенкова, возможно, неплохо было бы, если бы мы попытались прочесть его труды без ссылок на марксистскую философию истории. Если мы оставим в стороне трансцендентальные придыхания философии Ильенкова и величественное философское видение истории, остается по крайней мере: (а) требование, чтобы философские проблемы, относящиеся к природе значения, разрешались благодаря рассмотрению человеческой деятельности; (б) точка зрения, что интенциональное не может быть понято в системе (механического) каузального объяснения; (в) настаивание на том, что субъект мысли — личность, а не некая субперсональная система (например, мозг): об этом свидетельствует часто повторяемый Ильенковым лозунг — «мозг не мыслит, мыслит личность с помощью мозга»; (г) утверждение, что ментальное функционирование человека должно рас-

смагиваться в контексте его социального окружения, что культура является посредником мысли.

Перечисленное содержит важные философские истины — то, что мы являемся деятельными существами, не исчерпывает их все — и представляет собой богатый источник метафор и интуиций, которые обещают существенно продвинуть теорию деятельности. Более того, все эти темы с различных сторон разрабатывались другими философами, например Витгенштейном, о котором здесь уже говорилось. Поэтому более умеренное прочтение содержит своего рода проспект продуктивного обсуждения, связанного с вкладом Ильенкова в работу других мыслителей.

Я представил две интерпретации философии Ильенкова, которые по-своему уделяют специальное место понятию деятельности. Какая из них наиболее плодотворна, наиболее близка самому Ильенкову — решить это я предоставляю читателю. В любом случае я, надеюсь, показал, что вопрос о философском «зерне» деятельностного подхода является важным и стимулирующим вопросом и что работы Эвальда Ильенкова остаются важным источником для тех, кто хотел бы найти ответ на него.

Примечания

- ¹ Ломов Б.Ф.: Методологические и теоретические проблемы психологии. М., 1984. С. 289.
- ² Ильенков Э.В. Идеальное // Философская энциклопедия. Т. 2. М., 1962; Он же. Диалектика идеального // Ильенков Э.В. Философия и культура. М., 1991. Более подробно я обсуждаю позицию Ильенкова в работах: *Bakhurst D.* Consciousness and Revolution in Soviet Philosophy. Cambridge, 1991. Ch. 6; *Bakhurst D.* Lessons from Iljenkov // Communication Review. 1995.
- ³ Ильенков Э.В. Вопрос о тождестве мышления и бытия в домарксистской философии // Диалектика — теория познания. М., 1964. С. 41—42.
- ⁴ Там же. С. 42.
- ⁵ Ильенков Э.В. Диалектика идеального... С. 250.
- ⁶ Wittgenstein L. Philosophical Investigation. 3rd ed. Oxford: Blackwell, 1967.

Перевод с английского Т.Н.Гращенковой

«Вопросы философии», 1996

В. И. Коровиков

НАЧАЛО И ПЕРВЫЙ ПОГРОМ

Годы перестройки и гласности во многом заново раскрывают историю нашего общества, дают объективные оценки и событиям, и лицам. Особый интерес вызывают люди, не мирившиеся с духовным застоем, ложью и лицемерием. К числу таких рыцарей духа, в любых обстоятельствах остававшихся верными своему нравственному и профессиональному долгу, с полным правом можно отнести выдающегося философа Эвальда Васильевича Ильенкова (1924 — 1979).

Известность и авторитет его исследований в области диалектической логики, истории философии, психологии, широкий интерес к ним нарастают с каждым годом. Хотя, к сожалению, его работы редко издаются и достать их не всегда легко. К тому же почти все рукописи, особенно такие, как «Диалектика абстрактного и конкретного в "Капитале" Маркса» (М., 1960), «Об идолах и идеалах» (М., 1974), подвергались в издательствах сокращениям, нередко варварским. Можно надеяться, что в недалеком будущем книги этого страстного, глубокого мыслителя и публициста в полном объеме станут доступны читателям, послужат духовно-нравственному возрождению нашего общества.

Для меня Эвальд Ильенков был и остается очень близким другом. Он щедро дарил свой талант и идеи, всегда оставался верным, искренним и надежным человеком в трудные времена хозяйничанья в общественных науках догматиков, «спасителей» марксизма типа Митина, Поспелова, Украинцева и им подобных.

Мы встретились сразу после войны студентами философского факультета МГУ. И целое десятилетие, пока обоих не изгнали из нашей альма матер, вместе учились, работали, откровенно обсуждали все волнующие проблемы — от личных до сугубо политических, отдыхали, ходили по туристским тропам Подмосковья. В аспирантуре были на одной кафедре (истории зарубежной философии) и защитили свои диссертации в 1953 году. На нашей кафедре, пожалуй, единственной тогда в СССР, велось серьезное исследование процесса формирования марксистской философии в середине прошлого века. Нам повезло в том, что со студенческой скамьи у нас была возможность черпать знания из первоисточников,

осмысливать их богатства, а не пробавляться пособиями и учебниками конъюнктурного, пропагандистского толка. Зачастую все их содержание сводилось к комментированию, разжевыванию «истин в последней инстанции», изложенных в 4 главе «Краткого курса истории ВКП(б)».

Ильенков еще в 1941 году поступил в Московский институт истории, философии и литературы, где он нашел своего первого философского наставника, глубокого знатока немецкой классической философии профессора Б.С.Чернышева. И влияние этого ученого и педагога отразилось на приоритетах творчества Эвальда Васильевича, на выборе объектов исследования. А ими были прежде всего диалектика и логика научного мышления, труды великих философов — мудрецов человечества.

Вернувшийся из поверженного Берлина демобилизованный лейтенант Ильенков, как и многие его сверстники, с неутоленной жадностью знаний буквально набросился на учебу, на книги. Условия для этого, по крайней мере на нашей кафедре, были вполне приличными. В студенческие и аспирантские годы нас особенно не прижимали, хотя к Ильенкову, его вольномыслию, поискам собственных оценок и выводов факультетские официальные лидеры относились с явной настороженностью. Не потому ли, вернувшийся с фронта кандидатом в члены партии, он сменил кандидатскую карточку на партбилет лишь через пять лет?

После защиты диссертаций наше участие в работе кафедры и факультета стало более активным: мы читали курсы лекций, вели семинары. Тут и начались первые сложности и конфликты.

Мы не признавали учебников, обсуждали со студентами первоисточники, и чаще наши семинары заканчивались вопросами — о предмете философии, о соотношении диалектической и формальной логики, о периодизации философии, о роли идеализма, — чем готовыми ответами. Собственно, смысл нашей работы заключался в одном — мы пытались научить студентов мыслить, а это плохо укладывалось в командно-постулатную систему духовной жизни. Вот и получалось, что на лекциях история философии выглядела как немудрящий ранжир: идеалисты (кретины!) направо, материалисты (молодцы!) налево, а на наших семинарах мы предлагали студентам усомниться в простоте и непогрешимости подобных дефиниций. К тому же и разные кафедры факульте-

та рьяно отстаивали свои весьма разноречивые позиции. Споры между кафедрами, их руководителями (к примеру, З.Я.Белецким и Т.И.Ойзерманом) шли годами и были общеизвестны.

Наш преподавательский тандем (Ильенко — Коровиков), где, бесспорно, ведущую творческую роль играл Эвальд Васильевич, был более близок студентам, более резок в обосновании своих взглядов, и, естественно, на нас прежде всего направили свое командно-директивное внимание факультетские и философские начальники. Весной 1954 года нам предложили представить на кафедру для дискуссии тезисы о предмете философии. Мы их написали, причем нарочито заостренно, иной раз с крайними выводами, чтобы вызвать более горячее и, как нам казалось, более полезное обсуждение. Мы не подозревали, что истории с тезисами суждено длиться почти два года, — были тогда во многом наивными, верили, что истина рождается из столкновения мнений и восторжествует в честной научной дискуссии. Но в те времена споры в науке велись отнюдь не ради выявления истины, а по особым инквизиторским сталинистским правилам. В сущности, ничто не дискутировалось и глубоко, всерьез, не обсуждалось. Еще до начала той или иной якобы научной, объективной кампании было заведомо известно, точно решено и указано свыше, кто прав, кто виноват, кто еретики и отступники, кого бить. Примеров тому тьма. За наши университетские годы подобные погромы проводились с поразительной регулярностью — почти ежегодно.

1946 г. — разгром ряда журналов, поношения А.Ахматовой, М.Зощенко; 1947 г. — философская «дискуссия»; 1948 г. — разгром генетики, геростратовский триумф Трофима Лысенко. На нашем факультете ярим проповедником лысенковщины был заведующий кафедрой диамата профессор З.Я.Белецкий, который кардинально расправился со всеми вековыми поисками и вопросами философии, объявив, что «истина — это природа» и мудрствовать тут нечего. Дело доходило до трагикомических анекдотов. Помню, как на партактиве МГУ один преподаватель кафедры классической филологии рьяно доказывал, что профессор с 1898 года С.И.Соболевский и его кафедра исповедуют вейсманизм-морганизм, искажая труды Лукреция Кара, который-де был античным предтечей мичуринского учения! Оголтелый латинист-

лысенковец призвал «выжечь это змеино-злобствующее гнездо рафинированных эстетов». 1949 г. — борьба с космополитизмом, 1950 г. — провозглашение нового языкознания, почему-то заинтересовавшего «корифея мировой науки», 1952 г. — дискуссии по политэкономии социализма и т.п. Все они проходили по схожим сценариям.

После ухода из жизни Сталина, ликвидации бериевской машины террора (а она весьма активно воздействовала на ход и результаты помянутых выше «научных» кампаний) многое изменилось, и наши надежды на доброжелательную, объективную атмосферу при обсуждении спорных философских проблем были во многом связаны с новой политической обстановкой в стране. Однако традиции сталинистских разоблачений «еретиков», навешивания на них политических ярлыков и обвинений с последующими жесткими оргвыводами все еще сохранялись, а до очистительного XX съезда партии еще было два года.

Ситуация на факультете тем временем обострялась. Несколько студентов (членов партии) выступили на собрании с замечаниями о плачевном состоянии сельского хозяйства в связи с обсуждением итогов посвященного этим проблемам пленума ЦК КПСС, — это было недопустимым «вольнодумством». Серьезное противоборство началось на кафедре истории русской философии, где преподаватель Г.С.Арефьева, аспиранты Е.Г.Плимак и Ю.Ф.Карякин открыто критиковали профессора И.Я.Щипанова и его сторонников за фальсификацию исторических фактов, за грубую подгонку взглядов русских революционных демократов под марксизм, за убогие, косноязычные лекции.

Наши «тезисы» в тот момент стали желанным документом для обнаружения и изобличения виновников факультетских неурядиц. Тесные связи со студентами (многие из них были всего на три-пять лет моложе нас), их поддержка и симпатии также оценивались как опасные попытки «сбить студентов с толку», привить им неверные взгляды. Была у нас и кличка — «гносеологи», поскольку мы отрицали, что предметом философии является «мир в целом», и считали, опираясь на основополагающие высказывания Маркса-Энгельса-Ленина, что за философией остается учение о законах процесса мышления, логика и диалектика. Не буду вдаваться в доказа-

тельства и толкования этой непростой проблемы, по которой и поныне идут споры. Отмечу только, что Э.В.Ильенков до конца свой жизни доказывал единство и тождество диалектики, логики и теории познания в марксистской философии, что «диалектика и есть логика и есть теория познания современного материализма» (см. его посмертно изданную работу «Ленинская диалектика и метафизика позитивизма». М., 1980. С. 164).

Весной 1955 года за «гносеологов» взялись всерьез. Нам предложили выступить с разъяснениями своих взглядов на Ученом совете факультета. Этому же посвящали специальные собрания. И, наконец, 13 мая был проведен еще один Ученый совет, где нас громили без всяких церемоний. Наступил час церберов от философии, критика шла на уничтожение. У меня сохранились записи этих «прений». Лишь несколько голосов раздалось в нашу защиту. Абсолютное большинство ораторов изощрялись в приписывании нам всех смертных грехов — от зазнайства до антипартийной деятельности. Две тирады двух деканов того года — Гагарина и Молодцова — пожалуй, ярче всего отразили суть этой экзекуции, заодно раскрыв и облик наших философских надзирателей. «Аракчеевщины бояться нечего, наш долг разоблачать», — твердо отпарировал Гагарин чью-то реплику о слишком жестком, разгромном тоне критики. А Молодцов патетически восклицал: «Куда они нас тащат! Нас тащат в область мышления!» Впрочем, реакция зала была моментальной: «Не бойтесь, вас туда не затащишь!» На Ученом совете присутствовали сотни студентов. И многие из них вполне понимали, что за «очистительная» операция проводится на факультете.

Для нас с Ильенковым это были очень тягостные дни, хотя мы ощущали явное сочувствие некоторых преподавателей, и особенно студентов. Впрочем, и в их среде были вполне сформировавшиеся церберята — будущая смена Гагариных и Молодцовых. Кое-кто из них преуспел на этом пути в следующие годы, и Эвальд Васильевич до самых последних дней не раз подвергался циничным, наглым нападкам этой публики в Институте философии АН СССР, на страницах печати.

Майские экзекуции привели меня к твердому решению уйти из философии. Тем более, что с факультета меня вскоре уволили, а партбюро завело персональное дело и на своем заседании исключило меня из партии —

ретивые функционеры по хорошо известным образцам недавнего прошлого спешили обрядить еретика на этап. Изгнали из МГУ еще нескольких молодых преподавателей (в том числе Г.С.Арефьеву) и аспирантов. Были специально распределены подальше от Москвы студенты — выпускники 1955 года, которые разделяли наши взгляды, занимались проблемами гносеологии, диалектической логики. На факультете на долгие годы установилась спокойная атмосфера, угроза оказаться в «сфере мышления» миновала, а в провинции лекторы еще долгое время спустя сообщали, что «в Москве разоблачена опасная антимарксистская группа»...

К счастью для нашей настоящей философии, Э.В.Ильенков, лишенный возможности преподавать в МГУ, в это время уже был сотрудником Института философии АН СССР и, несмотря на все препоны, воздвигаемые догматиками и начетчиками от марксизма, смог продолжать свою подвижническую творческую работу.

Надо подчеркнуть, что в Институте философии были зрелые, дальновидные философы (Б.М.Кедров, М.М.Розенталь, П.В.Копнин), которые распознали и высоко оценили талант молодого ученого, помогали ему отбиваться от ревнителей «чистоты» идеологии. Да я думаю, что он никогда не смог бы уйти от своего призвания, редкого умения «мыслить о мыслях», раскрывать в своих исследованиях, лекциях, диспутах логику, ход теоретического мышления, анализировать эту чудодейственную способность человечества. В этом он абсолютный антипод псевдофилософов, для которых «сфера мышления» совершенно недоступна.

Шел 1955 год, «оттепель» чувствовалась все сильнее, приближался XX съезд партии. Майский погром на факультете уже все более выглядел как рецидив страшного прошлого, а не как очередная победа над всякого рода «гносеологами» и другими злоумышленниками. Пришли отклики на наши «тезисы» из-за границы, от весьма авторитетных людей. Пальмиро Тольятти и Тодор Павлов высказали свое недоумение в связи с обвинениями и преследованиями молодых преподавателей в МГУ, ибо в целом разделяли подобный же подход к предмету философии. Мы, в свою очередь, обратились с несколькими письмами в ЦК КПСС, где объяснили свои взгляды и требовали оградить нас от несправедливых гонений и обвинений. К осени наше дело постепенно, как говорится,

«спускалось на тормозах». Не поднимался уже вопрос о моем персональном деле, решение партбюро об исключении из партии было позабыто. Но свое слово уйти из философии я сдержал и уже треть века работаю в газетах.

Наша дружба с Эвальдом продолжалась. Не раз он убеждал меня, что надо вернуться в науку. Но я остался эскапистом, ибо видел, сколь тяжка доля самого Ильенкова, когда годами не печатают, корежат рукописи. За одну и ту же работу и награждают медалью Академии, и объявляют «извратителем марксизма». И вместе с тем я искренно восхищался его целеустремленностью и трудолюбием, его мужеством, его самоотверженным служением истине, идеям марксизма и гуманизма, которым он был глубоко привержен.

Большие и малые погромы отнимали у Эвальда Васильевича много сил, времени, творческой энергии, порой доводили до отчаяния. Он мог бы сделать для нашей духовной жизни, философской мысли значительно больше, если бы не постоянные притеснения, обвинения бдительных идеологических охранников.

И десять лет назад наступила трагическая развязка. Он ушел из жизни в самый разгар общественного застоя, безвременья, когда преуспевали карьеристы, хапуги и всевозможные прохиндеи. Подобная антидуховная, циничная, стяжательская атмосфера была для него смертельна...

* * *

Несколько месяцев назад я вернулся из Индии, где прожил семь лет. Много раз приходилось слышать от индийцев, интересующихся философией, небезосновательные сетования на скудость серьезных работ по марксистской теории познания, диалектике. И в то же время те, кто был знаком с английскими переводами книг Ильенкова по этим проблемам, высоко оценивали их, отмечали оригинальность и глубину мыслей автора, его емкий, образный язык.

За несколько дней до отъезда из Дели я зашел в большой магазин на главной торговой площади столицы. На полке увидел «Диалектическую логику» моего друга.

— Спрос на эту книгу не прекращается, — ответил на мой вопрос продавец, — ее охотно покупают. А пам-

флет «Об идолах и идеалах» разошелся за несколько дней.

В московских магазинах книг Ильенкова не найдешь. А они, думаю, очень и очень нужны, ибо учат мыслить, мыслить творчески, диалектически, учат отличать идолов от идеалов. Это крайне необходимо всем нам сегодня, может быть, даже больше, чем когда-либо в прошлом.

«Вопросы философии», 1990

Мераб Константинович Мамардашвили (1930—1990)

Специалист в области теории познания, истории философии, философии сознания, философии культуры. Оказал большое влияние на современную отечественную философию и на культуру в целом. В 1968—1974 гг. был зам. главного редактора журнала «Вопросы философии». С 1980 г. до конца жизни работал в Институте философии АН Грузии.

Соч.: *Формы и содержание мышления*. М., 1968; *Классический и неклассический идеалы рациональности*. Тбилиси, 1984; *Как я понимаю философию*. М., 1990; *Картезианские размышления*. М., 1995; *Лекции о Прусте (психологическая типология пути)*. М., 1995; *Необходимость себя: введение в философию*. М., 1996; *Стрела познания: набросок естественноисторической гносеологии*. М., 1996.

В. А. Смирнов

М.К.МАМАРДАШВИЛИ: ФИЛОСОФИЯ СОЗНАНИЯ

Лет пятнадцать назад мой друг-журналист спросил: «Есть ли в нашей стране оригинальные мыслители ранга Рассела, Бергсона, Сартра, Ясперса, создавшие свою собственную философию, или вы все выступаете лишь от имени Маркса и марксизма?» Я ему ответил: «Есть». И назвал Мераба Константиновича Мамардашвили.

В ноябре прошлого года Мераб Константинович ушел из жизни. В печальные дни я вспомнил о давнем разговоре и по-новому осознал правоту тогда сказанного. Мы потеряли действительно оригинального, крупного мыслителя, который всегда следовал сформулированной им самим профессиональной и жизненной максиме: «Философ... может говорить только от своего имени».

Мне довелось учиться с М.К.Мамардашвили в 1949—1954 годах на философском факультете МГУ, а затем в аспирантуре. Наше детство пришлось на войну — трудные годы, годы страдания народа, но и подъема его духа. Казалось, что с Победой в стране многое изменится. Однако последовало новое «закручивание гаек»: борьба с «низкопоклонством» перед Западом, так называемым космополитизмом, пропаганда ультрапатриотизма и государственного антисемитизма. Состоялась известная сессия ВАСХНИЛ, разгромившая генетику. Была принята целая серия идеологических постановлений о литературе и искусстве, призванных остановить начавшееся духовное раскрепощение. В обществе сложилась гнетущая атмосфера. И многих из нас привело на философский факультет стремление разобраться в происходящих событиях, дойти до истины.

Преподавание на философском факультете было удручающим: все до предела заидеологизировано, во всем усматривались происки классового врага и мирового империализма. Диалектический материализм преподавался по четвертой главе «Краткого курса истории ВКП(б)». Но и в этих условиях, несмотря ни на что, сформировалась целая плеяда думающих философов. «...В тяжелые для нашей философии времена, — отмечал Мамардашвили, — некоторые мои коллеги все же умудрились выжить как философы. Они вынуждены были найти себе некие "экологические ниши" (например, в истории философии, в логике и т.п.) и, оставаясь в них, продолжать работу».

На общем фоне деградации философской мысли определенный просвет наблюдался на кафедре логики. Но и здесь было не все в порядке. В 20—30-е годы формальная логика третировалась у нас как буржуазная наука. Ей противопоставляли логику пролетарскую, «диалектическую». И тем не менее бесконечно игнорировать формальную логику было невозможно. В 1946 году ее допустили к преподаванию. В результате коллектив кафедры раскололся на сторонников двух логик: формальной, «маленькой, незначительной», и диалектической, «логики с большой буквы». Адепты последней во главе с заведующим кафедрой повели борьбу с «логическим менделизмом-морганизмом».

В этой непростой обстановке посвятившие себя логике могли опираться на таких первоклассных логиков и

философов, как В.Ф.Асмус, П.С.Попов, А.С.Ахманов; большое влияние на них оказали лекции и семинары математиков П.С.Новикова, С.А.Яновской, А.А.Маркова. Впоследствии с невероятным трудом, но установились нормальные контакты с зарубежными научными центрами. Вычленились самостоятельные исследования по логике, методологии и философии науки. Их приверженцы сумели сохраниться и отстоять свои взгляды. Пришло осознание, что никакой классовой логики быть не может и так называемую диалектическую логику не построили ни Маркс, ни Плеханов, ни Ленин.

Значительная группа молодых философов, включая М.К.Мамардашвили, прекрасно поняла, что предлагаемые им диалектическая логика, «диалектическая методология», основанная на «Кратком курсе», не выдерживают никакой научной критики. Более того, многие из них пришли к выводу, что в философских исканиях вряд ли поможет и обращение к низвергнутым в 1931 году «меньшевиствующим идеалистам». Впоследствии сложившийся ученый писал: «...Философия, которую вы называете марксистской, имея, вероятно, в виду философию учебников, не есть подлинная марксистская философия... мы должны отдавать себе отчет в случайности этого образования. В случайности его языка, который не вытекает из капитала марксистской философии, не является ее простым продолжением. Этот язык начал складываться в социал-демократических рабочих кружках... Потом к нему добивался еще и так называемый "меньшевиствующий идеализм"». Его отменили, но отменили так, как, скажем, РАПП. То есть РАПП упразднили, а он же оказался Союзом советских писателей. То же и с «меньшевиствующим идеализмом». Небольшого ума люди во внутрикружковых дискуссиях выработали язык. Весь этот язык, абсолютно случайный, образовался в России к 20-м годам, потом «меньшевиствующих идеалистов» убрали, но язык уже существовал и через кристаллизацию в «Кратком курсе» оказался языком нашей философии, якобы продолжающей философскую школу Маркса.

В 50-е годы талантливые молодые философы поставили перед собой гордую цель — вернуться к истинному Марксу. Но на первых порах была выделена более узкая задача — извлечь из «Капитала» если не логику с большой буквы, то по крайней мере специфические марксовы методы. Ее осуществление затруднялось тем, что эти фи-

лософы не имели непосредственных учителей. Они начинали почти с нуля. Сам Мамардашвили отмечал, что учился у своих друзей-коллег.

В связи с этим ищущие философы отказались от исследования мелких, локальных процедур — умозаключений, способов образования понятий, классификаций, поскольку подобного рода работа предоставлялась формальной логике, а в современной форме — логике математической. (Однако Мамардашвили всегда признавал важность формально-логических исследований и никогда их не третировал.) Диалектика, или содержательная логика, по их мнению, должна изучать глобальные процедуры.

По реконструкции методов «Капитала» Маркса большие усилия предприняли Э.В.Ильенков, А.А.Зиновьев, Б.А.Грушин. Были исследованы марксов метод восхождения от абстрактного к конкретному, соотношение логического и исторического. Значительную роль в движении «диалектиков» сыграл Г.П.Щедровицкий с его идеями содержательной логики и деятельностного подхода. М.К.Мамардашвили тщательно изучил соотношение методов анализа и синтеза. По его мнению, специфика марксова подхода состоит в том, что объектом исследования здесь является развивающееся органически целое. В этом объекте часть, возникшая как дифференциация целого, не может быть понята вне отношения к этому целому. Отсюда формула — анализ через синтез и синтез через анализ.

Хотелось бы отметить высокий профессиональный уровень выполненных исследований в рамках сложившегося тогда направления. Они резко отличались от некомпетентных (порой вздорных) предшествующих и последующих попыток найти особые диалектические способы рассуждений. Школа, ориентированная на построение содержательной логики и методологии, бесспорно, оказала благотворное воздействие на уровень философского мышления в нашей стране. Но мне представляется, что это был все же тупиковый путь. Не случайно наиболее талантливые представители содержательной логики ушли в другие области: А.А.Зиновьев — в символическую логику, а затем в литературу и публицистику, В.Н.Садовский и В.С.Швырев — в философию науки, В.К.Финн и Д.А.Лахути — в символическую логику и ее приложения, Б.А.Грушин — в социологию.

Нельзя сказать, что в тех непростых условиях все ограничилось определенным прорывом только в логико-методологических исследованиях. Аналогичная ситуация складывалась в такой трудной для изучения из-за идеологических запретов области знания, как история российской философии. Образовалась сильная группа аспирантов — Ю.Карякин, Е.Плимак, И.Пантин, которая подняла своеобразный бунт. Но, к сожалению, она потерпела в университете поражение и не смогла в корне изменить положение к лучшему. Тем не менее определенный задел был сделан, и то, что у нас есть интересного в данной области, зародилось именно в те оттепельные годы.

В отличие от многих, Мамардашвили все больше и больше втягивался в разработку глубинных, вечных философских проблем. В книге «Формы и содержание мышления (К критике гегелевского учения о формах познания)», опубликованной в 1968 году, он продолжал развивать идеи содержательной логики, но существенно изменил акценты, что скажется на всех его последующих философских исканиях. Он как бы заново прочитывает идеи, высказанные в послекантовской немецкой классической философии и особенно Гегелем, с позиции К.Маркса и усматривает антипсихологическую установку данного философского направления при исследовании мышления и сознания.

Обычно антипсихологизм связывают с Э.Гуссерлем и Г.Фреге. Отмечают, что он стал основой современной формальной символической логики, семиотики, разработки новых формальных методов в гуманитарных науках. Антипсихологизм же Маркса и Гегеля не столь очевиден, и на него обычно не обращают внимания в историко-философских исследованиях. По этому поводу М.К.Мамардашвили писал: «...Как показывает история философии, при изучении мышления оно (мышление) впервые абстрагируется в качестве способности отдельного индивида — независимо от анализа науки как особой, общественной формы интеллектуального труда, как особой *системы* производства». Но уже рационализм XVII—XVIII веков рассматривал мышление как реализующееся в науке. Конечно, философы XVII—XVIII веков понимали, что познание осуществляется общественным человеком. Однако задача состоит в том, чтобы учесть общественную природу познания в логических по-

нениях, зафиксировать ее средствами логики и теории познания. В спекулятивной и теологически-метафизической форме Гегель «одним из первых обратил внимание на существование в человеческой деятельности общественно-объективных образований совокупной культуры человечества, не зависящих от отдельных индивидов и определяющих своей организацией и нормами поведение, волю, сознание этих индивидов — будь то в сфере практической, государственной, религиозной, моральной или же научной жизни».

Этим устраняется предпосылка предшествующей философии — «гносеологическая робинзонада». М.К. Мамардашвили показывает, что Гегель предпринял попытку, хотя и в метафизированном виде, исследовать разум не как сугубо индивидуальную деятельность, а как особую действительность, объективно фиксируемую и существующую в формах практической жизни людей. Согласно Мамардашвили, это есть попытка устранить психологизм из логики. Категории формы и содержания суть характеристики познания как особого социального действия. Гегель выделяет в общественном сознании его надындивидуальные, принудительные формы (то, что он называет «объективным духом»). «Объективно рассмотреть эти "отчужденные" от индивида общественные формы сознания означало для Гегеля выявить их действительное содержание, ускользающее от стихийно подчиняющегося им индивида, и довести их до "самосознания"».

То, что в книге «Формы и содержание мышления» подчеркивалось надындивидуальное, непсихологическое понимание сознания в философии Гегеля, давало ключ к трактовке философии сознания Маркса. Открывалась дорога для собственных глубоких исследований. В данном смысле характерна статья М.К. Мамардашвили «Анализ сознания в работах Маркса», опубликованная в журнале «Вопросы философии» в 1968 году. Она является как бы продолжением книги и вместе с тем свидетельствует о новом этапе философской эволюции мыслителя. В ней, в частности, отмечалось, что Маркс не создал специальной теории сознания, как и отдельного, специального учения о методе и диалектике. Однако они имплицитно содержатся в его экономическом исследовании капитализма. Теория сознания «имеется у Маркса, причем настолько глубокая, что открытия ее стали пол-

ностью осознаваться лишь гораздо позднее, а многие были заново сделаны, но в ложной форме и приписываются другим (например, феноменологам, экзистенциалистам, психоаналитикам и др.)».

Такое понимание марксовой теории сознания способствовало прежде всего выработке нового отношения к феноменологии, экзистенциализму и фрейдизму, которое до того в нашей философии было сугубо отрицательным. Эти философские течения трактовались исключительно как иррационалистические, ненаучные (даже антинаучные), причем не одними марксистами, но и представителями других направлений научной аналитической философии. М.К.Мамардашвили видит элементы иррационализма и полунаучного характера (посвящает этому ряд работ) и в то же время показывает, что волнующая их проблематика относительно теории сознания есть и марксова проблематика. Он убедительно доказывает, что антипсихологизм в трактовке мышления и сознания есть краеугольный камень и марксова понимания сознания, при котором оно рассматривается как функция, атрибут социальных систем деятельности. «В ней, — пишет автор, — тем самым образуется точка отсчета, независимая — в исследовании самого же сознания — от психологически сознательных выражений духовной жизни индивида, от различных форм его самоотчета и самообъяснений, от языка мотивации и т.д.».

Для классической философии жизнь сознания протекает только в одном измерении — в восприятии и представлении сознания субъекта. Маркс «впервые вводит сознание в область научного детерминизма, открывая его социальное измерение, его социальные механизмы». Данный сложный феномен рассматривается на разных уровнях механики социального, механики подсознательного, знаковых систем, культуры и т.д. Сознание «в этих глубинах и различных измерениях не охватывается самосознательной работой размышляющего о себе и о мире индивида».

М.К.Мамардашвили сумел прочесть Маркса с позиций второй трети XX века и самостоятельно прорваться к феноменологической проблематике. Следует особо сказать о предпринятом им анализе понятия превращенных форм, которое играет центральную роль в марксовой философии сознания и политической экономии. По Марксу, стоимость рабочей силы превращается в стоимость

самого труда. Эта форма выражения скрывает истинное отношение. В классовом обществе превращенные формы носят иллюзорный, иррациональный характер. Мамардашвили не только блестяще излагает марксову теорию превращенных форм, но в ряде пунктов идет дальше. Выделим некоторые принципиальные моменты.

Когда человек действует, обращает внимание мыслитель, ему не нужно знать внутреннее, скрытое. Достаточно осознать превращенные формы. Они играют регулируемую роль, обеспечивают стабильность системы и противодействуют ее изменению. Но при философском подходе необходима редукция этих форм к реальным отношениям. Феноменологическая редукция заложена в марксовской идее превращенных форм. Маркс был склонен считать, что все они отомрут с исчезновением экономики, базирующейся на старом общественном разделении труда (в том числе: право, мораль, религия, государство и т.д.).

Превращенная форма не обязательно должна быть иллюзорной и иррациональной. Скажем, иррационализм имеет место только при определенных условиях. Наука избавляется от иррационального характера, хотя вне той или иной ее формы она невозможна. Более того, по Марксу, правовые отношения, понятия свободы являются иллюзорными (см.: *Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 550*) и редуцируются к акту продажи рабочим своей рабочей силы. М.К.Мамардашвили, раскрывая обязательность той или иной формы, утверждает объективность, самоценность и права, и морали, и свободы. Так он делает важный шаг вперед в направлении, которое в дальнейшем будет последовательно развито и обосновано.

В книге «Символ и сознание» онтологический подход к феномену сознания был разработан детально. Она написана в соавторстве с А.М.Пятигорским и издана в 1982 году в Иерусалиме. А.М.Пятигорский — известный специалист по буддийской и индийской философии. Он сформировался в той же духовной атмосфере философских исканий, в которой воспитывался Мамардашвили и другие представители того «неспокойного» поколения. В этой достаточно трудной для понимания книге как бы перекрещиваются и объединяются различные идейные установки в понимании сознания: феноменологический подход в интерпретации Мамардашвили, идущий от

Маркса, а не от Гуссерля; изыскания по буддийской философии Пятигорского; семиотические исследования культуры, развиваемые Тартуской школой (Ю.Лотман). Этот труд заслуживает специального развернутого анализа. За неимением места придется ограничиться лишь характеристикой представленного в ней обобщенного взгляда на формы сознания.

Авторов не удовлетворяет стандартный семиотический подход к явлениям сознания и культуры. Они подчеркивают, что феномен сознания это не просто текст, а акт его производства и исполнения. Особого внимания заслуживает теория символических форм. Символ не является знаком некоего объекта. Он скорее представляет феномен сознания. Так, символ змеи есть не обозначение реального или мифического существа, а репрезентация мудрости (в одной культуре) либо женской силы (в другой). Объективный онтологический подход к феноменам сознания создает твердые методологические основания для гуманитарных наук, начиная с логики и лингвистики и кончая этнологией, этикой и эстетикой.

Но такой подход таит в себе большие опасности. Исчезает человек, человеческая личность. Человек рассматривается как игрушка социальных сил; мораль, право, свобода оказываются всего лишь иллюзорными формами. И, видимо, прав был Э.Бернштейн, когда критиковал Маркса за остатки гегельянства, выражавшиеся нередко в постулировании «железной необходимости» исторического процесса, совершающегося с помощью людей, но независимо от их воли и желаний.

Антипсихологизм делает возможными гуманитарные науки, но он же таит в себе и опасность обезличивания истории и культуры.

Фаталистические черты, исключаящие личность, свободу человека, характерны не только для гегелевской философии. Они в какой-то мере сохраняются и у Маркса. Но не только. Подобные взгляды исповедовали многие философские и идеологические течения, особенно в конце XIX — начале XX веков. Наиболее сильны они были в Германии и России. Признание «железной необходимости», Провидения приводит, как демонстрирует М.К.Мамардашвили, к различным видам нигилизма. «Я причинно задан, задан обстоятельствами. Это и есть нигилизм».

Перед мыслителем встает главнейший философский вопрос: каким образом совместить научный подход и к истории, и к сознанию с феноменом свободы, уникальности человеческой личности, ее достоинства. В этой связи он работает одновременно по трем направлениям: анализ самого феномена человеческой личности, свободы; выявление предпосылок классического рационализма, с одной стороны, обеспечившего объективность научного знания и четко провозгласившего самоценность человеческой личности, а с другой — не сумевшего их объединить, и, наконец, на основе достижений философии и науки XX века формулирование нового неклассического идеала рациональности, картины мира, в которой было бы место человеческой личности, феноменам сознания.

Без традиций, усвоенных культурных форм человек гол, является прекрасным объектом для манипуляции его сознанием. Но владение культурными формами есть лишь условие мышления и сознания человека. Необходимы самостоятельные усилия, труд, исполнение мысли. Более того, в ряде случаев требуется осознание самих этих форм, условий их функционирования, выход за их пределы, творение новых культурных форм. Если этого усилия нет, индивид, наука или человеческая общность живут по инерции, не могут не быть объектами манипуляции, рабами внешних сил. Без усилия, живой мысли деградируют, не воспроизводятся даже старые культурные формы.

Такое понимание сознания (как усилие, творчество, осуществляемое в определенных культурных формах), с одной стороны, сохраняет многомерный объективный подход к нему и его формам, научный подход, выработанный Марксом, феноменологией, семиотикой и т.п., а с другой — позволяет рассматривать личность как уникальное образование, созидающее, воспроизводящее самого себя в качестве творящего историю, науку и культуру.

Феномен самосознания личности наиболее обстоятельно рассмотрен в цикле лекций 1984—1985 годов «Время и жизнь» о Марселе Прусте. В них утверждалось, что человек не создан природой и эволюцией. Человек создается. Непрерывно, снова и снова создается. Создается в истории, с участием его самого, его индивидуальных усилий.

М.К. Мамардашвили обращается к выявлению предпосылок классического мышления, и прежде всего к Рене Декарту и Иммануилу Канту. С точки зрения историко-философских норм исследования к нему можно предъявить серьезные претензии. Но он и не претендовал на роль историка философии. Его задачи были иными — обращение к Декарту и Канту для того, чтобы выявить и сформулировать предпосылки классического мышления, классического типа рациональности.

В основе классического идеала рациональности лежит резкое разграничение мыслящего субъекта и познаваемой реальности. Показательно в этом отношении знаменитое декартовское «*cogito, ergo sum*» («я мыслю, следовательно, я существую как мыслящее существо»). Мыслящий субъект вынесен за пределы мира. Допущение подобного интеллекта, не ограниченного пространством и временем в совершении своих операций, констатирует Мамардашвили, лежит в основе классической физики. Такие идеализации ньютоновской механики, как абсолютные пространство и время, мгновенная передача взаимодействий и т.п., являются квазифизическими, натуралистическими выражениями скрытых предположений классической рациональности. Классическая система мышления вносит существенные ограничения на познание. В ее рамках мы не обо всем можем спросить и не все можем узнать. В частности, за ее пределами остаются наши субъективные переживания. Но вместе с тем в декартовском принципе заложено и другое: я мыслю, следовательно, я существую, я могу.

Философия Нового времени, по мнению Мамардашвили, выработала установки, позволяющие объективно изучать действительность. В то же время они открывали возможность рассматривать человека в качестве субъекта, как человека могущего. Но это достигалось за счет резкого размежевания мира вне человека и человеческого «Я». В этом значении декартовского «мыслю, следовательно, существую», кантовской загадки звездного неба над нами и внутреннего мира в нас. Дуализм был положен в основу новой европейской цивилизации. Если рассматривать человека лишь с одной стороны — как часть объективного мира, отбросив вторую, то исчезает феномен человеческой личности, свободы, сознания. Человеческое поведение целиком определяется внешними обстоятельствами, и никакой свободы нет, а потому нет и ни-

какой ответственности. Отсюда возникает утилитаристское понимание морали. Моральным признается то, что полезно индивиду, классу, нации, государству, человечеству. Появляется нигилизм со всеми его страшными последствиями для личности, общества, человечества.

М.К.Мамардашвили показывает, что феномен сознания, реализация человеческой личности существуют. Мы часто рассматриваем сознание только как отражение бытия. Но необходимо сознание видеть онтологически как событие, имеющее место в мире. Свобода — отнюдь не иллюзорная форма осознания общественного бытия, а событие мира.

Предложенный подход ставит очень трудные философские проблемы. Должна быть выработана новая неклассическая форма рациональности для того, чтобы ответить на вопрос: «Как должен быть устроен мир, чтобы событие под названием "мысль" могло произойти?»

Проблемам новой рациональности посвящена книга «Классический и неклассический идеалы рациональности», опубликованная в 1984 году в тбилисском издательстве «Мецниереба». В ней обосновывается, что человеческое «Я» существует не вне мира, а является его частью. Человек как биологически, так и интеллектуально конечен в пространстве и времени. Его интеллект не всемогущ. Классическая форма рациональности с ее дуализмом, различными методами в естественных и гуманитарных науках должна быть преодолена. Выработки новой классической формы рациональности требует не только гуманитарная область, но и современная естественная наука. Поэтому мыслитель обращается к квантовой физике с ее новой формулировкой детерминизма и к нелинейному подходу — к синергетике, идеям И.Пригожина.

Здесь одной из важнейших является проблема времени, временного порядка. Классическая физика, по существу, основана на концепции линейного времени, на времени, понимаемом статично, на лапласовской жесткой детерминации, исключающей объективность случайности, многовариантность процесса. Неклассическая форма рациональности пересматривает эти предпосылки. Современная квантовая физика предсказывает уже не события, а их вероятности, отказываясь от жесткого детерминизма и признавая объективность случайности.

Феноменологическое рассмотрение сознания, проведенное М.К.Мамардашвили на основе анализа «В поис-

ках утраченного времени» Марселя Пруста, позволило показать, что в жизни сознания привычные отношения между прошлым, настоящим и будущим исчезают. Сознание есть усилие, творчество. Чтобы понять это, надо время понимать динамически. Будущий момент, будущее событие не предзаданы. Они могут и не быть. Все это радикально меняет наши представления о времени.

Проблема времени исключительно важна и для науки, и для нашего мировоззрения, и особенно для понимания сознания. Мы до сих пор не способны объединить в логически однородном исследовании физические явления и явления сознания. Но их унификация необходима. Полная картина мира не может терпеть подобного дуализма. Для осознания и решения этой задачи очень много сделано именно М.К.Мамардашвили.

Нельзя не сказать еще об одной особенности творческого наследия мыслителя. Он неоднократно писал, что философ не политик. Он не должен вмешиваться в каждодневную политическую жизнь. К текущим, злободневным политическим и идеологическим проблемам ему следует подходить непременно с некоторой дистанции, рассматривать их в контексте достаточно больших временных интервалов. «Чтобы нам быть гражданами, то есть жить социально грамотно, нам нужно понимать какие-то отвлеченные истины относительно самих себя, своих предельных возможностей». Так всегда и поступал сам философ. Мне представляется, что разработанная им теория сознания позволяет глубоко проникнуть в суть переживаемого нами сегодня кризиса, обнажить его корни и наметить принципиальные пути выхода.

Осмысливая судьбу страны, он писал, что Россия (как Грузия), несмотря на специфику всего ее исторического развития, принадлежит европейской христианской цивилизации. «...Россия сама — хочет она или не хочет — неотделимая часть европейской цивилизации». Европейская культура построена на идее признания самоценности человеческой личности, ее свободы и достоинства, на жизненном усилии. Глубочайшая ее ценность «заключается в ясном сознании: все, что происходит в мире, зависит от твоих личных усилий, — а значит, ты не можешь жить в мире, где неизвестными остаются источники, откуда к тебе "приходят" события...»

Поэтому мы должны понять, что «в XX веке со всеми нами случилось что-то, чего нельзя ни забыть, ни про-

стить...» Причем вот это «с нами» не означает только Россию, Советский Союз. Явление гораздо глубже и шире. «20—30-е годы — это позорный период в истории европейской интеллигенции, ее капитуляция перед всяческим "бесовством"». Имя ему — нигилизм. А причина коренится в том, что опыт Достоевского «остался... почти *неусвоенным*, "пропущенным" русской интеллигенцией» (курсив мой. — В.С.).

В лекциях о Марселе Прусте обращалось внимание на то, что все заново и заново в нашей жизни или истории делается одна и та же ошибка, а именно: мы совершаем что-то, из-за чего мы раскаиваемся. Почему? Если мы не поняли, не извлекли опыт, то это будет повторяться. Скажем, в российской истории всюду гулял гений повторений, дурных до тошноты.

В основе государственности был заложен отказ от внутреннего развития в пользу внешнего. Так, Петр I сделал рабство фундаментом бурного расцвета экономики страны и ее государственной мощи. Поэтому в истории России многое не случилось в свое время, а мы устремились в некое постевропейское состояние. «В 1917 г. рухнул гнилой режим, а нас все еще преследуют пыль и копоть прогнившей громады, продолжающаяся "гражданская война"». Отсюда «мы находимся в периоде... затянувшегося одичания сознания», живем в ситуациях, когда все никак не можем признать достоинство человека и при этом не извлекаем опыта. У нас господствует инфантилизм.

Так, мир ребенка эгоцентричен, все окружающее он делит на благосклонное и враждебное ему. Но взрослый человек понимает, говоря словами Л. Витгенштейна, что мир не имеет намерений по отношению к человеку. В XX веке инфантилизм опасен не только для самого человека, но и для человечества. «...Человек с одичавшим сознанием, с упрощенными представлениями о социальной реальности и ее законах не может жить в XX веке. Он становится опасным уже не только для самого себя, но и для всего мира». Мы должны выйти из младенческого состояния, преодолеть инфантилизм, реализовать идеалы Просвещения, войти во «взрослое состояние человечества, когда люди способны думать своим умом и поступать, не нуждаясь во внешних авторитетах», поступать, не будучи водимыми на помочах.

Решить поистине кафкианскую ситуацию — это не улучшать ее, а выйти из нее. Выход заключается в воссоединении с европейской, общечеловеческой родиной. Самое главное состоит в том, чтобы отделить гражданское общество от государства, развить самостоятельный общественный элемент. Человек должен быть раскрепощен. Государство не должно отождествляться с обществом, оно должно превратиться лишь в служебный орган общества. Нужны реформы, «способные разорвать кольцо неразвитости и немоготы собственных усилий людей, как и узел высшей опеки над ними». Необходимы условия, при которых человек поверил бы в себя. Ему очень важно, чтобы «счастье, как и несчастье, было результатом его собственных действий, а не выпадало ему из таинственной, мистической дали послушания».

Цивилизация предполагает формальные механизмы правового поведения. Наше поведение должно базироваться на праве, а не на чьей-то милости, идее или доброй воле. «...Единственное наше спасение — *высвобождение свободных социальных сил*. Таких, которые рождаются и сцепляются друг с другом, минуя обязательное государственное опосредование».

М.К.Мамардашвили не проводит специальных экономических исследований, не сравнивает прусско-российский путь развития экономики, работающей на себя, с экономикой, работающей на потребителя. Но четко отмечает, что «труд наш есть труд барщины», «крепостное состояние экономической материи». Правовое же общество предполагает свободного человека, свободный труд, раскрепощенную экономику. А мы до сих пор «живем в ситуациях, когда все никак не можем признать достоинство человека».

Где же выход? Для того чтобы жить социально грамотно, человек должен знать свои предельные возможности, владеть истиной о самом себе. Говоря философским языком, осознающий себя как свободное, деятельное существо должен быть способен к феноменологической редукции. Человеку нельзя быть рабом идеологических фантомов, циркулирующих в обществе и создаваемых как его институтами, так и им самим. Раскрыть все это есть жизненно важная задача философов, интеллектуалов. И сам М.К.Мамардашвили проделал большую работу по анализу механизма замещения и сокрытия ре-

альности особыми фантомами, а также конкретных его проявлений в нашей действительности.

Постоянное внимание он уделял языковой природе некоторых беспокоящих нас нравственных, социальных и даже экономических проблем. Исследователь отмечал, что в 20—30-е годы сложился очень опасный «новояз», который связывает нас и сегодня в период перестройки. Его пороки он прекрасно выявил, анализируя чисто философски сам язык делегатов I Съезда народных депутатов СССР. Так, например, он констатирует, что использование термина «воин-интернационалист» приводит к тому, что мать солдата, потерявшая сына в Афганистане, как ни парадоксально, проклинает А.Д.Сахарова, восставшего против безумной, позорной войны, и поддерживает, по существу, силы, ввергшие в нее страну. То же самое можно сказать и о нашем понимании «плана», являющегося не чем иным, как внеэкономическим принуждением, а также о «заботе о человеке», обрачивающейся патернализмом. То есть фантом господствует над человеком.

Наше нынешнее сознание есть больное одичавшее сознание. В его фундаменте лежит принцип нигилизма — я не могу, значит, никто не может. «И тогда все возвышенное представляется как корыстное, как "переодевание" низменного. Отсюда — критика... как разоблачение. Все дрянь: я — дрянь, и вы — дрянь, никто ничего не может». Первоисточник подобной озлобленности, полагает Мамардашвили, лежит в невыносимости человека для самого себя и в обращении ее вовне. Если я невыносим себе, я так или иначе разрушу все вокруг.

Сейчас в поисках духовности достаточно часто обращаются к религии, особенно к православию. Мыслитель называет европейскую цивилизацию христианской, поскольку она опирается на идею признания достоинства человеческой личности. Однако он далек от призыва к возврату религиозности, так как официальное православие не создало «независимую и самобытную сферу духовной жизни...»

От себя замечу, что мы искажаем историю русской философской мысли начала XX века. Преувеличено внимание к ее религиозному ренессансу. Конечно, это было большое культурное явление, и хорошо, что сейчас мы переиздаем произведения мыслителей этого направления. Но творческая мысль России той поры не сводилась

лишь к внеуниверситетской философии. Существовала и профессиональная, университетская наука. Это аналитическая и феноменологическая философия Л.М.Лопатина, Н.А.Любимова, Н.О.Лосского, Н.А.Васильева, В.И.Вернадского, Г.Г.Шпета, Б.В.Яковенко, созвучная идеям научной философской мысли XX века. Поэтому для М.К.Мамардашвили проблема отношения к религии представляется лежащей гораздо глубже. Он отмечал, что «философия, в отличие от религии, не может оставаться на состояниях почтения, послушания, уважения».

В этой связи исследователь решительно заявляет, что везде как никогда нужны личностные начала. Даже в решении национальных проблем. Сама личность наднациональна, человек прежде всего «гражданин мира», космополит, а затем уже принадлежит той или иной нации, что важно и для жизни нации. «Если истребить в нации личностные начала, которые вненациональны... то лучшие черты нации исчезнут». Причем М.К.Мамардашвили ссылается на позицию великого грузинского просветителя Ильи Чавчавадзе: «...Пребывание внутри России — автономное пребывание — для него имело смысл лишь как путь к воссоединению с Европой», то есть с европейской, общечеловеческой цивилизацией. Не на этом ли пути мы должны решать и проблемы Союза? Для каждой республики — христианской, мусульманской, буддистской — вхождение в Союз должно быть путем воссоединения с мировой цивилизацией, средством создания условий, достойных человека.

Огромное значение в наши дни приобретает свобода, независимость личности. «...Сегодня особенно нужны люди, способные на полностью открытое, а не подпольно-культурное существование...» Главное — быть достойным, что бы с нами ни случилось. «Сейчас мы не можем жить цивилизованной общественной жизнью, не восстанавливая эту автономную духовную сферу независимой мысли». Ибо человеческое предназначение состоит в том, чтобы исполниться в качестве Человека. Для этого нужно отстаивать свое право жить, как велят совесть и долг. «Прогресс предопределяют только автономные, независимые люди, которые сумели отвоевать для себя и своего дела особую духовную экстерриториальность...»

Все это накладывает новую ответственность на интеллектуальную часть общества. «Не представляю себе фи-

лософию, — писал ученый, — без рыцарей чести и человеческого достоинства». Всякий мыслящий человек должен помнить: «В действительности многие вещи, которые кажутся совершенно обязательными перед лицом общества и окружающих, вовсе не так обязательны, если ты берешь на себя ответственность этого не делать. Если не спешишь. И есть вещи, которые можно (и следует) делать, только сознательно отказавшись от карьеры...»

М.К.Мамардашвили не опубликовал ничего, за что ему было бы стыдно. На основе глубоко понятого Маркса ученый построил собственную философию, которая занимает достойное место в мировой философии XX века. Созданная и глубоко выстраданная им философия сознания всем нам нужна. Поэтому необходимо, чтобы его лекции о Декарте, Канте, Гегеле, Прусте были полностью опубликованы в ближайшее время, а его беседы, собранные в книге «Как я понимаю философию», вышли бы массовым тиражом.

Основная страсть человека, писал Мераб Константинович, это исполниться, осуществиться. Он выполнил свое предназначение и как человек, и как философ.

«Коммунист», 1991

Н.В.Мотрошилова

«КАРТЕЗИАНСКИЕ МЕДИТАЦИИ» ГУССЕРЛЯ И «КАРТЕЗИАНСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ» МАМАРДАШВИЛИ

(двуединный путь к трансцендентальному Его)

В своей книге «История культуры Нового времени» известный исследователь Эгон Фридель писал о влиянии Декарта во Франции XVII в., что, несмотря на все усилия критиков великого философа, «его школа неудержимо распространяла свое влияние. И не только через "оказионалистов", как называли его ближайших последователей и продолжателей в философии, не только через знаменитую логику Пор-Рояля "Искусство мыслить" и задававшее тон "Поэтическое искусство" Буало: скорее, его школой сделалась вся Франция во главе с королем-солнцем, запретившим в свое время сочинения Декарта. Государство, экономика, драма, архитектура, дела ду-

ховные, стратегия, садовое искусство — все стало картезианским. В трагедии, где страсти боролись друг с другом, в комедии, где развивались алгебраические формулы человеческих характеров, в пространстве, окружающем Версаль, где господствовала абстрактная симметрия садов, в аналитических методах ведения войны и народного хозяйства, в дедуктивном, так сказать, церемониале причесок и манер, танцев и светской беседы — везде как повелитель неограниченно царил Декарт. И можно даже утверждать, что до сего дня каждый француз — прирожденный картезианец»¹.

Кто-то наверняка сочтет преувеличенной и чрезмерно категоричной эту универсальную оценку культуролога. Однако проникновение картезианства в корневую систему жизненного мира Франции, Европы XVII и следующих веков — факт и феномен культуры, который пока еще ждет адекватного истолкования. Но еще более универсальное значение сделанного Декартом выявляется через своего рода историко-философский и методологический закон, против которого вряд ли возникнут возражения: картезианские размышления — неотъемлемый элемент любого сколько-нибудь глубокого философствования. Всякий великий, выдающийся или просто профессиональный философ должен, и, пожалуй, не однажды в своей жизни, пройти через собственные «картезианские размышления». Доказательств тому в истории человеческой мысли немало. И два из них — «Картезианские медитации» Эдмунда Гуссерля и «Картезианские размышления» Мераба Мамардашвили — послужат далее предметом сопоставления.

Приступая к очень краткому разбору двух названных книг, каждая из которых играет особую роль в мировой феноменологической традиции, я хотела бы напомнить о том, что значила и в творческой судьбе Гуссерля, и в жизни Мамардашвили страна, давшая миру Декарта, — прекрасная Франция.

Вовсе не случайным представляется мне тот факт, что к возникновению гуссерлевской работы — с ее важнейшим подзаголовком «Введение в феноменологию» — имели самое прямое отношение выступления Гуссерля во Франции и что она носила название «Картезианские ме-

¹ *Friedel E. Kulturgeschichte der Neuzeit. München, 1989. S. 502.*

дитации». Как и «Парижские доклады», опять-таки не случайно, а закономерно открывающие, в качестве I тома, многотомно-нескончаемую «Гуссерлиану», «Картезианские медитации» (размышления) возникли благодаря тому, что в 1929 г. Эдмунд Гуссерль — бывший к тому времени выдающимся, европейски известным философом, членом-корреспондентом Французской академии (Académie Française) — получил приглашение из Парижа от Института германистики и Французского философского общества (Institut d'Études germaniques; Société française de philosophie) выступить во французской столице с докладами и лекциями. Однако, как отмечает автор введения к I тому «Гуссерлианы» С. Штрассер, во Франции Гуссерля тогда больше знали и чтили как создателя «Логических исследований» и борца против психологизма. И лишь немногие были основательно знакомы с уже разработанной к тому времени оригинальной гуссерлевской феноменологической концепцией. Но главное, как пишет Штрассер, во Франции не без оснований предполагали, что говорить Гуссерль будет не только о своих идеях и разработках. «На родине Декарта должно было стремиться к достижению познавательного уровня трансцендентальной философии через радикализацию известного [Декартова] метода сомнения. Дело обстояло вовсе не так, будто Гуссерль до того не шел этим путем. Уже в "Идеях" и еще более в неопубликованных рукописях Гуссерль сравнивал свой метод с методом Декарта. Но как раз в "Картезианских медитациях" Гуссерль с особой ясностью выразил мысль о том, что отделяет его от Декарта. Одновременно "Картезианские медитации" должны были дать пусть беглый, но обзор тех бесконечных и огромных задач, того круга работы, из которых и составлялись конкретные исследовательские намерения феноменолога»¹. Гуссерль интенсивно работал над лекциями с 25 января 1929 г.; состоялись же парижские доклады и лекции 23 и 25 февраля того же года в Сорбонне, в знаменитом Амфитеатре Декарта. Затем были лекции в Страсбурге (март 1929 г.). Эти гуссерлевские выступления имели большой успех. В результате в 1931 г. появились — сначала во французском варианте — *Meditations Cartésiennes*.

¹ *Husserl E.* *Husserliana*. Bd. I. Haag, S. XXIII. В дальнейшем при цитировании: Haa, I — с указанием страницы.

Гуссерль писал текст, как отмечает Штрассер, «споро, с лихорадочной быстротой, словно бы в транс» (Ниа, I, XXVI). Вдохновленный выступлениями во Франции, Гуссерль создал сочинение, значительно расширенное по объему, темам и весьма основательное по глубине, причем одно из наиболее ясных и четких в его наследии. Гуссерль писал Роману Ингардену: «Я не должен отодвигать в сторону немецкий переработанный текст "Картезианских медитаций", ибо это будет главное сочинение моей жизни, очерк зреющей во мне философии, фундаментальное сочинение о методе и философской проблематике» (Ниа, I, XVII). Эта оценка совершенно верна: «Картезианские медитации» (вместе с «Парижскими докладами») можно рекомендовать для чтения, а вернее, для досконального изучения как наиболее ясное, точное, относительно краткое и в то же время широкое по охвату проблем введение в гуссерлевскую феноменологию. То был своего рода перст судьбы: она помещала великого немецкого феноменолога в то единственное на свете историческое место, где можно было получить невидимый толчок к преемственности и новаторству от хранимого Францией, Сорбонной «духа Декарта».

Отсюда в немалой степени проистекало высочайшее интеллектуальное и эмоциональное напряжение, с каким создавались «Картезианские медитации». Оно было, вероятно, сродни тому, что переживал, метафизически медитируя, сам Декарт и что было предельно близко Мамардашвили, почему я и приведу слова Мераба о Картезианских текстах: «Они выражают реальный медитативный опыт автора, определенный им с абсолютным ощущением, что на кон поставлена жизнь и что она зависит от разрешения движения его мысли и духовных состояний, метафизического томления. И все это, подчеркиваю, ценой жизни и поиска Декартом воли (как говорили в старину, имея в виду свободу, но с более богатыми оттенками этого слова) и покоя души, разрешения томления в состоянии высшей радости. Ибо что может быть выше?!»¹

Мераб Мамардашвили читал свои лекции о Декарте не в Сорбонне, а в Москве в 1981 г. В Сорбонну его

¹ Мамардашвили М. Картезианские размышления. М., 1993. С. 9. Далее при цитировании этой работы в скобках указаны страницы.

тогда не пускали. Но к тому времени Мерабу уже удалось побывать во Франции, в Париже, на всю жизнь полюбить эту страну и этот город, проникнуться их неповторимым умонастроением. Главное, однако, даже не в этом. Ибо я лично верю в нечто, на первый взгляд, мистическое — в то, что на материках и в морях человеческой культуры топографическое и историческое место способно становиться метафизическим, свободно и духовно двигаясь в реальном историческом времени и материальном пространстве. Читая свои лекции — создавая свои «Картезианские размышления», — Мераб духом своим как бы перемещался во Францию XVII в., в Париж, в Сорбонну, в приютившую Декарта Голландию, а Амфитеатр Декарта (о котором Гуссерль, стоя там за кафедрой, сказал: «Достославное место, средоточие французской науки» — Ниа, I, 3) чудесным образом был в метафизической близости от аудиторий, переполненных слушателями, которые и в поднадзорной Москве имели шанс приобщиться к вечной, нетленной, общечеловеческой, а одновременно и истинно французской Картезианской философии. В отличие от Гуссерля, почти не объективировавшего личностные аспекты Декартова и своего собственного «метафизического томления» (или «транса», по выражению Штрассера), Мамардашвили считал их столь важными, что — сделав все оговорки относительно требуемых здесь осторожности, деликатности — посвятил проблеме «преобразования, перерождения самого себя», как они зафиксированы в текстах и письмах великого французского мыслителя, многие страницы «Картезианских размышлений». Это, конечно, не единственное различие между медитациями Гуссерля и Мамардашвили о Декарте. Но прежде таких различий я хотела бы (по необходимости кратко) выявить главное, типологического характера сходство между ними. Его я и обозначила в подзаголовке своих заметок словами: «двухединный путь к трансцендентальному Ego».

* * *

Первая из пяти гуссерлевских картезианских медитаций так и называется «Путь к трансцендентальному Ego». Гуссерль усматривает осуществленный Декартом и завещанный им радикальный переворот в науке прежде всего в том парадоксальном обстоятельстве, что во имя

абсолютного обоснования наук требуется как бы «поставить вне игры все убеждения, допреж того имевшие для нас значение, и в их числе все наши науки» (Hua, I, 48). И если Декарт, осуществлявший радикальное сомнение, все же брал в качестве парадигмальной предпосылки геометрию, эту математическую естественную науку, т.е. ориентировал науку и научность на принципы аксиом и дедукции, — то мы, люди XX в., утверждал Гуссерль, уже не можем сохранять в его значимости тот же исходный нормативный идеал; мы должны, если это вообще окажется нам под силу, создавать вместо нововременного идеала науки и научности нечто совершенно иное (там же, 49). Притом гуссерлевские «Картезианские медитации» все же настойчиво ориентируют нас на науку, но на некоторую «подлинную науку» (§ 51-го Размышления называется «Очевидность и идея подлинной науки»). Оставим в стороне этот трудный внутрифеноменологический парадокс. Нас здесь будет интересовать главная цель, к которой движется Гуссерль, — и движется, несомненно, вслед за Декартом. А она может показаться поклоннику любой, и нововременной, и современной, научности не чем иным, как полным и окончательным субъективистским разрушением объективистских устоев науки.

Ибо «первый методический принцип» Гуссерль фиксирует так: «Совершенно ясно, что я как начинающий дело философии и последовательно осуществляющий его, я как устремляющийся к предпосылаемой цели подлинной науки не имею права построить ни одно суждение и ни одному из них придавать значимость, если они не почерпнуты мною из очевидности, из такого опыта, в коем соответствующие вещи и обстоятельства вещей в качестве самих себя не были бы современны мне» (mir... gegenwärtig sind) (Hua, I, 54).

Каждый, кто слышал лекции Мамардашвили или читал его «Картезианские размышления», без труда вспомнит, что уже начиная с первых размышлений Мераб бьется над разъяснением глубинного для Декарта метафизического смысла слова «теперь» — «теперь, когда [я] мыслю», «теперь, когда говорю», «теперь, когда делаю» (43). Мераб твердит о «маниакальной, почти механической повторяемости» у Декарта этого «теперь». У Мамардашвили разъяснение этого «теперь»

(настоящего момента — *Gegegenwart*, *gegenwärtig* — в гуссерлевском контексте) приобретает теологический (непрерывность творения), личностно-смысложизненный (не спи: заснешь — не будет порядка мира), онто-гносеологический размах в куда большей мере, чем в медитациях Гуссерля, прибегающего в основном к методологическим разъяснениям. (Это различие, впрочем, нельзя распространять за пределы гуссерлевских «Картезианских медитаций», ибо в целостном наследии основателя феноменологии задействованы и все названные аспекты.) Но несомненно и то, что у Мамардашвили, как и у Гуссерля, движение мысли устремляется в сторону магнита всех магнитов, «феномена всех феноменов», как его называет Мераб, — в сторону трансцендентального *Ego*. Это *Ego* — одновременно наивымышленнейшее и наиреальнейшее — становится для обоих философов, и, разумеется, не только для них, центром «подлинного философствования». И то, что у Гуссерля уложено в свойственные родоначальнику феноменологии внешне «онаученные», строгие формулы, — то у Мераба собирается вместе, взрывным и подчас хаотическим образом вламывается в единый речевой (потом письменный) текст, теснит его, растягивает к разнонаправленным полюсам, испытывает на прочность самую нашу способность охватывать единым умственным взором плотную и пеструю констелляцию его смыслодержаний.

«Путь к трансцендентальному *Ego*» — это сокращенное обозначение спрессованных методологическим, онтологическим, экзистенциальным синтезом шагов, ступеней, поворотов мысли и анализа, которые опытный феноменолог, опираясь на хорошо теперь известные тексты (или до сих пор томящиеся в архивах манускрипты) Гуссерля, может расшифровать, в зависимости от спроса и обстоятельств, то менее, то более подробно. Сегодня это можно сделать лишь самым кратким образом — и не потому, что внешне кристально четкие гуссерлевские медитации не таят в себе трудностей и загадок, а потому главным образом, что обстоятельства времени и места требуют пристальнее взглянуться в размышления Мамардашвили, в тексты, новые и для кого-то из нас, но уж, несомненно, новые для многих западных читателей.

Что до Гуссерля, то его разъяснения «пути к трансцендентальному Ego» подразумевают ответ на целый ряд вопросов, тесно примыкающих в «Картезианских медитациях» именно к толкованию Декарта (а в других текстах повернутых, например, к Канту). Это вопросы: от чего мы, медитирующие и исполняющие дело философии, отталкиваемся, уходим на таком пути, столбовом для философии (особого вида)? Как мы проходим тот путь, каковы здесь решающие шаги? Каковы промежуточные остановки и что за станция назначения ждет нас в итоге? Во имя чего осуществляется движение, с какими потерями и с какими позитивными философскими, личностными и общекультурными результатами связана устремленность к трансцендентальному Ego, или Ego cogito, как первооснове философии? Ответы на все подобные вопросы спрессованы в следующей гуссерлевской формуле из § 81-го Размышления. «И вот здесь мы, следуя Декарту, осуществляем грандиозное преобразование, которое — в случае его правильного исполнения — ведет к трансцендентальной субъективности: это поворот к Ego cogito как аподиктически известной и последней почве суждений, на которой следует основать всякую радикальную философию. Давайте поразмыслим, — продолжает Гуссерль. — Как радикально медитирующие философы мы теперь уже не имеем ни значимой для нас науки, ни сущего для нас мира. Вместо того чтобы быть просто сущими, каковое назначение они имеют для нас естественным образом в опыте с его верой в бытие, они теперь предстают перед нами как простая претензия на бытие. Это касается также и внутримирового значения всех других Я, так что мы, собственно, уже не вправе изъясняться в коммуникативном множественном числе. ...Вместе с другими людьми я естественно теряю все социальные образования и все формообразования культуры. Короче говоря, не только телесная природа, но весь конкретный окружающий нас жизненный мир — вместо того чтобы быть для меня сущим — превращается только в феномен бытия» (Hua, I, 58—59).

Собственно, здесь и далее Гуссерль опирается на теорию сомнения и учение о cogito Декарта, для того чтобы еще раз обосновать свою концепцию феноменологической редукции, учение о феномене и трансцендентальной субъективности. Но во всем заключена претензия на то,

что именно трансцендентальная феноменология, и, пожалуй, только она — через осовременивание, перетолкование — передает истинный смысл поучений самого Декарта. Сейчас нас будет интересовать вот какой вопрос: верил ли Мераб Мамардашвили хотя бы в относительную оправданность претензии Гуссерля говорить «как бы от имени» Декарта? В тексте «Картезианских размышлений» Мераба трудно отыскать прямой и однозначный ответ на этот вопрос, как нелегко установить, в какой мере в момент чтения лекций о Декарте Мераб прибегал к освоению или критике задолго до него осуществленных великим немецким философом картезианских медитаций. Но после сравнительного изучения обоих произведений, как мне представляется, возможно говорить об их *существенном типологическом родстве*. Чтобы доказать это утверждение, я могла бы привести множество конкретных аргументов. Но здесь и теперь приходится ограничиться лишь теми, что в проблематике «Путь к трансцендентальному Ego» кажутся главными. Говоря о принципиальном типологическом родстве, я одновременно буду подчеркивать и различия, имея в виду, в частности, обнаружить то новое, оригинальное, что вносит Мераб Мамардашвили в понимание и толкование как Декартовой, так и Гуссерлевой традиции.

И у Гуссерля, и у Мамардашвили в толковании декартовского сомнения как пути к Ego cogito фактически принят способ изображения шагов сомнения как *феноменологической редукции*, которая обращена и к окружающему природному, социальному, культурному миру, и к самому философствующему, медитирующему субъекту. Равным образом в обеих интересующих нас картезианских медитациях при «отстранении», редукции мира и меня самого как природно-исторического существа впрок заготовлен «возврат» к ним на новой, когитально-трансцендентальной основе, т.е. в первоначальный проект редукции заложена и своего рода *трансцендентальная онтология*. В немалой степени этому служит специфическая редуцирующая процедура, которая Гуссерлем обозначена традиционным термином *еросхе*, воздержание, и расшифрована через целое гнездо родственных слов. Приведу довольно длинную цитату из Гуссерля, где феноменологический редукционизм представлен достаточно полно и, по-моему, вполне четко: «Мир, относительно

которого в рефлектирующей жизни осуществляется опыт, в известном смысле и потом, и далее остается существующим... Он и далее является так, как являлся прежде, но только я, как философски-рефлектирующий, не удерживаю более в ее значимости естественную веру в бытие, пусть она все еще пребывает где-то здесь и при повороте внимания на нее бывает обнаруженной. Таким же образом ведут себя по отношению ко всяким прочим мнениям-полаганиям (Meinungen), которые принадлежат моему жизненному потоку, вырастающему из этих опытных полаганий; по отношению к моим несозерцаемым представлениям, суждениям, ценностным поступкам, решениям, определениям целей и средств и т.д. и в особенности по отношению к позициям, необходимо оказывающим свое воздействие через естественные, нереллектированные, нефилософские установки жизни — поскольку последние всюду делают предпосылкой мир, а следовательно, заключают в себе бытийную веру относительно мира. И здесь исключение подобных позиций со стороны рефлектирующего Я не означает его исчезновения из своего опытного поля...

Это универсальное лишение значимости (Außergeltungsetzen, выведение из игры) всех позиций по отношению к предданному объективному миру, и прежде всего позиций по отношению к бытию (касательно бытия кажимости, возможного, положения, вероятного бытия и т.д.), — или, как уже вошло в привычку говорить, это *феноменологическое* ероче или *заключение в скобки* объективного мира не ставит нас перед лицом ничто. Что именно благодаря этому становится обретенным нами — или, точнее, что становится обретенным мною, медитирующим, так это моя чистая жизнь со всеми ее чистыми переживаниями и всеми ее чистыми положенностями, универсум *феноменов* в смысле феноменологии. Эпохэ, можно сказать, есть радикальный и универсальный метод, благодаря которому я в чистой форме схватываю себя как Я, вместе с чистой жизнью моего сознания, в которой и через которую совокупный объективный мир является миром для меня... Все это Декарт, как известно, и обозначил термином cogito. Мир для меня вообще есть не что иное, как сущий через сознание и значимый для меня в таком cogito» (Hua, I, 59—60).

Та же тема — редукции мира на пути к *Ego cogito*, чистому сознанию Я — многократно и под разными углами зрения обсуждается в «Картезианских размышлениях» Мамардашвили. Я бы сказала, что в отличие от Гуссерля, который, пережив свой «транс», старается «на публике» рассуждать о редукции и *cogito* спокойно, научнообразно, Мераб не просто сам медитирует страстно, беспокойно — он отчетливо демонстрирует, что иной редукция не может быть для философа, встающего, подобно Декарту, на путь трансценденталистских, «солипсистских» в определенном смысле (этот ставший у нас сугубо ругательным термин вполне позитивно и серьезно используется и Гуссерлем, и Мамардашвили) редукций, обращенных в сторону мирового универсума и своего собственного Я. Специфику и огромное научное значение картезианских размышлений Мамардашвили я вижу в двух (почти исключенных Гуссерлем из поля своих медитаций) основных моментах: во-первых, в масштабном обнаружении того, что именно, какое реальное обстояние дел в мире и человеке делает фундаментальную абстракцию — редукцию трансцендентализма — «разрешительной» (с. 123), во-вторых, в проговаривании, причем проговаривании душой и сердцем того, что редукция и обретение позиции *ego cogito* делают с самим медитирующим философом, как они преобразуют и вместе трагически отъединяют его личность от окружающего мира.

Процитируем Мамардашвили. «Именно сознание "*ego cogito*" (взятое трансцендентально, т.е. как необходимая форма всякой актуальности), именно то, что в нем осмысляется и понимается, недоступно представлению. Оно осуществляется (и доступно) феноменально, как "способное" порождать и выдавать нам феномены. Оно само, так сказать, феномен феноменов. Феноменов в двойном смысле этого слова. Во-первых, в том смысле, что их формальный состав-установка... сам предметен, вне и независимо от внешнего, каузального соотношения действий объектов и психической восприимчивости. В этом смысле мы видим вещи *так, как их понимаем*, или, говоря современным языком, — мним, интендируем, узнавая сами об этом понимании и удостоверяясь наглядно (т.е. никакими опосредованиями не выходя за рамки чувственно-материальной данности), что именно так их и

следует понимать, мы "видим сущности". Во-вторых, в смысле участия здесь самоактивности, спонтанности действия, произведенности — такой, что хотя нечто, какие-то свойства, "качества" вполне объективно и "вечно" существуют и действуют в мире, но их не было бы и не могло быть без активного присутствия и *движения* сознания. И в этом смысле они не явления природы, а нечто "искусственное", текст, сказали бы мы, или "техне", как говорили греки. Короче — артефакты. И они содержат полноту и завершенность в какой-то внутренней бесконечности, а не "дурной" бесконечности прогрессии. Это амплифицирующие приставки, "насадки" на природное, прежде всего — на природные индивидуально-психические механизмы» (с. 128—129). Иными словами, сомнение, его гуссерлианский аналог — феноменологическая редукция, «отключение» мира и собственных «качеств» Я (и многие другие с ними сопряженные процедуры и философские утверждения) для Мераба Мамардашвили суть существенно большее, чем специально и искусственно практикуемые философами-трансценденталистами методологические процедуры. Они, по его мнению, глубоко укоренены и в бытие мира, и в способ жизнедеятельности человеческого я, и в гениально раскрытое Декартом самое существо философствования.

Движение к очевидности, *Evidenz*, к *cogito*, усиленно акцентируемое и Гуссерлем, также есть, согласно Мерабу, не некое вымышленное, а потому могущее быть оспоренным движение философской рефлексии, — это внутреннее и неотъемлемое свойство сознания, а в определенном смысле и самой жизненности, живой бытийственности. На с. 106—107 «Размышлений» речь идет у Мамардашвили об очевидности «усмотрения сущности» в случае явленности сознанию прямой линии. С одной стороны, налицо некоторая искусственность, остраненность: ведь никакую реальную линию мы не назвали бы прямой. С другой стороны, при определенном усмотрении это просто перестает быть важным — прямая линия уже «есть» в нашем усмотрении, и есть с той очевидностью, которая заставляет Декарта говорить о «врожденных идеях». Мысль — тут — не картина (чего-то), относительно подлинности которой можно было бы спорить. Это реально во всей его непререкаемой очевидности осу

шествующее событие, это «свойства самой сознательной жизни», а не просто понятия теории; «это свойства существования, бытийствования, о-существления самой мысли, сознания, если они случаются как события бытия» (с. 108). И вот именно поэтому «полное абстрагирование» от человека как психофизического и социально-исторического существа в трансцендентализме не просто «позволительно» — оно есть следование бытийственному, экзистенциальному статусу самого рефлектирующего, «набредшего» на феномены сознания.

В общефилософском значении, разъясняет Мераб (причем разъясняет он идеи не только Декарта, но и Канта, Гуссерля и других защитников трансцендентализма), «речь идет о некоторых *идеально* первых (первичных в идеальном смысле) основаниях, предшествующих миру и субъекту... Именно в этом смысле Декарт — основатель трансцендентального идеализма» (с. 115). Или, в другом месте: «Трансцендентальность как выход к идеальному первичному источнику или началу одновременно означает *полное абстрагирование от человека* как некоего особого, частного и случайного в этом смысле существа. Сам факт, что мы обнаружили феномен осознания, делает эту абстракцию позволительной... Это невероятная абстракция, но она *реализуется*. Потом, реализовавшись, она скрыто уходит в основание нашего физического знания, и мы уже не отдаем себе отчет в том, что такая абстракция совершена. Но, независимо от того, отдаем мы себе в этом отчет или нет, на этой абстракции основана сама наша возможность формулировать какие-либо физические законы» (с. 123—124). Обратите внимание — речь идет тут не о возможности философии, *метафизики*, а о возможности *физики*, т.е. науки о природе. Гуссерлевский замысел — обосновать науку с помощью трансцендентализма — находит здесь почву для своего воплощения.

Чрезвычайно важной и интересной в «Картезианских размышлениях» Мамардашвили является расшифровка удивительного факта, который относится к жизни сознания, но в то же время упирается в основания бытия. «Декарт твердо вводит закон, на который постоянно ссылается (и это даже может показаться его личной манерой): *имение мысли необратимо*» (с. 127). И более того, если и когда случилось это великое «теперь»

мысли, то необратимым, кристаллизованным становится определенное обстояние вещей. Если и постольку мир обрел — через меня, через мое редуцированное Я — совершенно особое осознание, понимание, то ни человек, ни даже Бог не могут изменить кристаллизовавшийся порядок мира.

И вот теперь, с высоты этой для некоторых людей в высшей степени произвольной позиции, субъективно и трансцендентально переворачивающей привычные отношения мира и Я, а на деле, как оказывается, вскрывающей универсальный мировой порядок, — с этой высоты можно, следуя Мерабу, отчетливо увидеть и понять, как жестко и неотвратно редукция преобразует и движение к когитальной точке опоры, и личностный мир медитирующего человека. Мамардашвили описывает в этой связи и контексте личность Декарта, а я не могу отказаться от искушения услышать исповедальную смысложизненную повесть, относящуюся к самому Мерабу.

Уже цитировались слова М.Мамардашвили о том, что у Декарта тексты «представляют собой не просто изложение его идей или добытых знаний», они «выражают реальный медитативный опыт автора» — когда автор ощущает, что на кон поставлена жизнь... Тогда и редукция приобретает особый поворот — ведь медитирующая личность продельывает ее с глубоко личностным ощущением и намерением: срезать все то, что «вошло в тебя помимо тебя, без твоего согласия и принципиального сомнения, а на правах не понятого пока и поэтому требующего расшифровки — личностного удивления» (с. 29). Правда, уже здесь, когда человеку медитирующему рекомендуется срезать, редуцировать все привычное, заимствованное, поддерживавшее его, Мераб оставляет «поверх и поперек линейно протянутого мира» главную нить связи взамен отнятого простого, бесхитростного, в натуральной установке обретенного единства с миром. Это «личная его (такого индивида. — Н.М.) повязка на Бога» (там же); о Боге Мераб вспоминает, пожалуй, реже Декарта, но, несомненно, чаще Гуссерля. И все же поместить себя под знак «*cogito*» как точки отсчета для личности означает именно необходимость мучительно и напряженно пройти через горнило сомнения, через «раскручивание мира в обратную сторону».

Здесь, однако, требуется одно принципиальное уточнение. Мераб мыслит поворот к трансцендентализму как бесшумно-трагический смысложизненный акт, где, с одной стороны, происходит не менее чем поединок с миром, а с другой, господствует по-французски вежливое и элегантное стремление никого не делать ни участником, ни даже благожелательным свидетелем внутренней драмы, нечеловеческого напряжения души. «...Мы видим перед собой, — говорит он о Декарте, — одну устойчиво воспроизводящуюся — в истории французского духа — связку души. Это особое воодушевление, энтузиазм. Какое-то состояние в звенящей прозрачности одиночества, — одиночества, оживляющего все душевные силы, все, на что способен сам, из собственного разума и характера, без опоры на что-либо внешнее или на "чужого дядю", в полной отдаче всего себя этому особому состоянию в "момент истины" (истины, конечно, о себе: смогу ли?!). Возвышающая повязанность всего себя в каком-то деле перед лицом всего мира, стояние лицом к лицу с ним, один на один, как в поединке» (с. 11—12). Ставка же очень и очень велика — кто хорошенько распросит себя, когда он один на один с миром, может обрести шанс описать всю вселенную.

Поверив в этот уникальный опыт как жизненную судьбу, Декарт совершил личностную редукцию еще и в том смысле, что просто «ушел в зазор свободы», не испрашивая разрешения кого бы то и чего бы то ни было, например, церкви, не борясь с нею или с властями за свои свободу и достоинство. Он лишь *стал и был* свободным человеком, человеком чести и достоинства. «Он просто, — говорит Мамардашвили, — перешел в другое пространство и там жил, занимаясь тем делом, которое является делом философа» (с. 17). Делом же философа, уточнял Мераб, является он сам, а не исправление других людей. Декарт делал его, свое дело, «без гнева и упрека» — не гневаясь на тех, кто мешал ему, не упрекая слабых и лишенных достоинства за то, что они не были способны на глубокую личностную редукцию. Но и не следуя подвигам тех «исправителей людей». «преобразователей мира», которые во имя идей шли, как Джордано Бруно, на костер и мучения. Декарт обладал, продолжает Мераб, «великодушием», так свойственным тем людям, которые свободны не натужно и мучительно, а

свободны просто и естественно — так же, как великодушен и естественно свободен был Пушкин. «Декарт — человек, который знает, что на свете счастья нет и не обязанность мужчины искать счастье и ставить его целью своей жизни — есть покой и воля. И есть защитный барьер жизненных привычек, которые ты обязан выработать, ибо они защищают покой и волю, защищают твой независимый досуг — ценность самую высокую среди остальных жизненных ценностей» (с. 24). И если декартовское сомнение есть, согласно Мерабу, «шаг или ход именно к истинной реальности» (с. 37), то, нормальным образом продолжая нашу жизнь, мы сделать этот шаг явно не способны. Так и получается, что редукция и «заглядывание в себя» требуют радикальной личностной перенастройки. Что здесь следует за чем, сказать трудно. Однако, когда мы в нашей «нормальной» жизни встречаем мыслителей, чья жизнь, мы это остро чувствуем, настроена на какую-то невидимую волну, чье медитирующее философствование рождает особый мир, в его полноте и неповторимости вместе с этим человеком и исчезающий, — мы знаем, что это личность, это человек, который когда-то мужественно сказал себе, как Декарт или Мераб: «можешь только ты».

Я хочу закончить тем, с чего начала, — еще одной ссылкой Мераба на французские энтузиазм и честолобие. Ибо от Декарта Мамардашвили возвращался, как он говорит, к «своему любимому» М.Прусту и вспоминал, что тот тоже стоял «один на один» с миром, «ибо видел свою задачу в том, чтобы *собой* и через себя связать нить минут, часов, дней, десятилетий и стран... И все это — наперегонки со смертью. Хотя смерть он так и не обогнал. Окончание романа "В поисках утраченного времени" вышло в свет после смерти Пруста» (с. 13).

Читатель, конечно, уже догадался, к чему я клоню: Мераб думал, писал о Декарте, Прусте, но в то же время написал о самом себе — о своем «поединке чести» со скрывающим тайны миром, о состоянии «один на один» перед жесткостью бытия, о собственных поисках вдвойне утраченного (потому что насильственно перерубленного) времени, о неудавшихся, на первый взгляд, попытках свершить дело своей жизни «наперегонки со смертью» (ведь и его работы выходят только после смерти). И все

же — о победе и в этом случае мужества, энтузиазма, свободы, великодушия, честолюбия...

Но вот сумел ли Мераб жизнью и смертью действительно обрести то, к чему призывал каждого думающего философа и к чему каждый из них, действительно, призван своими картезианскими размышлениями: впасть в заданный Декартом архетип честолюбия, отыскивая «две связанные между собой вещи: покой души и волю» (с. 14)? Я знала Мамардашвили десятки лет, но на вопрос этот так и не ведаю ответа.

«Вопросы философии», 1995

Генрих Степанович Батищев (1932—1990)

Специалист в области теории познания, теории диалектики, философской антропологии. Разработал оригинальную философско-антропологическую концепцию, повлиявшую на ряд исследований в психологии и педагогике. До конца жизни работал старшим научным сотрудником Института философии АН СССР.

Соч.: Противоречие как категория диалектической логики. М., 1963; Деятельностная сущность человека как философский принцип. В кн.: Проблема человека в современной философии. М., 1969; Самопознание человека как культурно-созидательного существа // Культура и человек. М., 1984; Особенности культуры глубинного общения // Диалектика общения. М., 1987; Введение в диалектику творчества. СПб., 1997.

В. А. Лекторский

ГЕНРИХ СТЕПАНОВИЧ БАТИЩЕВ И ЕГО «ДИАЛЕКТИКА ТВОРЧЕСТВА»

Для меня писать о Генрихе Батищеве и легко, и трудно. Легко потому, что я очень хорошо его знал. Я увидел его впервые в сентябре 1943 года, в 4 классе московской школы № 59. Я возвратился в Москву из деревни, где провел две первые военные зимы у бабушки с дедушкой, Генрих приехал в Москву из Казани. С тех пор мы дружили с ним на протяжении почти полувека и почти все это время находились рядом. Только во время учебы на философском факультете Московского университета мы оказались на разных курсах. Дело в том, что Генриха не приняли на философский факультет с первого захода, хотя он закончил школу с медалью: у ЦК ВКП(б) были идеологические претензии к его отцу (который тоже был философом). Генриху пришлось в течение года быть студентом Московского государственного экономического

института и только после этого снова поступать на философский факультет. В 1962 г. Генрих пришел в Институт философии АН СССР, и с тех пор мы работали с ним в одном коллективе до самой его смерти.

Я читал все его работы еще до публикации, обсуждал их, спорил с ним, был в курсе всех изменений в его принципиальных позициях. Когда я сегодня читаю его тексты, я легко могу восстановить тот конкретный идеальный контекст, в котором они рождались, для меня ясно, кому он оппонирует, даже тогда, когда он не называет конкретных имен (а он спорил и со своими философскими учителями, в частности с Э.В.Ильенковым, и даже с самим собою, с теми позициями, которые он до недавних пор защищал, но потом оставил).

Вместе с тем мне трудно писать о Генрихе как раз по той же самой причине. Оценка идей мыслителя предполагает определенную отстраненность, рассмотрение его концепций в контексте «большого времени», как сказал бы М.М.Бахтин. Такой отстраненной позиции я занять не могу. Для меня он все же не Генрих Степанович, один из крупнейших наших философов за последние 30 лет, основатель философской школы, человек, к словам которого с почтением прислушивались многие ученики, а близкий друг Генрих, наши отношения с которым выражались не только в разговорах на философские темы (хотя для нас это всегда было самым главным, ибо, как подчеркивал Генрих, ваша философия и определяет вашу жизнь). Поэтому лучше всего анализ наследия Г.С.Батищева дали бы, наверное, те, кто не был знаком с ним лично. Вообще, такой анализ все-таки дело будущего, которое, как известно, только и проявляет истинный смысл любого значительного произведения культуры.

Тем не менее я попытаюсь высказать свои соображения о том, что сделал Генрих Степанович в философии, и почему то, что он сделал, важно и нужно сегодня, сознавая сугубо предварительный характер своих рассуждений.

Как я уже заметил, философская позиция Г.С.Батищева не оставалась неизменной. Уже первые его работы показали, что в философию пришла неординарная личность со своим видением проблем, с оригинальными идеями. Это было начало 60-х годов, когда после XX съезда партии появилась надежда на перемены в общест-

ве. многие наши философы в это время начинают осваивать ранние произведения К.Маркса с их проблематикой отчуждения, овеществления, с их гуманистическим пафосом и критикой бюрократического и казарменного социализма. В то время многим казалось, что именно в этих работах Маркса и указан путь истинно гуманного социализма (или «социализма с человеческим лицом», как несколько лет спустя скажет лидер «Пражской весны» А.Дубчек). Нужно заметить, что для наших официальных идеологов того времени подобное «гуманистическое» или «антропологическое» прочтение Маркса представлялось величайшей ересью и поэтому подвергалось осуждению. Тем не менее влияние подобной интерпретации было значительным. Во всяком случае многие из тех, кто всерьез относился к философии, кто решительно не разделял официальную догматическую версию марксизма и пытался философски обосновать свое неприятие невыносимой социальной реальности, с восторгом приняли подобное понимание марксизма как гуманизма.

В своей книге «Противоречие как категория диалектической логики» (М., 1963) Генрих Степанович оригинально попытался соединить идущий от Э.В.Ильенкова анализ методологической проблематики, в частности, вопроса об антиномиях в познании (с точки зрения последнего, философия должна быть теорией познания, диалектической логикой), с темами философской антропологии, понятой в духе раннего Маркса: отчуждение, овеществление, деятельность. Нужно сказать, что, хотя от некоторых установок этой книги Г.С.Батищев впоследствии отказался, многое из того, что было осуществлено в этой первой большой работе философа, вошло в новой интерпретации во все его последующие произведения.

Следующий этап в развитии идей Генриха Степановича наиболее ярко представлен в его большой статье «Деятельная сущность человека как философский принцип», опубликованной в 1969 г. Это уже этап критики точки зрения субстанциализма (а по сути дела, и материализма) с позиций своеобразного фихтеанизированного марксизма (нужно сказать, что ранние работы Маркса дают повод для такой именно их интерпретации). В центре концепции Г.С.Батищева этого времени идеи деятельности, понятой как творчество, как критика, как ре-

волюционный выход за пределы существующих социальных и культурных формообразований (Генрих Степанович очень любит в это время пользоваться марксовым выражением о «революционно-критической деятельности»). Человек понят как суверенная личность, которая имеет право судить обо всем на основании своих собственных убеждений. Эту работу (как и целый ряд других, к ней примыкающих) пронизывает ярко выраженный анти-авторитарный пафос.

Естественно, что эта и другие подобные ей работы Г.С.Батищева вызвали шквал идеологической критики, что имело для него ряд неприятных последствий. В течение многих лет ему было очень трудно публиковаться. До конца своих дней он оставался под подозрением партийного начальства. Критики работ Генриха Степановича этого периода справедливо усмотрели в его работах неприятие идеологического контроля со стороны Коммунистической партии (действительно, какой внешний контроль над собой может признавать суверенная личность?)¹.

Вместе с тем новую позицию Г.С.Батищева не мог разделить и его философский учитель Э.В.Ильенков. Не по причине ее антибюрократического пафоса, который последний разделял, а потому, что не мог принять анти-субстанциалистское, фикштеанское истолкование деятельности (сам Ильенков в это время испытывает обаяние Спинозовского субстанциализма). С этого времени начинается история все больших расхождений Батищева и Ильенкова. У Генриха Степановича появляются свои ученики, своя философская школа, ряды которой постоянно множились.

Третий этап в философском развитии Г.С.Батищева, который начинается примерно с середины 70-х годов, формально может выглядеть как своеобразный «синтез» субстанциализма и антисубстанциализма. В действительности это был не синтез, а, по сути дела, выход за пределы самой этой оппозиции и раскрытие принципиально новых горизонтов, распутывание новых проблемных узлов в связи с философским пониманием человека. Мысль философа постоянно развивалась и в рамках

¹ Одну из работ Г.С.Батищева, в которой были предсудительно подчеркнуты определенные строчки, показали в это время М.А.Суслову. «Красный Савонарола» был в бешенстве.

этого этапа. Вся жизнь Генриха Степановича была постоянным исканием, которое не прекращалось до самой смерти. В самых своих последних работах он прорывается к какой-то новой тематике и новой правде, выявляет некоторые скрытые до того предпосылки своих рассуждений, пишет о том, о чем он не успел или не сумел сказать до этого. И все же принципиальные установки последнего этапа его творчества сложились у него уже где-то к середине 70-х годов.

Нужно сказать еще об одном важном моменте его духовного развития, не учитывая который невозможно понять дух и пафос его поздних работ. Дело в том, что в это время Генрих Степанович обращается к религии. Сначала он заинтересовывается буддизмом. Идеями Н.С.Рериха. Но в конце концов религиозные искания приводят его к православию. Можно сказать, что он становится «религиозным философом». Очень важно понять это правильно. Конечно, религиозность философа не может быть чем-то сугубо личным, не влияющим на его теоретическую деятельность (как, например, религиозность физика не влияет на его специальные научные исследования). Не зная о религиозности Г.С.Батищева, просто нельзя понять многих его идей этого времени. Вместе с тем его религиозность выражается не в том, что он пишет о Боге или дает толкование текстов Священного писания. В большинстве написанных им в это время текстов, особенно в тех, которые он хотел видеть опубликованными, мы как раз не встретим самих этих слов и можем только догадываться, что понимается под «Универсумом» или «глубинным общением». Думаю, что такой способ обращения с религиозной тематикой диктовался не только цензурными соображениями (хотя ими, наверное, тоже), но и определенными мировоззренческими установками. Философская концепция Генриха Степановича обращена прежде всего к анализу повседневной житейской практики, к исследованию способов человеческого бытия в мире, отношений человека к человеку, к природе, к обществу, культуре, традиции. Религиозная установка Г.С.Батищева выражается не в разговоре на «специально религиозные» темы, а в способе исследования тех феноменов, которые окружают нас на каждом шагу и по отношению к которым нам следует определиться. Философ при этом включает в круг своего критического рассмотрения целый ряд проблем, актуальных

для современных наук о человеке: психология, педагогика, теория культуры (среди учеников Генриха Степановича было немало психологов, специалистов в области педагогики и теории культуры).

Еще об одной важной особенности поздних работ Г.С.Батищева. Как легко можно догадаться, философ, ставший религиозным мыслителем, не может оставаться марксистом. Действительно, Генрих Степанович выходит за рамки марксизма в этот период своего творчества. Для него становится ясным не только неприемлемость обычного истолкования марксизма как учения о классовый борьбе и диктатуре пролетариата (нужно сказать, что подобную интерпретацию он критиковал и раньше, когда писал о разрушительной опасности «логики антагонирования»). Теперь он не принимает и марксовский антропологизм и антропоцентризм, который он до этого поднимал на щит. Гуманизм Маркса представляется ему теперь наивным и не укорененным в Универсуме. Идеи беспощадной критики и творческой самостоятельности человека, имеющей мерило лишь в самой себе, нуждаются в переосмыслении. Следует, однако, подчеркнуть, что выход за рамки марксизма не означал для Г.С.Батищева принятие антимарксистской установки. Маркс остается для него великим мыслителем, поставившим ряд важнейших проблем, связанных с пониманием человека и его деятельности, давшим ряд интересных решений. Другое дело, что некоторые идеи Маркса оказались ложными (а некоторые даже опасными), что проблематика Маркса и его решения должны быть переосмыслены в более широком и плодотворном контексте¹.

В наиболее полном и систематическом виде поздние идеи Г.С.Батищева выражены в его книге «Диалектика творчества. Критика субстанциализма и антисубстанциализма», которая была закончена в начале 80-х годов. Руководство Института философии Академии наук Советского Союза, где работал Генрих Степанович, не решилось опубликовать книгу, и она была депонирована

¹ Нужно заметить, что распространенные сегодня попытки превратить мыслителя, который до недавнего времени преподносился в качестве вершины развития мировой культуры, в какого-то недомка (делают это нередко те же самые люди) возможны только в нашей стране. В любом западном учебнике по философии антропологические и социально-философские идеи Маркса анализируются рядом с соответствующими идеями Платона, Канта, Гегеля.

в 1984 г. в ИНИОН АН СССР. (Многие свои тексты, написанные в эти годы, Генрих Степанович даже не предлагал для публикации, сознавая ее невозможность.)

Со времени написания этой книги прошло немало времени. И какого времени! Прошла так называемая перестройка, пришла «пост-перестройка». Seriously изменились многие наши представления, оценки. Как воспринимаются идеи Г.С.Батищева в этом новом контексте? Не устарели ли они?

Я глубоко убежден в том, что основные идеи Генриха Степановича могут быть по-настоящему оценены и поняты именно сегодня. Дело в том, что работы Г.С.Батищева — это не отклик на «злобу дня», чем грешили многие философы как в период «застоя», так и во времена «перестройки», а исследование фундаментальных проблем философской антропологии (его книга «Диалектика творчества» вполне могла бы называться «Философской антропологией», так как для Генриха Степановича творчество было не просто одной из характеристик человека, а его основным способом бытия, анализ которого предполагает разработку целостной антропологической концепции)¹. Осуществленный Г.С.Батищевым анализ глубинных смысловых зависимостей человеческого бытия сегодня предстает с новой стороны, так как позволяет по-новому понять многое в нашем прошлом и настоящем. Ряд идей Генриха Степановича вступает в плодотворное взаимодействие с современными подходами, развиваемыми в науках о природе и человеке.

Прежде всего, я хочу обратить внимание на осуществленную в данной работе типологию социальных связей. Сам Г.С.Батищев целиком приписывает ее Марксу, однако нетрудно увидеть, что в таком виде она у Маркса отсутствует. Для Маркса главным в понимании социальных связей был формационный, т.е. исторический подход, в то время как Г.С.Батищев подчеркивает «непериодизирующий» характер исследуемых им зависимостей. Генрих Степанович должен был дать

¹ В этой связи ясно, насколько несерьезны распространенные сегодня рассуждения о том, что наши философы до самого последнего времени не занимались позитивной разработкой философской антропологии и что эту проблематику нужно начать исследовать чуть ли не с нуля.

новый перевод ряда марксовых понятий для того, чтобы показать соответствие своих идей текстам Маркса. Конечно, определенное соответствие есть. У Маркса, действительно, можно найти немало ценного и плодотворного, и Г.С.Батищев хорошо показал это¹. Но все-таки никак нельзя забывать того, что для Маркса переход от одного типа связей к другому осуществляется в контексте всемирно-исторического прогресса, в то время как для Генриха Степановича важен прежде всего вневременной характер этих связей. «Логика прогресса», как и «логика снятия», необходимо предполагаемая идеей прогресса, — объект его критики, о чем я скажу подробнее несколько позже. Г.С.Батищев показывает, что различные типы связей могут противоречиво совмещаться или весьма парадоксально сосуществовать в жизни одного и того же человека, в одном и том же «мире человека», делая его самого внутренне неоднородным, сложным и таящим внутри себя принципиально новые тенденции.

Генрих Степанович выделяет прежде всего социал-органические связи. Это по сути своей связи несвободной собственности индивида вместе с другими, ему подобными, тому конечному и (или) бесконечному Целому, по отношению к которому каждый из них есть не самостоятельный его участник, но лишенная существенной самостоятельности его составная часть. Нельзя думать, что такого рода связи не оставляют места ни для какой самостоятельности индивида, превращая его в куклу-марионетку. Нет, самостоятельность и сознательная самодисциплина, критическая самооценка и саморегуляция здесь могут иметь достаточно широкую сферу, но только если эта сфера в свою очередь сохраняется жестко включенной — как часть в целое — внутри более широкой сферы несвободы. При этом индивидуально совершаемые поступки-решения сохраняют свою жесткую соподчиненность более существенным процессам, которые принци-

¹ Вместе с тем я считаю, что в некоторых случаях даваемая Генрихом Степановичем интерпретация марксовых идей и понятий явно выходит за пределы того смысла, который вкладывал в эти понятия К.Маркс, и сближает эти понятия с теми, которые возможны только в рамках собственной концепции Г.С.Батищева, которую нельзя считать марксистской. Это относится, в частности, к даваемой в этой книге интерпретации понятий «производительные силы», «производственные отношения», «способ производства».

пиально над-индивидуальны и приняты каждым именно как стоящие безусловно выше его индивидуальной самостоятельности.

Даваемый в работе анализ социал-органических связей воспринимается как философско-антропологический анализ того типа общества и того типа индивидов, с которыми мы имели дело совсем недавно и которые не стали полностью нашим прошлым (есть серьезная опасность их нового появления).

Генрих Степанович прежде всего анализирует так называемые замкнутые социал-органические связи. Для индивида, включенного в связи такого типа, в Существо-Идоле как некоем коллективном субъекте сосредотачиваются и обретают прочную псевдо-персональную, сверхчеловеческую принадлежность его же, индивида, собственные (и других ему подобных индивидов) способности, все те атрибуты субъектности, от которых он, как от своих, отсекся, но лишь ради того, чтобы пользоваться всей их общей, органически единой совокупностью вместо своих, вместо индивидуально-личностных. Он приучил себя постоянно нуждаться в таком Идоле, наделенном умом, совестью, мужеством, щедростью вместо этих качеств у индивидов-акциденций, ибо, теряя свое малое достояние, он надеется обрести в Идоле эти утраченные им качества в их предельной, до абсолютности доведенной полноте и могуществе¹. Под сенью Идола он надеется просуществовать в своем уюте «скромной» беспроблемности и гарантированной сверху безответственности, спрятавшись от мучительно-тревожных загадок своего бытия, от своего так и не раскрытого личностного смысла.

Включенные в такого рода связи индивиды приучаются все более послушно и некритически следовать увлекающей их силе инерции множественности, частное проявление которой известно как «эффект толпы». Они привыкают настраивать и подделывать все свое поведение, мысли, оценки, чувства, мотивы, поступки — всю свою жизнь — под навязчивые признаки стереотипных трафаретов («как все другие»), страшась выйти за пре-

¹ Не забудем, что это писалось в то время, когда почти на каждом перекрестке висели плакаты, в которых говорилось о том, что Коммунистическая партия является честью, умом и совестью нашей эпохи.

дела этих трафаретов даже в своем воображении. Но это означает отнюдь не повышенное внимание к другим, не более настойчивое стремление вникнуть в своеобразно-конкретный мир каждого из них. Нет, замкнуто-органические связи несут с собой переориентацию и как бы смещение жизни индивида на абстрактные, массово-безличные признаки-требования, соблюдение которых обещает избавление от трудной повседневной работы над самим собой как субъектом. Все внутреннее заменяется внешним, данным в готовом виде извне вместо собственной субъектности. Возникает гетерономизация как подмена своей собственной жизни с ее атрибутами субъектности жизнью за чужой счет, онтологическим иждивенчеством, так сказать, пара-жизнью.

Нужно, однако, обратить внимание на то, что с точки зрения Г.С.Батищева в данной его работе социал-органические связи не обязательно бывают связями замкнутого типа. Они могут быть и разомкнутыми, и отношение философа к такого рода связям принципиально иное, чем к тем, о которых я только что говорил.

Когда мы читаем тексты Г.С.Батищева, посвященные т.н. разомкнутым социал-органическим связям, нам совершенно ясно, что само введение этого типа связей может быть понято лишь в контексте религиозных идей поздних его работ. Разумеется, ничего даже отдаленно похожего невозможно обнаружить в работах Маркса.

В разомкнутых социал-органических связях, подчеркивает Г.С.Батищев, индивид тоже принадлежит некоему Целому. Но это принадлежность до-свободная, до-деятельная и, следовательно, до-субъектная, когда индивид несамостоятелен в том, но и только в том, в чем он по-настоящему и не способен быть самостоятельным, инициативно-ответственным, осуществляющим свободный выбор и находящим творческие решения деятельным субъектом. Не способен же он просто потому и постольку, поскольку встречается в самом себе и перед собою такую действительность, которая объективно превышает уровень развития и совершенства его сущностных сил, уровень его субъектности. Такая действительность не поддается его попыткам ее распрямить, — либо потому, что и вовсе недоступна ему, относясь к виртуальным слоям, к «дремлющим потенциалам» его и других бытия, либо потому, что она доступна ему лишь поверхностно-

формально, а по своему содержанию, по своим насыщающим ее жизнь сложным проблемам и парадоксальным трудностям, — слишком многомерным, «мировым» заботам или слишком уникально-личностным тревогам, — ему непосильна. У каждого человека есть свой порог распределчиваемости, или содержательной доступности, за пределами которого его сознанию и воле лучше бы было и не притязать на самостоятельность и где он сам еще не готов быть субъектом на деле. В своих связях с миром, касающихся его виртуального, не актуализируемого для него бытия или же бытия, проблемность которого ему непосильно трудна, индивид объективно оправданно есть индивид-акциденция, или частичка, органически со-принадлежащая некоторому Целому. Но это не потому так, что индивид утрачивает или отрицает свою субъектность, а просто потому, что такие его связи существуют вне сферы его индивидуальной субъектности и объективно предшествуют его деятельности, его свободе выбора и решений, его инициативе и онтологической ответственности. На сферу его субъектной деятельности, его свободы выбора и решений, его ответственности такие связи со-принадлежности отнюдь не посягают. Они эту сферу лишь предваряют. Более того, они выступают, подчеркивает Г.С.Батищев, как раз праколыбелью человеческой свободы. Связи этого рода по своей сути есть связи со-принадлежности беспредельной Вселенной. (Если учесть, что, согласно Генриху Степановичу, Вселенная отнюдь не тождественна природе или даже материи, что она не вечна, а субъектна, что человек не может ее присваивать или даже осваивать, а может лишь приобщаться к ней, что человек должен «служить» бесконечной Вселенной, или беспредельному Универсуму, что человеческие ценности укоренены именно в беспредельности этого Универсума, что человек изначально, на глубинном виртуальном уровне связан с Вселенной, то религиозный подтекст рассуждений Г.С.Батищева о разомкнутых социал-органических связях станет ясен.)

Второй тип социальных связей — это, согласно Г.С.Батищеву, связи социал-атомистические. Думаю, что даваемый философом анализ логики развертывания этих связей особенно интересен и поучителен сегодня.

В этом случае человек выступает как самодовлеющая единица, он утверждает себя как несущего внутри

себя, в своих недрах свою единичную, уникальную меру субстанциальности, а поэтому также и свою субъектность. Отныне индивид полагает вне себя периферию, а может быть, даже и только периферию. Для индивида-атома самостоятельность выполняема только ценой самовыключения из сущностной со-причастности с другими, т.е. самоизоляции и ценностного одиночества в качестве для себя самой единственной онтологической единицы.

Так называемые замкнуто-атомистические связи выступают как связи безразличия. Из множества утилитарных жизненных позиций непрерывно складывается суммарно-общественный порядок, пронизанный принципом взаимной пригодности для использования, — порядок, построенный по логике сделки, по логике извлечения заранее требуемого утилитарного эффекта, по логике эксплуатации каждым всех и всеми каждого. Так полезность перестает быть всего лишь способом подчиненного отношения служебно-технической вещи к человеку и распространяется на все без исключения связи между человеком и миром, т.е. универсализируется и заслоняет собой все. Вступающие в связь-сделку безразличные атомы именно самих себя полностью ввергают в стихию беспощадного употребления, не знающую никаких останавливающих границ и не признающую ничего для себя неприкосновенного, ничего святого.

Конечно, безразличие и хитрая утилитарность индивида-атома ко всему миру вне себя не может в конечном счете не вернуться к нему же обратно — по логике бумеранга — и не явиться ему как заслуженная им и сложенная им самим самоубийственная судьба. Та самая индивидуальная исключительность, которая ставит каждый атом в центр мира и превозносит его в качестве единственно достойного, утверждает именно для того, чтобы — опять-таки за спиной у каждого — исключить его субъектность и подчинить объектно-вещному управлению извне. Та самая ни с кем не делимая автономия, которая исходит только из своего закона, своего суда, своего материала для всех вещей и своей воли, оказывается всего лишь завлекательной поверхностью, всего лишь слепым состоянием услажденного опьянения, за спиной которого руками хваленой «свободной воли» атома осуществляется именно гетерономия общественного распорядка.

Диктат Рынка и Моды имеет, согласно Г.С.Батищеву, именно такой характер.

В рамках анализа закрытых атомистических связей философ исследует явление плюрализма. Сегодня, когда многим из нас кажется, что именно плюрализм и есть достижение столь желанной для нас свободы от идеологического диктата, Генрих Степанович, изрядно претерпевший именно от этого диктата, показывает всю недостаточность и даже ущербность плюрализма. Знакомиться с этим анализом сегодня интересно и поучительно. Но для того, чтобы правильно понять рассуждения Г.С.Батищева, следует иметь в виду, что он принципиально отличает плюрализм от полифонии. Полифония (Генрих Степанович во многом принимает ее анализ, данный М.М.Бахтиным, хотя он далеко не во всем соглашается с последним) предполагает не только признание множественности и своеобразия индивидуально-личностных миров, но и небезразличие этих миров друг к другу, их участие в судьбах друг друга, их глубинное общение, взаимодействие (это и есть тот самый диалогизм, о котором писал Бахтин). В противоположность этому плюрализм есть, по сути дела, не что иное, как выступающее в форме взаимной терпимости безразличие друг к другу. На деле плюралистская терпимость есть лишь вынужденное невмешательство в чужие и чуждые дела других (остающееся вынужденным, даже если оно усвоено и перешло в прочную привычку вежливости), всего лишь договорное непосягательство и формально-дипломатическая сдержанность, за которой всегда хранится внутреннее неприятие. Эта терпимость есть лишь отрегулированная и скованная, как бы замороженная нетерпимость. Отсюда свойственная замкнутым индивидам-атомам безудержная, не знающая никаких сдерживающих берегов и никакой объективной ответственности релятивизация ценностей, оправдываемая псевдо-демократическим лозунгом: «Каждый по-своему прав!»

Если замкнутый тип органических связей был настроен принципиально анти-креативно, пытаясь вкладывать все новое в законсервированную традицию, то плюрализм, вытекающий из замкнутого атомизма, претендует на то, чтобы быть творческой жизненной позицией, причем по преимуществу и даже исключительно творческой во всем. Творчество понимается в этом случае как нечто такое, что ни перед чем не склоняется

почтительно и благоговейно, может переступить через что угодно, ибо оно безумно, безнормно, а в смысле присвоенного права начинать с себя, и только с себя — безначально, или, что то же самое, беспринципно. Такое понимание творчества выражает плюралистский культ оригинальности.

Сегодня, когда т.н. пост-модернизм стал у нас философской и литературной модой, интересно ознакомиться со сделанным Г.С.Батищевым еще в начале 80-х годов анализом логики развития плюралистского оригинальничанья. Кажется, что Генрих Степанович писал о нашем времени.

Переориентация на плюралистически-рыночную, возвращаемую в качестве конкурентного оружия для самоутверждающихся атомов, негативную псевдо-оригинальность наносит непоправимый урон всему человеческому развитию и деформирует структуру субъектно-личностного мира. Действительное, глубинно оправданное и безыскусное, ненарочитое своеобразие совершенно теряется в хаосе способов выгодной самоподачи. Такая псевдозадача ведет не к погружению вглубь содержания, а к непрерывному скольжению от одного уклонения к другому, от одной негативной новизны к другой, каждая из которых обречена немедленно устареть. Гонимое ненасытной жадой «оригинальности», это движение становится все более торопливым, все более суетным, все более бессодержательным. Бессильное рождаст что-то все более и более «небывалое», все напряженнее подхлестываемое, оно постепенно теряет способность двигаться все дальше и дальше прочь от непрерывно бракуемого «былого». Изнемогая под давлением необходимости негативно уклоняться от самого себя, оно, наконец, переходит в круговорот квазиповторений уже пройденных вариантов и нюансов. Оно как бы замыкается в бешено вращающемся «белищем колеса», где чем быстрее совершаются перемены ради перемен, тем скорее возвращаются окарикатуренные ситуации позапрошлого состояния.

И, наконец, третий тип социальных связей, которые философ называет связями гармоническими.

Способом построения и воспроизводства этих связей является универсальная деятельность. Подлинно творческое отношение к миру и выражается в форме такого рода

деятельности. Очень важно иметь в виду, что с точки зрения развиваемой Г.С.Батищевым концепции в творчестве выражается не столько субъектно-объектное, сколько субъектно-субъектное отношение (последнее отношение включает в себя первое как свой подчиненный момент, но никоим образом не может быть к нему редуцировано). Поэтому глубинное измерение творчества, универсальной деятельности выступает не столько как производство чего-то нового, небывалого, сколько как общение, общение между-субъектное, меж-парадигмальное и над-парадигмальное.

Для гармонических систем характерна особая логика развития: не логика снятия всех инородных элементов, как это имеет место в органических системах, и не логика плюрализма, характерная для систем атомистических, а логика полифонирования, логика принципиально не-антагонистических отношений, логика со-творчества. Созидание нового и наследование (как культурной традиции, так и объективной диалектики Вселенной) предполагают друг друга. Субъект творческой деятельности лишь внутри и посредством наследования творит, лишь внутри и посредством творчества все больше и глубже наследует.

Для Генриха Степановича очень важна мысль о принципиально не-антропологическом характере творчества. Возвышаясь над миром объектов-вещей, как природных, так и социальных, человечество не замыкается внутри себя самого и не творит ради только самого себя. Оно отнюдь не только из самого себя черпает свои высшие принципы, свои ориентации, но изо всей беспредельной и неисчерпаемой действительности Вселенной. Наша жизнь есть непрестанная встреча двух бесконечных становлений: относительно абсолютного, человеческого и подлинно абсолютного, космического.

Я хотел бы обратить особое внимание на некоторые важные моменты развиваемой Г.С.Батищевым концепции.

Гармонические социальные связи, выражающие универсальную деятельность, творческое отношение к миру, не являются, с точки зрения Генриха Степановича, каким-то утопическим идеалом, недостижимым по самой своей природе. Они всегда существовали, хотя до сих пор не могли получить должного развития. Если бы такого рода отношений не было, было бы невозможно по-

нять, как вообще могла осуществляться подлинно творческая деятельность. А между тем можно показать немало образцов настоящего творчества.

Место гармонических социальных связей, творчеством предполагаемых и в последнем выражающихся, — вне времени (поэтому сама типология социальных связей имеет «непериодизирующий» характер). Такого рода связи могут в любое историческое время присутствовать в личном мире человека, причудливо соединяясь со связями иного рода. Другое дело, что можно и нужно делать все для того, чтобы такого рода отношения стали господствующими в нашей жизни¹.

Согласно концепции философа субъект актуализируется в предметной деятельности, в творчестве. Никакого недейтельного, т.е. инертного субъектного бытия нет и быть не может. Осуществляя себя в деятельности, человек изменяет объективную ситуацию. Вместе с тем именно через деятельность он изменяет и самого себя (однако, как подчеркивает Г.С.Батищев, изменение объективной ситуации и самоизменение, самопреображение не совпадают друг с другом)². И в то же время для Генриха Степановича принципиально важна мысль о том, что, хотя субъектное бытие актуализируется в деятельности, оно к этой деятельности не сводится. Вот почему, признавая важное значение предметной деятельности, Г.С.Батищев критикует т.н. деятельностьный подход. Ведь в человеке есть и виртуальное бытие, которое в деятельности не распредмечивается, которое поэтому лежит за порогом познания, выступая как тайна и дар. Через виртуальное бытие субъект глубоко связан с беспредельной Вселенной, ее космическим смыслом и объективно укорененными ценностями (религиозный характер философской концепции Генриха Степановича особенно явственен именно в этих пунктах).

¹ Поэтому гармонические социальные связи, как их понимает Г.С.Батищев, — это не то же самое, что социализм и коммунизм в представлении К.Маркса.

² Это еще один момент отличия между концепциями Г.С.Батищева и К.Маркса. Как известно, согласно классическому марксовскому тезису именно через изменение обстоятельств люди изменяют сами себя.

Идеи Г.С.Батищева о между-субъектном характере предметной деятельности, о том, что именно общение выражает ее глубинную сущность, как мне представляется, исключительно интересны и современны. К такого рода пониманию деятельности приводит развитие деятельностных представлений в современных науках о человеке, в частности, в психологии (философский анализ современных психологических концепций, даваемый в книге, весьма поучителен). Думается, что развитие современных синергетических представлений (в частности, идеи И.Пригожина) тоже ведет к переосмыслению отношений человечества и природы как отношений своеобразного общения.

В «Диалектике творчества» можно найти множество других интереснейших мыслей: об отношении опредмечивания, овнешнения и отчуждения, об отличии предметной деятельности и натуралистически понятой активности, о глубинном общении, критику «теории среды», критику субстанциализма (к которому также относится и та разновидность материализма, которая до недавних пор была официально узаконена в нашей философии) и антисубстанциализма и др. Я не имею возможности останавливаться на всех этих идеях. Скажу только еще раз о том, что все они представляются мне весьма актуальными.

Я думаю, что философская концепция Генриха Степановича до сих пор еще полностью не осмыслена. Вытекающие из нее выводы для понимания человека и наук о человеке еще не сделаны. Настоящее открытие мира Г.С.Батищева еще впереди.

В.Н.Шердаков

Г.С.БАТИЩЕВ: В ПОИСКЕ ИСТИНЫ ПУТИ И ЖИЗНИ

Имя Генриха Степановича Батищева известно в кругу философов страны в основном по его работам о диалектическом мышлении, понятии отчуждения, структуре человеческой деятельности, творчестве, общении.

Лишь немногие знают Батищева как православного мыслителя, продолжателя традиций русской религиоз-

ной философии. Религиозность какого-либо философа нельзя отнести к малосущественным особенностям его воззрений. Насколько же был религиозен Батищев и как его религиозность соотносилась с его философскими позициями?

Мне редко приходилось встречать столь глубоко и страстно верующего человека. Он был не просто верующим, он был в полной мере воцерковленным человеком. Регулярно посещал церковь, еженедельно исповедовался и причащался, строго соблюдал посты. Во время отпуска совершал паломничества в Псково-Печерский монастырь, неукоснительно выполнял наставления своего духовного отца — старца этого монастыря.

В последнее посещение монастыря старец напутствовал его готовиться к «третьему рождению», каковым для христианина является смерть. Как мне кажется, Генрих Степанович (при крещении принявший имя Иоанн) не верил в близость смерти. Но за время болезни он исповедовался и причащался дважды в неделю; когда уже не мог встать, у его постели отслужили молебен, трижды соборовали. Умер он 31 октября 1990 г. Его отпели в церкви, прихожанином которой он был, и похоронили со священником...

Современному философски образованному человеку легко допустить существование Бога, трансцендентного начала и т.д., еще легче признать глубокий смысл евангельского нравственного учения. Ощущение потери твердой опоры под ногами и желание обрести ее многих подвигает ныне к религии. Но лишь для немногих религия становится определяющим началом в жизни, изменяющим их повседневное существование. Ведь даже и В.С.Соловьева, и Н.А.Бердяева мы не можем отнести к людям воцерковленным.

Для Батищева философия не была только абстрактным мышлением, религия — только чувством, настроением. И философия, и религия составляли для него одно и определяли его миро- и жизнепонимание, его поведение, образ жизни. Такое встречается редко.

Если о враче, инженере, биологе известно, что он человек верующий, то это еще ничего не говорит о его профессиональной деятельности, квалификации и достижениях. Иное дело — философ. Религиозность — важнейшая характеристика философских воззрений. Ко-

нечно, специализируясь в каких-то частных вопросах (гносеологии, логике и т.д.), философ может не затрагивать проблемы общей духовной ориентации. Но частности получают смысл только в целом, и философия, ограничивающая себя узкой областью компетенции, это уже не философия. Так же и религия, занимающая в сознании человека лишь отведенное ей место, не распространяющаяся на все миропонимание и мироотношение, собственно, уже не религия, скорее — «религиозный пережиток».

Батищев принимал православие полностью, понимая громадное значение духовной дисциплины. В те времена его, научного сотрудника идеологического учреждения партии (а таким был Институт философии), обращение в православную веру было актом серьезнейшего духовного самоопределения. Если философ хотел работать и публиковаться, то он вынужден был скрывать свои религиозные убеждения. И Батищев прибегал к умолчаниям и иносказаниям. Однако те, кому полагалось знать, были осведомлены об отступничестве сотрудника. Было у Батищева намерение уйти из института, но старец посоветовал ему остаться, сказав, что через него к церкви могут прийти те, которые не придут к ней другим путем.

Каким путем пришел к церкви и религиозной философии сам Батищев? На этот вопрос ответить трудно. Обращение религиозное не является актом логического мышления, аподиктического умозаключения, в этом обращении всегда участвует воля, участвует чувство. Вера, как сказано, плод духа. Уверен, что духовная биография Батищева еще будет исследована, скажу лишь о том, что известно мне и что может быть подтверждено свидетельствами других людей, знавших философа.

Родился Батищев 21 мая 1932 г. в Казани в семье партийных функционеров, убежденных марксистов-ленинцев. И сам он в юности разделял эти убеждения. Во время учебы на философском факультете МГУ ему стало ясно — официальная доктрина марксизма догматична и примитивна. Изучение первоисточников убедило его в том, что существует множество умышленных и неумышленных искажений, неправильных переводов и истолкований Маркса. Естественным был его интерес к Гегелю, в середине 50-х годов и позднее представлявшемуся вер-

шиной всей философской мысли, бывшему главным проводником в мир классической философии. Молодые философы, овладевая гегелевским методом рассуждений, его терминологией, оборотами речи, сразу же поднимались на порядок выше признанных столпов официальной философии.

Итак, был период сильного увлечения немецкой философской классикой... Чутье искренних ревнителей чистоты учения, а также и тех, кто по должности обязан блюсти верность государственной идеологии, подсказывало — в лице Батищева и иже с ним таится угроза. В году 71-м или 72-м был официально поставлен вопрос о пребывании Батищева в качестве научного сотрудника идеологического учреждения, было заявлено о необходимости проанализировать всю его деятельность на предмет соответствия научной философии. Поводом послужило утверждение философа о том, что марксизм несет дух проблемно-критического отношения к миру, а не окончательных решений. Дипломатические усилия коллег, и прежде всего руководителя сектора, в котором работал Батищев, помогли избежать увольнения, однако трудности с опубликованием работ, с защитой диссертации оставались, они сопровождали его практически всю жизнь. В таком положении, правда, был не он один. Никто не оспаривал его эрудиции, его творческих способностей. Они были слишком очевидны. Не было и личной неприязни к нему. От него требовалось «немногое» — идти в ногу со всеми, ступать «по камешкам», ибо всякое уклонение в сторону грозило опасностью не только лично ему, но и всем ответственным за идеологию лицам.

Шопенгауэр в статье «Об университетской философии» писал: «...ограничения нисколько не смущают университетских философов, потому что серьезно-то они заботятся только о том, как бы честно заработать кусок хлеба для себя, для жен и ребят и получить известный авторитет в глазах людей. А глубокую душу истинного философа... причисляют они к мифологическим существам; или же при встрече с ним признают одержимым монотомией».

Немало людей, способных и талантливых, старались услужить двум господам: и истине, и власти. Батищев был не из их числа. Он родился философом, и филосо-

фия была для него не просто профессиональным занятием, а способом духовного существования. И конечно, на фоне «нормальных» специалистов он казался странноватым, одержимым, максималистом и т.д., прямо по Шопенгауэру. Знавший Батищева с университетской скамьи известный философ на мой вопрос о нем ответил: «Он всегда жил какой-то головной жизнью, абстракциями. Наши пути давно разошлись. — Головной? — переспросил я. — Но ведь он был эмоционален, чрезвычайно чуток, искренне сердечен. — Да, может быть, точнее было бы сказать, что он жил целиком внутренней жизнью, никак не реагируя на многое из жизни внешней. Что называется, был не от мира сего. Моральный максимализм, почти деспотизм проявлялись у него в отношениях с людьми очень часто». Доля истины в этой характеристике, несомненно, есть. Батищев выпадал из обычного порядка вещей, поскольку отдавался полностью тому, что на том или ином этапе жизни ему представлялось истиной. При этом он неоднократно круто менял направление своего жизненного и философского поиска. Искренняя горячая проповедь вновь найденного пути собирала вокруг него и увлекала тех, кто тоже искал, кто был томим духовной жаждой. «Идти рядом с ним, — вспоминает одна из тех, кто сопровождал его последние годы жизни, — было нелегко, и в силу неординарности характера, и потому, что, принимая новый способ мироосмысления, он стремился жить сообразно ему, ожидая того же и от своих единомышленников. Более всего его мучила мысль о тех, кого он оставил на поворотах, им он хотел помочь прежде всего».

Каковы же были эти «повороты»? После марксизма и гегельянства — современная мысль Запада (нужно сказать, знал он ее на уровне специализирующихся в этой области, но современные западные философские школы не удовлетворили его), затем — очень сильное увлечение восточной философией и мистикой, наконец, в начале 80-х годов он обрел истину в православной вере, которая осветила и успокоила его душу. Слово «успокоила», правда, как-то не очень вяжется с его всегда взволнованной, остро реагирующей, нервной натурой. Он имел мало общего с традиционным образом философа-мудреца — спокойного, уравновешенного, живущего в уединении и более всего дорожащего одиночеством и

тишиной. Однако вера его росла и укреплялась, философские построения прояснялись. Иисус Христос был для него — «истина, путь и жизнь».

Если так, то не сошел ли Батищев с пути философии, логически обоснованных решений и выводов, предпочтя мистическое и иррациональное?

По вопросу о том, возможно ли соединение мистического и рационального в религии и философии, высказывались, как известно, разные точки зрения. Гегелевское понятие «абсолютной религии», по существу, означает снятие религии философией как адекватным способом познания. Шопенгауэр называл религиозную философию кентавром, а понятие христианской философии столь же нелепым, как «христианскую арифметику». Философия занимается лишь тем, что доступно знанию, а вера обнимает то, что нельзя знать. Относительно высказывания о том, что религия и философия, собственно, одно и то же, он замечал: оно верно лишь в том смысле, в каком Франциск I весьма миролюбиво заметил относительно Карла V: «Мы с братом Карлом желаем одного и того же, именно — Милана». Беспристрастное искание истины становится невозможным, если результаты этих исканий предопределены заранее религией. Казалось бы, и сама история духовной культуры подтверждает просветительскую убежденность в том, что философия, наука, основываясь на разуме, делают религию ненужной. Однако дело обстоит не так просто, как казалось еще недавно. Философия не способна заменить, вытеснить, «снять» религию, ибо религия не просто учение, отвлеченное мышление, она укоренена бытийственно, экзистенциально. Она реальна в переживаниях, учение же остается — когда религия уходит.

В вопросе о соотношении религии и философии Батищев придерживался линии русских религиозных мыслителей. Протоиерей Зеньковский об этом соотношении высказался следующим образом: «Догматика есть философия веры, а христианская философия есть философия, вытекающая из веры. Познание мира и человека, систематическая сводка основных принципов бытия не даны в нашей вере, они должны быть построены в свободном творческом нашем труде, но в свете Христовом. Особой задачей философии является уяснение диалектики идей,

уяснение внутренней структурности в основных наших понятиях»¹.

Если Шопенгауэр считал, что христианская философия столь же немыслима, сколь и «христианская арифметика», то Бердяев утверждал, что жизненной основой философии является религия, в религии находит философия источник питания. Иссякает источник — оскудевает духовная культура.

Помню, когда Батищев был уже болен, я рассказал ему о статье М.Ф. Антонова, в которой говорилось о невозможности соединения религии и философии (религиозной философии) и делался вывод о том, что для православного человека философия и не нужна: она лишь путь к истине, ее поиск, но абсолютная истина уже дана в откровении. Батищев заметил: «Ну, так можно сказать, что и искусство не нужно, и вообще ничего не нужно...» Помолчав, добавил, однако: «Выздоровлю, все это уберу, — и махнул рукой в сторону книжных полок. — Как? Все? — удивился я. — Ну всех этих Ницше, Фрейдов...»

Батищев различал три основных периода своей духовной эволюции. Начало было связано со «спинозовско-гегелевским парадигмальным горизонтом», правда, с поправками и коррективами, внесенными в него продолжателями этой традиции. Субстанциалистский способ истолкования действительности перестал удовлетворять философа, ибо он осмысливал креативные усилия человека, ставил под сомнение или подозрение его высшие духовные потенции. Вот что говорил Батищев во вступительном слове на защите докторской диссертации: «Субъект-объектное отношение, принимаемое за единственно фундаментальное отношение человека к миру, было тем ограничивающим принципом, той обязательной рамкой, которая не оставляла места для творчества и делала необходимым редукционизм — тот философский редукционизм, действием которого человек как субъект сводился к тому, что исходит из объекта и в конечном счете из абсолютного начала — Субстанции, т.е. к тому, что предписывает человеку во всем существенном готовый "сценарий для его жизни". Субстанциализм вражде-

¹ *Зеньковский. Основы христианской философии. М., 1992. С. 18.*

бен творческой субъектности, его девиз: только Субстанция есть субъект, и ничто кроме нее». Переосмысление отношений субъекта и объекта (субстанции) привело философа к другой крайности: субстанциальность была им приписана теперь самому субъекту — человеку, который в его глазах стал «монополистом ценностной устремленности, подобно тому, как раньше мир диктовал ему смысл извне». Теперь уже само мироздание выглядело лишь как фон, на котором разворачивается инициативно-творческое, авторское бытие человека. «Человек — мера всех вещей». Сказалось здесь и влияние «деятельностного подхода», который, вырастая из субстанциализма, порождает сам или поддерживает «иллюзии имманентной способности человека (или общества) управиться собственными силами со всеми проблемами». В этой антисубстанциалистской парадигме человеческое творчество лишается объективных критериев ценности, оно становится самодовлеющим и самоутверждающим началом. Эти притязания уже обнаружили свою несостоятельность — онтологическую и особенно аксиологическую. Достаточно экологического кризиса, чтобы понять это. Антисубстанциализм также рухнул в глазах Батищева.

Выход был найден в «обращении к межсубъектному подходу — полифонически гармоническому, который вместе с тем есть также подход принципиально многоуровневый, предполагающий присутствие и в человеке, и повсюду вне его не только доступных, но и кардинально недоступных, запороговых уровней или ярусов бытия». Вчитайтесь в эти строки. В таких терминах и речевых оборотах вынужден был Батищев выражать мысль о своем обращении к христианской религии.

Никакая человеческая деятельность сама по себе не может породить креативное отношение человека к миру и самому себе, ценностное по своей сути отношение. Напротив, это отношение является условием творческой деятельности. Такой подход может быть назван «субъект-субъектным», ориентированным на высшее Личностное начало. Эти взгляды позволили по-новому осмыслить проблему творчества в пересечении гносеологического, онтологического и аксиологического ракурсов, выявить принципиальные ограничения деятельностного подхода в истолковании сущности человека, преодолеть и панлогизм, и психологизм в истолковании творчества. Цен-

ностное отношение, должествование выдвинулись на первый план и стали основой создания сочинений последнего периода Батищева, осуществившего крен в сторону этики и философии педагогики. Впрочем, чувство долга всегда превалировало в его характере, он считал себя обязанным следовать тем выводам, к которым приходил в своих рассуждениях.

Нельзя сказать, что к православной вере Батищев пришел через философские рассуждения, найдя, наконец, ход мысли, неопровержимо свидетельствующий о правоте этой веры. Обращение в веру никогда не бывает чисто интеллектуальным актом. Скорее, обретенная вера легла в основание его философских раздумий и дала искомое удовлетворение, утоление духовной жажды.

Занятия философией были для него главным делом в течение всей жизни.

Человек может находить смысл существования в различных видах деятельности. Однако для Батищева любой вид деятельности должен быть рассмотрен с позиций высшего смысла жизни и назначения человека. Поразительно в этой связи, с какой безапелляционностью в наши дни говорится о самодовлеющем значении, автономии экономики и политики. Считается очевидным, что к экономике нельзя подходить с нравственными мерками — экономика будто имеет свои непреложные законы. Тем самым открывается путь для беспрецедентного в мировой истории оправдания и пропаганды духа наживы, эгоизма, своекорыстия. Трудно сказать, чего здесь больше: непонимания природы и смысла нравственности, распространяющейся на все виды деятельности, или же непонимания природы экономической сферы жизни. Крен марксизма в сторону первенства экономики перед духовной сферой жизни многократно усугублен. Марксисты считали возможным и необходимым изменение такого положения дел, при котором экономика управляет людьми, развиваясь как автономная сила.

На фоне сегодняшних легковесных опровержений марксизма и невежественного его третирования весьма интересной представляется критика марксизма Батищевым. «Свои счета» с учением он свел в работе «Иоанн Б. Тезисы не к Фейербаху, посвященные попытке извлечь светлый смысл из объятий мрака». На левой странице работы Батищев приводит тезис Маркса и некоторые его изречения, созвучные тезису. На правой —

собственные рассуждения. Полагаю, что читателю будет интересно познакомиться с образцом такого сопоставления. Возьмем «знаменитый одиннадцатый тезис».

Слева: «Философы лишь различным образом истолковывали мир, но дело в том, чтобы его изменять» (а не «изменить». — *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 3. С. 480).

«Самоцелью (является) эта целостность развития... всех человеческих сил как таковых безотносительно к какому бы то ни было заранее установленному мерилу» (Т. 46. С. 475).

«Что есть сущее?.. Борьба!.. слышалось эхо отчаяния» (Т. 45. С. 480).

«Как первобытный человек... должен бороться с природой, так должен бороться и цивилизованный, должен во всех общественных формах и при всех возможных способах производства» (Т. 25. С. 387).

«Человек... не стремится оставаться чем-то окончательно установившимся, но находится в абсолютном движении становления» (Т. 46. С. 476).

Справа: «Философы истолковывали мир и человека, но дело в том, чтобы, изменяя мир обстоятельств, *изменять самих себя*».

«Безотносительность саморазвития ко всем *инаковым* мерилам — это на деле есть несвобода от заранее установленного *своего собственного* мерила: *своемерие* и *своецентризм*».

«Позиция борьбы — это позиция подчиненности и господства, человеческое же призвание — возвыситься до *со-дружества* и *со-творчества* с диалектикой Универсума».

«Чтобы не замыкать своего становления горизонтом своецентризма, человек должен восходить и рождаться в беспредельной диалектике Универсума — *не во имя свое, но во имя Нее самой*».

Думаю, не надо пояснять, что «универсум» — вынужденное цензурой, но, конечно, неудачное, неверное наименование Бога. Если для Маркса приоритет принадлежит практике, то для Батищева — ценностной ориентации. Маркс, правда, говорит о совпадении в революционной практике изменения человека и обстоятельств, но лишенная правильной ценностной ориентации практика приводит к «совпадению изменения» человека и обстоятельств в худшую сторону.

Тот, кто меняет свои убеждения, а Батищев весьма круто менял направление поисков, обычно подвергается обвинению в отступничестве, предательстве прежних идеалов. Предубеждение против таких людей существует с давних времен и поныне. За этим стоит моральное недоверие к вероотступникам, не желающим пострадать за свои убеждения или соблазненным какими-то выгодами. Но правильнее было бы, на мой взгляд, с недоверием относиться к тем, кто вообще не меняет взглядов. За верностью раз и навсегда выбранному пути нередко скрываются косность и упрямство. В поиске высшей истины раньше времени останавливаться весьма опасно. Остановка — омертвление не только мысли, но и духа, нравственное омертвление. Конечно, всегда достойно уважения мужество тех, кто, несмотря на опасность гонений и преследований, осуждения большинством, остается верным себе и тому пути, который кажется ему истинным. Батищев, разумеется, не был подвержен влиянию конъюнктуры. Но, как мне кажется, не следует слишком превозносить служение истине ради нее самой и безоговорочно осуждать, как это делает Шопенгауэр, преимущественную заботу о «куске хлеба для жен и ребят». Вряд ли нужно возводить на моральный пьедестал того, кто своему творчеству приносит в жертву интересы близких ему людей...

Как я уже говорил, духовную биографию Батищева еще предстоит исследовать. Но и сегодня можно сказать, что эта биография поучительна и в какой-то мере типична для деятелей русской культуры XIX и XX столетий. Гегель заметил, что люди, революционно настроенные в молодые годы, часто с возрастом превращаются в самых консервативных чиновников. Объясняется это тем, что они начинают не только и не столько ценить более, чем истину, житейские блага, сколько понимать объективный ход событий, разумность действительности, которая когда-то казалась совершенно неразумной. Мережковский так характеризует путь выдающихся деятелей русской культуры: «побунтовали и смирились». Вряд ли это справедливо по отношению к Пушкину, Гоголю, Достоевскому, а также к Соловьеву, Булгакову, Бердяеву, Струве, Франку. Слишком значительны эти фигуры, чтобы можно было столь свысока оценивать их духовную эволюцию. Обращение к религии, преодоление того

разрыва с православной религией, который обозначился в XVII в., — было возвращением к истокам русской культуры. Именно в России и осуществился расцвет религиозной философии.

Батищев в известном смысле повторил путь своих предшественников и вместе с тем опередил многих современников. Заслуживает внимания, на мой взгляд, тот факт, что многие наши крупные специалисты в области современной западной философии склонились в последние годы к религии и к русской религиозной философии. Отнюдь не из конъюнктурных соображений. Здесь скорее сработала неудовлетворенность отвлеченно-рассудочным мышлением, исчерпавшим себя и уже не способным создавать новое видение мира, новое отношение к нему. Тяга к мистике, характерная для интеллектуальной элиты Запада, также объясняется духовной неудовлетворенностью секуляризированной культурой, потребностью обретения высшего смысла жизни. Примечательно и то, что в среде востоковедов таких движений мысли не наблюдается.

Духовная эволюция Батищева прямо противоположна той, о которой говорил Гегель: не от религии к философии, а от философии к религии. Философия исходит из определенных установок, сознательно или бессознательно воспринимаемых на веру, и восходит к высшим ценностям, которые невыводимы из умозаключений и фактов строго научными методами. Установка, согласно которой смысл бытия постигается из познания сущего теоретическим разумом, рациональной философией, ведет к сциентизму, физикализму, техницизму, потребительской психологии. Эта секуляризированная культура истощает себя и в конечном счете оказывается в тупике — жизнь ради жизни, ради пользования благами цивилизации — материальными и духовными. Тот же, кто не находит счастья в комфорте, ищет выхода в различных способах трансцендирования.

Батищев видел, что культура, лишенная религиозного питания, неминуемо истощается. Путь к истине и истинному существованию не открывается «чистому разуму», теоретической философии. Ценностное отношение не выводится путем доказательств из познания сущего.

Батищев обладал большим проповедническим даром. Его горячая проповедь собирала вокруг него много моло-

дых людей — педагогов, философов, представителей других наук; услышав его выступления или прочитав его публикации, они вступали с ним в переписку, приезжали к нему в Москву. В картотеке философа более тысячи адресатов...

В предисловии к «Оправданию добра» В.С.Соловьев специально оговаривается относительно того, что он не желает проповедовать добродетель и осуждать порок, ибо считает такое занятие для простого смертного не только праздным, но и безнравственным, предполагающим притязание быть лучше других. А кроме того, по его мнению, нравственная философия может определить, в чем состоит истинное добро, изучая внутренний мир человека, однако этого знания и понимания недостаточно, чтобы человек встал на путь добродетели. Кто же здесь прав? Вопрос стоит обсуждения. Мне кажется, прав Батищев. Пусть я сознаю себя греховным, самым греховным, лишаюсь ли я права проповедовать истину и добро? Конечно, никакого принуждения в этой сфере человеческой жизни быть не должно, но разве может человек, сознающий, что он нашел путь и истину, спокойно смотреть на то, что рядом с ним заблуждаются и гибнут люди, не видящие пути и света? Разве сам Соловьев выдерживал это правило — не проповедовать добродетели и не осуждать порока? Отнюдь. Он проповедовал и осуждал, как это и положено христианину. А разве ему удалось вывести должное из сущего? Что из того, что я, в согласии с Соловьевым, нахожу в себе чувство стыда, жалости, благоговения — разве я, как свободный духом человек, не обязан задуматься над тем, стоит ли мне быть нравственным? Не имею ли я права пренебречь тем, что мне диктует чувство долга и совесть?

В утверждении Соловьева о том, что правильного понятия о добре еще недостаточно, чтобы быть нравственным, содержится доля истины. Но не меньшая доля истины и в позиции Сократа, говорившего, что нравственное поведение вытекает из знания нравственности. Позиция Батищева находится в согласии со святоотеческой традицией: правильное понятие о добре есть уже добро, ибо добро есть дух. Греховность и святость — состояние души.

Соловьев исходил и в практической, нравственной философии из примата сущего перед должным, что соот-

ветствует, по терминологии Батищева, субъект-объектному подходу. Субъект-субъектный подход выдвигает на первый план ценностное отношение, каковое, в сущности, всегда было целью познания и действия. Именно ценность является сущностью подлинного бытия, ориентация на высшую ценность — предпосылкой этого истинного, подлинного, «аутентичного» существования. В отличие от Канта и Фихте, ставивших во главу угла долг, Батищев в согласии с православным учением считал основой основ любовь. Ценность определяет долг. И долг проповедования.

Критерий научной объективности, сформировавшийся в европейской науке и распространивший свое влияние на философское мышление, кажется само собой разумеющимся, представляется условием нахождения истины. Но ценностная нейтральность даже и естественнонаучного познания, по сути, лишь видимость, иллюзия, за которой скрывается определенная духовная ориентация — самодостаточность рационального познания. Согласно Батищеву, познавательный процесс ценностно сориентирован изначально, независимо от того, сознает это познающий или нет. Августин Аврелий справедливо замечал, что познаем мы настолько, насколько любим. Жизненная ориентация человека (культуры) направляет познавательный интерес и даже его простую любознательность. Истина открывается не отвлеченно-рассудочно, а бытийственно, что предполагает человеческую цельность, соединение ума и сердца, на котором так настаивали русские философы, начиная с Хомякова. Истина — это ответ не на вопрос — «что?», а на вопрос — «кто?».

Я убежден в правильности позиции Батищева. В этом меня укрепляют, в частности, основательные философские работы, после прочтения которых я ничего не могу сказать о жизнепонимании их авторов, тем более — об их образе жизни. Объективность и устранение всякой субъективности воспринимаются их авторами как должное. Истина перестала обозначать путь и жизнь. Важнейшие вопросы социального и личного бытия обсуждаются сегодня вне всякой связи с философией. Нельзя, стремясь к «академичности», дистанцироваться от политики и частной жизни в той же мере, в какой это делает, скажем, физика или химия. Иначе философия перестанет быть нужной людям.

Философию называют наукой, полагая в этом ее достоинство. Но философия перестает быть философией ровно настолько, насколько она становится «научной», т.е. ценностно нейтральной. Справедливо замечание К.Ясперса: то, что непреложно осознается каждым и делается тем самым научным знанием, не является больше философией, а относится к конкретным областям знания. «Физика, берегись метафизики!» — «Метафизика, берегись физики». Последнее не только актуально, оно во все времена содержит больше истины. Условие развития философии не в применении методов классической или постклассической науки, «социнергетики» и т.п., а в ценностной, духовной ориентации. Именно естественно-научное знание, физика и другие науки выходят ныне, решая свои проблемы, исследуя свой предмет, к метафизике. Пригожин высказывает мысль об «этическом смысле времени», многие физики говорят о значении красоты теоретических построений, Эйнштейн признавался в том, что этические размышления Достоевского дают ему в теории физики больше, чем даже работы Гаусса.

Философию следовало бы именовать не наукой (как это делал Соловьев), а учением, согласно Батищеву. Читая работы Батищева, мы чувствуем человека, каким он был, каким стремился стать, каким хотел видеть других. Он был философом в полном смысле слова. Философ же — это особый тип личности, философия — особый способ отношения к миру, способ его познания, отличающийся от художественного творчества («художник») и от подвижничества («святой»). Все три типа духовного бытия нацелены, однако, на одно — высший смысл бытия.

Каковы были социально-политические воззрения Батищева? Л.Шестов замечал, что для мыслителей типа Достоевского и Толстого социально-политические проблемы времени не имеют большого значения. Казалось бы, что это замечание несправедливо. И Достоевский, и Толстой горячо откликнулись на все злободневные вопросы тогдашней жизни. Относительная правота слов Шестова состоит, однако, в том, что такие мыслители первостепенное значение придавали не политике и экономике, а общей духовной ориентации, нравственности. В конечном счете все глобальные и частные проблемы, экономические, политические, национальные, экологические, производны от нравственного состояния общества. На

таких позициях стоял и Батищев. Он радовался открывающимся возможностям свободного слова и свободной деятельности. В последние годы жизни его более всего занимала идея новой системы духовного просвещения. «Спасение через детей», — повторял он. Им написано немало педагогических статей, равных которым я не вижу в нашей литературе. Они созвучны сочинениям Корчака, которого он глубоко чтит.

Нынешнюю ситуацию Батищев, несомненно, полагал бы новым и тяжелейшим испытанием, посланным России провидением. Тот, кто познакомится с его работами, увидит, что главнейшим злом философ считал дух обособления, индивидуализма, самоутверждения, своекорыстия, самодостаточности. Боюсь, что он и сейчас был бы не ко времени. Гораздо ближе Карнеги, хотя он менее всего соответствует духовным традициям русской культуры. Но сказано: ваше время всегда, а мое еще не пришло...

Батищев любил Отечество и служил ему, что вполне естественно для принадлежащих к Русской Православной церкви. Но Православие не было для него способом национального самоутверждения. Оно было вселенской истиной, светом, который Россия может и должна принести в мировую культуру.

Со дня смерти Батищева прошло более четырех лет. Но время для основательного анализа и оценки его трудов еще не пришло — нужна внутренняя подготовленность к восприятию этих идей, сложных и оригинальных, выпадающих из хорошо знакомых нам парадигм марксистского и антимарксистского мышления. Потребуется герменевтическое размышление. Наиболее важные, итоговые работы философа еще не опубликованы, и надо надеяться, что публикация фрагментов из его сочинений в этом номере журнала будет хорошим началом.

Дать оценку какому-либо философу, которая могла бы стать общепризнанной, практически невозможно. Оценки во многом зависят от факторов, на первый взгляд, не имеющих прямого отношения к философии, от личных особенностей и пристрастий оценивающего, его ценностных ориентаций, политических, эстетических, национальных симпатий и антипатий, вкусов. Отвлечись от этих не философских моментов и дать объективную оценку вклада мыслителя в развитие философии путем сопоставления с ранее достигнутым уровнем — дело не-

осуществимое. Философия не наука. К ней, как, скажем, и к искусству, не приложимо понятие прогресса. Гегеля нельзя поставить выше Платона, как и Шекспира выше Софокла.

И все же хочется сказать: Батищев был крупнейшим русским философом второй половины XX века.

«Вопросы философии», 1995

Георгий Петрович Щедровицкий (1929—1994)

Специалист в области методологии и теории мышления. Основоположник и бессменный руководитель Московского методологического кружка, автор оригинальных концепций содержательно-генетической логики, теории деятельности, системно-мыследеятельностной методологии. С 1991 г. до конца жизни главный редактор журнала «Вопросы методологии».

Соч.: Избранные труды. М., 1995; Философия. Наука. Методология. М., 1997.

В.М.Розин

К ИСТОРИИ МОСКОВСКОГО ЛОГИЧЕСКОГО КРУЖКА: ЭВОЛЮЦИЯ ИДЕЙ, ЛИЧНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Выражение «Московский логический кружок» — это одно из названий коллектива философов и логиков, сложившегося начиная с 1954 г. Этот коллектив претерпел в последующие годы различные изменения и по взглядам, и по составу участников, неизменной фигурой оставался лишь его руководитель — известный отечественный философ Г.П.Щедровицкий. Менялись и названия кружка, совпадающие часто с характеристиками направления работы: «содержательно-генетическая логика», «московский методологический кружок», «теория деятельности», «системо-мыследеятельностная методология». Лично я подключился к кружку в 1960 г., это был период формирования первой программы исследования. Несколько слов о том, что ей предшествовало.

Три программы исследования

В 50-х годах группа молодых талантливых философов (А.А.Зиновьев, М.К.Мамардашвили, Б.А.Грушин) в

попытке прорваться сквозь идеологический марксистский туман, застилавший сознание, обратилась непосредственно к анализу мышления К.Маркса. «Мы были людьми, — пишет М.Мамардашвили, — лишенными информации, источников, лишенными связей и преемственности культуры, тока мирового, лишенными возможности пользоваться преимуществами кооперации, когда ты пользуешься тем, что делают другие, когда дополнительный эффект совместимости, кооперированности дан концентрированно, в доступном тебе месте и мгновенно может быть распространен на любые множества людей, открытых для мысли. Этого всего нет, понимаете? И для нас логическая сторона "Капитала" — если обратить на нее внимание, а мы обратили — была просто материалом мысли, который нам не нужно было в нищете своей выдумывать, он был дан как образец интеллектуальной работы. Это не марксизм, это текст личной мысли Маркса, текст мыслителя по имени Маркс... я прошел не через марксизм, а через отпечаток, наложенный на меня личной мыслью Маркса...» (Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М., 1990. С. 48—49).

От философского мышления Маркса они перешли затем к анализу научного мышления, имея целью не только понять его, но также выработать логические представления и императивы для реформации всего современного мышления. При этом, если А.Зиновьев склонялся к представлению мышления в виде сложного диалектического процесса восхождения от абстрактного к конкретному, стремился понять мысль Маркса как попытку воссоздать сложное органическое целое, не упуская ни одной из его сторон, то группа последователей А.Зиновьева во главе с Г.П.Щедровицким, после того как он идейно разошелся с А.Зиновьевым¹, по сути, пошла по

¹ В книге «В преддверии рая» А.А.Зиновьев в свойственной ему шутовской манере описывает этот разрыв так: «Человеческие объединения можно разделить на две группы: единства (братства) и организации (или партии, секты, мафии и т.п.)... И какое-то время такое братство у нас было. Но тебя (Г.Щедровицкого) обуял дух вождизма, а не учительства. У тебя нет данных быть учителем, и поэтому ты ищешь замену в вождизме, а для вождя нужна организация... В единстве человек полностью сохраняет свою личность: это есть объединение личностей. В организации человек отчуждает имеющиеся у него крохи личности в личностное начало целого... и представляет это личностное ее начало руководителем» (Зиновьев А.А. В преддверии рая // Кентавр. 1991. № 2. С. 51, 52).

другому пути. Возможно, естественнонаучное первое образование Щедровицкого (он закончил четыре курса физического факультета МГУ) предопределило иное его отношение к мышлению. Идея историзма сохраняется, но анализ мышления теперь понимается в значительной мере как исследование по образцу естественной науки, формулируются тезисы, что логика — это эмпирическая наука, что мышление — это процесс и мыслительная деятельность, которые подлежат моделированию (при этом из химии заимствуются способы построения структурных схем) и теоретическому описанию. Вокруг Г.П.Щедровицкого в этот период объединяются люди (И.С.Ладенко, Н.Г.Алексеев, В.А.Костеловский и др.) с близкими естественнонаучными установками. Тем не менее речь все же шла о логике, а не о построении естественной науки; влияние А.Зиновьева и самого предмета (философии, логики) было все же достаточно сильным. Собственно логическая и философская установки отлились в идеи исторического анализа мышления, в требование рефлексии и собственного видения, а также логического (методологического) контроля, осуществляемых представителями кружка исследований и рассуждений.

В первой исследовательской программе были зафиксированы как эти идеи, так и первые результаты их реализации: схема двухплоскостного строения знания, представление мыслительного процесса в виде «атомов» — конечного набора операций мышления, сведение операций к схемам замещения и т.п. (см. об этом: *Щедровицкий Г.П., Алексеев Н.Г.* О возможных путях исследования мышления как деятельности // Доклады АПН РСФСР. 1957. № 3; *Ладенко И.С.* Об отношении эквивалентности и его роли в некоторых процессах мышления. О процессах мышления, связанных с установлением отношения эквивалентности // Доклады АПН РСФСР. 1958. № 1, 2; *Щедровицкий Г.П.* О строении атрибутивных знаний // Доклады АПН РСФСР. 1958. № 1, 4; 1959. № 1, 2, 4; 1960. № 6; *Щедровицкий Г.П., Ладенко И.С.* О некоторых принципах генетического анализа мышления // Тез. докл. I съезд Общества психологов. М., 1959. Вып. 1; *Щедровицкий Г.П.* О различии исходных понятий содержательной и формальной логики // Матер. Томской конференции по логике и методологии науки. Томск, 1962). Если сравнить этот результат с исходным замыслом А.А.Зиновьева, то налицо разительное

отличие: мышление было представлено не как сложный диалектический процесс по реконструкции разворачивающегося органического сложного, многостороннего целого, а в виде естественнонаучной онтологии. Мышление разбивалось на процессы, процессы на операции, каждая операция изображалась с помощью замкнутой структурной схемы¹; более того, исторический процесс развития мышления сводился к набору структурных ситуаций (так называемые «ситуации разрыва»). Все это, действительно, позволяло вести эмпирическое исследование мышления, но мышления, взятого лишь со стороны объективированных средств (знаковых), продуктов (предметов, теорий, знаний), детерминант (задач), процедур разного рода (сопоставление, замещение и т.д.). По сути, анализировалось не само мышление как форма сознания и индивидуальной человеческой деятельности, а «вырезанная» (высеченная) естественнонаучным подходом проекция объективных условий, определяющих мышление; она получила название «мыслительной деятельности».

Следующий этап исследования, вытекающий из предыдущего анализа механизмов, определяющих развитие мышления и знаний, производимых в нем. Поскольку естественнонаучный подход ориентирован на практику инженерного типа, где и должны использоваться научные знания, ученый-естественник стремится описать в теории не только основные процессы, объясняющие поведение интересующего исследователя объекта, но и выявить и описать условия, влияющие на эти процессы. Такие условия содержат как другие процессы, влияющие на основные, так и компоненты, на которые можно воздействовать практически (в физике такие компоненты представляют собой физические параметры объекта или физические условия, и то и другое обычно можно обеспечить техническим путем).

Как мы сказали, представители Московского логического кружка изучали процессы мышления: процессы решения задач, рассуждения, построения научных предметов и т.д. В теоретической форме эти процессы описывались как замещение объектов знаками, одних знаков другими, как осуществление интеллектуальных операций разного рода (использование средств, сопоставление объ-

¹ При этом считалось, что каждая операция продуцирует определенное знание, которое как раз и изображалось в структурной схеме.

ектов и т.д.). В качестве же практики выступила не буквально инженерная, а частно-методологическая, понимаемая в Московском логическом кружке как нормирование и организовывание создания и деятельности специалистов-предметников (ученых, проектировщиков, инженеров, педагогов и т.д.)¹. Оба указанных обстоятельства (т.е. форма теоретического представления процессов мышления и понимание частной методологии как нормативно-организационной дисциплины) и привели в конце концов к построению теории деятельности. Описание механизмов развития мышления и знания, к которым добавились схемы кооперации специалистов, с определенного момента были рассмотрены как самостоятельная реальность — собственно деятельность. Действительно, теоретико-деятельностные представления о «пятичленке» (структуре, содержащей блоки «задача», «объект», «процедура», «средства», «продукт»), о кооперации деятельности и позиций в ней, например, кооперации «практика», «методиста», «ученого», «методолога», блок-схемное представление «машины науки», схемы воспроизводства деятельности и другие (см. работы представителей кружка: Проблемы исследования структуры науки // Матер. симпоз. к симпозиуму. Новосибирск, 1967; Педагогика и логика. М., 1968; Семиотика и восточные языки. М., 1967; Обучение и развитие // Матер. к симпозиуму. М., 1966) позволили не только объяснить, почему происходило развитие тех или иных процессов мышления и появление в связи с этим новых типов знаний, но также использовать все эти схемы и представления в качестве норм и организационных схем в отношении к другим специалистам и их деятельности. Предписывающий и нормативный статус таких схем и представлений объяснялся и оправдывался, с одной сто-

¹ Ср.: Аристотель считал, что первая философия управляет остальными науками и оправдывал эту претензию философии идеями порядка и блага (философ, по Аристотелю, изучает божественные вещи)... «Мир не хочет, — пишет Аристотель, — чтобы им управляли плохо. Нехорошо многовластье: один да будет властитель». «И наиболее руководящей из всех наук, и в большей мере руководящей, чем всякая наука служебная, является благо и, вообще, наилучшее во всей природе... Она (первая философия. — В.Р.) одна только свободна из всех наук: она одна существует ради себя... наука наиболее божественная является и наиболее ценной» (Аристотель. Метафизика. М. — Л., 1934. С. 217, 21, 22).

роны, тем, что они описывают деятельность и мышление специалистов (ученых, проектировщиков, педагогов, инженеров и т.д.), с другой — наличием в методологии проектной установки (в этот период участники кружка осознавали свое занятие уже не как построение логики, а как методологическую деятельность). Считалось, что методологи не только научно описывают деятельность других специалистов (и свою в том числе), но и проектируют ее, внося в схемы деятельности связи, отношения и характеристики, необходимые для ее развития и упорядочения.

Все указанные здесь особенности второго этапа развития Московского логического кружка были изложены в ряде работ, которые сегодня можно рассматривать как вторую программу — программу построения теории деятельности. При этом, как показал дальнейший ход событий, эта программа оказалась довольно быстро реализованной: в течение нескольких лет было построено столько схем и изображений деятельности, что их с лихвой хватало на описание любых эмпирических случаев. В результате Г.П.Щедровицкий пришел к выводу, что теория деятельности построена (как он говорил мне в конце 60-х годов: «Главное уже сделано, основная задача теперь — распространение теории деятельности и методологии на все другие области мышления и дисциплины»). Но все происшедшее можно понять и по-другому: исследование (и мышления, и деятельности) прекратилось, построенные схемы и представления были объявлены онтологией, все существующее представлено как деятельность, методологическая работа свелась к построению из этих схем и представлений нормативных и организационных предписаний для других специалистов и себя. При этом, когда материал сопротивлялся, существующие схемы теории деятельности уточнялись, переосмыслялись или достраивались. Но все это делалось в рамках принятой онтологии и убеждения, что ничего, кроме деятельности, не существует. К числу подобных уточнений и переосмыслений, на наш взгляд, относится и понятие «мыследеятельности», возникшее под влиянием организационно-деятельностных игр¹. Развертывание таких игр знаменовало собой этап построения полноценной практики, где методологи могли

¹ Концепцию мыследеятельности можно рассматривать как третью программу Московского логического кружка (Щедровицкий Г.П. Смысл и значение. Проблемы семиотики. М., 1974).

предписывать, нормировать, организовывать, где они практически воздействовали на других специалистов. Идея мыследеятельности включала в себя три другие идеи: мышления (объект первой программы), деятельности (второй программы) и коммуникации, но, что существенно и принципиально, все эти три идеи опять же осмыслились в рамках теоретико-деятельностной онтологии.

Какие же результаты были получены за 30 лет работы (от первой программы до настоящих дней)? Была создана школа, она прошла в своем развитии три этапа: примерно до 1960 г., с 1960 до начала 70-х годов и с 70-х до настоящего времени. На первом этапе формировались идеи первой программы, на втором происходила реализация этой программы и формировались идеи второй программы, на третьем — были созданы и широко распространялись организационно-деятельностные игры, в этот же период создаются схемы мыследеятельности. Из школы вышли крупные методологи, здесь достаточно указать имена В.С.Швырева, В.Н.Садовского, И.С.Ладенко, Н.Г.Алексеева, В.Я.Дубровского, А.Г.Раппапорта, П.Г.Щедровицкого, А.П.Зинченко, С.В.Попова.

В рамках школы были разработаны методы эмпирического анализа мышления и деятельности, включающие в себя построение схем и идеальных объектов, разворачивание на их основе фрагментов теории, описание генезиса и функционирования мышления и деятельности. Наиболее характерными примерами подобной работы, на наш взгляд, являются исследования Г.П.Щедровицкого «Строение атрибутивных знаний» (1958—1960), «Исследование мышления детей на материале решений арифметических задач» (1965), «Система педагогических исследований» (1968) и наша работа «Логический анализ математических знаний» (1968). На основе этих методов были проведены исследования мышления и деятельности в науке, педагогике, проектировании, языкознании, психологии, теоретическом музыкознании. Исследование носило методологический характер: оно включало не только моделирование и описание генезиса и функционирования деятельности в указанных областях, но и анализ проблем и затруднений, вставших в этих областях, а также обсуждение путей преодоления затруднений (т.е. предложения по развитию данных областей деятельности). Трудно сказать, в какой мере эти исследования и предложения повлияли на практику; по моим наблюде-

ниям, наибольшее воздействие школа оказала на науку в области дизайна, теорию массового обслуживания, педагогические исследования, психологию, меньше она повлияла на историю науки, методологию науки и языкознания. Сюда же относятся установки на исследование генезиса и проблематизацию. Последнее означает, что только выявление проблем и затруднений в мышлении является достаточным основанием и правильным ориентиром при проведении методологического исследования. К методологическим языкам, введенным в оборот школой (но, естественно, не только ею, хотя именно Московский логический кружок был здесь пионером), относятся системно-структурные представления и схемы, теоретико-деятельностные представления, представления и схемы семиотики (в варианте семиотики, развитом в Московском логическом кружке) (см. об этом статьи представителей школы: Семиотика и восточные языки. М., 1967). Сегодня в самых различных областях методологии и философии используются понятия, или прямо заимствованные из работ представителей школы, или сложившиеся под влиянием этих работ.

Наконец, можно указать еще один результат — трансляцию в интеллектуальную культуру самого опыта коллективной работы, сложившегося в Московском логическом кружке. Мы имеем в виду опыт, из которого в дальнейшем, на третьем этапе выросли ОДИ (организационно-деятельностные игры). Этот опыт включал в себя коллективное обсуждение проблем, проблематизацию, жесткий контроль за рассуждением, рефлекссию основных этапов мышления, сочетание исследования и нормирования; позднее были добавлены групповая работа, предварительное сценирование, разделение труда в области интеллектуальной работы (игротехническое обеспечение, консультирование и т.д.).

Личность руководителя школы. Смысл философской работы

В методологическом движении известно, что являюсь учеником Г.П.Щедровицкого, но в конце 60-х годов порвал с кружком. Порвал сознательно, более того, выйдя из школы, полемизировал со своим бывшим учителем. Через всю мою последующую жизнь проходит спор (и публичный и внутренний) с Г.П.Щедровицким,

спор не как претензия, напротив, я благодарен своему учителю, а как самоопределение. Именно в этом ключе я дальше и буду обсуждать личность Щедровицкого, сравнивая его взгляды и судьбу с взглядами другого зачинателя методологического мышления в нашей стране — М.К.Мамардашвили. В некотором отношении фигура Мамардашвили — это антипод Г.П.Щедровицкого, поэтому такое сопоставление имеет смысл для понимания личности и того и другого.

В одном из последних своих выступлений (на психологическом факультете МГУ) Г.П.Щедровицкий сделал неожиданное признание. Он сказал, что давно уже исчерпал содержание своей работы, что слишком отождествился со своим делом, что не имеет сил и энергии для продолжения работы. Эта мужественная констатация, сознаюсь, меня удивила: в сказанное трудно было поверить, вспоминая Щедровицкого в молодости. В те годы мой учитель был человеком необычайной работоспособности и энергии, яркий полемист, человек, порождавший поток новых идей и мыслей. Как такое может быть, подумал я, исчерпанность содержания, отсутствие сил и энергии, разве это — возраст (63 года), и разве М.К.Мамардашвили, который был всего на два года младше Щедровицкого, напротив, не поражал в последние годы своей жизни удивительной работоспособностью, энергией, творческой плодотворностью? Конечно, можно все списать на здоровье, но я чувствовал, что здесь возможно другое объяснение. Не были ли все симптомы, о которых говорил Щедровицкий, проявлениями не болезни и не нездоровья, а, скорее, жизненной доктрины руководителя школы, его понимания и своего дела, и жизни, и отношения к людям?

Помню, в книге М.К.Мамардашвили «Как я понимаю философию» я прочел следующую мысль: «Всякая философия должна строиться таким образом, чтобы она оставляла место для неизвестной философии. Этому требованию и должна отвечать любая подлинно философская работа» (Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М., 1990. С. 26). По Мамардашвили, заниматься философией значит, как говорил М.Бахтин, не быть завершенным; Мераб Константинович подчеркивал, что, философствуя, человек каждый раз рождается заново, что это путь человека, непрерывный процесс. А что означает заниматься философией (методологией) для Г.П.Щедровицкого? Насколько я знаю — исследовать,

ставить проблемы, решать задачи, строить теории, объяснять мир, предписывать другим специалистам. Поэтому не случайно, что в первой программе логика рассматривалась как эмпирическая наука, что последним основанием методологии во второй программе была объявлена теория деятельности¹, что в третьей программе и в организационно-деятельностных играх назначение методологии видится в организации и управлении мышлением и деятельностью специалистов. Но все перечисленные здесь процедуры (исследовать, решать задачи, ставить проблемы, объяснять мир, предписывать другим), особенно при ориентации на естественнонаучный идеал познания и понимание методологии как нормативно-организационной дисциплины, действительно, могут стать конечными. Предписывать другим специалистам проще и иногда только и возможно, если придерживаться ясного и простого понимания мира (например, как деятельности или мыследеятельности), если из этого понимания следует компактный и организованный набор предписаний к действию. Минимизация объяснительных и нормативных схем и категорий — естественный продукт подобных установок методологической работы.

Но есть еще один момент, усиливающий принцип минимизации, — это *понимание* Г.П.Щедровицким *Блага*. Категория Блага, как известно, — одна из ценностей философского мышления. Аристотель и Платон писали, что философия — это то, что совершается ради Блага. Но каждый философ понимает Благо по-своему. Например, для Аристотеля Благо — это Разум, порядок в мышлении и мире, созерцание Божественных вещей, мышление о мышлении². Для Мамардашвили Благо —

¹ «Так как наука о деятельности, — пишут Г.П.Щедровицкий и В.Я.Дубровский, — может делать объектом своего изучения не только структуры "практической деятельности", но и любые надстройки над ними, в том числе и саму методологическую деятельность со всеми ее возможными подразделениями, то она является метаметодологической дисциплиной, как бы замыкающей всю рассматриваемую нами структуру деятельности извне. Другими словами, теория деятельности является последним основанием всякой методологии» (Щедровицкий Г.П., Дубровский В.Я. Научное исследование в системе «методологической работы» // Проблемы исследования структуры науки: Матер. симпозиума. Новосибирск, 1967. С. 114).

² «Так вот, от такого начала зависит мир небес и вся природа... При этом разум, в силу причастности своей к предмету мысли, мыслит самого себя... и мысль его есть мышление о мышлении» (Аристотель. Метафизика. М.—Л., 1934. С. 211).

это духовный христианский путь, делание себя человеком, самосознание и утверждение своей личности, своего «Я». «Предназначение человека, — пишет Мераб Константинович, — состоит в том, чтобы исполниться по образу и подобию Божьему. Образ и подобие Божье — это символ, соотносённо с которым человек исполняется в качестве Человека. Сейчас я поясню, что значит этот символ, поскольку в этой сложной фразе я ввел в определение человеческого предназначения метафизический оттенок, то есть какое-то сверхопытное представление, в данном случае — Бога. Но на самом деле я говорю о простой вещи. А именно: человек не создан природой и эволюцией. Человек создается. Непрерывно, снова и снова создается. Создается в истории, с участием его самого, его индивидуальных усилий. И вот эта его непрерывная создаваемость и задана для него в зеркальном отражении самого себя символом "образ и подобие Божье". То есть человек есть такое существо, возникновение которого непрерывно возобновляется. С каждым индивидуумом и в каждом индивидууме» (*Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М., 1990. С. 58, 59*). Для Щедровицкого Благо иное — порядок в мышлении (и упорядочивание его), порядок в деятельности специалистов, т.е. упорядочивание их деятельности через предписание и знание¹. Отсюда установка на логику, на методологию, понимаемую как интеллектуальное нормирование². Соединение такого понимания Блага плюс трактовка методологической работы как исследования естественнонаучного толка и вело к принципу минимизации, к видению мира

¹ Выйдя из школы, я в дальнейшем осознал Благо так: понять другого, помочь ему, если только он к этому стремится, создать версию понимания мира, удовлетворяющую и меня, но и других людей, к мнению которых я прислушиваюсь. Благо относительно, предполагает компромисс и принципиальное сомнение. Благо — это то, что способствует сохранению культуры, одухотворению и просветлению, то, что помогает сохранить жизнь, сделать ее полнее, лучшее, человечнее.

² Вспоминая об университетских годах, Мераб Константинович пишет: «И Грушин, и Щедровицкий были в спорткомитете, а я играл в баскет, был посредственным баскетболистом, не стремился ни к каким успехам, мне просто доставляло удовольствие играть в нашей команде, а Юра (так товарищи называли Г.П.Щедровицкого. — *Ред.*) мог появляться и поучать, сам не умея играть в баскетбол. Я к этому относился юмористически, и у нас никаких проблем не возникало». (*Мамардашвили М.К. Начало всегда исторично, то есть случайно //* *Вопр. методологии. 1991. № 1. С. 45*).

прозрачным, деятельностно-упорядоченным, к отрицанию личности и культуры, как их понимают в гуманитарных науках. Личности в теории деятельности не оказалось места вообще, а культура трактовалась как один из механизмов воспроизводства структур деятельности. Не можем ли мы предположить, что исчерпанность содержания в творчестве Г.П.Щедровицкого связана именно с указанными здесь установками? Когда удалось в деятельностном ключе объяснить мир и построить при этом компактный набор предписаний для других специалистов (а это произошло к началу 70-х годов), стало казаться, что основная задача методологии решена.

Отношение к тексту. С рассмотренными здесь установками, на наш взгляд, связана и трактовка семиотики, имевшая место в Московском логическом кружке, и, вообще, более широкое понимание текста. Опять здесь имеет смысл сравнить это понимание с мерабовским. Для Мераба Константиновича культура и история — это пространство общения, живая коммуникация, где происходит становление себя как личности и философа. Не отчужденные философские тексты и доктрины, а живые беседы с Платоном, Декартом, Кантом. И текст — не просто объект интерпретации и объяснения, а в некотором смысле события собственной жизни. «В XX веке, — пишет Мамардашвили, — отчетливо поняли старую истину, что роман, текст есть нечто такое, в лоне чего впервые рождается и автор этого текста как личность и как живой человек... то, что он написал, есть то лоно, в котором он стал впервые действительным "Я", в том числе от чего-то освободился и прошел какой-то путь посредством текста» (*Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М., 1990. С. 158*).

Для Георгия Петровича, напротив, текст — объект, требующий объяснения конструктивного толка. История — тоже объект объяснения и интерпретации (в рамках теории деятельности или мыследеятельности). Отсюда нет текста как события (сознания, смысла), а есть текст как значение (*Щедровицкий Г.П. Смысл и значение. Проблемы семиотики. М., 1974. С. 76–111*). Нет истории как живой коммуникации философов, а есть развитие мышления и деятельности. На место философии текста и герменевтики становится семиотика, в которой знак и знание рассматриваются как особая форма существования деятельности, обеспечивающая ее развитие и функционирование (см. работы Щедровицкого Г.П.,

Юдина Э.Г., Лефевра В.А., Розина В.М. (Семиотика и восточные языки. М., 1967)).

Отношение к людям. Чтобы наводить порядок в мышлении и деятельности других людей, необходима организация, хотя бы малюсенькая. А где организация, там и управление, и организационные нормы, и организационные игры. Меня всегда поражало отношение учителя к людям: влюбленность в своих учеников, поддержка самых разных, часто довольно незнакомых людей, — с одной стороны, дидактичность, жесткость, использование людей — с другой. Георгий Петрович и Мераб Константинович — это не только интересные и умные люди, но и выдающиеся личности, создавшие вокруг себя сильное энергетическое и экзистенциальное поле. Щедровицкий захватывал в свою орбиту многих людей (или сразу отталкивал от себя), давал им энергию, заставлял все видеть иначе, воодушевлял. Обратная сторона дела, на которую первым указал Владимир Лефевр, — эти люди становились несамостоятельными в мышлении и оценках, частичными. И почти всегда влюбленность и поддержка к ученикам, делящаяся больше или меньше, в конце концов сменялась изгнанием из альма матер, яростным (хотя и временным) отрицанием. Участникам семинаров Г.П.Щедровицкого хорошо известна оценка, адресованная изгоняемым ученикам: «Ты перестал мыслить и больше никогда не сможешь это делать хорошо». В этой связи интересно размышление Мераба Константиновича: «Люди тянутся к духовному оазису, и, кстати, Юра (так зовут Георгия Петровича его близкие друзья. — В.Р.) это прекрасно осознает. Уходы от него раньше часто были связаны с его невероятно деспотичным характером. Я не говорю, что это недостаток, это черта, кажущаяся мне недостатком, — это то, чего нет во мне¹. Но к уходам он относился без надрыва, поскольку понимал: дело не в том, насколько ученики верно будут осуществлять его идеи, а в том, что пойдут своими путями, и выполнение этой роли может оказаться самодостаточным. Так что роль деспота, каким был Юра Щедровицкий, была вполне нормальной, и он никогда не жаловался на людей, "предавших" его. Это их дело, а он считал, что

¹ В отношении меня это звучало и так: «Пока Розин был в школе, он мыслил и работал плодотворно. Уйдя из школы, он занялся ерундой, перестал мыслить».

общение состоялось, что было пространство для удовлетворения духовной жажды, хотя сам он длил и длит свою тему» (*Мамардашвили М.К.* Начало всегда исторично, то есть случайно // *Вопр. методологии.* 1991. № 1. С. 52).

Но, думаю, дело не просто в деспотическом характере Щедровицкого, а прежде всего в жизненной доктрине, которую он исповедовал, в частности, в том, как он понимал Благо. Знаменитое, в ответ на иные, чем задано Г.П.Щедровицким, темы и способы, обсуждение: «А это здесь не обсуждается, это в другой комнате», апеллирование не к своей собственной истории, а к школе, постоянное воспроизводство семинаров, последователей — все это, вероятно, от соответствующего понимания Блага и отношения к людям. Характерна реакция на эту «неуемную активность» Юры Мераба Константиновича: «И я ему сказал: если ты хочешь, чтобы между нами сохранялись дружеские отношения, чтобы мы могли обмениваться какими-то мыслями, которые будут взаимно интересными, то не втягивай меня, не ожидай от меня какого-либо участия в какой-либо организованной деятельности. Я не могу маршировать ни в каком ряду, ни в первом, ни в последнем, ни посередине никакого батальона, и весь этот церемониал общей организованной деятельности абсолютно противоречит моей сути, радикально противоречит тому, как я осознаю себя философом. Не мое это дело. Я философ, никакой я не методолог... Я не переношу никакой дисциплины, и в том числе во спасение... Не надо искушать Бога, как и людей тоже не надо, нельзя искушать, не надо их специально ставить в ситуацию, чтобы посмотреть, что такое человек и как себя покажет, это грех — делать такие вещи» (*Мамардашвили М.К.* Начало всегда исторично, то есть случайно // *Вопр. методологии.* 1991. № 1. С. 47). Думаю, Юра понял, о каком грехе здесь говорит Мераб Константинович. Напротив, он постоянно ставил своих друзей и учеников «в ситуации», чтобы проверить, на что человек способен, постоянно экспериментировал с ними, иногда даже манипулировал людьми и мнением школы. Г.П.Щедровицкий считал, во всяком случае так следовало из его высказываний, что наша интеллигенция — мягкотелая, гнилая и беспринципная, что с ней «кашу не сварить», а дело можно делать лишь с бескомпромиссным коллективом организованных людей-последо-

вателей. Только вопрос в том, какое дело и какими средствами?

Гражданская позиция. Известно, что Георгий Петрович подписал письмо с протестом против дела Даниэля и Синявского и был за это исключен из партии; опубликовав затем статью в «Литературной газете», он вынужден был также уйти с работы. Кстати, один из немногих Щедровицкий после исключения вел себя мужественно, не каляся, а напротив, еще в те застойные годы требовал гласности. Но вопрос, почему он подписал письмо?

Отвечая на сходный вопрос ответственного секретаря журнала «Вопросы методологии» М.С.Хромченко: «Почему же вашу деятельность не пресекали?», Мераб Константинович ответил парадоксально. «И никто из нас, — сказал он, — не имел такого дела, ради которого можно было идти на смерть. Я говорю не о смерти как итоговой точке на лично достойной жизни, я говорю о другом — об участии в чужих войнах и о смерти за чужое дело. Не было у нас цели менять марксизм, или деформировать его, или придать "социализму человеческое лицо", воевать за это. Уж это мы осознавали, в отличие от многих, от большинства либеральной общественности вокруг нас, и в особенности той либеральной общественности, которая сложилась к началу 60-х годов. Мне их резвость, их проблемы казались полным бредом» (*Мамардашвили М.К.* Начало всегда исторично, то есть случайно // *Вопр. методологии.* 1991. № 1. С. 5). «Но, — говорит Мераб Константинович страницей выше, — то, что мы занимались и как занимались, было способом выражения и отстаивания самоценности жизни вопреки всяким внешним смыслам. Это было восстанием, во всяком случае я его так осознавал, и так мне кажется по сей день — восстанием против всех внешних смыслов и оправданий жизни. Философией жизни как внутренне неотчуждаемым достоинством личности, самого факта, что ты — живой, поскольку жизнь не есть нечто само собой разумеющееся, продолжающееся, а есть усилие воли» (*Мамардашвили М.К.* Начало всегда исторично, то есть случайно // *Вопр. методологии.* 1991. № 1. С. 49). Сходную мысль проводит и В.Буковский: «Я политикой не занимался и не занимаюсь... скорее, нравственное противоречие, внутренняя потребность души, не более.

О политике как таковой мы не думали» (Вечерняя Москва. 1991. 10 окт.).

Итак, нравственная позиция прежде всего. Поступок же Георгия Петровича, как мне кажется (хотя, естественно, я могу заблуждаться), определялся другими соображениями. Это был смелый, мужественный поступок, но определялся он скорее ненавистью к социалистическому и коммунистическому устройству общества (об этом отношении мне Юра однажды прямо сказал, когда мы шли по ул. Горького), а также соображениями «политики». Подобно тому, как Юра посоветовал мне вступить в 1966 г. в партию, чтобы, как он говорил «воспользоваться возможностью влиять на ход событий», он сам подписал письмо, считая возможным повлиять.

Тип личности. Мераб Константинович был философ экзистенциального толка, понимающий свою жизнь как духовный путь, сознающий себя в лоне христианской культуры, продумывающий идеи Христа, Человека, Истины. Он постоянно работал над своим человеческим, духовным началом. Обсуждая творчество Марселя Пруста, Мераб Константинович писал: «Самое главное в тексте Пруста — наглядно виден путь человека. А "путь", по определению, если брать это слово с большой буквы, это путь, по которому человек выходит из какой-то темноты, из темноты своей жизни, из темноты впечатлений, из темноты существующих обычаев, из темноты существующего социального строя, из темноты существующей культуры, своего "Я", ее носителя, и должен пойти куда-то, куда светит указующая стрелка его уникального личного опыта... И вся жизнь в каком-то смысле состоит в том, способен ли человек раскрутить до конца то, что с ним на самом деле случилось, что он на самом деле испытывает и что за история вырастает из его предназначения» (Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М., 1990. С. 155, 156).

Напротив, Георгий Петрович — рационалист до мозга костей, человек, отрицающий духовный и трансцендентальный опыт, чуждый идей христианской культуры и пути. Возможно, поэтому он так держится за школу, полностью отождествил себя с методологией, не раз подчеркивал свое значение и значимость для истории. Когда к концу 60-х годов теория деятельности была построена и основной состав участников «Московского логического кружка» ушел, Георгий Петрович оказался

перед выбором. Или выйти из «подполья», стать философом открытой культуры, войти в традиционную философию, или продолжать культивировать эзотерическую методологию, но уже с другими людьми. И он выбрал второй путь, стал еще энергичнее вносить порядок в мышление других людей, строить замкнутый микрокосм методологии, которая с этого момента стала ассоциироваться только с его именем и идеями. И при этом окончательно возобладали именно те тенденции развития его личности, о которых мы говорили выше. Вся эта титаническая работа по переделке мышления других людей и строительству методологического храма (сначала в виде семинаров, затем организации и проведения многочисленных ОДИ) требовала от Щедровицкого и титанических усилий, энергии. Георгий Петрович жил и работал на износ, не получая, по сути, никакой энергии извне, от своих друзей и учеников. Ведь организация, семинар, ОДИ — это не духовная общность, в них нет любви, нет бескорыстной отдачи, зато царит дух соревнования, борьбы, смелых экспериментов над другими людьми. В такой атмосфере только берут, но известен христианский принцип — чем больше берешь от других, тем меньше получаешь, чем больше отдаешь, тем больше получишь. Может быть, поэтому, когда телесные силы Георгия Петровича оказались исчерпаны, а задачи и содержание работы были исчерпаны еще раньше, наступил кризис личности, осознаваемый как отсутствие сил и энергии, отсутствие смысла и содержания работы.

На этом мне хочется закончить размышления об истории «Московского логического кружка» и личности его создателя. По сути, это были размышления и о своей судьбе и пути, в них косвенно осмыслились те стороны моей личности, с которыми я внутренне не согласен, и те, которые мне хотелось бы культивировать, как отвечающие выбранному мною пути и духовности.

«Интеллектуальные торпедо».
Материалы научной конференции
памяти Г.П.Щедровицкого «Георгиевские чтения»
21—22 февраля 1995 г.; 1996

И.С.Ладенко

Г.П.ЩЕДРОВИЦКИЙ В РАЗВИТИИ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Георгия Петровича Щедровицкого я знал лично с марта 1954 года. Познакомился с ним после его блестящего выступления на Ученом совете философского факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. С тех пор мы активно сотрудничали в составе Московского логического кружка, основателем которого был А.А.Зиновьев. После окончания аспирантуры и защиты диссертации А.А.Зиновьевым руководство перешло к Г.П.Щедровицкому. Кружок просуществовал до 1958 г., и его участники впоследствии все стали известными отечественными философами, среди которых следует назвать М.К.Мамардашвили, Б.А.Грушина, В.Н.Садовского, В.С.Швырева, В.И.Столярова, Н.Г.Алексеева.

Много можно было бы рассказать о научной, педагогической, научно-организационной и просветительской деятельности всех членов этого кружка. Но сейчас следует напомнить всем о деятельности только одного из них — Г.П.Щедровицкого, который создал в 1962 г. методологический семинар по проблемам массовой деятельности, положивший начало методологическому движению в России и других республиках Советского Союза. Созданные им общая теория деятельности, методология систем мышления и оргдеятельности игр явились фундаментом для формирования и развития многочисленной школы, занимающей одно из ведущих мест в отечественной и зарубежной методологии. Хорошо известны его работы в области содержательно-генетической логики, философии и психологии рефлексии, педагогики, методологии проектирования. В январе 1993 г. в Москве состоялся методологический съезд, в котором принимали участие многочисленные ученики, сотрудники и другие представители методологической школы Г.П.Щедровицкого. На нем подводились итоги и намечались перспективы дальнейшего развития работ этого научного направления. Материалы съезда публикуются в журнале «Вопросы методологии».

Третьего февраля 1994 г. перестало биться сердце Георгия Петровича. Все его коллеги, ученики, друзья и

последователи глубоко переживают эту тяжелую утрату. Все они хорошо знают, что, хотя Г.П.Щедровицкий официально был всего лишь кандидатом философских наук, то, что он сделал, есть огромный и сейчас еще не вполне оцененный вклад в развитие российской философской, психологической и педагогической науки, а также в развитие отечественной культуры. Отмечая научный вклад Г.П.Щедровицкого, невозможно адекватно представить пути раскрытия его творческого таланта вне и помимо той непосредственной социальной среды, в которой он формировался и работал как ученый и гражданин. Не претендуя на исчерпывающее освещение этого вопроса, обратимся к основным моментам из истории развития и распространения главных элементов его теоретического наследия и организационной деятельности.

Состав и формы работы логического кружка

Московский логический кружок образовался в 1952 году и прекратил свое существование в 1958 году, просуществовав шесть лет. Его деятельность проходила в сложных общественных условиях, в которых чрезвычайно были ограничены возможности для самостоятельной активной работы философов, как и вообще всех представителей гуманитарных наук. Логика была той самой областью знания, в которой все же имелись значительные возможности для инициативной работы и самостоятельных суждений. Поэтому интерес к занятиям логикой среди части студентов и аспирантов философского факультета Московского государственного университета был вполне закономерным. К занятиям логикой обращались именно те из них, которые стремились к серьезной работе в противовес обсуждению и комментированию высказываний И.В.Сталина и других вождей, борьбе с ревизионизмом, догматизмом, буржуазной идеологией и другим подобным занятиям. Конечно, логика представляет собой довольно специфическую область знания, интерес к которой может возникать у немногих лиц. Поэтому состав логического кружка был немногочисленным. Но не это важно. Важно то, что его членами оказались

способные и честные молодые люди, стремящиеся к поискам научной истины.

Основателем и реальным руководителем кружка выступил аспирант философского факультета А.А.Зиновьев, впоследствии выдающийся отечественный логик. Официально кружок действовал в составе Научного студенческого общества на факультете, а его официальными руководителями были последовательно доценты кафедры логики Н.В.Воробьев, М.Н.Алексеев и Е.К.Войшвилло.

Однако официальные заседания кружка были только одной, к тому же не главной, формой его работы. Они были необходимы в качестве официальной структуры, защищавшей контакты и непрерывные совещания его участников от разнообразных подозрений со стороны должностных лиц в возможных незаконных или вредных занятиях. Следует подчеркнуть, что в действительности члены кружка не занимались никакой политической деятельностью и всецело обращали свое внимание на проблемы логики.

Фактически и несравненно более сложная, и более объемная работа велась членами кружка в процессе постоянных личных контактов, которые осуществлялись между двумя, тремя или большим количеством лиц. Проблемы обсуждались как при встречах, так и по телефону, что обеспечивало интенсивность мыслительной работы каждого и всего коллектива. В обсуждении логических вопросов не было никаких ограничений, звонить могли друг другу в любое время.

Логический кружок был в действительности инициативным объединением аспирантов и студентов философского факультета. Встречались они в коридорах факультета, во дворе университета, в библиотеке им. А.М.Горького, в Александровском саду у кремлевской стены, на квартирах у некоторых своих товарищей. Очень часто обсуждали логические проблемы, прогуливаясь по двое или по трое по улицам или на бульварах. Обсуждались вопросы предмета логики и структуры логического знания, вопросы логической структуры науки и логики научного исследования, истории науки в целом и истории различных конкретных наук. В этих обсуждениях выявлялись логические закономерности развития специально-научного и логического знания.

А.А.Зиновьев в 1951 году окончил философский факультет и поступил в аспирантуру. Его ближайшими коллегами по научным интересам были Б.А.Грушин, окончивший факультет и поступивший в аспирантуру в 1952 г., и Г.П.Щедровицкий, окончивший факультет в 1953 г. и затем занявшийся преподаванием логики и психологии в средней школе. Членами кружка были также М.К.Мамардашвили, окончивший факультет в 1955 г., Н.Г.Алексеев, В.С.Швырев и В.Н.Садовский, окончившие факультет в 1957 г., И.С.Ладенко, окончивший факультет в 1955 году. В дискуссиях и на заседаниях часто принимали участие и другие аспиранты и студенты факультета, но они не могут считаться членами кружка, так как не отличались постоянством интересов и непрерывностью контактов с перечисленными лицами. Их можно рассматривать как благожелательное окружение логического кружка. Кружок прекратил свою деятельность в силу ряда обстоятельств, о которых необходимо сказать. Официально его деятельность прекратилась в связи с тем, что его руководитель доцент Е.К.Войшвилло относился с принципиальным непониманием к той проблематике, к понятиям и методам исследований, которые выдвигались, обсуждались и отстаивались молодыми членами кружка. После обсуждения содержания работы кружка на партбюро факультета, состоявшемся в ноябре 1957 г. по заявлению его руководителя, официальные заседания кружка на факультете прекратились. Окончание факультета студентами и аспирантуры аспирантами существенно изменило жизнь всех этих лиц, которые разошлись по разным организациям Москвы и даже выехали в другие города, что чрезвычайно негативно сказалось на возможности личных контактов. Кроме того, после XX съезда КПСС в стране стала быстро и существенно меняться социальная ситуация и содержание философского образования, что повлияло на снижение интереса у студентов к такой абстрактной и требующей разносторонней подготовки области знания, какой была логика. Это также повлияло на приток в логический кружок новых молодых сил.

Но самой главной причиной прекращения деятельности логического кружка, пожалуй, явились принципиальные теоретические разногласия, которые первоначально возникли между А.А.Зиновьевым и его сторонниками

В.К.Финном и Д.А.Лахути, с одной стороны, и Г.П.Щедровицким и всеми остальными членами кружка — с другой. Это случилось в начале 1956 г., и в мае этого же года произошел окончательный разрыв между названными лицами. Впоследствии теоретические противоречия стали нарастать и между остальными членами кружка — среди группы Г.П.Щедровицкого. Справиться с возникшей ситуацией не удалось, и кружок прекратил свое существование. Однако он был мощным толчком для последующей научной и педагогической деятельности всех его членов.

Вполне понятно, что молодежь — студенты и аспиранты — хотели обращения к исследованиям, непосредственно ориентированным на нужды научного познания и педагогической практики. Такая ориентация имела явную социальную мотивацию — служить своей стране и своему народу. Она нашла выражение в стремлении членов логического кружка к эмпирическим исследованиям мышления и к развитию логики как эмпирической науки.

Методологические предпосылки исследований мышления в Московском логическом кружке

В этой связи пришлось обратиться к вопросу о том, каким образом мышление может изучаться в эмпирическом исследовании логиком. Никакой методологической концепции по данному вопросу не было выработано в предшествующей науке. Психологические воззрения и исследования мышления были неприемлемы, так как в этой науке мышление изучалось как проявление индивидуальных способностей человека, тогда как логика должна заниматься формами мысли, общезначимыми для различных индивидов. В этом контексте был принят постулат о том, что научное мышление фиксируется и репрезентируется в научных текстах. Отсюда следовало, что его исследование в логике должно вестись на основе анализа таких текстов. При этом встало **четыре** вопроса.

- 1) Как отбирать тексты для такого анализа? Какими качествами они должны обладать?

2) Каким образом вести такой анализ? Какими средствами при этом следует воспользоваться?

3) Что следует разыскивать в анализируемых текстах? Какова специфика объектов логического знания?

4) В какой форме следует представлять результаты логического исследования? Какие для этого должны быть использованы или созданы способы описания и обобщения? Дискуссии по перечисленным вопросам составили значительную часть коллективной работы членов логического кружка. Они были необходимы в связи с установками на создание новой логики, которая получила название «содержательной».

Особо следует подчеркнуть, что члены кружка стремились развивать логику как такую науку, которая будет максимально приближена к потребностям научного исследования в математике, физике, химии, истории, лингвистике и других специальных науках. Она должна давать такие результаты, которые могли бы выступать инструментами исследовательской работы в каждой из подобных наук. Поэтому научные тексты, репрезентирующие научное мышление, должны были выбираться так, чтобы в них был зафиксирован достаточно полно опыт исследователя или группы исследователей. Этим предопределялся подход, в соответствии с которым необходимо разыскать и использовать не один какой-то научный текст, а некоторый набор текстов, достаточный для адекватного представления и реконструкции реальной мыслительной деятельности исследователей. При решении этой проблемы нельзя было воспользоваться готовыми правилами, так как их просто не существовало. Поэтому приходилось буквально «ощупью», руководствуясь какими-то смутными соображениями, искать и контролировать подходящие примеры. И здесь с неизбежностью возникали многочисленные ситуации для взаимного непонимания, для превращения равновозможных путей изысканий в альтернативные, взаимно исключающие друг друга направления работы.

Все это нашло отражение в формировании основных этапов деятельности логического кружка.

Основные этапы в развитии идей логического кружка

В развитии самих идей Московского логического кружка явно выделяются три основных этапа.

1) Формулирование А.А.Зиновьевым представлений о приемах и способах мышления как основных объектах логики и о путях их исследования на основе анализа научных текстов (*Зиновьев А.А. Метод восхождения от абстрактного к конкретному в «Капитале» К.Маркса: Автореф. дис. ... канд. филос. наук. М.: Изд-во МГУ, 1954*).

2) Формирование Г.П.Щедровицким и Н.Г.Алексеевым представлений об операциональной структуре процессов мышления и о ее выделении и описании на основе изучения научных текстов (*Щедровицкий Г.П., Ладенко И.С. О некоторых принципах генетического исследования мышления // Тезисы докл. на I съезде общества психологов. Выпуск 1. М., 1959. С. 100—103*).

3) Формирование образца механизмов рефлексии и использование этого образца в исследовании сложных процессов мышления (*Ладенко И.С. Об отношении эквивалентности и его роли в некоторых процессах мышления // Докл. АПН СССР. М., 1958; Ладенко И.С. О процессах мышления, связанных с установлением отношения эквивалентности // Докл. АПН СССР. М., 1958. № 2.*) Каждый из этих этапов оказался в то же время выработкой особой исследовательской позиции, которая впоследствии разделялась соответствующей группой кружка, проводившей работу на ее основе. На этом следует остановиться более подробно.

Исследовательская деятельность членов логического кружка развивалась на почве отрицания преподававшейся в то время формальной логики как науки о познающем мышлении. А.А.Зиновьев обратил внимание на то, что и в политэкономических сочинениях К. Маркса, и в работах представителей классической политической экономии А.Смита и Д.Рикардо мы находим понятия, суждения и умозаключения, которые изучаются в формальной логике, но сама эта логика не располагает средствами для выявления и изучения того, чем отличаются эти сочинения (*Маркс К., Энгельс Ф. Капитал // Соч. 2-е изд. Т. 23; Рикардо Д. Начало политической экономии и налогового обложения // Соч. Т. 1. М.: Гос. изд-во*

полит. лит-ры, 1955; *Смит А.* Исследования о природе и причинах богатства народов. М.: Соцэкгиз, 1962). В то время как подобные различия именно составляют интерес для логики. Действительно, К.Маркс оказался в состоянии разрешить логические противоречия экономической науки, называвшиеся антиномиями, тогда как его предшественники были не в состоянии сделать это. На вопрос: «В чем заключалась причина такого положения дел?» — А.А.Зиновьев отвечал: «Мышление К.Маркса принципиально отличалось от мышления его предшественников использовавшимися им приемами и способами». Такие различия он демонстрировал многочисленными примерами из сочинений этих авторов. Именно поэтому приемы и способы мышления должны исследоваться логикой как наукой о познающем мышлении в противоположность формальной логике, которая разрабатывает правила, представляющие интерес только при изложении готовых научных результатов, полученных принципиально иными средствами. По мнению А.А.Зиновьева и его коллег, только такая логика, названная ими содержательной (в отличие от формальной), в состоянии вооружить современную науку необходимыми средствами. В разработке таких средств представители логического кружка усматривали свою социальную миссию и назначение отстаиваемой ими содержательной логики. Конкретные результаты в исследовании приемов и способов были представлены в кандидатских диссертациях А.А.Зиновьева (*Зиновьев А.А.* Метод восхождения от абстрактного к конкретному в «Капитале» К.Маркса: Автореф. дис. ... канд. филос. наук. М.: Изд-во МГУ, 1954), Б.А.Грушина (*Грушин Б.А.* Очерки логики исторического исследования. М., 1960), в дипломных работах В.А.Костеловского (1955), В.Н.Садовского (1956) и В.С.Швырева (1956), а также в последующих работах В.И.Столярова (*Столяров В.И.* Диалектика как логика и методология науки. М.: Политиздат, 1975).

Однако обсуждение результатов перечисленных работ привело к мысли о том, что приемы и способы мышления представляют сложные образования, которые должны быть, в свою очередь, описаны с помощью логических понятий, фиксирующих структуру и механизмы мышления на более детальном уровне. Г.П.Щедровицкий и Н.Г.Алексеев в конце 1954 г. ввели понятия процессов и операций мышления, представления об алфавите опе-

раций, из элементов которого возможно конструирование схем «нормальных процессов». Эти понятия и представления выступили основой и инструментарием для конкретных исследований, проводившихся самими авторами, а также И.С.Ладенко и В.А.Костеловским. Некоторая часть полученных результатов была представлена в дипломной работе И.С.Ладенко (1958), а также опубликована в его статьях (*Ладенко И.С. Об отношении эквивалентности и его роли в некоторых процессах мышления // Докл. АПН СССР. М., 1958; Ладенко И.С. О процессах мышления, связанных с установлением отношения эквивалентности // Докл. АПН СССР. М., 1958. № 2*).

Выявление и сравнительный анализ процессов и операций мышления привели к постановке вопроса о способе связей операций в составе процессов. В поисках ответа на этот вопрос И.С.Ладенко обратил внимание на отношение опосредования одних операций другими. Было обнаружено, что формы опосредования могут быть чрезвычайно разнообразными. Среди всех таких форм было выделено и детально проанализировано опосредствующее замещение. Одним из случаев последнего является эквивалентное опосредствующее замещение, подробно рассмотренное в курсовых и дипломных работах И.С.Ладенко и представленное в его двух статьях (*Ладенко И.С. Об отношении эквивалентности и его роли в некоторых процессах мышления // Докл. АПН СССР. М., 1958; Ладенко И.С. О процессах мышления, связанных с установлением отношения эквивалентности // Докл. АПН СССР. М., 1958. № 2*).

Здесь было обращено внимание на рефлексивные акты в мыслительной деятельности, в особенности на рефлексивное выделение новых познавательных задач. Именно в рефлексии были усмотрены возможности исследований механизмов развития мышления, основные идеи изучения которого были опубликованы впоследствии в совместной работе Г.П.Щедровицкого и И.С.Ладенко (*Щедровицкий Г.П., Ладенко И.С. О некоторых принципах генетического исследования мышления // Тезисы докл. на I съезде общества психологов. Выпуск 1. М., 1959. С. 100—103*). Обращение к изучению проблемы рефлексии произошло в 1956 году и знаменовало третий этап в развитии идей Московского логического кружка.

Основные этапы формирования понятий генетической логики

Общим для всех этапов деятельности кружка было то, что все его члены ориентировались на творческий поиск, проявляли личную активность, стремились к получению практически полезных результатов и осуществляли эмпирическое исследование мышления на основе особым образом проводимого анализа научных текстов. Отмеченные же различия в содержании перечисленных этапов следует рассмотреть более детально для уяснения того, как оформились различные направления работ и идейные расхождения между их представителями.

А.А.Зиновьев развивал свои идеи на основе исследований метода восхождения от абстрактного к конкретному, который был развит К.Марксом и применен им в «Капитале». Общее описание этого метода содержится в его работе «К критике политической экономии» (см. «Введение, раздел 4. Метод политической экономии»). Обращение А.А.Зиновьева именно к этому методу было не случайным: на почве обсуждения данного метода участники дискуссий о соотношении формальной и диалектической логик искали свои доводы в пользу выдвигавшихся ими общих утверждений. Вслед за В.И.Лениным, который считал, что логика «Капитала» является воплощением и демонстрацией диалектической логики, они надеялись обнаружить новые логические законы, которые составили бы содержание новой науки, именуемой диалектической логикой. Подобным образом и он, разделяя негативное отношение к формальной логике, стремился разыскать новые образования научного мышления, именуемые приемами и способами мышления.

Кроме того, исследование такого монументального научного сочинения, как «Капитал», могло дать далеко не тривиальные результаты, которые могли бы иметь серьезное практическое значение. Авторитет же автора этого сочинения составил бы отличную протекцию найденным приемам и способам в глазах научной общественности, представители которой должны были воспользоваться полученными результатами.

Получение подобных результатов мыслилось как извлечение исследуемого метода из исследовательского опыта, его описание и формализация выявленного содержания. Формализация должна была придать общий вид

полученному логическому знанию, что позволило бы применять полученные результаты в других случаях научного исследования.

Метод восхождения от абстрактного к конкретному представлял собой конкретный объект для логического исследования. Вместе с результатом его применения — теорией сложного развивающегося объекта — он был представлен в тексте «Капитала» — научного сочинения, которое рассматривалось всеми участниками дискуссии как логически безупречное. Не последнюю роль в выборе данного метода в качестве объекта исследования сыграло также и то, что данное сочинение являлось результатом работы как серьезного философа, так и выдающегося ученого, зачинателя нового этапа в развитии политической экономии.

Логика «Капитала» — это логический строй мысли, воплощенный в тексте данного сочинения. Именно она рассматривалась как объект логического исследования. Надо с ней разобраться, выявить ее составляющие, сформировать систему понятий, в которых они были бы зафиксированы. Тогда можно было бы иметь вполне конкретные предпосылки для решения вопроса о соотношении формальной и диалектической логик.

Вообще говоря, формальной логике было найдено соответствующее место. Она рассматривалась как инструментарий изложения готового знания, в отличие от логики диалектической, которая представляет собой инструментарий познающего мышления, инструментарий получения нового теоретического знания. Обосновывающее этот взгляд рассуждение имело следующий вид. В «Капитале» и в сочинениях А.Смита, Д.Рикардо, физиократов и других представителей политэкономической мысли в равной степени можно найти понятия, суждения и умозаключения, доказательства, разнообразную аргументацию, определения понятий и другие формы мысли, изучаемые в формальной логике. Но последняя не дает нам ничего, что их отличает, и не по содержанию, а именно с точки зрения логических особенностей. Такие различия связаны с методами, способами и приемами научного исследования, посредством которых в изучаемых объектах вычленяется содержание нового научного знания, отражаемое в соответствующей форме с помощью логических категорий. Все они являются объектами логического исследования, но принципиально иными по сравнению с

теми, которые изучаются формальной логикой. Подобное отличие пояснялось на примере противоречащих друг другу высказываний. Так, политэкономия до Маркса столкнулась с антиномиями, логически неразрешимыми противоречиями вида: «прибыль возникает в обращении» и «прибыль не возникает в обращении», «товары продаются по стоимости» и др. Исключающие друг друга высказывания должны были подчиняться формально-логическому закону противоречия, согласно которому противоречащие высказывания не могут быть одновременно истинными: хотя бы одно из них ложно. Но они подтверждались на примерах в равной мере, а потому данный логический закон оказывался неприменимым. Здесь была обнаружена ситуация, сходная с той, которая была обнаружена Брауэром в 1907 году в его статье «О недостоверности логических принципов», где он показал, что закон исключенного третьего не действует в случае рассуждений над объектами, являющимися элементами бесконечных множеств. Содержательная логика, в отличие от формальной, занимается методами, приемами и способами научного мышления.

Сами понятия метода, приема и способа мышления точно не определялись, а их содержание пояснялось на ряде приводимых примеров. В этом выражалось отношение к формальной логике: пока ведется исследование, нет условий для введения точных определений. Пояснение же на примерах представляло собой допускаемый формальной логикой прием, заменяющий определение и именуемый описанием.

Описанная научная позиция разделялась Б.А.Грушиным, который также проводил исследования методов, приемов и способов мышления. Однако его интересы не ограничивались анализом «Капитала» К.Маркса. Он привлекал многие научные сочинения различных авторов, стремясь путем их сопоставления и сравнения найти общие им приемы и способы. Это были сочинения из области исторических исследований, притом не только из истории общества, но также и из истории природных явлений. Б.А.Грушин, обращаясь к вопросу о соотношении исторического и логического, выходил за границы того, что было в «Капитале», и обсуждал этот вопрос для других случаев построения теоретического знания о сложных развивающихся объектах. На этой почве он ввел представления о структурно-исторических и историко-

структурных исследованиях, а также особенностях применяемых в них приемов и способов мышления. Результаты его изысканий были представлены в его кандидатской диссертации, защищенной в 1957 году, а затем опубликованы в книге «Очерки логики исторического исследования» (Грушин Б.А. Очерки логики исторического исследования. М., 1960). Б.А.Грушин усматривал возможность применения своих результатов и в биологии, и в геологии, и в астрономии, всюду, где осуществляются исследования проблем развития.

В то же самое время исследованиями приемов и способов мышления занимались Г.П.Щедровицкий и В.А.Костеловский. Они не ограничивались тем кругом наук и научных текстов, с которыми имели дело А.А.Зиновьев и Б.А.Грушин. Более того, они выходили за пределы проблематики наук, исследовавших развивающиеся объекты, обращали свои интересы к различным разделам физики, химии, языкознания, математики, географии. Такое расширение области эмпирического материала исследований было обусловлено, с одной стороны, стремлением к охвату новых областей научного знания, а с другой — поисками естественных возможностей получать общезначимые для разных областей логические результаты. При этом происходил достаточно интенсивный рост выявленных способов и приемов мышления, и исследователи оказались перед вопросом: до каких пор будет происходить такой рост? Нельзя ли минимизировать число разнообразных приемов и способов?

В этой связи было обращено внимание на то, что приемы входят в способы, притом одни и те же приемы оказываются составляющими разных способов. Была сформулирована гипотеза о том, что и приемы не являются простыми образованиями, а могут расчленяться на составляющие. При этом было постулировано, что из сравнительно небольшого числа элементарных образований могут конструироваться разнообразные сложные образования. Именно в этой связи были введены понятия процесса и операции мышления, алфавита операций и нормальных процессов. Авторами этих представлений явились Г.П.Щедровицкий и Н.Г.Алексеев. Перечисленные понятия были введены осенью 1954 года. Вероятно, на их формирование оказали большое влияние аналогичные явления, известные из химии, а также из теории алгорифмов А.А.Маркова (Марков А.А. Теория алгориф-

мов // Труды материалов Института. М., 1951). Изыскания на примерах различных научных текстов проводились теперь рядом членов кружка с помощью представлений об операциях и процессах мышления и были представлены в работах Г.П.Щедровицкого, Н.Г.Алексеева, В.А.Костеловского и И.С.Ладенко.

Причины прекращения существования логического кружка

В середине 1955 года А.А.Зиновьев и Б.А.Грушин оказались вне стен Московского государственного университета: первый после защиты кандидатской диссертации стал научным сотрудником Института философии АН СССР, а второй после окончания аспирантуры — сотрудником газеты «Комсомольская правда». Б.А.Грушин почти отошел от занятий логикой и стал заниматься социологией, в особенности исследованиями общественного мнения. А.А.Зиновьев занялся поисками средств для формализации своих содержательных результатов, которые были им получены в ходе исследований метода восхождения от абстрактного к конкретному. В этой связи он обратился к зарубежным логическим журналам и изучил значительное количество сочинений ведущих зарубежных логиков. В этом же направлении развивались интересы В.К.Финна и Д.А.Лахути. А.А.Зиновьев заявил, что его исследования, результаты которых были оформлены в виде кандидатской диссертации, являются принципиально глубоким заблуждением. В кружке назрел раскол, который оформился в мае 1956 года. М.К.Мамардашвили, занимавшийся главным образом историко-философской проблематикой, тоже оказался в стороне от оставшихся в кружке коллег.

С осени 1954 года, когда были введены представления о процессах и операциях мышления, роль лидера кружка довольно быстро перешла к Г.П.Щедровицкому, который возглавлял и организовывал работы по исследованию научного мышления с помощью этих понятий. Под его руководством работали В.А.Костеловский, Н.Г.Алексеев, И.С.Ладенко и Б.В.Сазонов. В.Н.Садовский и В.С.Швырев после окончания философского факультета стали сотрудниками Института философии АН СССР, включились в новые для них коллективы и

стали заниматься другой проблематикой, в основном историко-философского содержания. В.И.Столяров и П.К.Гелозония работали в русле исследований А.А.Зиновьева и Б.А.Грушина, а потому также постепенно отошли от той проблематики, которую разрабатывала группа под руководством Г.П.Щедровицкого.

Г.П.Щедровицкий оказался исключительно талантливым руководителем коллектива, обладающим исключительной целеустремленностью, силой воли и изумительными организаторскими способностями. Кроме того, он был более образован не только в области философии и логики, но и по ряду специальных наук — физике, химии, математике, географии, политэкономии, а также по истории науки и техники. Все это позволяло ему организовывать самоотверженную работу всех его коллег, которые не считались со временем и другими обстоятельствами и выполняли большой объем научной работы. С его стороны все члены группы получали разнообразные консультации, моральную, а нередко и материальную поддержку. Поэтому здесь развивались не только научные, но и высоконаучные качества каждого члена кружка.

Особенно драматичной оказалась ситуация, сложившаяся в связи с исследованиями рефлексивных процессов и связанных с ними научных знаний. На этом следует остановиться подробно, так как именно здесь произошел разрыв научных отношений Г.П.Щедровицкого и И.С.Ладенко. С этого момента их научные пути навсегда разошлись, вследствие чего сформировались два направления мысли, хотя и родственные, но все же достаточно различные с точки зрения содержания и оформления в понятийных системах. Следует отметить, что к середине 1958 года Б.В.Сазонов по состоянию здоровья ушел в академический отпуск, Н.Г.Алексеев серьезно болел и занимался преподаванием математики в школе, В.А.Костеловский испытывал значительные затруднения по работе и бытовым вопросам. Поэтому связи всех членов группы очень сильно ослабели. И.С.Ладенко после окончания факультета переехал по направлению МВО СССР на работу в г. Томск. Все это обусловило прекращение деятельности Московского логического кружка в середине 1958 года.

Распространение идей генетической логики в психологической и философской среде

Идеи генетической логики, сформировавшиеся в Московском логическом кружке, представляли собой достояние этого небольшого научного коллектива (*Грушин Б.А.* Очерки логики исторического исследования. М., 1960). Их дальнейшее развитие потребовало существенного расширения области конкретных примеров из более широкого круга наук и привлечения к исследовательской работе заинтересованных лиц, владеющих соответствующим фактическим материалом. Такое включение названных идей в более широкий круг специалистов и эмпирических примеров можно назвать их социализацией. Следует особо рассмотреть, как оформился процесс социализации идей генетической логики, в котором осуществлялось их развитие и обоснование.

Комиссия по психологии мышления и логике при Московском отделении общества психологов. С начала 1957 года в Институте общей и педагогической психологии АПН РСФСР стала работать комиссия по психологии мышления и логике под руководством члена-корр. АПН РСФСР П.А.Шеварева. Ее заседания проходили в конференц-зале института по четвергам, в ее работе активное участие принимали В.В.Давыдов, Г.П.Щедровицкий, В.П.Зинченко, А.В.Брушлинский, А.М.Матюшкин, В.А.Костеловский, В.Н.Садовский, А.Н.Алексеев, В.С.Швырев, Я.А.Пономарев и другие психологи и философы.

Зачинателями деятельности комиссии и фактически руководителями психологического и логического направлений работы являлись соответственно В.В.Давыдов и Г.П.Щедровицкий.

П.А.Шеварев был исключительно образованным, высокоинтеллектуальным человеком, что позволяло ему в равной мере поддерживать и психологов, и логиков, да и не только поддерживать, но и устанавливать между ними взаимопонимание и сотрудничество. Достаточно упомянуть, что он в подлинниках читал работы Аристотеля, многих психологов и философов XIX и XX столетий, что делало его как бы «живой энциклопедией» для всех членов комиссии и ученым с необычайно весомым личным авторитетом.

Благодаря деятельности данной комиссии началась социализация идей и результатов генетической логики, их распространение в среду психологов. Правда, все лица, работавшие в этой комиссии, знали друг друга еще со студенческих лет, так как психологи обучались на психологическом отделении философского факультета, и такое знакомство создавало хороший климат для общения. Но содержание подготовки и опыт практической работы у психологов и логиков были достаточно разными, и требовались значительные усилия и терпение для того, чтобы дискуссия велась корректно и приводила к взаимопониманию. В решении проблем творческого общения трудно переоценить роль П.А.Шеварева. Работа комиссии продолжалась и в 60-е годы, что играло важную роль в деле взаимного проникновения идей логики и психологии в соответствующие исследования и публикации.

Первый съезд Всесоюзного общества психологов. Этот съезд состоялся в начале июля 1959 года в Москве. Он также выступил в качестве особой формы для решения проблемы социализации генетической логики. Здесь следует обратить внимание на три основных компонента в решении данной проблемы.

- Публикация в материалах съезда совместной работы Г.П.Щедровицкого и И.С.Ладенко «О некоторых принципах генетического исследования мышления» (*Грабарев Ю.И., Михайлов А.А., Ладенко И.С. Об информационном анализе процессов измерения // Материалы научной конференции кафедры общ. наук г. Омска. Омск, 1969. С. 297–302*), в которой был в обобщенном виде представлен механизм рефлексивного выделения новой познавательной задачи и образования на этой почве нового знания. С докладом по этой работе на съезде выступил Г.П.Щедровицкий, что позволило ему в большой аудитории заинтересованных специалистов провести дискуссию по вопросам содержательно-генетической логики и ее значению для психологии мышления.

- При подготовке к съезду Г.П.Щедровицкий осуществил значительную работу с психологами, обсуждая содержание опубликованной работы и своего доклада. Это позволило ему сформировать подготовленную часть аудитории на самом съезде, которая была способна к благожелательному восприятию доклада и дружескому учас-

тию в дискуссии на съезде. Таким путем было обеспечено более широкое восприятие идей генетической логики со стороны психологов из разных научных центров и учебных заведений.

● Члены комиссии по психологии мышления и логике выступали со своими докладами на съезде, в которых так или иначе относили свои мысли к содержанию доклада Г.П.Щедровицкого. То же самое имело место и со стороны других психологов, с которыми он общался до съезда и в кулуарах. Таким путем идеи генетической логики оказались как бы вписанными естественным образом в ткань реального психологического знания и в опыт психологических исследований мышления.

Всесоюзные конференции по логике и методологии науки. Особое место в социализации генетической логики занимают первые конференции по логике и методологии науки, на которых осуществлялась консолидация различных идейных течений этой области знания в нашей стране, где генетическая логика заявила о себе как о самостоятельном научном явлении. Представители ее выступали на единой идейной платформе, что отличало их от всех остальных участников этих форумов.

Первая из названных конференций состоялась в Томске в мае 1960 года. Инициативу по ее подготовке и проведению проявили Г.П.Щедровицкий и В.Н.Садовский. В силу ряда обстоятельств проведение подобной конференции в Москве было в то время просто невозможным. В Томском политехническом институте работали И.С.Ладенко, В.А.Смирнов, Е.Д.Смирнова и Е.Д.Клементьев, выпускники философского факультета МГУ, распространившие идею о конференции среди томских преподавателей философии, аспирантов и представителей других наук, с которыми приходилось общаться на философских семинарах кафедр и факультетов.

Главная роль в идейной подготовке данной конференции принадлежала В.А.Смирнову, который сам серьезно работал в области логики, хотя и не входил в число членов логического кружка. Он сумел убедить преподавателей кафедры философии Томского государственного университета в необходимости подобной конференции, в том числе и заведующего этой кафедрой — профессора К.П.Ярошевского. Последний добился от

местных партийных органов разрешения на подготовку и проведение логической конференции, подключил свою кафедру и университет к организационной работе, сформировал оргкомитет конференции. В.А.Смирнов осуществлял связь между томскими и московскими философами в процессе подготовки конференции, составления ее программы и приглашения иногородних участников.

Томская научная и педагогическая общественность была подготовлена к работе в конференции по логике и методологии науки, поскольку во всех научных и учебных институтах действовали многочисленные философские семинары в качестве ячеек сети политического просвещения. Участники таких семинаров, с одной стороны, понимали место и роль философии в своих профессиональных делах, а с другой — испытывали явную неудовлетворенность содержанием занятий на своих семинарах. Подготовка и проведение логической конференции вызвали у них значительный интерес. Известную роль в формировании этого интереса сыграли городская философская конференция, состоявшаяся в мае 1959 года, и конференция преподавателей кафедр общественных наук Томского политехнического института в апреле того же года, в которой принимали участие многие преподаватели и научные работники из других организаций.

В работе конференции участвовали философы и представители специальных наук, искавшие новые возможности для своей профессиональной деятельности. Среди философов были П.В.Копнин (Киев), И.С.Нарский (Москва), Д.П.Горский (Москва), И.И.Матвеевков и М.А.Розов (Новосибирск), бывшие участники Московского логического кружка: А.А.Зиновьев, Б.А.Грушин, Г.П.Щедровицкий, В.Н.Садовский, В.С.Швырев. В томскую группу участников конференции входили К.П.Ярошевский, В.А.Смирнов, Е.Д.Смирнова, Е.Д.Клементьев, И.С.Ладенко, А.Н.Книгин, Ф.А.Селиванов, А.И.Уваров и др. Все они составляли основную часть докладчиков и участников дискуссий на заседаниях и в кулуарах.

Любопытно отметить, что Томская конференция по логике и методологии науки была первой не только в СССР. В известном отношении она предвосхитила первый Международный конгресс по логике, методологии и философии науки, который состоялся осенью того же

года в Калифорнии (США). Немногочисленное в то время сообщество отечественных логиков вполне осознавало значимость и необходимость проведения научных конференций как важнейшей формы коллективной работы, и представителям генетической логики следует отдать должное в практическом воплощении этого принципиального подхода к своей научной деятельности.

Дискуссии, состоявшиеся на конференции, отличались исключительной принципиальностью, бескомпромиссностью и остротой. Вместе с тем, они проходили в духе неизменной доброжелательности и порядочности, без попыток «наклеивания ярлыков», что имело место на различных совещаниях в недалеком прошлом.

В ходе дискуссий отчетливо проявилось то обстоятельство, что члены Московского логического кружка, хотя и перестали взаимодействовать в составе единого научного коллектива, отличаются большой интеллектуальной активностью, способностью к формированию своих собственных представлений о мышлении, соотносят эти представления с богатой областью фактов из истории и современных достижений различных наук. Ими были предложены к обсуждению разнообразные модели мышления на основе комплекса идей генетической логики. Другие участники конференции с большей или меньшей степенью самостоятельности развивали или комментировали известные представления из сочинений К.Маркса, Ф.Энгельса, В.И.Ленина о мышлении и познании. Во многих случаях они включали в свои рассуждения идеи и примеры из сочинений видных ученых из различных специальных наук. В какой-то мере обсуждались также и теоретические представления видных зарубежных логиков, работавших в традиции логического позитивизма.

Отмеченные различия в содержании докладов и дискуссий интерпретировались всеми как проявление особенностей представленных на конференции научных направлений, которые должны творчески взаимодействовать. Вместе с тем, среди бывших членов логического кружка обнаружилось не только идейные противоречия, но даже непримиримые отношения к идеям своих когда-то единомышленников. Так, например, текст доклада И.С.Ладенко не попал в сборник статей по итогам конференции из-за отрицательного отношения к нему Г.П.Щедровицкого (*Грбареv Ю.И., Ладенко И.С. К*

проблеме системного исследования науки // Системные исследования. Ежегодник, 1971. М., 1972. С. 171—179). Но такие противоречия не были препятствием для дальнейших научных взаимодействий, как показали последующие события. В целом развитие и социализация идей генетической логики осуществлялись в соответствии с практикой и традицией науки в самом интеллигентном виде. Это важнейшее достоинство всех участников Томской конференции.

В январе 1961 года в Москве состоялась Всесоюзная конференция «Диалектический материализм и неопозитивизм», «идейным руководителем» и председателем оргкомитета которой был известный отечественный философ Т.И.Ойзерман. Ее организаторами выступили Институт философии АН СССР и философский факультет Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова.

Щедровицкий приложил все свои усилия, чтобы организовать хотя бы часть бывших членов логического кружка. Благодаря переговорам с председателем оргкомитета такая возможность стала вполне реальной. Бывшие представители логического кружка подготовили и опубликовали пять докладов Г.П.Щедровицкий выступил по проблеме взаимоотношения формальной логики и неопозитивистской «логики наук» (Диалектический материализм и современный неопозитивизм. Тезисы докладов. М., 1961. С. 101—108). Доклад В.Н.Садовского был посвящен вопросам кризиса неопозитивистской «логики наук» и современной зарубежной логике (Диалектический материализм и современный неопозитивизм. Тезисы докладов. М., 1961. С. 109—115), в докладе В.С.Швырева неопозитивистским воззрениям противопоставлялась концепция содержательно-генетической логики (Диалектический материализм и современный неопозитивизм. Тезисы докладов. М., 1961. С. 94—100). Б.В.Сазонов посвятил свой доклад основам критического анализа неопозитивистских представлений научного знания (Диалектический материализм и современный неопозитивизм. Тезисы докладов. М., 1961. С. 129—134). В докладе И.С.Ладенко выявились отношения между неопозитивистским представлением о математическом знании и предшествовавшими ему логическими идеями (Диалектический материализм и современный неопозитивизм. Тезисы докладов. М., 1961. С. 116—124).

Группа представителей генетической логики преследовала две взаимосвязанные цели:

1) продемонстрировать принципиально новые возможности генетической логики в связи с критикой одного из наиболее представительных логических зарубежных направлений;

2) провести пропаганду идей генетической логики в связи с возможным расширением ее сторонников. Каждый доклад был призван служить достижению этих целей на своей собственной проблематике.

По всем докладам сторонников генетической логики состоялась острая дискуссия, в которой оппонентами были представители диалектической, традиционной формальной и математической логики. Среди них особенно резко выступали с критикой В.А.Смирнов и Е.К.Войшвилло. Центром такой критики было содержание доклада Г.П.Щедровицкого.

Важно подчеркнуть, что именно острота критики способствовала как привлечению внимания всех участников конференции к докладам группы генетической логики, так и выявлению новых возможностей для развития идей этого научного направления. Таким образом, эта конференция сыграла заметную роль в судьбе данного научного направления.

В мае 1962 года в Киеве состоялась вторая конференция по проблемам логики и методологии науки, организаторами которой выступили Институт философии АН УССР и философский факультет Киевского государственного университета им. Т.Г.Шевченко. Идейным руководителем и председателем оргкомитета этой конференции являлся П.В.Копнин, бывший в то время директором ИФ АН УССР. В работе конференции приняли участие логики и философы Киева и других городов Украины, Москвы, Ленинграда, Томска и Новосибирска.

Среди участников конференции группа генетической логики была представлена Г.П.Щедровицким, В.Н.Салдовским, В.С.Швыревым, И.С.Ладенко. Кроме того, в нее входили новые сторонники этого направления — В.М.Розин, А.А.Маскаева. Были опубликованы лишь краткие тезисы выступлений некоторых участников.

И на этой конференции Г.П.Щедровицкий выступил принципиальным критиком идей формальной логики,

пропагандистом генетической логики. Остальные члены группы оказывались в роли своего рода его ассистентов, демонстрируя общие идеи на своих конкретных проблемах и примерах. В.Ф.Асмус, оценивая страстность выступлений Г.П.Щедровицкого, назвал его «пламенным мессией». Многие участники этой конференции в ходе ее работы проявляли значительную заинтересованность к идеям генетической логики, к их авторам и разработчикам.

Работа по социализации идей генетической логики проводилась не только Г.П.Щедровицким и другими ее зачинателями на конференциях. Много делалось ими в процессе преподавания различных философских курсов, консультирования научных работников, преподавателей и аспирантов различных учебных заведений, а также в попытках организовать свои собственные кружки и семинары. Одним из удачных примеров является опыт Г.П.Щедровицкого.

В 1960—1961 учебном году Г.П.Щедровицкий организовал в Московском городском педагогическом институте им. Потемкина студенческий кружок по истории математики, в котором стали работать В.М.Розин, А.А.Маскаева и другие студенты. Кружок действовал и в следующем учебном году. Его члены под руководством Г.П.Щедровицкого на материале истории математики осваивали наработанные идеи, понятия и другие средства генетической логики. Это позволило некоторым из них участвовать в Киевской конференции и в других последующих научных форумах по логике и методологии науки.

В работе данного кружка принимали участие некоторые из членов бывшего логического кружка, среди которых были В.А.Костеловский и И.С.Ладенко. В кружке также работал В.А.Лефевр. Новые сторонники генетической логики входили в идейные контакты с ее зачинателями, а потому получили возможность эффективно осваивать имеющиеся результаты и идти дальше.

Вероятно, не будет преувеличением сказать, что в кружке лейтмотивом всей работы были изыскания по решению проблемы реконструкции истории науки, в особенности истории математики, на основе известных конкретных примеров, описанных в историко-научных сочинениях. Была осмыслена установка на преодоление «ползучего эмпиризма» и модернизации истории матема-

тики. Ее основное содержание было оформлено в связи с развитием теории мышления. Но она имела значение также и для самой историко-математической исследовательской работы.

Московский методологический семинар по проблемам массовой деятельности

Особое место среди организационных форм социализации генетической логики принадлежит семинару по методологическим проблемам массовой деятельности. Этот семинар был организован Г.П.Щедровицким, а первое его заседание состоялось в сентябре 1962 года. Семинар работал еженедельно по вторникам в течение 1962—1963 и следующего учебного года в одной из аудиторий того здания Московского государственного университета на Моховой, где помещался ректорат.

Настоящий семинар был основан в качестве одного из семинаров философской секции НС АН СССР по комплексной проблеме «Кибернетика». Председатель этого совета академик А.И.Берг отличался широким научным кругозором и большой заинтересованностью в развитии всевозможных направлений мысли, связанных так или иначе с кибернетической проблематикой. Естественно, что в числе последних оказались и некоторые философские изыскания. На их основе в структуре совета была создана философская секция под руководством А.Г.Спиркина. При непосредственной поддержке последнего был учрежден и данный методологический семинар. Первоначальный философско-кибернетический статус привлек к работе семинара значительное число специалистов из разных областей, чьи интересы были связаны с междисциплинарной методологической проблематикой.

Фактическим руководителем и идейным вдохновителем семинара выступал Г.П.Щедровицкий, который осуществлял программирование как тематики, так и хода дискуссий. Со стороны представителей секции совета были претензии на свою ведущую роль в организации работы, определении тематики докладов и направлении дискуссий по «размытому руслу» разнообразных вопросов, не ограничивающихся идеями и принципами генетической логики. Но Г.П.Щедровицкий занял бескомпро-

миссную позицию, в силу чего представители философской секции совета прекратили свое участие в работе семинара, выступив на одном из первых заседаний с декларацией протеста. Поэтому в дальнейшем деятельность семинара развивалась на единой идейной основе, проводником которой являлся его руководитель.

Семинар по методологии массовой деятельности отличался прежде всего тем, что в его наименовании было использовано слово «методология», тогда как обычно в названиях семинаров с философской проблематикой использовались слова «философия» или «философские вопросы». Другой особенностью было то, что этот семинар являлся независимой организационной формой, тогда как другие философские семинары действовали в разных учреждениях в качестве ячеек массовой сети политпросвещения. Третья его особенность состояла в том, что его участники были сотрудниками из самых различных научных организаций и учебных заведений, совершенно не были связаны организационно и административно, могли в любое время включиться в работу или же прекратить свое участие. Все это предопределило свободу дискуссий, контакты разных специалистов только на почве содержания своих научных интересов, единую основу в качестве методологической проблематики и независимость от официальной традиции по «развитию гениальных идей классиков марксизма-ленинизма» и «единственно правильных решений коммунистической партии». Впоследствии все семинары, в названиях которых использовались слова «методология», «методологические вопросы» наследовали, как правило, отмеченные особенности данного семинара как своего рода эталона.

Следует особо подчеркнуть, что семинар по методологии массовой деятельности оказался прямым преемником научной традиции Московского логического кружка, в котором были осуществлены как организационная свобода его членов, так и научная объективность тематики и дискуссий, максимально независимых от конъюнктуры текущей политики и идеологической обязаловки (*Грушин Б.А. Очерки логики исторического исследования. М., 1960*). Поэтому семинар явился как бы связующим звеном между логическим кружком и научным духом методологических семинаров, образовавшихся первоначально в Москве, а затем и в других научных центрах стра-

ны. В этом состоит важнейшая социокультурная роль данного семинара.

По существу, семинар по методологии массовой деятельности оказался истоком того явления, которое теперь получило наименование «методологического движения в СССР» (Зиновьев А.А. Метод восхождения от абстрактного к конкретному в «Капитале» К.Маркса: Автореф. дис. ... канд. филос. наук. М.: Изд-во МГУ, 1954).

Необходимо сделать ряд уточнений по поводу современных употреблений словосочетания «методологический кружок», употребляемого Г.П.Щедровицким, Н.Г.Алексеевым и рядом других идеологов методологического движения. Они утверждают, что такой кружок возник в Московском университете в 50-е годы на философском факультете, существовал в последующие годы, существует и в настоящее время. Такой взгляд явно некорректен. Прежде всего потому, что всякий кружок представляет собой действующую организационную форму на каком-то временном интервале. Прекращение взаимодействий между лицами, входящими в кружок, означает прекращение его деятельности. Тот самый кружок, который был в 50-е годы на философском факультете, прекратил свое существование в 1958 году. Кроме того, он был логическим, как это признавалось всеми его членами, а слово «методология» вообще не было употребительным в то время.

Методологический кружок сформировался позднее, именно тогда, когда стали исследоваться и обсуждаться вопросы общей теории деятельности, трактуемой в качестве той области знания, в которой решаются задачи разнообразных применений и обоснований идей, основных понятий и конкретных результатов генетической логики.

Такие обсуждения и дискуссии начались с осени 1961 года. Они проходили на заседаниях семинара, работавшего еженедельно по понедельникам на квартире Г.П.Щедровицкого, и на заседаниях Комиссии по психологии мышления и логике, которые проходили по четвергам в Институте общей и педагогической психологии АПН РСФСР. В этой работе принимали участие философы, психологи, представители других областей знания. Значительная часть участников домашнего семинара Г.П.Щедровицкого и участников заседаний комиссии составляла общее ядро, которое фактически и образовало методологический кружок на первом этапе его существо-

вания. Из Московского логического кружка в него вошли Г.П.Щедровицкий, Н.Г.Алексеев, В.А.Костеловский, Б.В.Сазонов и И.С.Ладенко. Но это не дает основания утверждать, что сохранился тот самый кружок. И здесь надо принимать во внимание не только временной разрыв в три года, но также и совершенно новое содержание исследуемой и обсуждаемой проблематики. Кроме того, нельзя игнорировать и новый состав этого формального научного коллектива.

Здесь следует остановиться на научной предыстории формирования проблематики методологического кружка. Она охватывает период с конца 1958 до середины 1961 года. Эта предыстория отражена отчасти в неопубликованной переписке Г.П.Щедровицкого и И.С.Ладенко, где обсуждались вопросы теории деятельности, анализировалось понятие деятельности, предпринимались попытки представить структуру деятельности с помощью наглядных моделей. Там же обсуждались причины и основания выхода или расширения научной проблематики за пределы генетической логики.

Диалог между Г.П.Щедровицким и И.С.Ладенко по перечисленным вопросам стал более эффективным на заседаниях методологического кружка, в работе которого последний непосредственно участвовал, будучи аспирантом кафедры логики философского факультета Московского государственного университета в 1961 — 1964 годах. В проходивших обсуждениях активно участвовали также другие члены кружка, усилиями которых была существенно детализирована первоначальная проблематика, что способствовало оформлению собственного предмета общей теории деятельности. Воспроизведем положения упомянутой переписки, анализом которых началась разработка оснований этой теории.

Применение некоторой операции к данному объекту при получении результата, определяемого содержанием решаемой задачи, обусловлено подведением этого объекта под то или иное понятие. Поэтому один и тот же объект может быть исходным данным для получения разных результатов, а значит, для применения соответствующих операций. Таким путем представляется общая структура, в которую включаются разные альтернативные возможности в осуществлении мыслительных операций. Выбор одной из возможностей происходит посредством операции подведения под понятие, которое пред-

ставляет собой особый случай рефлексии. Но и при образовании понятия также осуществляется рефлексия, ее порождающая форма, превращающаяся затем в снятую форму в виде подведения под понятие.

Каждый случай, где объединены подведение под понятие и операция по получению результата, представим с помощью наглядной модели в виде пятиугольника, в углах которого представляются обозначения, символизирующие объект как исходное данное, результат, задачу, понятие и операцию (или ее правило). Взяв некоторую систему понятий и отобразив отношения между ними, мы получим образ для системы соответствующих операций.

Однако система понятий может организовываться различными способами. Для генетической логики особый интерес представляет организация такой системы с помощью механизмов рефлексии. И таким путем, изучая подобную организацию, мы можем построить иерархическую систему, содержащую некоторое число уровней. В качестве последнего нижележащего уровня может выступать не мыслительная, а практическая деятельность. Тогда для интеграции всех возможных деятельностей, над которыми осуществляется рефлексия, нам надо иметь тот самый комплекс понятий, которые входят в общую теорию деятельности.

В этом случае встает вопрос о том, как представлять альтернативные единицы в модели. И.С.Ладенко предложил использовать тот же самый пятиугольник.

Недостаточность такого понимания и представления в модели была почти очевидной. Однако необходимо было осуществить детальную критику, с тем чтобы понять, что должно быть добавлено или что должно быть предложено взамен пятиугольной схемы. Но эта задача так и не была решена ни в переписке, ни в непосредственно ближайшее время. Изложенный результат обсуждений в переписке стал исходным материалом для анализа проблем общей теории деятельности в методологическом кружке. При этом наметились две существенно отличные друг от друга линии исследований, которые оформились затем в ряде публикаций. Результаты одной составляют комплекс идей общей теории деятельности и изложены в работе Г.П.Щедровицкого в 1964 году (*Ладенко И.С. Об отношении эквивалентности и его роли в некоторых процессах мышления // Докл. АПН СССР. М., 1958*). Результаты второй были оформлены в виде концепции со-

ционики и опубликованы в работах И.С.Ладенко, Ю.Ю.Грабарева и А.А.Михайлова (*Ладенко И.С. О процессах мышления, связанных с установлением отношения эквивалентности // Докл. АПН СССР. М., 1958. № 2; Ладенко И.С. Становление и развитие идей генетической логики // Вопросы методологии. 1991. № 3. С. 7–12*). Эти публикации наглядно иллюстрируют различие интересов их авторов в рассматриваемый обозначенный период. Отмеченное различие интересов привело к тому, что 3 июня 1963 года на заседании методологического кружка на квартире Г.П.Щедровицкого последний заявил о невозможности продолжать совместные научные обсуждения с И.С.Ладенко. После такого категорического заявления И.С.Ладенко вышел из методологического кружка и стал вести свою работу независимо, поддерживая научные контакты с В.А.Костеловским, Н.Г.Алексеевым, Б.В.Сазоновым, В.М.Розовым и В.А.Лефевром. Методологический кружок под руководством Г.П.Щедровицкого продолжал вести исследования по вопросам общей теории деятельности. Здесь были получены свои интересные результаты, которые затем широко обсуждались на семинаре по методологическим проблемам массовой деятельности, в котором принимали участие представители различных специальностей из московских научных и проектных институтов, высших учебных заведений и других организаций. Их привлечению в значительной степени способствовало то, что Г.П.Щедровицкий имел устойчивые научные контакты с филологами, физиками, психологами, архитекторами и неоднократно выступал на научных семинарах в различных организациях. Состав участников семинара отличался значительной динамикой и постоянно обновлялся. Однако имелась и устойчивая часть, образующая его ядро, с постоянным профессиональным составом и устойчивым кругом научных интересов. Здесь были некоторые члены бывшего логического кружка, комиссии по психологии мышления и логике, кружка по истории математики, участники семинара на дому Г.П.Щедровицкого.

И.С.Ладенко сосредоточил свои интересы на логической проблематике. Основной его интерес был связан с выяснением путей развития, применения и роли систем логических понятий. Здесь особенно исследовались системы понятий формальной и генетической логик. В итоге стало ясно, что те и другие предназначаются в качестве

специфического инструментария для построения сложных систем знания и мыслительной деятельности. В основе одних из них лежит логическое исследование, изучаемое формальной логикой, в основе других — механизмы рефлексии, изучаемые генетической логикой. В этом состоит существенная разница изучавшихся систем понятий. Что касается символических средств, то они, по мнению И.С.Ладенко, с некоторыми модификациями могут использоваться для формализации каждой из названных систем логических понятий. Основные положения этого периода исследований были опубликованы И.С.Ладенко в материалах двух конференций (*Ладенко И.С. Феномен методологического движения в СССР. Предисловие // Методологические концепции и школы в СССР (История, истоки и перспективы)*. Вып. 1. Новосибирск, 1992; *Ладенко И.С. О задачах и методах логического обоснования дедуктивных систем знания // Материалы научной конференции кафедр общественных наук г. Омска. Омск, 1965. С. 314—318*).

Последующая работа по социализации и развитию идей генетической логики шла чрезвычайно разными путями. Один из них связан с деятельностью Г.П.Щедровицкого, с его работами по проблемам общей теории деятельности, по методологии систем мыследеятельности и организационно-деятельностных игр. Результаты этих исследований и их практические применения описаны во многих публикациях этого научного направления, образующего особую методологическую школу.

Исследования И.С.Ладенко и его коллег оформились в другое научное направление, получившее название интеллектики, которое связывало свои интересы с проблематикой систем деятельности, в особенности интеллектуальных систем, деловых игр, интеллектуальных инноваций и интеллектуальной культуры специалистов, а также проблем рефлексии во всех обозначенных случаях (*Ладенко И.С. Проблемы логического анализа систем знания // Проблемы исследования систем и структур. Материалы конференции. М., 1965. С. 187—190*).

• • •

С момента знакомства и навсегда Г.П.Щедровицкого и меня связало единое стремление служить общему делу — разработке нового направления логики. Благодаря

нашему знакомству я включился в работу логического кружка НСО, который был основан еще в 1952 году А.А.Зиновьевым, стал общаться с членами кружка, чьи интересы были обращены к логической проблематике. После окончания университета я работал в Томском политехническом институте. Но в это время я и Г.П.Щедровицкий вели интенсивную переписку с обсуждением проблем логики и общей теории деятельности, встречались на конференциях в Москве и Томске, а также в летнее время в Москве. Осенью 1961 года я поступил в аспирантуру по кафедре логики и включился в работу методологического кружка и методологического семинара, которые были детищами моего друга. Но 3 июня 1963 года мы прекратили совместное научное обсуждение, так как выяснилось, что мы работаем в существенно разных концептуальных системах. С этого дня мы выступили в качестве представителей разных научных школ. Но друзьями оставались всегда.

С детства в семье, а затем в школе-интернате мои родственники, учителя и воспитатели развивали во мне такие качества личности, которые во многом я затем обнаружил в поведении Г.П.Щедровицкого. Именно это обусловило с моей стороны личную преданность нашей дружбе. Его приверженность к теоретическому анализу и обобщениям, непосредственный интерес к научному поиску, стремление к постановкам новых проблем и задач, безоговорочная преданность своему делу, бескомпромиссность в научной дискуссии, последовательность, честность, настойчивость, непримиримость к халтуре и подлости, высокая требовательность к себе и коллегам были для меня своего рода «зеркалом», глядя в которое я утверждался в себе. Не могу знать, кем и чем я выступал для Г.П.Щедровицкого, но с его стороны я всегда встречал почти полное понимание.

Г.П.Щедровицкий оставил после себя не только опубликованные труды, но — и это не менее важно — огромный научный архив с материалами методологического кружка, методологического семинара, комиссии по психологии мышления и логике, логического кружка, с материалами ряда научных конференций и многими другими документами. Публикация этих материалов — исключительно принципиальное дело. Он оставил после себя и большое наследие в форме профессиональной подготовки, умений и навыков своих учеников, сотрудников и

последователей, что составляет содержание его научной школы. Все это — выдающийся вклад в отечественную культуру и поэтому должно быть осмыслено и обеспечено соответствующей организационной поддержкой. Несомненно, наследие Г.П.Щедровицкого будет изучаться и комментироваться нашими науковедами, многое из его содержания будет и впредь использовано на практике.

«Интеллектуальные торпеды».
Материалы научной конференции
памяти Г.П.Щедровицкого
«Георгиевские чтения»
21—22 февр. 1995; 1996

Михаил Константинович Петров (1923—1987)

Специалист в области истории философии, культурологии и социологии науки. Разработал оригинальную концепцию культурного смысла науки. Работал в Ростовском государственном университете, а с 1969 г. до конца жизни инженером Северо-Кавказского научного центра высшей школы.

Соч.: Социология науки (в соавт.) Ростов-н/Д., 1968; Предмет и цели изучения истории философии // Вопросы философии. 1969. № 2; Самосознание и научное творчество. Ростов-н/Д., 1990; Язык, знак, культура. М., 1991; Социально-культурные основания развития современной науки. Ростов-н/Д., 1992; Искусство и наука. Пираты Эгейского моря и личность. М., 1995.

С.С.Неретина

О КОНЦЕПЦИИ КУЛЬТУРЫ М.К.ПЕТРОВА

«История — встреча людей в веках», — сказал Марк Блок. И если вдуматься, фраза эта — трагична. Она подразумевает не только, что в человеке есть сила, побуждающая его совершать прорывы в так называемые вечные времена, но и что жизнь не щадит человека, обрекая его на не-встречи в своем, и именно в своем времени.

Одним из тех, чье имя пытались стереть из памяти современников, был философ, историк и теоретик науки, культуролог Михаил Константинович Петров (08.04.1924 — 11.04.1987). В 60 — 70-е годы это имя блистало в гуманитарной среде. Читать его статьи было признаком «хорошего тона», залы, где он выступал с лекциями, собирали большую аудиторию. Позже — читали и зачитывали его рукописи, пытались их где-то напечатать или просто держать про запас.

О господствующем в наше время типе ученых — он писал об этом — можно сообщить предельно унифициро-

ванный набор данных: родился, окончил школу, аспирантуру, защитил диссертацию. В таком-то году опубликовал работу, послужившую началом таких-то идей или открытий. Элементарное построение некролога или биографических книг, имеющих структуру развернутого некролога.

Его путь был иной. Скорее, его можно уподобить пути средневекового подвижника. Каждый определенный отрезок времени — испытание воли.

Из Благовещенска, где родился Михаил Константинович, в 1940 г. он приехал в Ленинград и поступил в Кораблестроительный институт. Затем был Ленинградский фронт и работа разведчиком. Затем Военный институт иностранных языков, преподавание греческого. С 1954 по 1956 г. работал начальником кафедры Ростовского артиллерийского училища, откуда был уволен в запас. В Кораблестроительный он не вернулся, но корабль, пиратский корабль, стал для него моделью культуры: авантюрный дух корабелов сталкивал лбами разные традиции, способы жить, хитроумие и просто ум.

В 1956—1959 гг. М.К.Петров учился в аспирантуре Института философии АН СССР под руководством члена-корреспондента АН СССР М.А.Дынника, с которым разошелся во взглядах, потому диссертация «Проблемы причинности в классической античной философии» не была защищена. По окончании аспирантуры работал в Ейском высшем военном училище летчиков, где и была написана повесть «Экзамен не состоялся», своего рода трактат о «реализации научно разработанных планов перестройки общества» и роли научной критики в этом процессе. По странной иронии судьбы, не философские труды, а философские идеи, переведенные на язык беллетристики, стали первым серьезным трудом Михаила Константиновича. В 1960 г. повесть с сопроводительным письмом была послана в ЦК КПСС. В письме М.К.Петров объяснял, что написана она на основании его записей, относящихся к поре его учебы в аспирантуре, и изображается в ней обстановка, сложившаяся в одном из учебных заведений в условиях культа личности Сталина. Что цель его, М.К.Петрова, — внести свою лепту в подготовку XXII съезда КПСС, в обсуждение программы партии и в разработку теории строительства коммунизма. Повесть он рассматривает как партийный документ, который может послужить началом откровен-

ного предсъездовского разговора, необходимого для возбуждения в стране общественного мнения. Повесть была пропитана партийным духом, и, казалось бы, ничто не предвещало серьезных оргвыводов.

Поначалу их и не было. Повесть вместе с письмом вернулась в Ростовский обком КПСС, куда Михаила Константиновича пригласили, сделали некоторые замечания, сдали рукопись в архив и просили спокойно продолжать работу.

Была прелюдия весны Шестидесятых. Но и тогда, во время первого обновления после сталинского лихолетья, продолжали действовать старые стереотипы поведения. В начале 1961 г. М.К.Петров выступил на партсобрании с критикой в адрес руководства и порядков в училище. Руководство тут же затребовало из обкома повесть, против М.К.Петрова было возбуждено персональное дело. Его обвиняли в том, что он преподает иностранный язык по иностранным же журналам, а не по переводам из классиков марксизма. Подсчитывали количество книг, выписываемых из Москвы. Повесть послали на рецензию философу и литературоведу. Литературовед ограничился замечаниями, что не смеет судить о взглядах автора повести по взглядам героя. А философ, в то время сотрудник РГУ, дал им негативную, сугубо политическую оценку. На полях отзыва было помечено «троцкизм». Впоследствии он, правда, сетовал, что не предполагал о целях рецензирования.

Но роль свою при исключении М.К.Петрова из партии рецензия сыграла. Формулировка исключения: «За недостойное поведение, выразившееся в написании и посылке в ЦК КПСС повести антипартийного содержания (выделено мной. — С.Н.)».

Известно, что в Средневековье рукописи сжигали. Сжигали и при фашизме, и мы называем это актами вандализма, удивительно и то, что рукопись М.К.Петрова также была сожжена. Это не преувеличение и не фигура речи: вежливо его попросили принести ее для...

Михаил Константинович подал апелляцию на съезд. Лично ездил в ЦК, 18 июля 1962 г. Комитет партийного контроля при ЦК КПСС, рассмотрев его ходатайство, «не нашел оснований для восстановления Петрова, исключенного из партии за антипартийные взгляды, несовместимые с пребыванием в Коммунистической партии, выраженные им в посланной в ЦК КПСС повести... В

ней Петров устами ее героев выступил с клеветой на коммунистическую партию, на советский общественный строй, на социализм и коммунизм, подверг ревизии учение марксизма-ленинизма. В повести нет положительных героев, которые разоблачили бы эту клевету на наше советское общество, нашу действительность».

Из Ейска Михаил Константинович уволился. Год перебивался переводами, а с января 1962 г. поступил в Ростовский государственный университет на кафедру иностранных языков преподавать английский. С января 1965 г. одновременно вел курс истории философии.

В июне 1965 г. университетская парторганизация при поддержке райкома возбуждает ходатайство о восстановлении М.К.Петрова в партии. Случай сам по себе был нетривиальным, ведь Михаил Константинович был исключен из КПСС в то время, когда многие в ней были восстановлены. Однако бюро Ростовского горкома решением от 4 марта 1966 г. отклонило его заявление о восстановлении. То же сделало и бюро Ростовского обкома «за отсутствием к тому оснований».

И все же он по-прежнему мог заниматься профессиональной деятельностью. Защитил диссертацию, первую в Советском Союзе науковедческую диссертацию «Философские проблемы науки о науке». Полностью перешел на преподавание философии, совершив к тому же еще один подвиг (по тем временам именно подвиг!), переведя роман-антиутопию Дж.Оруэлла «1984» на русский язык. Антифашистский пафос Дж.Оруэлла, соединенный с антисталинским настроением М.К.Петрова, дал двойной эффект: можно даже сказать, что с 1968 г. этот роман стал по-настоящему известен в нашей стране.

Был Михаил Константинович к тому же необычайно работоспособен. «Для тебя и для меня письменный стол — рабочее место. Для него — образ жизни», — так говорится об одном из героев, прототипом которого был М.К.Петров, в рассказе его друга Виталия Семина «Эй». И дальше: «Ученые труды его достигли таких размеров, когда удивляет, что это сделал один человек. Крупные специалисты считали его талантом. А мы, сверх того, могли примерить на себя его образ жизни. Сквозь этот образ многое светило нам ярче, чем через его работы. Дело, конечно, не в папиросах "Беломорканал"... Ему уже нельзя было сказать: "Курил бы поменьше". Кто-то из нас не курил совсем. Но результатов

таких не достиг никто. И было еще одно. У такого беззлобного человека совсем не должно быть врагов. Однако неприятности его были обширны и разнообразны...»¹.

Новые начались с концом Шестидесятых.

В 1969 г. журнал «Вопросы философии» открыл дискуссию по поводу методов изучения истории философии. Почему возникла дискуссия? История философии преподавалась в основном в русле идеи целе- и однонаправленного развития всех форм общественного сознания, при котором исключалась специфика разных типов культуры (например, западного и восточного), логического и мифологического способов познания, научного и традиционного. Во втором номере журнала была напечатана статья М.К.Петрова «Предмет и цели изучения истории философии», в которой автор подверг критике идущую от Гегеля теорию, согласно которой европейская история объявлялась абсолютным, приводящим к единому знаменателю все возможные альтернативы.

М.К.Петров предостерегал от подхода к разным культурам, к разным типам социальности и разным идеям, носящим на себе печать своего времени, с заранее заданным стандартным набором характеристик типа «материализм — идеализм», «прогрессивное — реакционное» и т.д. Характеристики любой культуры, полагал М.К.Петров, необходимо выводить из нее самой, если хочешь плодотворно с нею общаться. Странности модернизаторского подхода к истории усугубляются тем, что культуру, как правило, выводят из социально-экономической ситуации того или иного общества. Связь эта, доведенная до крайности, часто напоминает, пишет автор статьи, «связь между бузиной в огороде и киевским дядькой», ибо, например, «как вывести из социальной обстановки торгового города Милета Фалесово "все из воды", а если и когда это получится, "все из воздуха" Анаксимандра?.. Только отсутствие свидетельств о том, кто еще сказал "все из...", может помешать нам получить тридцать три или триста тридцать три результата той же доказательной силы»². Потому, чтобы понять тот или иной тип мышления, мало кивать на принцип историзма.

¹ Семин В. Нагрудный знак «ОСТ». М., 1978. С. 585—586. М.К.Петров был также героем его рассказа «На реке».

² Петров М.К. Предмет и цели изучения истории философии // Вопросы философии. 1969. № 2. С. 131.

Надо изучать всю ментальность, все формы общественно-го бытия, психологические, нравственные, культурные установки.

Михаил Константинович прекрасно понимал, что вылетит из приоткрытого им «ящика Пандоры». «Поскольку марксистская философия, — писал он там же, — вершина философского развития, то кое-кому кажется, что отсюда все как есть видно и марксистская история философии может освободить себя от черной работы кропотливых конкретно-исторических исследований, может идти... "обратным путем": не по линии вывода форм сознания из форм социального бытия, а совсем напротив, по линии вывода форм бытия из заведомо известных и ясных (с нашей колокольни все видно!) форм сознания. Хотя этот путь удобен и легок, видимо, излишне доказывать его ошибочность и непричастность к действительно марксистской истории философии»¹.

Повторим: все написанное в этой статье публиковалось в порядке дискуссии. Темы и проблемы наболели: был накоплен громадный материал, энергично сопротивлявшийся заданным концепциям. Наиболее предприимчивые из работников науки пытались приспособить его к бытующим схемам под видом критики, но одновременно те же проблемы — альтернативность общественного развития, подход к культурам без мерок современных идеологических установок, невозможность рассмотрения разных типов сознания и мышления с помощью гегелевской идеи прогресса, где прошедшие культуры рассматривались как ступеньки при переходе от низшего к высшему, — решались в ученых кругах «по гамбургскому счету». В Институте всеобщей истории АН СССР сектор методологии истории, руководимый М.Я.Гефтером, разрабатывал тему многовариантности исторического развития. Социологи и культурологи Института конкретных социальных исследований АН СССР под руководством Ю.А.Левады изучали соотношения ценностей и культурную типологию различных регионов мира. Много лет шла работа в семинаре В.С.Библера над проблемами диалога культур. Издавали и анализировали многочисленные тексты христианского средневековья А.Я.Гуревич, С.С.Аверинцев и др.

¹ Петров М.К. Предмет и цели изучения истории философии. С. 133.

Но в то время дискуссии не получилось. Зато был грубый окрик в адрес М.К.Петрова и прямой запрет не-тривиального мышления. В 1970 г. статья подверглась уничтожающему разному в журнале «Коммунист». Автор обвинялся ни много ни мало в «отступлении, отходе от одного из коренных принципов марксистской философии», в том, что он «фактически отошел от партийного требования вести последовательную идеологическую борьбу против любых извращений истории общественной мысли», хотя из статьи М.К.Петрова следует прямо противоположный вывод.

Одновременно, чтобы не тратить силы и энергию, были ликвидированы секторы М.Я.Гефтера и Ю.А.Левады. Правда, не были подсчитаны затраты на восстановление добрых имен этих ученых, которые сейчас активно работают, а мыслить и не переставали...

Итак, это граница. В Шестидесятые экзамен не состоялся. В Семидесятые М.К.Петрову поставили твердый «неуд». В Шестидесятых он работал, хотя и исключенный из партии. В Семидесятые та самая работа, которая еще недавно была ходатаем за его восстановление в рядах КПСС, повернула курс на 180°. 8 июня 1970 г. в газете «За советскую науку» (орган ректората, парткома и профкома РГУ) появилась статья, где было сказано: «Преподаватель кафедры философии М.К.Петров в своей статье "Предмет и цели изучения истории философии" отошел в своей концепции от принципа партийности... Партком осудил эту статью и принял меры, чтобы не допустить впредь подобных выступлений».

Что же это за меры?

Выписка из трудовой книжки М.К.Петрова: уволен из РГУ «за невозможностью использования на преподавательской работе по философии».

Впрочем, вскоре его зачислили в Высший Северокавказский научный центр, сперва старшим научным сотрудником, потом просто научным, в конце — инженером. Единственное требование к нему — неучастие в работе. Как на работу, ходили к нему друзья, ученики. У него был даже свой Левий Матфей: светлоголовый молодой человек, ловивший и записывавший каждое его слово на скрижали памяти или на белую бумагу. Носил цветы и клал на подоконник.

Букеты и скрижали, да еще то, что имел высокий рост, красивое, скульптурно выточенное лицо, — конеч-

но, романтика. Но совсем не романтической была его жизнь почти два десятилетия, когда он, переживший, как и многие люди его поколения, страшное потрясение в Пятидесятых, оказался за бортом официальной науки. Нечасто появлявшиеся и прежде, с этих пор его труды печатались в строго дозированных объемах, в основном по науковедению и системным исследованиям. Так, например, им написана шестая глава в коллективной монографии «Дисциплинарность и взаимодействие наук» (М., 1986; глава называется «Когнитивно-лингвистические аспекты дисциплинарной организации научной деятельности»), статья «Системные характеристики научно-технической деятельности», опубликованная в ежегоднике «Системные исследования» (М., 1972), и «Наука познает себя» (совместно с А.В.Потемкиным), появившаяся в девятой книжке «Нового мира» за 1968 г. Статей по собственно культурологической тематике опубликовано немного. Из них, пожалуй, наибольшее значение для его концепции имеет статья «Перед "Книгой Природы". Духовные леса и предпосылки научной революции XVII в.» (Природа. 1978. № 8). При жизни М.К.Петрова в печати появилось всего около 50 его статей и заметок и столько же печатных листов переводов. Между тем после него остались 12 тыс. страниц рукописей. Статьи и книги о самых разнообразных проблемах науки и культуры, истории философии и социологии, этики и образования — итог его труда. Вот краткая сводка из его архива:

1964 г. Условный рефлекс и формирование второй сигнальной системы.

1965 г. Человек и наука.

1967 г. Социальные основы самосознания и научного творчества.

1968 г. Формальные выявления интуиции.

1969 г. Психика как объект исследования; Подлинный гуманизм, антропогенетика, психика и методология ее исследования; Язык и предмет истории философии; Проблема предначала (опыт социологического исследования европейского образа мысли).

1970 г. Догмат Троицы и разработка объективного бытия; Проблема доказательности в историко-философском исследовании.

1972 г. Идолы площади в водоворотах научно-технической революции.

1973 г. Гегель и современный кризис в гносеологии.

1974 г. Преподаватель университета; Университет в системе социальных институтов; Наука уходит в монастырь.

1975 г. Социология познания и «начало» философии.

1976 г. Универсалии и типы культуры.

1977 г. Знаки на камне творения «интеллектуальной революции XVII в.».

1978 г. Человекоразмерность. Типы культур и отношение человека к природе.

1980 г. Формирование предмета исследования буржуазной социологической науки в 1970-е годы.

1981 г. Время как чистая форма чувственного созерцания, единство апперцепции и человекоразмерная характеристика истории научного познания.

1982 г. Фундаментальные исследования и научно-академическое сообщество в системе современного развитого общества.

1983 г. История институтов науки (опыт изложения институциональной истории науки на материале англо-американской научной традиции).

1985 г. Проблемы онаучивания общества.

1986 г. История европейской культурной традиции и ее проблемы в свете основных положений тезаурусной динамики.

Последняя работа занимает около 1680 страниц.

Все это аккуратно складывалось в папки и заняло в его кабинете целый стеллаж.

Сейчас время разборки архивов — писателей, ученых, политических деятелей, военачальников. Ткутся воспоминания, соединяются листок к листку записные книжки, обнаруживаются неожиданные автографы и тщательно припрятанные стихи. Духовный подъем, проходящий сегодня в нашей стране, некоторые, даже весьма изощренные на поприще культуры люди иногда переводят в плоскость душевной эйфории и, настраиваясь на все важное и нужное, боятся, как бы червь сомнения не разъел это важное и нужное. Люди, впадающие в такого рода эйфорию, забывают, что «боящийся не совершен...». А сомнение есть субстанция интеллигентности. Ибо, рассчитанное на изобретательность, гибкость, поворотливость, оперативность, подвергая критическому ана-

лизу поднимаемые проблемы, сомнение выставляет их на свет разума — главного демократа нашего времени, а впрочем, и любых времен.

В свете этого разума становится особенно ясно, что щедро прокламируемое воздаяние по справедливости оказывается благородной игрой, своего рода тренажером, гонящим по жилам кровь, слегка щекочущим нервы, рождающим чувство глубокого уважения к себе или к тем, кто эту справедливость воздает.

Но трагедия, кажется, состоит в том, что задним числом справедливости не восстановить. Михаила Константиновича уже нет. И сейчас лишь от нас зависит, чтобы не случилось по древней эпитафии: «Не был, был, никогда не будет». Ибо настала пора и его публикаций. Уже вышли статьи в журналах «Вопросы истории естествознания и техники» (1987. № 3: «Пентеконтера. В первом классе европейской школы мысли») и «Народы Азии и Африки» (1989. № 2: глава из диссертации, названная нами «Трансплантация науки», и 1990. № 2: глава из книги «Язык, знак, культура» — «Мы через призму традиций»). В журнале «Дон» (1989. № 6—7) опубликована та самая повесть «Экзамен не состоялся», за которой в свое время последовало исключение из партии. Подготовлены к выпуску в альманахе «Восток — Запад» «Пираты Эгейского моря и личность» (1966). В Ростове-на-Дону уже трижды проходили Петровские чтения, телевидение посвятило ему специальную передачу. 29 апреля 1989 г. газета «Советская культура» опубликовала мою статью «Тише, не шумите, афиняне», в которой жизненный и творческий путь М.К.Петрова был представлен как типичный путь интеллигента в нашей стране. Его идеи относительно равноправия разных типов культуры, анализа проблем из ментальности тех эпох, откуда они родом, невозможности модернизаторского подхода к истории давно и без начальственного разрешения обрели права гражданства.

И все же что именно заставляет нас обращаться вновь и вновь к творчеству М.К.Петрова?

Целостность и своеобразие его авторской концепции состоят в том, что проблему сосуществования разнообразных, несводимых друг к другу способов бытия и мышления, разительно выраженных в странах Запада и Востока, он осветил через призму *культуры*, внутренние изменения которой рассматривались через *механизмы*

передачи и преобразования накопленного и нового знания. Однако наличное представление механизмов и схем (некоторые из них устанавливались весьма плодотворным методом «догадничества» — восстановления целого по «намекающим» фрагментам) фактически обнаруживало *содержание* культуры исследуемого региона. Учитывая трудности, связанные с предметом его анализа, М.К.Петров несуетливо разбирался в понятийных системах Запада и Востока, собирал разножанровые источники для освоения способов мышления в определенные периоды их развития, чтобы через историко-психологическую и философскую ситуацию понять необходимость их возникновения и функционирования в той конкретности, где им время и место. Словом, действовал по принципу невмешательства современности во внутренние дела прошлого, по принципу проблематизации прошлого для настоящего.

Рассматривая культуру в ее типологических особенностях, М.К.Петров показывает их генезис (одной из другой) и жесткое разведение по разным полюсам, когда они, забывшие о своем родстве, вынуждены искать общности друг с другом, разместившись на одной планете. Такая общность может быть осуществлена, если единство культурных составляющих (будь то наука на Западе или традиция на Востоке) будет осознано в их особом сопряжении: формировании сознания и самосознания человека, где человек образуется не как человек вообще, а как конкретный, неповторимый, «вот этот самый», особенный. В этом пункте наметились первые отклонения от официальной идеологии.

«Человеком все еще принято оперировать как величиной абстрактной... — писал он в статье «Человек в научно-технической революции», — его все еще принято "определять" то от машины, и тогда он становится ее регулятором, "мозговым придатком", наименее надежной ее деталью, то от социального института, и тогда он становится безликим носителем "ролей"... Научно-техническая революция... все более подчеркивает, выдвигает на первый план творческие потенции человека, его способность уклоняться от предзаданных определений, быть "избыточным", большим тех ролей и функций, в которых он взаимозаменяем и предстает лишь очередным носителем бессмертного социального начала. Сегодня человеку и дано больше, и спрос с него больше... В новых обстоя-

тельствах жизни человеку нужно прибавить способность исторической ориентации, исторического предвидения, способность логически и системно переводить конечные цели собственного существования в достижимые цели ближайшего будущего» (Вопросы философии. 1990. № 5).

Написанные в начале Семидесятых, слова эти органически вплетаются в современные споры об альтернативности общественного развития, о культурном диалоге и вообще о том, что есть человек XX столетия.

Дальнозоркий от природы, человек ныне охотно надевает очки для чтения исторической прозы, чтобы увидеть будущее. Ибо без обращения «к актуальной древности мы рискуем, — говорит автор, — остаться в плену бессодержательных фраз и недоказуемых аналогий. Мы можем, например, сказать, что цель научно-технической революции — накопление экономического качества... что именно накопление экономического качества — рост производительности труда и снижение всех видов затрат на единицу общественно необходимого продукта — создает творческую необходимость и практическую возможность все более полно и гибко сочетать человеческие склонности, увлечения, интересы с социально полезной деятельностью, т.е. реализовать основной принцип коммунизма: каждый по способности, каждому по потребности. И такое заявление будет, видимо, справедливым. Во всяком случае, опровергнуть его нельзя, растущий спрос на человеческое разнообразие, на оригинальность мысли и дела, готовность общества идти на огромные и быстро растущие расходы по обнаружению, шлифовке и утилизации человеческого таланта — факт, так сказать, статистический... свидетельствующий о том, что человеческое разнообразие и оригинальность все более органично сплетаются с потребностями общества. Но пока это заявление о целях, средствах и последствиях научно-технической революции не будет показано в форме вывода, не будет включено в динамику действительности как ее реальная связь и как фокус ее интеграции, такое... заявление будет прописано скорее по областям веры и слепой надежды, чем по области знания. Чтобы этого не произошло, нужна рефлексия, нужно самосознание по поводу вещей древних, но актуальных».

Что за мысль здесь утверждается? Общество не может развиваться без материального производства и

одновременно без передачи накопленной культуры. Причем два эти условия равносильны. Сейчас эта мысль — спустя почти два десятилетия — обретает права гражданства. Долгое пренебрежение культурой, рассмотрение ее всего лишь в виде надстройки породило впечатление, что без этого фактора можно обойтись, в крайнем случае приберечь его на десерт. Главное же — производство, а за ним, следовательно, потребление. Но человек на то и человек, что не может разбрасываться природой ему дарованным достоянием. Игнорируя фактор культурного наследия, мы как бы вышибали из духа дух. Обезличенная вещь проецировалась на самого человека, который казался таким же производным, как вещь. Он лишался своего лица, становился стертым, выровненным.

Проблема передачи культурного наследия, или — в терминах М.К.Петрова — трансляции его и последующей трансмутации, изменения, поставила перед ученым задачу разобраться в соотношениях уникального и повторяющегося, творчества и репродукции, канона как грамматики творчества и закона как демиурга повтора. Он искал формулу нормирования уникального, вводя для этого внутрь пары «творчество — репродукция» промежуточный термин, названный им «творчество репродукции». Решению этого вопроса посвящено произведение «Искусство и наука», написанное еще в 1968 г. В полном виде культурологические проблемы в нем не представлены: работа эта — момент в эволюции взглядов самого Михаила Константиновича. Но в ней очевидна завязь многих последующих произведений М.К.Петрова.

Михаил Константинович подхватил кочующие в 60-е годы по аудиториям строки «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне» и попытался показать истоки конфликта, при котором наука в определенное время получила приоритет перед прочими видами творчества. С точки зрения М.К.Петрова, конфликт этот надуман, и надуманность происходит от забвения природы творчества вообще и состава канонов отдельных его видов, в частности — науки, которую в силу ее некорректного отождествления с репродукцией, т.е. с биосоциальной деятельностью по передаче знания, подверженной действиям независимых от человека законов, настойчиво призывают гуманизироваться, будто можно гуманизовать то, что со времен Аристотеля осмыслено как действующее

щее за скобками человеческой индивидуальности в рамках автоматического, механического повтора.

Это впечатление было порождено ситуацией XVIII в., когда, по утверждению М.К.Петрова, начал действовать новый механизм обновления репродукции, основанный не на постепенной эволюции устоявшихся навыков и профессий, а на замене их другими, прежде небывалыми, возникшими на базе новых технологий. Казавшиеся вечными традиции обнаружили свою конечность. Это обстоятельство, усугубленное идеей тождества субъекта и объекта, привело к растворению понятия «репродукция» в понятиях деятельности, мышления, опыта и — творчества. Категориальная неразличимость репродукции и творчества способствовала тому, что автоматическая репродуктивная деятельность обрела *видимость* законодателя бытия.

Канон науки, таким образом, изначально исключает из своего состава свободного, творческого человека, зато ориентирован на машину или, что то же, на античного природного раба, безликого и аналогичного столь же безликим — в понимании Нового времени — природным силам. В этом смысле античность и Новое время в рассуждениях М.К.Петрова смыкаются. Ибо именно в античности был выработан универсально-понятийный способ кодирования знания, который характеризуется разрывом теоретического и практического, слова и дела, господина-творца и раба-исполнителя. Труд раба-исполнителя есть репродуктивная деятельность, являющаяся плодом творения по слову, которое тем самым оказывается организатором человеческого и — аналогично — космического дома. Слово, полагает М.К.Петров, обладает абсолютным авторитетом. Благодаря ему появляются и уникальные произведения искусства, и идеи-образцы для научного воспроизводства.

Вывод этот М.К.Петров считает, по сути, верным и для наших дней, с той только разницей, что, в отличие от античности и средневекового христианства, специфически закрепившего античный универсально-понятийный способ кодирования знаний, в котором творческая способность олицетворялась творцом-демиургом-царем-героем, в наше время эти функции переданы человеку. «С той только разницей», впрочем, означает весьма существенный слом ориентиров: в эту разницу включается культурная дополнительная к истории и философии, по-

становка понятия «культура» в средостение исследований современного мира, вызванная и мировым политическим кризисом, обнаружившим невозможность для стран Востока следовать европейским культурным образцам, и необходимостью пересмотра оснований в науке, искусстве, логике, и той парадоксальностью, при которой, желая понять прошлое, мы отказываемся от модернизаторства, но, едва начинаем постигать смыслы, этим прошлым представленные, неизбежно вынуждены соотносить их с современным мышлением, ибо только с его помощью можно обнаружить разные логики бытования разных же смыслов. Чтобы не оказаться в шизофренической ситуации раздвоенности личности, человек, находящийся в центре смысловой разноголосицы, обречен на выбор, притом выбор ответственный, производя при этом новый, до него неведомый смысл, ибо само это событие вкуче с индивидуальными особенностями рождает и особый способ выражения осмысленного. Именно этот анализ смысловых сдвигов внутри одной и той же универсально-понятийной системы блестяще осуществлен М.К.Петровым.

Рассматривая типы репродукции и передачи знаний, двигаясь мысленно с Востока на Запад, от традиционного типа кодирования информации с жестким закреплением сельскохозяйственных, ремесленных и административных навыков за определенной общественной стратой — к универсально-понятийному, М.К.Петров отмечает ситуацию оборачивания понятий. Мир традиции с неменяющимися профессиональными связями — стабилен. Эта восточная стабильность-гомеостазис замещается на Западе — вследствие качественно иных географических, социокультурных и прочих условий — нестабильностью-движением, связанной, вследствие различности понятий теории и практики, слова и дела, свободного выбора профессий, с постоянной трансформацией человеческой деятельности. Вопрос в том, что понимать под термином «деятельность». Воспроизведение человеком самого себя как самоцели, каждый раз как нового человека — или же воспроизведение навыков? И тот и другой тип воспроизведения М.К.Петров называет творчеством. Нежелание констатировать именно два вида творчества — самотворчества человека как искусства, куда наука, понятая как деятельность по созданию идеализированных объектов, входит на правах одного из его ка-

нонов, и творчества репродукции, т.е. творчества человеком отчуждающихся от него предметов науки, или нечеловеческого, — и создает, полагает М.К.Петров, многочисленные недоразумения относительно сущности науки и искусства.

Сама постановка вопроса о парности, дуализме творчества как основания бытия человеком является очевидным вкладом в исследование принципов философии творчества, тем более что под дуализмом М.К.Петров понимал реальное противоречие конечного и вечного, которое разрешается в двух качественно различных типах творчества: по воспроизводству субъектов, способных создать предметы-произведения в исторически сложившейся социальной форме, и по производству репродуцируемых вещей. Правда, «с точки зрения традиционной философской нравственности, это уже смертный грех». Итоговые слова Михаила Константиновича, сказанные с нескрываемой иронией, оказались тем не менее пророческими: именно дуализм поставил ему в вину журнал «Коммунист» два года спустя.

«Искусство и наука» была преддверием книги, предлагаемой ныне читателю. Впрочем, наряду с «Пиратами Эгейского моря» и др.

Несколько слов о книге «Язык, знак, культура».

Она была написана в 1974 г. и под заглавием «Социологический анализ проблем культуры» готовилась к печати в издательстве «Прогресс». В 1975-м книга, однако, выпала из издательских планов (хотя с автором был заключен договор), поскольку она шла по ведомству Л.В.Карпинского, возглавлявшего в то время редакцию литературы по научному коммунизму и за критику административно-командной системы исключенного из партии и снятого с работы¹. С тех пор она разделяла судьбу архива.

Между тем при чтении поражает ее удивительная актуальность для нашей науки, выразившаяся и в способах разрешения поставленных проблем, и в освоенности во многих дисциплинарных областях знания (например, в структурной лингвистике, социологии). М.К.Петров предъявил читателю не только разнообразные способы

¹ Карпинский Л. Нелепо мяться перед открытой дверью // Московские новости. 1987.01.03. Редакторский (1975 г.) вариант книги лег в основу настоящего издания.

(образы) философствования, обнаруженные им в разных регионах мира, но и собственный образ мышления, выраженный и в замедленном речевом ритме, позволяющем всматриваться в детали, формирующемся почти «на глазах», с особыми неологизмами типа «трансляционно-трансмутационного интерьера номотетики», абсолютно оправданными и необходимыми для передачи точности мысли, что лишь подтверждает авторскую концепцию о связи языка с определенными формами передачи знания. Но и образность, и историко-теоретическое единство, и фактура речи свидетельствуют не только об особом литературном даре М.К.Петрова. Они — составляющие содержательной стороны дела, ибо с их помощью срабатывают механизмы сопоставления и взаимодействия разных типов культуры, вскрывается особая ситуация втягивания человека во всемирный исторический процесс — не только по *горизонтали*, в связи с ныне действующими традициями, но и по *вертикали*, с прошлым, предоставившим современности наличный массив знаний, смысл которых оказался переформированным.

М.К.Петров выделяет в книге три типа культуры: лично-именной, профессионально-именной и универсально-понятийной. Первый тип характерен для первобытных коллективов, где знание кодируется по имени Бога-покровителя, второй тип соответствует традиционным обществам Востока (Китай, Индия), третий — современному западноевропейскому. Основой для подобной типологии служит, по М.К.Петрову, «социальная наследственность», под которой понимается преемственное воспроизведение людьми определенных характеристик, навыков, умений, ориентиров. В роли же «социального гена» выступает знак с его способностью фиксировать и долго хранить значение. Содержательной характеристикой знака является свернутая запись видов социально необходимой деятельности. Поскольку весь корпус знаний превышает возможности отдельно взятого индивида, его физическую и ментальную вместимость, то знание нуждается во *фрагментировании* по контурам вместимости индивидов в посильные для них части, а затем в интегрировании этих частей в целое. Практически речь идет о соотношении социокода и индивидуального ума. Выделив этот критерий — необходимости фрагментации и интеграции знаний по человеческой вместимости, — М.К.Петров обнаруживает *формы* перевода общезначи-

мого смысла в особые для каждой культуры индивидуальные ячейки, что уже есть некая сообщаемость всеобщего и особенного, ведущая к изменению самих форм общения. Причем — общения по смыслу, перерастающего рамки семиотического — на первый взгляд — подхода к кодированию знаний.

Нормальное функционирование социокодов обеспечивается механизмами коммуникации (координации деятельности людей), трансляции (передачи освоенной информации от поколения к поколению) и трансмутации (введения нового и уникального знания, изобретений и открытий), на деле оказавшейся ключевой для сопоставления разнообразных способов хранения и обновления знания в разных культурах. Эвристическая роль трансмутационной схемы особенно наглядно выражена в главе «Мы через призму традиции». «Мы» — это западноевропейский способ усвоения и выработки знаний, это наука с ее наукометрическими процедурами: сетью цитирования, запретом на плагиат в научных публикациях, текстовыми связями, бесконечным индивидуализмом. «Мы» предстаем перед глазами «традиции» по меньшей мере странными, биологически и социально ущербными, ибо, выскочив из объятий Бога-покровителя, рода, «колена», цепляемся за собственную личность, непомерно одинокую и слабую перед грозными, окружающими ее общественными и природными силами. Средняя норма развитости наших «частичных» профессионалов кажется «традиции» ниже всякого порога грамотности, а жизнь, подчиненная всеобщему научному закону, просто жалкой. Эта глава — критика научно-технической культуры, с одной стороны, и серьезнейший мыслительный эксперимент — с другой. Эксперимент, вскрывающий и необратимость европейского процесса усвоения и выработки знания, и неповторимость и уникальность научного способа познания мира, который лишь *кажется* кривым путем в тот же самый мир традиции, и его историзм и локальную ограниченность, лишаящие науку права на арбитраж в познании.

Однако размышления М.К.Петрова о науке существенны еще и тем, что автор анализирует наукометрические процедуры по связи и аналогии с речью. Еще недавно, у структуралистов в особенности, единицей высказывания считалось предложение. Однако, как убедительно показано в книге, предложение не способно «сжать» в

языке весь наработанный культурой массив знаний. Смысл можно формализовать лишь в «серии предложений». Но это означает разрыв с классическими представлениями о единстве формы и содержания лингвистических структур с общелогическими понятиями.

Установление подобного разрыва позволяет М.К.Петрову провести историологические сопоставления и — соответственно — выявить различия в трансляционно-трансмутационном механизме передачи и преобразования заложенных в культуре смыслов, характерные для научного Запада и традиционного Востока. Все это откровенно свидетельствует о том, что предлагаемые М.К.Петровым технологические и схематические конструкции направлены на выявление именно содержания разных культурных типов. Вот почему вызывает особый исследовательский интерес обнаружение им связи между типами языков и типами трансляции знания. Античные формы трансляции, оказывается, тесно связаны с флективными древнегреческими языковыми структурами, а нововременные — с аналитическими структурами английского языка. Современными же формами трансляционно-трансмутационного механизма, по мнению М.К.Петрова, непременно порождаются особые метасинтаксические лингвоструктуры, рождающиеся из взаимопроникновения западноевропейских и восточных, главным образом, английского и японского языков.

Подобное движение мысли, очевидно, плодотворное для дальнейшего исследования, обнаружило в то же время и существенный парадокс в собственном теоретическом сознании М.К.Петрова. Михаил Константинович полагал, что овладение смыслами разнотипных культур необходимо для создания некоей метакультуры, что в известной степени ставит под вопрос тезис о необходимости культурного или — в его терминологии — социокультурного равноправия. Ячейку, в которой можно было бы разместить возникшие на европейской почве науку и технику, он обнаружил в репродуктивных (трансляционных) механизмах любого общества, но тем самым — *volens polens* — растворял уникальное, что есть культура, в постоянно действующих жизнеобеспечивающих структурах. Не случайны поэтому его колебания в определениях культуры, понимаемой то как этнотрадиция, то как неповторимый и единственный текст-произведение, то

как социокультурный институт, производящий перевод образца в норму.

Это, однако, проблема, требующая внимательнейшего анализа после того, как книга будет опубликована и тем самым войдет в современный фонд культуры.

Концепция М.К.Петрова не была бы универсальной, если бы не касалась всех общественных структур. Но сама идея трансляции знания замыкается на идее образования. И в этом смысле анализ феномена науки в современном мире оказывается чрезвычайно актуальным. Как уже говорилось выше, пафосом творчества М.К.Петрова была борьба с фетишизацией институциональных и знаковых форм науки, что ведет к принижению роли личности. Уравниловка, вытекающая из подобной фетишизации, охватывает все этажи общества, включая детей, которые все обучаются по единым текстам единых учебников, рассчитанных на «совокупного» ребенка с одной головой. Однако «нынешний путь в герои науки не единственный, — писал М.К.Петров, — были герои, как говорили греки, и до Агамемнона». Поэтому одним из важнейших шагов перестройки системы образования, на его взгляд, могло бы стать изучение в школах «общенаучных языков» — греческого и латыни, одновременно обращенных и в мир традиционных способов усвоения знания. Это одно. Есть и другое рассуждение. Передний край науки, по М.К.Петрову, представлен совокупностью постоянно растущего числа научных дисциплин. С переднего края науки идеи движутся в производство через систему образования. Наука является своего рода генератором технологий, которые могут эффективно применяться только при условии, что они окажутся в руках научно образованных людей. Именно движение научных идей от переднего края науки на начальные этажи системы образования и движение людей через систему образования в различные специализированные виды деятельности — в состав того или иного научного сообщества (М.К.Петров назвал такие движения «концептом тезаурусной динамики») — являются основным каналом научного обновления общества. Адекватный анализ феномена науки может быть осуществлен только тогда, когда ее передний край (научные дисциплины) и ее тылы (система специального и общего образования) будут рассматриваться именно в ключе тезаурусной динамики, с которой неразрывно связаны два понятия — философия и

человекообразность. Философия европейского очага культуры берет на себя роль «теоретической номотетики», универсального средства трансляции наличного корпуса знаний, который «сжимается» в Логосе Гераклита, атомах Демокрита, идеях Платона и т.д. С другой стороны, предметом тщательного анализа М.К.Петрова становится философия И.Канта, в которой впервые соединились накопление опыта и творческая сила воображения.

Концепция образования М.К.Петрова глубоко демократична, поскольку предусматривает движение от тезауруса (слов, понятий, программ) первоклассника к тезаурусу ученого-творца. Одной из помех на этом пути является раннее разведение по профессиям в системе образования, что часто не позволяет человеку не только выйти на передний край науки, но и овладеть в полной мере тезаурусом взрослого, способного обсуждать и решать общественно значимые проблемы¹.

Проблемами образования М.К.Петров занимался последние годы жизни. Возможно, обращение к его идеям позволило бы создать новую концепцию образования. Возможно, и нет. Но в те годы подобные идеи снизу мгновенно перекрывались. Никаких крайностей, умеренность и благонамеренная осторожность создавали серую цветовую гамму времени.

Михаил Константинович совершенно не владел серым цветом. Его речь (надеюсь, читатель это заметит) упруга, мускулиста, точна, как у всякого мастера, знающего, что слово — это дело, за которое он несет полную ответственность. Ритмы, метафоры, интонации создают особую, я бы сказала, художественную атмосферу текста, особый мыслительный напор, разламывающий традиционно сбитые рамки. Как-то мгновенно обнаруживалась брешь, латать которую (читай: запрещать статью) мчался какой-нибудь чиновник. Сколько раз опытные редакторы обкладывали тексты М.К.Петрова подушками толь-

¹ См.: *Петров М.К.* Когнитивно-лингвистические аспекты дисциплинарной организации научной деятельности // *Дисциплинарность и взаимодействие науки.* М., 1986. С. 165—192. Этим проблемам были посвящены доклад В.Н.Дубровина «Жизнь, деятельность и мировоззрение М.К.Петрова» и сообщение В.Н.Молчанова на первых Петровских чтениях в РГУ, состоявшихся 11 апреля 1988 г. См. об этом: *Вопросы истории естествознания и техники.* 1988. № 3. С. 166—167.

ко что принятых решений, окутывали пеленами руководящих цитат — его слово гвоздем торчало из них.

Даже сейчас, когда поднимаются многие важные проблемы культуры, они чаще всего возникают в отработанных суконным языком схемах. И отрешиться от них трудно. Мы учились по максиме: дело прежде всего. Но что это дело нуждается в пространстве мысли, смысла, наконец, формы (а что такое слово?), в которой мысль доносится до адресата, это было выбито напрочь. Требовалось особое, стойкое сопротивление примату абстрактного (а потому никому не нужного) дела (насиленно выдранного из пропитанной мыслью и метафорой, эмоцией и иронией почвы), чтобы вернуть слову его первоначальный высокий статус. Таким сопротивлением М.К.Петров обладал в полной мере, но именно оно оказалось категорией наказуемой.

Судьба Михаила Константиновича, как это ни парадоксально, типична для мыслящих людей. Если слово «мыслящий» синонимично стойкости, мужеству, ответственности, нравственности.

Конечно, направления в науке, активным созидателем которых был М.К.Петров, существуют и ныне прекрасно обходятся или делают вид, что прекрасно обходятся, без него. Они — как замечательная картина с подписью «Автор неизвестен». Его делали неизвестным в то время, как он был. В этом провале «не был в то время, как был» и царит застой, танком прошедшийся по его судьбе. Между тем гуманитарность не может существовать анонимно. Автор жив в стиле, эмоциях, мыслях. В известном смысле можно сказать, что любое гуманитарное знание — это не направление, не школа. Это — имя. Да он это и сказал в «Искусстве и науке».

История Михаила Константиновича Петрова стара как мир.

Наверное, если бы он занимался тем, чем все люди, и не поступал бы иначе, чем большинство из нас, то и не возникло бы столько слухов и толков.

Я намеренно не стала брать предыдущую фразу в кавычки, хотя выписала ее из Платоновой «Апологии Сократа». Посчитаем, сколько веков прошло с тех пор, а может быть, и вздохнем: сколь же мало изменилась человеческая природа. И все так же говорит Сократ: «Прошу вас, не шумите, афиняне».

Но и писать бы обо всем этом было незачем, если бы не изменилась человеческая природа. Сократ был гражданином своего города и умер как гражданин, что составляло неотъемлемое его свойство как человека. М.К.Петров жил всего лишь как человек и умер всего лишь как человек. Но именно «жить и умереть как человек» и было истинным героизмом в ситуации, когда самостоятельный ум считался аномалией, когда слово «интеллигент» звучало презрительно. Десятилетиями внедрялись в головы администраторов представления, что «свойство профессии интеллигента» — обман масс, что подлинная «революция... творится из наличного человеческого материала», что «в классовом обществе единственное подлинное дело любви — ненависть, и тот, кто проникся ею, — сделал первый шаг к новому человеку»¹.

Хотя эти слова из Двадцатых годов повторялись десятилетиями, я все равно не могу писать их без кавычек, как Платона. И не думаю, что пристойно бить себя в грудь и клясться, что больше так не будет. Тем более что большинство считают себя виновными «вообще», но почти никто не считает себя виновным в гибели конкретного, имеющего семью, дом, имя человека. За всех — каюсь со всеми, а за Васю, Петю, Мишу — это, простите, мне указали, мною распорядились. А ведь именно это важнее важного: внутреннее осознание.

История — не наставница жизни. Она не абсолют, в чем мы неоднократно убеждались. У нее свои, сугубо творческие задачи. «У нее», конечно, метафора; я имею в виду: у того, кто пишет историю, всегда авторскую, всегда являющуюся чьим-то произведением. Как легко нам было бы жить, если бы она была слепа, а ее законы непререкаемы: в них и таилось бы всегда полное оправдание всему. Но она не слепа, око ее автора не дремлет. И наша клятвопреступность, и наше покаяние — ее чернила. Мы все — герои романа, имя которому История, где от века — от Адама — были свои Каины и свои Авели. Но были и те, кто время от времени говорил: «Прошу вас, не шумите, афиняне...»

По-видимому, то, что ныне называется восстановлением справедливости, лучше назвать духовным опытом,

¹ См.: Под знаменем марксизма. 1922. № 1—2. С. 34; 1923. № 10. С. 89.

который не проходит даром, а входит в плоть и кровь науки, сознания, мышления, культуры. В этой плоти и крови хотелось бы обнаружить его незамещаемость, представить, что то место, которое сейчас занимает этот духовный опыт, пусто.

И обнаружить в этом человекообновляющую функцию.

Во введении человеческой судьбы и творческого наследия М.К.Петрова в новый контекст истории культуры, в придании ей как бы новой судьбы — наше слабое оправдание перед жизнью, которая была и которой все-таки, как жизни, больше не будет.

*М.К.Петров.
Язык, знак, культура. М., 1990*

Николай Николаевич Трубников (1929—1983)

Специалист по философской антропологии, теории познания, метафилософии. До конца жизни работал старшим научным сотрудником Института философии АН СССР. Автор оригинальной философско-антропологической концепции.

Соч.: О категориях цель, средство, результат. М., 1967; Познание в трехмерном измерении и проблема человека // Гносеология в системе философского мировоззрения. М., 1983; Философская проблема. Ее основания и критерии // О специфике методов философского исследования. М., 1987; Время человеческого бытия. М., 1987; Притча о Белом Ките // Вопросы философии. 1989. № 1; Наука и нравственность (о духовном кризисе европейской культуры) // Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания. М., 1990; Проблема смерти, времени и цели человеческой жизни (через смерть и время к вечности) // Философские науки. 1990. № 2; О смысле жизни и смерти. М., 1996.

Е. П. Никитин

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ТРУБНИКОВ: ВЕРНОСТЬ СЕБЕ

Если человек не шагает
в ногу со своими спутниками,
может быть, это оттого, что
ему слышны звуки иного марша?

Г. Д. Торо

Поначалу его карьера профессионального философа складывалась вполне благополучно, не предвещая ничего необычного. Учеба на философском факультете МГУ (1954—1960). Потом — Институт философии АН СССР: аспирантура (1960—1963, научный руководитель Э. В. Ильенков), успешная защита кандидатской диссер-

тации («Отношение цели, средства и результата деятельности», март 1965), работа, дружный, интересный коллектив, занятый в основном исследованием проблем теории познания и методологии науки¹. И вот он, подобно другим академическим «философским работникам», по «присутственным дням» ходит «на работу», где, как правило, бездарно тратит время, а собственно работает дома во все остальные дни (а то и ночи) — в любой момент, когда приходит вдохновение или «проходят сроки», благо (впрочем, не всегда и благо) «орудие труда» постоянно при себе. Подобно другим, заполняет годовые «план-карты», т.е. берет на себя обязательства сделать в течение предстоящего года такие-то философские открытия, и сделать не как-нибудь, а на столько-то процентов в первом квартале, на столько-то во втором... Подобно другим, выполняет эти обязательства в сроки и на должном уровне, «выдает» «плановые труды», публикуется и т.д. и т.п. Словом, перед нами обычный служащий госучреждения, занятого плановым производством философских (разумеется, марксистских) идей.

Еще будучи аспирантом, он начинает писать статьи по гносеологии для коллективных трудов сектора (Познание как форма предметной деятельности // Историко-философские очерки. М., 1964; Бесконечный процесс углубления познания закономерной связи явлений // Ленин об элементах диалектики. М., 1965). Это были хорошие, добротные статьи, но в них он еще во всем следует секторским традициям и своему руководителю — и в понимании характера проблем философии (в духе определенной интерпретации идеи совпадения диалектики и теории познания), и в методах анализа, и в манере письма.

¹ Во второй половине 50-х годов начался процесс известного оживления, если угодно, первой перестройки нашей философии. Однако он шел весьма неравномерно. И дело в данном случае не столько во временной, сколько в пространственной неравномерности, если иметь в виду «пространство» многочисленных и разнообразных философских дисциплин. В общем и целом процесс был тем активнее, чем «спокойнее», удаленнее от насущных нужд человека оказывалась дисциплина. Так и вышло, что наибольшее развитие в это время получают гносеология и методология науки. Стало даже казаться, что философия только ими и живет и чуть ли не только из них и состоит.

Но вот в конце 1970 г. происходит совершенно непонятное. Он пишет и представляет на суд коллег доклад «Философия и методология науки». Очень странный доклад! Начать с того, что наш «нормальный» «философский работник» стал бы тратить силы и время на написание текста обычно для того, чтобы опубликовать его, и потому изначально внимательно следил бы за его «проходимостью», т.е. смотрел бы на него одновременно также и глазами «редактора»; доклад же явно писался без участия этих «вторых глаз» и по тогдашним меркам в печать никак не годился.

И уж совсем непостижимым было то, что человек, видимо, решил переменить направление своих представлений о сути и назначении философии на все 180°. Ведь еще вчера он наравне со своими коллегами писал и публиковал статьи по теории познания, сегодня же заявляет, будто она (а тем более методология науки) вообще не составляет «специфического предмета» философии и даже какой-либо ее цели, а выступает «лишь как средство» решения «фундаментальных философских проблем», к числу которых в первую очередь относит проблемы смерти и смысла жизни¹.

Ответом была критика, очень резкая и по форме, и по содержанию. Он изменил! И не только себе, но и тому святому делу, которое нас — практически всех сотрудников сектора — объединяло, — делу оживления, возрождения подлинной гносеологии, а вместе с тем и всей основанной на ней философской системы.

Что же касается дорогих его сердцу «фундаментальных проблем», то коллеги как бы и вовсе не заметили их. В самом деле, в *публичном* докладе говорить о смерти и смысле жизни — это странно. Ведь общеизвестно, что классики марксизма не занимались вопросом о смысле жизни, а тем более — о смерти (смертью интересуются экзистенциалисты, и это понятно, поскольку их как апологетов буржуазного строя очень волнует и пугает вид умирающего капитализма, гибель которого они, в силу своей классовой ограниченности, отождествляют с гибелью всего человечества). Конечно, невнимание «классиков» к этим проблемам могли объяснять по-раз-

¹ См.: Трубников Н.Н. Философия и методология науки (о сегодняшнем понимании предмета и специфики философского знания) // Эстетический логос. М., 1990. С. 28—30.

ному. Одни так: для людей, созидających коммунистическое общество, не может быть *проблемы* смысла жизни, ибо он очевиден, он — в этом созидании. Другие так: над этими проблемами бились многие, и в том числе величайшие умы прошлого, однако ничего не добились; отсюда, естественно, был сделан вывод, что это вообще псевдопроблемы и им не место в серьезной теоретической философии, подобно тому, как проблеме вечного двигателя не место в современной физике. Третьи... Но при любых вариантах объяснений вышколенный мозг нашего философа срабатывал однозначно: раз «классики» этих проблем не ставили, значит, их вообще нет. И срабатывал так не только у людей недалеких или догматиков, но иногда и у тех, кого почитали едва ли не самыми талантливыми и творчески-раскованными. И странным образом не возникало мысли, что те, кого мы называем «классиками», это обычные (пусть даже и очень одаренные) люди, действовавшие во вполне определенных условиях и с вполне определенными целями, что они отнюдь не собирались давать окончательные ответы на все возможные или хотя бы важнейшие вопросы, не говоря уж о том, что знать не знали, что когда-то будут объявлены классиками и все, сказанное ими, для кого-то станет каноном, от которого отклониться — ни-ни...

И все же как мог он так внезапно и радикально измениться, изменить себе? Теперь из его архива мы совершенно точно знаем, что на самом деле никакой измены и не было. Напротив, была удивительная, хотя и не видная постороннему взору, верность себе. «Давным-давно, в пору моей далекой сибирской юности (тогда ему едва исполнилось 14 лет. — *Е.Н.*), на вытоптанном дворе Баргузинской средней школы — на *плацу*, где мы, ученики этой школы, ежедневно маршировали с деревянными винтовками в руках, в добрую или — не теперь и не здесь судить об этом — недобрую минуту пробудились эти вопросы о человеческой жизни и смерти, о человеке, смысле и сущности человеческого бытия... было отсутствие ответа, парадокс, жажда наполнения, не утоленная, еще более разожженная прекрасной (не чета нынешним столичным) районной... библиотекой (Кнут Гамсун, Ибсен, Гауптман, даже Шопенгауэр и Ницше, не говоря уже об изгнанном тогда из библиотек Достоевском)... всю жизнь эти вопросы прошли рядом, как верные спутники, как бы ни гнал я их иной раз, ни прятался от них

за личину благополучия и довольства собой. Всю жизнь. И это, пожалуй, единственная верность, с какой довелось мне встретиться в жизни, в людях и в себе самом»¹.

Но в таком случае получается, что он изменял себе, когда занимался гносеологией (а также, скажем, теорией и историей диалектики). Получается. Однако — при очень формальном и абстрактном рассуждении. При конкретном же рассуждении, во-первых, есть, как нам кажется, серьезные основания предполагать, что подобные занятия были в силу ряда обстоятельств вынужденными (назовем лишь одно из них: как начинающему — находящемуся на низшей ступеньке «академической иерархии» — и потому наиболее подневольному «философскому работнику», ему иногда приходилось писать «сочинения на заданную тему», например, какой-нибудь раздел для коллективной работы, на который ее организаторам не удалось найти автора). А во-вторых (и это уже не предположение, но — факт), такие занятия были для него побочными. В центре же внимания всегда стояла заветная тема.

Надо, правда, учитывать, что эта важнейшая из человеческих проблем является одновременно и труднейшей и при самом могучем уме требует большой кропотливой работы и, разумеется, времени. Став профессиональным философом, он, видимо, избрал тактику постепенного вхождения в тему. Ведь необходимо было найти свою постановку проблемы и свое решение, что предполагало создание такого концептуального и лингвистического аппарата, который бы возможно более соответствовал глубинной внутренней интуиции исследователя. В этом отношении интересна запись, сделанная им при чтении бердяевского «Смысла истории»: «То, что он пишет, необыкновенно близко мне. Кое-что я писал и говорил другими словами, говорил хуже, неинтереснее, но говорил то же самое... Почему та теоретическая структура, которую я изучал, осваивал, в которой мыслил, оказывалась недостаточной? Почему я все больше испытывал мучительное чувство неистинности ее, хотя, казалось бы, все было верно, все укладывалось в ее принципы и критерии? Вот в этом-то и дело, что в *ее* принципы и *ее* кри-

¹ *Трубников Н.Н.* [Перспектив книги о смысле жизни] // Квинтэссенция. Философский альманах. М., 1990. С. 429, 431 — 432.

терии. Ее принципы и ее критерии не были *моими* принципами и критериями. А те, которые были моими, мне были неизвестны, я их только узнавал (*узнавал, вспоминая*, совсем по Платону!). Где же они были? И что они есть? Вот предмет размышления! Может быть, и на самом деле существует столько эссенциальных логик, сколько существует людей? Я специально говорю об эссенциальной, а не о вербальной логике, которая нужна мне лишь для того, чтобы сообщить свое знание человеку...»¹.

В своей кандидатской диссертации (опубликована в 1967 г.: «О категориях "цель", "средство", "результат". М.: Высшая школа; кстати сказать, в нашей литературе это была первая книга по данной тематике) он готовит общетеоретические предпосылки своего подхода к основной теме. Здесь ставится задача осуществить предельно общий анализ цели как необходимого элемента человеческой деятельности в соотношении с другими такими же элементами — средством и результатом, построить «абстрактную модель законченного акта человеческой деятельности». Ясно, что модель такого — конечного — акта может быть создана лишь при условии анализа конечных же целей (равно как средств и результатов), то есть таких, которые автор обозначает термином «конкретные цели деятельности» и отличает от «абстрактных целей-идеалов».

Но вскоре он приступает к работе над следующей книгой — «Понятие цели в связи с проблемой времени (к вопросу о взаимоотношении понятий цели и времени)», в которой, напротив, говорит лишь о целях второго рода, об их роли в процессе осуществления человеком своей жизни, наполнения времени своего бытия смыслом, то есть непосредственно обращается к заветной теме. Рукопись книги, представленная на обсуждение в 1973 г., многими коллегами была встречена весьма критически. Автора обвиняли в попытке возродить давно опровергнутый наукой теологизм, в шпенглеризме, бергсонизме и во многих других «тяжких грехах». Два года он «учитывал замечания», а вернее, заново писал книгу, в которой теперь уже ничего не говорилось ни о цели человеческой жизни, ни о ее смысле, ни о многом

¹ Трубников Н.Н. [От Зверя к Богу (читая «Смысл истории» Н.Бердяева)] // Общественные науки и современность. 1995. № 5. С. 142—143.

другом, что было так дорого ему и ради чего первоначально только и затевалась книга. В итоге получилась работа о времени человеческого бытия. Однако и это не спасло положения...

В августе 1975 г. он сдал в официальные институтские инстанции рукопись этой книги, с чего и начались ее — и его — долгие злоключения (сразу же замечу, что в свет она вышла ровно через 12 лет — в августе 1987 г., когда автора уже не было в живых). Она то подолгу лежала в институте, то уходила в издательство («Наука») и лежала там, а потом возвращалась назад и т.д. На ее пути встала масса самых различных людей — от директора института до «черных» рецензентов. Всех их объединяло одно — стремление доказать, что его концепция противоречит науке, т.е. судить его именем науки. Какое нелепое стремление! Идея книги о том, что качественно различным типам бытия соответствуют и качественно различные типы времени, что время человеческого бытия принципиально отлично от времени биологического, а тем более физического бытия, непосредственно и явно вытекала из эйнштейновских положений об относительности времени и его теснейшей связи с материей. Они же настаивали на универсальности и, стало быть, абсолютности физического времени. Тем самым его, стоявшего на позициях науки и философии нашего столетия, судили именем науки и философии века семнадцатого! Дефицит познаний и интеллекта «судьи» компенсировали властью и свободой от каких-либо нравственных запретов.

Но он не мог не работать над своей проблемой, не мог не излагать наработанное на бумаге. Изложения эти в большинстве своем были во всех отношениях доведены «до кондиции», однако он никогда не пытался их публиковать, видимо, изначально давал себе установку писать «для себя», заведомо «в стол».

Самым первым из таких произведений было эссе «Притча о Белом Ките» — своеобразное собеседование, размышление с Германом Мелвиллом — человеком близким по духу — о смысле жизни, о его неотделимости от смысла (да, именно смысла!) смерти, о путях и перепутьях европейской цивилизации, о жизни и смерти человечества. «Притча» была написана через полгода после того «злосчастного» доклада и опубликована в кругу друзей (попросту говоря, каждому был подарен экземпляр машинописного текста; практически все пос-

ледующие его работы такого рода публиковались этим же способом, который, по сути дела, стал для него единственным). «Притча» покорила, потрясла до глубины души. Чистотой и возвышенностью нравственного порыва, изяществом и тонкостью литературной формы, мощью философской мысли. Потом были прекрасные рассказы «Золотое на лазоревом, или Новый убор для св. Варвары» (1972), «Скальпель и кисть ретушера» (1972—1973) и другие.

Параллельно и позднее писались и сугубо философские трактаты. Их объединяла не только эта фундаментальная смысложизненная проблематика, но и полное отсутствие какого-либо снобизма в отношении к мыслителям прошлого — к тем, якобы «не добившимся». «Пепел их живой мысли стучался, стучится и стучит в моем сердце»¹. По крупицам, бережно собирается весь их опыт — и постановки проблем, и их решения, и положительный, и отрицательный, и древний, и совсем недавний — уточняется, очищается, дополняется, сводится воедино, обосновывается. В итоге он получает свои, оригинальные постановки и решения этих древнейших проблем, во всяком случае — право сказать: «Я знаю если не ответ, то возможность ответа»².

Очень стара и широко распространена (особенно в XX в. — благодаря экзистенциалистам) концепция: жизнь бессмысленна в силу существования смерти; будучи абсолютно бессмысленной, смерть перечеркивает, делает абсурдной любую жизнь, сколь бы осмысленной она ни казалась; «гаснут и уходят: и он, человек, и весь этот бесконечный светлый его мир, это беспредельное голубое и зеленое его бытие. Во тьму небытия. В ничто»³. Тогда прав мудрый Соломон, и жизнь — не более чем «суета сует», и потому «лучше всего вовсе не родиться». Но что-то заставляет нас противиться этому, лелеять (по выражению Мелвилла) наши острова радости, вечнозеленые Таити нашей души, верить, что «жизнь, какой бы невыносимой она ни казалась и ни была на самом деле, все-таки есть нечто, всегда бесконечно большее, чем ничто...»⁴

¹ Трубников Н.Н. [Перспектив книги о смысле жизни]. С. 44.

² Там же. С. 432.

³ Там же. С. 431.

⁴ Трубников Н.Н. Притча о Белом Ките // Вопросы философии. 1989. № 1. С. 72.

В чем же дело? Может быть, в этом старом выводе неверен сам принцип движения мысли, при котором оценка жизни связывается с оценкой смерти? Нет, принцип верен. Больше того, он, и только он и должен лежать в основе анализа этих проблем; «от того, как мы решаем... вопрос о смысле и ценности нашей смерти, зависит решение вопроса о смысле и ценности нашей жизни»¹. Изъян в другом — в оценке смерти. Древнейшая концепция неверна. И он выдвигает свою, прямо противоположную: жизнь может и должна иметь смысл, и залогом этого является существование смерти. «Надо просто по-иному понять смерть...» Не вообще смерть и не чью-то уже случившуюся, но — свою собственную, будущую. Понять не как начало, противоположное жизни, а как ее полюс и предел, столь же естественный и необходимый, как и другой полюс и предел — рождение. Понять, что только осознание этой предельности позволяет нам постичь великую ценность жизни: «жизнь без смерти, без меры и границы не только не имела бы в твоих глазах никакой цены, но была бы бесконечностью куда более невыносимой, чем самый невыносимый и ужасный конец»², понять, что и смерть тем самым имеет высокий духовный, нравственный смысл.

Мелвилловский герой Измаил постигает это «на практике». Чудом избежав смерти, он начинает совершенно по-новому смотреть на мир, «принимать всякое мгновение бытия как бесконечное благо. Не как нечто необходимое и естественное, по священному праву рождения принадлежащее, но как редчайший, ничем не обусловленный дар... Он перестает презирать прошлое за то, что оно прошло и отступило под натиском будущего. Перестает догонять будущее и преклоняться перед ним за то, что оно наступает и вытесняет прошлое. Он участвует в том, что в чем имеет участь...»³. Все это позволяет «сделать каждое его мгновение бесконечно значимым, бесконечно насыщенным жизнью...»⁴

Но значит ли это, что узнать подлинную цену жизни человек может лишь «практически» — самолично заглянув в лицо смерти? Ответ, даваемый не столько каким-то

¹ Трубников Н.Н. Проблема смерти, времени и цели человеческой жизни (через смерть и время к вечности) // Философские науки. 1990. № 2. С. 106.

² Трубников Н.Н. Притча о Белом Ките. С. 77.

³ Там же. С. 77–78.

⁴ Там же. С. 78.

отдельным высказыванием, сколько сутью всех его работ, вполне однозначен — нет. Человека можно и нужно учить пониманию смысла жизни и смерти, как это делал Мелвилл. Ведь сами по себе люди не любят размышлять о смысле жизни, а тем более о смерти. Это неприятно, а иных наполняет таким страхом смерти, который способен, как говорит Соломон, заживо упокоить их в стане мертвецов. И тем не менее, а вернее, именно поэтому и надо преподавать людям эту самую трудную, но совершенно необходимую науку: «Не бойся умереть, прожив. Бойся умереть, не узнав жизни, не полюбив ее и не послужив ей»¹. Такая наука способна избавлять от «заживо упокаивающего» страха смерти и заменять его противоположным и благородным страхом *бессмысленной* смерти, или, что то же, бессмысленной, зря потраченной жизни.

Однако и это не предел. Человек может преодолеть и этот страх, если он сумеет до предела наполнить свою жизнь смыслом. Именно наполнить, ибо «в жизни самой по себе вообще нет никакого раз и навсегда заданного, однажды определенного смысла... В том-то как раз и заключается дело, что жизнь — прежде всего человеческая жизнь — не обладает никаким смыслом, помимо того, какой мы сами сознательно или стихийно, намеренно или невольно самими способами нашего бытия придаем ей. — В одном случае глубокого и емкого, как жизнь Сократа, но к очень многому и нелегкому обязывающего; в другом — поверхностного и мелкого, позволяющего легко скользить по ней, без страха погрузиться в нее слишком уж глубоко, но и легко ускользающего и хрупкого... Этот ответ смещает центр тяжести с вопроса об *изначальном смысле*, бесплодность которого очевидна, на вопрос об *окончательном смысле*, позволяя судить и о том *срединном* и *промежуточном*, где находимся сегодня мы и где этот вопрос имеет неотвлеченный смысл, где он, собственно, и приобретает всю полноту своего значения...»²

А отсюда ясен и вопрос «Как, посредством чего преобразовывать наше общество?», и ответ на него: посредством развития чувства собственного достоинства личности, посредством личной ответственности каждого за выбор идеалов и конкретную реальную работу по их превращению в жизнь. Ибо «никакой социальности, никакой

¹ Трубников Н.Н. Притча о Белом Ките. С. 77.

² Трубников Н.Н. [Перспектив книги о смысле жизни]. С. 438—438.

реальности вне человека и над человеком нет... всякое социальное производно от индивидуального», общество «есть в самой полной и непосредственной мере продукт наших "я", что-то делающих, куда-то стремящихся или топчущихся на месте и бездействующих, проживающих труды отцов и дедов... В этом смысле подлинный импульс и смысл, сама тайна социальности прячется в личной человеческой деятельности, в нас самих. Мы есть кауза прима и кауза финалис общественной жизни»¹.

XX в. добавил ко всему этому внешне похожую, но, по существу, принципиально иную проблему — проблему жизни и смерти человечества. Не в последнюю очередь она обязана своим существованием духовному кризису европейской культуры, начало которому было положено возникшей в Новое время установкой на преимущественное развитие знания (особенно научного) при его истолковании в качестве *силы*². В системе культуры возникло рассогласование между наукой и нравственностью. Истины, которыми по праву гордится наука, «могут быть даже очень плохими, потому что при их помощи может быть построена очень хорошая с узконаучной или узкотехнической точки зрения цепь суждений от $E = mc^2$ до взорванной в Хиросиме бомбы»³.

Однако конфликтом между наукой и нравственностью дело не кончилось. Возникли серьезные рассогласования и в других сферах культуры, в частности, а вернее сказать, в особенности, ибо это страшнее всего, в самой нравственности, в этой святой святых разума. «Главный вопрос современности состоит... не в том, как соотносятся наука и нравственность, не в том, нравственна ли наука сама по себе. Главный вопрос состоит в том, нравственна ли вся наша культура? Или, если быть определеннее, нравственна ли сама наша нравственность?»⁴

¹ Трубников Н.Н. Проблемы смерти... С. 113—114.

² См.: Трубников Н.Н. Кризис европейского научного разума. Философия науки и философия жизни // Рациональность как предмет философского исследования. М., 1995.

³ Трубников Н.Н. Наука и нравственность (О духовном кризисе европейской культуры) // Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания. М., 1990. С. 287. Как и «Философия и методология науки», этот текст был представлен сектору в качестве письменного доклада (начало 1972 г.). Реакция коллег была примерно той же.

⁴ Там же. С. 295.

Кажется, есть от чего прийти в отчаяние: «Я спрашиваю: как можно жить и испытывать чувство довольства собой в этом мире? Я спрашиваю: есть ли у кого-нибудь еще одна соломинка? Пусть он покажет ее. Только пусть она будет настоящей, чтобы можно было за нее схватиться!»¹

И все-таки остается надежда, что люди станут, должны будут стать «Спасителями мира, как сумели, вкусив от древа позабывшего о добре и зле познания, стать его Погубителями. Должны будут стать не только Всемогущими и Всеведущими, какими почти стали, но Всемиловейшими, и помилуют не только дельфинов... но и других, друг друга, себя. Или убоятся и тогда останутся в своей преисподней. Погибнут в самими же созданном аду, предоставив эту высочайшую из возможностей какой-то другой, менее трусливой и алчной, менее близорукой обезьяне, на какой-то другой, более счастливой планете, под каким-то другим, более добрым, менее активно и жестко, более спокойно излучающим Солнцем»².

Выход из духовного кризиса европейской культуры — в радикальном изменении ориентации нашей науки, искусства, политики, права, да и самой нашей морали. Большая роль в осознании необходимости такого изменения и в его реализации принадлежит (должна принадлежать) философии, ибо это среди ее вопросов главным, основным является вопрос о смысле жизни и смерти, и все остальные так или иначе ориентированы на него, связаны с ним³.

Вопреки широко распространенному мнению, философия всегда связана с жизнью и потому конкретна (тогда как наука, напротив, всегда абстрактна)⁴. Вопросы «всякой действительной философии» «всегда есть

¹ Трубников Н.Н. Наука и нравственность...

² Трубников Н.Н. Притча о Белом Ките. С. 82.

³ Любой вопрос становится философским лишь тогда и постольку, когда и поскольку он «приводится в прямую связь с проблемой смысла и сущности человеческого бытия. И если мы заметим, что далеко не всякий из человеческих вопросов может быть поставлен в такую связь, это значит лишь то, что далеко не всякий из них есть философский вопрос, и если далеко не всякая философия такой вопрос ставит, это значит, что далеко не всякая из человеческих деятельностей, желающих именовать себя философией, имеет право на это имя» (Трубников Н.Н. Философская проблема. Ее гуманистические основания и критерии // О специфике методов философского исследования. М., 1987. С. 20—21).

⁴ См.: Трубников Н.Н. Пределы философской проблемы (к вопросу о соотношении философии и науки) // Философия и разум. М., 1990. С. 38—42.

проблемы *не только* философские, всегда есть проблемы *более, чем философские...* есть проблемы человеческой жизнедеятельности, человеческой жизни»¹; «философия "человеческого бытия" смыкается с "человеческим бытием" философии, "философия жизни" — можно было бы сказать, если бы это выражение было свободно от груза философской традиции — и "жизнь философии" обнаруживают свое исходное единство, а всякий их новый контакт возрождает это единство и позволяет всякий раз заново новым светом одной осветить темноту другой»².

Вот почему философия даже в «век науки» не имеет никакого права ограничиваться обслуживанием науки (в процессах своего функционирования) или обобщением данных науки (в процессах своего развития), но должна сопоставляться с гораздо более «широким и общим контекстом человеческой жизни, практики, взятой во всем ее доступном нашей мысли объеме»³. Вопреки многочисленным позитивистским заклинаниям и прогнозам философия ныне отнюдь не потеряла своей самоценности, а, напротив, приумножила ее и потому не должна терять и чувства собственного достоинства.

Сам он — внимательный, пытливый, умный наблюдатель — постоянно изучал жизнь. Здесь следует заметить, что вообще он обладал такими качествами, которые редко уживаются вместе, являются как бы взаимоисключающими. У него они, напротив, были взаимодополняющими и делали его личность многогранной, полножизненной и духовно здоровой. Так, с одной стороны, это был кабинетный философ, эрудит-книжник, с другой, — человек, наделенный даром очень тонко ощущать⁴ и остро переживать все окружающее, неумным стремлени-

¹ Трубников Н.Н. Философская проблема. С. 19.

² Там же. С. 21.

³ Там же. С. 13.

⁴ Это относилось не только к высшим духовным способностям, скажем, к тому, что принято называть мироощущением, но и к самым обычным психо-физиологическим. Как-то у него стали побаливать глаза. Пошел к врачу, все объяснил, а когда тот по обыкновению вознамерился было проверять его зрение по таблице, сказал: «Доктор, я могу Вам прочесть, в какой типографии и каким тиражом эта таблица напечатана». «Так чего же Вы хотите?» «Хочу, чтоб не болели». А еще он часто восклицал: «Что мне делать с моим носом?!» — и очень завидовал тем многим (практическим всем), кто даже и не подозревает, «сколько дурных запахов издает наша славная советская действительность». И еще говорил: «У меня плохая память — я все помню».

ем узнавать о жизни из первых рук и из первых уст. Что до уст, то он безошибочно находил такие, из которых можно было услышать что-то новое и интересное, находил во всякой ситуации и во всякое время (например, в отпускное, когда в какой-нибудь забытой богом деревушке, на которую волею карты и его рыбацкой интуиции пал выбор, вел долгий неспешный разговор с крестьянами — «стариканами» и старухами). Ну, а руки и искать не надо было, потому что его собственные познавали жизнь лучше многих других, ибо познавали, созидая; а создать они могли, кажется, все — от дачного дома до медальона (из серебряного полтинника) с тончайше выделанным образом Спаса и Владимирской Богоматери. В общем, если известный анекдот «Вы умеете играть на скрипке?» — «Не знаю, не пробовал» истолковать не как анекдот, а как вполне серьезный разговор, то это будет про него.

А вот — другая «пара взаимоисключающих качеств». Это был в высшей степени благородный человек с хорошо развитым чувством собственного достоинства — гордая осанка, белогривая (когда мы познакомились, ему было 34 года, но я почему-то не помню его не седым), высоко носимая голова, эмоциональная и речевая сдержанность. И все это сочеталось в нем с добрым озорством, с любовью к розыгрышам, с умением тонкой и всегда тактичной шуткой ответить на чужую шутку или разрядить неловкую ситуацию¹.

¹ Знакомый (сочувственно-сентиментально): «Э-э, Коля, а у тебя в голове серебро...» Мгновенный ответ: «Да и у тебя не золото» (знакомый к этому времени начал активно лысеть).

На Селигере у костра трапезничаем компанией. Мне приходит в голову забавная (а главное, к месту) переделка имени «Дедал». Выдаю ее «на-гора»: «Едал». Он, не задумываясь ни на секунду, добавляет: «и Икал».

В магазине берет банку консервов, естественно, без очереди (товар-то штучный). Молодая женщина, стоящая первой в очереди, что-то очень раздраженно говорит ему (слов мне издали не слышно). Он поворачивается к ней с обаятельнейшей улыбкой и отвечает. Женщина вдруг смущается, опускает глаза и что-то бормочет себе под нос. Он все с той же улыбкой произносит что-то. Она окончательно сникает. Когда он подходит ко мне, я спрашиваю: «Что за странная беседа?» «Она мне говорит: "Ты что, лучше других, что ли?!" Я посмотрел на нее и честно сказал: "Нет, Вы, конечно, лучше". Она: "А у меня, между прочим ребенок дома..." Я говорю: "Какая жалость!"»

Сотруднику, который так и не решился принять участие в институтской поездке за город: «Если бы ты поехал с нами, то ты бы пожалел, что остался дома».

И — последняя «пара», заслуживающая, впрочем, особого внимания. Талант глубокого философа-мыслителя сочетался в нем с ярким писательским талантом. Он пробовал себя в разных жанрах, пробовал свою проблему разными жанрами. Но при всем многообразии стилей, в которых написаны его заветные сочинения, они так или иначе обращены и к философии, и к художественной литературе. Его философские трактаты о смысле жизни и смерти — это своеобразные собеседования с мыслителями прошлого, причем не столько с «чистыми философами», сколько с «философами-художниками» (Гете, Стерном, Толстым, Достоевским, Мелвиллом, Т.Манном, Булгаковым); наиболее показательна в этом отношении «Притча». Что же касается его художественных произведений, то они всегда «работают» на философскую проблему. Так, в рассказах «Золотое на лазоревом, или Новый убор для св. Варвары» и «Скальпель и кисть ретушера» тема жизни и смерти осмысливается через трагедию целого поколения россиян, но не ту (30-х годов), жертвами которой стали уже сами большевики, а более раннюю — трагедию людей старой русской культуры, многочисленных «щепок», безвинно летевших в ходе размашистой «революционной» рубки леса.

В 1982 г., уже будучи безнадежно больным и знающим это, он написал давно задуманную повесть «Зефи, Светлое мое Божество, или После заседания (из записок покойного К.)» — повесть чем-то очень булгаковскую. Может быть, обилием «мистификаций»? Не только и не столько. В конце концов они в обоих случаях — лишь средство. Средство подачи, как в «Мастере и Маргарите», человеческой жизни во всей ее многосложности и многослойности, от низшего «звериного» слоя до высшего «божественного». Вместе с тем этой повести свойственна какая-то камерность (если угодно, в духе «Театрального романа»), ибо вся эта многослойность — с естественными противоборствами и неестественными согласностями этих слоев — помещается в рамки одной личности.

Мы здесь не возьмемся обсуждать, почему при исследовании вопроса о смысле жизни и смерти надо было сочетать философию с литературой (может быть, он слишком многогранен и животрепещущ, чтобы его можно было одолеть только силой «холодного» философского анализа). Но совершенно ясно, что такое сочетание, ор-

ганичное и тонкое воплощение глубоких философских идей в яркие художественные образы получило широкое развитие в новейшей культуре — в мировой (Торо и Мелвилл, Камю и Сартр, Манн и Гессе) и в частности, а может быть, в особенности в российской (Гончаров и Лесков, Толстой и Достоевский, Набоков и Булгаков, Цветаева и Мандельштам, Пастернак и Бродский).

Столь же ясно, что для него это сочетание, кроме всего прочего, было органически связано с убеждением, согласно которому «философия [есть]... то, чем человек обладает с самого начала»¹, «быть человеком и не быть философом невозможно»². Он писал свои работы не только для профессионалов, но для всех, «болеющих» теми же проблемами. «У меня нет иллюзий. Я ни в малейшей мере не думаю, что мой ответ способен изменить мир. Но я хотел бы все же предложить ту точку человеческой опоры, по крайней мере указать область, где был бы небезнадежен поиск этой точки, всем тем, кто хотел бы слушать и мог слышать... И эта речь... может быть, поможет и дальше искать эту "точку человеческой опоры", этот "смысл человеческой жизни" тому, кому знакома эта тоска по осмысленности, кто не умеет довольствоваться тем, что есть, и знает или узнает когда-либо зов иного, более просторного и ясного человеческого мира»³.

¹ *Трубников Н.Н.* Философская проблема. С. 14—15.

² Там же. С. 16.

³ *Трубников Н.Н.* [Перспектив книги о смысле жизни]. С. 433.

Борис Семенович Грязнов (1929—1978)

Специалист в области логики, методологии и истории науки и культуры. Разработал оригинальную логико-методологическую концепцию развития науки. В 1967—1976 гг. зав. сектором Института истории естествознания и техники. В 1976—1978 гг. преподавал в г. Обнинске.

Соч.: О гносеологической природе абстрактных объектов математики // *Философские науки*. 1964. № 5; О номиналистическом истолковании проблемы существования и абстракций в современной математике // *Методологические проблемы современной науки*. М., 1964; Моделирование как метод научного исследования (гносеологический анализ). М., 1965 (в соавторстве); Теория и ее объект (в соавт.). М., 1973; Позитивизм и наука. Критический очерк (в соавт.). М., 1974; Логика, рациональность, творчество. М., 1982.

Е. П. Никитин

БОРИС СЕМЕНОВИЧ ГРЯЗНОВ: РАЗРАБОТКА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ МЕТОДОЛОГИИ НАУКИ

А мой двойник кричит, и нет ему ответа,
А мой двойник грустит, до слез мне жаль его.
Пока не заблестит окно в лучах рассвета,
Двойник мне не простит молчанья моего.

Рано, чудовищно рано он покинул этот мир. И дело не в том, что не успел «довыполнить» свои творческие планы. Просто дожить не успел. — Он, так иступленно любивший жить! Его незаурядная воля (прямо-таки по Шопенгауэру) была волей к жизни; его постоянным стремлением было прямодушно откровенное стремление к самоутверждению, причем высокий уровень притязаний в данном случае на редкость удачно сочетался с высоким уровнем способностей, с яркими и многообразны-

ми талантами. Случилось мне как-то в разговоре с ним почти бездумно произнести некую расхожую сентенцию о честолюбии, разумеется, осуждающую сентенцию. Реакция Бориса явилась для меня совершенно неожиданной как по форме, так и по содержанию; с пылом он стал доказывать, что без честолюбия был бы невозможен ни личностный, ни общественный прогресс.

Он был поистине артистической личностью (в молодости мечтал и даже предпринял попытку стать актером). Около него постоянно роились люди. — Потому что они были нужны ему. Потому что он был нужен им. К нему шли в общежитие, на работу, на квартиру. Шли за интересной идеей, за новой проблемой. Ими он просто фонтанировал. Шли за спором. Спорил много и умело. Шли за песней. Пел часами. Любил Кима, боготворил Окуджаву. Сам писал песни на стихи разных авторов — от Межелайтиса до совсем никому не известных поэтов. Как будто это было вчера или даже происходит сейчас, слышу его гитару и его голос:

Прохожие спешат от улиц беспокойных
В уютное тепло пустующих квартир,
А рядом — мой двойник, мой Соловей-Разбойник
Задумчиво шагает, как верный конвоир.

Сказанное, пожалуй, объясняет, почему он предпочитал устные формы философствования письменным (его «станком» была скорее кафедра, чем письменный стол), а из последних отдавал предпочтение коллективным трудам. Он был организатором и участником многих научно-теоретических конференций, конгрессов, симпозиумов, инициатором и творческой душой (автором центральных, стержневых идей) ряда коллективных монографий¹.

Перед лицом слушателей и читателей Борис был в высшей степени требователен к себе. Говорил и писал только о том, что знал досконально, а главное — где мог сказать что-то новое, свое. Непременно заботился об однозначности и четкости текста, об увлекательной форме повествования. Готовя себя к началу педагогической деятельности, специально изучал ораторское искусство

¹ Глинский Б.А. и др. Моделирование как метод научного исследования (гносеологический анализ). М.: Изд-во МГУ, 1965; Грязнов Б.С. и др. Теория и ее объект. М.: «Наука», 1973 и др.

ство. Благодаря всему этому такими яркими, запоминающимися были его выступления на конференциях и симпозиумах, его лекции студентам и аспирантам, будь то в Читинском педагогическом институте, Обнинском филиале Московского инженерно-физического института или на философском факультете МГУ. Его слушатели и читатели должны были находиться в состоянии непрерывного и по возможности возрастающего интереса, причем их мыслительная деятельность не должна была расслабляться ни на секунду. Работая над статьями и книгами, доводил тексты до четкой последовательности и предельной краткости. Неизменно удивлял редакторов и издателей тем, что, в отличие от обычной авторской манеры превышать общепринятые (или заранее обговоренные) объемы работ, вечно не «дотягивал» до этих объемов. Из письменных форм отдавал предпочтение тезисам, хотя, как правило, подменял их работами совсем другого жанра, а именно миниатюрными статьями (несмотря на их миниатюрность, они всегда были вполне последовательными, законченными и аргументированными статьями).

* * *

Когда, после смерти Бориса, было задумано издать книгу, содержащую его основные работы¹, ее составители практически сразу же пришли к мысли о возможности и даже необходимости придания ей монографической формы. Реализовать эту мысль не стоило большого труда. Залогом монографичности явилось столь характерное для Бориса стремление к единству (к своего рода логической когерентности) личности, что, в частности, проявилось в устойчивости его исследовательских интересов. На протяжении всей своей творческой деятельности он так или иначе был занят исследованием проблемы объектного содержания, онтологического статуса феноменов познания (и вообще сознания).

Однако его ни в коей мере нельзя причислить к разряду узких специалистов. Незаурядный исследовательский талант и основательные познания в самых различ-

¹ Грязнов Б.С. Логика, рациональность, творчество. М.: «Наука», 1982. К книге приложена полная библиография работ автора.

ных отраслях науки и вообще культуры — математике и логике, физике и кибернетике, истории философии и истории науки, искусстве и эстетике — позволяли ему постоянно углублять и расширять эту проблему, обнаруживая подчас самые неожиданные, но по зрелом размышлении всегда естественные выходы на другие темы, равно как и ее связь с иными сферами исследования, в которых ему довелось работать. Впрочем, это, так сказать, лишь субъективная сторона дела.

Объективная же сторона состоит в том, что его «сквозная проблема» оказалась теснейшим образом связанной с другими фундаментальными проблемами методологии науки, и прежде всего — с вопросом о природе науки. Решение первой выступало то как необходимая предпосылка решения последнего, то, напротив, как его следствие. Во всяком случае именно в свете подходов к вопросу о природе науки, как мне кажется, можно периодизировать творческую эволюцию Бориса, различить в ней три основных этапа. На первом феномен науки изучался, выражаясь физическим языком, в статике и кинематике (субстанциально, структурно и функционально), на втором — в динамике (генетически), на третьем — в суперсистеме, а именно как элемент более обширной системы. Эта схема весьма условна, поскольку границы между этапами очень и очень нежестки. И вместе с тем она, как мне кажется, имеет смысл.

* * *

Первоначально «сквозная проблема» выступила в форме вопроса об онтологии математических понятий, которому была посвящена кандидатская диссертация «Проблема существования в математике», успешно защищенная в 1963 г. (научный руководитель С.А.Яновская). Будучи непосредственно связанным с попытками обоснования математики, этот вопрос, как известно, на протяжении всего нашего столетия остается самой главой и сложной философской проблемой математики. Рассматривая различные подходы к ней, диссертант показал их слабые стороны, показал, что ее в принципе нельзя решить, если не анализировать процесс формирования абстрактных объектов математики и конкретные способы этого формирования, такие как абстрагирование, идеализация, формализация, аксиоматический метод. Детально-

му изучению последних и была посвящена основная часть диссертации¹.

Позднее он ставит проблему существования гораздо шире — применительно к теоретическому миру науки вообще — и получает очень важные результаты². «Давно замечено, что теория есть знание особого рода — знание всеобщее (универсальное) и необходимое (содержательно аподиктическое). Но как возможно такое знание? Как из эмпирических знаний о случайных и конечных предметах реальности получается такое теоретическое значение? Как формируется теория? Как осуществляется "контакт" теории с внетеоретической реальностью? Исходным пунктом решения этих проблем оказывается вопрос об объекте теории, т.е. о ее онтологическом статусе»³.

Если подвергнуть серьезному философскому анализу ту наивно-реалистическую концепцию этого статуса, которая стихийно сложилась в естествознании, то мы обнаружим, что «она совершенно непригодна для понимания научного знания»⁴, ибо «объект теоретического знания...

¹ Практически в это же время (в рамках коллективного исследования метода моделирования) он подверг анализу еще один из таких способов — интерпретацию посредством модели и с помощью весьма оригинальной концепции показал несостоятельность общепринятого взгляда, противопоставляющего модели математики моделям других наук. Им было доказано, что «всякая модель, выполняющая функцию интерпретации, конкретнее интерпретируемой ею системы» (Глинский Б.А. и др. Моделирование... С. 170).

² В 1969 г. я предложил ему и Б.С.Дынину написать серию книжек о научной теории, обстоятельно рассказать, что мы думаем о ее атрибутах, функциях, структурах, генезисе и развитии, системах теорий и их видах и т.д. Борисам Семеновичам предложение не понравилось. Нет, не тема (она-то как раз была принята с энтузиазмом), а идея «сериала». При этом Грязнов сказал, что на реализацию такого плана ему не хватит оставшейся жизни, а Дынин — что ему не хватит терпения, и тут же предложил: пусть каждый из нас изложит то, что, с его точки зрения, наиболее интересно из всего уже придуманного им. Грязнов ответил, что в таком случае он должен будет написать об интерпретации квантора всеобщности и лапласовского детерминизма. При всей кажущейся «частности» этих тем речь, как выяснилось, шла о понимании самой природы теории, точнее, ее онтологического статуса. Идея была принята, и два других соавтора «подстроились» под нее. Беру это слово в кавычки, потому что, как ни странно, в итоге каждый из нас двоих не только достаточно органично вписался в заданную тему, но и действительно изложил самое интересное из уже придуманного им насчет научной теории.

³ Грязнов Б.С. и др. Теория и ее объект. С. 3.

⁴ Там же. С. 16.

не может быть дан исследователю в качестве предмета созерцания, а всегда представляет собой продукт нашей деятельности...»¹ Но неправ и платонизм, считающий, что научная теория относится к некоему предзаданному человеку миру идеальных объектов (сущностей). Действительное «решение проблемы существования (объекта теоретического знания. — Е.Н.) каждый раз в конечном итоге сводится к анализу генезиса объекта и способов его введения в мир теоретического знания»².

Наибольший интерес здесь представляет предложенная Борисом интерпретация квантора всеобщности номотетических высказываний как относящегося не к бесконечному множеству однотипных эмпирических объектов, но — к единственному, а именно теоретическому объекту; «объектом теоретического знания всякий раз оказывается индивид — единственный и уникальный объект; верно, это объект особого рода — он абстрактен. Абстрактен в том смысле, что он представляет собой лишь одно свойство эмпирического объекта; он абстрактен и в том смысле, что отвлечен от эмпирического объекта. Именно уникальность объекта придает утверждениям о нем необходимый характер. Теоретический объект как объект существует лишь благодаря познавательной деятельности человека, как продукт конструктивной деятельности исследователя... Отсюда следует, что неуниверсальных теорий просто не существует, ибо не может быть теории, которая не исследовала бы *все* свои объекты. Если теория не исследует *все* объекты, то в силу их уникальности она, следовательно, не изучает ни одного объекта»³.

Этим снимается знаменитая проблема индукции и утверждается, что теоретическое знание (универсальное высказывание, научный закон, принцип и т.п.) ничуть не менее, чем эмпирическое, может быть вполне достоверным, а не лишь проблематическим, как полагали, например, представители эмпиризма от Юма до Поппера.

В свете такого понимания онтологического статуса научной теории обретают новые и, на первый взгляд, неожиданные очертания некоторые традиционные проблемы и решения. Так случилось с лапласовским детерми-

¹ Грязнов Б.С. и др. Теория и ее объект. С. 22.

² Там же.

³ Там же. С. 37.

низмом. Принято считать, что возникновение и развитие статистической физики уже в середине прошлого столетия поставило его под вопрос, а формирование квантомеханической теории опровергло окончательно. Однако все это в значительной степени есть результат недоразумения — того, что лапласовский детерминизм обычно квалифицировался как описание внетеоретического мира физических объектов. На самом же деле он характеризует мир идеализированных абстрактных объектов классической механики, а последние «таковы, что раз заданы параметры их, то мы всегда можем определить их прошлое и будущее совершенно однозначно. В этом, собственно, нет ничего удивительного или сверхъестественного, поскольку сама модель строилась таким образом. Лаплас, следовательно, не изобретает принцип детерминизма, а находит уже готовым в классической механике. Его заслуга — в явном выражении свойств классической модели. Поэтому лапласовский детерминизм не может устареть. Преодоление лапласовского детерминизма могло бы только означать ликвидацию самой классической механики, вернее, той модели, к которой относятся уравнения и законы теории».¹

Но и это не все. «В XX в. даже больше, нежели в XIX в., теория признается удовлетворяющей научным критериям, если только она лапласовски детерминистична...»². Необходимо понять, что «квантовая механика вовсе не является теорией о свойствах и поведении микроробъектов», а изучает «свойства и поведение *возможностей* (оцениваемых или выражаемых как вероятности) элементарных частиц»³. И тогда «восстанавливается в полных правах детерминизм, при этом в лапласовском виде. Действительно, волновая функция, являющаяся теперь описанием не электрона, а возможностей его, становится и полным, и детерминистичным описанием, а квантовая теория — адекватным описанием и объяснением того мира, который она изучает»⁴.

Лапласовский детерминизм представляет собой методологический принцип, «его следует считать метапринципом построения любой теории... он может быть ис-

¹ Грязнов Б.С. и др. Теория и ее объект. С. 43—44.

² Там же. С. 48.

³ Там же. С. 50.

⁴ Там же.

пользован в качестве необходимого (но недостаточного) критерия теоретического знания: то, что не удовлетворяет лапласовскому детерминизму, не может быть признано теоретическим знанием»¹.

Необходимо подчеркнуть, что это рассмотрение вопроса об онтологическом статусе научных теорий сочеталось с анализом того, как этот вопрос ставится в конкретных науках — в кибернетике², физике³, логике и лингвистике⁴, ну и, конечно же, математике, о чем уже говорилось⁵. И не просто сочеталось, а прямо основывалось на таком анализе.

* * *

Переход к исследованию *генезиса, развития* науки был для Бориса естественным, внутренне обусловленным, ибо, как мы видели, вопрос о самой сущности идеализированных теоретических объектов, с его точки зрения, может быть решен только при учете того, как, какими методами, с помощью каких средств *порождаются и совершенствуются* эти объекты. Внешним же стимулом для такого перехода послужило поступление на работу в Институт истории естествознания и техники АН СССР (1967—1976 гг.). Генетическое исследование науки проводится им на разных уровнях, причем он выступает в разных «профессиональных ипостасях». В самом первом приближении их две — историк и то, что можно было

¹ Грязнов Б.С. и др. Теория и ее объект. С. 54.

² См. его: Кибернетика и философия // Дialeктический материализм и вопросы естествознания. М., 1964; Некоторые гносеологические аспекты кибернетики // Кибернетика, мышление, жизнь. М., 1964.

³ См.: Грязнов Б.С., Стаханов И.П. К логическому анализу некоторых терминов науки // Очерки истории и теории развития науки. М., 1969.

⁴ См. его: О двух аспектах понятия «значение» // Проблема значения в лингвистике и логике. М., 1963; О содержании и форме в языке // Материалы совещания по языку и мышлению АН СССР. М., 1965; О лейбницеvском понимании равенства и синонимии // Вопросы философии. 1965. № 6.

⁵ См. его: О номиналистическом истолковании проблемы существования и абстракций в современной математике // Методологические проблемы современной науки. М., 1964; Предмет математики и специфика ее объектов // Философские проблемы естествознания. М., 1967.

бы обозначить как методолог развития, поскольку он работает в той области методологии, которая изучает процессы развития науки. Однако эти ипостаси имеют тенденцию к перекрещиванию. Поэтому в результате во втором приближении мы получаем довольно богатый набор специальностей: историк науки и историк методологии, методолог развития и методолог историко-научных исследований и т.д.

История науки. Навыки строгого научного исследования и богатое воображение, без которого работа историка невозможна, превращают его историко-научные труды в живые картины событий и лиц прошлого, позволяют автору находить оригинальные решения старых проблем, делать открытия. В этом отношении, на наш взгляд, наибольший интерес представляет работа об «Аналитиках» Аристотеля¹. Известно, что литература, посвященная им, очень велика. Однако написание данной работы не является простым добавлением еще одной «песчинки» в эту «гору»; как ни парадоксально, скорее напротив, оно уменьшает «гору», лишая известную ее часть смысла: очень убедительно доказывается, что вопреки общепринятому взгляду силлогистика Аристотеля была вызвана к жизни не только и даже не столько тогдашним естествознанием, сколько практикой и насущными потребностями развития ораторского искусства.

Методология историко-научных исследований. Работая как историк науки, он одновременно осуществляет методологическую рефлекссию над этой своей деятельностью. При этом важнейшим для него является вопрос о существовании объектов исторического знания. В отличие от большинства естествоиспытателей, историк всегда имеет дело с «обломками» прошлого, «реликтами». Эта специфическая особенность бытия объектов определяет и специфику методов исторического исследования. «Среди историков широко распространен афоризм: история не обсуждает вопросов типа "что бы было, если бы чего-нибудь не было?"... Тем не менее обращение к историческим работам, начиная с античности, легко обнаруживает, что вопросы подобного рода являются ключевыми для историка»². Больше того, их постановка представляет

¹ Грязнов Б.С. Об исторической интерпретации «Аналитики» Аристотеля. М., 1971. См. также: «Organon». 1975. № 11.

² Грязнов Б.С. Логика, рациональность, творчество. С. 108—109.

собой необходимый элемент того важнейшего (если не главного) метода историко-научных реконструкций, который автор называет методом «обоснования контрфактических предложений».

Обращение к вопросу об онтологическом статусе историко-научного знания позволило показать, что дискуссия между «экстерналистами» и «интерналистами», по сути дела, не имеет смысла, ибо спорящие стороны говорят просто о разных объектах — интернализм рассматривает науку как систему знания и познания, а «экстерналистская концепция ставит задачу изучения науки как социального института в системе социальной действительности»¹.

Методология развития и ее история. При рассмотрении работ, посвященных этой тематике, прежде всего поражает широта интересов и познаний автора. Объектами его внимания становятся концепции развития науки, сформулированные как самими «учеными-конкретниками»², так и методологами-профессионалами, как сторонниками эмпиризма (будь то в позитивистской версии³ или в постпозитивистской)⁴, так и сторонниками рационализма (например, неокантианцами)⁵.

Но подобно тому, как собственный, позитивный анализ онтологии научных теорий всегда тесно переплетался у него с критическим рассмотрением чужих взглядов, это историческое исследование существующих методологий

¹ Грязнов Б.С. Логика, рациональность, творчество. С. 103.

² См. его: Ф.Клейн об исторических ценностях и стимулах научного творчества // Ученые о науке и ее развитии. М., 1971; Представления математиков Германии XIX в. о науке и ее развитии // Проблемы развития науки в трудах естествоиспытателей XIX века. М., 1973.

³ В организованном им коллективном труде «Позитивизм и наука. Критический очерк» (М., 1975) его перу принадлежат три статьи о раннепозитивистской методологии развития: «Учение о науке и ее развитии в философии О.Конта», «Эволюционизм Г.Спенсера и проблемы развития науки», «Проблемы науки в работах логиков-позитивистов XIX в.: Д.С.Милль, У.С.Джевонс».

⁴ Из группы его работ об этом направлении в методологии развития прижизненно была опубликована лишь статья «Философские "парадигмы" Т.Куна» («Природа». 1976. № 10). Статьи о К.Поппере, И.Лакатосе, П.Фейерабенде и Дж.Агасси мы включили в книгу «Логика, рациональность, творчество».

⁵ См. его: Неокантианские концепции развития науки // Там же. Этот текст обязан своим существованием, в частности, студенческим записям спецкурса, читанного Борисом на философском факультете МГУ.

развития, как правило, приводило к выдвижению своих оригинальных идей или даже осуществлялось в контексте таких идей, придуманных им еще до начала подобного исследования.

Примеров, подтверждающих это, можно привести много, но мы остановимся лишь на одном. Особый интерес у Бориса вызывала методология развития К. Поппера, в частности то, какую роль в ней играет понятие проблемы. И вот у него рождается свой взгляд на феномен проблемы и его соотношение с теорией¹: на самом деле ученый занят решением не проблем, а задач, т.е. таких вопросов, которые могут быть сформулированы и решены в терминах и средствами уже существующих научных теорий (знаний). Конечно, теория решает и проблему, но последняя никогда не формулируется до построения теории, а всегда лишь реконструируется после ее построения. Теория есть знание, реконструкция же проблемы дает понимание (этой теории).

* * *

Выход на *контекстный* анализ науки (научной теории) в значительной степени был связан с критическим рассмотрением неокантианского и постпозитивистского вариантов методологии развития. В обоих вариантах такой анализ квалифицировался в качестве совершенно необходимого компонента исследования науки, хотя понимался и оправдывался он в том и в другом случае весьма по-разному.

Для неокантианца Э. Кассирера, пожалуй, наиболее важной была идея органической целостности духовной культуры. «Проанализировав различные символические формы, Кассирер обращает внимание на то, что нельзя рассматривать культуру как простой набор этих форм. Они сквозят и просвечивают одна в другой, каждая из них репрезентирует целое — культуру. Их нельзя соотносить с различными культурными эпохами, но только с целым — с *человеком*, который представляет собой единство религии, мифа, магии, науки, искусства, истории и т.д. Здесь целое существует прежде своих частей»². Но

¹ См.: Грязнов Б.С. О взаимоотношении проблем и теорий // Природа. 1977. № 4.

² Грязнов Б.С. Логика, рациональность, творчество. С. 140.

принципиально важно и то, что этому выводу у Кассирера предшествует тщательнейший анализ каждой из «символических форм», выяснение тех ее характеристик, которые роднят ее с другими формами, и тех, что принадлежат только ей, составляют ее специфику.

Стратегия контекстного анализа в постпозитивизме выглядит существенно иначе. Критикуя позитивистское резкое противопоставление науки другим формам духовной культуры, представители этого направления в методологии развития часто перегибали палку в другую сторону — релятивизировали данные формы, в значительной степени нивелировали их качественные различия. Разумеется, у разных авторов это проявлялось в разной степени. Так, «если у Поппера его демаркационный критерий позволяет отличить науку (как она определяется этим критерием) от философии (но вместе с этим исчезает какая-либо возможность отличать философию от мифа, поскольку и то и другое для него в равной мере не наука), то у Лакатоса уже и науку нельзя отличить от мифа»¹. В целом создается парадоксальная ситуация: исходя из идеи, что анализ развития науки должен учитывать культурный контекст, в котором оно происходит, постпозитивисты в конечном счете утрачивают этот контекст, поскольку разница между ним и «текстом» — самой наукой — оказывается весьма размытой. Особое внимание Борис обращал на то, что утрачивается граница между рациональностью и иррациональным.

В связи с этим он специально занялся проблемой рациональности. Характеризуя науку как одну из форм рационального познания, он дает едва ли не самое четкое и ясное в нашей литературе понятие рациональности. И здесь он вновь исходит из идеи объекта исследования: познавательная система тем более рациональна, чем менее она обращается к внешним факторам, ограничиваясь в ходе описания и объяснения мира лишь собственными объектами — теми, которыми она непосредственно занимается.

Летом 1977 г., попав в больницу, Борис «от корки до корки» прочитывает все десяти томное издание сочинений Т.Манна. В начале следующего года он несколько раз выступает с докладом «Болезнь и творчество в творчестве Т.Манна». Речь, в сущности, шла о специфике искусства,

¹ Грязнов Б.С. Логика, рациональность, творчество. С. 168.

художественного творчества, причем все опять-таки упиралось в специфику его онтологического статуса.

Прежде всего, внимание обращается на то, что Манн очень часто живописует болезни. Объясняется это следующим образом: «Художественное творчество Т.Манна целиком посвящено теме творчества. Болезнь же занимает в нем особое место скорее всего потому, что тема болезни связана с проблемой творчества»¹. Как связана? Сам Манн отвечает на этот вопрос вполне определенно: «Болезнь влечет за собой нечто такое, что важнее и плодотворнее для жизни и ее развития, чем засвидетельствованная врачами нормальность... иные взлеты души и познания невозможны без болезни, безумия, духовного "преступления", и великие безумцы суть жертвы человечества, распятые во имя его возвышения, роста его чувств и познаний, короче говоря — во имя высшего его здоровья»².

«Я не могу принять манновскую позицию относительно того, что болезнь как физическое (биологическое) явление есть причина творчества и обязательно сопровождает человеческое творчество или что болезнь психическая (психическая патология) должна сопровождать творчество. Но я готов разделить с Т.Манном взгляд, что творчество есть всегда человеческая боль; творчество есть всегда страдание. Творчество без страдания, без боли, по-моему, принципиально невозможно»³. И дело не в том, что оно предполагает труд — «труд упорный, долгий, требующий усилий, порождающий утомление, а порой и "леденящую скуку"». Такой труд необходим лишь для достижения «совершенства в том, что уже есть, в рамках существующих традиций и приемов»⁴, а это еще не творчество. Само по себе оно всегда есть *преступление*, т.е. выход за пределы, причем сразу в двух планах. Во-первых, — за пределы уже наработанных в искусстве средств изображения действительности⁵, во-

¹ Грязнов Б.С. Логика, рациональность, творчество. С. 242.

² Манн Т. Собр. соч.: В 10 т. М., 1961. Т. 10. С. 338—339.

³ Грязнов Б.С. Логика, рациональность, творчество. С. 246.

⁴ Там же. С. 249.

⁵ «Создание шедевра в искусстве — и, я полагаю, что не только в искусстве, но и в любом творчестве, — это всегда "доведение до совершенства", до предела имеющихся форм изображения действительности и одновременно это выход за пределы, преодоление» (там же).

вторых, — за пределы последней. «Изображение действительности — это преодоление ее»¹, ибо художник — даже самой реалистической ориентации — отнюдь не воспроизводит наличную реальность, а творит свою, другую, которая является лишь видимостью, иллюзией первой² (здесь нетрудно усмотреть аналогию с идеализированным миром научной теории). «Преступление как преодоление — это и есть главная боль, главное страдание, главное усилие художника... для того чтобы решиться на преступление — на критическое преодоление действительности, старых канонов ее изображения, своей собственной природы, наконец, художнику требуется духовная отвага...»³ Запомним последнюю часть фразы. Она нам сейчас пригодится.

* * *

Когда Борис умер, Н.Н.Трубников сказал: «Его убила система». А этот человек хорошо знал, о чем говорил. К тому времени он уже на себе испытал, как убивает система, как, не давая своей жертве передышки, методично, жестоко, ни с чем не считаясь, методом открытой лобовой атаки она уничтожает того, кто, как ей кажется, опасен для нее (а в силу самой ее природы смертельно опасным для нее было все талантливое и неординарное).

Правда, с Борисом было иначе. Здесь система воспользовалась другим своим методом — методом проникновения, внедрения в личностный мир с последующим разрушением его изнутри, уничтожением всего неугодного ей. Первую половину задачи великолепно помог выполнить философский факультет МГУ — наша alma mater. С ее молоком система проникала в нас (хотя это действие куда правильное было бы уподобить грубой — на уровне «черного юмора» — картине вколачивания гвоздей в голову, нежели идиллическому изображению женщины, кормящей младенца). Решить вторую половину задачи помог сам Борис, причем, как это ни парадоксально, благодаря таким лучшим своим качествам, как честность и стремление к единству личности. Для него

¹ Грязнов Б.С. Логика, рациональность, творчество. С. 250.

² См.: Там же. С. 241.

³ Там же. С. 250.

было абсолютно исключено то, чем спасались (впрочем, спасались ли?) некоторые наши преподаватели философии — говорить студентам одно, а думать по-другому, в пределе — «с точностью до наоборот». Столь же абсолютно исключались и какие бы то ни было несогласности в мире его воззрений, независимо от того, возникали ли они вследствие притока информации извне или порождались новыми мыслями, выходящими из тайников его творческой лаборатории¹.

Все в городе моем сколочено на совесть,
Отныне и навек он на себя похож.
Вот почему, слышав соловьиный посвист,
Мой город замирает, чуть сдерживая дрожь.

Да, верилось в справедливость и правильность «города», в его прочность и вечность. И ради того, чтобы он «спал спокойно», можно и нужно было по возможности приглушить «соловьиный посвист», своего «Соловья-Разбойника» — голос творца в себе.

Но стоило только уладить одно противоречие, как возникало другое. Например, в отношениях с друзьями. Очень хорошо помню, как ожесточенно мы спорили — о социализме и капитализме, о фашизме и демократии, о судьбах России и т.д. и т.п. Спорили до ругани, до взаимных оскорблений. Потом...

¹ Думаю, здесь речь надо вести именно об этих качествах Бориса, а, скажем, не о его страхе перед системой. Последнего, как мне кажется, и вовсе не было. Во всяком случае в ситуациях, когда ему приходилось общаться с «полномочными представителями» системы, он вел себя очень смело, а иногда просто вызывающе. Я мог бы привести несколько примеров, но привожу один, может быть, не самый «доказательный», однако самый забавный. Как-то пришло ему время получать новый паспорт. Явился в милицию. «Паспортный чин», внимательно изучая и сличая гражданина и его документ, изволил выразить сомнение в правильности записи «русский». Гражданин мгновенно отреагировал: «А-айхьхь! Какие проблемы?! Да напишите, что хотите! Напишите — "еврей"!» Чин, который только что, похоже, именно это и хотел бы сделать, теперь насторожился: «Э-э, нет, мы пошлем запрос куда надо, проверим». Послали, проверили, оставили прежнюю запись. (Почему-то живо представляю себя, как спустя годы — когда евреев уже стали «выпускать» — чин наконец-то перестал терзаться при воспоминаниях об этом инциденте, поскольку однажды вдруг «все понял»: «А этот-то уже тогда своим носом учуял, куда ветер дует. Ну, да и я не промах. Сорвал его замыслы».)

Потом споры кончились. И все кончилось. Осенью 1974 г. произошел разрыв. Позднее (то есть когда было уже совсем поздно) я узнал, что в последние годы жизни он временами подолгу слушал одну и ту же пластинку:

Со мною вот что происходит —
Ко мне мой старый друг не ходит...

И вот сейчас, когда пишу эту статью, двое во мне в который уже раз за долгие годы, прошедшие после смерти Бориса, затевают свой спор:

— Все-таки прав был тот весельчак, сказавший: «К людям надо мягше, а на вопросы ширше». Если бы все повторилось...

— Если бы все повторилось, ты поступил бы точно так же.

— Нет! Я сделал бы как-то иначе... Ведь можно иначе? И вообще, до каких же пор мы будем исповедовать эту чушь, будто друг дешевле истины?!

И все же главным, роковым для него был конфликт, от которого он так и не смог избавиться, от которого он не мог уйти никуда и никогда, — конфликт со своим «Соловьем-Разбойником». Мы видели, что вытворял этот «Соловей» там, где ему была дана полная свобода. Он смело, с каким-то даже лихим вызовом разрушал такие устоявшиеся, въевшиеся во всеобщее сознание, «самоочевидные» «истины», заменяя их идеями, далеко не самоочевидными и на первый взгляд просто странными (вспомним хотя бы судьбу классических интерпретаций квантора всеобщности, лапласовского детерминизма, аристотелевских «Аналитик»). К концу жизни «Соловей» был вполне осознан и «легализован». «Там, где нет сомнения, нет науки. Наука по своему существу есть сомневающаяся знание»¹. И не в том смысле, что «сомнение — это порча, грех науки», как выходит у Т.Куна. Нет. «Сомнение — это нормальное состояние научного познания», «чтобы нормально функционировать, наука должна [во всем сомневаться и] преодолевать свои сомнения»².

Словом, в какой-то момент «Соловей-Разбойник» стал слишком сильным и гордым, чтобы позволить и

¹ Грязнов Б.С. Философские «парадигмы» Т.Куна // Природа. 1976. № 10. С. 63—64.

² Там же. С. 64.

дальше наступать себе на горло, и слишком симпатичным, чтобы на него с прежней легкостью «поднималась нога».

Мне жить бы с ним да жить, да он не из спокойных,
Все хочет убежать, в другой поверить мир...
Не покидай меня, мой Соловей-Разбойник,
Шагай со мною рядом, как верный конвоир.

Игорь Серафимович Алексеев (1935—1988)

Специалист по теории познания, методологии и истории науки. Автор концепции «субъективного материализма». Последние годы жизни работал в Институте истории естествознания и техники АН СССР.

Соч.: О роли субъективного момента в физическом мышлении // Проблемы методологии и логики науки. Вып. 2. Томск, 1965; Развитие представлений о структуре атома. Философский очерк. Новосибирск, 1968; Проблема реальности в физике // Современная физика и проблемы марксистско-ленинской теории познания. М., 1972; Принцип дополнительности // Методологические принципы физики. М., 1975; Методология обоснования квантовой теории (история и современность) (в соавт.). М., 1984.

В. С. Степин

В МИРЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИДЕЙ

Дистанция во времени всегда необходима для объективной оценки тех или иных событий прошлого. Тридцать лет назад, в конце 50-х — начале 60-х гг., в советской философии сформировалось новое поколение исследователей, которому предстояло преодолеть первые барьеры идеологии сталинского тоталитаризма и восстановить разрушавшиеся в предыдущие годы образцы профессиональной философской работы. Большая часть людей этого поколения завершала высшее образование в эпоху изменений, которые принес XX съезд партии. «Хрущевская оттепель» способствовала ослаблению жесткого идеологического контроля над философией, хотя и не во всех ее областях. Пожалуй, в наибольшей степени это было характерно для философии естествознания, логики и методологии науки.

Интенсивное развитие этой области знаний было стимулировано новым отношением к естественным наукам и технике, которое стало утверждаться в 50—60-х гг., после долгих лет сталинских идеологических кампаний.

Это был двусторонний процесс постепенного преодоления идеологизированной науки. Для философии он означал отказ от роли интеллектуального надсмотрщика над естествознанием, приводившей к деформациям самой философии, к разрыву ее связей с передовой наукой.

Для естествознания он знаменовался восстановлением идеалов объективного, непредвзятого исследования и возможностью развивать фундаментальные идеи, оказывающие решающее воздействие на формирование мировоззрения и научной картины мира.

Все эти процессы протекали противоречиво. Были и рецидивы прошлого (например, попытки реанимации лысенковщины в 60-х гг.), но они уже не смогли затормозить начавшего складываться нового взаимоотношения философии и науки. Философы стремились профессионально осмыслить достижения естествознания, а естествоиспытатели принимали активное участие в разработке философских оснований науки, которые бы соответствовали уровню ее передовых достижений.

Общественный интерес к достижениям науки и техники в 50-х—60-х гг. был чрезвычайно велик, что создавало благоприятный социальный фон для развития методологии и философии естествознания. В эти годы были приняты программы ускорения научно-технического прогресса страны. Как мы сегодня понимаем, они содержали множество нереалистических замыслов. Но разочарование пришло намного позднее. Тогда же в них верило большинство людей, и молодежь с энтузиазмом включалась в работу по их осуществлению.

Реальные успехи нашей науки и техники, прежде всего в освоении космического пространства, поднимали в общественном мнении престиж физики, математики и технических наук. Профессия физика и инженера в шкале социальных оценок занимала намного более высокое место, чем профессия гуманитария. Конкурс в технические вузы и на физико-математические специальности в университете был наибольшим. На страницах газет и публичных диспутах шла дискуссия «физики — лирики», причем никто не ставил под сомнение ценность про-

фессии физика, скорее доказывали свою необходимость для общества «лирики-гуманитарии».

Сегодня, в эпоху разрушения многих традиций и прежних ценностей, это время кажется даже странным и, скорее всего, непонятным новому поколению. Но те сдвиги, которые происходили в этот период, оставили след в отечественной науке и культуре, они готовили перемены и нашего времени.

В философии науки в 60—80-е гг. у нас сложились оригинальные школы и направления (в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Новосибирске, Ростове и др.). В этой области знания раньше, чем в других, наша философия вступила в конструктивный диалог с зарубежными школами и направлениями, сделав первые шаги от изоляционизма к включению в мировую философскую мысль в качестве ее составной части. Новые и нетривиальные результаты, которые были получены в логике, методологии и философии науки в 60—80-х гг., возникли благодаря усилиям многих исследователей. Но, как и в любой науке, среди них были лидеры, генераторы новых идей. Они выступали неформальными авторитетами научного сообщества, часто не имели высоких научных степеней и званий, но постепенно завоевывали лидирующие позиции, задавали тон в дискуссиях и в разработке новых исследовательских программ.

Игорь Серафимович Алексеев был одним из таких лидеров в философии и методологии науки 70—80-х гг. Историк, который будет заниматься этим периодом развития отечественной науки и культуры, бесспорно, придется анализировать его работы и оценивать эвристичность концепции, которую он развивал.

К сожалению, пока у нас еще не появилось сколько-нибудь обстоятельного исторического исследования, посвященного советской философии естествознания 60—80-х гг. Зарубежные исследователи в этом отношении нас опередили. Я могу сослаться на труды известного американского историка науки Л.Грэхема, автора фундаментальных работ, посвященных философии естествознания в СССР. Показательно, что он отмечает исследования И.С.Алексеева среди оказавших серьезное влияние на дискуссии 70-х гг., на развитие в этот период новых идей и исследовательских программ философии естествознания.

Вообще, история философии и науки не сводится только к процессам роста знания, хотя, бесспорно, именно содержательные аспекты составляют суть этой истории. Но за развитием содержания всегда стоят живые люди, их мотивации, своеобразие их личности и творчества.

С Игорем Серафимовичем Алексеевым я познакомился в 1967 г. В Дубне была конференция молодых ученых, и мы с Л.М.Томильчиком делали совместный доклад, который касался анализа трех основных программ физики элементарных частиц. Сейчас Л.М.Томильчик — член-корреспондент Белорусской академии наук, физик-теоретик, заведует лабораторией теоретической физики в Институте физики АН БССР, а тогда мы оба были кандидаты наук, он — физико-математических, а я — философских. Я тогда жил в Белоруссии и работал по проблемам методологии науки — по тем же проблемам, которыми профессионально занимался Игорь Алексеев. Статьи Игоря я к этому времени уже читал, но никогда не видел его. Мне казалось, что это должен быть человек не совсем молодой, по крайней мере старше меня, хотя на самом деле, как оказалось, мы с ним одного возраста.

После доклада ко мне подошел очень симпатичный молодой человек в спортивной курточке, представился, что он — Игорь Алексеев. Я как-то сразу не смог соразмерить, что это тот самый Игорь Алексеев, работы которого я знал. Но затем как-то сам собой возник психологический контакт, сразу он мне по-человечески понравился открытостью к дискуссии, доброжелательностью, и после непродолжительного разговора мне казалось, что я знаю его уже давно. Надеюсь, что и у него были какие-то дружеские чувства и ко мне, и Леве (Льву Митрофановичу) Томильчику. Впоследствии мы много раз встречались, в разные годы нашей жизни, и в Белоруссии, куда приезжал Игорь, и на конференциях в других городах, и чувство человеческого контакта никогда не пропадало. Мы много дискутировали в то время по проблемам эпистемологии науки. Общение с Игорем Алексеевым шло у нас в особом ключе. Подход к проблемам был сходным, мы оба были сторонниками деятельностной концепции науки, и мы постоянно сравнивали свои решения, активно совместно работали, хотя и не имели соавторских публикаций. Он часто присылал мне свои от-

тиски, книги, иногда это были даже рукописи работ, еще не сданных в печать, то же самое делал я. В общем, контакт у нас с ним был такой, какой и должен быть в научном сообществе. Игорь был удивительно интересным собеседником, и, что было для него всегда характерно — это проявилось и в первой нашей встрече, — мы сразу стали говорить о научных и философских проблемах, об эпистемологии физики. Вообще, как я сейчас вспоминаю, мы очень редко беседовали с ним, как принято говорить, «за жизнь». Конечно, случалось, что какие-то моменты житейских ситуаций мы обсуждали, но разговор как-то сам собой потом переходил на научные предметы. И это было самое интересное. В моем представлении Игорь Алексеев принадлежал к людям, которые имели глубокие личностные мотивации к занятиям наукой. Я в этой связи вспоминаю известную притчу А.Эйнштейна, которую он произнес в своей знаменитой речи памяти Макса Планка¹.

В многосложном храме науки многообразны и люди, ею занимающиеся. Иные видят в науке средство удовлетворить свое честолюбие. Другие занимаются ею только в утилитарных целях. Как говорил А.Эйнштейн, если изгнать из храма науки «торговцев и менял», то этот храм значительно опустеет. Но все-таки в нем кое-кто останется. Останутся люди, которые приходят в науку потому, что мир обыденной суеты, страстей, эмоций, амбиций, т.е. тот реальный, «кухонный» человеческий мир, который больше всего составляет человеческую повседневность, их не устраивает, и они себе измышляют другой, искусственный, упорядоченный и красивый мир, в котором им хорошо живется. Это люди с тонкими душевными струнами, и миру житейских страстей они предпочитают мир объективного видения и понимания. Эйнштейн сказал, что к таким людям принадлежал Макс Планк. Мы не можем, конечно, сравняться с такими выдающимися учеными, как Эйнштейн и Планк, мы таких вкладов в науку не сделали, но по типу личности И.С.Алексеев, наверное, принадлежал к тем людям, которые искали в науке прибежище от житейской суеты и житейских страстей. Может быть, это мое впечатление, но мне всегда казалось, что Игорь не устроен в мире

¹ Эйнштейн А. Собрание научных трудов. Т. 4. М., 1967. С. 39—41.

обыденной жизни, что он не хотел в него глубоко погружаться и поэтому в занятиях философией, в занятиях наукой искал своеобразную среду обитания души, то место для души, где она могла бы реально жить и не быть задавленной обыденными житейскими проблемами. И когда он этого места не находил, он переживал, у него были депрессии.

Игорь Алексеев не стремился сделать карьеру в примитивно-прагматическом понимании. Он работал, и это то, что у него получалось. И даже когда у него уже сложился немалый авторитет в нашей философии, он никогда не заботился о своем имидже, хотя, конечно, ему было небезразлично, как его оценивают в том сообществе, которому он адресовал свои труды. У него никогда не было маски человека, так сказать, «посвященного в тайны науки». Когда он говорил о науке, он жил в предмете, и это для меня было очень близко, я не особенно люблю, когда люди не просто говорят о деле, а еще при этом тщательно следят за тем, соответствуют ли они внешне избранной ими роли ученого. У таких людей всегда на заднем плане есть мысль: важно не только то, что я о деле скажу, но и как я при этом выгляжу. У Игоря этого никогда не было, и поэтому общаться с ним было очень легко. Мы могли по два года не видеться, но встречались так, как будто вчера расстались. Мы жили в разных местах, но этих интервалов в общении не ощущали. И вообще, семидесятые годы для нас было и трудным, и счастливым временем. Тогда существовал, если использовать терминологию Д.Прайса, «незримый колледж исследователей», занимающихся методологией науки. Было у нас такое сообщество с неформальными контактами, с пристальным интересом к новым результатам, с оценкой философов науки по «гамбургскому счету». Сейчас, к сожалению, этого уже нет или почти нет.

В содержательном плане наши дискуссии 70-х годов отразили тот перелом, который происходил не только в нашей философии, но и во всей мировой философии науки. Это была смена парадигмы, которую можно было бы назвать поворотом к методологии неклассической науки.

Игорь Алексеев был ярким представителем нового стиля мышления и сторонником неклассической методологии.

На этой стороне дела я хотел бы остановиться более подробно. В моих последних работах показано, что можно выделить три этапа развития методологии науки, соответствующие трем историческим типам научной рациональности: классической, неклассической и постнеклассической науке.

Философия и методология науки, например, с XVII и до конца XIX — начала XX в. развивалась в русле классической рациональности. Этот тип научного мышления основывался на представлении, что познающий разум как бы со стороны созерцает мир и таким путем познает его. Задача познания определялась как построение объективной картины реальности, как описание изучаемых объектов в их имманентной сущности, такими, какие есть «сами по себе». Условием объективности знания считалась элиминация из теоретического объяснения и описания всего, что относится к субъекту, средствам и операциям его познавательной деятельности.

Методология классической науки развивалась в русле этих представлений. Основное внимание она сосредоточивала на проблеме соотношения теории и опыта, причем теория рассматривалась как обобщение опыта. Предполагалось, что можно открыть единственно правильной метод, гарантирующий в любых ситуациях истинный путь к построению теории на основе фактов. В процессе революции в естествознании конца XIX — начала XX в. и последующего создания квантово-релятивистской физики был осуществлен переход к новому типу рациональности — неклассическому, осознанием которого стала неклассическая методология науки.

Этот тип рациональности исходит из того, что познающий субъект не отделен от предметного мира, а находится внутри его¹. Мир раскрывает свои структуры и закономерности благодаря активной деятельности человека в этом мире. Только тогда, когда объекты включены в человеческую деятельность, мы можем познать их сущностные связи. В свое время, говоря об особенностях нового этапа науки, В.Гейзенберг писал, что в процессе познания природа отвечает на наши вопросы, но ее ответы

¹ Подробнее о неклассической рациональности см.: Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырев В.С. Классика и современность: две эпохи в буржуазной философии // Философия в современном мире. Философия и наука. М., 1972.

зависят не только от ее устройства, но и от нашего способа постановки вопросов.

Поскольку и сама фрагментация мира в познании, и обнаружение сущностных характеристик объектов зависят от способа деятельности, постольку особенности средств и операций деятельности должны быть учтены в теоретическом описании мира. Возникает идея об относительности признаков познаваемого объекта к средствам и операциям его познания.

История квантово-релятивистской физики была своеобразной демонстрацией становления этого нового типа рациональности. И неклассическая методология в первую очередь ориентировалась на ее осмысление. В ней сформировались новые представления о возникновении теории, которые А.Эйнштейн сжато определил так: теория может быть навеяна опытом, но она не является результатом индуктивного обобщения опытных фактов. Неклассическая методология отказалась от идеалов классического периода: она уже не ставила целью поиск единственно правильного, абсолютного метода и построение на его основе единственно истинной картины мира. Возникли представления о многообразии методологий исследования, о зависимости тех или иных представлений о мире от характера методов и теоретических средств, о возможности и даже желательности эквивалентных описаний одной и той же реальности, поскольку развитие языка науки в процессе переформулировки уже созданных теорий вырабатывает средства для прорыва науки в новые предметные области.

В методологии неклассической науки акценты переносятся на изучение деятельностных структур, в которые включены объекты, на исследование операциональных оснований тех или иных онтологий, которые исторически сменяют друг друга в развитии науки.

Игорь Алексеев был поборником именно этого типа рациональности. Он много интересного написал по истории и методологии квантовой механики, и в частности истории идей дополнительности. В философии и эпистемологии науки он разрабатывал теорию деятельности и деятельностной природы научного знания. Для него очень важен был анализ не просто онтологических схематизмов объекта, таких его категориальных представлений, как «пространство», «время», «причинность» и т.д. Для него важно было, как развивается деятельность че-

ловека и как онтологии формируются коррелятивно структурам этой деятельности. Этот тип методологического анализа дал много новых результатов в исследованиях 70-х годов, и я считаю, что это были весьма важные результаты.

Дискуссии, которые характеризовали научную жизнь сообщества философов естествознания, постепенно сдвигались к обсуждению проблем структуры и динамики науки в контексте человеческой деятельности. Причем в рамках деятельностного подхода складывались различные направления анализа, сторонники которого полемизировали между собой.

По ряду вопросов у меня были разногласия с Игорем Алексеевым. Они касались понимания философии деятельности.

И.С.Алексеев отстаивал подход к деятельности как к первичной субстанции. Он даже полушутя-полусерьезно именовал себя субъективным материалистом, полагая, что, по аналогии с классификацией «субъективный» и «объективный» идеализм, целесообразно ввести разделение материалистов на две категории: объективных, считающих первичной материю, и субъективных, для которых первична субстанция деятельности.

Я довольно скептически относился к этим идеям, полагая, что субстанциональный статус человеческой деятельности можно допускать только при характеристике общества, но для деятельности всегда нужна внешняя среда, в которую она погружена и на которой она развивается. Деятельность фрагментирует эту среду, формируя из ее материала свои предметные структуры. Но она не может считаться первичной по отношению к среде, а значит, и не может выступать в качестве основы мироздания.

Другой вопрос: как строить онтологию внешнего мира? Здесь мы оба разделяли точку зрения, что любые человеческие представления о структуре мира, которые складываются и развиваются в исторической эволюции познания, представляют собой взгляд на мир сквозь призму деятельности. Была у нас общая позиция и при рассмотрении концептуальных структур теоретического мышления. Мы их рассматривали прежде всего как своеобразную свертку деятельности и стремились выявить их операциональные аспекты.

В процессе наших споров часто возникали вопросы, ответ на которые внешне казался очевидным, но при более углубленном рассмотрении они оборачивались довольно серьезными эпистемологическими проблемами. Так, в одной из совместных дискуссий мы начали обсуждать вопрос о том, какой смысл вкладывает исследователь в утверждение, что луна и звезды существуют как объекты независимо от человеческой деятельности? Если наш способ фрагментации мира определен уровнем исторического развития практики, то как это проявляется по отношению к астрономическим объектам? Как вообще быть с объектами, которые мы фиксируем путем непосредственного наблюдения? Где тут деятельность? Можно ли интерпретировать в терминах деятельностно-практического отношения к миру наблюдения за Луной, Солнцем, звездами, туманностями и т.д.?

Все эти вопросы, возникшие в дискуссиях с Игорем Алексеевым, стимулировали одно из моих решений, которое я опубликовал еще в 1970 г., а затем развил в своих книгах середины 70-х годов. Можно показать, что любое систематическое наблюдение в астрономии имеет прямые аналогии с практикой эксперимента, поскольку характеризуется построением приборной ситуации. Признаки, по которым в систематическом наблюдении фиксируются объекты астрономии, выявляются операциональной структурой приборной ситуации. Приведу для пояснения пример наблюдений за источником рентгеновского излучения в Крабовидной туманности. Чтобы установить характер этого источника (является ли он точечным, или на него накладывается излучение всей туманности), регистрировалось изменение интенсивности излучения в момент покрытия Крабовидной туманности Луной. В этом наблюдении Луна использовалась в функции экрана, который позволял выделить из многочисленного переплетения природных взаимодействий именно те, которые интересовали наблюдателя. Взаимодействие Луны, наблюдаемого объекта (изучение «Краба») и приборов-регистраторов на Земле можно уподобить работе гигантской приборной установки, а само использование природных объектов в функции приборных устройств обозначить как конструирование приборной ситуации. Тем самым унифицировалось рассмотрение объектов и концептуальных структур любой опытной науки: они

представали как данные в форме практики, как результат деятельностного отношения человека к миру.

Интересно, что следы наших дискуссий, правда в ином преломлении, можно найти и в работах Игоря Алексеева. В его статьях середины 70-х годов также анализировались проблемы существования объектов, которые даны непосредственно в наблюдении. Игорь стремился решить эту проблему с позиций представлений о субстанции деятельности.

С его точки зрения, существование Луны, звезд как объектов-носителей некоторых признаков определено их включенностью в структуры деятельности. Кажется, что такая довольно жесткая позиция слишком субъективна. Предпочтительнее было отстаивать тезис об относительности объекта к структурам деятельности в ослабленном варианте — а именно, что деятельность выделяет из бесконечного набора актуальных и потенциальных признаков объекта только ограниченный подкласс этих признаков, и в этом смысле, поскольку объект зафиксирован по ограниченному набору признаков, он предстает в качестве конструкта, схематизирующего и упрощающего действительность.

Но Игоря не удовлетворял этот вариант, и он шел дальше в своей концепции. Он полагал, что любые наблюдаемые объекты вне деятельности не существуют. Его упрекали в повторении идей Авенариуса о принципиальной координации, не замечая, что здесь формулировались чрезвычайно глубокие и тонкие философские проблемы. Это — проблемы структуры мира и разграничения искусственного и естественного в объектах, с которыми сталкивается человек.

Можно допустить, что объекты, которые включаются в деятельность, существовали до и независимо от нее и что деятельность не формирует, а только выявляет то, что присуще объектам. Но можно предложить и другое решение. Мир не состоит из стационарных объектов как вещей, обладающих актуально данными свойствами. Он скорее набор потенциальных возможностей, лишь часть которых может актуализироваться. Деятельность реализует те возможности, которые не актуализируются в природе самой по себе. Она создает объекты, подавляющее большинство которых не возникают естественным путем. Для этого утверждения есть весьма веские основания, поскольку природа не создала ни колеса, ни автомобиля,

ни ЭВМ на кристаллах, ни кухонного стола — она создает лишь аналоги такого рода устройств, но не сами эти устройства; их возникновение не противоречит законам природы, но в естественной эволюции вне человеческой деятельности их возникновение чрезвычайно маловероятно. Но тогда придется сделать вывод, что человек в деятельности сталкивается только с искусственными объектами, которые он сам конструирует. А так как в познании он понимает и осмысливает мир сквозь призму своей деятельности, то все объекты и все структуры, которые он выделяет в мире, являются продуктами его собственной активности. Концепция Игоря Алексеева, на мой взгляд, тяготеет именно к этому варианту решения проблемы соотношения искусственного и естественного.

Правда, в таком языке, который я использовал для описания второго подхода, И.С.Алексеев не выражал своих позиций. Но его идея первичности деятельности и ее рассмотрения в качестве субстанции в принципе может быть интерпретирована в терминах этого описания.

Отмечу, что второй подход, о котором идет речь, имеет глубокие корни в истории философской и естественнонаучной мысли. В частности, его отстаивал известный французский ученый и философ Г.Башляр. Он полагал, что все объекты, с которыми сталкивается человек в научном исследовании и в практической деятельности, — это искусственные системы. Согласно Башляру, в природе нет ни химически чистых веществ, которые мы получаем в эксперименте и в промышленном производстве, нет электронов, которые исследователь фиксирует в масс-спектрографе и т.д.

Таким образом, концепцию существования, которую развивал И.С.Алексеев, не так уж просто было опровергнуть. Во всяком случае она в обостренной форме ставила весьма актуальные философские проблемы.

Кроме философских и общеметодологических вопросов, мы обсуждали много проблем истории науки. Игорь Алексеев увлеченно исследовал историю квантовой механики, вначале ее достаточно зрелую стадию, связанную с утверждением принципа дополнительности, а потом и более ранние этапы — открытие кванта действия. Его реконструкции были интересны и содержали нетривиальные идеи.

Разумеется, Игорь развивал свою концепцию не только в спорах со мной, но и с другими людьми. Он был от-

крыт как исследователь, любил различные дискуссии, что не мешало ему быть внутренне сосредоточенным, не разбрасываться, а целенаправленно разрабатывать свою исследовательскую программу. Но при этом он никогда не цеплялся за старые идеи, если убеждался в том, что они не соответствуют фактам либо могут быть сняты в рамках нового, более эвристичного подхода.

Он никогда не прибегал к вненаучным уловкам, чтобы выиграть спор. В дискуссиях, как и в своих статьях и книгах, он был честен и если менял позицию, то четко это фиксировал.

Показательна в этом отношении была его оценка перспектив концепции дополнительности. Он убедительно показал, что в этой концепции обнажается деятельностная структура физического знания, и поэтому видел в ней исследовательскую программу, которая определяет магистральный путь будущего развития физики.

Известный спор Эйнштейна и Бора И.С.Алексеев оценивал как столкновение классического и неклассического подходов. Он считал, что стремление Эйнштейна к поиску единой картины квантовых процессов, которая снимала бы дополнительные описания реальности, было бы шагом назад, возвратом к классическому типу мышления.

Однако затем, в начале 80-х годов, когда обозначились новые успехи в развитии квантово-полевых программ, Игорь Алексеев пересмотрел свое отношение к эйнштейновским идеям, от которых шел импульс к исследовательским программам Великого объединения.

Я помню его ясный и четкий доклад на конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Дж.Максвелла, в котором он глубоко проанализировал программы Бора и Эйнштейна и показал, почему он пересматривает прежние свои решения.

Именно эта способность И.С.Алексеева к развитию оснований концепции, к постоянному поиску и генерации идей позволила ему достаточно легко включиться в новый круг проблем в конце 70-х — начале 80-х годов, когда в философии и методологии науки началось расширение ее тематики. Изменение проблемного поля методологических исследований происходило в этот период не только у нас, но и в зарубежной философии науки. На передний план вышли проблемы социокультурной обусловленности научного познания, анализ взаимодей-

ствия науки с другими феноменами человеческой культуры, исследование познавательных процедур в связи с исторически меняющимися ценностями и мировоззренческими ориентациями.

Тесное взаимодействие эпистемологии, методологии и истории науки дополнилось их синтезом с социологией и культурологией научного познания.

Это был переход к новому этапу методологических исследований, который я называю постнеклассической методологией науки. Она выражала реальные изменения, произошедшие в науке последней трети XX в., и тенденции к формированию нового, постнеклассического типа научной рациональности.

Интенсивное применение научных знаний практически во всех сферах социальной жизни, изменение самого характера научной деятельности, связанное с революцией в средствах хранения и получения знаний (компьютеризация науки, появление сложных и дорогостоящих приборных комплексов, которые обслуживают исследовательские коллективы и функционируют аналогично средствам промышленного производства и т.д.), — все это формирует новый облик научной деятельности. Наряду с дисциплинарными исследованиями на передний план все более выдвигаются междисциплинарные и проблемно-ориентированные формы исследований. Если на предшествующих этапах наука была ориентирована прежде всего на постижение все более сужающегося, изолированного фрагмента действительности, выступающего в качестве предмета той или иной научной дисциплины, то специфику современной науки определяют комплексные исследовательские программы, в которых принимают участие специалисты различных областей знания. Организация таких исследований во многом зависит от определения приоритетных направлений, их финансирования, подготовки кадров; научные же приоритеты, наряду с собственно познавательными целями, все больше определяются целями экономического и социально-политического характера.

В процессе комплексных программно-ориентированных исследований сращиваются в единой системе деятельности теоретические и экспериментальные, прикладные и фундаментальные знания, интенсифицируются прямые и обратные связи между ними.

Объектами современных междисциплинарных исследований все чаще становятся уникальные системы, характеризующиеся открытостью и саморазвитием. Такого типа объекты постепенно начинают определять и характер предметных областей основных фундаментальных наук.

Среди саморазвивающихся объектов особое место занимают системы, включающие человека в качестве особого компонента. Примерами таких систем выступают медико-биологические объекты, ряд крупных экосистем и биосфера в целом, объекты биотехнологии (в первую очередь, генетической инженерии), системы «человек — машина» (включая компьютерные сети и будущие системы искусственного интеллекта) и т.п.

При изучении «человекообразных» систем поиск истины оказывается связанным с определением стратегии и возможных направлений преобразования системы, что непосредственно затрагивает гуманистические ценности.

В этой связи трансформируется идеал «ценностно нейтрального исследования». Объективно истинное объяснение и описание применительно к «человекообразным» объектам не только допускает, но и предполагает включение аксиологических факторов в состав объясняющих положений.

В явном виде начинает осуществляться своеобразная состыковка специфических для науки ее внутренних ценностных установок (установка на поиск предметного и объективно истинного значения, ценность новизны) с ценностями общесоциального характера.

Конкретным механизмом такой состыковки служат социально-гуманитарная и экологическая экспертиза крупных научно-технических программ, когда прослеживаются возможные последствия реализации программы под углом зрения гуманистических ценностей и решения глобальных проблем.

Все эти особенности современной научной деятельности приводят к существенным модернизациям исследований в области философии науки. В ней появляется пласт проблем, связанный с новым видением самой науки — она начинает анализироваться в контексте особенностей ее социального бытия как части жизни общества, детерминированная на каждом этапе своего развития состоянием культуры данной исторической эпохи, ее

ценностными ориентациями и мировоззренческими установками.

Игорь Алексеев весьма чутко реагировал на все эти новые проблемы методологических исследований. Он интуитивно увидел в них не отказ от деятельностного подхода, а его новое видение и новые перспективы.

Глубокую справедливость этой точки зрения сегодня можно обосновать концептуально. Если на этапе неклассической методологии науки внимание концентрировалось на объектных структурах деятельности (средства, операции с объектом), то в постнеклассической методологии требуется, кроме этого, учитывать особенности субъектных структур деятельности в их историческом развитии: особенности субъект-субъектных коммуникаций, целей и ценностей деятельности, их соотношения с доминирующими ценностями культуры определенного исторического типа.

Новые приоритеты философии науки ориентированы на исследование глубинных оснований человеческой культуры и жизнедеятельности, связей с ними динамики научного знания. Игорь Алексеев называл это программой «обмирщения» философии науки. В последние годы жизни он активно занимался данной проблематикой, готовил новую книгу, но, к сожалению, не смог ее дописать.

Сегодня многое из того, что происходило в 60–80-е годы, уже принадлежит истории. Происходит определенное изменение приоритетов в системе наших философских исследований.

Вслед за философией науки и историей философии, которые раньше других освободились от идеологического процесса, в наше время резко возрос интерес к социальной философии, философской антропологии, глубинным проблемам человеческого бытия. В свою очередь, это оказывает влияние на область философских исследований научного познания. Они все больше тяготеют к анализу человеческой размерности науки, путей и средств гуманизации научно-технического прогресса, выявлению структуры ценностей техногенной культуры, в которой сформировалась и развивалась наука.

Глобальные проблемы и кризисы, с которыми столкнулась на рубеже двух столетий техногенная цивилизация, создали угрозу самому существованию человечества. Очевидно, что на прежних основаниях цивилизация уже

не может развиваться. Все острее выдвигается проблема поиска новых ценностей, анализа тех областей культурного творчества (включая и науку как особую сферу культуры), где уже происходят изменения традиционных ценностных структур и формируются новые мировоззренческие ориентации.

Все эти проблемы предстоит решать новому поколению философов.

И я надеюсь, что оно не повторит прошлых ошибок, прерывая нити лучших традиций, заложенных предшествующими поколениями.

В советской философии было немало ярких личностей, к числу которых, бесспорно, принадлежал и Игорь Алексеев. Их идеи оказали огромное влияние на развитие нашей философии. Но не меньшее социальное значение сегодня обретают продемонстрированные ими образцы высокопрофессиональной работы и ответственности в поисках истины.

*И.С.Алексеев.
Деятельностная концепция
познания и реальности.
Избр. труды по методологии
и истории физики. М., 1995*

Давид Бенъяминович Зильберман
(1938—1977)

Философ, специалист в области мета-философии и истории индийской философии, автор оригинальной концепции модального методологизирования. В последние годы жизни работал в США (Бостон).

Соч.: Приближающие рассуждения между тремя лицами о модальной методологии с суммой метафизики // Russia. 1980. № 4; The Birth of Meaning in Hindu Thought. Dordrecht, 1988; Традиция как коммуникация: трансляция ценностей, письменность // Вопросы философии. 1996. № 4; Генезис значения в философии индуизма. М., 1998.

Е. Н. Гурко

«ФИЛОСОФОЛОГИЯ»
ДАВИДА ЗИЛЬБЕРМАНА

«Это волшебное чувство:
прикасаешься к пеплу,
и он от прикосновения
вспыхивает алмазом».

Д. Зильберман

Современная западная философия, как известно, насквозь пронизана эсхатологическими мотивами; хлеб апокалипсиса уже давно здесь философский хлеб насущный. Можно спорить, кто ввел то, что Жак Деррида называет «апокалиптическим тоном в философии»¹ — сам ли Деррида, или Хайдеггер, либо, еще раньше, Ницше, Маркс или Кант. Вполне очевидно, однако, что идея конца философии и философствования прижилась здесь всерьез и надолго. Но конец ведь еще и смерть, замечает

¹ *Derrida J. D'un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie. Paris, 1992.*

Деррида в своих «Призраках Маркса»¹. То, что стало столь модным в современной философии, — это похороны философии, со всеми полагающимися данному случаю аксессуарами — поминанием, погребальным звоном, призраками и чувством невозвратимой утраты.

И все же — всегда ли конец есть непременно и погребение? Почему не предположить возможность философствования как «концеведения»? Как ни проста может показаться эта идея, ее последовательная реализация требует чрезвычайно радикального пересмотра и самой сущности философии, и способов ее функционирования (если, конечно, представить философию не призраком, а полножизненной бытийственностью). Об этом с полной убедительностью свидетельствует философская система, грандиозная как по замыслу, так и по исполнению, разработанная русско-американским философом Давидом Бениаминовичем Зильберманом (1938 — 1977).

Давид Зильберман представляет собой, несомненно, уникальное явление современной мировой философии, да, пожалуй, и не только современной. Он, по свидетельству Романа Якобсона, был истинным экспертом в сравнительном анализе древнегреческой, классической немецкой, французской и английской философии с восточными философскими традициями (особенно индийской мыслью, от ведического периода до современности), обладал глубокой эрудицией и оригинальными, хорошо фундированными концепциями по большинству различных исторических проблем семиотики, от античности до современности, великолепно знал тексты индийской и греческой философии, тонко понимал их терминологию, фразеологию и содержание, прекрасно ориентировался в исторических и методологических проблемах логики, лингвистики, социологии, антропологии и религиозной мысли, в истории и современности русской философии, равно как семиотике и антропологической теории в России².

Уникальность Д.Зильбермана — не только в поразительном разнообразии исследовательских интересов и не-

¹ *Derrida J. Les Spectres de Marx. Paris, 1993. P. 15.*

² *David Zilberman Archive in the Mugar Library of Boston University. Annotated Catalogue of David Zilberman Archive at the Mugar Memorial Library of Boston University. Boston, 1994, prepared by Helena Gourko, 6.1.1.*

вероятной эрудиции, но и в эволюции, которая позволила ему взглянуть на мировую философию глазами классического индийского философа (чрезвычайно сведущего и во всех прочих философских традициях, что, безусловно, выделяет его также из ряда крупнейших представителей классического индуизма). Как замечает Д.Зильберман в своей краткой автобиографии, фундаментальное знание индийской философии он приобрел прежде того, как прочел Платона¹. Он был учеником выдающегося русского индолога, академика Б.Л.Смирнова и своей основной специализацией почитал классическую индийскую философию, в особенности адвайта-веданту Шанкары.

Грандиозные познания Д.Зильбермана, уникальность его исследовательской перспективы, необычайная острота ума и то, что он сам называл «высокой степенью мистической одаренности», позволили ему оставить глубокий след практически во всем, чем он занимался. И все же основными своими результатами Д.Зильберман считал новый метод философствования («модальное конструирование») и философскую систему, разворачивающуюся из применения этого метода. Он именовал свою систему по-разному — «философологией (наукой о философиях)», «концеведением», «философской эсхатологией», «модальной методологией», «новым философским синтезом», «большой метафизикой», «суммой метафизик (или философии)» и, по-видимому, не был вполне удовлетворен ни одним из этих названий, так или иначе оказывавшимся узким для того, что он делал. Пожалуй, больше других Д.Зильберман жаловал термин «сумма философии», по типу теологических сумм, а свое философское предприятие сравнивал с великим схоластическим синтезом, осуществляемым, однако, на совершенно иных принципах и основаниях.

То, в чем сходятся все комментаторы, оценивающие «философскую сумму» Давида Зильбермана, так это ее необычайный для современной философии характер — характер универсального философского синтеза, сравнимого по масштабам систематизации с конструкциями

¹ *David Zilberman Archive in the Mugar Library of Boston University. Annotated Catalogue of David Zilberman Archive at the Mugar Memorial Library of Boston University. Boston, 1994, prepared by Helena Gourko, 2.6.10.*

Аристотеля, Канта или Гегеля. Как отмечается в предисловии к одной из немногих работ Д.Зильбермана, опубликованных в России, система его философствования не имеет аналогов в западной философии со времен Канта и сравнима лишь с универсальными философскими системами прошлого¹. В другой оценке творчества Д.Зильбермана также говорится о том, что его система не укладывается в современное философствование (озабоченное преимущественно проблемами формы и выражения, тогда как интерес Д.Зильбермана полагается здесь как направленный в сферы содержания и сущности), и делается вывод, что его философия есть новейшая в западной философии попытка универсального синтеза прошлых и современных концепций с позицией автора².

Как ни высоки эти оценки, они верны лишь отчасти — в той части, что касается «западной» составляющей философствования Д.Зильбермана, точнее, фиксирует рядоположенность его концепций крупнейшим системам здешней философии. Замысел «философологии» — намного шире и затрагивает универсальные характеристики любого философствования. Поскольку потенциал философии в западной культуре оказался ослабленным (в силу многих причин, которые тщательно анализируются Д.Зильберманом), она не репрезентативна в качестве того, что он называл *Philosophia Universalis* и расценивал как реализацию философской «кармы». Если допустить, как это делает Д.Зильберман, что «кармическая отъявленность» философствования осуществилась в классических индийских философиях, становится понятной исходная интенция «философологии»: создать некоторую концептуальную конструкцию, способную заполнить разрыв между западным и индийским мирами философствования³, равно как и ее цель — инициировать новый философский синтез, с установкой, которая никогда прежде не задавалась (по крайней мере, в западной культуре): а именно, что история философии отнюдь

¹ Левада Ю.А. Введение к: Зильберман Д. К семиотике понимания культурных традиций // Народы Азии и Африки. М., 1988. С. 129.

² Пятигорский А.М. О философской работе Д.Зильбермана // Россия. № 4. 1980. Турин. С. 272.

³ Zilberman D. The Birth of Meaning in Hindu Thought. D.Riedel Publishing Company: Dordrecht—Boston—Lancaster—Tokyo, 1988. P. 66.

не завершена — напротив, ее истинная история еще и не начиналась¹.

Применительно к классической индийской философии эта целевая установка несколько модифицируется, с учетом того, что жизнь философии там как раз сложилась и как будто бы даже и завершена (и в доктринальном, и в культурном планах); это, однако, не отменяет выходов в пост-системное ее существование, в то, что Д.Зильберман называет **Philosophia Universalis**. Хотя эти выходы осуществлялись до сих пор индийскими философиями автономно и были инициированы задолго до появления самой идеи «философологии», заслуга Д.Зильбермана — в самой концептуализации этого движения, в артикулировании конкретных механизмов его реализации и в обнаружении, в качестве результатов этого движения, особой сферы философского бытия («текстуры», о чем ниже).

Важно заметить, что эти два направления анализа Д.Зильбермана — индийской и западной философии — ни в коей мере не изолированы друг от друга, хотя и не сводятся им к обычной практике поиска сходств и различия. Интенцией Д.Зильбермана является работа в рамках «сравнительной философии», каковая, в предложенном им варианте, призвана выявлять фундаментальные черты любого философствования, универсальные в любых культурах и исторических эпохах. Пожалуй, именно это — самое впечатляющее во всем философском замысле Д.Зильбермана, равно как и то, что, по его признанию, в предлагаемом им завершении избранность философствования (удела немногих, согласно Платону) ограничивается им самим². Здесь — отнюдь не намек на предельный эзотеризм (хотя концепции Д.Зильбермана чрезвычайно сложны для понимания), равно как и не претензия на философский Олимп (хотя с присущей ему иронией Д.Зильберман и сравнивал свое философское предприятие с восхождением на Эверест и последующим спуском с него босиком), а констатация того очевидного для Д.Зильбермана факта, что философия отнюдь не исчерпала свои потенции (а в западном ее варианте —

¹ *Zilberman D. The Birth of Meaning in Hindu Thought.* D.Riedel Publishing Company: Dordrecht—Boston—Lancaster—Tokyo, 1988. P. 2.

² *Zilberman Archive. 5.1.1/3. P. 3.*

даже и не приступила пока к их реализации), что, следовательно, возможно открытие новых размерностей философской мысли, и время подобных открытий, наконец-то, пришло. Причем не только для западной философии, где реализации кармы не случилось вовсе, но и для индийской философии, кармически вполне благополучной, вообще — для любой философии, в той мере, в какой она отработала все свои фундаментальные рефлексии и, соответственно, наработала корпус своих основополагающих текстов («изошла в текстах», создав, тем самым, свою собственную предметность и освободившись для себя самой). Вот тогда и становится возможным истинное бытие философии, существование ее в новых размерностях мысли — когда в ней «опустошился Логос», когда «наступил конец». Истинная философия (просто философия, ибо предикат истинности здесь неуместен) может существовать, таким образом, только в форме «концеведения» — как философская эсхатология. Этим, однако, не отменяется вся предшествующая философия — напротив, она-то как раз и составляет предметность философской эсхатологии. Как это возможно?

* * *

Когда Д. Зильберман рассуждал о дидактической, «доносительской» стороне своего философского мероприятия, он отмечал, что «для успеха здесь нужен однократный, но радикальный поворот в умах слушающих: они должны понять смысл описываемых действий, и тогда завяжется нить общения»¹. Условием подобного переворота представляется готовность отказаться от устоявшихся представлений и способность поразмыслить о достаточно простых, казалось бы, вещах — что есть философия, какова ее предметность, методы и результаты. Непредвзятое рассуждение на этот счет обнаруживает весьма любопытную ситуацию, по крайней мере, в западной культуре.

«Помнится, я несколько раз говорил Вам по разным поводам, — отмечает Д. Зильберман в своем письме, — что составляет предмет моего непреходящего изумления вот уже два года. Философия дожила, как говорится, до

¹ Zilberman Archive. 5.1.1/2. P. 1.

седых волос (если начать отсчитывать ее век от Платона), но до сих пор не удосужилась заняться самой собой. Как ни перерывал я ее историю, не обнаружил ни одного намека на то, чтобы философы не только что занимались философией, но даже заикнулись о постановке подобной задачи. Здесь обманчивое выражение: "занимались философией". Конечно, каждый философ по-своему занимается философией; но ни единый не занялся философией. То есть я переношу ударение с глагола на предметность. Нет предмета "занятия философией". Занимались моралью, обществом, государством, человеческой душой и поведением, физикой, биологией, богом и богословием, познанием, самими собой, наконец, но никогда — философией. Потрясающая сила этого стремления не быть "собой". По-человечески это так понятно¹. Это — снятое от интересубъективности, это — обращение к другим в надежде на сообщительность. Философ широко вещает на тему, которая, как кажется, может заинтересовать всех или многих (скажем, Платон — о нравственности, Гуссерль — о кризисе наук и т.п.). Но, во-первых, эта занятость чужими проблемами не рефлексивна, а естественна, во-вторых, философ не искренен в своем убеждении, будто эти темы интересны ему в том же смысле, что и другим; этим он мешает собственному самосознанию. Однако отвратиться от чуждой тематики философия, по крайней мере западная, так и не сумела.

То, что философия была не в силах сделать сама, оказалось осуществленным внешними силами — теми самыми сферами интеллектуальной активности, которые затребовали свою предметность обратно. Именно потому, замечает Д. Зильберман, что философия по праву вытеснена из всех предметных областей, можно всерьез говорить о «чистой философии», не рискуя забрести назад в эмпиризм, натурализм, социологизм и идеологию². Хотя, добавляет он, возможность конструирования такой философии есть возможность действительная, не зависящая от благоприятных или неблагоприятных обстоятельств, возможность, уже реализованная однажды в истории, пусть и не в столь драматической ситуации (ситуации «короля Лира») — в классической индийской культуре. Эта возможность осуществляется тогда, когда философия обна-

¹ Zilberman Archive. 5.1.1/3. P. 1.

² Ibid. 5.1.1/10. P. 1.

руживает собственный, лишь ей присущий предмет исследования и разрабатывает методы анализа, соответствующие этой предметности. Философия как «концеведение», таким образом, вовсе не обязательно — знамение катастрофы, как в современной западной культуре; в классической Индии она становится знаком расцвета всей цивилизации, условием ее существования и гарантом выживания. Здесь случилось то, что Д.Зильберман называет «индийским чудом» — создана универсальная философия, претендующая на решение всех возможных философских проблем и действительно разрешающая их в замкнутой вселенной своего знания¹.

Классическая индийская философия, как известно, насчитывает шесть взаимодополнительных философских систем — даршан — самкхью, ньяю, веданту, мимансу, вайшешику и йогу; в отношении особой дополнительности к ним находится буддизм. Исключительность индийских философов как представителей всех этих систем, по Д.Зильберману, «в том, что они единственные открыли в философской материи (...) принцип духовной организации, при котором философские системы, как лица, наклонены друг к другу в вечном и автономном зеркальном глядении». «В том-то и эффект потрясшего меня открытия, — продолжает Д.Зильберман, — что и объяснять-то их в раздельности я далее не могу, и слить их в единую господствующую духовную емкость не в состоянии... Самое трудное здесь: наличие зеркальности при отсутствии персональности. Затем, то, что приходится говорить о наклонении систем, а не о моментах одной системы, как, скажем, у Гегеля. Этим сразу раздвигаются привычные рамки философствования, и, в придачу к автономии предмета, отыскивается источник бессчетного рода духовных состояний»².

Наклонение систем, с эффектом зеркальности, означает, что в поле зрения каждой из них попадает лишь «отмысленное» содержание соседних систем (включая и свое собственное содержание, реверберированное другими даршанами), так что «все отражается во всем, и число проекций — бесконечно». Такая многопозиционность возможна лишь при одном условии — что эти системы не стремятся к рефлексии мира, природы, Бытия,

¹ The Birth of Meaning. P. 330.

² Zilberman Archive. 5.1.3/4. P. 1.

социума, вообще чего бы то ни было внешнего относительно их самих. В даршанах начисто отсутствуют натуральные объекты опыта, вообще натуральность любого рода (включая и сознание в осуществляющей интерпретации западной философии). Вот почему даршаны — предметы себя самих. Видимо, в понимании этой внутренней, ненатуральной природы философии, равно и как и ее «самопредметности», — залог того радикального поворота интерпретации, о котором говорил Д. Зильберман.

«Зародыш развиваемого мною, — замечает Д. Зильберман, — в простой мысли Шанкары о сверхъестественном как реальном не только в содержании, но и в форме. Сверхреализм мысли об Абсолюте — в том, что, помышляемый средствами Разума, он заумен не в каком-либо "онтологическом" смысле, а именно в материи самого этого, только что сделанного заявления. То есть, только что высказанное по содержанию нужно обратить на самую форму высказанного и уличить его в нем же»¹. В ситуации, разбираемой Шанкарой, мышлению предлагается заведомо нереальная задача: описать Абсолют, т.е. Брахмана, непригодными (ибо не абсолютными, а сотворенными) средствами — средствами языка. При решении этой задачи мышление выдвигает все эшелоны своих изобразительных средств с тем, чтобы в конце концов превзойти язык как средство коммуникации и прийти к отрицанию «физики языка» посредством осознания себя Брахманом и достижения, таким образом, абсолютного знания².

Аналогичный случай разбирается Шанкарой в «Катха-Упанишаде»: речь идет о знании посмертного существования, обретаемом индивидом прежде самой смерти, знании, которое даже богам не под силу, ибо есть само-сознание. То, чему поучает Бог Смерти Яма пришедшего к нему с вопросом о посмертном существовании (и обреченного смерти) Накичетаса, есть «спхота», обозначаемое, как смысл мира, заслоненный самим же этим миром в теле слова. Обозначаемое, «спхота» — не слово и не звук речи, а существенный, безначальный материал всех мыслей и именований, равно как и деятельность ми-

¹ Zilberman Archive. 5.1.3/7. P. 1.

² Зильберман Д. Учение Шанкары об интуиции и организация философского знания с целью восприятия трансцендентного // Zilberman Archive.

ротворения из этого материала. Образчик этой деятельности представлен в священном слоге АУМ (ОМ). Опираясь на АУМ (в котором представлена минимальная смысловая матрица, «изначальное слово», А/льфа и Ом/ега смыслоразличения), мышление отслаивает от себя идеи о рождении и смерти, о причинении, изменениях и т.п. Так Начикетас получает единственно верный ответ на свой вопрос о существовании после смерти: поскольку это состояние не является ни одним из умственных состояний, оно не сопрягаемо ни с одним из словесных описаний. Это не означает, однако, что оно не реально: описание «себя» получается изъятием всех описаний «не-себя». «Знающий себя не рождается. Не умирает. Не возникает ни из чего, ничто не возникает из него. Нерожденный, вечный, непреходящий и древний, он не гибнет с гибелью тела»¹.

Восприятие подобных рассуждений весьма затруднено в западной философии, более того, по признанию Д.Зильбермана, они «вполне невыносимы» философствующим в этой культуре², хотя интенция такого анализа как будто бы должна была уже прижиться здесь, по крайней мере, со времен Шеллинга и Гегеля. «Философия в именительном падеже», «чистая рефлексия» как отвлеченное (от всякой натуральности) и претендующее на абсолютность философское самосознание необходимо полагает в качестве своей предпосылки готовность заниматься философским сознанием как никоим образом не зависящим от *sensibilia* и не сводимым к объектам перцепции. Однако радикального очищения рефлексии в западной философии не только не случилось, но и не было возможным пока, — по причине, которая определяется Д.Зильберманом как неразличение средств и объекта философствования, иначе — «склеивание» языка и «знаниевых схем». Это «склеивание», называемое им «естественной установкой» (имманентой, по его словам, и библейской версии творения, и античной, равно как и всей последующей, философии западной культуры),

¹ Зильберман Д. О «Катха-Упанисаде» // Zilberman Archive. P. 8.

² Зильберман Д. Приближающие рассуждения между тремя лицами о модальной методологии и сумме метафизик // Zilberman Archive. P. 108.

проявляется в глубинной натуралистичности философского подхода.

Когда Декарт, а позднее Гегель, Гуссерль и другие западные философы совершили решительный переворот к сознанию и тем самым к внеопытности своего философствования, они не смогли удержаться в рамках этой интенцируемой ненатуральности: Декарт — постулированием модуса протяженности (натурализованного тем, что Декарт забывает сделать его объектом «радикального сомнения»¹ и, следовательно, усомнить его природную самодостаточность), Гегель — выводом Абсолютной Идеи в мир² (который, из-за особенностей гегелевской метафизики, стал именно продвижением Идеи в мир, а не конструированием этого мира и потому оставил Идею в пределах натурального), Гуссерль — анализом философской предметности как того, что делают философы западной культуры (тогда как проблема здесь как раз в том, что «делание чего-то философского до сих пор состояло исключительно из уверток делания философии предметом самое себя»³, так что натуральность проникает в феноменологию как редукция невозможного к существующему, отчего она — не менее натуральна, чем вышеперечисленные). Натуральность, в которой оказались укорененными эти концепции, относится преимущественно к физике языка (в том числе и в гегелевской системе, как показывает Зильберман), неуловимой в характерной для этой культуры ситуации «склеивания».

Хотя философия западной культуры и конституировала себя как «метафизика» (преодоление, превышение физики существования), она осталась натуралистичной в той мере, в какой не только не пыталась преодолеть «физику языка», но даже и не ставила такой задачи. Если и задумывались над вопросом о том, что есть жизнь (философии) после смерти тела, то смерть языка никак не предполагалась имеющей отношение к рождению и существованию подлинной философии.

«Отслаивание» языка от выражаемых им знаниевых схем вряд ли возможно в культуре, где философия принуждена де-натурализировать все аспекты своей деятельности самостоятельно, без сколько-нибудь существенного

¹ Zilberman Archive. 5.1.2/1. P. 2.

² Ibid.

³ Ibid. 5.1.2/1. P. 2.

содействия со стороны, — по типу того, к примеру, которое оказывается классической индийской философии Ведами. В «лингвистической Вселенной» Вед, разделяемой всеми жившими в классической Индии, все феномены де-натурализованы, а их смыслы — де-реифицированы, так что философия высвобождается для выполнения своих прямых функций — анализа собственного бытия как деятельностного самовоздвижения¹, равно как и установления вживе должствующего быть в мире философского знания². Реализация этих функций предполагает работу в трех сферах бытования философии — тексте, культуре и текстуре — и представляет собой то, что Шанкара называл «деятельностью миротворения».

«Вот хорошая иллюстрация, — замечает по этому поводу Д.Зильберман, — Господь создал человека по образу и подобию (своему). При падении в естество человек утратил подобие, сохранив лишь образ. Искусственная (философская) деятельность есть восстановление подобия, правда, лишь в мышлении. Получаются чудные мыслительные миры, с известных точек зрения отнюдь не совершенные и не понятные отчасти самому производителю мыслей, взывающему к кооперации»³ — миры философствования.

Бытийственность этих миров гарантируется тем, что Д.Зильберман определяет как «майю» или «трансцендентальную иллюзию» — искусственной творческой активностью, натурализованной в субъекте⁴. Майя есть природа деятельности сознания, которое всегда ложно относительно истинной природы (ибо возможности их корреляции по меньшей мере сомнительны, — даже для западной философии) либо внеположено, и как раз по причине этой ложности/внеположенности — активно. Активность сознания — не идеальна, ибо оно не идеализирует, нет здесь также и категоризации. Д.Зильберман поясняет это на примере своей собственной активности: «Я не идеализирую хотя бы потому, что нахожусь в... дореальном состоянии: мне нечего идеализировать. Я не категоризирую потому же: ничто не сгустилось в нечто определенное; туман нельзя прояснить — только рассе-

¹ Zilberman Archive. 5.1.8/1. P. 2.

² Ibid. 5.1.3/8. P. 2.

³ Приближающие рассуждения. P. 58.

⁴ Zilberman Archive. 2.1.35. P. 2.

ять... Что именно я делаю, как и зачем — своим модализированием? Это — нисколько не категоризирование по живому, идеализация от реального. Возьми как раз в обратном, совсем немислимом направлении. Это жизнь наваливается на меня категорически, своими разделенностями и несводимостями, а я перелагаю ее заданность в иное, непомыслимое, пролагаю ей совсем иные пути. То, что я делаю, — не идеализация, а сверх-реализация мышления. Модальная методология — сюр-реалистична по отношению к жизни, слишком идеальной для философского делания»¹.

«Сюр-реализм» «трансцендентальной иллюзии» — бытийственность не только философии, но и всего мира человеческого существования, в той мере, в какой он неприроден, не-натурален, подчас — невыразим, но всегда коммуницируем. Последнее — условие самой его реальности как бытия, не укорененного в натуральности природного существования и потому нуждающегося в ином основании своей валидности для многих (в идеале — всех, но обычно — весьма немногих, философов). Тот, кто может локализовать себя в этом мире (точнее — мирах), должен обладать способностью «отмысливания мира», «перевода существования в бытие», «трансцендентирования содержания жизни», так что сама жизнь для него станет «интеллектуальной работой в методологической рефлексии, т.е. понимающим мышлением». Понимание, возникающее при этом, — отнюдь не психологично, это — «онтологическое понимание», готовность «всепонимания», «полнота понимания всего: как в трансе, когда Вселенная вдруг высвечивает всеми связями всех частей своих, и нет в ней ни одного затемненного уголка, ни одной тени для выделения неподлинного знака»².

Сохраняющаяся при этом общительность (не приравниваемая, однако, к общезначимости) определяется тем, что сама способность «онтологического понимания» укоренена в структурах сознания, которые толкуются Д.Зильберманом как «структуры создания», разделяемые (точнее, задаваемые, ибо разделять их могут еще и многие другие) всеми теми, кто обладает «наклонностью к вживанию», — профессиональными философами.

¹ Zilberman Archive. 5.1.3/7. P. 1.

² Приближающие рассуждения. P. 69.

(Профессионализм здесь толкуется отнюдь не по-кантовски, т.е. не через определение границ философского разума, а через нахождение суммы всех возможностей философии, т.е. с учетом не только «всех мыслимых миров» (приравниваемых их «мыслимостью» к одному-единственному), но и миров «непомышляемых»¹, миров «вытворяемых субъектом сознания»².

Хотя в текстах самого Д. Зильбермана не удалось обнаружить точной номенклатуры структур создания, представляется, что они достаточно близки к тому, что он называл «философскими ролями» и сводил к «шестерице» способов творения (понимания), узнавания сюрреализованных структур сознания («Теоретик», «Логик», «Методолог», «Методист», «Эмпирик», «Феноменолог»). Достаточно сложно восстановить в деталях, как создавалась эта «шестерица», по причине того, что она вполне укладывается в шесть типов воззрений индуизма — даршан, — с которыми Д. Зильберман был знаком задолго до разработки «философологии». Примем поэтому тот способ объяснения, который дан в его книге «Генезис значения в философии индуизма», «шестерица» обнимает собой все возможные комбинации трех модальностей в двух позициях и как таковая не нуждается в эмпирическом обосновании (в том числе и исторически); совпадение же определяется тем, что именно в индуизме реализовался идеал философствования.

Появление модальности вполне логично в концептуализациях Зильбермана — ведь речь здесь идет об абсолютном философском творчестве, о созидающей активности, не ограниченной никакими натуральными пределами, а потому — о предельной свободе, каковая всегда модальна, ибо предполагает действия по собственному усмотрению, выбор из многих возможностей, актуализацию необходимости и потенцирование возможности. Три модальности считаются Д. Зильберманом достаточными для свободной игры философского творчества — деонтическая (необходимость, N), аподиктическая (актуальность, I), гипотетическая (возможность, V). Схема модальностей у Д. Зильбермана строится по типу «тройственной», «тернарной» оппозиции адвайты (= «недуалистической») веданты, в отличие от западной философии с

¹ Zilberman Archive. 5.1.3/8. P. 4.

² Ibid. 5.1.3/8. P. 3.

ее моделью «дуальной оппозиции». Концептуализация истины (ни в коей мере не референциальной, что важно) в веданте полагает три уровня — абсолютной истины (А), конвенциональной истины (Б) и абсолютной не-истины (В); последний может быть сведен ко второму, если окажется рефлекслируемым, но обычно исчезает с горизонта конкретного анализа, уходя в знаменатель модальной формулы:

$$\frac{(A)B}{B}$$

(Существенно, что эта формула — лишь матрица, точнее, образец модализации, конкретные же случаи могут иметь каждую из указанных Зильберманом модальностей находящейся в позициях А, Б или В.)

Понимание этой схемы, равно как и модальности как таковой, крайне затруднено в западной философии из-за уже упоминавшейся склейки языка и знаниевых схем, которая выступает здесь в форме субъект-объектной разделенности, не приемлющей модального к себе отношения. Модализация же разрушает иллюзорную субъект-объектную схему, причем делает это двойной референцией: возможного, существующего или необходимого положения того, по поводу чего концептуализируется истина, и субъекта, осознающего себя как намеревающегося сообщить нечто по этому поводу другому субъекту (или субъектам), в форме, соответствующей той или иной модальности. Подобное умножение субъектов коммуникации само по себе способно привести к разрыву связки языка и мыслительных схем (возможной только в рамках одного субъекта), усиленное же признанием полнобытийственности всех модальных миров (как равно ненатуральных), оно результируется в открытии новых размерностей мысли, точнее, способов их концептуализации, конкретного «философского делания». Здесь — техника, как об этом предпочитал говорить Д. Зильберман, не имеющая, однако, ничего общего с модальными исключениями классической и современной западной логики.

Техника эта многопланова, ибо охватывает три предметных уровня философствования (текст, культура, текстура), распределена в историческом времени (исходного творения и последующего слежения за драматургией философского творчества, причем на всех трех

уровнях предметности), разнесена по «шестерице» «философских ролей» (по каждой в отдельности и всем возможным комбинациям их друг с другом, и опять на разных уровнях предметности), разнится в зависимости от применения в разных типах философствования (модально-отъявленного, т.е. истинно-модального, и того, где подлинной модализации не случилось, как западной философии, например), представлена особо в модальной методологии как первой своей сознательной концептуализации, предполагает разные способы концептуализации (среди которых немаловажное место принадлежит «запланированному непониманию», абсурдизации в иное) и, вполне возможно, содержит многое иное, что либо не замечено комментатором, либо не артикулировано Д.Зильберманом, либо принципиально не поддается артикуляции.

Условием осмысления техники модализации (иначе — «философского делания») представляется разделяемый всеми последователями индуизма «принцип двойного знания», согласно которому существует «трансцендентальное» (*paramartha*) и «трансактивное» или «практическое» (*vyavaharika*) знание. Единственной предметностью этой доктрины являются тексты, наработанные шестью индуистскими школами: основополагающий, так называемый «корневой» текст каждой из школ признается как «трансцендентальное» знание, «трансактивное» знание производно от него и в этом смысле принадлежит ему, но никогда в него не включается. Продолжение одного текста в другой и соединение их таким образом в цепочку текстуальности означает продвижение каждой философской школы в «ничейную мыслительную зону» и тем самым овладение ею, «отмысливание» того фрагмента ментального пространства, который открывается текстам этой школы. Корпуса текстов всех школ увязаны друг с другом через посредство их «корневых» основ, однако содержащееся в них знание «трансцендентально» (т.е. «абсолютно-истинно») только для текстов «своей» школы, для всех остальных оно «трансактивно» («конвенционально-истинно» либо «абсолютно-неистинно») и является предметом их рефлексии. «Корневые основы» даршан (равно как и их «трансактивные» компоненты) различаются между собой по ракурсу «воззрения» Вед (ведь «даршана», дословно, есть «зерцало», в данном случае Вед), в которых Веды отражаются

с трех разных позиций, воспринимаясь как, соответственно, «значение» (N), «знание (I) либо «знак» (V). Комбинация специфичности «воззрения» Вед и сдвиг от «абсолютного» к «трансактивному» в рамках каждой даршаны дает те модальные формулы, на основании которых Д. Зильберман идентифицирует «шестерицу» «философских ролей»:

<u>(1) (I) N</u>	<u>(2) (N) I</u>	<u>(3) (N) V</u>	<u>(4) (V) N</u>	<u>(5) (V) I</u>	<u>(6) (I) V</u>
V	V	I	I	N	N
самкхья	ньяя	веданта	миманса	вайшешика	йога
Теоретик	Логик	Методолог	Методист	Эмпирик	Феноменолог

Идентификация и анализ «философских ролей» в индийском материале стали основанием для вывода модального подхода в западную философию, где Д. Зильберману удалось не только определить принадлежность ведущих систем философствования этой культуры к тем или иным способам «философского делания», но и дать им совершенно иные, никем ранее не предвиденные интерпретации (к примеру, о разворачивании диалектики, в ее современной интерпретации, не Гегелем, а Кантом, о внеположенности феноменологии науке, для толкования которой она и создавалась Гуссерлем, о «выпадении» из модуса не только деонтичности, но даже и аподиктичности многих направлений новейшей философии Запада и многие другие). Модальная перспектива анализа позволила также поставить вопрос, никогда прежде не задававшийся в западной философии: «Действительно ли та или иная философия здесь понимается так, как предполагалось ее создателем?» И если на этот вопрос воследует отрицательный ответ, то это уже задача модального методолога — восстановить справедливость и придать комментируемым текстам утраченную ими перфекцию (даже если это случилось по вине их создателя).

Все это становится возможным благодаря особой установке «модального комментатора» текстов: он не внедряется в вещь, не моделирует объект, не пересказывает и не аскезирует, а сам занимает позицию объекта понятия себя текстом¹. Никакая иная позиция здесь и не предполагается возможной, коль скоро философствование есть

¹ Приближающие рассуждения. Р. 71–72.

текстопроизводство как реализация «отмысленных» «знаниевых схем». И все же — возможно ли продвижение этого анализа в другие сферы? Для Д. Зильбермана, по его собственному признанию, такая возможность открылась случайно: занимаясь параллельно исследованиями культурной традиции, он заметил, что модальные схемы философского текстопроизводства могут послужить прекрасной иллюстрацией типов вовлеченности в культурную традицию.

Переход в культурные реалии, однако, отнюдь не случаен (хотя и не отъявлен в случае западных философий). «Занятие философией, — писал Д. Зильберман, — предполагает такую силу убежденности в своем деле, что означает отсутствие сомнения в собственной средственности»¹. Это потому, что философия «отмысливает» целые миры своей особой бытийственностью, так что критерием значимости философской системы можно вообразить пригодность ее «придумки» для жизни. Хотя, предвосхищая последующий анализ, можно заметить, что отдельная философская система, даже самая гениальная, не может быть «полножизненной» по причине того, что ее модальная схема всегда имеет знаменатель (то, что исчезает из горизонтов ее анализа). Совмещение локальной модальной неполноты отдельно взятой системы с глобальной полнотой всех отъявленных способов философствования, однако, позволяет предположить возможность такой «полножизненности», и конечно — в классической индийской цивилизации. Действительно, Веды — культурный универсум этой цивилизации — создаются, поддерживаются и охраняются неустанной деятельностью касты профессиональных философов — брахманов (здесь Д. Зильберман присоединяется к мнению многих исследователей, включая М. Вебера). Опуская самый сложный анализ места и роли Вед в классической индийской культуре, их философской природы и отношений с даршанами, одновременно их созданиями и со-производителями (отсылаем читателя к готовящейся русской публикации «Генезиса значения в философии индуизма» Зильбермана или к английскому оригиналу), отметим, что происходящее здесь можно назвать «культурной сюр-реализацией философских схем» (рискуя объединить тер-

¹ Zilberman Archive. 5.1.9/4. P. 1.

мины Д. Зильбермана в конструкцию, которой он сам не пользовался).

Культурная сюр-реализация философских схем прослеживается Д. Зильберманом на примере многих систем и культур (он оставил, вообще говоря, универсальную схему такого подхода применительно к основным типам культуры в своей «мамонтовидной», по его собственному выражению, 900-страничной диссертации о культурной традиции). Анализ одной из таких сюр-реализаций дал повод для сравнения Д. Зильбермана с Максом Вебером (речь идет о блестящей параллели веберовской «Протестантской этики и духа капитализма» — «Православной этике и материи коммунизма» Д. Зильбермана, опубликованной в США в 1977 году). Замена «духа» «материей» в заглавии Д. Зильбермана весьма примечательна — философский комплекс православной этики, продолженный марксизмом и «оживленный» советским обществом, рассматривается как «универсальный смысловой код» этой культуры, приравненный в этом качестве к материальной основе жизни здесь («материи коммунизма»). С модальной позиции эта «сюр-реализация» не могла не потерпеть фиаско (по причине «неполножизненности» сочетания всего лишь двух «философских ролей», точнее, даже одной, если учесть их принципиальную близость). Удивительно, однако, то, что она вообще случилась в культуре Запада, где, по причинам модального порядка, «связь философии с умной жизнесообразностью порвалась тут же, при ее (философии) зарождении»¹ (так что остается только гадать, как, например, должно выглядеть общество, если функции «системы культуры» в нем представлены гегелевской логикой)².

В Индии же эта связь проявилась не только в культурной сюр-реализации классической философии (когда ее концепции были обращены в систему значений этой культуры), но и в последующем возврате философствования в свои сферы. Социальная завлеченность философии продуцирует то, что Д. Зильберман называл «структурами квази-сознания»³. Чистая философия избавляется от этого культурного флера и занимается рефлексией себя самой — чистой рефлексией абсолютного знания

¹ Zilberman Archive. 5.1.3/8. P. 2.

² Ibid. 5.1.1/6. P. 1.

³ Ibid. 5.1.2/9. P. 2.

(«структур создания»). Необходимость подобной рефлексии обнаруживается в принципиальной неполноте модальной формулы каждой «философской роли», в том, что уходит в ее знаменатель и принципиально исчезает из поля зрения. «Эта несамоцелостность разрешается таким способом, что образуется процесс, в котором сознание пробегает все состояния, стремясь совместить в нем локальную неполноту с глобальной полнотой и тем самым реализовать свою потенциальную полноту, но для сознания в целом. Отсюда, мне думается, и вынуждающая сила модальной определенности, заставляющая мчаться вперед, не зная отдыха»¹, нестись в кругу чистой текстуальности, пользуясь свободой комментирования, ни разу не приткнувшись ногой о землю образца².

Эта работа со знаниевыми текстами есть в известном смысле «вечное повторение пройденного». Но, в отличие от ницшеанского «повторения», здесь достаточно точно известно, для чего и каким образом это делается — для восстановления полноты (философского) сознания, путем прогонки типов (философских) рефлексий по историческому содержанию. «Трудно передать, — замечает Д.Зильберман, — сколь силен при этом эффект денатурализации и освобождения. Но за свободу приходится платить натурой. Плата же здесь — сильнейшая внутренняя рефлексия. Приходится переживать, пока для употребляемых наперед слов сконденсируется действительность, понятая сообразно со знанием. словно бы Бог вновь проводит перед Адамом вещи, и их называет»³.

Эффект полного освобождения от натуральности определяется Д.Зильберманом еще и как «вознесение», перевод философствования в особые сферы, в «текстуру» человеческого существования. «Чтобы в теле мира циркулировала кровь (смысл), нужна кровеносная система (текстура)»⁴, предельная смысловая целостность, в которой смысл осуществляется и делается доступным для субъективации (присвоения его субъектами мира), а также трансляции его во времени (обеспечении непрерывности бытия этого мира). Миротворческая сущность философствования, постулированная Д.Зильберманом в

¹ Приближающие рассуждения. Р. 109.

² Ibid. Р. 12.

³ Ibid. Р. 59.

⁴ Ibid. Р. 31.

самом начале развертывания его системы, нигде не проявляется так отчетливо, как при «текстурировании» философии, обращении ее в самодостаточную сумму всех возможных «философских ролей» по «отмысливанию» и «осмысливанию» мира. Когда философия становится «текстурой» человеческого бытия, она и превращается в то, что Д.Зильберман называет *Philosophia Universalis*, достижение чего связывается им с реализацией модальной полноты философствования и что является целью его «философологии».

В случае, если цель — «текстурирование» философии — уже достигнута (как в классической индийской философии, «философии абсолютного, внутренне-перфекционированного миротворения»¹), задачей «философологии» является раскрытие и распределение всех элементов, отношений и свойств суммарной дополнительности ее систем, слежение за представленной здесь «драматургией знания, со всеми ее врезками, вырезками, вклейками, сдвигками, телескопированием и реверансами»². Формальным результатом подобного движения становится превращение представленного выше шестиричного модуля в особую конструкцию, названную Д.Зильберманом «полиномией» или «складнем» и отражающую трансформацию классических индийских философий в «сумму философии», уже случившуюся в этой культуре; содержательным итогом — радикальное изменение устоявшихся в западной (и не только) культуре представлений об индийской философии (весь текст «Генезиса значения в философии индуизма» Д.Зильбермана является тому подтверждением).

Идея «текстурности» как суммарной сопричастности всех и всяческих ростков философской мысли друг другу совершенно чужда, по убеждению Д.Зильбермана, западным философам: «Им кажется, что можно начать философствовать с совершенно нового подхода: их озадачивает и ставит в тупик наличие итеративных тематик... Если же начать говорить с ними о суммарности всех возможных философских воззрений Запада — они ударятся в телеологизм, в детерминизм и прочие навязные концепции, то есть будут объяснять сумму с позиции какого-то одного взгляда. Им и невдомек, что индийские

¹ Приближающие рассуждения. Р. 91.

² Ibid. Р. 102.

воззрения — фундаментально неантропологичны, что это — подлинно профессиональное разделение философского предмета, между тем как все... попытки философствования на Западе до сих пор остаются на уровне любительства, более или менее удачно выражающего натуральное любопытство, некультивированный исследовательский интерес»¹.

Задача «философологии» здесь — помочь возникновению (профессиональной) философии, что можно сделать прежде всего отражением западной философии в модальном зеркале индийских даршан, как совершенного философского знания. В поздних текстах Д.Зильбермана содержится много примеров развернутой сравнительной модализации: Гегеля и мимансы, Канта и ньяи, Гуссерля и ньяивайшешики, Витгенштейна и адвайты, Г.Хомского и адвайты, Демокрита и вайшешики, Декарта и йоги, Платона и адвайты, психоанализа и самкхьи. Известны его планы перехода к модальному толкованию западной философской традиции как таковой: он хотел реализовать модальную линию ленинско-марксистско-гегелевской философской интерпретации, обнаружить корни кантовского трансцендентализма в гегелевской логике, а основания гегелевской логики — в гуссерлевской феноменологии, проинтерпретировать Декарта через Гуссерля, проанализировать модальную развертку основных идей философии Платона, как бы пропущенных через призму текстов Гегеля, эксплицировать некоторые проблемы и неудачи феноменологии, как если бы они были предусмотрены, «провидены» Гегелем и Марксом, и многое другое. В идеале — все философские системы Запада должны быть переосмыслены в технике модализации, с тем чтобы стать «суммой философии».

Давид Зильберман не успел этого сделать: он погиб, оставив нам свое грандиозное видение философии, возрождающейся из пепла небытия.

«Вопросы философии», 1996

¹ The Birth of Meaning. P. 340.

Эрик Григорьевич Юдин (1930—1976)

Философ, специалист в области методологии науки и системных исследований. Один из основоположников системного движения в нашей стране. В 1967—1975 гг. работал в Институте истории естествознания и техники АН СССР, в последние годы жизни старшим научным сотрудником Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики.

Соч.: «Естественное» и «искусственное» в семиотических системах (в соавт. с Г.П.Щедровицким) // Семиотика и восточные языки. М., 1967; Системный подход: предпосылки, проблемы, трудности (в соавт. с И.Г.Блаубергом и В.Н.Садовским). М., 1969; О так называемом сциентизме в философии (в соавт. с В.С.Швырёвым) // Вопросы философии. 1969. № 8; Деятельность как объяснительный принцип и как предмет изучения // Вопросы философии. 1976. № 5; Системный подход и принцип деятельности. Методологические проблемы современной науки. М., 1978; Методология науки. Системность. Деятельность. М., 1997.

А. П. Огурцов, Б. Г. Юдин

ФИЛОСОФИЯ КАК ЖИЗНЕННЫЙ ВЫБОР

Судьба распорядилась так, что Эрику Григорьевичу Юдину совсем немного, меньше пятнадцати лет довелось профессионально заниматься философией. По образованию он был юристом — в 1951 г. закончил существовавший тогда, но вскорости прикрытый Московский юридический институт. А спустя пять лет — арест, суд, лагеря. После освобождения в 1960 г. — долгие мытарства с пропиской, с устройством на работу...

Обо всем этом, впрочем, лучше будет рассказать его словами из заявления в редакцию журнала «Коммунист», датированного мартом 1964 г.

«20—22 марта 1956 г. Томский областной суд приговорил меня к 10 годам лишения свободы по ч. 1 ст. 58—10 УК РСФСР — по обвинению в антисоветской пропаганде. В марте 1960 г. по постановлению Президиума Верховного Суда РСФСР я был освобожден в связи со снижением мне срока наказания до трех лет лишения свободы.

Не желая умалять своих ошибок, я все же считаю, что был подвергнут незаслуженно тяжелому наказанию. Об этом, как мне кажется, говорит вся моя жизнь. В 1951 г., после окончания Московского юридического института, я был принят в аспирантуру по кафедре философии Московского городского педагогического института им. В.П.Потемкина. В 1953—54 гг. находился на освобожденной комсомольской работе: сначала секретарем комитета ВЛКСМ пединститута, а затем зав. отделом студенческой молодежи МГК ВЛКСМ. После защиты кандидатской диссертации в декабре 1955 г. по собственному желанию был направлен на работу в Томский педагогический институт в качестве преподавателя философии.

Приступив к работе в Томске в феврале 1956 г., я сразу же попал в сложную обстановку, вступив в конфликт с некоторыми работниками горкома партии, в частности, с секретарем горкома по пропаганде т. Соколовой. Этот конфликт возник в значительной мере по моей вине, поскольку я вел себя слишком резко, когда моя работа была подвергнута критике, которая казалась мне несправедливой. Но мне действительно были предъявлены необоснованные претензии. Например, т. Соколова обвинила меня в том, что я разлагаю студентов, на том основании, что по ходу лекции о сущности религии я буквально в нескольких словах рассказал содержание мифа о Христе, а мой рассказ о том, что в годы войны имело место некоторое оживление религиозных пережитков под влиянием военных трудностей, она назвала отсебятиной.

На основании такого рода замечаний моя работа подверглась резкой критике в постановлении бюро горкома партии о работе кафедры марксизма-ленинизма института.

Все это произошло в самые первые недели моей работы. После этого моя работа систематически, буквально каждую неделю проверялась работниками кафедры и ад-

министрацией, представителями горкома партии. И каждый раз мне давалась положительная оценка. Уже в мае, в конце учебного года, кафедра констатировала, что я провожу лекции и семинары на высоком уровне, проявляя творческий подход, что заметно выросло и мое методическое умение. Аналогичный вывод сделала и т. Соколова в конце ноября 1956 г., т.е. за месяц до моего ареста.

14 ноября 1956 г. в пединституте проходило отчетно-выборное собрание парторганизации. На этом собрании я выступил с критикой работы партбюро. В конце выступления я кратко коснулся двух общих вопросов и внес предложение улучшить информацию о партийной и государственной жизни (имея в виду венгерские события осени 1956 г., когда в течение некоторого времени было трудно понять суть этих событий и дать ответы студентам на их вопросы) и, во-вторых, предложил, чтобы вышестоящие партийные органы — райком, горком — систематически информировали о своей работе первичные партийные организации. Присутствовавший на собрании первый секретарь горкома партии М.Б. Духнин в самой резкой форме обрушился на меня, назвав меня фарисеем, человеком, который признает критику только на словах.

Когда я попросил, чтобы он аргументировал эти обвинения, Духнин отказался это сделать. Тогда я назвал его поведение не соответствующим нормам партийной этики. На этом же собрании меня избрали членом партийного бюро, хотя я настойчиво просил отвод, который энергично поддерживали Духнин и директор института Федоров.

После этого собрания мое положение резко ухудшилось. Буквально через несколько дней я обнаружил, что нахожусь под негласным надзором как на работе, так и дома. Из самых различных источников мне сообщали о том, что моя фамилия в отрицательном плане упоминается на совещаниях в районе и городе. При этом рассказывались самые нелепые вещи, ничего общего не имевшие с действительностью.

Например, на районной партконференции секретарь обкома партии Лукьяненко рассказывал, будто я на семинаре заявил, что социализм у нас построен, а масла нет.

Работать в такой обстановке было совершенно невозможно. Поэтому я обращался во все партийные инстан-

ции — в партбюро института, в райком и горком партии — с просьбой рассмотреть мое персональное дело, прямо и открыто указать мне на мои ошибки. В течение месяца я не мог добиться никакого ответа. Наконец, 21 декабря было созвано бюро райкома, на котором, даже не дав мне высказаться, меня обвинили в троцкизме и, выразив политическое недоверие, сняли с работы и объявили строгий выговор. Я обратился в горком с просьбой пересмотреть это решение и оставить меня на работе. Партсобрание института, проходившее 25 декабря, также просило бюро горкома оставить меня на работе. С аналогичным письмом обратились в горком студенты, у которых я преподавал, — свыше 150 чел. Однако бюро горкома не пожелало меня слушать. Без всякой проверки фактов меня обвинили в том, что я разложил партийную организацию и спровоцировал письмо студентов. Я был исключен из партии.

На другой день, 29 декабря, я решил уехать в Москву и обратиться с жалобой в КПК при ЦК КПСС. Однако на вокзале меня остановил председатель парткомиссии обкома т. Козырев и, гарантируя объективное рассмотрение дела, попросил остаться на бюро обкома, которое проходило в этот день. Я остался, но и на бюро обкома не смог ничего сказать, лишь только я раскрыл рот, как секретарь обкома Москвин перебил меня вопросом: «А за что Вы так ненавидите партию и Советскую власть?» Подтвердив решение горкома об исключении, обком дополнительно принял решение просить о лишении меня кандидатской степени (это решение было отклонено Президиумом ВАК'а после вторичного рассмотрения моей диссертации). Через несколько часов после этого я был арестован на станции Тайга, по дороге в Москву.

Первые дни на следствии я категорически отвергал настойчивые предложения признать себя виновным. Однако 12 января мне был устроен непрерывный почти суточный допрос. Уже ночью зам. начальника областного управления КГБ полковник Смородинский заявил, что я ставлю под удар своих родственников и знакомых. Он ясно дал мне понять, что все они сильно пострадают, если я не признаю своей вины.

Это поколебало меня, и, приняв всерьез эти угрозы, я признал себя виновным, а через некоторое время по настоянию того же Смородинского написал "собственно-

ручные показания", в которых объявил себя сознательным врагом партии и государства чуть ли не с детских лет.

На суде я понял свою ошибку, но было уже поздно: мне не поверили. Мне было предъявлено три пункта обвинения: 1) извращения марксизма-ленинизма в преподавании, 2) антипартийное выступление на партсобрании 14 ноября 1956 г. и 3) высказывания антисоветского характера среди знакомых и близких. Что касается первых двух пунктов, то они не имеют под собой почвы. По поводу моего преподавания проводилась специальная философская экспертиза, в которую вошли два местных историка и один философ. Экспертиза была исключительно тенденциозной; совершенно произвольно обращаясь с фактами, она обвинила меня во всех смертных грехах, каждую мою фразу объявляя извращением марксизма (например, грубым извращением марксизма было названо то, что в одном из моих конспектов через запятую были поставлены слова "объективный" и "стихийный"). Суть своего выступления на партсобрании я уже изложил (несмотря на мои настойчивые просьбы, суд отказался приобщить к делу протокол собрания с этим выступлением).

О третьем пункте обвинения надо сказать особо. Он, действительно, имеет под собою основания. Осенью 1956 г. я допустил ряд политически неправильных и вредных высказываний. В двух письмах, жене и матери, я неправильно истолковывал венгерские события, резко преувеличивал значение и место бюрократизма в нашей стране, проявляя грубые ошибки в оценке состава партии, заявляя, что она нуждается в чистке. В день исключения из партии, 28 декабря, находясь в крайне подавленном состоянии, я говорил об отсутствии справедливости в партии...

После освобождения я сразу же пошел работать на Московский завод резино-технических изделий № 1; два года работал у станка, а затем был выдвинут мастером, в течение двух лет являюсь пропагандистом. В свободное от работы время на общественных началах занимаюсь научной деятельностью, работаю в нескольких семинарах (в Институте философии, в философской секции Совета по кибернетике, где являюсь руководителем исследовательской группы, в системе АПН РСФСР). За последние годы опубликовал несколько печатных работ.

Но роковые несколько месяцев в Томске до сих пор тяжелым бременем лежат на моих плечах: я постоянно сталкиваюсь с недоверием, не могу работать по специальности, хотя, мне кажется, мог бы приносить пользу государству, за последние годы сильно подорвалось мое здоровье, а в будущем не видно никакого просвета. Невыносимо тяжело чувствовать, что на тебя смотрят как на потенциального шпиона. Часто это лишает всяких сил и желания бороться и жить.

Убедительно прошу Вас оказать мне содействие в пересмотре моего дела, в снятии с меня клейма преступника и в трудоустройстве по специальности»¹.

Лишь в 1964 г. Э.Г.Юдин получил возможность работать по специальности: он стал редактором в издательстве «Советская энциклопедия». В эти годы издательство выпускало знаменитую пятитомную «Философскую энциклопедию», в 4-м и 5-м томах которой Юдин вел разделы диалектического материализма, философских вопросов естествознания и психологии.

После завершения «Философской энциклопедии» Э.Г.Юдин переходит на работу во вновь созданный сектор системного исследования науки Института истории естествознания и техники АН СССР. В последние месяцы своей жизни он работал в Институте технической эстетики.

Он внезапно умер утром 5 января 1976 г. по дороге на работу. Годы, проведенные в заключении, и последующие тяготы жизни человека, лишённого многих элементарных прав, взяли свое: сердце не вынесло нагрузку. Он умер, не дожив до 46 лет.

* * *

Эрик Григорьевич Юдин был философом. Он был философом по призванию. К философии его привел опыт нелегкой жизни, опыт, подвинувший его к уяснению предельных оснований человеческого бытия. Словно зная заранее, как невелик отпущенный ему срок, он жил

¹ Полностью этот документ опубликован в: Юдин Э.Г. Методология науки. Системность. Деятельность. М.: Эдиториал УРСС, 1997. С. 411—414. В этой же книге приводятся и другие документы и материалы, касающиеся обстоятельств ареста и следствия, а также освобождения и последующей — уже в годы перестройки — посмертной реабилитации.

и мыслил жадно, не щадя себя, с удвоенной, утроенной интенсивностью. До самого последнего дня, до самого последнего часа он кипел замыслами, идеями, предложениями. Для реализации многих из них ему, к сожалению, не хватило времени.

Написанное и сделанное им — это не просто отчужденный продукт его профессиональной деятельности. Работы Э.Г.Юдина несут на себе отблеск его личности. В них выразились и волевые усилия его ума, и его ценностные и нравственные позиции, и его восприятие жизни и отношение к ней. Для него работа философа никогда не была отвлеченным умствованием, далеким от того, что действительно волнует и его самого, и наше время. Он обладал «умным зрением», позволявшим ему выбрать наиболее значимые и серьезные темы, найти широкий и вместе с тем аналитичный, продуктивный подход, увидеть их в новом ракурсе. Свидетельство тому — прежде всего сам характер тем, разрабатывавшихся им в течение всего времени его научного творчества. Таких тем четыре: это — наука, методология, системный подход, проблема деятельности.

В этой широте и универсальности, объемности тем, изучению которых посвятил себя Э.Г.Юдин, отчетливо проявился не только его творческий почерк, но и сама его натура. Он никогда не действовал и не мыслил, втискиваясь в узость обстоятельств и примиряясь с их принудительностью. Он старался хотя бы как-то, хотя бы немного раздвинуть рамки этих обстоятельств, а тем самым раздвинуть горизонт возможностей и для всех нас.

Каждый из нас понимает, что жизнь человека несводима к печатному слову. Для тех, кто знал этого рано скончавшегося философа, тем более невозможно представить его в одном — печатном измерении. Им далеко не всегда легко ответить на вопрос, что для них было важнее, что оказывало на них большее влияние: высказанные ли им идеи или само общение с ним, исходивший от него заряд духовной энергии, нравственной чистоты и человеческого тепла.

Ибо есть еще одно измерение его жизни и его труда — труд общения. Есть еще одно измерение его души — устремленность к другому, настроенность на диалог. Общение ободряло и вдохновляло его. Общение с ним ободряло и вдохновляло других.

Он чувствовал и сознавал себя связанным зримыми и незримыми узами с людьми, борющимися за рост нашей философской культуры. Да и сам он был ее подвижником, был активным участником борьбы за компетентность и основательность философии, борьбы, которую он вел непрестанно — в своих статьях и редакторской работе, в своих докладах и лекциях, в беседах и спорах с другими. Он был солидарен с теми, кто стремился уяснить себе смысл и средства своего профессионального дела, кто стремился поднять голову и оторваться от затрепанных и узких тем, оглядеться и увидеть нити, связующие его с другими. Э.Г.Юдин чувствовал себя соратником в тех победах, которые одерживала наша компетентная, профессиональная в высоком смысле этого слова философская мысль, и испытывал глубокую тяжесть — вины, горечи, ответственности перед завтрашним поколением, когда поднимали голос догматизм и фразерство.

Любая сфера человеческой деятельности, специализируясь, формирует свой круг общения. Это постепенно ведет к обособлению, изоляции одной группы специалистов от других. Каждая из них вырабатывает свой собственный язык, свою систему профессиональных ценностей и норм научной работы. На долю же философии, которую называют «самосознанием эпохи» (Гегель), «духовной квинтэссенцией эпохи» (Маркс), выпадает критическое осмысление этой ситуации и выяснение общих основ, ориентиров, определяющих движение как науки, так и всей культуры.

Философ не может не быть профессионалом в своем деле. Но его профессионализм ни в коей мере не ограничивается логически отточенной техникой мышления. Призвание философа состоит в том, чтобы обнаружить общечеловеческий, общекультурный импульс, который так или иначе всегда движет любое специальное дело. В этом открывается возможность для взаимопонимания, а значит, и для плодотворного взаимодействия людей с разными профессиональными интересами.

За разговорами об усиливающейся специализации, о всякого рода информационных барьерах, вообще о некоммуникабельности мы порой забываем, что общение — это не просто «одна из сфер» человеческого существования, обслуживающая другие сферы, что оно обладает и собственной ценностью, поскольку оно есть подлинно

личностное, творческое действие, в котором человек находит самовыражение. Поэтому общение не может быть просто «дано» (как не может быть и отнято) социальными институтами, «ритмом современной жизни», сферой профессиональных и деловых интересов, если мы сами не будем открыты для общения, не будем прилагать собственных усилий к этому.

В этой связи можно напомнить слова Антуана де Сент-Экзюпери: «Величие всякого ремесла, быть может, прежде всего и состоит в том, что оно объединяет людей: ибо нет ничего в мире драгоценнее уз, соединяющих человека с человеком». Эти слова в гораздо большей степени, чем к чему-либо, относятся к «ремеслу» философа, назначение которого и состоит в осознании общего смысла культуры, в обращенности к узам, объединяющим людей, думающих так же или иначе, чем он, специалистов в той же и в других областях. В совместной работе выявить смысл своей работы и уяснить смысл профессионального дела других — тот глубокий человеческий смысл, который есть инвариантное, общее, стоящее за профессиональными перегородками и за многообразием исследовательских интересов и позиций, объединяющее усилия разных людей, — в этом заключается тот творческий импульс, которым жил Э.Г.Юдин. Открытость общению была не только чертой его личности, но и основанием его философской позиции.

Общение как диалог с другим всегда является продолжением внутреннего диалога, и наоборот, внутренний диалог выступает как продолжение внешнего. Такая их взаимоперекличка предполагает наличие множества внутренних размерностей и устремлений, что позволяет раскрываться навстречу каждому из многих окружающих людей, своеобразных, неповторимых, не похожих друг на друга. Эта многогранность внутреннего мира и есть условие подлинного, «чистого» общения, контакта, диалога с другим, с другом, ибо она есть условие понимания другого.

Для Э.Г.Юдина было совершенно неприемлемым замыкание теоретической работы на самой себе и самодовольные претензии на окончательное постижение того смысла, который бесконечен так же, как бесконечно человеческое бытие. Такого рода притязания были для него притязаниями ума, отсеченного от целостности человеческого бытия и тем самым обедненного в своих исто-

ках. Единство мысли и дела, теории и жизни было для него не фразой, а исходным мотивом его исканий.

Обращенность к новым проблемам, умение по-новому поставить старые проблемы, критичность по отношению к ранее им самим принимавшимся посылкам и принципам, критичность, не вырождающаяся, однако, в скептицизм, постоянная корректировка своих идей, своего творческого аппарата — вот что отличало творчество Э.Г.Юдина. Он жил не только в диалогах с другими, но и в диалоге с самим собой, со своим только что найденным решением, тут же выдвигая против него контраргументы, осознавая и выявляя его границы и его возможности. Его менее всего можно представить в роли ментора, навязывающего неопровержимые, необсуждаемые теоретические максимы.

Смысл своей методологической работы он видел не только и не столько в изучении сформировавшегося, устоявшегося знания, сколько в том, чтобы выявить точки роста знания, чтобы за нечеткостью и расплывчатостью, которые обычно сопутствуют формулировке новых научных проблем и облику зарождающихся научных направлений и дисциплин, увидеть конструктивное начало — то, что в дальнейшем может быть содержательно развернуто и стать ядром будущей теоретической концепции. В подобных случаях особенно необходим контакт теоретика и методолога — здесь методолог не просто оказывает помощь, сам оставаясь вне ситуации, в которой находится теоретик, а непосредственно участвует в процессе формирования нового знания. Э.Г.Юдину был присущ вкус к такого рода работе, к тому, что можно было бы назвать *методологическим экспериментом*.

Таким экспериментом были его работы по методологии системного подхода. Он пришел в эту область, когда было совсем еще неясно, каковы перспективы системных идей, какова сфера их компетенции и каковы их специфические методы. Более того, многие ставили под сомнение саму их правомерность как особого раздела научного знания. Тогда, когда системное движение только зарождалось, нужна была немалая смелость, и не только научная, чтобы поверить в его перспективность и с головой окунуться в методологический анализ и обоснование системных исследований.

Чуждый отвлеченного теоретического умствования, Э.Г.Юдин уяснял сущность, специфику и конструктив-

ные возможности системного подхода на материале конкретных наук, в той или иной мере проводящих или хотя бы стремящихся проводить системные исследования. И это опять-таки становилось для него полем для встреч и открытого диалога с разными специалистами. Его общая культура, его философская позиция и несомненная одаренность делали такие диалоги плодотворными для всех участников. В свое время об этом хорошо сказал психолог и лингвист А.А.Леонтьев: «...далеко не каждый философ может так свободно говорить с психологом на его языке, как это умел делать покойный Э.Г.Юдин».

Только ли с психологом? Очень показательна и его работа с экологами, его анализ методологических проблем экологии — именно с точки зрения системного подхода. Или другой пример: в последние месяцы своей жизни Эрик Григорьевич начал еще один методологический эксперимент в новой научной области — эргономике. Но эту работу, цель которой ему виделась в оформлении особого теоретического предмета эргономики, ему не удалось завершить.

Естественно, такой способ работы — в отличие от исследования того, что уже апробировано и общепринято, — сопряжен с известным риском, поскольку обоснование должен получить не готовый результат, а путь, ведущий к его отысканию. От методолога, ставящего перед собой такие задачи, требуется, наряду с логической культурой мышления, также и особая творческая смелость, тонкая научная интуиция, критичность ума, позволяющая отсеять все лишнее, наносное и бесперспективное, в сочетании с четкой восприимчивостью, открытостью по отношению к новому. Эти качества органически сочетались в творчестве Э.Г.Юдина.

Интерес Э.Г.Юдина к методологии, своеобразие его позиции как методолога во многом обусловлены именно его «настроенностью на общение», устремленностью к конструктивному скрещению мысли людей разных специальностей. Методологической работе присуща одна очень существенная особенность — в ходе ее выявляется и акцентируется устремленность представителей каждого уровня научного познания на рефлексивное, сознательное отношение к своему делу, его методам, нормам и регулятивам.

Методолог стремится превратить эту нечеткую вначале установку ученого в объект его осознанной работы. Тем самым он стимулирует общую заинтересованность в обсуждении проблем организации и построения знания в каждой области и находит способы коммуникации между специалистами разных отраслей современного научного производства. Такая устремленность в максимальной степени была присуща Э.Г.Юдину.

Его исследования — это ни в коей мере не развертывание предзаданной умозрительной схемы, они движимы личностным видением проблем, их места в более широком идейном контексте. Предлагаемые им решения этих проблем оказываются в то же время выражением его личностного взгляда, взгляда человека, включенного в нашу культурную ситуацию, в ее поиски и альтернативы, человека, воспринимающего эту ситуацию как свою, как условие, предпосылку и поле для своей деятельности. Сейчас эти решения, отложившиеся в опубликованных им работах, уже живут своей собственной жизнью. Тогда же, когда эти решения искались, они не были чем-то «уже ставшим» и не воспринимались самим Э.Г.Юдиным как нечто завершенное. Они были моментами его «вопрошания», его поисков, моментами, в которых находили свое выражение и объективные проблемы, требующие философского размышления, и его собственная интеллектуальная и духовная работа.

* * *

Анализу — в разных плоскостях, с разных сторон, в разных взаимосвязях — *методологических проблем*, так же как и проблем системного подхода, деятельности, науки, было посвящено практически все научное творчество Э.Г.Юдина. Чем же обусловлена постановка такой задачи — *уяснения природы методологического анализа?* Для ответа на этот вопрос необходимо коротко охарактеризовать основные направления разработки проблем методологии в отечественной литературе того времени.

Период конца 50-х — начала 60-х годов был весьма примечательным для развития исследований в области философского анализа науки. Он отмечен существенным расширением круга вопросов, рассматриваемых в этих

исследованиях, резким повышением интереса к логико-методологической проблематике. Знание вообще, и прежде всего научное знание, в этот период начинает исследоваться не только в плоскости соотношения истины и объекта, т.е. соответствия знания объекту, — оно анализируется и как *деятельность*, точнее — как результат и вместе с тем предпосылка собственно познавательной, а также и практической деятельности человека. При таком взгляде на знание, естественно, в центре внимания оказываются проблемы детерминации как результатов познания, так и познавательного процесса совокупностью используемых в этом процессе средств, а следовательно — и проблемы изучения самих средств познания.

Этот интерес к исследованию познавательной деятельности возникает, видимо, под влиянием целого спектра причин, а потому принимает самые разнообразные формы и направления. Оглядываясь сейчас назад, с известной долей условности можно выделить несколько таких направлений, более четко обозначившихся в последующие годы.

Речь идет, во-первых, об *исследованиях в сфере логики науки*, прежде всего — об анализе языка науки как важнейшего средства познания, причем анализе, осуществляемом главным образом с помощью аппарата современной формальной логики. Другое направление можно обозначить как *проблемы логики научного исследования*. Здесь в качестве основной единицы познавательной деятельности рассматривается процесс научного исследования как нечто целостное; изучаются возможные структурные расчленения этого процесса и составляющие его этапы и процедуры.

Наконец, третье направление не может быть охарактеризовано с такой определенностью, как первые два. Оно занимается проблематикой *методологии науки* и изучает практически всю *совокупность познавательных средств*, включая понятийный аппарат научного исследования, применяемые в нем методы и теоретические схемы, методологические принципы и установки, на которые оно опирается, и т.п. Можно попытаться очертить лишь две крайние, предельные тенденции, которые как бы ограничивают диапазон исследований по методологии науки. Первая из них связана со стремлением построить единую, универсальную азбуку приемов и методов науч-

ного мышления, или еще шире — представить методологию как всеобщую теорию деятельности, которая выполняла бы нормативные функции по отношению к каждому конкретному виду деятельности. Напротив, вторая из этих тенденций ограничивается лишь анализом специфических методов той или иной конкретной научной дисциплины. Принимаемый при этом в качестве исходной предпосылки тезис об обусловленности методов познания прежде всего и исключительно изучаемым объектом подчас влечет за собой сведение методологического анализа к простому описанию методов различных наук, причем сами эти методы понимаются в таком случае как нечто эмпирически данное, нечто непосредственно регистрируемое.

Уже сам факт многоплановости современных методологических исследований свидетельствует о том, что каждое вновь проводимое исследование такого рода должно уяснить себе свой собственный смысл, свои задачи и возможности. Но более того, в этой ситуации возникает и особая проблема — проблема дифференциации, выявления и сравнительного изучения различных составляющих методологического знания. Речь идет о необходимости исследования функций, которые выполняет методологическое знание на разных этапах научного поиска, различных уровней самого этого знания, а также об анализе возможностей методологии и ее места в современном научном познании, — в частности, соотношения методологического и предметного, теоретического знания. Этот круг проблем, связанных с осознанием своеобразия как исследовательской позиции методолога, так и результатов, получаемых в ходе методологического исследования, и привлекал внимание Э.Г.Юдина.

Однако выявление и изучение многообразия форм, в которых существует современное методологическое знание, представляет собой лишь одну из задач его философского анализа. Решение этой задачи с необходимостью требует рассмотрения другой задачи, тесно связанной с первой и дополняющей ее. Эта вторая задача состоит в том, чтобы найти способы объединения различных уровней методологии, проанализировать механизмы включения знаний, получаемых в рамках этих уровней, в ткань конкретного научного исследования. В этой связи Э.Г.Юдин обращается к изучению того уровня методологии, который называется *уровнем общенаучных*

методологических направлений. В качестве примеров таких направлений можно назвать *системный подход* как общенаучную методологическую концепцию; *деятельностный подход*, реализующийся в самых различных областях современного гуманитарного знания; здесь же — и проведенный Э.Г.Юдиным анализ редукционизма и элементаризма как специфических методологических ориентаций, характеризующих не только какую-либо одну научную дисциплину, но и стиль научного познания в целом в определенный период.

При непосредственном рассмотрении того или иного конкретно-научного исследования удается зафиксировать, как правило, лишь то, что в нем применена определенная совокупность специально-научных методов, а также методологических и технических средств, характерных для данной научной дисциплины. Если методологический анализ ограничивается фиксацией такого положения дел, т.е. трактует позицию исследователя натуралистически, не делая предметом рефлексии те предпосылки и основания, на которых она строится, или попросту не отдавая себе отчета в их наличии (это характерно, в частности, для многих версий позитивистского понимания методологии), — то при этом неизбежно оказывается вне поля зрения методологическая роль *философского* знания. Дело в том, что воздействие на научное исследование философской методологии как особого уровня методологического знания, как правило, не бывает прямым. Философия выполняет свою методологическую роль, воплощаясь в определенную совокупность исходных установок, причем в конкретно-научном исследовании эти установки реализуются благодаря наличию методологических знаний особого рода — тех знаний, которые автор относит к уровню общенаучных методологических направлений, методологических подходов и т.п.

По мере изучения конкретных методологических проблем, привлекавших внимание Э.Г.Юдина, он снова и снова обращался к вопросу о природе и задачах методологического исследования. Взгляды Э.Г.Юдина на этот вопрос претерпели заметную эволюцию, и в своих последних работах он приходит к широкой трактовке *методологии как учения о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности.* В этой трактовке представляются принципиально важными два мо-

мента. Во-первых, методология не ограничивается анализом одних лишь осознанно, рационально используемых исследователем средств; ее интересуют также далеко не всегда фиксируемые основания, условия, предпосылки познавательной деятельности. Иными словами, методология выступает как рефлексия относительно смысла и направленности того или иного вида деятельности, причем рефлексия, цель которой не только рационализация деятельности, но и выявление ее человеческих мотивов, ее нравственных и ценностных регулятивов. Сама деятельность по получению и применению знаний выступает, таким образом, не как порождение одного лишь чистого интеллекта, а как реализация всех духовных, личностных сил человека.

Во-вторых, методология в понимании Э.Г.Юдина образует необходимый компонент не одной лишь научной, но вообще всякой деятельности в той мере, в какой последняя становится предметом осознания, обучения и рационализации. Это значит, что в определенном отношении методологическое знание помимо науки имеет своим объектом всю культуру в целом — в особенности культуру, в которой существенно деятельностное начало и связанный с ним мощный импульс рационализации, стимулирующий развитие научного знания и во многом определяющий его проникновение в самые разные сферы человеческой жизни. Такой подход позволяет избежать узкопрагматического понимания методологии, когда она фактически сводится к перечню рецептов для желающих делать научные открытия. Вместе с тем он открывает возможность для методологического по своему характеру анализа не только внутринаучных проблем, но и проблем взаимодействия науки и иных составляющих культуры, науки и общества, а также проблем, связанных с оценкой научного знания с точки зрения развития всей культуры в целом. Это нашло отражение, в частности, в рассмотрении Э.Г.Юдиным проблемы соотношения философии и науки, а также в глубоком и всестороннем анализе понятия деятельности.

Еще одним следствием такого подхода является то, что он делает возможным методологическое исследование, наряду со сформировавшимися, также и таких областей научного знания, которые только приступают к построению собственного теоретического аппарата, собственного предмета изучения. В этой связи можно сослать-

ся в качестве примера на начатую Э.Г.Юдиным в последние годы его жизни работу по методологическому обоснованию предмета эргономики. Уже первые проделанные в этом направлении шаги показали, насколько продуктивным может быть непосредственное сотрудничество методологов со специалистами конкретной области знания.

Следует отметить и такое обстоятельство. Для современной литературы, исследующей философские проблемы науки, характерна установка на преодоление существовавшей долгие годы разобщенности эпистемологических и социологических подходов, на то, чтобы синтезировать их и таким путем построить единое основание для анализа науки. Представляется, что свою роль в преодолении этой разобщенности сыграла и концепция методологического анализа, выдвинутая Э.Г.Юдиным, которая была ориентирована на рассмотрение в рамках методологического по своему характеру исследования социокультурных, исторически развивающихся определений деятельности.

В своих работах Э.Г.Юдин постоянно предостерегал от абсолютизации возможностей методологии, от такого «методологизма», который фактически подменяет работу с самим предметным содержанием и прикрывает художочность собственно теоретических построений. Эта же критичность лежала в основе его интереса к осмыслению места методологии в культуре, ее исторически изменяющихся функций. Той же критичностью было обусловлено и его обращение к уяснению границ и возможностей предельного основания методологического анализа — понятия деятельности, стремление рассмотреть его в историческом контексте, критическое исследование существующих трактовок этого понятия и способов его расчленения.

Показательна также и разработка Э.Г.Юдиным вопроса о многообразии форм самосознания науки. Развивая широкую трактовку методологии, он вместе с тем был чрезвычайно далек от того, чтобы считать методологию единственной формой этого самосознания и вообще универсализировать теоретическое отношение к действительности, которое в наши дни с наибольшей полнотой воплощается в научном знании. В проведенном им совместно с В.С.Швыревым анализе сциентизма и антисциентизма как мировоззренческих ориентаций, характер-

ных для современной культуры¹, в своем обращении к этическим проблемам науки² Э.Г.Юдин стремился показать, что теоретическое отношение не может быть не только универсальным, но даже и самодостаточным основанием для деятельности в сфере научного познания — не говоря уже о других сферах культуры. Мироззрение человека, его духовный мир с необходимостью включают в себя и то, что человек приобретает в своем художественном, этическом, чувственно-практическом опыте, в своем общении с другими людьми.

* * *

Среди тем, привлекавших внимание Э.Г.Юдина, особое место занимает *проблематика системных исследований*, разработку которой он проводил — во многом совместно с И.В.Блаубергом и В.Н.Садовским — практически на протяжении всей своей научной деятельности. Развитие взглядов Э.Г.Юдина на методологические проблемы системных исследований в какой-то мере отразило тогда еще недолгую, но достаточно насыщенную эволюцию этой сферы познания в отечественной литературе.

Вопросы методологии системных исследований начали изучаться в нашей стране в начале 60-х годов. К этому времени в отечественной философской литературе уже сложилась традиция изучения проблем целостности, ставшая одним из оснований разработки системного подхода. Другим основанием оказался критический анализ системных концепций, предложенных зарубежными авторами. Одна часть этих авторов ставила своей задачей построение общей теории систем, различные варианты которой разрабатывались на основе понятий кибернетики (У.Росс Эшби, О.Ланге и др.), либо математики (М.Месарович, М.Тода и Э.Шуффорд, Дж.Клир и др.), либо органицистской биологии (например, Л.Берталанфи). Наряду с этим развивалось и другое, более прагматически ориентированное направление исследования систем,

¹ Швырев В.С., Юдин Э.Г. Мироззренческая оценка науки: критика буржуазных концепций сциентизма и антисциентизма. М.: «Знание», 1973.

² См., напр.: Юдин Э.Г. Выступление на круглом столе «Наука—этика—гуманизм» // Вопросы философии. 1973. № 8. С. 102—104.

связанное с именами, например, Р.Акоффа, К.Уэст Черчмена, Дж.Викерса и др. Представители этого направления опирались главным образом на понятийный аппарат исследования операций, принятия решений, системотехники и ряда других, по преимуществу прикладных, научных дисциплин.

В работах отечественных авторов, и в частности Э.Г.Юдина, с самого начала был взят курс на выявление и изучение *методологических аспектов* системного подхода. Была показана необоснованность попыток некоторых авторов представить системный подход как некую новую философию, стоящую над всеми предшествующими философскими направлениями, или как «науку наук» натурфилософского толка. Были проанализированы тенденции современного научного познания, определяющие широкое распространение в нем системных методов исследования. Началась работа по выделению и методологическому анализу ключевых понятий системного подхода, таких, как «система», «структура», «элемент», «целостность», «связь», «организация», «управление» и т.п., а также по изучению специфических установок и принципов системного исследования.

Именно в этих первых публикациях Э.Г.Юдина и его соавторов, приведших к формулировке первых, пусть пока еще довольно общих и расплывчатых, представлений о существовании и своеобразии системных методов познания, были заложены необходимые основы для последующего ретроспективного анализа исторических истоков системного подхода.

Дело в том, что, только исходя из достаточно развитого состояния разработки системного подхода и, самое главное, осознания его специфики, можно ставить задачу изучения предыстории и истории его становления. Ведь исследователи, имеющие отношение к этой предыстории, отнюдь не осознавали, да и не могли осознавать особенности применяемых ими средств и методов познания сквозь призму будущего состояния науки. Этот момент особенно важно подчеркнуть, поскольку непонимание его было источником многих критических выступлений в адрес системного подхода. В ходе такого ретроспективного анализа большое внимание уделялось системным идеям, содержащимся в работах выдающихся естествоиспытателей прошлого.

Дальнейшая разработка развивавшейся Э.Г.Юдиным концепции системного подхода осуществлялась им в тесной связи с последовательным вовлечением в сферу методологического анализа нового конкретно-научного материала. Более того, можно сказать, что обращение к материалу конкретных наук, в той или иной мере использующих или хотя бы стремящихся использовать системные методы исследования, а также непосредственное творческое сотрудничество с представителями этих наук были для Э.Г.Юдина основным импульсом в работе, направленной на уяснение сущности, специфики и конструктивных возможностей системного подхода.

Характерным в этом отношении стало вовлечение в сферу интересов Э.Г.Юдина экологической проблематики, которое во многом стимулировалось творческими контактами с известным биологом К.М.Хайловым. Юдину удалось показать, что объект экологического исследования с самого начала строится как системный, причем системность этого объекта не дана исследователю изначально, а задается в ходе его методолого-теоретического конструирования. Выяснилось также, что экологу в его работе необходим не столько какой-либо развернутый вариант общей теории систем, сколько методологическое осмысление принципов, на основе которых конструируется, задается объект его исследования. Обращение к материалу экологии позволило, далее, переосмыслить и конкретизировать методологическое содержание таких понятий системного подхода, как «связь», «организация», «целостность».

Большое значение для разработки методологических проблем системного подхода имели материалы встречи-дискуссии «Системный подход в современной биологии»¹, одним из главных организаторов которой был Э.Г.Юдин. В этой дискуссии, в частности, была поставлена проблема соотношения организации и эволюции, или, в более широком плане, соотношения синхронического и диахронического аспектов в системном исследовании; были выявлены также те реальные проблемы методологического характера, которые заставляют биологов обращаться к системному подходу.

¹ См.: Системные исследования. Ежегодник 1970. М.: «Наука», 1970.

Опираясь на анализ попыток применения системных идей в различных областях науки, а также на представление о многоуровневом строении методологического знания, Э.Г.Юдин в своих последних работах¹ выдвигает и обосновывает трактовку системного подхода как общенаучного методологического направления, характерного для современной науки. В такой трактовке системный подход выступает как форма внутринаучной рефлексии, фиксирующая момент общности, характерной для способов постановки проблем, а также для методов построения предмета исследования и получения теоретического знания в самых разных научных дисциплинах. При этом важной особенностью системного подхода является его антиредукционистская направленность.

За обращением представителей конкретных наук к идеям и принципам системного подхода кроется, как правило, неудовлетворенность существующими теоретическими конструкциями и признание их неадекватности накопленному эмпирическому материалу или проблемам (как теоретическим, так и прикладным), на решение которых направлено то или иное исследование, или, наконец, критериям методологического порядка.

Такая трактовка системного подхода позволила выделить и проанализировать различные по своим интенциям и возможностям применения в специальных науках формы и направления системных исследований. На основании этой трактовки удалось провести методологически корректное различие системного подхода, структурно-функционального анализа, структурализма, кибернетического подхода как общенаучных методологических концепций, а также выявить связи, существующие между ними. Наконец, понимание системного подхода как общенаучного методологического направления позволило абстрагироваться в аналитических целях от конкретного содержания той или иной концепции, воплощающей принципы системного подхода. Благодаря этому открылась возможность при обращении к историко-научной проблематике выявить системное содержание предшествующих научных концепций и теорий (работу такого

¹ См., в частности, написанную Э.Г.Юдиным совместно с И.В.Блаубергом книгу «Становление и сущность системного подхода». М.: «Наука», 1973.

рода Э.Г.Юдин проделал, в частности, на материале психологии).

Обоснование данной трактовки системного подхода осуществляется опять-таки в процессе обращения автора к новому научному материалу. Так, например, при рассмотрении эволюции деятельностной концепции в психологии Э.Г.Юдин показывает, что системный подход выполняет функцию критики существующего предмета психологического исследования и позволяет наметить пути построения нового предмета¹. Привлечение принципов системного подхода в эргономике было обусловлено необходимостью создать собственный теоретический остов этой формирующейся научной дисциплины, которая оперирует данными, заимствованными из самых различных сфер познания, так или иначе связанных с изучением трудовой деятельности человека.

Помимо всего сказанного, разработанная Э.Г.Юдиным и его соавторами концепция позволила подвергнуть методологической критике универалистские притязания, нередко выдвигавшиеся от имени системного подхода, причем критике конструктивной, направленной на выявление его вполне реальных, но вместе с тем и отнюдь не безграничных возможностей в применении к конкретно-научному познанию. Смысл этой критики состоял в следующем. Будучи одним из методологических направлений, системный подход не может претендовать на решение специально-научных задач, подменять собой содержательное теоретическое исследование. Он способен ориентировать движение исследовательской мысли, но ни одна научная теория не может быть выведена дедуктивно из принципов системного подхода.

Вообще для системных исследований, поскольку они проводятся с осознанной методологической направленностью или фактически выполняют функции методологического знания, серьезной проблемой является, как отмечал Э.Г.Юдин, конструктивность, нетривиальность их конечных результатов. Конкретные науки в своем развитии нередко демонстрируют поразительную невосприимчивость ко всякого рода методологическим пожеланиям и рекомендациям, высказываемым в общем виде. С подобной ситуацией приходится сталкиваться и в сфере мето-

¹ В последний год жизни Э.Г.Юдин прочел на эту тему курс лекций на психологическом факультете МГУ.

дологии системных исследований. И здесь существенно необходимым становится диалог методолога и теоретика, опирающийся на заинтересованность методолога в том, чтобы проверить, насколько его построения адекватны тому предметному содержанию, с которым работает теоретик, насколько они продуктивны в этом отношении. Именно такая заинтересованность характерна для работы Э.Г.Юдина в сфере методологии системного исследования.

Говоря о стремлении выявить реальный потенциал системного подхода, следует отметить и критическое отношение Э.Г.Юдина к получившей распространение в начальный период развития системных исследований точке зрения (которой придерживался тогда и он сам). Согласно этой позиции, только системный подход может дать средства для получения синтетических теоретических представлений о таких сложных объектах, которые изучаются сразу несколькими научными дисциплинами.

Как выяснилось в дальнейшем, для построения таких синтетических представлений недостаточно одних лишь средств методологического анализа; конечные основания корректной постановки и решения подобного рода проблем задаются собственно теоретическим движением, осуществляемым в рамках конкретных дисциплин, которые изучают данный объект. Решающую роль при этом играет соотносительная направленность и уровень теоретического развития каждой из дисциплин. Методология же в данном случае в состоянии сформулировать только самые общие требования к такому синтетическому предмету и способствовать его построению, позволяя осуществлять рефлекссию, систематически контролирующую движение в теоретической плоскости.

Рассматривая системный подход как методологическое направление современной науки, Э.Г.Юдин не ограничивается изучением одной лишь внутринаучной «жизни» системного подхода. Это касается как исследования тех общекультурных и социальных предпосылок, которые наряду с методологическими предпосылками привели к формированию и широкому распространению системных идей, так и анализа самого системного подхода, сфера действия которого наряду с наукой затрагивает также и социальную практику. Сам процесс проникновения в современную науку, в самые разные ее отрасли принципов системного подхода в значительной мере обу-

словлен изменением форм включения научного знания в жизнь общества, расширением социальных функций науки¹. Здесь можно отметить и распространение междисциплинарных исследований, и наличие целого спектра глобальных, комплексных проблем, которые ставит перед наукой современная практика, и многое другое.

Показателен в этом отношении интерес Э.Г.Юдина к процессам внедрения системной методологии в практику социального управления. Системная методология, воплощающаяся, например, в виде принципов системного анализа, выступает фактически как форма трансляции методов и приемов научного мышления, вообще стандартов научности, в разные сферы деятельности современного человека, прежде всего — в те сферы, которые связаны с управлением экономическими и социальными процессами. Таким образом, разработка методологической проблематики системного подхода приводит к необходимости обращаться к анализу целенаправленных систем, включающих такие компоненты, как деятельность, цель, сознание, ценности; иными словами, здесь задачи разработки системного подхода как одной из форм внутринаучной рефлексии перекликаются с кругом вопросов, относящихся к компетенции той рефлексии, которую Э.Г.Юдин называет внешней, «неспецифической» и предметом которой являются социальные условия и результаты процесса познания.

* * *

Еще одним направлением научных интересов Э.Г.Юдина было изучение *проблемы деятельности*. В своих исследованиях Э.Г.Юдин опирался на разработку проблематики деятельности в отечественной философской и психологической литературе, и он был по существу одним из первых отечественных философов, обратившихся к исследованию принципа деятельности, его методологического значения для различных отраслей научного знания.

Для понимания ценности проведенного Э.Г.Юдиным философского анализа деятельности надо иметь в виду

¹ См., напр.: *Сенокосов Ю.П., Юдин Э.Г. Социальное знание и социальное управление // Вопросы философии. 1971. № 12. С. 17—29.*

следующее. Его теоретические взгляды формировались в тот период, когда в учебной литературе была распространена односторонняя трактовка всей деятельности лишь как материально-производственной по своему характеру. В результате этого не проводилось исследований, направленных на то, чтобы осмыслить увеличивающееся многообразие форм человеческой деятельности, выявить их фундаментальные характеристики и построить тот или иной вариант их типологии.

Сложное взаимовлияние практики и теории, материальной и духовной деятельности при таком подходе крайне упрощалось, а практика оказывалась внешним по отношению к теории фактором. Иными словами, практика отчленялась от теоретической деятельности и истолковывалась как внетеоретическая по своей природе. Теория же трактовалась, по сути дела, лишь как систематическое изложение готового знания, как упорядоченная совокупность понятий, суждений, высказываний. В рамки этих представлений вообще не укладывается активная природа теоретического мышления, в их границах невозможно понимание теории как познавательной деятельности, отсутствует возможность анализа специфических средств и форм организации исследовательской работы.

В 50–60-х годах в отечественной философской литературе наметился существенный сдвиг в разработке этого круга проблем. Становилось все более очевидным, что дальше уже нельзя ограничиваться простым изложением представлений о роли практики как основания знания и критерия его истинности, необходимо на материале современных наук, их истории раскрыть смену функций понятия деятельности, показать происходящие в структуре деятельности изменения, выявить новые формы взаимоотношения теории и практики.

Именно в этом русле проводились исследования большой группой отечественных философов, в том числе и Э.Г.Юдиным. Упрощенный, сугубо экстерналистский подход, по существу дела, выносит критерии истинности научного знания за пределы гносеологии. Кроме того, подобный взгляд упускает из виду сложную диалектику практики и теории, а именно то, что современные формы практической деятельности — и эксперимент, и материальное производство — нагружены теоретической компонентой, являются материальным воплощением, объективацией теоретической работы человеческого ума. В свою

очередь, и теория при этом не может быть понята как определенный способ диалектического снятия схем и структур практической деятельности.

Последняя инстанция, выступающая в функции обоснования и оправдания истинности знания, усматривается в этом случае в сфере, с самого начала определяемой как нечто внешнее по отношению к познавательному процессу. Нетрудно заметить, что превращение практики во внеположенный познанию и гносеологии фактор представляет собой апелляцию к вненаучным критериям истинности. Подобный подход, помимо того, что он чреват вульгарным социологизмом, отнюдь не снимает вопроса об основаниях выбора этой внешней инстанции, выступающей в роли критерия истины, о возможности оправдания такого критерия.

В работах, выполненных в самые последние годы и месяцы жизни, Э.Г.Юдин обратился к прослеживанию тех процессов, в ходе которых многие конкретно-научные дисциплины гуманитарного профиля обращаются к принципу деятельности как к эффективному методологическому средству построения своего предмета. Так, в 30-х годах в отечественной психологии сложилось успешно развивавшееся позднее так называемое культурно-историческое направление в изучении психики. По мере развития этого направления исходное понятие психологического анализа — предметное действие — все более и более конкретизировалось, выявлялись его новые аспекты, раскрывался механизм связи между предметным и мыслительным действием.

В середине нашего века формируются новые научные дисциплины, так или иначе обращающиеся к принципу деятельности. Среди них следует назвать эргономику, сделавшую предметом своего исследования трудовую деятельность, формы ее оптимального осуществления в условиях высочайшей технической оснащенности современного производства. В это же время формируется и такая дисциплина, как науковедение, для которой весьма существенным оказывается анализ науки как разветвленной системы различных форм деятельности. Такой подход к науке позволил понять науку и как специфическую сферу деятельности, цель которой — достижение нового научного знания, и как сложную сеть коммуникаций между учеными.

Принцип деятельности и его методологическое осмысление постоянно привлекали внимание Э.Г.Юдина. Его взгляды и на существо, и на методологическое значение этого принципа претерпели известную эволюцию, и наиболее весомые результаты были получены им именно в последние годы его жизни. К числу самых важных и перспективных результатов относятся, во-первых, его интерпретация методологии и ее задач, во-вторых, предложенная им схема анализа функций принципа деятельности в различных формах духовного производства, в-третьих, применение идей системного подхода к анализу деятельности¹.

Принцип деятельности позволил автору уточнить трактовку вопроса о месте и функциях методологии в составе философского знания. Познание истолковывается им как процесс деятельности, как система различных познавательных актов; в свою очередь, деятельность предстает как предельное основание различных уровней методологического анализа. Именно этот деятельностный подход позволяет не только уяснить смысл методологии, но и выявить способы конструктивного построения предметов ряда наук (либо через процедуры измерения, либо благодаря эксперименту, либо сама деятельность оказывается предметом исследования или объектом конструирования). Э.Г.Юдиным была предложена схема анализа различных функций понятия деятельности, в которых оно выступает в научном мышлении. Эта схема раскрывает переходы от объяснительного принципа к предмету исследования, от философского принципа — к изучению деятельности в ряде научных дисциплин, таких, как социология, психология, языкознание, науковедение, и, наконец, переход к новой «размерности» принципа деятельности, когда деятельность становится объектом конструирования в таких нормативных дисциплинах, как эргономика, системотехника, техническая эстетика и др.².

На большом историко-философском и научном материале Э.Г.Юдин раскрывает эволюцию объяснительных принципов в философском знании, направленную от

¹ Юдин Э.Г. Деятельность и системность // Системные исследования. Ежегодник 1976. М.: «Наука», 1977. С. 11—39.

² См.: Юдин Э.Г. Деятельность как объяснительный принцип и как предмет научного изучения // Вопросы философии. 1976. № 5. С. 65—78.

идеи космоса к идее природы, а затем — к принципу деятельности, первоначально развитому в немецкой классической философии. Уже сам по себе такой подход к развитию философского мышления является оригинальным. Но Э.Г.Юдин не ограничивается этим и обращается к анализу перехода от объяснительного принципа к формированию специфического предмета исследования ряда научных дисциплин на базе понятия деятельности.

Переход от одного уровня анализа деятельности к другому, от одной функции принципа деятельности к другой — сложный процесс, предполагающий выработку специфических для каждой научной дисциплины единиц расчленения. Э.Г.Юдин одним из первых в нашей логико-методологической литературе обратил внимание на то, что единицы анализа задают специфические схемы объяснения в рамках тех или иных исследовательских программ даже внутри одной научной дисциплины. Так, он показывает различные методологические функции таких единиц психологического анализа деятельности, как предметное действие, операция, поведение, творчество, процесс и др.

Деятельность, будучи предметом исследования, трактуется весьма различно в соответствии с выбранными в том или ином психологическом направлении единицей анализа и схемой объяснения. Однако принцип деятельности позволяет не только выявить многообразие единиц расчленения, но и рассмотреть их в некоторой общей перспективе. Подчеркивая, что принцип деятельности является своего рода общей системой отсчета для многообразных исследовательских направлений в психологии, Э.Г.Юдин ставит вопрос и о поиске новых единиц анализа, и о выработке более адекватного расчленения деятельности, нежели все существующие.

Говоря о тех перспективных результатах, которые достигнуты им в тонком и содержательном исследовании функций принципа деятельности, нельзя не отметить еще одной особенности этих исследований, а именно, критического отношения автора ко всякого рода абсолютизациям этого принципа. Причем следует особо подчеркнуть, что это критическое отношение было позитивным, оно не вырождалось в скептически-нигилистическое отношение к возможностям принципа деятельности, а диктовалось стремлением вскрыть как культурно-исторические, так и

методологические границы его применимости, выявить его эвристические возможности.

Так, анализируя процесс превращения деятельности в ведущую ценность западноевропейской культуры, Э.Г.Юдин обращал внимание на позитивные и негативные последствия этого процесса. Его исследование не ограничивалось фиксацией исторического значения этой жизненной и культурной ценности; Э.Г.Юдин показывал и те сдвиги, которые происходят в сознании и мотивах поведения людей при абсолютизации этой ценности, при превращении ее в самоцель, при отсечении деятельности от внутреннего мира и нравственных устоев личности¹. В этом отношении показательно уже упоминавшееся ранее его исследование ценностных ориентаций и мировоззренческих оценок науки, таких, как сциентизм и антисциентизм. Философский анализ науки дополняется здесь уяснением специфических форм отношения к науке, складывающихся в том или ином типе культуры. В противовес активистской, технократически-«деляческой» установке, приводящей в конце концов к сциентизму, Э.Г.Юдин видит в деятельности, наполненной духовным и нравственным содержанием, необходимый источник прогресса и личности, и культуры, и науки.

Иными словами, ведущей линией в анализе эволюции принципа деятельности у него было стремление рассмотреть этот принцип в широком социальном и культурном контексте, выявить предельные основания самой деятельности и тем самым обозначить пределы и возможности конструктивного использования этого принципа в методологической работе. Эти глубинные слои самой деятельности выявляются им в разных плоскостях — в обращении и к ценностям культуры, и к личности, прежде всего к ее мотивационным ориентациям и мировоззрению. Поиск такого рода фундаментальных оснований самой деятельности существенно осложняет ее методологический анализ, поскольку вводит в него новые параметры этического и социально-психологического плана. Думается, что этот поворот в исследованиях Э.Г.Юдина отвеча-

¹ В течение некоторого времени Э.Г.Юдин полуподпольно (сказывались «темные места» биографии) проводил занятия по философии с учениками 7-й московской школы. Темой занятий были проблемы морального выбора, как они ставятся в «Преступлении и наказании» Достоевского.

ет актуальным запросам нашего времени, для которого характерно стремление выработать новые ориентиры, в том числе и моральные, для всех форм жизнедеятельности человека в современном мире, включая и его отношения к природе.

* * *

Давно было отмечено, что существует два типа ученых. Одни направляют силу своего интеллекта на решение уже поставленных вопросов, стремятся найти ответы, и притом такие, которые имели бы лик завершенности, неподвижные и ясные контуры некоего целого — философской системы, теории и т.п.

Есть и другой тип ученых. Их особенно привлекает постановка и обнаружение новых проблем, они остро чувствуют ограниченность близко лежащих решений, умеют спрашивать и не признают ответов, закрывающих путь для дальнейшего движения мысли. Это — тип ученых деятельных, динамичных, открывающих новые пласты смысла и не склонных замыкать его в неких системосозидающих конструкциях. Они нуждаются в аудитории, в непосредственном отклике на свои работы, в тесном общении с сотрудниками. Ученый такого типа полон воодушевления и умеет передавать его другим.

Эрик Григорьевич Юдин принадлежал, скорее всего, к этому второму типу.

Владимир Александрович Смирнов (1931—1996)

Философ, специалист по символической логике, когнитологии, методологии науки. Один из лидеров в области разработки проблем философской логики. В последние годы жизни заведовал Отделом эпистемологии, логики и философии науки и техники Института философии (РАН), а также логическим Центром этого Института.

Соч.: Генетический метод построения научных теорий // Философские проблемы современной формальной логики. М., 1962; Логические идеи Н.А.Васильева // Труды по истории логики в России. М., 1962; О достоинствах и ошибках одной философской концепции (критические заметки о теории языковых каркасов Р.Карнапа) // Философия марксизма и неопозитивизм. М., 1963; Уровни знания и этапы процесса познания // Проблемы логики научного познания. М., 1964; Формальный вывод и логические исчисления. М., 1972; Творчество, открытие и логические методы поиска доказательств // Природа научного открытия. М., 1986; Логические методы анализа научного знания. М., 1987.

В.К.Финн

В.А.СМИРНОВ КАК СОЗДАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЙ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЛОГИКЕ И МЕТОДОЛОГИИ НАУКИ В СССР И РОССИИ¹

В работе о роли личности в истории Георгий Валентинович Плеханов высказал такую мысль о выдающихся личностях: выдающиеся личности видят дальше и желают сильнее добиться результатов своей мысли. Я бы до-

¹ Настоящая статья является отредактированной записью доклада, прочитанного на «Первых Смирновских чтениях». Автор выражает благодарность Е.Д.Смирновой и Т.В.Сальниковой за помощь при подготовке данной публикации.

бавил еще к этому, что выдающаяся личность понимает больше. История жизни Владимира Александровича Смирнова, нашего замечательного логика и философа, свидетельство тому, что мысль, высказанная Г.В.Плехановым, верна.

Я не хотел бы подробно останавливаться на многих научных работах Владимира Александровича, хотя о нескольких я скажу, потому что я думаю, что ученики Владимира Александровича, логики и философы, разовьют его идеи и будут последовательно излагать мысли и результаты Владимира Александровича в течение этой конференции. Моей задачей будет, скорее, попытаться охарактеризовать Владимира Смирнова как личность и попытаться создать по мере сил некий целостный образ человека, который в нелегкое время сумел не только успешно заниматься наукой, но и сумел сохранить достоинство, сумел создать школу, сумел повлиять на развитие логики и философии в СССР и России и сумел включить отечественных логиков и методологов науки в международное научное сообщество. Жителям СССР, а теперь — некоторым жителям России ясна нетривиальность этой задачи, но нашим иностранным коллегам, может быть, не очень понятно, как трудно было войти в международное сообщество, как непросто было установить научные связи и как непросто было держаться на научном уровне, не уступающем уровню западной науки. Я воспользуюсь таким мифологическим образом: Сцилла и Харибда. Сцилла — власть, Харибда — истина. Как проплыть между ними? Вот Владимир Александрович проплыл, сохранив достоинство и высокий профессионализм, и в этом — его основная заслуга.

Если пытаться найти координаты, которые характеризуют личность, то можно, условно, конечно, ввести три координаты (я имею в виду личность, занимающуюся наукой, каковой был Владимир Александрович). Первая координата — это наука, творческие результаты личности. Вторая координата — это жизнь, поведение, деятельность. Третья координата — это история. Понятно, что третья координата функционально зависит от двух первых, но это, в некотором смысле, тоже самостоятельная координата.

И вот, если обратиться ко второй координате, координате жизни, то я хотел бы напомнить биографию Владимира Александровича. Он окончил МГУ в 1957 году.

Его учителем был Валентин Фердинандович Асмус. Я не сильно ошибусь, если скажу, что в это время В.Ф.Асмус был самым глубоким и самым порядочным среди советских философов. Эту свою вторую черту — глубокую порядочность — В.Ф.Асмус, учитель Владимира Смирнова, проявил на похоронах Б.Л.Пастернака¹. Владимир Александрович уже в свои студенческие годы увлекся логикой и математической логикой. Он слушал лекции профессора Софьи Александровны Яновской, и, если так можно сказать, он был учеником В.Ф.Асмуса, и учеником С.А.Яновской, и учеником самого себя. Его удивительная трудоспособность и организованность дали возможность ему стать профессионалом высокого уровня. Для того, чтобы продемонстрировать уровень его профессионализма, я приведу один только факт. На некоторых диссертациях по математической логике Владимир Александрович выступал в качестве оппонента, что было удивительным в нашей философской среде. Пожалуй, он был единственным логиком-философом, который выступал как оппонент математических диссертаций. Здесь уже говорили о высоком профессионализме Владимира Александровича, и это, естественно, был его необходимый атрибут.

Владимир Александрович уехал в Томск, он был туда распределен. И пожалуй, его пребывание в Томске, как ни странно, обогатило его как творческую личность. Могло показаться, что провинция ограничивает масштабы замыслов и их осуществление и что якобы в провинции человек может начать увядать. Но это не так. Владимир Александрович в Томске оказался центром притяжения, и в ранге младшего научного сотрудника (это — солдат науки, по нашим понятиям) он сделал очень много и сплотил вокруг себя пытливых студентов. Владимир Александрович организовывал конференции по методологии науки. Его слушателями были не только философы, но и математики (некоторые из них, как говорят, потом стали академиками).

¹ Великий русский поэт Борис Леонидович Пастернак (1890 — 1960) после выхода романа «Доктор Живаго» в итальянском издательстве в 1958 году подвергся ожесточенной травле со стороны партийно-государственных верхов СССР и был исключен из Союза советских писателей. В.Ф.Асмус — близкий друг Б.Л.Пастернака — выступил с яркой речью на похоронах поэта на кладбище в Перedelкино. Речь В.Ф.Асмуса на похоронах опального поэта вызвала раздражение партийного начальства.

Не так просто в российской провинции в то время было заниматься творческой преподавательской деятельностью. Нынешней молодежи может показаться странным, а нашим иностранным коллегам — непонятным, что требовалось сначала написать лекции коллективом всей кафедры, утвердить их и лишь потом только этот текст читать студентам. Я возвращаюсь к тому мифологическому образу, о котором я говорил в начале, — проплыть между Сциллой и Харибдой было непросто. Разумеется, Владимир Александрович не вписался в эти стандарты, а сплотил вокруг себя студентов, организовал работу, и научная жизнь в Томске закипела. Но, разумеется, те препятствия и те трудности, которые встречались на пути творческого человека, не могли не сказаться в дальнейшем. И для характеристики творческой личности в нашей стране надо говорить не только о сделанном, не только о полученных результатах, надо говорить о **несделанном**. Здесь уже говорилось о том, что Владимир Александрович имел много идей, я бы сказал, сверхмного. И то обстоятельство, что многие из его идей не реализованы, есть результат того, что он плыл между Сциллой и Харибдой. Я хотел бы привести замечательный факт для характеристики того времени и личности Владимира Александровича, который мне сообщила Елена Дмитриевна¹. Владимир Александрович уехал в Томск младшим научным сотрудником, не имея степени, хотя закончил аспирантуру, и, конечно, у него была готова диссертация, он вполне мог бы ее защитить. Но он уехал рядовым научным сотрудником, потому что именно в это время вышло постановление о количестве печатных работ, которые обязательно нужно было иметь, прежде чем выйти на защиту кандидатской диссертации. Это было некое новшество, и оно не дало возможности Владимиру Александровичу стать кандидатом наук и приехать в Томск уже более солидным человеком.

Следующая веха в творческой биографии Владимира Александровича — работа в секторе Института философии. Ему помогли поступить в этот сектор Петр Васильевич Таванец и Александр Александрович Зиновьев, которые способствовали началу его творческой деятельности, в особенности П.В.Таванец. Кандидатом наук

¹ Елена Дмитриевна Смирнова — известный логик и философ, жена и соратница Владимира Александровича.

Владимир Александрович стал в 1962 году, а доктором философских наук он стал в 1973 году, защитив замечательную диссертацию по теории вывода¹. Впоследствии эта его работа стала широко известной. Забегая вперед, я все-таки коснусь и научных результатов Владимира Александровича, но тут я не могу не сказать, что в упомянутой книге были замечательные результаты, провидческие (я возвращаюсь к началу моего сообщения, я напомню, что выдающаяся личность всегда видит дальше). В этой работе 1972 года была сформулирована логика без сокращений. Другим вариантом логики без сокращений занимался В.Н.Гришин в 1974 году, а затем, как известно, профессор Ж.Жерар, создавший линейную логику (в настоящее время имеется много работ в этой области — это весьма активно развивающееся интересное направление логической науки). Но Владимир Александрович был первым исследователем в этой интересной области. Это — факт.

В 1988 году Владимир Александрович становится заведующим сектором логики Института философии. Я осмелюсь сказать, хотя, может быть, многие коллеги со мной не согласятся, что сектором логики по-настоящему он стал именно тогда, когда его возглавил Владимир Александрович. Может быть, это несколько обидно будет для отцов-основателей сектора, но я думаю, что это правда. И вот тут я хотел бы дать первую характеристику, быть может, несколько вольную, Владимира Александровича. Он был «собирателем земель», своеобразный Иван Калита. Он смог объединить не только активно работающих философских логиков, смог не только создать направление исследований чисто логических проблем и философских проблем логики, но он смог стать центром педагогического притяжения и начать систематическую подготовку логиков-профессионалов.

О результатах деятельности личности судят по убедительным фактам. Владимир Александрович и Елена Дмитриевна, которая была его соратницей, воспитали ряд молодых логиков, которые успешно работают на Западе. К собирательской работе Владимира Александровича я бы отнес его издательскую деятельность и организацию конференций. Я приведу только несколько книг, организатором изданий которых был Владимир Алек-

¹ Содержание диссертации представлено в книге: *Смирнов В.А. Формальный вывод и логические исчисления*. М.: «Наука», 1972.

сандрович. Это — избранные работы профессора Г.-Х. фон Вригта, это — избранные работы профессора Я.Хинтикки, это — сборник «Модальные и интенциональные логики», это сборники «Логика и компьютер», «Логические исследования» — несколько выпусков, «Логика вопросов и ответов» Н.Белнапа и Т.Стила¹. Владимир Александрович был организатором конференций по логике науки в Томске еще в 1959 году, советско-финской конференции по логике², советско-польского коллоквиума по неклассическим логикам, коллоквиума по философским вопросам логики, участвовал в организации Международных конгрессов по логике, философии и методологии науки. Сказанного достаточно, чтобы понять о его активной роли, организаторской и научной.

Если попытаться охарактеризовать основные творческие мотивы деятельности Владимира Александровича, то я бы назвал два, хотя, может быть, это и субъективная оценка. Первый и основной мотив деятельности Владимира Александровича — это было понимание логики как науки о рассуждении и введении понятий. Это широкое понимание логики, на мой взгляд, тоже было провидческим. Не он один так понимал логику. Так понимал логику и замечательный наш логик и математик Александр Владимирович Кузнецов, который мне много раз говорил: «Логика — наука не о доказательстве, не о моделях. Это — техническая сторона дела. Логика — наука о правильном рассуждении». И вот теперь мы видим, что именно эта новая линия, новая ветвь когнитивных наук является вызовом не только математическим логикам, не только специалистам в области computer science, но и философским логикам. Это попытка охарактеризовать новый феномен — реальные рассуждения. Реальные рас-

¹ Следующие книги были изданы под редакцией, со вступительными статьями и комментариями В.А.Смирнова: Семантика модальных и интенциональных логик. М.: «Прогресс», 1981; Белнап Н., Стил Т. Логика вопросов и ответов. М.: «Прогресс», 1981; Хинтикка Я. Логико-эпистемологические исследования. М.: «Прогресс», 1980; Модальные и интенциональные логики и их применение к проблемам методологии науки. М.: «Наука», 1984; фон Г.-Х. Вригт. Логико-философские исследования. М.: «Прогресс», 1986; Твардовский К. Логико-философские и психологические исследования. М.: РОССПЭН, 1997.

² См. сборник трудов Второй советско-финской конференции по логике (3—7 декабря 1979 года): Interglobal Logic: Theory and Applications // Acta Philosophica Fennica. 1982. Vol. 35.

суждения — не такое простое дело, и я не хочу их свести только к *common sense reasoning*. Реальные рассуждения — это индукция, это аналогия, это абдукция, которая активно сейчас изучается, это специальные диагностические процедуры и, наконец, это синтез всех упомянутых процедур, где метатеоретическим средством является дедукция и изучение соответствующих теорий.

Вторым мотивом в творческой деятельности Владимира Александровича было понимание необходимости изучения структуры человеческого интеллекта, его познавательных функций. И в этом пункте соединялись его интересы как логика и методолога науки. К сожалению, этот мотив своей деятельности он не смог достаточно развить. Здесь, пожалуй, я могу сослаться на его работы по диагностике¹, но именно здесь (мне близки эти проблемы) я почувствовал, что ему не хватило времени. Если бы Владимир Александрович дальше углубился в эту проблему и узнал бы, что делается в мире, я уверен, он обогатил бы нас новыми интересными результатами. Времени не хватило, чтобы решить многие интересные задачи в этой области логики. Но Владимир Александрович давно поставил проблемы, относящиеся к синтезу познавательных процедур и его роли для методологии науки. И я думаю, что постановка этих проблем есть основание для развития новых идей в его школе, которая сохранилась и которая, я надеюсь, будет продолжать активно работать не только в России, но и за ее пределами.

Я хотел бы упомянуть о замечательном мыслителе, логике и математике — Александре Сергеевиче Есенине-Вольпине. Он в одной из своих работ, пытаясь дать широкое понимание доказательства, дал такую его характеристику (это, в общем, не определение, это характеристика доказательства): «Доказательство утверждения есть любой честный прием, с помощью которого принятие данного утверждения делается неоспоримым»². На мой взгляд, это широкое понимание доказательства может

¹ Смирнов В.А., Анисов А.М., Арутюнов Г.П., Дмитриев Д.В., Мелентьев А.С., Михайлов Ф.Т. Логика и клиническая диагностика. Теоретические основы. М.: «Наука», 1994.

² Есенин-Вольпин А.С. Об антитрадиционной (ультраинтуиционистской) программе оснований математики и естественнонаучном мышлении // Вопросы философии. 1996. № 8. См. также: Финн В.К. Неологизм — философия обоснованного знания // Там же.

быть распространено и на сферу гуманитарного знания, которой так интересовался Владимир Александрович. Но из этого понимания доказательства в широком смысле вытекает, что логика есть инструмент интеллектуальной честности. Разумеется, что, будучи техническим оружием, логика опасна в руках демагога, но в руках честного человека, в руках честного исследователя она становится мощным орудием, которое способно влиять и на общественное мнение, и на развитие культуры рассуждения в обществе, что чрезвычайно важно при принятии социальных решений. Я думаю, что пример Владимира Александровича свидетельствует о том, что можно влиять на власть имущих логическими средствами, средствами разумной аргументации и мобилизации умов в честной критике существующего.

Усилия Владимира Александровича, его роль «мирного собирателя земель», который не любил идти на конфликты, если этого не требовала необходимость, его постоянная эволюционная деятельность, на мой взгляд, повлияли на то, что отечественная философская логика и методология науки дошли до международного уровня. Я уже говорил о том, что творческому человеку иногда одной жизни мало, точнее, не иногда, а как правило. Но жизнь в истории продолжается поддержкой последователей, школы. И я думаю, что третья координата, о которой я говорил, координата историческая имеет большое значение при характеристике жизни Владимира Александровича. Он оставил след в истории логики, его школа сохранилась, и я надеюсь, что при соответствующей государственной поддержке и грантовой поддержке сотрудники этой школы создадут много нового и интересного и данные чтения станут традицией. Я бы сопоставил три координаты (наука, жизнь и история) и известную фразу о цели жизни человека: «Надо сеять разумное, доброе, вечное». Разумное — в науке, доброе — в жизни, вечное — для истории.

Теперь я хотел бы охарактеризовать некоторые идеи Владимира Александровича, весьма, может быть, субъективно выбранные, я не претендую на систематизм. Обзор этих идей произвел на меня большое впечатление, я в последнее время смотрел многие работы Владимира Александровича (мне их любезно дала Елена Дмитриевна), и понимание выдающейся роли Владимира Александровича в отечественной философии, и прежде всего

в логике, стало кристаллически ясным. Первая и чрезвычайно важная мысль Владимира Александровича — это логическая реконструкция идей из истории логики. И тут он сделал много полезного для истории логики. Его работы по силлогистике подняли эту область просто на новый научный уровень, его исследования «воображаемой логики» Н.А.Васильева крайне интересны и являются свидетельством того, как смутные догадки из прошлого становятся импульсом для создания современных логических конструкций¹. И, наконец, работы, которые не менее известны, — это исследования, относящиеся к наследию С.Лесневского² (в частности, его прототетики). Мне кажется, что все эти работы весьма интересны, а Владимир Александрович действительно оказался, я бы сказал, рыцарем рационализма. В наше время, когда постмодернизм претендует на формирование нового интеллектуализма, сбрасывающего с «корабля современности» рационализм и методологию науки, как обессилевшую форму познания, и объявляет иррациональное мирозерцание судьей и палачом рационального мышления, все научное творчество Владимира Александровича может быть охарактеризовано как защита и развитие инструментов рационализма. И в этом, я считаю, его еще одна большая заслуга. Именно с этим связана реализация его идей о синтезе познавательных процедур.

Я хотел бы теперь упомянуть про основные логические работы Владимира Александровича, в которых он получил важные результаты. Первое — это теория доказательств, я уже говорил об этом. Второе — это работы, связанные с исследованием символа и его употреблением. Третье — это исследования в области паранепротиворечивых и релевантных логик. Четвертое — это его исследования по сравнению теорий и теории определимости, очень интересные с логической и философской точки

¹ В.А.Смирнов издал книгу Н.А.Васильева «Воображаемая логика». М.: «Наука», 1989, написав к ней предисловие (с. 5–11), а также дополнение: «Логические идеи Н.А.Васильева и современная логика» (с. 229–259). Развитие идей Н.А.Васильева содержится в следующей работе: *Smirnov V.A. Modality de re and Vasiliev's Imaginary Logics // Logique et Analyse. 1986. An. 29. no 114.*

² См.: *Smirnov V.A. Embedding the elementary ontology of S.Lesniewski into the monadic Second order calculus of predicates // Studia Logica. 1983. V. 42. № 2–3.*

зрения работы¹. Таковы основные темы логических исследований Владимира Александровича. Но у него еще были и замечательные методологические работы, я упомяну о них. Среди его методологических работ крайне интересна его статья о моделировании мира в структуре логических языков. В этой статье он, используя идеи А.Черча, пытался выяснить, какова роль языка в формулировании онтологии, как язык влияет на онтологию. Это, действительно, тонкая и сложная проблема, этим и В.Куайн занимался, и естественно, что найти какие-то окончательные решения в этой области вряд ли возможно, но Владимир Александрович очень интересно подошел к проблеме, а его подход мне напомнил известную мысль выдающегося русского поэта Иосифа Бродского, недавно умершего. Характеризуя связь поэта и языка, Бродский сказал: «Не поэт выбирает язык, язык выбирает поэта». Подобным образом и ставилась Владимиром Александровичем эта проблема, хотя я повторяю, что связь языка и онтологии — весьма глубокая и трудная философская проблема.

Весьма важны идеи Владимира Александровича, высказанные им в эскизной форме, о типах рациональности². Мне не известно, знал ли Владимир Александрович знаменитую речь Г.Гельмгольца³ 1862 года о свойствах наук о духе и наук о природе, но работа Владимира Александровича мне очень напомнила мысли Г.Гельмгольца. Г.Гельмголец стремился к тому, чтобы были единые логические конструкции для гуманитарных и естественных наук, и хотя он говорил, что гуманитарные науки в своем общественном значении играют большую роль, чем естественные, но их логический аппарат является несовершенным, и надо стремиться к тому, чтоб он стал совершенным. Подобную идею высказывал и Владимир Александрович в этой своей работе. Он подчерки-

¹ См.: *Смирнов В.А.* Логические методы анализа научного знания. М.: «Наука», 1987. Глава вторая: Определимость и определения в первопорядковых теориях. С. 35—79; см. также главу четвертую: Категориальная структура мышления. Язык, логика и онтологические допущения. С. 121—191.

² См.: Вопросы философии. 1988. № 2.

³ Краткое изложение знаменитой речи Германа Гельмгольца и обсуждение поднятых в ней проблем в связи с другими философскими доктринами (Д.С.Милль, В.Дильтей, В.Шерер) содержится в книге Г.-Х.Гадамера «Истина и метод». М.: «Прогресс», 1988. С. 46—50.

вал, что аргументация и в гуманитарных науках должна достигать объективности, используя стандарты точных рассуждений. Однако он считал, что с неизбежностью происходит и гуманизация естественных наук, что дает возможность разрабатывать единую методологию для наук о природе и наук о духе. Создание средств аргументации и стандартных схем рассуждений — важная проблема философской логики, которую он оставил своим ученикам и коллегам.

И, завершая свою попытку охарактеризовать направления исследований Владимира Александровича, его творческий путь, я бы упомянул еще про одну его исключительно интересную идею. Эта идея сейчас становится весьма актуальной в свете исследований по моделированию рассуждений и распознаванию эмпирических зависимостей на компьютерах в рамках направления «искусственный интеллект». Эта идея Владимира Александровича, сформулированная довольно давно, что меня приятно удивило, состоит в следующем: имеется два уровня истинности. Один уровень истинности — классическая истина по Альфреду Тарскому¹, но это второй уровень истинности, то есть это истинность на метатеоретическом уровне, а истинность высказываний на первом уровне, на уровне фактов, как Владимир Александрович считал, должна быть определена операционально (эмпи-

¹ *Tarski A. The concept of truth in formalized languages // Tarski A. Logic, Semantics, Methamathematics. Oxford, 1956. P. 152 — 278.*

В этой работе содержится формализация аристотелевского понятия истины средствами математической логики и доказывается, что предикат истинности может быть определен в метаязыке, но не в языке-объекте.

Идея двух типов истинностных значений — внутренних («фактических») и внешних («логических») была развита Д.А.Бочваром в связи с анализом парадоксов средствами трехзначной логики. Формализация бесконечнозначных логик правдоподобных рассуждений с конечным числом типов истинностных значений (фактических) и двумя логическими истинностными значениями (истина, ложь) была предложена О.М.Аншаковым, Д.П.Скворцовым и В.К.Финном в серии работ по ДСМ — методу автоматического порождения гипотез для интеллектуальных систем. См., например: *Аншаков О.М., Скворцов Д.П., Финн В.К. Логические средства экспертных систем // Семиотика и информатика. 1986. Вып. 28. С. 65—101; Они же. Об аксиоматизируемости многозначных логик, связанных с формализацией правдоподобных рассуждений // Логические исследования. Вып. 1. М.: «Наука», 1993. С. 222—247.*

рически), это означает, что истинностные значения должны быть заданы операционально, то есть непосредственно, приборно или, некоторым образом, формализованно — исходя из данных. Истинностные значения, порождаемые данными, являются, действительно, расширением понятия логических оценок. Сейчас понятно, что в этом направлении можно многое сделать, и кое-что делается, но важно, что Владимир Александрович почувствовал важность этой проблематики.

В заключение я хотел бы сказать о роли Владимира Александровича в развитии нашей логической, философской и методологической науки. Я думаю, что он повлиял не только на содержание науки, он повлиял и на самую социальную жизнь в области логики, философии и методологии науки, что, может быть, не менее важно. В конечном счете хорошие идеи иногда умирают, если нет интенсивных усилий по их реализации (вспомним плехановскую мысль о способности выдающихся личностей прилагать чрезмерные усилия по реализации собственных идей). В работе «Логика социальных наук» К.Поппер¹ охарактеризовал структуру теоретической социологии, сказав, что она есть в некотором смысле социальная логика. А основная проблема социальной логики — это изучение традиций и социальных институтов и учреждений. Так вот, казалось бы, самое трудное — это влиять на создание социальных институтов. Социальные институты, как правило, возникают в результате многих влияний, столкновений многих людей и учреждений, а одна личность, казалось бы, не может повлиять на становление социальных институтов, но Владимир Александрович доказал, что можно в рамках даже больших жизненных трудностей влиять на создание и развитие социальных институтов. Он же доказал, что можно хранить и развивать традиции, и я думаю, что задача школы Владимира Александровича — задача сохранения его традиций.

В истории отечественной логики мы знали следующих выдающихся людей: П.С.Порецкий, И.И.Жегалкин, А.Н.Колмогоров, А.И.Мальцев, П.С.Новиков, А.А.Марков, А.В.Кузнецов, Д.А.Бочвар, теперь — В.А.Смирнов.

«Вопросы философии», 1998

¹ *Поппер К.* Логика социальных наук // Вопросы философии. 1992. № 10. С. 65—75.

Ф. Т. Михайлов

ПОЧТИ ПОЛВЕКА ДЛИЛСЯ СПОР...

Через два года мы с Владимиром Александровичем Смирновым могли бы отметить ровно полсотни лет сердечной близости нашей и сорокапятилетие часто серьезного, но, бывало, что и застольного, нарочито глумливого спора, вызывавшего обычно общий веселый смех, — спора о статусе математической логики в кругу наук о мышлении.

За эти годы не более пяти — шести раз, да и то по уважительным причинам, меня не было на днях рождения четы Смирновых — Владимира Александровича (Володи) и Елены Дмитриевны (Леночки). В этих редких случаях постоянные их гости могли спокойно отдохнуть от моих *антилогических инвектив*, коими я, придя в *состояние духа* (говоря словами чеховского Епиходова), первым же задиристым тостом начинал свои разоблачения их логики как логики *познания*.

Но, вообще-то говоря, спорить друг с другом мы начали еще на втором или третьем курсе философского факультета МГУ. И основание для тех споров, хотя и иное, но было. Мы не шли ни на какие компромиссы, противопоставляя: он — Гегелю *своего* Канта, я — Канту *моего* Гегеля, что, видимо, подготовило и мой уход из логики, и, тем самым, все дальнейшие наши теоретические несогласия. Некую объективную закономерность таковых подтверждает, на мой взгляд, и эволюция еще одного знаменитого нашего однокурсника — Мераба Мамардашвили: если Володя так глубоко и всей душой уже тогда увлекся Кантом, что к моему герою — Гегелю, остался равнодушным, то Мераб и вовсе от продуктивного увлечения Декартом и тем же Кантом пошел еще дальше: Гегеля на дух не переносил, хотя, надо заметить, логиком все же не стал.

О Канте и Гегеле мы спорили с Володей даже в шумных и дымных пивных, куда частенько заглядывали со *стипендии*. И не столько пиво само по себе влекло нас туда — не увлекались мы пивом, сколько возможность, что называется, *поговорить по душам* под нашу усладу — под вездесущих тогда раков, под общий гул не очень трезвых голосов. Если в каком-либо пивном заведении раков не было, что случалось крайне редко, мы шли в другое и оставались надолго там, где *рачий дух*

царил над адской смесью пивного, водочного и табачного. Вдохновленные им, мы старались переубедить друг друга, хотя и с разными вариациями, но по смыслу всегда приблизительно так:

Володя: Начиная с выявления возможности и даже необходимости строгой аподиктичности синтетических суждений а priori и кончая не менее строгим логическим запретом на продуктивный синтез тезиса и антитезиса антиномий чистого разума, Кант заложил основы современной логики науки. А это значит — и современной математики, и математической логики, и структурной лингвистики, и даже, если хочешь, — квантовой механики, да и всей *математизированной* современной науки. Твой же Гегель изощренной хитростью своего спекулятивного мышления увел философию от научного познания в мир докантовой метафизики, если не сказать — схоластики, противопоставив ее науке в виде какой-то надмирной Логики. Ты и другие гегельянцы не случайно называете ее диалектикой, то есть именно так, как в античности и в средние века называли софистические приемы чисто схоластического спора... Только Кант...

Автор (тогда не менее самоуверенный, перебивая): Кант лишь завершил логику непротиворечивых определений налично сущего, с помощью которых твоя наука в то время только и смогла, что построить, как сказал бы Френсис Бэкон, *Таблицы примеров, привлеченных на суд Разума*, — все эти классификации, матрицы и т.п. Тем он поставил себе и вам, кантианцам, рубеж, за которым маячил вами не осознанный, но продуктивный выход из категорий наличного бытия в категории сущности... Сам он его не перешел. Выход подсказал не кто иной, как Гегель. Историзм феноменологии Гегеля — это преодоление логического тупика, столь справедливо и четко обозначенного твоим Кантом... Гегелева Феноменология Духа — это именно *логика* — логика истории культуры и истории сознания каждого индивида. А логика Канта в основе своей — Аристотелева логика, логика непротиворечивого построения речи, не более того. Мышление — не речь; оно — глубже, внутренне субъективнее и несет с собой *в индивидуальном исполнении* весь субъективизм Духа, а если по-нашему, то идеальную субъективность культуры человечества!

Володя: Этот ваш гегельянский *объективированный субъективизм* есть не что иное, как протестантская раци-

оналистическая психология XVII—XIX веков, претендующая на роль все объясняющей науки. Но наука, прежде чем делать те или иные выводы об изучаемой реальности, столь же строго и точно должна изучить надежность и прочность всех средств рационального мышления — своего главного инструмента познания. Какая может быть логика кроме той, которую разум открывает в себе как необходимую связь локковских идей рефлексии? Мыслить — значит судить, *судить о...* И только априорная, по Канту, форма суждения придает мысли всеобщий, необходимый, аподиктический статус: Все S есть (не есть) P. Диалектическое суждение, с его одновременным отрицанием и утверждением одного и того же предиката — квадратный круг, горячее мороженое!

Автор: Не путай меня с нашими факультетскими *диалектиками* (я называл фамилии)! Они смешивают принципиально несовместимые вещи: логику, необходимую для непротиворечивого построения любой речи, с онтологией ее содержания, которое определяет себя лишь своим смыслом. Онто-логия потому и *логия*, что опирается на логику взаимопорождения смыслов *содержания* понятий об объективной реальности, образуя тем самым и гносео-логию. Формальная логика и логика познания — две вещи несовместные, как гений и злодейство!

Володя: *Нет, я понимаю*¹... Но это не так! Подумай сам: может ли форма высказывания, форма логического следования быть *внешней* процессу смыслообразования?..

Ну и так далее, все в том же направлении, все в том же духе. Естественно, что по прошествии сорока с лишним лет я излагаю его и свои аргументы не так, как они звучали тогда. Скорее так, как оформились бы *сегодня* в новых словах старые наши мысли. Но за свою верность их *духу и направлению* — головой ручаюсь...

Уже на втором курсе в логику нас втянул Евгений Казимирович Войшвилло. От его первых лекций я, слушая *вполуха*, как-то сразу отвлекся. Но чуть ли не на

¹ Это — его любимое присловье, чаще других произвольно слетавшее с языка. Слушал он всегда внимательно, смотря чуть наискось и вниз... и сразу же скороговоркой — нет, я понимаю. Впечатление всегда было такое, будто он ободрял говорящего: Я понимаю тебя. И если, мол, возражаю, то понимаю, а не просто так, ради спора.

третьей Володя толкнул меня локтем: ты послушай! *Этот* — дело говорит¹. Тут и меня повлекло... К семинарам, к экзамену готовились небывало ответственно и с интересом. Читали все, начиная с «Аналитик» Аристотеля, и... как никогда серьезно, не *для сдачи*, а для себя. Не заучивали, например, правила всех четырех фигур категорического силлогизма, а вдумчиво старались сами разобраться в природе их всеобщности и необходимости. Но вот как раз на экзамене у Е.К.Войшвилло и случился казус, в какой-то мере предопределивший наши с Володей *разные судьбы* (а тем самым — и все дальнейшие споры).

Ни к какому экзамену я не был готов так, как к этому. И дело было даже не в том, что только у Евгения Казимировича чуть ли не каждый второй получал неуд²... Просто *логика* захватила — не учил, а, может быть, впервые в *школьной практике* учения — *думал*... До сих пор самому думать приходилось, лишь не будучи озабоченным формальным отчетом.

...У роковой двери все студенты нашей группы... Вид странный — лица напряженные, если не сказать — испуганные...

— Ты-то почему такой необычно спокойный и самоуверенный? — спрашивает меня Роза Магалова.

— А чего мне волноваться? Я пять получу.

— Ты? Ну, как это возможно?!

— И очень просто! Я знаю все — абсолютно все!

И получил-таки я свое, *впервые заслуженное*, отлично. За мной отвечал Володя. Минут сорок, если не час. Выходит растерянный — хорошо... Готовились-то мы вместе. И я (при всей своей убежденности в справедливости пятерки, подытожившей личные мои усилия) отдавал себе отчет в том, что Володя все и схватывал гораздо быстрее, и понимал глубже и лучше. Мне же многое и растолковывал. Я ждал его триумфа, а тут — на тебе: то самое хорошо, которое по нашей *двоичной* системе оценок было просто плохо...

¹ Счастливый, в то время редкий случай на факультете, но, к счастью, не единственный, о чем чуть ниже.

² И это при том, что на нашем идейном факультете было, фактически, лишь две оценки: Отлично и Хорошо. Будущие марксисты-ленинцы не имели права учиться на Удовлетворительно!

Прошло много лет... В большом зале одного из московских ресторанов собралось не менее полусотни друзей и учеников... профессора Владимира Александровича Смирнова — уже всемирно известного логика. Отмечали празднично, весело и душевно его пятидесятилетие. Рядом с юбиляром — Евгений Казимирович и ваш покорный... Я спрашиваю Учителя:

— Е.К.! Как же Вы могли тогда, на нашем втором курсе, *самому* Смирнову четверку поставить, а мне, логике — и тогда, и в перспективе — более чем посредственному, а теперь и просто никакому, — высший балл?

— Вам — *формально* правильно, а Володе — *содержательно* верно. То есть, зная *истинную цену* его таланта. Если бы я и ему отлично поставил, — кто знает! — может быть, он и решил бы, что в логике все им пройдено... И не было бы у нас логика такого масштаба и уровня. Ему *именно* надо было доказать, что логика — это серьезно. Ну, а с Вами и тогда все было ясно: хотя и разобрался в *учебном предмете*, но не для логики парень родился.

Только и мне именно логика стала хорошей *школой философии*. Ибо дальше, вместе с Володей и с Леночкой — тогда уже женой его, и с Ирой Гребенщиковой (теперь — профессор Ирина Борисовна Михайлова), записался я на спецкурс Валентина Фердинандовича Асмуса — Логика эмпиризма и рационализма.

Да, вначале нас было только четверо на этом лучшем спецкурсе факультета. На следующий год (или семестр?) на *его же* спецсеминаре и *по той же* проблеме к нам присоединились: Боря Грушин и Юра Щедровицкий, а затем, на старших курсах, — лекции и семинары не только Валентина Фердинандовича, но и Павла Сергеевича Попова (теория суждения), и Софьи Александровны Яновской (математическая логика) посещали уже и младшие студенты, и кое-кто из тех профессоров-диалектиков, о которых я упоминал выше. Но дальше для меня — Гегель и все онтолого-гносеолого-диалектики (без кавычек), что были до и после Гегеля¹, а для Володи — не только Кант, но и Лейбниц, и Гуссерль, и Буль, и Кантор, и Гедель, и Гильберт, и Фреге, и Витгенштейн, и Рассел, и Хомский, и... все современные логи-

¹ Начиная с Платона и... не кончая А.Ф.Лосевым.

ки, с которыми у него установились личные творческие контакты.

Такая наша история, такова и предыстория наших почти полувековых споров. Теперь — еще пара вводных пояснений для понимания их сути.

* * *

Если бы не Володя и Лена — не Владимир Александрович и Елена Дмитриевна Смирновы, — если бы не их *школа логики*, то в споре со многими *логиками науки* победил бы, как мне кажется, все же я. Они отняли у меня эту, никому, даже мне, не нужную победу: их логика оказалась не только общетеоретически, но и эпистемологически продуктивной. Книги и статьи В.А. и Е.Д. Смирновых, внося существенный вклад в построение новых разделов математической логики, осветили целый ряд философских проблем со стороны, явно неожиданной для адептов так называемой *позитивной науки*.

И не покидает меня убежденность в том, что для Володи, напротив, *философия стала школой логики*. Как для Ф.Брентано и Э.Гуссерля, А.Уайтхеда и Б.Рассела, Л.Витгенштейна и Р.Карнапа¹... Что предопределило и его неожиданный для чистой *логики науки* явно продуктивный прорыв к вечным проблемам *деятельно-познающего* отношения человека к Бытию.

Более того, чем дальше мчится время, тем яснее я вижу *философское начало* логики В.А.Смирнова. Основанием его собственных логических исследований и построений было, да и осталось, не только студенческое увлечение Кантом, глубоко укоренившееся в его сознании, но и более позднее увлечение онтолого-гносеологической проблематикой, исторически развернутой в конце XIX и в XX веке модернистской и постмодернистской филосо-

¹ Кстати, я был свидетелем совсем недавнего взрыва его новой увлеченности Ф.Брентано, ярко проявившей себя в его беседах со своим аспирантом — интересным львовским философом Янушем Соноцким, успевшим опубликовать ряд своих оригинальных исследований творчества немецкого философа. Это был поток интереснейших мыслей как раз о неслучайности перехода Брентано от философских, по сути дела уже феноменологических, идей дескриптивной психологии к продуктивной критике теорий языка и языка науки, с которой началась аналитическая философия и реконструировались основания символической логики.

фией. Убежден совершенно, что и оно, и доскональное звание философских текстов¹ вызвало к жизни исключительную эвристичность, казалось бы, *чисто логических* идей Владимира Александровича в новой, современной постановке не только эпистемологических, но и общгносеологических проблем².

То, что в классической эпистемологии полагалось сферой интуиции, принципиально не поддающейся рационализации, было представлено новыми методами анализа научного знания, разработанными В.А.Смирновым. (В том числе, к стыду старого любителя раков и его оппонента, и как разрешение принципиально, по Канту, антиномичных *онтологических* суждений.)

Он, вопреки К.Айдукевичу, Б.Расселу, Р.Карнапу, не говоря уже о настоящих *логических позитивистах*, писал: «Мы исходим из допущения, что принимаемый язык, используемые познавательные процедуры не безразличны к познаваемому... Одна из задач философии и состоит в том, чтобы установить связь между принимаемыми средствами выражения и рассуждения, с одной стороны, и допущениями об объектах рассуждения — с другой. И не только описать, но и четко сформулировать и обосновать. Конструирование искусственных языков и выяснение содержащихся в них онтологических допущений является хорошим средством изучения проблем онтологии»³.

¹ Вот печальный для меня пример его философской эрудиции и досконального знания текстов. Кажется, на пятом уже курсе, работая над логическими проблемами языка, я пришел, как мне показалось, к оригинальнейшей идее, и восторгам моим не было границ. Естественно, что я тут же поехал к Володе и часа три, восхищаясь собой, ораторствовал. Володя, как и обычно, молча слушал, смотря, будто в себя, куда-то вниз и в сторону. Потом сказал: «Я понимаю... Подожди, а в каком году ты родился? В 30-м? Так вот, в год твоего появления на свет (он тогда ошибся на четыре года) в свет же вышла книга Рудольфа Карнапа: *Der logische Syntax der Sprache*. Там твоя идея разработана не с бухты-барухты, как у тебя, а так серьезно и глубоко, что все тобою сейчас наговоренное становится ее же слабым отзвуком. Как же ты мог не докопаться до Карнапа, если работаешь над той же проблемой?»

² Гносеология и эпистемология — синонимы лишь для тех, кто проблемы познания отождествляет с проблемами формирования и углубления собственно научного знания.

³ Смирнов В.А. Логические методы анализа научного знания. М.: «Наука», 1987. С. 132 — 133.

Логика в понимании Владимира Александровича обернулась для любой научной теории (вначале для самой математики) методом исследования ее самообоснованности и критерием строгости реализации таковой во всех вариантах самополагания ее предмета. Открывались заманчивые перспективы наглядного выявления рационализируемого истока *схоластической* (на самом деле — спинозовско-гегелевской) *causa sui* именно любой научной теории. Правда, если это действительно теория — то есть развивающее себя понятие *идеализированного предмета*¹ познания, а не дискурсивная обработка эмпирических представлений, которую до сих пор слишком часто, чтобы это было простым недоразумением, принимают за теорию.

Одним из важнейших условий осуществления этих перспектив в исследовании реализации *causa sui* (самообоснования) логических и математических теорий стало для Владимира Александровича осмысленное отвлечение ...от проблем эмпирических интерпретаций теорий, их адекватности, простоты, объяснительной и предсказательной силы и т.п. ... Что же касается естественнонаучных теорий, то при их анализе должны быть учтены дополнительные факторы, связанные с эмпирической интерпретацией и применением². Как ни странно, но и такая, в целом правотой своей мне доступная и точно сформулированная, его мысль не оставалась без моих *критических уточнений*.

Но для их понимания стоит заметить, что и абсолютно согласны друг с другом мы были во многом. Прежде всего в том, что в современном видении онтолого-гносеологических проблем произошел крутой перелом, и *биологическая* особь *Homo sapiens* уже никем не принимается за естественный (и единственный) субъект познания (как и вообще — осознанной, произвольной целесообразной деятельности людей). Кроме, пожалуй, тех метафизиков

¹ Термин *не мой* — служебный для логиков науки, в частности — для В.А.Смирнова, обоснованию эпистемологической сути которого он посвятил немало страниц. О моем понимании природы так называемой идеализации объекта при преобразовании его в предмет теории см.: *Михайлов Ф.Т.* Общественное сознание и самосознание индивида. М.: «Наука», 1990. С. 18—33.

² *Смирнов В.А.* Логические методы анализа научного знания. С. 1—2.

от науки, которые оказались абсолютно неспособными ни к какой теоретической рефлексии.

Но и тогда мы вместе были уверены: этот перелом в эмпирическом сознании исследователей логики научного знания был подготовлен философией как почти *всеобщий* и весьма продуктивный для науки отказ от *эмпирических робинзонад* (социальных, экономических, языковедческих и прочих), шоры которых на органах умозрения даже многих философов (таких, как рационалисты и эмпирики XVII, метафизики XVIII, позитивисты XIX и XX веков) суживали поле онтолого-гносеологической видимости почти *всех теоретиков* до прямого, как стрела, пути от объекта к субъекту — индивиду¹.

Этот перелом происходил под влиянием осуществившегося в начале XX в. решительного поворота философии и так называемых объектных теорий² к хотя и новой для них, но окончательно явной реальности — реальности *идеального, интерсубъективного, надиндивидуального, трансцендентального* (любой термин здесь годен: выбирай на вкус!) *поля духовной культуры* всех человеческих общностей.

Субстанцию данного поля (не путать с его *онтологией* — это принципиально³) для начала представил собою... язык: естественный язык народа — *язык аффективно-смыслового речевого общения*, искусственные языки науки, художественного творчества, метаязыки и, наконец, сами *тексты*, создаваемые в пределах каждого из них. Теоретическое осознание чувственно-сверхчувст-

¹ Да, он был подготовлен (что так и не дошло до многих теоретиков антиробинзонадной революции) веком Просвещения и философского романтизма, но главным образом — немецкой классикой. Кантом — безусловно. Фихте, Шеллингом и Гегелем — в первую очередь. Влияние Фейербаха («человек — *родовое* существо!») и Маркса на постклассические, модернистские философские идеи также не стоит недооценивать. См. об этом также: *Смирнов В.А. Логические методы анализа научного знания. С. 121–128.*

² Теорий, заданных разуму уже не только своим, заведомо идеализированным, субъективно обработанным и *превращенным* предметом, но и реальными, земными проблемами, породившими эту его превращенность. Теорий, как естественнонаучных, так и социальных.

³ Проблема онтологии — это проблема начала Бытия, проблема его исходной силы (*causa sui*), порождающей ту его реальность, которая определена как его *субстанция*. Подробнее см.: *Михайлов Ф.Т. Онтология культуры // Постигание культуры. Концепции, диалоги, дискуссии. М., 1996. С. 11–41.*

венной реальности языка и текстовой культуры как некоей надындивидуальной субстанции, случайные вспучивания которой образуют сознание и самосознание рождением своим входящих в нее индивидов *Homo sapiens*¹, потребовало специального исследования этой реальности. Оно и стало проводиться всей мощью, всем арсеналом естественного языка и языков науки.

И если мы с Владимиром Александровичем, всю нашу жизнь были согласны в том, что с осознанием *интерсубъективности* нового и особого предмета теории — языка и логики его реализации в обычной и научной речи — стало возможным овладение ее стихией, что и привело к теории информатики, кибернетики, математизированной (а следовательно, научной) герменевтике и, вообще, к строгим алгоритмам метатеорий, то в оценке их самодостаточности для онтолого-гносеологического понимания природы живого знания мы использовали *разные критерии*.

Правда, я не помню, чтобы когда-либо вызывала возражение моих друзей констатация простого факта: все средства общения людей, и прежде всего естественные языки, есть не что иное, как овнешненная речью и тем объективированная *своей всеобщей формой* реальность интимно-субъективного переживания индивидами своего бытия. Любой реализуемый их общением (речью) фрагмент языка — теперь уже не только *их* переживание и мысль, но и некая иная реальность, *внешняя* их актуальному *себячувствию*. Это — реальность данных и заданных ему в *пред-ставлении* (представших перед ним) его же смыслонесущих аффектов, породивших мотивы и сам смысл их обращений друг к другу и к себе самим.

Признать сей факт не трудно, однако толку от такого признания мало как для философа, так и для логика: здесь *психология* вытесняет проблему рационального в сферу собственно эмпирических констатаций непредсказуемых (возможно, и вообще непознаваемых) феноменов интимно субъективной мотивации разумного поведения людей.

Еще сложнее с тем (для меня — также *фактом*), что и *смыслочувственная* определенность каждого *интимного переживания* человека возникает *для* него, а тем

¹ По образному выражению одного японского лингвиста: не мы владеем языком, а язык владеет нами.

самым вообще возникает, лишь будучи им овнешняемой и тем выносимой в трансцендентальное (*Кантово*) пространство общения. Даже в том случае, когда это общение с самим собой на языках *эгоцентрической* и *внутренней речи*¹...

Но именно здесь впервые возникает возможность потеснить одинаково неприемлемую для нас *эмпирическую психологию*, расширяя ее *интеллигибельное пространство* для эвристической рационализации именно интимной природы смысловочувственной мотивации человеческого поведения. Ведь именно отношение каждого человеком родившегося индивида к смысловочувственной реальности человеческого общения есть отношение, *порождающее и постоянно воспроизводящее его* в качестве субъекта данного отношения. И им же, этим отношением всех его жизненных сил к субъективности других людей, порождается и воспроизводится все пространство их общей осмысливаемой вчувствованности в реальность Бытия. В реальность, данную им в *представлении* лишь постольку, поскольку сама их субъективная адресованность друг к другу не может не *простирает себя* звучанием голосов в воздушном *пространстве* полей, лесов, пещер, хижин, дворцовых апартаментов, театральных и концертных залов... Она же *простирает себя* и графикой символов и знаков в *пространстве* камня, воска, козлиных кож, бумаги, холста, мрамора, монитора и т.п., приобретая устойчивую форму — форму своего *интерсубъективного пространственного бытия*.

Форма (пространственность) обращений людей друг к другу и к себе самим — это устойчивая живая связь времен и культур, основа тождества их *интер-* и *интра-*субъективности, опора всех здесь и теперь рождающихся и возрождающихся смыслов и эмоций, их *causa formalis* — *порождающая, интелектуальная* сила человеческого самосознания. Так может ли она, эта форма, быть безразличной к их постоянно актуальной смысло-самочувственности?! Может ли она, замкнувшись в себе и на себя, быть равнодушно-безразличной к процессу творения новых образов и смыслов — процессу, который называется *познанием объективного мира* и для осмысления ко-

¹ См.: *Выготский Л.С.* Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. М., 1982. Т. 2. С. 105—111.

того обращенный к Иисусу вопрос Понтия Пилата до сих пор требует вполне определенного и точного ответа?!

Форма (пространственность) обращений людей друг к другу и к самим себе, хранящая их смысловую связность и сопричастность на протяжении веков, *существует столь же реально и в этом смысле объективно, как и любая естественная форма природных процессов.*

Но в отличие от таковых, пространственно-реальные формы обращений людей друг к другу остаются их овнешненной и, таким образом, объективированной *субъективностью.*

Тем самым все пространственные формы прозвучавших и звучащих, написанных и пишущихся, нарисованных, рисуемых, построенных и строящихся обращений людей друг к другу есть не что иное, как чувственно-сверхчувственная всеобщая форма всегда интимной человеческой субъективности. И именно ее, этой формы, *собственные свойства и принципиально потенциальные возможности* продуктивно исследуются логикой независимо от содержания оформленных ею частных смыслов. Поэтому-то форма (пространство) чувственно-сверхчувственной реальности средств обращения людей друг к другу и к себе самим не вклинивается *телесным* (по Гоббсу) посредником между субъектом и объектом, а оказывается естественной формой *человеческого* типа жизни — *им осмысливаемого бытия.*

Если же, как это было положено в логике старого (эмпиристско-рационалистического) способа полагания предмета теории, видеть в формах языка (культуры вообще) посредника, предметно-чувственно, пространственно и вещно (например, знаково-символически) расположившего себя между субъектом и объектами, то так никуда и не денутся непреодолимые, на мой взгляд, противоречия, разрешению которых во многом и посвятил свои, на онтолого-эпистемологическую философию выходящие, труды Владимир Александрович.

И не только он. Ведь может показаться, что в наших спорах с ним проявлялось лишь старое, *классическое* противопоставление онтолого-гносеологических претензий *логики* и *психологии.* Причем, В.А. твердо стоял бы тогда на позициях логики, а ваш покорный слуга упрямо пытался бы разрешить их с позиций психологии. Но это не так. Ведь эти противоречия и парадоксы встали и перед логикой, и перед психологией уже в самом начале

XX в. и оказались даже для гениев той и другой весьма твердым орешком.

Что касается логики, то у Бертрана Рассела мы наталкиваемся на его неслучайную апелляцию, фактически, к языку локковских *идей чувств* при попытке построить основание строгой концепции логического атомизма, что сохраняет роковой для гносеологии разрыв между *субъективностью* восприятия (следовательно, представлений, мышления, воли и т.п.) и *объективностью*... нет, не только бытия природы, но и надындивидуального, внешнего для субъекта пространства знаково-символических систем.

Точно так же и в Логико-философском трактате Людвиг Витгенштейна, дополнившего логический атомизм Бертрана Рассела утверждением *лейбницианской* (опять-таки — по сути дела!) идеи *предустановленной гармонии* между логикой фактов и логикой высказывания о них¹, сохранился в неприкосновенности все тот же разрыв между интимным миром субъективности индивида и... внешним для него *посредником*, якобы обеспечивающим путь сознания к тайнам объективности. И у Рудольфа Карнапа мы имеем дело со столь же внешней субъекту иерархией посредников при переходе от *логического каркаса* языка вещей к логике науки — к *каркасам* ее метаязыков. То же — и у Дж.Г.Мида в его всеобъемлющем интеракционизме...

Но и в психологии дело обстоит не лучше. Так, целый ряд принципиальных положений Л.С.Выготского сформулирован им в согласии с распространенной тогда точкой зрения на речь и язык как *функционально-знаковое опосредствование* объектов в субъективном мире их восприятий человеком. Отсюда и его схема, по сути своей *интериоризационная*, хотя с Уотсоновой схемой радикально не согласная: «внешняя речь — эгоцентрическая речь — внутренняя речь»². Или, если подробнее: от несовпадающей с мышлением (интеллектом) *внешней речи*, опосредствующей объектный мир значениями и смыслом знаков языка, к *эгоцентрической речи* (по Пиаже), во многом уже непонятной для окружаю-

¹ В данном случае: воспроизведение в *пространстве мысли* через связь логических «атомов» порядка взаимодействия эмпирически добытых фактов.

² *Выготский Л.С. Собр. соч. Т. 2. С. 108.*

ших, обращенной только к себе «языком» интимных сопереживаний смысла средств внешней речи, а от нее — к *внутренней беззвучной речи*, сливающей дискретные смыслы в континуально-символические образы, держащие на себе и в себе все богатство осмысливаемого мира бытия. Сохранявшееся в этой схеме знаковое и символическое *опосредствование* объективного мира в субъективности индивидов породило у его учеников и последователей неукротимое стремление заново обосновать культурно-историческую его теорию выявлением роли знака в интериоризации культурных, *исторически памятливых* образцов произвольного и целесообразного поведения людей.

Не случайно противодействовал этой тенденции С.Л.Рубинштейн! Он успешно противопоставлял, слава богу, уже не эмпиристки-робинзонадной «интериоризации» (заполнение *tabula rasa* психики ребенка *идеями чувств*, затем — и рефлексивными *идеями разума*), а разработанной А.Н.Леонтьевым новой, *предметно-деятельностной* интериоризации, не что иное, как свою оригинальную концепцию одновременно *двойной* самодетерминации психики человека: самоопределение психики людей их общественно-культурной деятельностью при детерминации этой деятельности самой психикой как особым качеством жизни. Качеством, подготовленным всей эволюцией живых видов на Земле, но в человеке особо развитым.

Но и у С.Л.Рубинштейна живая и избирательная активность психики, *детерминирующая* все виды и формы участия индивида в деятельностном общении с людьми в едином для них пространстве культуры, *содержательно* ориентирована этим внешним для нее пространством и по мере своего развития наполняется логикой взаимосвязей его форм, их значением и смыслом, заданными правилами общей системной их взаимоопределяемости. То есть, в конце концов, тем, что в логике исследовалось как соответствующая функция языка.

Таким образом, в постклассической парадигме ведущих и *логических*, и *психологических* концепций связи языка и мышления сохраняется классическое положение контрагентов субъект-объектного отношения. Если перефразировать Р.Киплинга, то прозвучит формула данного отношения так: *субъект есть субъект, объект есть объект, и вместе им не быть...* хотя *знаково-символическое опосредствование* вроде бы должно поспособство-

вать тому, чтобы они, наконец, слились в экстазе когнитивной агрессии психики субъекта.

Но пора, наконец, осознать, что никаким — языковым, логическим и т.п., внешним мышлению *опосредствованием* не затемнить и, тем более, не опровергнуть картезианскую проблему психофизического параллелизма.

Тут я снова обратился бы к... Канту. Да, именно к Канту потому, что в творчестве наиболее продуктивно мыслящих философов и психологов XX в. заново рождалась и постоянно обосновывалась идея *causa sui* психического, *возвращающая нас к продуктивной мысли Канта об априоризме всеобщих форм созерцания, рассудка и разума.*

Что, собственно, самым решительным образом меняет подход к интерсубъективности этих всеобщих форм. Поэтому я позволю себе обращением к Канту показать, что как раннее Володино им увлечение, так и мое позднее предопределили завершение нашего почти полувекового спора.

По Канту, *аподиктические* (т.е. вечно хранящие свою всеобщность и необходимость) формы субъективности — формы чувственного восприятия, рассудка и разума несовместимы с бесконечно разнообразными, случаем рожденными, постоянно меняющимися формами бытия, а именно с ними имеет дело наш опыт. Априорно *пространственная* аподиктическая форма любого суждения, любого (в том числе — нравственного) чувства, любого эстетического восприятия трансцендентальна и тем уже *субъективна*, а предполагаемые формы реального *объективного* мира — навсегда для нас трансцендентны.

Но возможно, что и априорность, и аподиктичность форм созерцания, мышления и высших эмоций никем и ничем не навязана нам, а, напротив, порождается и воспроизводится лишь активностью каждого акта нашего *обращения* друг к другу и к себе самим... И именно они, *всеобщими и необходимыми формами* своими овнешняющие для всех смыслообразный и эмоциональный заряд наших субъективных потребностей и мотивов, создают между нами и в нас общее *реально-идеальное* (в этом смысле — интерсубъективное и трансцендентальное) *предметное* поле — одновременно и интимно-личностное, и *данное нам в представлении* — внешнее, всегда встающее *перед нами*, пред-стоящее нам в пространстве и времени (у Гегеля — *die Vorstellung*). Так и получается, что каждая из устойчивых и строгих смыслочувственных

форм наших общих целесообразных поступков и дел, рождаемая и заново возрождаемая всегда лишь в личностном и субъективном своем воспроизведении каждым нашим обращением друг к другу и к себе самим, — форма для всех общая (всеобщая) и необходимая (*аподиктическая*), а по содержанию полученного в ней и с ее помощью следования — *априорная* любому возможному казусу мышления, чувств и дел.

Такое прочтение Канта как раз и соответствует теоретическому обоснованию Владимиром Александровичем Смирновым необходимости *онтологических допущений* при принятии «естественных» и конструировании искусственных языков. В чем он видел одну из задач философии (если не главную!). Более того, в таком прочтении Канта (между прочим, и Гегеля тоже) я вижу не просто очередное *допущение* об объектах рассуждения, а как раз обоснование любых возможных и необходимых интерпретаций опыта.

Слишком поздно я понял, что спор наш потому и окончен, что мой оппонент не только это видел, но и — в отличие от автора этих строк — сделал все от него зависящее, чтобы *логически и... гносеологически* выявить и оформить изначальную вживленность в *субъективность человеческого отношения к миру...* пространства всеобщих конструкций (каркасов и т.д., и т.п.) всех средств порождения и овнешнения интимных мотивов поведения и действия, адресованных другим и себе как другому. К тому же столь необходимых всем и каждому для осознания себя вольным субъектом собственного, смыслом аффектов мотивированного поведения.

Блестящая критика В.А.Смирновым *социального конвенционализма* и весь второй параграф четвертой главы мною уже цитированной книги «Логические методы анализа научного знания», в котором структура языка рассматривается автором в контексте так называемых онтологических допущений, не случайно завершается четко высказанным убеждением: онтологические проблемы решаются: *...не в рамках натурфилософии и не методами, подобными естественнонаучным, а путем анализа познавательных процедур и категориальной структуры мышления*¹.

¹ См.: Смирнов В.А. Логические методы анализа научного знания. С. 125—133 (курсив мой. — Ф.М.).

Простить себе не могу, что в свое время я, читая эту книгу — книгу с ласковой дарственной надписью автора, не обратил самого пристального внимания на его четкую позицию по отношению как раз к *не натуралистическим* (добавлю — и не герменевтическим), а именно к *онтолого-гносеологическим*, иными словами — к собственно философским исследованиям соотношения двух взаимообразующих пространств: пространства (или формы — это одно и то же!) овнешняемых речью и ее языками обращений субъекта *urbi et orbi* — к людям *города* и к объективному миру, и пространства всеобщих форм интересубъективного, надындивидуального, реально-идеального мира *онтологии*, в котором оживает непрерывно осмысливаемая нами вечная Природа.

Ведь вся совокупность *онтологических допущений*, о которых постоянно писал В.А.Смирнов, заданных и оправданных, по его же словам, *содержательно-категориальным строем мышления*, и есть не что иное, как это *второе пространство* — реальное пространство общей культуры людей.

Да, спор наш завершен. И не уходом Володи, а его исследованием свойств пространства (формы!) естественных и искусственных — с необходимостью всеобщих, непреходящих, сущностно априорных средств овнешнения *культурной субъективности* жизнеутверждающих мотивов человеческого поведения. Он доказал мне, своему оппоненту, что в истории человеческого самопознания нет и не может быть рокового разрыва между *формой* адресованных людям обращений — формой, определяющей аподиктичность их *логической связи, их неизбежного следования* друг из друга, и всеми *онтологическими допущениями* объективной связи их смыслов, в которых нам предъявлена объективная реальность. Допущений, оправданных и обеспеченных... отнюдь не *социальной конвенцией*, а реальной историей становления всеобщих *категорий мыслимого Бытия*.

Так и случилось, что *его* Кант и *мой* Гегель (а Гегеля не было бы без Фихте — этого поистине *онтологического* толкователя Канта!) наконец сошлись, подружились и... нет более причин продолжать наш спор, который длился почти полвека.

Но этот первый мой опыт подведения итогов — еще очень импульсивный и неполный, зовет меня к серьезной работе, в которой я обещаю более подробно обосновать

общую главную мысль, сформулированную Владимиром Александровичем Смирновым. Цитирую ее еще раз: *конструирование искусственных языков при выявлении в них онтологического статуса актов их творения является продуктивным средством изучения проблем онтологии.*

«Вопросы философии», 1998

А. С. Карпенко

НЕКОТОРЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ В. А. СМИРНОВА

Не умаляя вклада Владимира Александровича Смирнова в методологию и философию науки¹, хочу подчеркнуть, что в первую очередь В. А. Смирнов был логиком, причем логиком высочайшего класса. К тому же, что весьма редко в логическом мире, он оставался *работающим* логиком до конца своей жизни. Последнее означает, что он постоянно интересовался новейшими достижениями в области современной символической логики и, самое главное, старался получать новые технические результаты в избранных им областях логики.

Совершенно не вдаваясь в логическую технику, я постараюсь передать атмосферу некоторых идей В. А. Смирнова и, в первую очередь, то место, которое эти идеи заняли и занимают в современном логическом мире.

В центре своего исследования я положу только три работы В. А. Смирнова:

(I). Логические взгляды Н. А. Васильева // Очерки по истории логики в России. М., 1962. С. 242—257.

(II). Формальный вывод и логические исследования. М., 1972.

(III). Логические методы анализа научного знания. М., 1987.

Основные идеи этих трех работ, расходясь концентрическими кругами и накладываясь друг на друга, должны ввести нас в логический универсум В. А. Смирнова, но

¹ См.: Анисов А. М. Концепция научной философии В. А. Смирнова // Философия науки. Вып. 2. ИФРАН. М., 1997. С. 5—27.

именно в тот, который оказал и оказывает влияние, а во многом и предугадал некоторые тенденции развития современной логики.

* * *

I.

О русском логике Н.А.Васильеве (1880—1940) писали и ранее¹, но этой работе В.А.Смирнова и вообще чуть ли не из всех его работ повезло больше всего по той простой причине, что на нее появилась обстоятельная рецензия на английском языке, и не где-нибудь, а в главном международном журнале по логике².

Идеи о возможности конструирования неаристотелевских логик появились в начале нашего века в работе Л.Брауэра³ о недостоверности закона исключенного третьего и одновременно в 1910 г. в работах Я.Лукасеви-ча⁴ и Н.А.Васильева⁵, которые независимо друг от друга пришли к выводу, что пересмотр основных законов аристотелевской логики (и в особенности таких, как закон непротиворечия: *одно и то же суждение не может быть и истинным и ложным*, и закон исключенного третьего: *из двух противоречащих суждений либо первое, либо второе должно быть истинным*) приводит к построению неаристотелевской логики, при этом оба ссылались на пример построения неэвклидовой геометрии. Но идеи

¹ См. предисловие и библиографию в сборнике: *Васильев Н.А. Воображаемая логика. Избранные труды* / Под ред. В.А.Смирнова. М., 1989.

² *Comey D.D. Review of V.A.Smirnov 1962* // *The Journal of Symbolic Logic*. 1965. Vol. 30. P. 368—370.

³ *Brouwer L.E.J. De onbetrouwbaarheid der logische principes* // *Tijdschrift voor wijsbegeerte*. 1908. Vol. 2. P. 152—158. (Английский перевод: *The unreliability of the logical principles* // *Brouwer L.E.J. Collected works*. Vol. I (ed. A. Heyting). Amsterdam, 1975. P. 107—111.)

⁴ *Lukasiewicz J. Über den Satz des Widerspruchs bei Aristoteles* // *Bull. Intern. Acad. Sci. Cracov. Classe de Philosophie*. 1910. P. 15—38. (Английский перевод в: *Review of Metaphysics*. 1971. Vol. 24.)

⁵ *Васильев Н.А. О частных суждениях, о треугольнике противоположностей и законе исключенного четвертого* // *Учен. Зап. Казанского ун-та. Год 77. 1910, октябрь. Кн. 10. С. 1—47.* (Перездано в: *Васильев Н.А. Воображаемая логика. Избранные труды* / Под ред. В.А.Смирнова. М., 1989. С. 12—53.)

Н.А.Васильева¹ были богаче и гораздо шире, и именно на их глубину обратил внимание в своей статье В.А.Смирнов.

На рецензию указанной статьи В.А.Смирнова сразу обратили внимание, и, с одной стороны, уже в монографии Н.Решера² по многозначной логике Н.А.Васильев становится одним из предшественников многозначных логик, а с другой стороны, становится одним из предшественников паранепротиворечивой логики³ (в таких логиках закон непротиворечия не всегда имеет место). На следующем Международном Конгрессе приглашенным докладчиком о Н.А.Васильеве был уже В.А.Смирнов⁴. Наконец, в 1989 г. В.А.Смирнов подготавливает и издает не раз упоминаемые нами избранные труды Н.А.Васильева с обширным приложением, где также публикуется его статья о Н.А.Васильеве⁵.

Логические взгляды Н.А.Васильева оказали большое влияние на самого В.А.Смирнова, и до конца своих дней он разрабатывал их в различных направлениях. Так возникла идея *комбинированных логик*, где вводятся операции над событиями, и они играют роль внутренних логических языков, в то время как обычные логические знаки играют роль внешних логических знаков, и эта часть логики является абстрактной логикой. С точки зрения В.А.Смирнова, возможен двоякий подход к неклассическим логикам. Либо абстрактная часть логики (логика истинности) не варьиру-

¹ См. также: *Васильев Н.А.* Воображаемая (неаристотелева) логика // Журнал м-ва нар. Просвещения (Н.С.). 1912, август. Ч. 40. С. 207—246; *Васильев Н.А.* Логика и металогики // Логос. 1912—1913. № 1—2. С. 53—81. (Переиздано в: *Васильев Н.А.* Воображаемая логика. Избранные труды / Под ред. В.А.Смирнова. М., 1989.)

² *Rescher N.* Many-valued logic. N.Y., 1969.

³ См. приглашенный доклад А.Арруды: *Arruda A.I.* N.A.Vasil'ev: A forerunner of paraconsistent logic // VIIth International Congress on Logic, Methodology and Philosophy of Science. Salzburg, 1983. Section 6. P. 14—17. См. также: *Arruda A.I.* N.A.Vasil'ev: A forerunner of paraconsistent logic // *Philosophia Naturalis*. 1984. Vol. 21. P. 472—491.

⁴ *Smirnov V.A.* Logical ideas of N.A.Vasiliev and modern logic // Abstracts of 8th International Congress on Logic, Methodology and Philosophy of Science. Moscow, 1987. Vol. 5. P. 86—89. См. также: *Smirnov V.A.* The logical ideas of N.Vasiliev and modern logic // Logic, Methodology and Philosophy of Science. Amsterdam, 1989. P. 625—640.

⁵ *Смирнов В.А.* Логические идеи Н.А.Васильева и современная логика // *Васильев Н.А.* Воображаемая логика. Избранные труды. М., 1989. С. 229—259.

ется, а внутренняя, онтологическая часть, может быть отлична от классической (например, за счет изменения онтологических предпосылок), либо онтологическая часть остается прежней, а меняется абстрактная часть (пересматриваются гносеологические предпосылки). Возможна комбинация этих двух подходов, когда неклассичность появляется за счет пересмотра как онтологических, так и гносеологических предпосылок¹. Вообще, стоит заметить, что идея разделения в одной и той же системе логических операций на внутренние (язык-объект) и внешние (метаязык) является весьма плодотворной и возникала независимым образом у разных логиков. Особенно здесь стоит выделить работу Д.А.Бочвара², где строится первая трехзначная логика бессмысленности для разрешения некоторых теоретико-множественных парадоксов. В свою очередь, идеи Д.А.Бочвара были развиты В.К.Финном и его учениками, что привело к оригинальным и эффективным методам аксиоматизации различных классов конечнозначных предикатных логик³. Однако подход В.А.Смирнова отличался все-таки необычайной широтой.

Другая идея В.А.Смирнова, а именно идея *многомерных логик*, восходит к предложенному Н.А.Васильевым подразделению логических законов на два уровня: внешний и внутренний, абстрактный и эмпирический. Первый уровень зависит от наших гносеологических установок, он не варьируется — это логика лжи и истины. На этом уровне верен закон непротиворечия и закон исключенного третьего. Второй уровень зависит от онтологических допущений о познаваемом мире, при этом в «одномерном» мире

¹ См. работы: *Smirnov V.A. Arrestion and predication. Combined calculus of propositions and situations // Abstracts of 8th International Congress on Logic, Methodology and Philosophy of Science. Moscow, 1987. Vol. 1. P. 333–335; Смирнов В.А. Утверждение и предикация. Комбинированные исчисления высказываний и событий // Синтаксические и семантические исследования неэкстенциональных логик. М., 1989. С. 27–35; Смирнов В.А. Комбинирование исчислений предложений и событий и логика истины фон Вригта // Исследования по неклассическим логикам. М., 1989. С. 16–29.*

² *Бочвар Д.А. Об одном трехзначном исчислении и его применении к анализу парадоксов классического расширенного функционального исчисления // Математический сборник. 1938. Т. 4. Вып. 2. С. 287–308. (Английский перевод в: History and Philosophy of Logic. 1981. Vol. 2.)*

³ См., например: *Аншаков О.М., Рычков С.В. Об одном способе формализации и классификации многозначных логик // Семиотика и информатика. 1984. Вып. 23. С. 78–106.*

опыт дает только позитивные атомарные утверждения, а отрицательные утверждения не атомарны, они являются результатом вывода. Двумерный случай В.А.Смирнов рассматривает на примере дважды алгебр Брауэра¹. Первоначально В.А.Смирнов предложил аксиоматику N -мерных логик в форме силлогистики². Позднее им было предложено построение логики N -измерений в виде алгебры классов³, предполагая в дальнейшем сравнить ее с N -мерными логиками в форме силлогистики.

Основная идея многомерных логик состоит в том, что опыт дает нам атомарные утверждения «многих типов», а отсюда мы приходим к идее «многомерных» миров. В этих мирах имеет место своя логика. Можно предположить, что В.А.Смирнов подошел к идее обобщения логической семантики так называемых «возможных миров», или «точек соотнесения». Частные интересные случаи стали уже появляться в современной литературе. Например, у А.Н.Прайора⁴ в каждом возможном мире имеет место трехзначная логика Лукасевича, и этим определяется семантика для «логики случайного бытия». Р.Раутли⁵ предложил семантику для релевантных и паранепротиворечивых логик, где в каждом возможном мире действует не алгебра Буля, а алгебра де Моргана; а В.Л.Васюков⁶ вводит тернарное отношение на мирах, которые структурализованы специального вида MV-алгебрами Чэна, и таким образом строится точная модель для дискретной бесконечнозначной логики Лукасевича, и т.д.

¹ Смирнов В.А. Дважды алгебры и симметрические логики // Логические исследования. Вып. 1. М., 1993. С. 46—54.

² Смирнов В.А. Аксиоматизация логических систем Н.А.Васильева // Современная логика и методология науки. М., 1987. С. 143—151; Смирнов В.А. Логические идеи Н.А.Васильева и современная логика // Васильев Н.А. Воображаемая логика. Избранные труды. М., 1989. С. 229—259.

³ Smirnov V.A. Multidimensional logics // Abstracts of the IX International Congress on Logic, Methodology and Philosophy of Science. Uppsala, 1991. P. 168; Смирнов В.А. Многомерные логики // Логические исследования. Вып. 2. М., 1993. С. 259—278.

⁴ Prior A.N. Tense logic for non-permanent existence // Prior A.N. Papers on time and tense. Oxford, 1968. P. 145—160.

⁵ Routley R. American plan completed: alternative classical-style semantics, without stars, for relevant and paraconsistent logics // Studia Logica. 1984, Vol. 43, № 1—2. P. 131—158.

⁶ Vasyukov V.L. The completeness of the factor semantics for the Lukasiewicz's infinite-valued logics // Studia Logica. 1993. Vol. 52. P. 143—167.

К сожалению, В.А.Смирнов не успел осуществить свои разнообразные идеи относительно многомерных логик.

II

Книга В.А.Смирнова «Формальный вывод и логические исчисления», по которой он защитил докторскую диссертацию, исключительно богата совершенно новыми идеями и определенно является его наивысшим интеллектуальным взлетом. Идеи, высказанные и разработанные в этой книге, во многом опередили свое время и, что важно, интенсивно развиваются сейчас в мировой логической литературе. Я отмечу только две темы, заслуживающие особого внимания в связи с современным развитием логики. Сразу хочу подчеркнуть, что эта книга не только не была переведена на английский язык, но на нее не была сделана даже рецензия в каком-либо международном журнале, и поэтому эта блестящая работа В.А.Смирнова осталась неизвестной для зарубежного читателя.

В этой книге впервые в мировой литературе было положено начало исследованиям логических систем без сокращений (гл. 5). Правило сокращения позволяет освободиться от повторений одной и той же формулы, и это свойство логической системы оказывается связанным с проблемой разрешения самого исчисления, т.е. логики естественно заинтересованы в том, чтобы для каждой правильно-построенной формулы данного исчисления можно было решить вопрос, является ли эта формула теоремой или нет.

В.А.Смирнов строит такое секвенциальное исчисление, результат расширения которого за счет добавления двух структурных правил сокращения (слева и справа) является секвенциальным вариантом классической логики предикатов. Доказано, что пропозициональная часть этого исчисления совпадает с пропозициональной частью классической логики и что проблема разрешения для нее разрешима. Также получены другие результаты относительно данного исчисления.

Ради справедливости стоит сказать, что одновременно и независимо от В.А.Смирнова появляются краткие тезисы В.Н.Гришина¹, внимание которого привлекли работы о применении многозначных логик Лукасевича (а заме-

¹ *Гришин В.Н.* Об одной нестандартной логике и ее применении к теории множеств // Вторая Всесоюзная конференция по математической логике (Тезисы кратких сообщений). М., 1972.

тим, что трехзначная логика Лукасевича является исторически первой логикой, в которой закон сокращения не имеет места) к теории множеств. Как раз работы В.Н.Гришина¹ стали доступными для зарубежных специалистов и привлекли к себе внимание.

В 1985 г. выходит обстоятельная работа японских ученых² о логиках без сокращений, после чего появился уже целый ряд чисто логических работ в этой области, а затем появляется знаменитая работа Дж.Жирана³, которая обозначила целое направление в применении логик без сокращений в компьютерных науках. Однако нигде в зарубежных работах ссылок на исходные идеи В.А.Смирнова нет.

Другая идея В.А.Смирнова, высказанная и получившая развитие в этой книге, является, по моему мнению, его главным творческим достижением. Начнем с того, что В.А.Смирновым построена предикатная логическая система, названная им *абсолютной* и которая лежит в основе целой иерархии логических систем. Абсолютная система является системой релевантной логики⁴, а ее импликативный фрагмент совпадает со «слабой позитивной импликацией» Черча⁵. Таким образом, независимо от А.Черча был открыт импликативный фрагмент релевантной логики *R*. (В свое время В.А.Смирнов рассказывал автору этих строк, что, когда он был в аспирантуре, для того чтобы получить в читальном зале иностранную литературу, нужно было иметь *специальное* разрешение

¹ См.: *Гришин В.Н.* Об одной нестандартной логике и ее применении к теории множеств // Исследования по формализованным языкам и неклассическим логикам. М., 1974. С. 135—171; *Гришин В.Н.* Об алгебраической семантике логики без сокращений // Исследования по теории множеств и неклассическим логикам. М., 1976. С. 247—264.

² *Ono H., Komori Y.* Logics without the contraction rule // The Journal of Symbolic Logic. 1985. Vol. 50. P. 169—201.

³ *Girard J.Y.* Linear logic // Theoretical computer science. 1987. Vol. 50. P. 1—102.

⁴ См.: *Попов В.М., Долгова Т.Н.* Проблемы релевантной логики в работе В.А.Смирнова «Формальный вывод и логические исчисления» // Логические исследования. Вып. 4. М., 1977.

⁵ *Church A.* The weak theory of implication // Kontrolliertes Denken, Untersuchungen zum Logikkalkül und der Logik der Einzelwissenschaften. Munich, 1951. P. 22—37. (Abstract: The weak positive implicational propositional calculus // The Journal of Symbolic Logic. 1951. Vol. 16, N 3. P. 238.)

на это. Неудивительно, что большинство западных научных работ было вне досягаемости.)

Начиная с конца 80-х годов появляется целый ряд работ, где строятся различные иерархии логических систем¹. Здесь в качестве исходной логической системы берется полное (full) исчисление синтаксических категорий Ламбека². Но главная цель В.А.Смирнова — построить *классификацию логических исчислений*. В книге дается классификация сингулярных секвенциальных исчислений, в основе которой, в свою очередь, лежит классификация правил введения и удаления логических знаков слева и справа. Этот подход к классификации я бы назвал *внешним*. Предлагается еще один подход, *внутренний*, где за основу берется логическая связка импликации «если..., то...», что весьма естественно для логических исчислений, и тогда ставится вопрос о классификации импликативных логик, т.е. таких логик, в которых единственным логическим знаком является импликация. При этом подходе четко выделены два способа классификации:

1) так как формальные выводы различаются по своей структуре, то соответственно этому теорема дедукции принимает различный вид. Последнее позволяет классифицировать импликативные логики в зависимости от того, какая формулировка теоремы дедукции имеет место;

2) в основу классификации можно положить структурные правила в зависимости от соответствия между этими правилами и импликативными формулами.

Тема классификации импликативных логик была развита В.А.Смирновым в еще одной работе³, где обращено внимание на ту серьезную проблему, что оба способа

¹ См.: *Dosen K. Sequent-systems and groupoid models // Studia Logica. 1988. Vol. 47. № 4. P. 353–385; Dosen K. Sequent-systems and groupoid models. II // Ibid. Vol. 48. № 1. P. 41–65; Wansing H. Formulas-as-types for a hierarchy of sublogics of intuitionistic propositional logic. Bericht № 9. (Preprint). 1990; и в особенности: Ono H. Structural rules and a logical hierarchy // Mathematical logic. N.Y., 1990. P. 95–104.*

² *Lambek J. The mathematics of sentence structure // American Mathematical Monthly. 1958. Vol. 65. P. 154–170. (Русский перевод: Математическое исследование структуры предложений // Математическая лингвистика. М., 1964. С. 47–68.)*

³ *Смирнов В.А. Формальный вывод, теоремы дедукции и теории импликации // Логический вывод. М., 1979. С. 54–68.*

классификации не охватывают классической логики. В первом случае теорема дедукции, которая имеет место для интуиционистской логики, имеет место также и для классической и в таком случае не различает первую от второй. Во втором случае — нет такого структурного правила, которое отвечало бы за переход от интуиционистской импликации к классической. В гильбертовских исчислениях переход от интуиционистской импликации к классической обычно осуществляется за счет добавления закона Пирса, но структурного правила, соответствующего этому закону, не существует.

К классификации импликативных логик можно подойти с совершенно иной стороны, используя свойства базисных (исходных) комбинаторов **I**, **B**, **C**, **W**, **K** и **S**, впервые введенных М.Шейнфинкелем¹, а затем Х.Карри². Оказалось, что между комбинаторами и импликативными формулами существует однозначное соответствие. В силу указанного соответствия (оно еще называется *изоморфизмом Карри-Ховарда*) можно классифицировать импликативные логики посредством комбинаторов, и наоборот³.

Однако эта классификация, как и классификация В.А.Смирнова, не охватывает классической импликативной логики, поскольку нет такого комбинатора, который соответствовал бы закону Пирса и вообще любой неинтуиционистской импликативной формуле. Поэтому в указанной работе конструируется весьма сложным образом такой «комбинатор» **P**, который соответствовал бы закону Пирса.

Итак, перед нами стоит следующая исходная проблема (назовем ее *проблемой В.А.Смирнова*): найти единое основание для классификации импликативных логик, которая включала бы и классическую импликацию.

¹ Schönfinkel M. Über die Bausteine der Mathematischen Logik // Mathematischen Annalen. 1924. Bd. 92. S. 305—316. (Английский перевод: From Frege to Gödel: a source-book in mathematical logic. Cambridge, 1967. P. 355—366.)

² Curry H.B., Feys R. Combinatory Logic. Vol. 1. Amsterdam, 1958.

³ Gabbay D.V., de Queiroz R.J.G.B. Extending the Curry-Howard interpretation to linear, relevant and other resource logics // The Journal of Symbolic Logic. 1992. Vol. 57. № 4. P. 1319—1365.

Решение данной проблемы предложено автором данной статьи¹ и основано на классификации *независимых* аксиоматик импликативных логик посредством конечных решеток. В результате получаем картину взаимоотношений между различными неклассическими логиками, обнаруживаются естественные пути расширений исчислений до самой классической логики, и ставятся и решаются многие другие вопросы.

Конечно, в каком-то *всеобъемлющем* виде классифицировать логики невозможно, уж слишком разнообразен мир логики и, по своей сути, даже континуален. Но построение различных иерархий родственных логических систем и классификация определенных классов исчислений привлекает и будет привлекать все большее внимание специалистов.

III.

Следующая книга В.А.Смирнова «Логические методы анализа научного знания» оказалась многострадальной. Вышла она с большим опозданием, и предшествовала этому тяжелая борьба (конец 70-х — первая половина 80-х гг.), которая шла в секторе логики Института философии РАН. И хотя лидерство В.А.Смирнова как логика было бесспорным, тогдашняя дирекция Института поддержала противоборствующую сторону.

Из этой книги я выделю опять же только две темы, а именно результаты в области модально-временных логик и тему сравнения теорий. В книге (гл. 5, § 2) подводится как бы итог работы по модально-временным логикам. Первая статья была опубликована в 1978², и одновременно и независимо (как это часто бывает в истории науки) начинает появляться целый ряд работ по этой же теме Дж.Борджеса³. Исходные идеи о логиках с модально-

¹ См.: Карпенко А.С. Импликативные логики: решетки и конструкции // Логические исследования. Вып. 2. М., 1993. С. 224–258; Karpenko A.S. Construction of classical propositional logic // Bulletin of the Section of Logic. 1993. Vol. 22. № 3. P. 92–97; Карпенко А.С. Классификация пропозициональных логик // Логические исследования. Вып. 4. М., 1997.

² В.А.Смирнов. Логики с модальными временными операторами // Модальные и интенционалистские логики (Тезисы координационного совещания). М., 1978, С. 145–148.

³ Burgess J.P. The unreal future // Theoria. 1978. Vol. 44, part 3. P. 157–179.

временными операторами как единых логических операциях (типа «возможно будет, что...») впервые были высказаны А.Н.Прайором¹. Им же в связи с этим были введены временные структуры с линейным временем в прошлое и ветвящимся в будущее.

А.Н.Прайор исходил из чисто философской проблематики, и именно уже в указанной работе В.А.Смирнова было предложено весьма оригинальное решение знаменитой аристотелевской проблемы о морском сражении² посредством введения метрических модально-временных операторов³. При таком подходе введение промежуточного истинностного значения, как это было сделано Я.Лукасевицем, не требуется.

Еще одна важная идея, высказанная здесь В.А.Смирновым, состоит в новом понимании *сопряженности* между прошлым и будущим. В обычных временных логиках между прошлым и будущим существует зеркальная симметрия, или, как предложил А.Н.Прайор⁴, операторы будущего времени могут быть трехзначными, и на этом пути опровергаются некоторые фаталистические утверждения. В.А.Смирнов⁵ предлагает принять принцип, согласно которому *то, что реализовалось, было возможным в прошлом, но не обязательно в сколь угодно далеком прошлом*. Естественно, сразу же возникают вопросы о погружении известных модальных логик в новые временные системы, на решение которых всегда обращал внимание В.А.Смирнов.

Исследования по модально-временным логикам в дальнейшем стали приобретать все более технический ха-

¹ См. в особенности: *Prior A.N. Past, present and future*. Oxford, 1967.

² Подробно о фаталистическом аргументе Аристотеля и логических реконструкциях этого аргумента, которые привели также и к появлению модально-временных логик см. в: *Карпенко А.С. Фатализм и случайность будущего: Логический анализ*. М., 1990.

³ См. также: *Смирнов В.А. Логические системы с модальными временными операторами // Модальные и интенциональные логики и их применение к проблемам методологии науки*. М., 1984. С. 49—58.

⁴ *Prior A.N. The syntax of time distinctions // Franciscan Studies*. 1958. Vol. 18. № 2. P. 105—120.

⁵ См.: *Smirnov V.A. Tense logics with nonstandard interconnections between past and future // VIIIth International Congress on Logic, Methodology and Philosophy of Science*. Salzburg, 1983. Section 5 and 12. P. 164—168.

рактер, поскольку требовалось решать проблемы о полноте и разрешимости логических систем, моделями которых являются древовидные структуры¹. Однако вклад В.А.Смирнова в философскую логику несомненен.

Значительное место в данной книге занимает тема сравнения различных теорий, и в первую очередь аксиоматических теорий. По существу, этой проблематикой В.А.Смирнов интересовался весь свой зрелый период научной деятельности. На самом деле эта тема является продолжением исследований по *определимости*, в частности определимости дескриптивных терминов. Результаты, полученные здесь, были доложены им (совместно с В.Н.Садовским) на V Международном Конгрессе по логике, методологии и философии науки в 1975 г.²

Логическим отношениям между теориями посвящено несколько работ³, и, чтобы показать ту красоту результатов, которые могут быть здесь получены, я приведу весьма впечатляющий пример из области сравнения алгебраических теорий.

Известно, что теория групп первоначально возникла как теория конечных групп подстановок (С. Jordan, 1970). Однако очень скоро было осознано, что подстановки здесь ни при чем, а главное — изучение свойств бинарной операции без предположения конечности множества элементов и без каких-либо предположений о природе элементов группы. Такой подход впервые оформился в самостоятельную область математики в 1916 г. с выходом книги О.Ю.Шмидта «Абстрактная теория групп».

В это же время начинает оформляться трехзначная логика Лукасевича как результат «борьбы за освобождение человеческого духа»⁴. В 1929 г. эта логика обобща-

¹ Начиная с 1985 г. появляется целая серия работ А.Занардо. См.: *Zanardo A. A finite axiomatization of the set of strongly valid Ockhamist formulas // Journal of Philosophical Logic. 1985. Vol. 14. № 4. P. 447–468*; см. также: *Gurevich Y., Shelah S. The decision problem for branching time logic // The Journal of Symbolic Logic. 1985. Vol. 50, № 3. P. 668–681.*

² См.: *Sadovskii V.N., Smirnov V.A. Definability and identifiability: certain problems and hypotheses // Basic problems in Methodology and linguistics. Dordrecht – Boston, 1977. P. 63–80.*

³ См.: *Smirnov V.A. Logical relation between theories // Synthese. Dordrecht, 1986. Vol. 66. № 1. P. 71–87.*

⁴ *Lukasiewicz J. Farewell lecture by professor Jan Lukasiewicz, delivered in the Warsaw University Lecture Hall on March 7, 1918 // Lukasiewicz J. Selected works. Warszawa, 1970. P. 84–86.*

ется на бесконечнозначный случай¹, а в середине века происходит алгебраизация бесконечнозначной логики Лукасевича в виде MV -алгебр Чэна², т.е., как и в случае с теорией групп, происходит полное абстрагирование от природы элементов. В это же время сама теория групп обогащается решеточным порядком и начинает бурно развиваться как самостоятельный раздел математики в виде теории решеточно-упорядоченных групп³.

Наконец, в 1986 г. выходит фундаментальная работа М.Мундичи⁴, где доказывается эквивалентность целого ряда алгебраических теорий, возникших на совершенно различных основаниях и в разное время, с MV -алгебрами Чэна; в том числе доказывается эквивалентность решеточно-упорядоченных групп (с некоторым ограничением) с MV -алгебрами⁵.

Имеются и другие интересные примеры эквивалентности различных и весьма несхожих теорий, но все эти примеры носят частный характер, а В.А.Смирнов подходит к проблеме сравнения теорий гораздо шире, а именно разрабатывает *саму теорию* сравнения теорий. Он формулирует понятия несущественного расширения теории, переводимого расширения и анализирует с их помощью логические отношения между теориями, сформулированными в разных языках и на базе различных логик. Он рассматривает целый спектр различных типов отношений между теориями — погружающие операции, вложимость одной теории в другую, рекурсивную эквивалентность, относительную эквивалентность — и доказывает ряд теорем, описывающих их свойства. В дальней-

¹ См.: *Lukasiewicz J., Tarski A. Untersuchungen über den Aussagenkalkül // Comptes Rendus des Séances de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie. Classe III. 1930. Vol. 23. P. 1—21. (Английский перевод: Investigations into the sentential calculus // Lukasiewicz J. Selected works. Warszawa, 1970. P. 131—152.)*

² *Chang C.C. Algebraic analysis of many-valued logics // Transactions of the American Mathematical Society. 1958. Vol. 88. P. 467—490.*

³ См.: *Копытов В.М. Решеточно упорядоченные группы. М., 1984.*

⁴ *Mundici M. Interpretation of AF C^* -algebras in Lukasiewicz sentential calculus // Journal of Functional Analysis. 1986. Vol. 65. P. 15—63.*

⁵ См. также: *Nola A.D., Lettieri A. Perfect MV -algebras are categorially equivalent to Abelian 1 groups // Studia Logica. 1994. Vol. 53. № 2.*

шем В.А.Смирнов неоднократно использовал разработанные им методы в своих исследованиях взаимоотношения различных теорий. Одним из последних его результатов является доказательство эквивалентности онтологии Лесневского и оккамовской силлогистики¹.

Конечно, не все логические идеи В.А.Смирнова здесь рассмотрены², а только те, как говорилось вначале, которые представляют особый интерес в современном мире логики. Что-то, может быть, было и пропущено, но возьму на себя смелость сказать, проработав с В.А.Смирновым без малого четверть века (вначале в качестве его студента, затем аспиранта и все остальное время в одном секторе коллегой), что основная заслуга моего Учителя в логике не в его результатах, а в том, что им была создана удивительная атмосфера содружества логиков, не только в нашей стране, но и с логиками других стран. В этой атмосфере можно было работать, обмениваться идеями на многочисленных конференциях и получать новые результаты.

Многочисленные его ученики рассеялись по белу свету и с благодарностью вспоминают и рассказывают о Владимире Александровиче Смирнове. А придет еще время личных воспоминаний его учеников, и тогда откроются совсем поразительные черты его характера не только как логика, а как *личности*.

«Вопросы философии», 1998

¹ Смирнов В.А. Дефинициальная эквивалентность элементарной онтологии и обобщенной силлогистики оккамовского типа // Логические исследования. Вып. 2. М., 1993. С. 17–31; Smirnov V.A. Definitional equivalence of elementary ontology and generalized syllogistic of occamian type // Preprint 93–03. Institute for Logic, Cognitive Science and Development of Personality. М., 1993. P. 1–17.

² См. аналитический обзор «Результаты В.А.Смирнова в области современной формальной логики» (под общей редакцией А.С.Карпенко) // Логические исследования. Вып. 4. М., 1997. С. 40–69.

Содержание

Предисловие.	3
----------------------	---

Часть I

<i>В.Н.Садовский.</i> Философия в Москве в 50-е и 60-е годы	13
<i>З.А.Каменский.</i> О «Философской энциклопедии»	43
<i>В.Н.Садовский.</i> «Вопросы философии» в шестидесятые годы.	83
<i>Э.Ю.Соловьев.</i> Философский журнализм шестидесятых: завоевания, обольщения, недоделанные дела	108
<i>Л.Н.Митрохин.</i> «Докладная записка» — 74	119
<i>И.В.Блауберг.</i> Из истории системных исследований в СССР: попытка ситуационного анализа	152
<i>Ю.А.Шрейдер.</i> Загадочная притягательность философии (субъективные заметки)	171

Часть II

БОНИФАТИЙ МИХАЙЛОВИЧ КЕДРОВ (1903 — 1985)

Б.М.Кедров: путь жизни и вектор мысли. (Материалы «круглого стола»)	207
<i>В.Н.Садовский.</i> Б.М.Кедров и международное философское сообщество	253

ВАЛЕНТИН ФЕРДИНАНДОВИЧ АСМУС (1894 — 1975)

В.Ф.Асмус — педагог и мыслитель. (Материалы «круглого стола»)	292
--	-----

СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ РУБИНШТЕЙН (1889 — 1960)

<i>К.С.Абульханова-Славская.</i> Проблемы методологии науки и философской антропологии в контексте парадигмы субъекта С.Л.Рубинштейна	328
---	-----

- А.С.Арсеньев.* Размышления о работе С.Л.Рубинштейна
«Человек и Мир» 352

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ КОПНИН

(1922—1971)

- М.В.Попович.* П.В.Копнин: Человек и философ 412

- В.И.Шинкарук.* «Хрущевская оттепель».
Новые тенденции в исследованиях Института
философии АН Украины в 60-х годах 425

- А.Н.Лой.* Теория познания и антропология познания . . . 429

- В.Г.Табачковский.* Павел Копнин в восприятии младшей
генерации украинских философов-шестидесятников 434

ЭВАЛЬД ВАСИЛЬЕВИЧ ИЛЬЕНКОВ

(1924—1979)

- Ф.Т.Михайлов.* Слово об Ильенкове 443

- Д.Бэкхерст.* Философия деятельности 459

- В.И.Коровиков.* Начало и первый погром 472

МЕРАБ КОНСТАНТИНОВИЧ МАМАРДАШВИЛИ

(1930—1990)

- В.А.Смирнов.* М.К.Мамардашвили: философия
сознания 480

- Н.В.Мотрошилова.* «Картезианские медитации»
Гуссерля и «Картезианские размышления»
Мамардашвили 497

ГЕНРИХ СТЕПАНОВИЧ БАТИЩЕВ

(1932—1990)

- В.А.Лекторский.* Генрих Степанович Батищев
и его «Диалектика творчества» 514

- В.Н.Шердаков.* Г.С.Батищев: в поиске истины пути
и жизни 530

ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ ЩЕДРОВИЦКИЙ

(1929—1994)

- В.М.Розин.* К истории Московского логического кружка:
эволюция идей, личность руководителя 547

- И.С.Ладенко.* Г.П.Щедровицкий в развитии генетической
логики и методологического движения 564

МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ ПЕТРОВ

(1923—1987)

- С.С.Неретина.* О концепции культуры М.К.Петрова . . . 596

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ТРУБНИКОВ
(1929 – 1983)

Е.П.Никитин. Николай Николаевич Трубников:
верность себе 620

БОРИС СЕМЕНОВИЧ ГРЯЗНОВ
(1929 – 1978)

Е.П.Никитин. Борис Семенович Грязнов: разработка
фундаментальных проблем методологии науки. 636

ИГОРЬ СЕРАФИМОВИЧ АЛЕКСЕЕВ
(1935 – 1988)

В.С.Степин. В мире теоретических идей 653

ДАВИД БЕНЬЯМИНОВИЧ ЗИЛЬБЕРМАН
(1938 – 1977)

Е.Н.Гурко. «Философология» Давида Зильбермана 670

ЭРИК ГРИГОРЬЕВИЧ ЮДИН
(1930 – 1976)

А.П.Огурцов, Б.Г.Юдин. Философия как жизненный
выбор 692

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ СМИРНОВ
(1931 – 1996)

В.К.Финн. В.А.Смирнов как создатель направлений
исследований в логике и методологии науки
в СССР и России 722

Ф.Т.Михайлов. Почти полвека длился спор. 734

А.С.Карпенко. Некоторые логические идеи
В.А.Смирнова. 751

Философия не кончается...
Из истории отечественной философии.
XX век. 1960—80 годы

Художественное оформление *А. Сорокин*

Техническое редактирование
и компьютерная верстка *В. Юрченко*

ЛР № 030457 от 15.04.1998. Подписано в печать 12.09.98.
Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Усл.печ.л. 40,3. Уч.-изд.л. 44,8. Тираж 1500 экз. Заказ № 197

Издательство «Российская политическая энциклопедия»
(РОССПЭН)
129256, Москва, ул. В.Пика, д. 4, корп. 1. Тел. 181-00-13 (дирекция);
181-34-57 (отдел реализации). Факс 181-01-13

Отпечатано в Московской типографии № 2 РАН
121009, Москва, Шубинский пер., 6